М. Пришвин

ИВУШКА НЕПЛАКУЧАЯ

Scan Kreyder - 07.03.2016
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА "ДРУЖБЫ НАРОДОВ"

МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВ

ИВУШКА НЕПЛАКУЧАЯ

РОМАН

"ИЗВЕСТИЯ"

МОСКВА ● 1983

Р 2
А 47

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ "ДРУЖБЫ НАРОДОВ"

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Члены совета:

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Игорь Захорошко,
Имант Зиедонис, Мирза Ибрагимов,
Юрий Калещук, Алим Кешоков,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе,
Андрей Лупан, Юстинас Марцинкявичюс,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Александр Овчаренко, Борис Панкин,
Вардгес Петросян, Инна Сергеева,
Петр Серебряков, Юрий Суровцев,
Бронислав Холопов, Иван Шамякин,
Игорь Штокман, Камиль Яшен

Художник И. БРОННИКОВ

А $\frac{4702010200-051}{074(02)-83}$ 632–83 (подписное)



M. Shirley



КНИГА ПЕРВАЯ

Ивушка, ивушка, зеленая моя,
Что же ты, ивушка, незелена стоишь?
Иль частым дождичком бьет, сечет,
Иль под корешок ключева вода течет?

Из русской народной песни

1

У железнодорожной кассы столпотворение. Студенты — по большей части первокурсники — торопились домой. Им, от дня своего рождения не покидавшим прежде своих раскиданных по степям сел, деревень и хуторов, остаться бы в городе да поглядеть на первомайские празднества, а еще лучше — самим пройти в колонне веселых демонстрантов да во всю силу легких спеть только что разученную и тотчас же полюбившуюся песню про страну, в которой так много лесов, полей и рек, в которой так вольно дышится и которую все любят, как невесту, и берегут, как ласковую мать. Нет же! Домой, и только домой! Можно еще как-то понять Гришу Угрюмова: в Завидове его ждут отец, мать, сестры, братишка, и все души в нем не чают. А куда б спешить Сереге, Гришиному дружку? Дома у него никого нету: мать и отец померли в тридцать третьем году, старшие братья и сестра разлетелись кто куда, и, где они теперь, Серега не знал. Вся родня у него — тетка Авдотья, но и она сейчас не в Завидове, а в далеком большом городе, укатила на все лето к сыну Авдею погостить. Совсем недавно прислала племяннику костюм — пиджак и штаны из одного материала, темно-синего, в елочку. Досталась же ей эта покупка! Позже, из рассказов Авдея, Серега

узнал, что тетка Авдотья в поисках костюма исходила и изъездила на трамваях весь город, прощупала своими строгими и недоверчивыми глазами все прилавки, пока не нашла того, чего хотела. Однако не вдруг, не сразу полезла за пазуху, чтобы достать заветный узелок с деньгами, а уж только после того, как продавец чуть ли не под присягой уверил ее, что дешевле этой пиджачной пары не отыщется не то что в ихнем городе, но и во всем белом свете.

Облачившись в теткин подарок, Серега, к немалому своему удивлению, обнаружил, что выглядит наряднее всех. Одна беда: опоздала тетка Авдотья, прежде ее посылки нежданно-негаданно обрушилась на Серегу любовь. Ходил какую уж неделю в сладком чаду. Превозмогая врожденную стеснительность, искал всякую минуту, чтобы встретиться с ее взглядом и прочесть в нем ответное чувство, но, кроме откровенных и жестоких в своей откровенности насмешинок, ничего в нем не прочел, потому как полюбить хлопца с двумя выразительнейшими заплатами на штанах, конечно же, немыслимо. Были бы те заплатки поменьше размером и в каких-нибудь других местах, а не на самом неподходящем, может, и было бы все по-иному.

Серега делал героические усилия, чтобы его старые деревенские штаны походили на городские брюки: с вечера, перед тем как лечь спать, укладывал их, тщательно расправив, под жесткий и тяжелый, как надгробная плита, студенческий матрас в надежде, что к утру образуются желанные складки; рубаху носил навыпуск и без пояса, чтобы прикрыть ненавистные заплатки, но чуть наклонился или ветер лизнул сзади, снизу вверх, — они все одно нахально выглядывали. Вскоре к этим двум прибавились еще две — на коленках. И Серега был уничтожен окончательно. Кто ж полюбит такого? На пугало огородное только и сгодишься. Из всех личных врагов, какие так или иначе встречались потом в жизни Сереги, наилютейшими были те заплатки, ибо они украли у него самое дорогое, что когда-либо бывает у человека, — первую любовь.

Пока тетка Авдотья ходила по магазинам да высматривала костюм, пока готовила посылку, пока размышляла, в какую цену ее определить, чтобы и не заплатить слишком дорого за пересылку и чтобы, затеряйся добро в пути, не понести убытку; пока, наконец, двигалась эта посылка малой скоростью, время не стояло на месте и делало свое дело. Для Сереги — определенно недоброе. Лена — так звали ту девчонку —

полюбила Семена Мищенко, большеголового стриженого увальня, у которого были хороши разве что глаза, темные, с длинными, как у девчат, ресницами, да белоснежная полотняная сорочка с вышивкой. А штаны — тоже старые, обшмыганные, правда, без заплаток. И Лена с Семеном были счастливы. Когда Серега узнал о том, белый свет стал не мил. И захотелось бежать — не куда глаза глядят, а в родное Завидово, вместе с Гришей Угрюмовым, с ним полегче, чай, будет.

Приятели знали, что касса откроется утром, но прибежали к вокзалу с вечера. Полагали, что окажутся первыми. Не обремененные опытом, они не вспомнили вовремя, что другие ребята могли явиться к окошечку намного раньше Сереги и Гриши. По этой причине они оказались в хвосте длиннющей очереди за билетами. Ошарашенные столь неожиданным и нерадостным открытием, друзья какое-то время растерянно молчали, переглядывались, а придя в себя, начали оценивать положение, в котором очутились. Сперва выяснили, какое число людей перед ними в очереди (оно оказалось не таким уж устрашающим), потом узнали, какова вместимость каждого вагона и сколько их в поезде. Подсчетами остались довольны, успокоились и стали ревностно оберегать свое место в очереди. Дежурили посменно: поспит немножко на лавке один, потом другой. Так дождались утра.

Касса открылась с опозданием на полчаса. Гриша и Серега не знали, что кое для кого она отверзлась несколькими часами раньше, а знай они об этом, не стояли бы попусту. Вчерашние подсчеты были тоже ни к чему — доморощенная их бухгалтерия не учитывала то, что всякий, кто стоял впереди них, мог взять один билет, а мог сразу и четыре.

Нехорошая догадка пришла к Сереге и Грише лишь тогда, когда они увидели, что все еще стоят на месте, не продвинулись к цели ни на вершок, в то время когда мимо них один за другим пробегали к выходу красные, как вареные раки, счастливые обладатели билетов. В конце концов случилось то, что и должно было случиться. Перед каким-то студенческим носом с повисшей на нем капелькой пота с сердитым хлопком закрылась дверца кассы. Малый опешил на миг, затем машинально забарабанил в дверцу, заорал:

— Безобразие!

Дверца открылась вновь, но только для того и ровно настолько, чтобы оттуда успели вылететь ответные слова:

— Чего орешь? Ишь сопли-то распустил! Сказала, все билеты проданы! Уматывайте, пока Федосея Михалыча не позвала!

Последние слова похоронным звоном прозвучали для всех ожидающих.

Сидящая за окошечком тетка знала, кем припугнуть ребят. Милиционер Федосей Михайлович своей свирепостью был хорошо известен всем горожанам, студентам же в особенности. Он охотился за ними в городском Доме культуры, в кинотеатре, в парке, в столовой, в железнодорожном буфете, в крытом рынке, в вагонах — повсюду, куда те могли проникнуть с известной целью, не имея в кармане ни копейки.

— Пошли, ребята! — с нарочитой бодростью предложил пострадавший. — Не хватало нам еще Федосея!

Студенческая лава хлынула на улицу. Серега и Гриша задержались в зале. Теперь они были одни и стояли возле окошка, не мигаючи глядя на него: вдруг откроется, вдруг кассирша сообщит, что случайно два билета остались, вот возьмите, и таким образом их выдержка будет вознаграждена.

Чудес, однако, действительно не бывает. Дверца не раскрылась, и не было похоже, что такое случится с нею в ближайшее время. До отхода поезда оставалось пять минут. Об этом сообщил ржавый репродуктор своим хриплым, вроде бы тоже проржавленным голосом.

Серега и Гриша, не сговариваясь, выскочили на перрон. У них решительно не было никаких надежд, и все-таки выскочили. Вдоль вагонов, важный и несокрушимо бескомпромиссный, вышагивал Федосей Михайлович. Студенты-неудачники неприязненно посматривали на него. Относительно прошлого этого человека у них не было ни малейшего сомнения: ясно, при старом режиме Федосей Михайлович был околоточным, и, наверное, в этом же городе. Рассчитывать на то, что он утратит хотя бы на миг бдительность и даст ребятам возможность проскользнуть мимо и нырнуть в вагон, не приходилось. Такое могло случиться с любым, но только не с Федосеем Михайловичем.

Паровоз между тем запыхтел, засвистел, загудел так же хрипло, как и торчавший над перроном репродуктор, и, дернув вагоны раз и два, медленно

поволок их от станции. Перед Серегиными и Гришиными глазами поплыли улыбающиеся рожи знакомых и незнакомых студентов.

— Пошли пешком, — тихо и осторожно предложил Гриша.

— Пошли! — живо согласился Серега, радуясь тому, что и сам сейчас думал о том же, — значит, решение, которое они принимают, не такое уж безумное.

От города до их Завидова около семидесяти верст, если идти напрямую. А они избрали путь по железной дороге, по шпалам — так, рассудили, не заблудимся, доберемся до Лысых Гор, сойдем с полотна, свернем влево, подымемся на гору, а там, полями, через Липняги, Дубовое, Березово — прямо в Завидово. К следующему утру, глядишь, будем дома.

И они пошли, влекомые силою, которой нету на свете равных, той самой, что гонит к родным пределам из дальних-предальних краев, из-за гор высоких, из-за морей бескрайних несметные стаи птиц, а из бесконечных странствий — отъявленных бродяг и блудных сыновей.

Вчера еще не оставлявшие Завидова ни на один день, Серега и Гриша и не подозревали о существовании этой силы. Да и сейчас думали не о ней, а лишь о том, как бы поскорее добраться домой, поесть с дороги (Серега пойдет к Угрюмовым, там, поди, покормят), отдохнуть с часик, а потом — в лес, где теперь синими звездами мерцают подснежники, где вот-вот взовьются белые и душистые фонтаны черемухи, где в густом кустарнике темнеют сорочьи гнезда, а сами сороки подстерегают на чьем-либо подворье неосторожно оброненное курицей яйцо, чтобы тут же выпить его; в лес, в лес, где вскорости запоют соловьи... А на реке дядька Артем по прозвищу Апрель; сейчас он непременно на бережку, караулит от Тишки и Пишки свои рыбачьи сети; послушает-послушает он лягушек и скажет многозначительно: "Орут, окаянный их дери, слушать аж противно, а ведь они поют. И не просто — про любовь поют. Вот ведь какое дело!" Он не прибавит ничего более, полагая это излишним. Серега и Гриша тихо присядут рядом с Апрелем и будут тоже слушать. Хорошо!

Из лесу они пойдут в поля, потому как из шестнадцати своих лет половину провели в степи, нередко оставались там с ночевкой, слушали перепелов, доглядывали за лошадьми, считали крупные и яркие ночные звезды и пели, пугая темноту, "Взвейтесь костра-



ми". Были у них дела в поле и посерьезнее. В тридцать третьем году в Завидове из пионеров организовали отряд и назвали его легкой кавалерией по охране урожая. Серега и Гриша, которые были в отряде вроде командира и комиссара, и теперь не знали, почему — кавалерия, ежели в колхозе-то оставались каких-нибудь две-три клячи, а в их отряде не было ни одной лошади. Ребята ведь только и делали, что сидели день-деньской на своих наблюдательных вышках и следили, чтобы "кулацкие парикмахеры" не обстригали в мешки созревающих колосьев ржи или пшеницы. Однажды Гриша и Серега увидали за таким занятием Екатерину Ступкину, крупную и всю какую-то круглую, похожую

на дыню рябоватую бабу, беднее которой на селе и не было никого. Шума не стали подымать, взяли грех на свою душу — отпустили Ступкину. Ну какой она "парикмахер", да еще кулацкий, ежели в избе кусать нечего ни ей, ни ее ребятишкам, из коих половину она уже успела похоронить прошлым летом. Правда, не у нее одной случилось такое горе. На селе прошел слух, что Стешка Луговая будто бы сознательно уморила голодом своих близнецов-сыновей — все в том же тридцать третьем, унесшем так много человеческих жизней и не удостоившемся хотя бы простого упоминания ни в одном из учебников истории.

Не вспомнили о страшном том годе и Серега с Гришей, шагая по шпалам, как по лестнице, брошенной плашмя на землю. Идти было очень неудобно. Если наступать на каждую шпалу, то приходится семенить, а через одну — шаг получается слишком широк, аж штаны трещат, и быстро устаешь. Так и шли, сбиваясь, спотыкаясь, и все же, как им казалось, достаточно быстро. Но вот остановились, чтобы передохнуть. Оглянулись, а городок — вот он, рядом, под горой. Шли более часа, а ушли, думается, всего на версту — дорога-то петляет.

О тридцать третьем подумали на второй день, когда спускались в Завидово и когда избитые в кровь ноги едва волочились, а голова кружилась от жажды и голода. Возле многих изб и теперь еще можно было заметить горки ракушек, перламутрово вспыхивающих под солнцем, — пять лет назад, вылавливая их в реке и в лесных озерах, люди пытались спасти себя от смерти. Многие избы стояли с заколоченными окнами, многие были порушены. На месте бывших дворов взметнулась цыганка — так в Завидове звали лебеду какой-то особой породы, с красноватыми листьями. Всякий раз она являлась на свет божий как вернейший признак запустения, его неизменный, постоянный спутник.

С горы ребята увидели, как от пруда, что посередь селения, течет жиденький ручеек коровьего и овечьего стада. За ним, помахивая самодельным кнутом, поспешал мальчуган, белые волосы клубились над его головой, излучали сияние, похожее на нимб. Однако к лику святых этого отрока-пастушонка едва ли можно было причислить. В свои какие-нибудь восемь лет он успел запастись полным набором грубых мужицких словосочетаний и теперь щедро награждал ими непослушное разноплеменное стадо. В довершение всего, как бы

вспомнив о чем-то таком, чего никак уж нельзя перенести на иной час, прямо на глазах у проходящих мимо девчат принялся сосредоточенно и деловито править невеликую нужду. Стадо сейчас же замедлило движение, как бы дожидаясь своего повелителя. Некоторые коровы остановились вовсе. Козы, эти богом сотворенные и им же проклятые создания, только и ждали такого момента — немедленно устремились в сторону, не имея никакой другой очевидной цели, а подчиняясь единственно своей вздорной козлиной привычке лезть туда, куда не полагается. Козьего чуткого слуха не миновал, однако, звонкий и сердитый глас пастуха, подкрепленный многообещающим хлопком кнута. Их бородатый вожак тотчас же остановился, поднял голову, скосил в сторону заканчивавшего свое дело пастушонка бесьи глаза, затем рысью помчался обратно в стадо, все остальное козье отродье поспешило за ним.

— Павлик, ты что так материшься? — удивленно спросил Гриша, когда приблизился и узнал в пастушонке своего младшего братишку. — Ты хочешь, чтобы я тебе уши пощупал, а? Кто тебя заставил пасти? Сам, наверное, напросился, да?

Поскольку вопросов было задано много и требовалось еще решить, на какой из них отвечать в первую очередь, Павлик некоторое время молчал; встреча со старшим братом была для него полнейшей неожиданностью. Будь он парнишкой не деревенским и не располагай такой большой властью, как сейчас, Павлик, вероятно, бросил бы все и кинулся Грише на шею. Но он родился в Завидове, к тому же в семье Угрюмовых, где телячьи нежности не в чести, где больше ценятся характеры грубовато-суровые, сдерживаемые до известной поры какой-то внутренней железной крепости и упругости пружиной.

— Что же ты набычился? — спросил Гриша, обнимая брата за узкие и острые плечи. — Дома-то все здоровы?

— Там свадьба, — глухо сообщил Павлик и свирепо закричал: — Куда те, так твою мать, черт понес! Назад, вислобрюхая! Кишки выпущу!

Гриша не успел вознаградить брата вполне заслуженной оплеухой, как тот оказался уже возле ушедшего вперед стада.

— Что еще за свадьба? Чего он плетет? — вслух размышлял Гриша, а лицо уже начало буреть, наливаться хорошо знакомой всем завидовцам, в том числе

и Сереге, угрюмовской свирепостью. — Сколько сейчас времени, не знаешь? — зачем-то спросил он у Сереги.

Часов у них, конечно, не было. Но по стаду, идущему от стойла в степь, поняли, что полдень. Значит, поход их продолжался более суток. Первое мая на исходе. Чтобы поспеть к занятиям, завтра надо отправляться в обратный путь. А ноги все в кровавых ссадинах — шли ведь босыми, берегли ботинки, случалось наступать и на острый камень, и на костыль, и на рельс; в голове гуд какой-то, в ушах свист, губы запеклись, потрескались.

А в селе на праздник и не похоже. Разве что старый, полинявший, обтрепанный ветрами красный флаг сменили на новый. И все.

— Пойдем, Сергей, к нам.

Серега как раз про то и думал: позовет или не позовет? Позвал. Молодец, Гриша, настоящий ты все-таки друг. А то куда б Сереге пойти? Тетка Авдотья не вернется в Завидово, наверное, до осени. Изба, в которой жили с ней, на замке. Да и пусто там, пыльно, пахнет нежилью. Кроме голодного мышиного писка, ничего и не услышишь.

Павлик не наплел — в доме Угрюмовых действительно что-то происходило. У каждого из шести окон толпились бабы, тесня друг дружку, стараясь занять позицию поудобнее, чтобы получше разглядеть все, что творилось внутри помещения. Возвышенные же места вокруг подворья — плетни, крыши хлевов и сарая, поветь, переплеты лестницы, вытащенной из погреба и приставленной к стене дома, — облепила ребятня, детишки помельче неплохо устроились на руках и шеях матерей — тех, что прильнули к окнам. Под ногами женщин скрипели осколки стекол, выдавленных локтями и кулаками подвыпивших.

Грише почему-то не хотелось сразу идти в дом, они с Серегой протиснулись к окошку, заглянули вовнутрь. Так и есть — свадьба. Феня — во всем белом — сидела в красном углу передней, справа от незнакомого парня, длинношеего и длиннорукого, одетого в красноармейскую гимнастерку. Одна из его длинных рук простиралась над большим, составленным из двух, столом — парень произносил речь и жестикулировал. Из окна доносился сплошной гул, и услышать, что го-



ворил жених, было нельзя. И то, что он не сидел тихо, как полагалось бы жениху, и то, что оказался в доме вроде бы вторым хозяином, и то, что все были заняты так или иначе им, а не Гришей, встреча с которым (такая неожиданная!) должна была бы радостно поразить родню, и то, что Феня — для Гриши не просто старшая сестра, но большой друг — без братниного совета выходит за этого светлоглазого и длиннорукого, совершенно неведомого Грише верзилу, и то, что мать и отец, раскрасневшись и обливаясь потом, сидят веселые и, судя по широко открытым ртам, еще и поют в то время, когда Гриша стоит голодный у окна со своими разбитыми в кровь ногами, — все это в один



миг наполнило Гришино сердце крайней неприязнью к тому, что тут происходило, и ко всем, кто принимал здесь какое-либо участие, — не ведая того, они похитили у Гриши и его товарища то, ради чего те протопали босыми ногами без малого сто верст.

Первым их увидел пастух, хромоногий, с вывернутой рукой чернявый мужичонка, которого и мал и стар — все звали не иначе, как Тихан, редко кто прибавлял отчество — Зотыч. Он выходил из сеней, держа в пригоршне налитый до краев граненый стакан. Пропеченное солнцем, продубленное степными ветрами, прорезанное вдоль и поперек глубокими морщинами маленькое лицо его излучало прямо-таки ликование.

Нельзя было понять в ту минуту, что было тому причиною: добрая ли чарка в его руках или то, что он первым увидал студентов. "Мать честная! Кого я вижу?" — Он одним махом опрокинул стакан и, утершись подолом сарпиновой рубахи, заторопился опять в дом, но был остановлен далеко не ласковым окриком Гриши:

— Дядя Тихан!

— Что, милок? Что, мой сладкий?

— Какой я тебе милок? Не стыдно мальчишку мучить? Послал со стадом, а сам...

— А што — сам? Ну, выпил маленько, ну... Зря, зря ты так на меня, Григорий! Павлушку никто не заставлял. Ему это в удовольствие.

— Тебе, видать, тоже в удовольствие?

— И мне в удовольствие. А чего ж тут? — чистосердечно признался Тихан, но потом все-таки осерчал, огневался: — Зачем же ты меня обидел, Григорий? А? Рази я плохое што... Эх! — И, махнув рукой, той, что была исправна, перекинул за плечо кнут, похромал в сторону поля.

Кто-то все-таки оповестил Угрюмовых о приходе студентов. За свадебным столом зашевелились. Со своего места, передав четверть другому разливальщику, снялся отец, потом мать, Феня же почему-то сперва побледнела, потом покраснела, глаза — большие, синие Фенины глаза — повлажнели, забегали растерянно и виновато. Это все видел Серега, и был удивлен, и хотел было сказать Грише, но тот уже очутился в тугих объятиях Леонтия Сидоровича, из глаз которого обильно текли счастливые пьяные слезы.

— Что ж ты телеграмму-то... Встретили бы, — бормотал он, и в голосе его звучала теперь та же растерянность и виноватость, какую Серега только что видел в глазах невесты. — И Сережа с тобой! Ну, пошли в дом — прямо за стол!

— Я не пойду, тять.

— Это еще что?

— Устали мы. Добирались на своих на двоих. Отдохнем часок на повети.

Отец все понял:

— Не рад, стало быть, сестриному счастью? Ну, ты вот что, Григорий, ты мне это брось!

Наверное, Леонтий Сидорович сказал бы еще что-то, скорее всего прикрикнул бы на сына, но тут явилась мать — запричитала, заголосила, прижалась к Гришиному лицу мокрой щекой. Отец отошел, оглушительно высморкался. Нахохлившись, багровея крутой шеей,

побрел в дом — там были гости, и они, что бы ни случилось, должны веселиться.

Встретив сердитый взгляд отца (Леонтий Сидорович не успел вернуть своему лицу приветливо-радушное, подобающее моменту выражение), Феня поняла, что произошло во дворе, и заторопилась было туда сама. Однако жених незаметно для гостей властно попридержал ее. Феня удивленно глянула на него, вспыхнула вся, но потом как-то увяла, плечи ее опустились. То, что она сразу безропотно подчинилась, понравилось жениху, и он сделался еще более важен: грудь сама собой выпятилась, туго натянув гимнастерку. Несколько медных, начищенных до ослепляющего глаз сияния пуговиц расстегнулись, и одна оторвалась и со звоном упала в пустующий Фенин стакан, так что невеста вздрогнула, как от нечаянного выстрела. Не один, а почему-то полдюжины значков ворошиловского стрелка глухо ударились друг об друга, а потом замерли, странно уставившись на людей эмалевыми белками мишеней, обведенных все сужающимися ободками. За столом опять стало шумно, оживленно, потому что перед носом каждого выросла очередная чарка. Пили опять за счастье Фени с Филиппом Ивановичем, которого все почему-то величали по имени и отчеству, хотя парню было чуть более двадцати. Видать, гимнастерка, широкий командирский ремень с портупеей, ссуженный ему по-дружески в момент ухода в долгосрочный ротным каптенармусом, и желтая кобура на ремне (пустая, конечно), прицепленная так, чтобы была видна всем, прибавили малому солидности; но, может, и то, что объявился он в Завидове не рядовым гражданином, а сразу же председателем сельского Совета.

Кроме матери Филиппа Ивановича, за столом сидели все завидовцы. Среди них родня по угрюмовской, то есть по невестиной, линии, она располагалась поближе к жениху с невестой. При этом, по обычаю, тщательно взвешивалась степень родства и значительность той роли, какую исполняла эта родня в судьбе семьи. Приглашены были не только сродники, но близкие или просто нужные по всяким соображениям люди. Сидели за столом и такие, без которых не обходится ни одна свадьба, ни одно сколько-нибудь заметное гульбище — это гармонист и два-три певуна. Припожаловали, разумеется, и те, коих никто никогда не зовет. Эти добры молодцы и тут никак уж не

могли считаться желанными гостями, но все знали: они придут всенепременно и без приглашения.

Именно таковыми были Епифан и Тимофей, по-уличному Пишка и Тишка, два средних лет приятеля, о которых принято говорить, что их водой не разольешь. Ни по внешним данным, ни по характеру они ничем не походили друг на друга. Епифан достаточно высок, остер на глаз и хитрющ, в озорную свою словесную сеть мог запутать кого угодно, да так, что и не выпутаешься; относительно нравственных устоев имел понятие самое смутное, он полагал недозволенным лишь то, что создавало для него какие-нибудь неудобства, в дружбе оказывался не столь надежен, чтобы на него можно было вполне положиться. Тимофей, на долю которого выпадало больше всего от беспощадных Епифановых насмешек, напрочно привязался к Пишке какими-то невидимыми путами. Был он мал ростом, тощ и носат, к тому же стыдлив до чрезвычайности: без помощи Пишки, без его энергичного содействия он бы так, наверное, и не решился подойти ни к одной завидовской молодице.

Однажды, подвыпив, Тимофей совершенно серьезно попросил своего дружка:

— Ты вот что, Пишка, ты уговорил бы Маньку Прохорову, а я б с ней того...

Это удивило даже Пишку.

— Ну и гусь! Видал его? Нашел дурака! Ежели я уговорю Маньку, так я сам и...

— Не-е, — по-прежнему серьезно возразил Тишка. — Ты на уговоры только и мастер, а на другое...

Чем кончились для Тишки те переговоры, неизвестно. Теперь и он, и его дружок давно оженились, о поразительном Тишкином предложении вспоминали редко — так, для смеха, для того, чтобы потешить, повеселить завидовских мужиков.

Пишка и Тишка явились на свадьбу с некоторым опозданием. Как всякие люди, предпочитающие угостить себя за чужой счет, они были великие психологи. Приди, скажем, они сюда со всеми вместе — глядишь, получили бы от ворот поворот, потому что голова хозяина в ту пору еще трезва и, стало быть, хорошо помнит, кто приглашен, а кто нет. Пишка и Тишка по опыту знали, что приходить надо часом позже, когда гости успеют пропустить несколько рюмок, по их душам разольется некая благость, когда гулянье наберет силу, забушует, заклокочет, завихрится по-сумасшедшему, когда напрочно и начисто забывается не только о том,

по какому поводу гулянье началось, но и про то, кто тут сват, кто брат, а кто пришей-пристебай. Вот тогда и тебя, как щепку в водовороте, подхватит, завертит вместе со всеми и увлечет в пучину ничем уже не остановимого веселья.

Помнили Пишка с Тишкой и о том, что задерживаться с приходом на гулянье слишком долго тоже нельзя: не ровен час, опередят другие, также хорошо усвоившие подобный образ действий. Таких, к великой досаде Пишки и Тишки, развелось немало в Завидове. Однако наши дружки упредили всех своих конкурентов, оставили их толкаться где-то там в сенях и ждать, когда и про них вспомнит Леонтий Сидорович, а сами восседали хоть и не за красным, но все-таки за столом и на равных правах со званными гостями. Не наделенные и в малой степени певческим даром, они восполняли этот свой недостаток превеликим усердием — орали "Хаз-Булата удалого" так, что стекла вздрагивали, а дежурившие за окнами бабы испуганно осеняли себя крестным знамением, истово шепча: "Господи помилуй! Что это с ними? Режут, что ли, там их, окаянных?"

Пишке и Тишке издалека, с почетного своего места, подсоблял хриплым баском лесник Архип Колымага, давно уверовавший сам и заставивший уверовать других в то, что на всех семейных торжествах завидовцев он, Колымага, должен быть непременно. Причиной тому не какие-то там особые заслуги его, а дрова да сено, без которых ни один двор не протянул бы с осени до весны. Хозяином же леса был он, Архип Архипыч. Нельзя сказать, чтобы все приглашавшие и угощавшие лесника получали потом от него какие-то поблажки. Если бы дела обстояли таким образом, то в завидовском урочище не осталось бы ни деревца, ни травинки — в течение только одного года Колымага успевал побывать в каждой избе и вкусить от щедрот гостеприимных ее хозяев. Лес, однако, блюл, оберегал. Случалось, что угостивший его завидовский житель, едва спровадив благодетеля, бежал на колхозный двор, запрягал меринка и отправлялся в лес, полагая, что бояться ему теперь нечего. И попадался. Излавливал порубщика сам Колымага, хорошо изучивший повадки односельчан. В совершенно неподходящий момент он выходил из гущины леса и надолго втыкал свои маленькие, посверливающие глазки в нарушителя. Топор вываливался из вмиг ослабевших рук, губы шевелились, пробуя что-то сказать, но язык немел под уко-

ризненно-негодующим взглядом лесника. Захваченный на месте преступления поспешно лез в карман, доставал кисет, трясущимися пальцами отрывал газетную дольку, закуривал, приглашал и Колымагу попробовать табачку собственного производства, но тот стоял как истукан: ждал. И только когда видел, что пойманный окинулся холодным потом, унижен и раздавлен, начинал свою нравоучительную речь.

— Ты што ж, Кузьма Митрич, думал купить Архипа Колымагу? — В особо торжественную и патетическую минуту при исполнении служебного своего долга лесник называл себя в третьем лице. — Поднес лампадку да и решил: готов, мол, Архип Архипыч, в моих теперя руках. Так, што ли? Шалишь, брат! Лампадка лампадкой, а лес-то государственный. А я-то, дуралей, думал, што ты меня так, по-дружески, угощаешь. А ты... Ну вот что, Кузьма Митрич, чтобы в последний раз. Не то прокурору дело передам. Ясно? Ну, а топоришко-то заберу у тебя на всякий случай...

За свое коварство Колымага едва не поплатился жизнью. Несколько парней из соседней деревни Кологривовки, в дома которой лесник тоже был вхож, сговорились, однажды зимней ночью подстерегли его на дороге, возле реки. Накинули на голову мешок и поволокли к заготовленной загодя проруби. И утопили бы, и концов бы никто не нашел, да везучим, видать, родился Архип: кто-то ехал по дороге и спугнул парней, так и не исполнили они своего страшного намерения. Впрочем, они могли надеяться, что проученный хотя бы таким образом Колымага станет помягче, покладистей, вспомнит наконец, что на иные дела ему лучше глядеть сквозь пальцы. Однако результат получился прямо противоположный: Колымага еще больше ожесточился и теперь уж совсем напоминал тургеневского Бирюка, с той лишь существенной разницей, что охранял не барский, а государственный лес как народное достояние и в обычной жизни был в общем-то весьма общительным человеком. От приглашений в гости не отказывался, потому как никого не хотел обидеть — в том, что его отказ во всех случаях равнозначен кровной обиде, Колымага был убежден несокрушимо. И потому чужая "чарочка-каток" катилась в его поместительный "роток" бойко и свободно, не смущая совести. Люди хотят, чтобы он приходил, он и приходит — чего ж тут совеститься?

Не был приглашаем Артем Григорьев по кличке Апрель (впрочем, звали его в Завидове и Сентябрем и

Августом — кому как вздумается). Не был приглашаем этот самый Апрель по причине невыносимо вздорного характера его жены. Обнаружив в чужом доме за веселым столом покорного ей во всем и вообще редко прикладывавшегося к чарке супруга, она обязательно учинит скандал и подпортит праздник честной компании. Зная, что гость он менее чем желанный, Апрель шел в дом, где затевалось гульбище, не с пустыми руками, а с большим конным ведром, в котором шевелились только что выловленные в лесных озерах щуки, караси, лини, голавли. Тихо входил в кухню, подмигивал заговорщически хозяйке, передавал ей ведро, шепнув на ухо: "Угощай гостей свеженькой рыбкой, кума, а я пойду". "Куда ж вы, Артем Платоныч?! — запротестует хозяйка, потянет его, слабо сопротивлявшегося, в горницу: — К столу, к столу, куманек, не обижай нас!" Куманек, рассчитавший заранее все свои ходы, покуражится еще чуток, скажет раз и два: "Неколи, кума, мне, делов по горло" — и затем, как бы нехотя уступая хозяйке исключительно из уважения к ней, вежливо, всем своим видом показывая, что зашел, заглянул на одну лишь минутку, присядет на краешек пододвинутой ему табуретки. Минутка, понятно, растянется и на час, и на два, и на весь этот и следующий день. Что касается "делов", которых у него действительно по горло, то они много ждали — подождут еще маленько, не убегут. Поставленный бригадиром на поливных колхозных огородах и больше занятый рыбачьим промыслом, Апрель до того запустил хозяйство, что теперь и сам не знал, с какого краю к нему подступиться. С великим трудом собранный по селу какой-нибудь десяток баб и молодиц безнадежно взирал на джунгли из лебеды, осота и молочая, рванувшихся вверх на благодатном поливном черноземе так, что даже длинноногий Апрель, зайдя в них, погружался по самую шею. А там, на дне, у подножья диких зарослей, медленно угасали бледные, насмерть заглушенные и задавленные ростки огурцов и помидоров.

Женщины и девчата, поахав и поохав, все-таки приступали к делу, выдергивали сорняки, складывали их в сторонке в сырые, курящиеся и пряно, остро пахнущие кучи, а однажды, разозлившись, — зачинщицей тут была Феня Угрюмова, — завалили колючим осотом и молочаем спящего Апреля, и, если бы та же Феня не сжалилась над ним, сердечным, задохнулся бы бригадир, угас, как те несчастные огурцы.

Нынче, услышав о свадьбе в доме Угрюмовых, Апрель скорехонько покинул свой бригадирский пост на огородах, быстро проверил сети в реке, из которой качали воду для полива, и почти бегом рванул в Завидово. Теперь он сидел возле Пишки и Тишки и руководил их пением взмахом костлявых своих ручищ. Сам не пел. Не в пример этим дружкам Апрель щадил уши угрюмовских гостей. О своем голосе он как-то рассказывал мужикам: "Петь-то я, ребята, любитель, и голос у меня огромадный, да как-то все поперек рубит. Коль мне уж очень пришпичит, петь захочется до смерти, уйду подальше в поле али в лес, где на версту вокруг нету ни души, и запою! Напоюсь всласть — и домой, потом на сон меня кинет почему-то, сплю трое суток как убитый. Вот какой я певун!"

Одною лишь минутой упредил Апреля старый почтальон Максим Паклёников. Чтобы сохранить великолепный повод для появления в доме Угрюмовых в первый день свадьбы, он три дня продержал письмо, посланное Гришей в начале прошлой недели, и только теперь вручил корреспонденцию. Вручивши, преспокойно уселся за стол. Не приглашали Максима в гости потому, что не жена, а сам уж он был великий скандалист. Но покамест для скандала Максим еще не созрел, Леонтий Сидорович краем глаза косил в его сторону, боясь упустить момент, после которого в темной и загадочной душе Максима подымался зверь...

Феня все-таки освободилась из-под мужниной опеки и выскочила во двор. Большой белой птицей взлетела на поветь — не видно было, как ее ноги перебирали лестничные перекладины, — начала тормошить брата. Серега, как проснулся, открыл глаза сразу, а Гриша недовольно кряхтел, ворчал, делая вид, что никак не очнется. А она уж почти плакала над ним, умоляюще твердя:

— Гришенька, за что ты так? Пойдем же, Гриш! Не обижай! Что скажут люди? Родной брат не идет в избу. Срам-то какой, Гриша!

— Не пойду, и не приставайте ко мне. Иди к своему долговязому! — зло вымолвил Гриша и еще глубже зарылся в сухое прошлогоднее сено.

Поднялся на поветь и Филипп Иванович, встал там во весь свой великолепный рост и, наверное, был виден теперь отовсюду со своей портупеей и кобурой на широком ремне. По вздрагивающим плечам Фени, стоявшей на коленях перед братом, а еще больше по сердитому черноволосому затылку и покрасневшим

ушам Гриши жених понял, что не мил старшему Фениному брату, а вспомнив, что и младший ее братишка, Павлик, куда-то вдруг умотал, понял также, что не мил и тому шпингалету. Встав на колени рядом с Феней, глухо и виновато, как бы прося прощения, заговорил:

— Ну что же, Левонтич, так уж получилось. Вставай, шуряк, будем знакомиться. Мы ведь теперь с тобой не чужие...

Этот ли его просящий, извиняющийся голос подействовал или то, что рука сестры все еще теребила ласково жесткие его волосы, только Гриша внезапно встрепенулся, сел, повернулся и поглядел как-то сразу на сестру и на ее суженого все понимающими, уже совсем добрыми глазами.

— Давайте знакомиться, — сказал он и тронул плечо друга. — Это Серега, студент, мой товарищ. Он тоже из Завидова.

Гриша улыбнулся, и этого было больше чем достаточно, чтобы все вдруг стали вполне счастливы: и Феня, поскольку улыбка брата означала и одобрение и благословение ее замужества; и Филипп Иванович, который до этой минуты там, за столом, хоть и держался важно и независимо, но все-таки с большой тревогой ожидал встречи с Гришей; и Гриша, который знал, что наконец-то снял камень с души и сестры, и матери, и отца, и этого долговязого, скрипящего ремнями, судя по всему, милого дурня, для которого он, Гриша, стал шурином; и, конечно, Серега — он был счастлив вдвойне: и оттого, что повеселел его товарищ, и оттого, что сейчас они усядутся за стол и наполнят наконец свои студенческие, давно ропщущие желудки.

— Пойду прокладывать вам дорогу! — весело и совсем по-ребячьи объявил Филипп Иванович и спустился вниз.

Феня же принялась осматривать счастливыми блестящими глазами сначала брата, потом Серегу. Подивилась его новому костюму. Не дожидаясь ее вопроса, Серега сообщил:

— Тетка Авдотья прислала.

— Тетка Авдотья?! — неожиданно горячо воскликнула Феня и уж совсем непонятно отчего зарделась. — Она, что же, пишет тебе?

— Изредка пишет.

— Она, что же, собирается приехать?

— Собирается. К осени.

— Одна?

— Кажись, одна...

Феня немного смутилась, но потом опять оживилась, заулыбалась, осветилась вся добрым каким-то светом и потянула ребят за руки к лестнице.

Они шумно, друг за дружкой, спускались вниз, а из дома так же шумно и весело Пишка и Тишка волокли к калитке упирающегося Максима. За калиткой Максим вырвался, шагнул было назад к дому, но запнулся, припал немощно на четвереньки, постоял в смешной и неудобной позе с минуту, плюхнулся на пузо и тотчас захрапел с жутким вихревым посвистом.

Это был, пожалуй, первый случай, когда Максим Паклёников вышел из игры, не успев никому причинить зла.

Феня смеялась, ласкала брата и его товарища теплыми, добрыми своими глазами и, только глянув на Серегин костюм, почему-то затуманилась на короткое время, зрачки сузились, пряча поселившуюся в них нежданно-негаданно печаль.

3

Свадьба как свадьба. Все вроде идет как нужно. На всякий пьяный рев "горька-а-а!", краснея и смущенно улыбаясь, невеста поворачивается к жениху, и они целуются. Делают это просто, на виду у всех, и никто не находит в том ничего худого. Серега почему-то вспомнил Лену, представил себе, как и она будет целовать своего большеголового Сеньку, как к ней приклеится множество бесстыжих пьяных глаз, — представил себе все это Серега и покраснел так, что слезы выступили. Но никто этого не увидел, потому что все были заняты свадебным представлением, которое вступило уже во второе действие. В положенный час дружка дал какой-то знак, и гости начали громко сообщать о своих дарах, потому как молодые теперь на нови и им необходима на первых порах подмога. Кто кладет на противень, заменявший поднос, деньги, кто — кусок материи, кто заверяет, что отдаст ярчонку, кто — поросенка, кто — пару курят, кто что.

Пишка, добровольно возложивший на себя обязанности по сбору подношений, подмигивая направо и налево нагловатыми своими глазами, подзадоривает:

— Не скупись, сваха, не обеднеешь, поди!.. А ты, кума, о чем это призадумалась? Развязывай-ка свой узелок!.. И ты что, лесной разбойник, пришипился?! А ну-ка, Архип Колымажович, полезай в карман!

У тебя, чай, в кубышке золотишко зарыто? Помню, как в торгсин заладил в начале тридцатых-то годов. Давай-давай! В тридцать третьем не бедствовал, как все мы, грешные. Так что раскошеливайся! Это тебе не топоры наши да пилы отбирать! Там-то ты проворный, а тут растерялся, сидишь, как красна девка!..

Колымага глядит на Пишку с предельной ненавистью, но в карман все-таки лезет и бросает что-то скомканное на противень. На лице его, исполненном благородного гнева, отчетливо отпечаталось: "На, подавись, горлодер несчастный, но только не попадайся мне на лесной тропке!"

Пишка тем временем тормошит другого, третьего, добирается и до своего дружка Тишки, принимается за него. Тот вмиг обливается потом, старается спрятать узкое, зверюшечье свое личико за спину соседа, делает отчаянные знаки Пишке, шепчет:

— Ты с ума сошел? Знаешь ведь, что у меня ни гроша за душой?!

Пишка успевает ему кинуть на ухо:

— Ты хоть обещай, дурья голова, а там поглядим!

Выход найден, лицо Тишкино озаряется: обещать — не давать, мало ли он кому и что наобещал! Оживившись, он делает ошеломляющее заявление:

— Телку летошнюю отдаю тебе, Фенька, и тебе, Филипп Иваныч, председатель наш дорогой, только налогов дери с меня помене, а то силов никаких нету!

Гости зашумели, закричали все и одновременно. Первая часть Тишкиного заявления хоть и поразила всех, но ненадолго, ибо рассудили: язык без костей, мало ли что может сболтнуть, на посулы Тишка горазд, это уж известно. Вторая же половина короткой его речи определенно понравилась всем и своею смелостью, и своею точной нацеленностью прямо в больное для всех завидовцев место. Она-то и вызвала такое оживление. В награду Тишка получил от хозяина внеочередную чарку самогона. Опрокинув ее, он и сам уж почувствовал себя героем, сделался не в меру криклив; ораторствуя, размахивал руками так, что сидевшие по соседству с ним наклонились, чтобы не встретиться носом с костлявым Тишкиным кулаком. Феня глянула на жениха: не обиделся ли он? Нет, не обиделся: улыбается во весь рот, поощрительно кивает в сторону разошедшегося Тишки: давай, мол, давай, чего там, крой!

— А ты бы, милок, замолчал, что ли! — посоветовал другу Пишка и прикрыл своей лапищей Тишкин рот.

Крутнув головой, Тишка высвободился и тотчас же обрушился на товарища:

— Ты, Епифан, не заткнешь своей поганой рукой мои уста, понятно? Ты лучше скажи нам, что положил на поднос, а? Что? Примолкнул? То-то же и оно! — Теперь Тишка и сам был решительным образом убежден, что дары его уже совершенные и он имеет полное моральное право требовать, чтобы то же самое делали и другие. — Давай вынимай свою трешку, за ошкуром она у тебя припрятана!

Пишке ничего не оставалось, как пошарить за ошкуром и извлечь оттуда старенькую, насмерть измученную трехрублевку. Знай Тишка, что за свою выходку получит по шее, он, верно, поубавил бы прыти. Звончайшим подзатыльником Тишка был пожалован, едва они вышли за ворота, покидая к вечеру гостеприимный дом Угрюмовых, и притом со строгим предупреждением:

— Ежели еще такое сотворишь, пустомеля, повыдергиваю твои ноги оттель, откель они у тебя произрастают. Ясно?

— Ясно-о-о, — виновато протянул Тишка.

— "Ясно"! — передразнил Пишка. — Может, тебе ясно и то, на какой шиш мы завтра будем опохмеляться? Трешонка-то уплыла к долговязому преду. Эх ты, раззява! Мало я тебя, видать, еще луплю! Теперя сам пойдешь у моей Дуняхи клянчить на мерзавчика. Может, и она угостит тебя по шее ухватом. Он у ней, проклятущей, всегда под рукой...

Свадьба между тем шла своим чередом. Гости явно отяжелели — не то что петь, выкрикивать "горько!" не хватало сил. Трезвыми оставались лишь мать, Феня, ну и, конечно, Гриша с Серегой, которые так и не решились выпить хотя бы по одной. Гриша не спускал глаз с сестры, он не верил в ее счастье, видел, что и она не верит, и оттого и смех ее, и улыбка, и короткие вспышки разговорчивости, и ее кивки в ответ на какой-то шепот мужа — все, все было ненатуральным, она просто играла, играла неумело, и Гриша видел, как мучительна для нее эта игра, и ему было очень жаль ее. Да и откуда бы взяться счастью? Совсем недавно Феня даже не слышала про Филиппа Ивановича, не видела его, ничего не знала о нем, и вот он сидит рядом и приходится теперь ей мужем, и пошла-то она за него только потому, что мать сдонжила, поедом заела одной и той же своей песней: "Останешься в девках, никому не будешь нужна! А тут жених

какой!..” А Фене лишь недавно пошел восемнадцатый (ей и регистрироваться еще нельзя было по закону), ее подруги-комсомолки и не думают еще о замужестве, и даже смешно стало, когда узнали, что Феня выходит замуж. Фенька — и замужем? Это очень даже чудно!

Гриша пристально смотрел на мать, на отца и понял: им тоже не по себе. Материнское сердце подсказывало Аграфене Ивановне, но, видно, поздно — поторопились они с этой свадьбой, и во всем виновата она, мать. Иногда ее взгляд встречался со взглядом дочери, и всякий раз Аграфена Ивановна видела один и тот же вопрос: ”Ну, ты теперь довольна, мам?” Мать торопливо отводила глаза в сторону, чувствуя, что сначала к сердцу, потом к вискам подступает горячая кровь. Леонтий Сидорович был почти непроницаем — по его лицу трудно было определить, что затаилось в сердце. Он разливал вино и, казалось, целиком был поглощен этим занятием. И по тому, что это, в сущности-то, веселое дело он исполнял слишком сосредоточенно, Гриша подумал: наверное, не без длительной борьбы с матерью дал отец свое согласие на замужество Фени и сейчас хотел лишь одного — чтобы свадьба была как свадьба, чтобы на миру не сказали о ней ничего худого, чтобы гости разошлись довольными.

— Пошли, Серега, в лес, — шепнул Гриша.

Они потихоньку снялись со своих мест и вышли на улицу. Никто этого и не заметил. Никто, кроме Фени, которая опять забеспокоилась, глянула встревоженными глазами на мать, на отца, но ничего не сказала.

Перед тем как пойти в лес, Серега и Гриша заглянули в школу, которую окончили в прошлом году. Никого там, как им и хотелось, не было. Тихо, как в церковь, вошли в зал, руки сами собой сдернули кепки. Вот сюда целых семь лет они выбегали из класса на переменку, устраивали тут кучу малу, гонялись за визжащими девчонками. Сейчас зал представлялся странно маленьким, такой же показалась и вся школа — и классы и учительская. Серега и Гриша заглянули в нее впервые и безбоязненно. Все как-то сузилось, сжалось, стало тесным. Таким, должно быть, взрослая птица, вернувшись спустя какое-то время, находит гнездо, в котором увидела свет. Грустно... Гриша вспомнил про сестру. Покраснел и поморщился

от неприятной мысли, что придет ночь, и Феня поведет своего долговязого за нарядную занавеску, не стыдясь и не смущаясь. Странно. Странно и гадко, пожалуй. Но ведь рано или поздно когда-то такое должно произойти. Чего ж он дуется?

Собственные шаги гулко отзывались в сердце. А чужие ударили в него совсем уж оглушительно. Оглянулись оторопело. По коридору в зал шел высокий сухой старик.

— Дядя Коля! — радостно, хором воскликнули ребята.

— А, это вы, академики! — Дядя Коля взял их за уши и, сведя головы, легонько стукнул одну о другую. — На праздники приехали? Опоздали маненько. Что ж, Григорий, свадьба, слышь, у вас?

— Свадьба.

— А ты... что так? — спросил дядя Коля, понявший по голосу Гриши, что тому, видать, не по душе она, свадьба. — Недоволен, стало быть? Ну вот что... Послушай меня, старого: в такие дела лучше не совать носа. Девка созрела, ей надобен муж. Только и всего!

Гриша и Серега глядели на дядю Колю и удивлялись: совершенно трезв и говорит с ними на понятном языке. Может, остепенился, взял себя в руки бывший моряк, перестал пить.

В своих бесконечных странствиях в заморские края дядя Коля повидал так много, что слушать его — когда он, конечно, был не в подпитии — одно удовольствие. В последние годы таких минут выпадало все меньше и меньше; может, причиной тому — трехмесячная отсидка в саратовской тюрьме, куда дядя Коля попал за необузданную свою фантазию. Любивший приписывать себе дела необычайные, он как-то распустил слух, что изобрел "деньгодельный" станок. Для того чтобы новость эта самым коротким путем дошла до односельчан, продемонстрировал действие станка перед женою. Загодя разменял в районной сберкассе десятку на совершенно новые, не бывшие в ходу, пятаки, забрался на печку и предупредил супругу: "Оришка, поди-ка к печке да приготовься, деньги будешь собирать!" После этих слов загремел какими-то железками, заскрежетал, застучал, и на шесток прямо на глазах потрясенной Оришки посыпались пятаки. Через час все село узнало об изобретении дяди Коли. А еще через час в его дом явился милиционер. "Деньгодельного" станка он, понятно, не обнаружил, но дядю Колю на всякий случай арестовал и препроводил в район. Оттуда его

направили в Саратов, в место предварительного заключения, где дядя Коля и пробыл помянутые три месяца. Вернувшись, запил смертно. При этом пробудилась в нем неистребимая потребность проповедничества. Пьяного, его всегда тянуло на люди. Особенно любил дядя Коля "покалякать" с молодежью, поучить ее уму-разуму. Придя, бывало, в школу — хаживал он туда частенько, — представлялся лектором, посланным в Завидово самой аж Москвой, и начинал нести такую околесицу, что класс покатывался со смеха, а растерявшаяся учительница, краснея и бледнея, не знала, что ей делать, как выпроводить "лектора". "Рим, — говорил обычно он, взлохматив и без того вздыбленные темные с проседью волосы, — Рим, ребятишки, — это два креста. Первый крест — это..." Почему Рим — два креста, ученики так и не могли понять из "лекции" дяди Коли, коему, правда, никогда и не удавалось прочесть ее до конца. Придя в себя, учительница бежала за директором... Великанского роста, добряк из добряков, обладавший недюжинной силой, директор брал дядю Колю под мышки, молча поворачивал, покорного, лицом к двери и уводил, как провинившегося школяра, к себе в кабинет. Там они и объяснялись — а как, ребята уж не знали. С неделю после этого не видели дяди Коли, а потом он являлся сызнова, и веселое действо повторялось, к вящей радости учащихся и великому неудовольствию учителей.

Да, удивительный человек дядя Коля! Ребята "проходили" Горького и были совершенно убеждены, что тот списал своего Челкаша с ихнего дяди Коли, повстречавшись с ним во время своих скитаний в каком-нибудь черноморском порту, может в той же Одессе, где дядя Коля был не единожды. Разница состояла лишь в том, что дядя Коля никогда не крал. Правда, он мог поозоровать, как случилось с ним однажды в дореволюционные еще времена в маленьком поселке на Саратовщине.

Потолкавшись на базарной площади и убедившись, что никого там из знакомых нету, а значит, и надежд на опохмелку нет никаких, дядя Коля решительно направился в трактир. Уселся за столик, поманил глазами малого, заказал отбивную и стакан "смирновки". Быстро все "усидел", потребовал еще. Управившись в какую-то минуту и с этим, поднялся и преспокойно, с видом человека, который только что совершил более чем благородный поступок, направился к двери. Малый некоторое время провожал его глазами: что же случи-

лось с человеком? Может, забыл, что надо расплатиться, может, вот сейчас вспомнит, вернется, извинится и полезет за кошельком? Он скажет ему: "Бывает" — только и делов. Однако дядя Коля и не думал возвращаться. Видя это, служитель трактира громко закричал: "Эй, господин, а кто за вас платить будет?!" Слова эти достигли дяди Колиного уха, когда нога его покидала последнюю ступеньку крыльца. Дядя Коля остановился, изображая сердитое недоумение. "В чем дело?.. Ах, да, — небрежно проговорил он. — Заплатить же надо... Ну, это мы мигом! Обождите минуточку. Я сейчас!" Он вернулся в трактир, остановился возле дверного косяка и, ерничая, начал вертеть воображаемую ручку телефона. Покрутив сколько там положено, сипловато заговорил: "Это Лондон?.. О-очень хорошо! Барышня, дайте, пожалуйста, квартиру короля!.. Хорошо... Это король? Ваше величество, здрасьте!.. Да, да, это я, совершенно верно, дядя Коля; вспомнили, значит, моряка?.. Так вот, ваше королевское высочество, дядя Коля пропился. Вышлите, будьте добры, червонец... Нет, больше не надо, один червонец. Покорно вас благодарю!" Дядя Коля крутнул несуществующую ручку один раз вправо, другой — влево, потом подошел к оглушенному окончательно всем этим представлением малому и вежливо молвил: "Не волнуйтесь, голубчик, успокойтесь, скоро вы получите ваши деньги. С прибавлением на чай, разумеется. Это вам говорит дядя Коля, знаменитый моряк!"

Заверений этих, однако, для малого оказалось недостаточно. Он выскочил на крыльцо и стал звать околоточного. Дядя Коля успел-таки прошмыгнуть мимо и в тот момент, когда подбежал блюститель порядка, стоял уж посреди площади в самом центре огромной лужи. Околоточному, понятно, не хотелось пачкать своих сапог, и он решил покамест повести с дядей Колей мирные переговоры. "Вылазь, милок, добро́м прошу!" — начал он. "А зачем?" — ответствовал невозмутимо дядя Коля. "Вылазь, тогда узнаешь зачем". — "А ежели я не вылезу?" — осведомился мирно дядя Коля. "Вытащим силком!" — "Милости прошу, сделайте одолжение", — дядя Коля недаром мотался по свету, усвоил-таки вежливую форму обращения с людьми, а с власть предержащими — в особенности. "Как вас зовут?" — спросил околоточный, вытаскивая из кармана какую-то книжицу. "Дядя Коля!" — отозвался моряк. "Фамилие как, спрашиваю?" — "Фамилию забыл, совсем запамятовал, ей-

богу!" — "Ну ты вот что, дурака-то не валяй, плохо ведь будет!" — "Куда уж хуже: стою по колено в грязной воде, а вы-то на сухом бережку! Впрочем, к воде я привычный, десять лет, почесть, проплавал..." — "Так не выйдешь?" — "Никак нет, господин начальник!" — "Ну, смотри же у меня, поваляешься завтра в ногах, полундра пьяная!" — "Никак нет, господин начальник, дядя Коля ни у кого в ногах не валялся, даже у барина Ягоднова, когда в работниках у него, живодера, был. С какой же стати я встану на колени перед блюстителем порядка, какой завсегда на стороне слабых?" Последние ли дяди Колины слова, или то, что вокруг стала быстро скапливаться толпа веселых зевак, которые явно брали сторону дяди Коли, подействовали на околоточного, или, наконец, и в нем пробудилось вдруг чувство юмора, но он рассмеялся, махнул рукой и отошел прочь. Уж издали крикнул опешившему половому: "А ты, милый, сам следи за своей клиентурой! Поднял шум из-за ерунды, из-за каких-нибудь пятидесяти копеек!" Словом, этот случай окончился для дяди Коли благополучно. К несчастью, не все люди наделены чувством юмора. Знай про то дядя Коля, он провел бы со своим языком "разъяснительную" работу и посоветовал бы ему побольше держаться за зубами, да и в поступках своих был бы осмотрительней...

Может быть, дядя Коля и в самом деле остепенился? Во всяком случае, сейчас он был серьезен. Темные редкие волосы причесаны, даже неровный проборчик побежал от левого виска к затылку. Серега и Гриша глядели на него такого вот и чувствовали, что им не хватает чего-то в дяде Коле. Странное дело: человек трезв, разумен, говорит толковые слова, а им чего-то не хватает в нем. Чего же? Неужели его прежних пьяных причуд?

— Дядь Коля, я вот вспомнил про ваш деньгодельный станок. Для чего вы это все придумали? — спросил вдруг Серега.

Дядя Коля долго молчал. Потом поглядел на Серегу, сказал с незлобивым укором:

— Глупый ты еще, Серега, хоть и студент. Ничегошеньки-то не понимаешь в жизни. — Он опять долго молчал, думал о чем-то. — Как ты считаешь, для чего людям сказки? Молчишь? А еще про деньгодельный станок... Эх ты, цыпленок!

И ушел из школы, не прибавив больше ни слова.

Серега и Гриша, притихнув, какое-то время еще стояли посередь зала. Затем, не сговариваясь, тоже направились к двери.

Реку переплыли на крохотной лодчонке, выдолбленной из осинового бревна. Пробрались по узкой, затравеневшей уже тропке к Ерику, старице речки Баланды, где прежде любили сиживать. Угнездились под талами и бездумно, молча стали глядеть на воду. Тут была своя жизнь. И свои свадьбы. Отовсюду к берегу, отталкиваясь задними перепончатыми лапами и вытаращив глазищи, догоняя одна другую, плыли большие зеленые лягушки. В тридцать третьем все они были съедены голодными людьми, а теперь вот опять расплодились. Лягушки еще не отладили своего хора, но у многих на щеках уже вспухали пузыри — свадебные волынки. Звуки "уурыва, уурыва", принадлежавшие не то одним женихам, не то одним невестам, поначалу были разрозненны, постепенно к ним подключались другие, и это уже походило на перебранку, в ответ на "уурыва" там и сям слышалось: "А ты ка-ка-я, а ты ка-ка-я?" И вот то и это соединилось, смешалось, и возник хор — жутко нескладный, не благостный для человечьего уха, но своеобразный, единственный в своем роде, который мог принадлежать только лягушкам, и никому более. Послышался легкий всплеск воды, крики усилились, стали неистовей, яростней. Вода забулькала, вскипела, как во время внезапного ливневого дождя. Началась какая-то непонятная карусель.

— Небось тоже орут "горько!", твари! — сказал Гриша и весь передернулся от охватившего все его существо отвращения. — Пойдем отсюда, Сережа!

Сереге было непонятно состояние товарища, самому ему нравилась лягушачья возня. Уговорил Гришу остаться. Тот натянул кепку по самые плечи, повернулся на бок.

Вскоре и Гришу, и прильнувшего спиною к нему Серегу сморила усталость. Приятели заснули. Перед тем как лечь, пиджак свой Серега повесил на сучок тала. И проснулся оттого, что ему почудилось, словно кто-то подкрался и тихо снял пиджак. Открыл испуганные глаза и увидел Феню. Она сидела, охватив руками коленки и упершись в них подбородком. Темный Серегин пиджачишко покрывал ее опущенные, странно сузившиеся плечи.

— Спи, спи. Скоро утро, — шепнула она Сереге. — Филипп Иванович набрался, спит как убитый. Я поти-

хоньку выскочила из дому, пошла вас искать. Спите, а я посижу возле вас. — Феня поправила на себе пиджак, застегнула на одну пуговицу, кончиком рукава задумчиво коснулась лица.

Лягушачья свадьба, видать, тоже стала выдыхаться к утренней зорьке. Крики сделались реже, и им уже недоставало прежней ярости. Похоже, такие празднества не могут длиться долго. Их не хватило даже на одну эту короткую майскую ночь.

4

У Леонтия Сидоровича и Аграфены Ивановны Угрюмовых было семеро детей. Феня — старшая среди них, первенец, на долю которого по условиям сельской жизни меньше всего выпадает родительских нежностей. Может, ее и баловали поначалу, но Феня не помнит, когда это было. Она уже с шести лет стала главной помощницей матери. Исключая Гришу, для пятерых своих младших братьев и сестер она была няней, из год в год, по мере того как появлялись на свет дети, они сменяли друг друга на Фениных руках. Когда — от поноса, от скарлатины, от другой ли какой хвори — дети помирали, Аграфена Ивановна, всплакнув чуток, тихо говорила в собственное утешение: "Бог прибрал". Кроме возни с малышами, у Фени было еще много-много других разных дел. В семь лет на крепенькие плечи девочки легло коромысло с двумя ведрами — не игрушечными, а настоящими, наполненными, правда, только наполовину. Бывало, несет их от колодца, а сердечко стучит торопливо и испуганно, а спина выгибается, того и гляди переломится. Аграфена Ивановна всплескивает руками, ворчит: "Почесть полные?! Да ты, никак, с ума сошла, Фенюшка!" А сама страсть как довольна, что не придется идти за водой, что появилась наконец подмога. Отчетливо различив радость в голосе матери, Феня бежит к зыбке, выхватывает оттуда ребенка, убирает из-под него мокрое, закутывает красное тельце в сухую, только что снятую с печки пеленку, вновь укладывает и начинает петь, подражая матери, своим тоненьким голосочком:

Ах, усни, усни, усни,
Угомон тебя возьми.

Ребенок засыпает, а Феня бежит уже к большому деревянному корыту, над которым клубится вонючий от дешевого стирального мыла пар. На полу возвыша-

ется гора рубах, штанов и платьев. Мать успела только простирнуть все это, а Феня должна завершить стирку и развесить шоболы во дворе на плетнях и на веревках. Потом — огороды, прополка и полив картошки, огурцов, свеклы, помидоров; таскает из речки по крутым ступенькам ведро за ведром, пока не упадет в изнеможении, и мать, завидя такое, не скажет под конец: "Иди, доченька, отдохни, золотая моя работница! А я уж сама докончу".

Затем прибавились школьные заботы, очень приятные и радостные для Фени, — на добрых полдня она уходила от пеленок, от коромысла, от белья, которое никогда не перестираешь. Мать же охала и ахала, сердито поджимала губы; за обедом, за ужином ли непременно заводила одну и ту же песню. "Сил моих, отец, больше нету, — Аграфена Ивановна обращалась к мужу, а Феня знала, что слова эти предназначены для нее, — руки уж опускаются. Доколи буду все одна да одна чалить по дому? Ведь вас вон какой содом!" А когда Феня собралась однажды в пионерский лагерь, мать решительно взбунтовалась: "Не пущу! Не бывать этому! Ишь ты чего надумала, бездельница! Будешь там хабалить у костра, а огороды все вон цыганка задушила, и осот да молочай вымахали по самую шею. Чего тут я с ними одна-то делать буду!" И она шлепнула по затылку подвернувшегося случайно Гришу.

От пионерского лагеря пришлось отказаться. По вечерам, встретив Пестравку и загнав ее во двор, Феня потихоньку убегала к речке. Там, за рекой, как раз напротив того места, где она сидела пригорюнившись, горел большой костер, знакомые мальчишки и девчонки прыгали возле него. Смеялись, потом начинали петь. Пели и про картошку-объеденье, и про дедушку Ленина, у которого так много внучат, желающих умереть не иначе как в сраженьях, и не где-нибудь, а только на валу мировых баррикад, и про паровоз, у которого остановка лишь в коммуне, и про знамя, которое горит и рдеет нашей кровью, и про многое другое, что будоражило Фенино воображение. Всхлипнув от горькой обиды, она убегала домой, лезла на сеновал, где у нее в летнюю пору была постель; засыпала, однако, не скоро. Но и засыпая, все слышала и слышала далекие голоса: "Сотня юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала". Ей снились те самые юные бойцы, среди них были и она, Феня, и Авдей Максимов, прозванный Белым за светлые свои кудри, — он был рядом и почему-то держал Феню все время за ру-

ку, — и Маша Соловьева, Фенина подружка, и какие-то еще девчата и ребята, которых она не знала, но вроде бы где-то уж видела их. Часу в четвертом утра Феню будила мать — надо было проводить в стадо только что подоенную Пестравку. Вставать ох как не хотелось! Но Феня вставала, спускалась по зыбким перекладинам лестницы на землю и, полусонная, шла вслед за коровой, а та и сама хорошо знала, куда надо идти.

После третьего класса школу пришлось покинуть, и навсегда. Настояла Аграфена Ивановна, которой в самом деле было тяжко с большой семьей.

— Пущай Гриша учится. Ему это нужней, — сказала мать.

Феня умоляюще глядела на отца, думала, что заступится, но Леонтий Сидорович промолчал, крякнул только, шумно высморкался — как делал всегда, когда был чем-нибудь недоволен, — и удалился во двор. Ему было и жаль дочь, но ведь и мать права: не справиться ей с домом. Да и трудодней отца не хватит, чтобы прокормить такую большую семью; Фене, стало быть, тоже надо выходить на артельную работу. Поплакала-поплакала она тайком на повети, а утром положила в платок два вареных яйца, огурец да кусок ржаного хлеба, связала все это в узелок и пошла в поле, на ток, где продолжался запоздалый обмолот колхозной пшеницы. С удивлением и радостью увидала там Машу Соловьеву, которая тоже оставила школу, впрочем, кажется, без особого сожаления: боевая во всех отношениях, Маша была безнадежно глуха к школьным наукам, не давались они ей, и это обнаружилось уже в первом классе, где Маша задержалась на два года. В четвертый класс Машу не перевели, а оставаться еще на одну зиму в третьем она сама не захотела. Получив порку от батьки, веселая и беспечная, отправилась в поле помогать взрослым на току. Там-то они и встретились с Феней, и обеим стало повеселее.

В голодном тридцать третьем лихо было бы семье Угрюмовых без Фени. Леонтий Сидорович совсем уж выбился из сил и, как нередко бывает с мужиками, первый пал духом. Сел он на приступке крыльца, обхватил руками голову и горько задумался: куда пойти, у кого просить, когда все сидят без куска хлеба? В эту-то минуту и объявилась старшая его дочь Феня с мокрым мешком за плечами. Она сбросила его с ноющей спины на землю, подошла к отцу, подняла ладонями его голову, заглянула в лицо синими своими глазами. Странные у Фени были глаза: при малой, большой ли

радости — синие-синие, как весеннее небушко; встревожится — они темнели, и их можно было принять за черные; а когда Феня сердилась, глаза ее делались яростными, словно бы раскалялись добела. Сейчас же они у нее были прямо-таки лазоревые. "Вот... еду принесла, тять!" — сказала она и высыпала у ног отца ракушки. С того дня Феня выходила на реку каждое утро. Сильная, умеющая хорошо плавать и нырять, она выискивала ракушки чуть ли не на середине реки, в самой глубине, потому как у берегов их уже не было — все пособирали другие люди. Вскоре вместе с нею на этот промысел стал выходить и Авдей. С ним дела пошли еще спорее. Он нырял вниз головою и долго шарил под водой, торча вверх попкой, как селезень. Выхватив большую ракушку, бросал ее на берег, где Феня тут же прятала добычу в мешок. Когда Авдей истрачивал свои силы, ему на смену плыла Феня.

Как-то они ныряли вместе, и там, под водой, Авдей нечаянно натолкнулся рукою на Фенину грудь, испуганно отпрянул, вынырнул и поплыл к берегу. Потом подплыла и она, какое-то время сидели молча и не глядели друг на друга. Потом вновь поплыли за ракушками, но только Авдей нырял уже далеко в стороне.

Осенью тетка Авдотья увезла Авдея Белого в большой город — к старшей сестре. Он уехал, не простившись с Феней. Он просто не знал, что с кем-то еще надо прощаться. Уехал, и все. Никто даже и не заметил в Завидове, что нету больше Авдея Белого. Многие на ту пору покидали свое родное гнездовье.

Вскоре после его отъезда Феня неожиданно спросила у матери:

— Мам, Авдей нам родной?

— А как же. Ты ему двоюродная племянница будешь.

— Значит, он мой дядя?

— Ну да.

— Это как же, мам? Он толечко на один год старше меня и — дядя?

— Бывает и так, Фенюшка. А почему ты спрашиваешь меня об этом?

— Так...

Годы бежали. Начал забываться и тот страшный тридцать третий. В тридцать пятом Феня стала комсомолкой... Ну, а теперь вот подвернулся он, ее суженый, родом из заволжских степей; едва вернулся из армии — область направила сюда. Это произошло, когда

Аграфена Ивановна все чаще и чаще стращала свою дочь:

— Досидишься ты, глупая, проморгаешь всех женихов, останешься в старых девках, кому тогда нужна! — И, будто что-то чувствовала, сердито добавляла: — А про того сукиного сына позабудь!

— Про кого ты, мам?

— А то не знаешь? Приедет — на порог не пущу! Возле нее такие парни увиваются, а она...

— Какие еще парни? Где ты их видела?

— А Филипп Иваныч? Аль не пара? Глянь, какой представительный. И образованный, чай, не нам чета!

— Ну коли не нам чета, то и не нужен он!

— Это еще что? Да где ты найдешь еще такого жениха?

Как-то вечером Филипп Иванович увязался с Феней на комсомольское собрание. А потом стал искать всякую минуту, чтобы чаще быть с нею рядом. Кончилось все свадьбой.

"Свадьба... муж?!"

Феня передернула плечами, как давеча ее брат Гриша. Она понимала, что задерживаться ей тут, у Ерика, не следовало бы, в любой час может проснуться Филипп Иванович — что подумает о ней? Ведь что случилось, того, видимо, было не миновать — судьба. А коли так, рассуждала она, буду любить его, буду холить, приби-

рать его, моего родного, моего суженого, моего единственного, пускай завидуют ему все ребята, пускай и Авдей, когда приедет погостить, посмотрит, какая я жена!

Мысль эта подбодрила Феню. Она торопливо поднялась, накрыла Серегиным пиджаком спящих ребят и бегом направилась к дому, думая про себя: "Только бы не проснулся Филипп Иваныч. Только бы не проснулся, тогда все будет хорошо. Все, все будет хорошо!"

Серега и Гриша пробудились от шумного всплеска воды и от громкой ругани Апреля, который, вернувшись со свадьбы, решил проверить сети, поставленные им третьего дня в Ерике, богатом и щукой, и карасем, и линем, и плотвой, задержавшимися тут после половодья. Апрель повременил бы с этим делом, отыщись у него другой предлог вновь заглянуть в дом, где наверняка будет продолжено свадебное пиршество. Как ни мучился, ничего сколько-нибудь толкового не придумал. Выручить могла только рыба, но ее надобно

было еще выбрать из сетей, если она догадалась запутаться в них.

Рыба не догадалась. В двух проверенных снастях оказалась единственная плотица. Вся надежда была на третью снасть, но она зацепилась низом за корягу. Таким образом, планы Апреля безнадежно рушились. Для начала он выматерился как следует, вдохновил себя этим и приступил к делу, которое едва ли можно отнести к разряду благоразумных. Вместо того чтобы осмотреться, спокойно оценить обстановку и распутать сеть, незадачливый рыбак, выгнув шею по-ястребиному и хищно оскалясь, стал терзать несчастную снасть, рвать ее на звенья и в ярости выбрасывать на берег. Это был уже не первый случай, когда у Апреля не хватило терпения и он поскупился затратить каких-нибудь десять минут, чтобы спасти рыбацкое снаряжение. Потом у него достанет и выдержки и усердия, чтобы всю зиму, с утра до поздней ночи, вязать новую сеть: странно устроен иной русский человек!

Ребята знали эту особенность Апреля, а потому и посоветовали:

— Ты б отцепил ее, дядя Артем. Зачем же вещь губить?

— Не она меня, а я ее сделал, — ответствовал Апрель, продолжая с еще большим ожесточением свое занятие.

— Пойдемте к нам, дядя Артем! Там, поди, продолжается свадьба, — предложил Гриша.

— Знамо, продолжается. Да ить погнать в шею могут. Турнут ведь, как ты думаешь? — сказал Апрель.

— Пойдемте, чего там, — решительно позвал Гриша.

Выдрав последние клочки сети и забросив их далеко в ветлы, Апрель быстро погреб к ребятам. Причалив и ступив на берег, поздоровался:

— Ну, здрасьте, шпингалеты! Пойдемте, что ли?

Уже перебрались через реку, уже подходили к дому, когда старик резко остановился и объявил:

— Не пойду, ребята! Вы идите, а я...

Гриша принялся уговаривать, и Серега помогал ему. Но Апрель наотрез отказался. Студенты не видели того, что успел заприметить спутник: опередив их, в дом Угрюмовых нырнули Пишка и Тишка.

— Вы идите, а я вернусь к сетям, — договорил старик и спорым шагом направился опять к реке.

Серега и Гриша поняли, что в этом случае им надлежало делать.

Вскоре они опять уже сидели у Ерика, угощали Апреля самогоном, похищенным со свадебного стола, а он

их — рыбацкими и охотничьими историями, восходящими по времени к годам, давно минувшим, то есть к тем годам, когда старик Апрель был вовсе не старик, а совсем молодой парень, когда на земле и леса были гуще, и реки глубже, и травы выше, и люди не в пример племени нынешнему — богатырь к богатырю, когда, стало быть, и чудес разных было куда больше, нежели теперь. Сереге и Грише, конечно, трудно поверить в такое, но всё рассказанное Апрелем — сущая правда, недаром же всякий раз перед тем, как начать новую историю, он истово осенял себя крестным знамением и только уж потом повествовал.

— Взять вот хотя бы щуку, — говорил старик, довольно и сыто жмурясь на солнце, при этом он как бы нюхал душистый майский воздух большим своим, обработанным еще в детстве оспою носом. — Да, щуку... Вы, поди, думаете, что она существо безмозглое, что у ней нету разума? Как бы не так! Вот послушайте, что я вам расскажу про нее, зубастую мошенницу...

Солнце показалось из-за леса и на какое-то время ослепило и рассказчика и слушателей, на лицах которых загодя, как бы про запас, поселилась улыбка, та, что бывает у людей, приготовившихся внимать охотничьим побасенкам: знаем, мол, что брешешь ты как сивый мерин, но валяй рассказывай, слушать-то все равно интересно!

Ни Серега с Гришей, ни кто-нибудь другой, оказавшийся на их месте, не могли знать об одном весьма важном обстоятельстве: не знали они того, что охотники и рыбаки никогда не врут. Если им и случается поведать о чем-то таком, во что трудно, почти невозможно поверить, то виною тому характер, который у охотника или рыбака не как у обыкновенных людей. Дело в том, что самая малая удача в лесу, в степи, на реке ли, каковая все-таки изредка выпадает на долю охотника или рыбака, в дальнейшем начинает претерпевать в его рассказе удивительные превращения, когда подстреленный где-нибудь у лесной опушки зайчишка обернется вскорости матерым волком, а малюсенькая плотица либо уклейка, выуженная в реке, — пятикилограммовым жерехом, а чей-то там неслыханный успех непременно будет выдан им за свой собственный, только и всего. Как видите, враньем тут и не пахнет. Знай про то Серега и Гриша, они бы не морщили своих губ, не складывали их в ироническую ухмылочку в то время, как Апрель был серьезен до чрезвычайности. Он даже

полез в карман за кисетом, когда на него нахлынули воспоминания.

— Вышли мы с Колымагой — он только пятью годами моложе меня будет, — вышли мы с ним к Лебяжьему озеру до свету, когда коров еще не выгоняли, чтобы захватить утку на воде — с восходом солнца она улетит в поле, на кормежку. Присели у пенька, молчим, ждем, когда туман рассеется, за ним-то не видать ни шута, глядим, как в молоко. А слышим: крякают и плещутся полегоньку. Утки. От нетерпения, от росы, от утренней прохлады начинаем подрагивать, приспели откель-то комаришки — к концу августа они еще были. Принялись жалить, кусать, но ни выругаться, ни шлепнуть ладошкой, прибить его, треклятого, нельзя: спугнешь дичину. Молчим. Ждем. С час, кажись, просидели, пока туман не поредел. Показались утки. Медленно так выплывают из осоки на самую середину прогалины. Впереди — селезень, за ним — три самки-материги, потом — чирки, лысухи, нырки, мелочь разная. Что-то около дюжины. Мы, понятное дело, взяли на прицел материг. Бабахнули разом. Когда дым улетел, видим: две утки лежат на воде вверх пузом, а третья плавает боком как-то вокруг них, шлепает по воде одним крылом, крякает. Скинул Колымага штаны, рубаху — поплыл. Забрал убитых, ухватился и за подранка. Тащит и чувствует, что утка вроде бы зацепилась за что-то. Подтащил ее все-таки к берегу, зовет меня на помощь. Что, говорит, за оказия? Потянули вдвоем и у самого берега увидали ее, щуку. Преогромная, ухватилась зубами за утиные ноги и тянет к себе, как, скажи, собака. Нам бы прикладом ее по башке, а мы сробели, струхнули от неожиданности: не часто бывает такое. И что же бы вы думали? Перехитрила она нас, вырвала утку, которую мы втроем-то успели уж задушить. Вырвала — и в осоку, только ее и видели! Вот вам и щука! А вы говорите...

Серега и Гриша ничего не говорили. Они слушали молча и готовы были поверить Апрелю, поскольку не раз слышали о похищении щукой не только диких, но и домашних уток, а те покрупнее будут.

Следующим был рассказ о долголетии щук, о том еще, какие редкие ценности находят рыбаки в щучьих утробах. Для пущей убедительности Апрель вынул карманные часы и сообщил ребятам, что лет этак тридцать назад обнаружил их в щуке вместе с длинной серебряной цепочкой. "Покрутил туды-суды барабанчик, и они, часы то есть, пошли как ни в чем не бывало!"

Под конец Серега и Гриша выслушали печальную и суровую повесть о том, как долго и жестоко мстила ему, Апрелю, волчья стая за то, что он поймал капканом их вожака. Пять лет кряду подвергали они своим разбойным набегам Апрелево подворье, задирая то овцу, то козу, то теленка, то — за неимением ничего другого — собаку. И неизвестно, как долго продолжались бы еще эти напасти, если б Апрель не догадался перебраться жить на другой конец села. Поскольку из любых историй — горьких или веселых — разумный человек должен делать полезные для себя выводы, то сделал их и Апрель. Во всяком случае, с той поры окончательно расстался с охотничьей страстишкой, заменив ее другою, менее опасной — рыбачьей.

— Щука хоть и зубастая, а ног у нее нету: не забегет в хлев и не утащит овцу, — сказал в заключение Апрель, видя, что ребята уже затосковали, заглядывают на его часы уже не для того, чтобы полюбоваться ими, а для того, чтобы узнать время. Неожиданно он признался, и, кажется, совершенно искренне: — Да и жалко мне стало уток и зайчишек. Подстрелишь, подойдешь к нему, зайчонку, а он глядит на тебя, сбоку так, еще живым своим большим черным глазом и не понимает, за что же ты его. Бывало, все внутри так и дрогнет, так и ворохнется — убил бы сам себя за этакое злодейство! А рыба что ж, кровь у нее холодная, может, ей и не так уж больно — не кричит, когда тащишь из нее крючок, иной раз прямо с потрохами тащишь... Ну ладно, ребятки, заговорил я вас совсем. Спасибо за угощение, спасли мою дурную голову. Пойду! — сказал последние слова как-то с трудом, ему явно не хотелось расставаться с ребятами. Если сказать честно, не ради выпивки — ради компании он и заявился вчера на свадьбу. Повторил нехотя: — Пойду.

— Куда ж вы, дядя Артем?

— На колхозные огороды, Гриша. Взвалил председатель на мою шею эту мороку. А какой из меня огородник? Правду говорит твоя сестра Феня: на пугало только и сгожусь. А идти надо. Как-никак два трудодня за каждый аж день пишут...

И, не досказав, он ушел, высокий, нескладный и так же, как дядя Коля, непонятный для Сереги и Гриши. Они сидели еще какое-то время на прежнем месте, молчали. Гриша не мог избавиться от преследовавшего его видения: умирающий заяц и широко открытый в немом недоумении глупый его, безгрешный глаз.

Потом Гриша энергично тряхнул головой, решительно встал:

— Пойдем, Серега, турнем их.

— Это ты о ком? — не понял Серега.

— Пишку и Тишку.

— За что ты их так? — Серега глядел на товарища с крайним удивлением.

— Вставай, пойдем, — вместо ответа сказал Гриша.

Однако изба Угрюмовых к их приходу уже опросталась — свадьба перекинулась в чей-то другой дом.

Собрав со стола несъеденные пышки, вареные яйца, жареное баранье мясо, сало и хлеб, ребята ушли на станцию.

5

Вскоре после свадьбы совсем неожиданно пришла повестка: Филиппа Ивановича вызывали в райвоенкомат. Вместе со всеми он подивился повестке, но сделал это ненатурально.

— Переучет, пустяк какой-нибудь, — сказал он, встретив встревоженный взгляд жены.

Она видела, что муж говорит неправду, он знает, с какой целью его вызывают, скорее всего ждал этого вызова, и страшно обиделась: зачем он обманывает?

— Тебя опять в армию берут? — спросила Феня, глядя прямо ему в лицо и не давая его глазам увернуться от ее пристального и требующего только правды взгляда.

— Что ты, Феня, с чего бы это? Ведь я только что отслужил срочную.

— Но ведь ты говорил мне, что теперь командир запаса...

— Ну и что с того? З а п а с а — поняла? Это на случай войны. А сейчас, в мирное время, кому я нужен?

Феня не поверила, и Филипп Иванович видел, что ему не верят, хотел и не мог сказать правду. Он, разумеется, знал, что вызывают по его же собственному заявлению, размноженному им в четырех экземплярах и отосланному сразу в четыре адреса: в обком, в облвоенкомат, в райком и в райвоенкомат. В заявлении содержалась одна просьба: послать его, танкиста, командира запаса и члена партии, в Испанию — сражаться на стороне республиканцев. Ответа все не было, и Филипп Иванович утратил надежду получить его когда-либо. Потому он тогда со спокойной совестью поса-

тался к Фене. А теперь думал, что не должен был этого делать: выходит, что обманул девушку... Он понимал: вызывали его теперь не для того, чтобы объявить об отказе, такое сообщается обычно в письменной форме.

Было совершенно ясно, что в жизни Филиппа Ивановича должно совершиться нечто необычайное. Он это особенно почувствовал после звонка, раздавшегося в сельсовете сейчас же вслед за повесткой. Звонил Федор Федорович Знобин, первый секретарь райкома. Суховатый, обычно немного надтреснутый голос его сейчас был неожиданно звонок и загадочно-торжествен. Секретарь райкома просил Филиппа Ивановича зайти к нему. "Валентин Власович у меня", — добавил он. Валентин Власович — райвоенком. Все, стало быть. Решено, значит. И все-таки Фене он сказал:

— К вечеру буду. Не беспокойся.

Он вернулся даже раньше, через каких-нибудь три с половиной часа, но только затем, чтобы поскорее собраться в дорогу. Глаза Фенины были хоть и скорбны, но сухи. Она молча укладывала что-то в его чемодан, тот самый, с которым пришел он из армии и затем объявился в Завидове, чемодан, так и оставшийся только е г о и не сделавшийся их совместным — в нем еще не успело побывать ничего из Фениных вещей. На душе у Фени был холод, и она не понимала, отчего это так. И лишь когда укладывала гимнастерку, сердце дрогнуло. Обнимая ее на прощание, он сказал как бы шутя и все-таки больше с обидой:

— Ты бы хоть всплакнула чуток, Феня... А? Эх ты, Ивушка моя неплакучая!

— Ишь чего захотел! — вспыхнула Феня. — Не заслужил, чтобы о тебе слезы лить. Езжай уж! — Последние слова она произнесла глухо, с ледяной дрожью в голосе.

— Зачем так, Феня? Разве я...

— Езжай, езжай! — повторила она еще злее, чуть ли не подталкивая его к двери. Не вышла на улицу, чтобы помахать рукой на прощание, не подошла к окну, чтобы проводить глазами сельсоветскую тележку, увозившую мужа бог знает в какие края. Матери, вернувшейся со двора и что-то недоброе проворчавшей в адрес зятя, с безумной яростью объявила (глаза ее при этом побелели):

— Негожий уже стал? Быстро ты, мама милая, разлюбила своего зятюшку! Эх, ты! Можа, он голову свою сложит, а вы... — Феня чувствовала, что после этих последних ее слов, вырвавшихся непрошено, она уже не сможет остановить своего гнева. — От тебя, а не от ме-

ня убежал Филипп Иванович! Ты уж куском начала нас попрекать...

Феня на минуту остановилась, ужаснувшись тому, что она говорила: кто, где, когда попрекал их с Филиппом Ивановичем куском хлеба? Боже мой, что она делает! Вид насмерть перепуганной, несчастной и ничего решительно не понимающей, оглушенной несправедливо жестокими словами матери остановил ее.

— Мам... золотая... родненькая... прости! Убейте меня!.. Мам!

— Что ты, что ты говоришь, опомнись!

Аграфена Ивановна легонько высвободилась из объятий дочери, перекрестила ей лоб, потом встала на колени против образов и принялась молиться, громко упрашивая пресвятую богородицу вразумить дочь, направить ее на путь истинный, ниспослать на нее великое терпение. Закончив моленье, подошла к дочери, которая уже лежала на своей кровати, спрятав голову под высокие, не утратившие свадебной свежести подушки. Плечи и спина Фенины вздрагивали. Аграфена Ивановна положила на нее руки и чуть было не отдернула их: тело дочери пылало огнем.

Откуда-то подвернулся Павлик, мать послала его за Фениной подругой — Машей Соловьевой. Когда та пришла, Аграфена Ивановна одними глазами попросила ее посидеть с Феней, успокоить ее.

Вышли они из горницы под вечер, Феня и Маша.

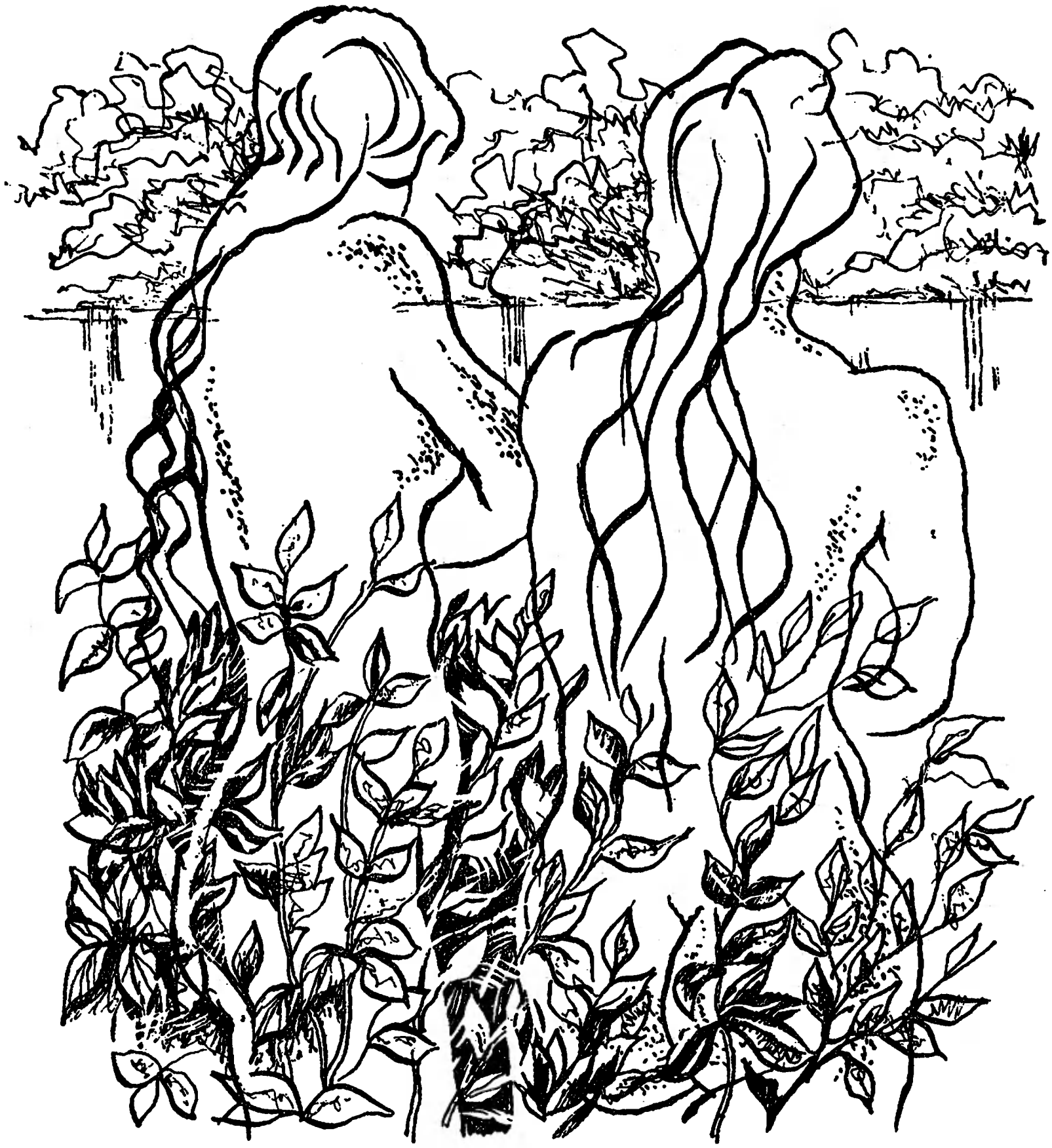
— Пойдем, Маша, в сад к нам, за речку. Посидим там.

— Попоем наши песни. Вот и полегчает. Правда, Фень?

— Пойдем, пойдем.

Они и вправду много пели в тот горький для Фени вечер. К их настроению больше подходили старинные песни и про бедное девичье сердце, горем разбитое, и про бравого, лихого охотника, подстерегшего в полях не дичину, а "распрекрасну дивчину", и про вербу рясну, и про рябину-сиротину, которой выпала судьба век одной гнуться и качаться, потому как не может она прижаться к одинокому дубу, что стоит через дорогу. Врачующая сила песен такова, что вскоре певуньи уже смеялись и даже перешли на частушки.

Неподалеку от сада Угрюмовых, за рекою, были луга. Сейчас там докашивалось колхозное сено. Косари один за другим возвращались в село. Некоторые несли мешки, туго набитые свежей травой, — для своих коров. Косы были перекинуты через плечи. По мокрым



ложбинкам изогнутых лезвий скатывались лепестки луговых цветов, всякая зеленая мелочь.

Позднее всех пошли в село Пишка и Тишка. Причиной тому было не их повышенное усердие по части колхозных дел. Просто Пишка задержался, чтобы "сшибить" для своего двора клинышек, примыкавший прямо к лесу и специально оставленный Пишкою во время общей косьбы. Ну, а Тишка остался с ним так, по привычке, потому что давно сделался вроде Пишкиного верного слуги. Недальняя песня заставила их притормозить шаг, прислушаться. Определив ухом место, где могли находиться девчата, друзья решительно направились к ним. Вскоре песня смолкла. Мужики застали

Феню и Машу купающимися. Завидя Пишку и Тишку, те завизжали, поплыли подальше от берега. Собрав их платья, Пишка поманил:

— А ну-ка, бабенки, ко мне!

— Ищо чего! Какие мы тебе бабенки?!

— Ну ты, Машуха, можа, еще девка, а Фенька...

— Ты вот что, кобель паршивый, прочь отцель! — закричала Феня. — Вот сейчас тятя придет, он тебе покажет бабенок, бесстыжая твоя рожа! Положь платья! Слышь?!

Пишка отнес платья на прежнее место, а Тишке приказал:

— Будь свидетелем, Тиша. Обозвала меня кобелем, да еще паршивым. Это оскорбление личности. Она у меня ответит за это.

— Отвечу, только уматывайся, ради бога! — Феню разбирал смех.

— Уйдем без твоих указаниев. Постыдилась бы тятьку-то на помощь звать. Сама уж, чай, вскорости будешь маманей.

— Буду и бабушкой. А тебе-то какое дело?

— Пойдем, Епифан, от греха подальше, — тихо предложил трусоватый Тишка и первым направился к дороге. Пишка, матерясь потихоньку, побрел за ним. Успокоившись и уж сам похохатывая над собой, сказал:

— А ты болтал, что я мастер на уговоры. Видел теперь, какой из меня мастер? К этой не просто будет подмаслиться. Поддаст копытой, дорогу к дому не отыщешь.

— Известное дело — Угрюмовы, — посочувствовал Тишка и предложил: — Давай, Епифан, и мы споем.

После некоторого колебания Пишка согласился:

— Давай.

Певческие возможности приятелей, как известно, были крайне ограниченны. Сказать, что у обоих решительно не обнаруживалось никакого музыкального слуха, это еще ничего не сказать. Катастрофически мал был запас самих песен. В сущности, кроме "Хаз-Булата" да "Располным-полна коробочка", у них было еще по одной лишь песне, из которых каждый помнил по два-три слова — не более. Тем не менее Тишка запел:

Ах, пуля-злодейка
Грудь пронзила мою удалу.

Пишка не знал ни мотива этой Тишкиной песни, ни этих ее слов, а потому и запел свою собственную:

Из-под тоненькой белой сорочки
Высоко подымалася грудь...

Феня, держа заколки в зубах и одергивая на литом, мокром теле липнущее платье, зло сказала:

— Будь дома Филипп Иваныч, небось сторонкой обошли бы нас, кобели несчастные!

— Это уж так, подруженька моя дорогая, — как бы сокрушаясь вместе с Феней, сказала Маша. — Теперя ты держись, будут приставать. Ты ить распечатана...

— Дура! — оборвала ее Феня.

— Не серчай, я ить правду говорю. Держись, Фенька! Мужики любят молодых одиноких бабенок. Лучше уж не выглядывай по ночам.

— Ну, хватит об том. Чего заладила?

Феня смягчилась вдруг, обняла подругу и почему-то крепко поцеловала. Сказала, расчувствовавшись:

— Одна ты у меня осталась, Машуха!

На противоположном берегу, против сада, появился Павлик, резко взмахнул пастушьим кнутом, извлек из него оглушительно звонкий, трескучий хлопок. Берега реки и лес многоголосо ответили ему, точно передразнивая, таким же звонким и трескучим эхом. Павлику это понравилось, и он взмахнул еще раз. Но кнут не издал хлопка, змеею обвился вокруг худенького тела пастушонка, концом хвоста, сплетенным из конских волосинок, обжег щеку, оставив на ней косой лилово-красный след. Павлик даже не хмыкнул, только, будто разозлясь на кого-то, изо всех сил заорал:

— Феня-а-а! Тятька домой зовет!

— На кой? — по-мальчишески отозвалась Феня.

— Тетка Авдотья приехала. Сейчас у нас! И Авдей тоже! Ну, ты скорей!

Павлик опять хлопнул кнутом и ушел. А Феня не могла стронуться с места. Маша удивилась:

— Что с тобой, Фенька? На тебе лица нет!

— Вот еще выдумаешь! Пошли! — Уже в селе Феня попросила: — Пойдем и ты к нам, Маша.

— Неудобно. У вас гости.

— Подумаешь, гости! Сродственники. Ай не знаешь Авдотью и Авдея? Пошли, пошли!

Поцеловав Феню, обмочив ее щеки слезами, которые для таких случаев были у нее всегда наготове, Авдотья сейчас же обрушилась с притворными упреками:

— Хороша, хороша, нечего сказать! Выскочила замуж и на свадьбу не пригласила. Забыла, поди, как я тебе сопли утирала да леденцами потчевала? Ай-ай-ай, Феюха! Как же это ты, а?

Феня, быстро покрываясь краскою, глядела краем глаза через плечо старой ворчуньи на улыбающегося и

тоже малость смутившегося Авдея, ждала, когда Авдотья выговорится, отведет душу, скажет все то, что полагалось в подобных моментах, чтобы потом самой тоже сказать обязательные и ничего не значащие слова. Она вымолвила их торопливо, чтобы уж поскорее избавиться от необходимости говорить:

— Так ты уж и приехала бы на мою свадьбу! Велика нужда!

— А вот и приехали б! У сына отпуск, а мне все одно: домой пора.

На приглашение отца к столу Феня ответила, что ей надо переодеться, сбросить с себя это тряпье (она так и сказала: "тряпье"), и коротко глянула при этом на улыбающегося Авдея, еще не составившего в уме того, что он должен сказать молодой этой женщине, которая вчера еще была девчонкой. Феня потянула Машу Соловьеву, до того не знавшую, куда себя деть, в горницу. Там они были долго, до той поры, пока терпение ожидающих гостей не истощилось и пока заметивший это Леонтий Сидорович не покликал дочь. Феня вышла наконец. И мать, и отец, и даже Павлик увидали вдруг, что их Феня никогда еще не была так хороша, как в эту минуту. Даже подвенечное платье ей так не шло, как эта простенькая белая кофточка с красной юбкой, по которой вроде бы небрежно были разбросаны крупные черные кружочки, с легко повязанным вокруг шеи кисейным, тоже красным, платком. И все это оживляло Фенино лицо и, в свою очередь, оживлялось ее глазами — большими, темно-синими, широко поставленными друг от друга, в которых что-то мерцало и переливалось, а временами вспыхивали напряженно-тревожные огоньки.

— А уж это не Машенька ли Соловьева будет? — спросил Авдей явно для того, чтобы скрыть собственное смущение и восторг перед неожиданной красотою старшей дочери Угрюмовых; он покраснел так, что даже маковка на его голове подрумянилась, и светлые курчавые волосы не могли скрыть этого.

— Я и есть! — сказала Маша и смело угнездилась по правую его руку, еле сдерживая рвущуюся изнутри радость.

Фене это не понравилось, и, стараясь еще в зародыше придавить подымающуюся неприязнь к подруге, она мысленно отчитала себя: "А тебе-то не все ли равно? Замужняя ведь! Пускай Маша сядет, она вон даже пригожей стала, может, приглянется Авдею".

Авдей между тем начал неназойливо ухаживать за

Машей, удивив и ее, и всех Угрюмовых манерой, чуждой завидовцам: попросил у Аграфены Ивановны еще одну тарелку, поставил ее против Маши и ее же вилкой стал накладывать разную еду.

— Это что ж, в городе научился? — спросила Феня и сама удивилась холодку, который был в ее голосе и который наверняка услышали все сидящие за столом.

— В городе, — сказал Авдей и спокойно посмотрел на Феню: — А разве это плохо?

— Мы не знаем, плохо или хорошо. Мы по-нашему, по-завидовски: из общей тарелки. А ты, знать, совсем городским стал. И говоришь не по-нашему, акаешь вон, к а р о в а говоришь, а для нас она — к о р о в а...

— Ну, вы вот что... Не про то вы затеяли, — перебил Феню отец. — Давайте-ка лучше выпьем за наших дорогих гостей!

Выпили. Маша зажала концом платка рот, замахала рукою: "Фу!" Феня, не спуская с Авдея глаз, выпила целый стакан и сказала с почти мужицкой лихостью:

— Вот как надо пить за дорогих-то гостей!

— Ты что это, девка? Никак с ума сошла! — встревожилась Аграфена Ивановна, а на мужа глянула с укором: — И ты тоже. Рази можно бабенке наливать столько?! Она глупая.

— Тять, налей еще! — попросила Феня. — День-то какой ноне: одних провожаем, других встречаем. Почему бы не напиться? Наливай, тять!

Однако Аграфена Ивановна взбунтовалась: отобрала у мужа недопитую посудину, унесла в горницу и спрятала в своем сундуке, а Фене да и гостям показала ключ: вот, мол, вам чего вместо самогону! Все посмеялись и начали выходить из-за стола: какое же продолжение без выпивки? За столом остались лишь хозяйка да Авдотья — они собирались почаевничать, на то у них уйдет остаток дня. Феня нырнула к себе за занавеску, не раздеваясь, рухнула в постель.

Маша попросила Авдея проводить ее до дому.

Вернувшись, он зашел к Фене, потрепал ее за плечи:

— Неужели спать улеглась?

— А тебе чего?

— Вставай. В лес прогуляемся.

— Ишь какой ты проворный! В лес... Вон Машу пригласи, поди, рада-радехонька будет. А меня оставьте в покое.

— Чего злишься? — спросил он ее прямо.

— С чего ты взял?

— Не вижу, что ли?

— Видишь, так и ладно. Что пристал? Я не девчонка, да и ты не марьяжный. Уходи, Авдей! Слышь? Сейчас же уходи!

— Ты его любишь, Феня?

— А тебе не все равно?

— Было бы все равно, не спрашивал бы.

— Люблю, коли вышла за него. Ты уходи. Дай мне одной побыть.

Авдей ушел, но тотчас же появился Апрель, возникший перед Феней точно приведение. Она молча, испуганно глядела на него. Апрель успокоил:

— Не бойсь. По делу я. Завтра сбор огурцов. Зови своих подруг и на зорьке — за реку, к желобам. Не опаздывайте только. Мне и так за вас от председателя влетело. Так что попроворней, Фенюха. А Машку, пожалуй, не бери, от нее одна вредность, болтает цельный день.

— Ладно, дядя Артем, иди.

Утром Феня собралась до свету. Ей и самой хотелось уйти куда-нибудь из села на весь день, потому наряд огородного бригадира пришелся как нельзя кстати. За какие-то полчаса обегала все дворы, разбудила девчат — в том числе и Машу Соловьеву — и, не дожидаясь их, одна пошла за реку. Решила идти лесной дорогой, давно не хоженной и заросшей высоченным разнотравьем. На обнаженные Фенины икры крупными холодными каплями брызгала роса. Подол юбки скоро вымок и обвился вокруг ног, затрудняя шаг. Но Фене было хорошо от этой прохлады, остужающей молодое, разгоряченное тело. Дышалось легко, в груди было просторно, свежо. Часто путь ей преграждали низко склонившиеся ветви пакленика, вяза, молодого клена, а возле высохших болот — ивы. Феня низко наклонялась, ныряла под ветки, но то головою, то спиной задевала тяжелые от росы листья, и с них текло за ворот кофты, ледяные капли стремительно катились по спине, по желобку между лопаток.

Вчера, перед тем как заснуть, и нынче утром она не думала о Филиппе Ивановиче, не думала и сейчас и вспомнила почему-то лишь тогда, когда споткнулась о бугроватый корень дуба, окаменевшим удавом растянувшийся поперек дороги, и сильно ушибла босую ногу. Пока растирала палец, поплевывая на него точно так, как делала в детстве, пока физическая боль постепенно угасала, в сердце подымалась другая боль. Откуда это? И Феня опять вспомнила про мужа и тут же решила, что провинилась перед ним тяжко, непоправи-

мо. И она инстинктивно торопливо начала отыскивать теперь его вину перед нею, которая конечно же оказалась большей. Ведь он ее обманул. Сватаясь, утаил, что его могут послать в долгую, как он сказал потом, командировку. Что означает — командировка? Она пыталась узнать от него, но он отделался шуткой, поцеловал, как ребенка, и опять назвал Ивушкой неплакучей. Какая она Ивушка? Ноги толстые и кривые, бедра как у битюга немецкой породы (завелся на колхозной конюшне такой, добыл где-то председатель этакую уродину). Ничего себе Ивушка!

Феня вдруг остановилась, оглядела себя всю, положила руки на талию так, что большие и средние пальцы рук почти сомкнулись за спиною и на животе, потом провела ладонью по груди, удовлетворенно подумала: "Что это я срамочу себя? Какой же я битюг? В поясе прямо-таки оса, а ноги не кривые и вовсе не толстые... И все-таки не хочу, чтобы он меня так звал: Ивушка. Услышат девчата — вот и готовенькое прозвище, завидовцы мастера на них... Ну, а в чем же я-то виноватая? Ах, да, не проводила его по-людски. Надо бы выйти на улицу, а можа, поехать с ним в район... А я... Нет, не о том я..." Феня чувствовала, что не в этом ее главная вина. Она присела на старый, подгнивший пенек, порушила малость голой пяткой притулившийся у потрескавшейся трухлявой коры муравейник, но, задумавшись, не заметила этого. Множество малюсеньких красноватых существ, подняв тревогу, замельтешило у ее ног, забегало, засуетилось.

— Ишь ты — "в лес прогуляемся", — горько усмехнулась она. И вдруг от этой горькой усмешки ей стало легко и свободно. Она быстро поднялась с пенька, вздохнула всей грудью, даже засмеялась тихо. Дальше не шла, а бежала, купаясь в росе, не разбираясь, прямо окуналась в листья торжествующе-сияющим, улыбающимся лицом.

У речки по имени Баланда́ Феня, не задумываясь, сбросила с себя всю одежду, скомкала в один узел, подняла высоко в одной руке и, отталкиваясь ногами и другой, свободной, рукой, легко переплыла на спине на противоположный берег. Убежденная, что сейчас она одна во всем белом свете, не торопилась одеваться. Еще раз — только уж более придирчиво, чем в лесу, — оглядела себя, тщательно обтерла мокрое, мгновенно покрывшееся пупырышками тело, попрыгала на месте, будто играя в скакалки, и только потом потянулась к платью. Сорвавшийся из-под ее ноги ком земли покатил-

ся вниз, зашумел в талах и звонко булькнулся в воду. Из-за талов тотчас же последовал сердитый окрик:

— Ты што это, шалава, принялась рыбу-то у меня пугать?

— Ой! — Феня схватила сразу всю свою одежду и прикрыла нагое тело. — Дядя Артем, и не стыдно тебе... подглядывать?

— Мне-то что стыдиться? Я вас в разных видах за свой век нагляделся. Да и не глядел я на тебя. Нужно мне! Тут вот за поплавками хоть узреть. Одевайся, чего торчишь нагишкой-то?

— Дядя Артем, миленький, не смотри сюда. Я сейчас.

— Сказано: не гляжу.

Апрель взмахнул удилищем и демонстративно завозился в талах, повернулся к Фене спиною. Одевшись, она подкралась к нему сзади, крепко обхватила длинную, тощую его шею, запрокинула голову так, что седая, редкая бороденка уперлась в небо, и звонко чмокнула прямо в губы.

— Тю... с ума сошла, девка! Поди прочь! От меня табачищем воняет, да луку налопался с утра. Иди, сейчас девчата заявятся. Я чуток позорюю, можа, на щербу вам надергаю окуньков.

Девчата пришли, когда Феня натаскала уже целый ворох огурцов. С шести или семи лет усвоившая извечную формулу работящих людей насчет того, что глаза страшат, а руки делают, она не испугалась диких зарослей, в которых надо было отыскивать урожай, неожиданно оказавшийся обильным, а погрузилась в знакомое состояние труда, всякий раз распаляющее молодые, сильные ее мускулы, наполняющее их нетерпеливым зудом. Перед тем как сорвать огурец, она скажет ему что-то ласковое, как говорят ребенку: "Ах ты, мой зеленький, ах ты, мой рябенький, заждался, поди?!", или: "Ох уж эта мне цыганка, лебеда проклятущая, задушила тебя совсем, моего сладкого пупырышка, пупленка моего милого!.." Феня наклонялась и что-то говорила каждому, а руки ловко и проворно шарили в траве, под огуречными шершавыми лопушками, отправляя в подоткнутый подол юбки один огурец за другим. Этот разговор был нужен ей и для того, чтобы тело не чувствовало усталости, а мысли уходили от опасного, и для того, чтобы время бежало незаметно, и для того, чтобы самой было повеселее, не одиноко.

Маша Соловьева, позавтракав из своего узелка, сейчас же пристроилась к Фене и стала таскать огурцы

в ее кучу. Феня видела эту хитрость (одна-то Соловьева ни за что не выполнила бы нормы), но молчала: пускай, лишь бы работала! Время от времени Феня не выдерживала, разгибала поламывающую немного спину, говорила подруге не столько с упреком, сколько с горьким сожалением:

— Ну, что мне с тобою делать, Маша? Аль не видишь — топчешь ведь живые плети прямо с цветом? Они ведь еще родить должны!

— Подумаешь! — сердилась Маша. — Аль свои? Их вон какая пропасть тут!

— Дурочка. А чьи ж, по-твоему?

— Колхозные.

— Дрянь ты, Машка, — тихо и устало говорила Феня и уходила, чтобы оказаться подальше от подруги.

От речки вышагивал Апрель, да не один. С ним был Авдей. Вот еще принесла нелегкая. Чего он тут не видал?

Феня посмотрела на девчат, убедилась, что, кроме нее, на приближающихся никто не обратил внимания, упала на четвереньки и далеко уползла в сторону. Отыскала канаву, по которой шла вода во время полива и которая сейчас была суха, и залегла в ней. Лебеда тут была еще выше, так что если б Феня и поднялась, встала во весь рост, то и тогда ее не было бы видно. Через некоторое время послышались голоса:

— Феня-а-а-а!

— Фенька!

— Ты где это запропастилась, Фенюха?

— Фень-ка-а-а!

Феня не отзывалась.

6

От Филиппа Ивановича пришло письмо, давно ожидаемое и все-таки неожиданное, как первый выпавший ночью снег. Привез его на своем захлюстанном "козлике" ранним-преранним утром сам секретарь райкома партии.

Его суховатый, надтреснутый голос Феня услышала поначалу как сквозь сон, потом уж подключилось и сознание; у Фени отчего-то часто, торопливо застучало сердце, она соскользнула с постели, на цыпочках приблизилась к двери, затаилась, слушая.

Федор Федорович Знобин разговаривал с ее отцом. И говорил он совсем не о том, о чем хотелось бы Фене.

Секретарь спрашивал о колхозных делах, о новом — шестом уже по счету — председателе, тоже не прижившемся, о заготовке кормов, об очередном наборе ребят и девчат на курсы трактористов; спросил и о Грише, который, оказывается, учился вместе с сыном Федора Федоровича в педагогическом техникуме, и только под конец Феня услышала то, чего ждала с отчаянно бьющимся сердцем:

— Старшая-то дома у вас?

— Дома, где ж ей быть, — сказал Леонтий Сидорович. — Феня!

Феня бегом вернулась в постель, закрылась одеялом с головой. Слышала, как скрипнула открытая отцом дверь.

— А ты, может, выйдешь к нам? — донесся из другой комнаты голос Федора Федоровича. — Уж больно долго спать изволите, красавица. А еще говорят про тебя, что ударница. Вставай-ка, поговорить надо.

Сердце ее заколотилось еще сильнее, хотя по голосу секретаря нельзя было определить, с какой — худой, доброй ли — вестью объявился он в доме Угрюмовых в столь ранний час. И потому, выйдя из горницы и уставившись на него тревожными глазами, она пыталась по его виду понять, с чем пожаловал к ним самый главный районный начальник. Федор Федорович был непроницаем, как осенний туман, из которого он десятью минутами раньше вынырнул на своем забрызганном грязью автомобиле, и по сию минуту почему-то не прекратившем глухого, сердитого ворчания где-то там, за окном.

— Подруги небось давно на работе, а ты...

— Подруги спят еще без задних ног, Федор Федорович! Это вас, знать, великая нужда подняла ни свет ни заря.

— Нужда, это верно. Приятная нужда. Письмо тебе привез, красавица. От мужа. Ну, ну, вот это уж ни к чему! Зачем бледнеть? На, держи!

Он еще не успел вынуть совсем руку из кармана, как Феня выхватила конверт, мгновенно пропала за дверью. Вскоре появилась вновь, уже одетая в ватник, на ходу поблагодарила секретаря, но Федор Федорович остановил ее:

— Вот те раз! Кто ж так благодарит? А ну-ка, милая, вернись, да поцелуй старика, да сбегай в погреб за огурчиком — приозябли мы с моим Андрюхой в дороге.

Феня вернулась, неловко обняла Федора Федоро-

вича, поцеловала в обе щеки и, схватив с судной лавки большое блюдо, метнулась к двери.

— Андрея, шофера моего, позови в дом. Закоченел, поди! — крикнул ей вдогонку секретарь, а Леонтия Сидоровича спросил внезапно: — Что-то ты совсем забыл меня, отец? А в пятнадцатом, под Перемышлем, в одной роте служили, да и в семнадцатом распрощались с окопами по доброй воле в один день, а точнее — в одну ночь. Забыл?

— Нет, не забыл, Федор Федорович.

— Однополчане мы. А ты хотя бы раз зашел ко мне, есть ведь что вспомнить. И в Туркестане были в одной дивизии. Правда, не видались, не довелось. А все же... Нельзя боевых друзей забывать, Леонтий!

— Шишка вы теперь большая, Федор Федорович, — сказал грубовато Леонтий Сидорович и, боясь, что гость его обидится, поспешил добавить: — Вы уж извините меня — мужик он и есть мужик. Слов других, которые поприятственнее были бы, у него нету. У мужика.

— Шишка, говоришь? Верно — шишка. Только мне б не хотелось, чтоб о нее мои товарищи спотыкались.

— Что-то я вас не очень понимаю, Федор Федорович.

— Не понимаешь — и ладно. Туманно, знать, говорю. А вообще-то у меня есть к тебе дело, Леонтий. Не прогулялся бы ты со мною завтра в райком? Сегодняшний денек я у вас потолкаюсь, в Завидове, а завтра, на зорьке, и махнули бы, а?

— Зачем это я вам спонадобился? — встревожился Леонтий Сидорович.

— А там узнаешь.

— Секрет, стало быть.

— Что ж, бывают и секреты. Только бояться нам с тобой нечего. Едем, значит?

— Коли прикажете.

— Не приказываю, а прошу.

— Знаю я ваши просьбы, — ухмыльнулся Леонтий Сидорович.

— Ну, а знаешь, так и лады! — тоже улыбнулся Федор Федорович и, завидя в дверях Феню с полным блюдом соленых помидоров и огурцов, от которых подымался холодный, аппетитный парок, оживился еще более: — Ах, умница! Ба, да там еще и арбуз выглядывает, ну, это уж совсем убила, прямо наповал! Андрюха, а ты чего топчешься у порога? Раздевайся, мы приехали в гости к моему другу, понял?

Шофер сбросил фуфайку на сундук и, привечаемый сразу всеми — хозяином, хозяйкой, их дочерью, — под-

сел к столу с тою привычною непринужденностью и простотой, какая выработалась у шоферов, проведших долгую бродяжью жизнь при районном начальстве. Такой шофер никогда не знает, сколько им еще придется мотаться по селам, где и кто догадается покормить их, поэтому первую же такую возможность он старается использовать наилучшим образом.

За столом вспомнили про Фенино замужество, про свадьбу. Федор Федорович вновь посетовал, что не был приглашен на нее; говорили про Филиппа Ивановича, не затрагивая при этом главного, того, где же все-таки он находится сейчас, что же это за командировка у него такая, что никто о ней ничего не должен знать. Добрались в разговоре и до шофера Андрея Васильевича, которому было уже за тридцать. Аграфена Ивановна (Феня куда-то успела все-таки сбежать), потчуя гостей, спросила у Андрея про его семью и страшно удивилась, когда тот сказал, что не женат.

— Что же это ты, милок? Неужто невесты не нашлось?

— Невест хватило бы и на мою долю, хозяюшка, да вот времени нету, чтобы жениться. Всю жизнь первых секретарей вожу!

Леонтий Сидорович хмыкнул сдержанно. Секретарь же надулся как-то весь, щеки вспухли и вдруг выхлопнули оглушительный звук, за которым последовал долгий, захлебывающийся, перемежаемый кашлем смех.

— Ах, негодяй! Все на меня свалил! — отдышавшись, но все еще сотрясаемый новыми приступами смеха, заговорил Федор Федорович. — Ну, это я тебе припомню, разбойник ты этакий. Я, значит, помешал тебе жениться? Погоди же! Завтра окручу с нашей секретаршей. Надёнка давно заглядывается на тебя!

— Так уж и заглядывается?

— Заглядывается. Будто ты и не знаешь...

Вернулась Феня, и Андрея оставили в покое. А она встала возле печки, рядом с матерью, и оттуда уж спросила несмело:

— Федор Федорович, посылочку можно ему собрать?

— Думаю, Феня, этого не надо делать. Вот письмо строчи сейчас же. Я сам отправлю — поскорее дойдет. Только поласковей сочиняй, клянись любить до гробовой доски и быть верной женой. Нашему брату это нравится. Поняла? Ну, валяй. Бумага-то есть? Хорошо. Иди пиши. А нам с твоим отцом пора в правление. В сельском Совете кто теперь, что-то запамятовал? —

спросил он у Леонтия Сидоровича, когда Феня скрылась за дверью. — Шпич? Санька?! — удивился Федор Федорович. — Неужели он? Батюшки мои, как время-то бежит! Давно ли вручал я ему премию за охрану урожая? Ну и ну! Пионером и потом комсомольцем он был шустрым. Впрочем, он и сейчас еще в комсомоле. Непременно загляну к этому шкету. Подумать только: Санька Шпич — Советская власть на селе! — Федор Федорович долго еще ахал и охал, удивлялся Санькиному стремительному восхождению, а глаза недисциплинированно косились на шесток, где на высоком тагане дожаривалась яичница с картошкой — любимая его еда. Слышал за спиной соблазнительное шипение и всхлипывание сковороды и шофер, сидел, однако, спокойно, глаз не косил, но и покидать своего места не собирался.

Феня появилась с ответным письмом, когда сковорода уже опросталась — Федор Федорович проворно очищал ее дно ломтиком ржаного хлеба, а шофер благодарил хозяйку за угощение и собирался на улицу, где, освоившись с обстановкой, Павлик изо всех сил жал на кнопку автомобильного гудка.

Завершив свое дело, секретарь райкома поднялся, тоже поблагодарил хозяев, взял из рук Фени конверт, пощупал:

— Не годится. Тощевато.

— Да я торопилась. Вам, поди, неколи ждать-то.

— Подожду. На, дописывай. Ночевать все равно к вам приеду. Пиши. Ну, пойдем, Леонтий. Будешь у меня за провожатого.

— А председатель сельсовета?

— И председатель. Оба пойдете. Сам же обо мне сказал — шишка.

И Федор Федорович вышел во двор. Аграфена Ивановна видела через щелястую сенную дверь, как он заглянул в хлев, потом потрогал плетень — прочно ли стоит, долго осматривал новый хлев и только уж потом пошел к машине. Усадив рядом с собой Леонтия Сидоровича, попросил:

— Заглянем к Николаю Ермиловичу.

— К дяде Коле? — удивился Леонтий Сидорович.

— Это для ребятишек он дядя Коля, а для нас с тобой Николай Ермилович Крутояров, в прошлом — боевой моряк, секретарь первой в вашем селе партячейки.

— Да, но...

— Никаких "но"! Обидели его ни за что ни про что. А старику цены нет. Говорят, и пить перестал. Его бы к делу какому пристроить... Пока что пенсию персо-

нальную ему выхлопотали. Пойдем сообщим о том, порадуем старого моряка. Вспомни меня: еще много хорошего увидят от него люди.

На шум мотора во двор выбежала Орина, жена дяди Коли, встревоженно выглянула из полуоткрытой калитки, увидала Знобина с Угрюмовым и успокоилась. Позвала:

— Миколай, кажись, к тебе.

Дядя Коля вышел из избы, приблизился к машине:

— Никак это вы, Федор Федорыч? А я, грешный, подумал: опять ваши мудрецы "деньгодельный" станок искать приехали.

— Они плохие искатели. Пришлось мне вот самому за тебя взяться. Приглашай в избу.

7

Новая, странная, непонятная жизнь, однажды ворохнувшаяся под сердцем, теперь давала о себе знать все чаще. Вот и сейчас Феня вздрогнула от глухого и вместе с тем острого толчка, впервые заговорила с ним, невидимым, но таким волнующе близким: "Что ты, миленький? Мамка ушибла, знать, тебя? Вот я ее за это!" "Мамкой" она назвала себя впервые и улыбнулась — это слово было привычным и простым до тех пор, пока не относилось к ней самой. И по какой-то необъяснимой связи мысль Фенина перекинулась не на Филиппа Ивановича, отца ее будущего ребенка, а на Авдея, которого давно уж не было в Завидове и которого она старательно избегала и даже не вышла из своей горенки, когда он хотел попрощаться с нею. Она сейчас же настойчиво заставила себя думать о муже.

"Где ты, мой хороший? Почему же ты так долго не отвечаешь на мое письмо? Можа, я дурное что сказала в нем, можа, обидное что? Ты уж прости меня..." Губы беззвучно шевелились, глаза тревожно светились в тумане, и вдруг Феня с ужасом поймала себя на том, что слова эти не вязались с тем, о чем она сейчас думала. Думала же она по-прежнему об Авдее, только о нем, и видела сейчас его, а Филиппа Ивановича никак не могла припомнить таким, какой он есть, и это было страшнее всего: Авдей стоял перед ней ясно, как живой, со всеми до единой черточками на его лице. И чтобы не думать о нем, Феня быстро достала из-под подушки письмо мужа и в который уже раз стала читать: "Феня, Ивушка ты моя, как же я люблю тебя, если б только

ты знала! До сих пор не могу простить себе, что не сказал тебе про то, как нужно, ни разу не приласкал, как хотелось, а все дулся, как глупый индюк. Отсюда, издалека, ты для меня еще милее, моя любимая, хорошая, родная моя женушка!"

— Мам! — тихо позвала Феня.

Вошла мать.

— Ты что?

— Приляг со мной. Чтой-то мне зябко, мам...

Аграфена Ивановна удивилась:

— Ты что, ай маленькая?

— Ну, иди. Я так... — И, когда мать вышла, вспомнила: — Газету не принесли, мам?

— Како там! Он, нечистый его побери, в неделю один только раз приносит почту-то, — отозвалась Аграфена Ивановна из другой комнаты.

Тот, которого должен был бы прибрать к рукам "нечистый", почтальон Максим Паклёников, действительно не утруждал себя ежедневным разносом писем и газет: скапливал их за всю неделю и только потом оставлял, точно подкидыша нерадивая мать, у калиток или сенных дверей завидовцев. Прежде такое положение вещей не очень-то огорчало Феню, но теперь она по-настоящему разгневалась:

— Ну, зачем держат такого! Самого ленивого мужика поставили почтальоном. Любая девчонка лучше бы его справлялась. Живем, как бирюки, не знаем, что на белом свете творится.

Сказать по-честному, раньше не так уж сильно волновали Феню дела на белом свете, но с началом войны в Испании, и особенно после того, как Филипп Иванович отправился в свою загадочную командировку — а Феня, чай, не дурочка, не маленькая, чтобы не понять, какая это командировка, — она с нетерпением стала ждать почту. Писем не было, и она с жадностью набрасывалась на газеты. Теперь Феня и сама готова уж была поехать в Интернациональную бригаду, сражаться с фашистами. "А можа, и вправду написать заявление? Взяли же моего Филиппа. А я рази не человек? Там же много женщин воюет!" Как далеко зашла б она в мыслях своих, неизвестно, но сильный, напористый толчок повторился, заставил вспомнить о ее состоянии, и Феня тихо и горько улыбнулась: "Тоже мне воякa! Нет уж, миленькая, будь дома и готовь вон зыбку!"

Посидев еще в задумчивости, она вдруг быстро поднялась, начала торопливо одеваться. Долго охораши-

валась у зеркала, даже щипнула там и сям бровь, не видя, как мать в полуоткрытую дверь беспокойно наблюдает за ней от печки, из другой комнаты.

В нардоме сильно удивились ее появлению: подруги давно не видали тут Фени.

— Ба, Фенька пришла! — невольно вырвалось у одной из них.

Фене показалось это обидным: как быстро ее "списали", вроде бы она уж тут лишняя. Не глядя на подруг, прямо, решительно направилась к гармонисту, мальчишке лет пятнадцати, который не успел еще освоиться с положением парня-гармониста, но которому ужасно по душе такое положение, и на просьбу Фени сыграть краковяк он развел мехи с ненатуральной небрежностью и не идущей его возрасту ленивой снисходительностью. Феня направилась теперь к Пишке — так же решительно и дерзко.

— Пошли, Епифан!

Давно женатый, Пишка, однако, любил вертеться возле молодых, являлся на все их гулянки.

Некоторое время на круге были лишь Феня да Пишка, они громко подтрунивали над собою и глазеющими парнями.

— А ты на ноги-то не наступай, медведь косолапый! — проговорила вдруг Феня.

— Ничего тебе не сделается! — ответствовал Пишка. — Почаще приходи — научусь. Моя Дуняха, слава богу, не ревнивая.

— Я б на Дуняхином месте тоже не больно-то ревновала. Глянь-ка на себя. Ты ведь, Пишка, на всех чертей похожий.

— Так уж и на всех?

— На всех.

— А чего ж ты выбрала меня?

— Не сосунков же приглашать. Сам сказывал: баба я теперь.

В дверях появился Тишка, чем-то до крайности взволнованный.

— А Тишка — тоже сосунок? — спросил Пишка.

— Хуже сосунка. Разве он мужик — во всем тебя слушается. Опять наступил на ногу! Иди-ка ты, Пишенька, к своей Дуняхе, скучно с тобой! — с этими словами Феня и оставила своего напарника посреди зала.

Пишка, бесцеремонно растолкав танцующих, выбрался из круга, подошел к своему другу.

— Ну, чего руками машешь?

— Завтра нас с тобой, да и всех наших одногодков в

военкомат вызывают. К чему бы это? — глотая слова, торопливо выговорил Тишка. — Нам ведь за тридцать.

— А, ничего особенного, — небрежно отозвался Пишка. — Поменяют военные билеты на новые, заглянут тебе в рот, как цыган лошади, еще куда-нибудь, послушают в трубку для порядку, потом шлепнут по голому заду — и катись, Аника-воин, домой. И все тут.

— А вдруг не все? В Испании, сам знаешь... Теперь еще Германия... Всё поговаривают...

— Руки у фашистов до нас коротки.

— Может, и коротки, зато загребущи.

— Оттяпаем, коль сунутся. Да Германия на нас не нападет. Дурак ты, Тишка, и все потому, что газету не выписываешь.

— А я и читать-то разучился. Два неоконченных класса — вся моя академия. Да и что в тех газетах? Об одних ударниках да стахановцах талдычат. А Колымагинов сын, Петька, пишет отцу с матерью, что отпуска им, пограничникам, отменили. Это как понимать?

— Мало ли что, — сказал Пишка, хотя в голосе его не было теперь прежней твердости.

...За остаток вечера Феня дома успела переделать множество дел и передумать такое же количество дум. И делала она свои дела и думала свои думы одновременно. Перво-наперво взяла с материных рук заснувшую младшую сестренку Катеньку и унесла ее в свою кровать. Уложила там, хорошенько накрыла одеялом и вздохнула: скоро уж не Катеньку будет укладывать рядом с собою, а свою доченьку. Феня была совершенно уверена, что у них с Филиппом Ивановичем непременно родится дочь, которую они назовут Валей, Валюшей, Валентиной, как ту пионерку, про которую написаны хорошие стихи. Филипп Иванович сразу же после их свадьбы признался, что очень хочет, чтобы у них первым ребенком была дочь.

Слушая тогда его слова, она еще ничего не знала об извечной хитрости всех отцов на свете, и в особенности молодых отцов: чтобы не огорчать жену в том случае, когда она родит дочь, он, отец, на этот самый случай загодя говорил ей, что непременно ждет дочь. Ну, а если родится сын — о чем мечтают 99 отцов из 100, — так разве это плохо? Сын, наследник, хранитель отцовской фамилии! Феня не ведала про ту маленькую хитрость и думала о дочери. Убедившись, что Катенька крепко-крепко спит, она тихонько подняла большую зеленую, в железных переплетах крышку сундука и, выложив оттуда одну за другой все свои и Филиппа

Ивановича вещи, с самого дна достала небольшой картонный коробок, который вплоть до нынешнего вечера боялась открыть — почему-то немного стыдно было. Теперь она извлекла из коробки распашонки, несколько льняных и теплых байковых пеленок, три пары штанишек и столько же пар крохотных, уморительно смешных носочков — глядя на них, не поверишь, что тут может поместиться человеческая нога. Все это приданое будущему ребенку раздобыл где-то в районном центре Филипп Иванович за два дня до отъезда в тайную свою командировку. Вспомнив про то, Феня нахмурилась, подумала: как же она плохо поступила тогда, что не вышла проводить его, не сказала ласкового слова на прощанье. В памяти его теперь только и будут злые, холодные слова ее и такие же злые, холодные глаза. Показнив себя за это, Феня вновь наклонилась над сундуком. Теперь она вытащила узелок, совсем маленький, но увесистый. Осторожно развязала — с глухим звяканьем на стол высыпались значки ворошиловского стрелка и те еще, из которых следует заключить, что их владелец на всякий случай подготовил себя и к санитарной обороне, и к химической. Феня собрала эти пестрые, захолодавшие на дне сундука штучки в пригоршню, прижала к груди и долго стояла, задумавшись. Потом тихо улыбнулась и сложила значки в детский носок, а затем в прежнем порядке уложила все в сундук.

Вышла в заднюю комнату, вымыла пол, судную лавку, достала из-под большой деревянной кровати грязное белье отца и Павлика, бросила в корыто и принялась стирать. Вспомнила о нардоме, о Пишке и была рада, что ушла домой, и теперь знала, что никогда не пойдет туда — разве что в кино. Языки у людей злые, могут и ославить. А ей очень хотелось, чтобы Филиппу Ивановичу, когда он вернется, сказали, какая у него хорошая, верная жена, и еще хотелось, чтобы их дочь родилась похожей на Филиппа Ивановича, только бы вот ростом не в него, уж очень длинного, девчонке это ни к чему. Не знала тогда Феня, что против ее ожидания родится мальчик и назовет она его в честь отца Филиппом Филипповичем.

— Хватит уж тебе, Фенюха, — сказала Аграфена Ивановна, войдя в избу с охапкой дров. — Сама достираю. Побереги себя.

— Что ты, мама! — Феня, поправив волосы, ниспадающие на глаза, яростнее принялась разминать крас-

ными, не по-девичьи крупными руками Павликовы портки, улыбаясь неприметно на материны слова.

У Аграфены Ивановны была одна особенность, про которую знали и Леонтий Сидорович, и Феня, и Гриша, и даже Павлик. За все дела по дому Аграфена Ивановна прежде других бралась сама и, переделав их, никого не потревожив, не позвав на помощь, потом принималась сетовать либо на всех "дармоедов" сразу, либо — что бывало чаще — на каждого в отдельности. Во втором случае она обычно начинала с Леонтия Сидоровича, который до того распустил всех, что никто не хочет помочь матери, а у нее, бедной, "рученьки уж отваливаются", да и сам сидит, свесив ноги с печки, тянет, нечистый его возьми, день-деньской свою вонючую соску, в избе хоть топор вешай. С мужем, однако, приходилось быть осторожней, не заходить очень-то далеко, а то можно было нарваться и на грозный угрюмовский окрик, от которого как бы все обрывалось внутри, замирало. И Аграфена Ивановна хорошо знала грань и не переступала ее, ежели, конечно, не увлекалась настолько, что забывала про все на свете.

После отца сразу же и надолго принималась за старшую дочь, но Феня, взявшая у отца несокрушимую его выдержку, спокойно говорила матери: "Давай, мама, я все сделаю. Давай постираю". "Постираете вы! — пуще прежнего гневалась Аграфена Ивановна. — После вас все равно приходится перестирывать!" Но это была уж такая неправда, что Аграфена Ивановна сама вдруг растерянно умолкала и торопливо отыскивала притворно сердитыми глазами кого-нибудь из младших детей. Если попадался Гриша, у него всегда наготове было оружие, которое он тотчас же и весьма успешно пускал в дело: начинал громко хохотать над мамкиными причудами, и той ничего не оставалось, как схватить утиральник и потянуть сына вдоль спины. До Павлика же добраться удавалось совсем редко: мальчишка успевал выскользнуть на улицу, а возвращался домой, когда мать успокаивалась, когда все в ней умирялось, когда она "искалась", лежа на широкой лавке где-нибудь поближе к свету, к окну, положив голову на Фенины колени.

"Искаться" Аграфена Ивановна страсть как любила — поскрипывание деревянного гребня в голове, шевеление проворных Фениных пальцев угомонно действовало на уставшую Аграфену Ивановну, поначалу "искальщицы" тихо переговаривались, потом мать незаметно умолкала, погружалась в легкий, покойный

сон — и это был единственный отдых, которому она отдавалась с тихой и светлой радостью. Чтобы не разбудить мать, Павлик на цыпочках подходил к судной лавке, отрезал кусок черного хлеба, густо посыпал его солью и так же на цыпочках уходил во двор. Просыпалась Аграфена Ивановна как-то вдруг, внезапно и всякий раз испуганно и укоризненно говорила сама себе: "Батюшки, да что это со мной! Расспалась, дура этакая. А у меня теленок не поен! И ты, Фенюха, молчишь, толкнула бы в бок-то!" Минутой позже голос матери был слышен уже во дворе: "Стой, Зорька, сейчас тепленького принесу, стой, милая!" — и голос ее был так же покоен и светел, как и короткий, нечаянный сон...

Сейчас Феня продолжала стирать, не уступила матери корыта. Да и та, видать, сказала просто так, лишь бы сказать что-то: мать ведь знала характер старшей дочери, недаром говаривала при случае: "Вся в отца — и обличьем и характером" — и, похоже, гордилась тем, что Феня уродилась именно такой. Постояв с минуту за спиною дочери, Аграфена Ивановна отошла, откинула заслонку печки и начала бросать в темный, широко открытый теплый зев ее сырые осиновые поленья — чтоб к утру подсохли, иначе их не разожжешь, будут шипеть до полудня — назавтра затеяна полная квашня хлебов, печь должна быть протоплена как можно жарче, не то погубишь тесто. Забросив последнее полено, вспомнила вдруг про Гришу: "К Новому-то году, чай, отпустят их на каникулы. Оборвался и обовшивел небось там, в общежитии-то своем. Господи, господи!" — и, выйдя на середину задней избы, повернулась лицом к образам, принялась долго просить о чем-то пресвятую богородицу.

Ни Феня, согнувшаяся над корытом, ни ее мать, стоявшая сейчас перед иконою, ни Леонтий Сидорович, по рекомендации райкома избранный на недавнем общем собрании председателем колхоза и пропадавший теперь где-то с утра до ночи, ни Павлик, забравшийся на печку и обтачивающий там черенок пастушьего своего кнута, ни тем более Катенька, спавшая на Фениной кровати, — никто из Угрюмовых не ведал, что вот уже полчаса возле их избы идет горячий спор промеж дяди Коли и почтальона Максима Пакленикова, которого бывший матрос перехватил у порога угрюмовской избы.

— Что так поздно, Максим? — спросил дядя Коля, преграждая почтальону путь к сеням.

— Письмо Феньке несу.

— От кого? От Филиппа Иваныча?
— Вроде как не от него.
— А ну, покажи.
— Это еще зачем?
— Покажи, говорю! Можа, ответ ей пришел.
Максим неохотно передал письмо.
Дядя Коля, потянув посильнее цигарку, посветил ею конверт. Прочел обратный адрес.
— Ты вот что, Максим... ты сейчас не носи. Тут надо все обдумать.
— Обязан вручить, — строго, с подчеркнутой официальностью вымолвил почтальон.
— С каких это пор ты стал таким аккуратным? На чарку надеешься? Смотри, как бы слезой бабьей не наполнилась та чарка. Пойдем лучше к Саньке Шпичу, посоветуемся. Не нравится мне это письмо.
Дядя Коля упрятал конверт в свой карман и отправился с почтальоном в сельсовет.
Санька Шпич сидел один во всем большом поповском доме, занятом ныне и под правление колхоза, и под сельсовет, и под детские ясли, и под фельдшерскую. Сидел под семилинейной лампой, отбросившей жестяным своим абажуром большую круговую тень на давно не беленный потолок. С сельсоветскими делами Санька управился еще к полудню и мог бы со спокойной совестью оставить свою контору и пойти либо домой, либо в нардом на гулянку, но сделать это естественное дело было невозможно. Невозможно по двум причинам. Во-первых, надо, чтобы народ знал, как занят Санька Шпич важными делами, дня ему не хватает на то, чтобы управиться с ними, приходится вот прихватывать и от ночи; во-вторых, в нашем учрежденческом быту постепенно начал укореняться порядок, каковой впоследствии перемешает прежние понятия о дне и о ночи, когда эти времена суток как бы поменяются местами — спать работники партийных и советских учреждений будут днем, а работать ночью. В области не погасится свет до той поздней минуты, пока он не будет выключен в одном кремлевском кабинете, откуда тихой мягкой походкой выйдет человек в защитного цвета, солдатского покроя мундире; в районе будут одиноко желтеть окна в кабинетах первого секретаря райкома и председателя райисполкома до того желанного часа, когда знакомый помощник п е р в о г о в области не сообщит, что тот выехал домой. Так дело дойдет и до сельсовета, до Саньки Шпича, значит. До этой же поры он должен сидеть за своим столом, под

огромной семилинейной лампой и коситься на висевший у дверного косяка телефон, похожий на саратовскую гармонь с колокольцами.

Санька только что спровадил Пишку и Тишку, по пути из нардома заглянувших к нему на огонек, и погрузился в созерцание бумаг, оставленных для него секретарем, когда в комнату ввалились озабоченные чем-то дядя Коля и почтальон Максим.

— Что там у вас? — тщательно следя за своим голосом, чтоб сохранилась в нем так трудно удерживаемая начальническая густота, строго осведомился Санька.

Дядя Коля улыбнулся и, к вящему неудовольствию председателя, вспомнил некрасовское.

— "Уж больно ты грозен, как я погляжу", — затем сжалился над Санькою, похвалил: — Ничего, Санек, с нашим братом так и нужно — построже... Не турни ты, скажем, сейчас Епифана с Тимофеем — на голову б сели. Это такой народец, я тебе скажу! Ну, а нас ты прости. По делу к тебе, за советом.

Санька долго рассматривал на свет большой казенный конверт, так и сяк повертел в руках, вытащил из кармана увеличительное стекло и, приложив к глазу, еще раз пробежал по строчкам обратного адреса. Хмыкнул, почесал в затылке и только уж потом заявил категорически:

— Вскрывать нельзя. Нарушать тайну переписки никому не позволено.

— Дурачок ты, Санька! Какая же тут тайна? Письмо-то из наркомата, казенное. А вдруг там...

Договорить дядя Коля не решился. Но Санька понял его.

— Сейчас позвоню в район. Справлюсь.

Он подошел к телефону, широко расставил ноги и начал крутить ручку. Внутри желтой коробки что-то утробно заурчало, засипело, а Санька, подув в трубку, начал затем орать в нее, будто на ухо глухонемому: "Алло, алло!" Но, видимо, к этому времени все кабинеты в районе уже опустели.

— Никого нет, — потерянно обронил Санька и глянул на дядю Колю, у него ища подмоги.

— Ладно, Санек. Беру всю ответственность на себя. Революционному матросу не привыкать. Дай конверт!

— Ты чего надумал?

— Давай, давай. Не бойся. Свидетель есть — вот он, Максим, как-никак тоже должностное лицо.

— А может, не надо? До утра, а? — нерешительно бормотал Санька.

Но конверт был уже в руках дяди Коли.

Максим взмолился:

— Меня от етова дела уволь, Ермилыч!

— Уволю, уволю. Поди прочь! — Дядя Коля так сверкнул на бедного почтальона темными своими очами, что тот шарахнулся к двери.

— Можа, все-таки до утра?..

Дядя Коля теперь уж никого не слушал. Решительно вскрыл конверт, извлек совсем малую бумагу и читал ее долго-долго. Потом поднял тяжелые, покрасневшие глаза, воткнул их в оробевшего Максима:

— Ну вот... так я и знал... а ты...

Феня достирывала белье. Хоть и говорят люди, что сердце человеческое — вещун, что оно раньше чует приближающуюся радость ли, беду ли, но нет, ничего худого не ждало Фенино сердце: стучало ровно, как всегда. Завтра оно застучит часто и испуганно, а рот Неплакучей Ивушки будет хватать воздух, и в глазах у нее все помутится. Сейчас же время от времени она тихо, про себя улыбалась, прислушиваясь к настойчивым, нетерпеливым толчкам родившейся в ней новой жизни, шептала: "Так, так ее, ишь мамка, какая неосторожная, сделала больно маленькой. Побей, побей меня, доченька. Так, так ее!"

8

Первая похоронная, полученная в доме Угрюмовых, была первой и для всего Завидова. Люди еще не знали, что черная эта гостья явилась для того, чтобы сказать им: "Приготовьтесь, я первая, но не последняя, за мною придут другие, и будет их так много, что и слез ваших не хватит: выпьют все до самого донышка". Однако уже сейчас завидовцы тревожно примолкли, насторожились, смотрели друг на друга вопрошающе-испуганными глазами. Война, считавшаяся далекой, вдруг как бы придвинулась вплотную и стала осязаемо-зримой.

Филиппа Ивановича успели узнать все. Совсем недавно, длинноногий и простодушный, вышагивал он по селу, заходил то в одну, то в другую избу, подолгу расспрашивал всякого о житье-бытье, рассказывал и о себе, о недавней своей службе в танковой части, об испанских событиях говорил так, как бы он был уж их непосредственным участником. И вот теперь Филиппа Ивановича уже нет и никогда не будет, и на его месте в сельсовете сидит Санька Шпич.

В дом Угрюмовых шли и шли завидовцы. И все хотели собственными глазами посмотреть на ту бумагу, потрогать ее, страшную, своими руками; Феня не спрятала ее в сундук, а оставила на столе как бы на всеобщее обозрение. Сама который уж день не выходила из горницы, не впускала к себе никого, кроме Маши Соловьевой.

Вдова!

Услышав это слово на второй же день после получения известия о гибели мужа, Феня не вдруг, не сразу поняла, что оно обращено к ней. На селе остались вдовы еще от первой мировой и гражданской войн, но то были пожилые женщины, обитающие в ветхих избах и вечно что-то просящие у односельчан: то дровишек, то соломы им надо привезти, то подлатать прохудившуюся крышу, то просили помочь вспахать огородишко под картошку. Стать вровень с этими несчастными Феня не могла даже в мыслях и потому сильно осерчала, когда услышала от матери: "Вот ты теперя и вдова, Фенюшка!" Осерчав, посмотрела на мать долго и пронзительно. Жарко дыша прямо в лицо Аграфены Ивановны, попросила:

— Мама, никогда больше не называй меня так. Никогда!

И в облике ее, вдруг как бы застывшем, опять проглянуло знакомое, угрюмовское.

...Одна только Феня и стояла молча на сельсоветской площади в июньское воскресенье сорок первого года среди всхлипывающих украдкой и откровенно рыдающих односельчанок. Обнимая за плечи вышедшую замуж всего лишь несколько дней назад Машу Соловьеву и теперь провожавшую своего Федора на войну, Феня глухо и грубовато говорила ей:

— Ну что ты ревешь, Мария? Жив ведь еще твой Федька. Глянь, какие кренделя выписывает кривыми своими ногами! Будто рад, сердечный, что вырвался от тебя! — И, видя, что подруга огневилась, перевела на иной лад: — Ну, довольно, поревела, и будя.

Стоя на крыльце поповского дома, как на трибуне, и выбирая тот короткий момент, когда бабьи голоса чуточку затихали, Санька Шпич выкрикивал очередями, по нескольку фамилий, мобилизованных. Когда в одной из очередей послышались имена Пишки и Тишки, то первый с необыкновенным проворством растолкал толпу и оказался рядом с председателем:

— Постой-ка, постой, Шпич, ты не перепутал? У меня ведь грыжа. Вот и справка...

— Справка твоя недействительна, дядя Епифан! Я знаю, где ты ее раздобыл. Лучше бы ты убрал и никому не показывал свою бумагу.

Пишка хотел возразить, но не успел: чья-то сильная рука ухватила его за штанину и сдернула с крыльца. Матюкаясь, Пишка скрылся в толпе. Дядя Коля — а это он стащил Пишку — теперь сам поднялся на крыльцо, взял из рук председателя список и долго отыскивал в нем себя. Не найдя, в сердцах сплюнул:

— Какая же война без старого матроса?! А ну, Санек, записывай меня добровольцем. А Пишка пускай остается с бабами да ребятишками дома. Все одно из него воин, как...

Уха Пишкиного каким-то образом достигли эти обидные слова, хотя и были они произнесены вполголоса. Он сызнова оказался на крыльце и, рисуясь, на виду у всех порвал в мелкие клочья злополучную справку и пустил обрывки по ветру. Вид его был так смешон, что даже вновь испеченные солдатки на какое-то время перестали причитать и выть. Откуда-то из толпы прорезался маломощный голосишко Тишки:

— Санька! Шпич! В одно отделение меня с Пишкой, слышь?

— В военкомате скажут, кто и куда, — подал свой голос до этого молчавший представитель райвоенкомата. Саньке он посоветовал: — А ты бы поскорее. Митинговать тут ни к чему. Война. — Стоявшему все еще на крыльце дяде Коле сказал совершенно серьезно: — До тебя, гражданин, пожалуй, очередь не дойдет. Ты свое отвоевал. Побудь теперь дома. Для тебя и тут дела найдутся.

Дядя Коля горько усмехнулся:

— Я ведь знал, что вы скажете это самое. Боюсь, парень, что и на мою долю войны хватит. — И, насупленный, суровый, сошел с крыльца.

Поздно вечером, когда бабьи завывания поутихли, в правлении колхоза заседал актив под председательством Леонтия Сидоровича Угрюмова.

— Взяли у нас пока что сто мужиков, — сообщил он. — И вижу: на том дело не остановится.

— Какое там! — поднялся дядя Коля. — Слышали по радио: сто семьдесят дивизий двинул против нас Гитлер. Так что всех под метелку заберет эта война.

— Об чем я и говорю. — Леонтий Сидорович обвел сидящих медленным взглядом. — Я ведь не зря позвал

вас, стариков, да вот женщин. Пожалуй, вы одни только и останетесь тут. И мне недолго царствовать. И председатель сельсовета не нынче-завтра туда же... куда и все. А делишки приспели: начинается сенокос, не за горами уборочная. Трактористов и комбайнеров почесть всех нонче отправили.

— Девок да молодых солдаток придется сажать за руль и штурвал, — сказал пожилой колхозник.

— К тому и речь веду, мужики. Звонил в райком, час назад. Федор Федорович советует не тянуть с этим делом: завтра же отобрать первую партию — и в район, на курсы. Мальчишек пятнадцатилетних — тоже. И это еще не все. Предупреждает Федор Федорович: на днях нагрянет комиссия, отберет для фронта лучших лошадей, туда же пойдут и новые трактора. С тяглом будет совсем худо. Вот я и думаю, Николай Ермилович, не начать ли нам обучение полуторагодовалых бычков. У нас их десятка два наберется. Полегчать их всех — а через полгода вот вам и волы, и им будешь рад. Как вы думаете?

— Да так же, как и ты, Левонтий, — сказал дядя Коля, явно польщенный тем, что, говоря о новых заботах, нежданно-негаданно свалившихся на артель, Леонтий Сидорович чаще всего обращался за советом именно к нему, старому матросу, которого однажды готовы были вовсе списать со счетов.

— А тебе, Артем Платонович, — продолжал председатель, повернувшись в сторону Апреля, — придется огороды сдать на время, ну хотя бы своей Прасковье, и заняться теми бычками. Ты ведь знаком малость и с ветеринарным делом.

— Не по мне это, — вздохнул Апрель.

— Мало ли — не по мне! Торчать с сетями на речке — оно приятнее, конечно, услада душе. Только вот война не спрашивает нас, где нам хорошо, а где плохо. Где нужно — там теперь, Артем, наше с тобой место. Завтра же начинай легчать бычков. Оно, конечно, лучше бы зимой, да что поделаешь: надо!

Где-то за полночь обговорили все дела и поднялись, чтобы разойтись по домам, когда объявился Тишка. Хватая по-рыбьи воздух маленьким своим ртом, он едва вымолвил:

— Левонтий... что же это, а? Забраковали вчистую, так их мать! Сто болестей отыскали во мне. И сердце не там, где ему полагается, с печенкой чтой-то. И грыжу не у Пишки, а у меня нащупали. И ступня плоская. И еще чего-то там...

— Ну и хорошо, в колхозе будешь на вес золота.

— Како там, засмеют.

— Военный-то билет при тебе?

— Отобрали. Признали негодным по всем статьям и сняли с учета.

— Это покамест, Тимофей. Придет время — сызнова на учет возьмут, — авторитетно успокоил дядя Коля.

А Артем Платонович с радостью прибавил свое:

— Не тужи, Тишка. Завтра бычков будем легчать. Ты ить первый мясник в Завидове. Теперь за коновала сойдешь.

— Чего еще надумали? — Тишка, гневно помаргивая черными своими глазками, уставился на председателя.

— Артем правду говорит. — И тихо прибавил свое, привычное: — Надо так, Тиша.

Пастух Тихан Зотыч спросил:

— Можа, мне пойти отделить бычков-то?

— Успеешь, — сказал Апрель.

— Правильно, Тихан, — поддержал пастуха Леонтий Сидорович, — поутру приступите.

Тихан, поддерживая свою изуродованную левую руку, заторопился к двери. Ни он, ни забракованный по всем статьям Тишка, ни Апрель, ни дядя Коля, может быть, и не думали тогда, в первые дни большой войны, что им-то и суждено будет вместе с бабами и ребятней взвалить на свои плечи всю безмерную тяжесть тыловых забот и нести ее все бесконечно долгих четыре года.

Утром шесть полуторагодовалых бычков томились в особом закутке за фермой. Они явно не понимали, почему отделили их от стада, которое уже подымалось в гору, в поля, пестро рассыпавшись по росистой зелени. Положив мягкие, бархатно-лоснящиеся шеи на изгородь, животные трубно и согласно мычали, провожая удаляющееся стадо тоскливо-недоумевающими глазами. На шее каждого висели бирки, новенькие, изготовленные Тиханом, похоже, ночью. Ночью же, вероятно, и состоялись крестины, ибо каждый бычок получил теперь собственное имя. Видно, Тихан за полтора года успел хорошо изучить характер, повадку, норов своих подопечных, потому что даденные им имена оказались как нельзя подходящи. Крутолобый красавец с блестящими, серебристого оттенка кудрями меж коротких, отлого поставленных рогов был назван Веселым. Теперь, когда его собратья жалобно взмыкивали, немигаючи глядя на удаляющееся стадо, он про-

хаживался по закутку, пробуя рогом то верею у ворот, то перекладину изгороди, то кучу навоза, то бок какого-нибудь особенно пригорюнившегося товарища по несчастью, — словом, Веселый не унывал. Сейчас он сделал попытку вызвать на малый поединок тихого темно-рыжего бычка, оттеснил его от изгороди, набычился, попятился назад и затем вновь пошел на сближение, издав утробный, звериный рев. Рыжий — он так и был назван Тиханом — не принял боя, отошел прочь, укрылся в дальнем углу закутка. Как бы подумав о чем-то, Веселый решительно направился к такому же бурому, но бесхвостому бычку, которому пастух — за невзрачный ли вид, за то ли, что кто-то из завидовцев, захватив на собственном огороде, оттяпал ему хвост по самую репицу, и бычок был теперь вроде инвалида, — словом, неизвестно почему, но Тихан присвоил ему имя Солдат, позже женщины присовокупили к нему слово "Бесхвостый", — так вот Веселый двигался теперь к Солдату Бесхвостому. И тот, приметив это краем круглого, окровеневшего в ярости глаза, не стал ждать — двинулся навстречу забияке. Глухо стукнувшись широкими лбами, выгнув спины, они с переменным успехом теснили друг друга. Из красных ноздрей разымчиво вымахивал горячий дымок; бывали минуты, когда силы как бы уравнивались, тогда бойцы припадали на колени, хитрили, делая вид, что отдыхают, а сами бдительно следили, чтоб противник не упредил, не вскочил на ноги мгновением раньше и не поверг неприятеля неожиданным ударом в бок. В конце концов это удалось Солдату Бесхвостому. В непостижимо малую секунду он отцепился от рогов Веселого, отскочил и с разбегу наподдал ему под брюхо, да так сильно, что тот перевернулся через спину и обреченно ждал своей участи. Но неписаный закон о том, что лежачего не бьют, был, похоже, законом не только среди людей. Во всяком случае, Солдат, убедившись, что его супротивник повержен, обнюхал Веселого, даже лизнул его кудрявую голову и с миром удалился прочь, встал на прежнее свое место, меж Гришкой и Ванькой, с которыми у него была давняя дружба: Гришка и Ванька пока что были самыми слабыми среди своих ровесников в стаде, и Солдату Бесхвостому нравилась покровительственная роль над ними. Сейчас они встретили его приветственным, вроде бы поздравительным мычанием и принялись охорашивать шершавыми языками попорченную немного во время сражения прическу, слизнув заодно с конца рога клок шерсти от Веселого.

Совершенно особняком стоял в закуте бычок, коего можно было бы окрестить Недотрогой, — он ни с кем не связывался, и его никто и никогда не задирал в стаде. Всякого недотрогу, однако, обычно недолюбливают, этот же был всеобщим любимцем. По ослепительно белой шерсти с искусством, на которое способна лишь природа, были разбросаны черные и красные, без четких очертаний, пятна — они-то и придавали обличью этого бычка нарядный, праздничный вид. И при одном взгляде на доброго этого молодца с твоих губ непрошено, само собой готово было сорваться солнечное, радостное слово: "Цветок". Он был чистюля, этот Цветок. Ни зимой, ни летом ни по бокам его, ни на хвосте никогда не увидишь неряшливых навозных нашлепок, словно бы Цветок и сам знал, что он Цветок и ему не полагается быть испачканным.

Цветок стоял пригорюнившись. Вспомнилась ли ему сочная июньская травка, которая бывает очень уж вкусна поутру, или такая же пестрая полуторагодовалая подружка, за которой он, Цветок, пробовал ухаживать, но пока что получил решительный отказ — раньше времени начал свои домогательства юный ухажер; а может, не добрые предчувствия поселились в его душу, кто же знает? На вошедших в загон мужиков Цветок не обратил ни малейшего внимания, хотя его одногодки сразу же заволновались, забегали по кругу, прижимаясь боками к изгороди. Их встревожило то обстоятельство, что среди мужиков не оказалось Тихана, к которому быки давно привыкли и которого в общем-то любили, хотя Веселому и Солдату, скажем, любить пастуха было вроде бы не за что: они знакомились с Тихановым кнутом чаще, чем им хотелось бы. Появление Павлика Угрюмова несколько успокоило животных. Бег их по загону начал замедляться, а затем они и вовсе остановились, часто нося боками.

Двумя часами позже бычки тихо лежали на золотистой соломе, покрапленной еще не запекшейся кровью, и в сумеречных, прижмуренных и слезящихся глазах их ничего не было, кроме дремучей тоски и безответного, горького вопроса: зачем это сделали с ними? И поднявшееся высоко июньское солнце, и громкое мычание подруг, пригнанных на водопой, и возок со свежей и сочной травою, только что привезенной в загон, и ласковое бормотанье Тихана, пришедшего проведать несчастных своих питомцев, и бодрый, звонкий голос пастушонка, и терпкий запах разогретого и

курящегося навоза — ничто не радовало бычков. Жизнь, вчера еще полная ликующего смысла, казалось, в одну минуту безжалостно отвернулась от них.

Тем временем в доме Угрюмовых собрались Фенины подруги. Скликать их Феню попросил отец, решивший, что дочери легче будет уговорить девчат и молодых женщин-солдаток завтра же отправиться в район на месячные курсы трактористок и штурвальных (трех комбайнеров удалось сохранить от мобилизации, на них Леонтий Сидорович выхлопотал бронь). Расчет был простой: к самому разгару уборочной подготовить новый отряд трактористов и штурвальных, который хоть в какой-то степени мог заменить ушедших на войну ребят. До прихода подруг Феня старательно готовила слова, с которыми обратится к ним, чтоб все они хорошенько поняли ее и поддержали. Но не успела Феня еще и рта раскрыть, как Маша Соловьева заговорила:

— Бабы, девчата, в районе, сказывают, курсы для нас открылись. Давайте проситься. Без мужика-то теперь тошно будет в избе одной. Едемте, девки! Чего там!

Феня вся так и просияла:

— Правильно, Маня. А я ведь для того вас и позвала. Отец велел поговорить. На трактора́ некого сажать. Вон и сенокоска на лугах встала.

С давних времен у завидовских девчат было в обычае летом проводить воскресенье на лугах. По весне их заливает, и потому и в дождливое и засушливое лето травы вырастают буйные, по грудь взрослому человеку. В июньскую пору луга особенно хороши: цветут белый, красный и сиреневый клевера, белая душистая кашка, метелка, конский щавель, донник, а посреди лугов, в оставшемся от половодья озерце, — желтые кувшинки и белые лилии — ничего лучшего для венка и не придумаешь. В прошлое воскресенье с самого утра девчата собирались пойти на луга похороводиться, наплести побольше венков, похвалиться нарядами, поиграть в прятки, просто поваляться, раскинув широко руки и глядючи в синее бездонное небо, послушать, как в груди сладко, в счастливом предчувствии какомто стучит сердце, как замирает оно, словно бы и вправду тает, напеться песен и, опьянев от всего, под вечер вернуться домой.

— Девоньки, давайте выйдем в луга. Что мы, в самом-то деле!

И они шумно выскочили на улицу и почти бегом на-

правились к лугам с напускным весельем, не идущим к военному времени и потому не радующим никого из наблюдавших за ними из окон.

Фене, однако, пришлось вернуться. На краю села, возле самых лугов, на дороге, ведущей от Дальнего переезда, она увидела Гришу и Серегу, быстро приближающихся к Завидову. В руке Гриша нес чемодан, а Серега — через плечо за спиною — узелок. У Фени так все и замерло внутри. И Гриша, видя, как она прижимает руки к груди, как бледнеет, закричал:

— Феня, что ты? Ай не рада?!

— Вы что так... рано?

Гриша посмотрел на Серегу. Потом — снова на сестру.

— Ты, Феня, маме не говори, мы — добровольцами. На день отпросились домой. А завтра... — И, засмеявшись, брат запел фальшиво, неестественно: — "...завтра ра-а-но, чуть светочек, заплачет вся моя род-ня-а-а".

— Перестань! — прикрикнула на него Феня, и такая боль и мука плеснулась в ее глазах, что Гриша испугался и смолк. Молча так и дошли до избы.

Что было в остаток этого дня и ночью в угрюмовском доме, никто из завидовцев не знал. Зато утром многие видели, как уже на улице, ухватившись за пиджак сына, Аграфена Ивановна, растрепанная, исступленно кричала:

— Не пущу-у-у! Не отдам!

Леонтий Сидорович увел ее в дом. Три дня и три ночи слышали люди ее завывание — то в самой избе, то на задах, в огороде, то во дворе. А потом Аграфена Ивановна смолкла, перед закатом выходила на околицу села и долго глядела на дорогу, по которой ушел на войну ее сын. Бабы, наблюдая за ней, тихо и встревоженно переговаривались:

— Господи, никак Аграфена ума лишилась?

— Лишишься. Тогда зять пропал, а теперь вот и Гришу, сына, проводила.

— Можа, возвернется.

— Дай-то ей господь.

— Да что вы, бабы, о ней сохнете? У нее муж дома, дочь вон какая. Не пропадет. А каково мне? Одной с тремя сопливыми?!

— Не одна ты теперь такая, Дарья.

9

В студеное январское утро 1942 года Феня с трехлетним Филиппом Филипповичем перебралась в районный центр. Там, в МТС, завидовские трактористки занимались ремонтом тракторов, готовили их к посевной. Феня поселилась у дальней материной родственницы, которую почти все завидовцы звали тетенькой Анной. Кто бы из них ни приезжал в район по делам, обязательно перед тем, как отправиться в обратный путь, зайдет к тетеньке Анне побаловать себя чайком. Старая изба, притулившаяся на окраине большого поселка, для завидовцев давно заменила Дом колхозника, к тому же тут не надобно было платить: тетенька Анна не брала с постояльцев ни копейки, разве что ведерко картошки кто подкинет — она и тому рада. Трех сыновей проводила тетенька Анна на войну, на одного получила похоронку, наплакалась досыта, а теперь уж не плачет, только вздохнет глубоко и прерывисто, помолится, попросит о чем-то пресвятую богородицу и опять примется за дела, которых теперь прибавилось: нужно было простирнуть Филипповы штанишки и рубашки, просушить, прогладить их, вскипятить молока, сварить нехитрую еду. По ночам, лежа на жарко натопленной печи, тетенька Анна все ворочалась да вздыхала. Феня как-то посоветовала ей:

— Что ты все вздыхаешь, тетенька Анна? Лучше бы поплакала, от сердца-то отвалит, и легче будет.

— Нет уж, доченька, погожу. У меня на войне еще два сокола. Поберечь слезы-то материнские надоть.

Потрясенная и самими этими словами, и тем, каким ровным голосом они были сказаны, и тем, что старая эта женщина приготовляла себя к худшему и как бы загодя распределяла душевные силы свои, чтоб хватило их на всю войну, — но более того тем, что сердце тетеньки Анны не закаменело, не ожесточилось, как то нередко бывает, когда человек замыкается в себе после первого страшного удара судьбы, а было по-прежнему добрым и отзывчивым на чужую беду, — потрясенная всем этим, Феня не смогла заснуть до самого утра, хотя все тело было разбито тяжкой работой.

Ремонтировать тракторы приходилось, по сути дела, во дворе МТС, при лютой стуже — не назовешь же помещением длинный навес. Под открытым небом, верно, было бы лучше: не свистели, не завывали бы поволчьи, не лютовали бы сквозняки. Чтобы установить

в разобранном тракторе какую-то деталь, то и дело снимали рукавицы или шерстяные варежки, и тогда пальцы прикипали к седому от мороза металлу. Теперь-то женщины наловчились: присосется палец к подшипнику ли, к клапанам ли, к заводной ли рукоятке, они подышат на него, отогреют и вызволят таким образом из ледяного капкана. А первое время вгорячах испуганно отдернут руку, и на железках оставят клочок живой кожи. Обожжет сильно острая боль, поднимет с земли трактористку и заставит долго прыгать возле растелешенной машины, трясти по-ребячьи пострадавшей рукой в воздухе либо так же, по-ребячьи, дуть на пальцы. Умывшись слезами, женщина вновь принимается за дело, что-то ковыряет то ключом, то отверткой, то плоскогубцами в тракторных внутренностях (а опыту-то вот столечко...), сделает, глядишь, не так, придет бригадир, забракует всю работу, начинай тогда все сызнова. Ему, бригадиру, что? Сидит в теплой курилке в компании других "бронированных" над картой боевых действий и судит-рядит о войне, генерал несчастный. А девчата мерзни тут, мучайся. Иногда Феня не выдерживала, видя, как ее подруга Маша Соловьева мается одна, подбегала к ней, подсобляла, как могла, а когда и вдвоем не справлялись, врывалась в караулку, набрасывалась на бригадира:

— Ты, Тишка, долго будешь свои колокола-то греть тут, а? Ишь уселся! А ну, марш к девчатам, грыжа несчастная!..

С каких-то пор Феня заметила, что грубая мужичья брань бывает не самым плохим помощником не только в обращении с их строптивым бесхвостым быком, но и с мужиками. Однажды крепко присоленное слово вырвалось у нее как-то само собой, непроизвольно, когда погоняла Солдата и тот решительно не обращал никакого внимания на бабьи ее понуканья. Выругавшись, Феня сама ужаснулась этому, вспыхнула вся, покраснела, оглянулась на Машуху Соловьеву, а та залилась смехом почем зря, корчилась даже.

— Ну и ну, Фенька! Глянь, глянь, а Солдат-то пошел быстрее! Еще его, Феня! Еще!

— Да ну тебя, Маша. Нечаянно это у меня.

— Ничего. Привыкнем, кажись, скоро. Мы ить теперя наполовину мужики.

— Нет. Все одно негоже. Бабы мы с тобой, да еще и молоденькие. Почесть девчонки. Больше ты от меня не услышишь такое...

Тишка, определенный над ними бригадиром, сей

час не на шутку струхнул, подхватился и мигом оказался возле девчат и солдаток.

— Ну что, девоньки, приозябли? А ну-ка, комсомолочки, дай-кося я погрею вас!

Тишка по-кочетиному, боком, боком подходил то к одной, то к другой, толкая трактористок в плечо, в спину. Девчата, однако, не приняли заигрывания, зашумели на Тишку, обозвали разными нельстивыми словами, а в довершение свалили в сугроб, расстегнули ватные штаны и насыпали в них сухого, как песок, жгуче холодного снега, так что пришлось бригадиру вновь бежать в караулку и отогреваться. Девчата же долго хохотали, и от хохота собственного малость угрелись, и дружно принялись за дело. Тишка вышел к ним вновь и теперь был несокрушимо серьезен и подчеркнуто суров. Девчата приняли его личину, подстроились к ней с поразительной быстротой. Одна за другой подзывали к себе, чтобы получить толковый бригадирский совет. Отовсюду слышалось:

— Тиша, кольца чтой-то не подходят.

— А у меня карданный вал...

— Тиша, глянь, ради Христа. Смотрю в эту схему, а ничегошеньки в ней не смыслю. Помоги, не гневайся на меня!

— Тимофей Петрович, ты б отпустил нас на денек домой, в баньке попариться, шоболы постирать. Обовшивели мы тут вконец! Не девки, а бабы-яги сделались, глазыньки бы не глядели на всех нас. А у Феньки дите малое, дал бы ты ей передохнуть!

Тишка важничал. Ему отродясь не приходилось начальствовать над людьми (даже собственная жена ни во что не ставила его), с тем большим удовольствием делал он это сейчас, нечаянно вознесенный на бригадирский престол. И этот новый обязывающий пост, и отсутствие его душеприказчика Пишки, да и не в последнюю голову нуждишка, быстро поселившаяся по всем подворьям и не обошедшая своей немилостью его дом, — все это вместе надолго вернуло Тишку в лоно завидовских трезвенников. Махорка осталась для него единственной усладой; цигарка размером в добрый мужицкий палец не покидала его рта, кажется, ни днем ни ночью, так и висела, приклеившись к нижней губе, оттянув ее книзу и обнажив синие, с редкими желтоватыми зубами десны. С тлеющей папиросой во рту подходил он и к трактору, совался иной раз туда, где сочилось горючее, и женщины испуганно выдерги-

вали у него самокрутку, бросали в снег и торопливо затаптывали.

— Это же керосин, дуры! Разве он от папиросы загорится! — говорил при этом Тишка и начинал строго отчитывать иную: — Што же ты трубку-то не продула? Ай не видишь, что засорилась она у тебя?

— А ты сам продуй! Губы-то толстые, можа, останутся на энтой медяшке!

— Испугалась? Ишь какая нежная!

— Такая уж родилась.

— На язык-то ты, Маруська, остра, вот бы еще на дело...

— А что? Аль не справлюсь? Иди-ка ты, бригадир, ко всем чертям, без тебя обойдусь. Вон к Стешке-зверюге отправляйся. Что-то она там примолкла. А давеча вроде плакала...

Феня, до этого молча прислушивавшаяся к Машиной перебранке с бригадиром, сейчас быстро подошла и, бледная, горячо выдохнула:

— Ты вот что, Машка, ты... забудь про это слово, слышишь! Можа, Стеша больше всех сама себя казнит!

— Тю ты... Что с тобой? Я ведь без сердца! Все меж собой так ее называют. Помнишь, чай, как Пишка рассказывал. Собственными глазами видел, как она своих ребятишек на замок заперла...

— Нашла свидетеля! У Пишки язык подлиннее бабьего...

Бригадир решил вмешаться:

— А ну хватит, бабы! Дело не ждет. Завтра приедет комиссия и Знобин будто бы.

Степанида Луговая, та, что в горьком тридцать третьем году, по слухам, уморила своих детей, уже немолодая женщина, добровольно пошла учиться на трактористку, сильно озадачив этим односельчан. Вот уже около десятка лет она жила в своей избушке в полном одиночестве, сама ни к кому не ходила, и к ней никто не приходил, видели ее односельчане чрезвычайно редко, разве что в поле, на колхозной работе, да и то издали, потому как Степанида всегда просила, чтобы ей отвели участок где-нибудь в сторонке от артельных, даже за водой ходила к колодцу поздней ночью, когда Завидово погружалось в сон, и печь протапливала тоже ночью, чтоб не привлекать поутру дымом чужого и — она знала — недоброго глаза. Взглядывая издали робко, с какой-то оторопью на молчаливую ее хижину, завидовские женщины — а были среди них и ее бывшие подруги — нет-нет да и скажут:

— Батюшки мои, и как только ее земля держит? Другая на ее-то месте руки бы на себя наложила, а эта все живет!

— Бог, знать, такое наказанье ей определил, чтоб жила да маялась. Это, чай, пострашнее смерти. Смерть-то в избавленье была б для Стешки... — говаривали старухи.

И вот такая Степанида приходит однажды в правление среди бела дня, становится возле председателева стола, упирается в стол этот обесцветившимися, дымчатыми глазами и говорит торопливо, требовательно и сухо:

— Посылай и меня на тракториста, Левонтий.

И теперь ковыряется в ледяных железках одна, никого не подзовет, ни к кому не подойдет за советом. На вопрос сжалившегося над ней бригадира, почему она так делает, ответила спокойно, как давно выношенное, вызревшее в душе:

— Зачем же такое наказанье добрым людям? Им ить страшно и тошно ко мне подходить, и они не виноватые.

— Как же так можно жить, Степанида?! — вырвалось у Тишки.

— Можно, коли живу. Иди, иди к Машухе, Тимофей Петрович, а я уж сама как-нибудь...

Тишка долго потом не мог взять в разум, зачем же после всего случившегося с нею Степанида Луговая не скрылась с людских глаз, не покинула навсегда Завидово, не перебралась куда-нибудь подальше, где никто не знал и не узнал бы ее прошлого, где б она могла работать со всеми вместе и, может, вышла бы замуж (она ведь женщина видная), глядишь, народила бы еще детей, обзавелась семьей и жила бы, как все люди на земле. Думая об этом, Тишка вспомнил, что так же, как и на ремонте, Степанида на курсах трактористов была, пожалуй, самая прилежная, а по успеваемости уступала разве лишь Фене Угрюмовой.

Как ни торопились с ремонтом тракторов женщины, до весеннего разлива все-таки не успели. Весна в том году на Саратовщине тоже, видать, торопилась и упредила эмтээсовцев. К концу февраля уже явственно чуялось первое ее дыхание. К полудню с соломенных крыш начинала падать капель, образовывая на потемневшей наледи крохотные лужицы, в которых, сперва напившись, уже пробовали купаться воробьи. Встопор-

щив перышки, они по-мальчишечьи барахтались в прозрачной водичке, чулюкали, оживленно говорили о чем-то на своем птичьем языке; накупавшись и наговорившись, улетали к конюшням, бойко копошились в теплом, долго не замерзающем навозе. По всем подворьям забеспокоились куры; громко квохча и кудахтая, они приглядывались к хлевам, к сараям, к чердакам, примечая впрок, где бы вскорости положить яйцо; в предчувствии весенней поры пребывали и кочета: пламенно-оранжевые, серебристые, жгуче-черные, с еще не совсем зажившими, прихваченными морозцем гребешками, бойцовски оттопыренными шпорами на длинных чешуйчатых ногах, они величественно, с сознанием безграничной своей власти, расхаживали среди собственных гаремов, ревностно оберегая их от внезапного вторжения нахальных соседей. Время от времени — чтоб покрасоваться, что ли, — петухи взлетали либо на плетень, либо на крышу хлева и, встряхнувшись, громогласно возвещали миру о своем земном существовании и для того еще, чтобы соседские кочета не заблуждались относительно того, что их может ожидать в случае, ежели б им вздумалось наведаться на чужой двор. Скотине же сделалось и вовсе невтерпеж стоять по хлевам и закуткам — коровы и овцы норовили убежать либо на колхозный двор, либо к соседскому стожку сена, более чем наполовину скормленного; ну а коз, тех и вовсе никакие плетни, никакие ворота удержать не могли, можно было видеть, как то на одной, то на другой крыше, на самом ее коньке, неподвижно стояло это бородатое, куцехвостое существо, четко прорисовываясь на как бы заново подсиненном полотне небес; человек мог приблизиться к избе, несколько раз обойти вокруг нее, измерить глазами высоту от земли до крыши, но так и не найти ответа на вечный, всякий раз встающий перед сельскими людьми проклятый вопрос: "Как ее угораздило взобраться на такую вышину?" В задумчивости человек еще раз запрокинет голову, встретится с устремленным на него с крыши бесьим, чуть прижмуренным глазом, непременно матюкнется и уйдет восвояси.

Хоть и купались воробьи в первых лужицах, хоть и важничали пуще прежнего кочета, хоть и взбрыкивали сверх положенной им нормы козы, хоть и свисали поутру красноватые от соломы рубчатые сосульки, хоть и вторглось что-то неизъяснимо волнующее в затрепетавшее, сладко сжимающееся сердце, никто в Завидове по-настоящему не верил в столь раннее прибли-

жение весны. По прежним опытам завидовцы знали, что и в середине марта, не то что в феврале, порой завьюжит, завихрит, да еще и мороз может приударить ночью и под утро так, что не хватит дневного солнышка, чтобы растопить, разрушить ледяную твердь, — не без боя отдает зима свои рубежи, она еще постоит за себя, подметет все на гумнах и в закромах.

И все-таки на этот раз люди ошиблись. Может быть, потому, что война, сделавшись хозяйкою на огромной части планеты и будучи сама по себе явлением противоестественным для здравого смысла, которым в высшей степени обладает природа, — может быть, война ввела свои нормы, свои порядки, вмешалась дерзко и злобно и в законы природы... Как бы там ни было, а весна 1942 года пришла нежданно-негаданно быстро, и уже в начале марта по оврагам, балкам и дорожным колеям побежали стремительные потоки воды — сперва прозрачной, затем все более мутнеющей и под конец оранжевато-желтой. Страшный рев стоял у плотин, в тесных проранах рек, в сваях у мостов — всюду, где вода встречалась с каким бы то ни было препятствием. В одну ночь вскрылись реки. Крошечная и безобиднейшая летнею порою Баланда, путь которой прослеживался лишь по омутам, соединенным чуть шевелящимися, невидимыми в камышах и талах ручейками, сделалась неузнаваемой. Пушечным грохотом заявила она о себе, когда с гор, из лесов и лугов под толстую кромку льда у ее берегов хлынули ручьи и, скопившись, резко подняли полутораметровую толщу льда, разломали его на части и понесли вниз по течению. Теперь если б зима и собралась со своими последними силами, то не смогла бы уж ничего поделать: весна, черпая свою мощь в подвигающемся где-то далеко позади лете, бесстрашно двинулась вперед, и теперь для нее был сам черт не брат. Вешние воды не могли поместиться в русле реки, Баланда вырвалась из своих берегов, разлилась на много верст окрест, затопила ближайшие луга, леса и даже селения. Захваченное врасплох Завидово оказалось по окна в воде в низинной своей части — в Поливановке, на Хуторе и на восточной окраине. Село огласилось криками людей, блеянием овец и ревом коров, жутким, переворачивающим душу воем собак, кудахтаньем кур, спасавшихся на крышах изб, хлевов, поветей и сараев; по затопленным улицам поплыли первые лодки с домашней поклажей — это низовские вывозили свое добро к знакомым и родственникам, избы которых были на возвышении и не затоплялись. Коровы, овцы,

свиньи и козы добирались до сухого места вплавь и, едва ступив на твердую землю, всем скопом устремлялись на первый по пути двор и жадно набрасывались на дармовой корм; вкусив хозяйского кнута или дубины, покидали это подворье и сейчас же всем стадом штурмовали следующее — и так до тех пор, пока не насытились и не улеглись на пригретом солнышком бугре, целиком отдавшись блаженно-дремотному занятию — пережевыванию жвачки, или серки, как говорят в Завидове.

Всякую весну низовские несли определенный урон в своем хозяйстве и, поселившись в Поливановке или на Хуторе, сознательно шли на такую "втрату". Наступавшее вслед за весной лето сторицею возвращало им понесенные потери — заливные огороды и сады приносили двойной или даже тройной урожай против того, что получали завидовцы верховские. Если к тому еще взять в соображение то обстоятельство, что в двух шагах от низовских находились луга и лес, то Поливановка и Хутор по главной сути своей более всего соответствовали названию самого поселения — Завидово.

Основание Поливановке положил Артем Платонович Григорьев, прозванный Апрелем как раз за то, что именно в этот месяц его изба — в ту пору единственная — всякий раз погружалась по грудь в студеные вешние воды с понятными для всех людей последствиями. В первые-то годы его в глаза и за глаза называли сумасшедшим, но затем присмотрелись, примерились, взвесили, что к чему, и примолкли: не такой, оказывается, он дурак, этот их длинноногий Апрель! Помимо огорода, на полметра покрытого плодоноснейшим илом, помимо близких, как бы просившихся на его двор лесных и луговых пастбищных угодий, по весне прямо перед окнами Апрелевой избы возникало еще одно пастбище, не менее прибыльное, — рыбное. Пока жена и дети переправляли на сухое место худобу, сам плавал на челноке перед окнами, на задах, за хлевами, и одну за другой расставлял связанные за зиму или починенные сети, а по канавам, на быстром течении, — вентери и верши; знал рыбак, что в разгар половодья встречь бурным потокам двинутся метать икру щука, жерех, сазан и язь, а по спокойным плесам пойдет пастись лещ.

Нынешняя необычайно скорая весна не застала врасплох, пожалуй, одного лишь Апреля. Всю ночь, пока ломался, трещал, ухал и охал лед на реке, он просидел с сыном Егором над рыбацкими снастями — про-

верял сети, вентери (не прогрызла ли мышь на чердаке-то), отлаживал, ощупывая прутик за прутиком, верши, заклеивал дырки в резиновых сапогах. В первый, второй и третий день не выплывал на лодке, а все смотрел в окно на воду, что-то там выслеживал, ждал чего-то. И лишь на четвертый день при виде того, как на спокойном зеркале воды во все стороны побежали пузырчатые строчки, обозначившие подводный ход леща и крупной густеры, старик встрепенулся. Мало кто из завидовцев мог видеть его в такую минуту, а ежели б увидели, то не признали бы Апреля. Медлительный в движениях, в речах, в делах артельных и у себя дома, по хозяйству, более всего любивший пословицу относительно того, что тише едешь — дальше будешь, сейчас Апрель был действительно неузнаваем. Весь он как-то напряженно вытянулся, нескладная фигура неожиданно обрела стремительную легкость гончей, почуявшей близость зверя. В один миг собрал снасти и вот уже выгребал со двора в сад, ставил там одну сеть, от первой тянул далее вторую, третью, а вентери и верши увез в лес, к Кривому озеру, где было много вымоин, образовавшихся от старых дорог, углубленных полою водой и превращенных ею в небольшие овражки, — там теперь бесновалась щука.

Лес на такую пору представлял собою зрелище редкостное. Деревья, как ранние купальщики, по грудь забрели в воду и вздрагивали, то ли оттого, что озябли, то ли от страха, что могут утонуть вовсе, то ли от льдин, покинувших берега Баланды и теперь беспризорным стадом разбредшихся по всему лесу, тыкаясь в стволы осины, пакленика, вяза, ветлы, карагача, дуба. Каждое дерево вело себя при этом по-своему. Осина и без листьев тряслась, точно в лихорадке, тонкими вершинными ветвями, жалобно постанывала; пакленик резко и низко нагибался, а затем со свистом принимал прежнее положение и тотчас же умолкал; вяз, ежели он был молод, чуть пригибался влево ли, вправо ли, уступая льдине дорогу, лениво помахивая тонкими и гибкими ветками, как бы желая страннице доброго пути; карагач лишь недовольно шуршал своею шершавой, плохо выдубленной шубой; по дубу же и вовсе нельзя было определить, касаются ли его плывущие там и сям чки[1] — гордые, величаво-спокойные и независимые, стояли дубы посреди моря воды, будто знали, что оно, море это, временное и что роптать, собственно, нечего, а надо набраться терпения недельку-другую — всего-то

[1] Ч к а — местное название льдины.

и делов. Вода уйдет, куда ей полагается уйти, а они останутся на своих местах, не будут торопиться и с листвою — пускай это сделают ветла, осина, тополь, а дубу-то зачем спешить, когда в запасе у него вечность? На сухих осиновых стволах вовсю трудились дятлы — рассыпчатый треск слышался по всему лесу, сливаясь с криком сорок, торопившихся со строительством своих мудреных гнездовий; пестрое, перевернутое отображение дятла виделось где-то глубоко в тихой прозрачной воде, и мнилось, что дерево о двух вершинах и растет одновременно вверх и вниз, а плоскость воды — место, откуда начинается этот рост.

Если́ б у Апреля было время, если б хоть минуту он не был занят своим рыбным промыслом, то, верно, обнаружил бы, что плывет не один, а под его лодкой точно такая же лодка и на ней точно такой же Апрель, только стоит вниз головою на опрокинутой лодчонке и почему-то не тонет. Но старику было не до сказочных красот. Дела земные заботили его. Пятую и, сдается, самую большую щуку выбросил он сейчас в свое корыто и, расправляя запутанные ячейки снасти окоченевшими, непослушными пальцами, косился глазом на рыбину, раскрывшую зубатую пасть и, кажется, собирающую остаток сил, чтобы взвиться вверх и попытаться вырваться в родную стихию. И может, ей удалось бы это, да упредил Апрель. Он вовремя разгадал замысел хищницы, наступил на нее резиновым сапогом, а когда управился с вентерем, совершил еще одно страшное дело — о борт лодки переломил щуке шейный позвонок, сказав при этом в свою редкую седую бороду: "Что, успокоилась? Давно бы так-то..." На обратном пути проверил сети, а в полдень пришел в правление колхоза, обождал, когда председатель остался один, сообщил таинственно:

— Улов у меня ноне, Левонтий!

— И большой?

— Да как тебе сказать... Подходящий.

— И что же ты собираешься с ним делать?

— С кем? — не понял Апрель.

— С уловом. На базар али тут откроешь торговлю?

— Не обижай старика, Левонтий. Ай позабыл, какое время теперь? С какими бы это я глазами продавал рыбу нашим солдаткам? Чай, не зверь. И пришел я к тебе с просьбой: забирай весь улов и отправляй в МТС девчатам. Голодают, слышь, они там. И прозябли все До Панцыревки-то я лодкой рыбу переправлю, а там уж

пущай твой Павлик попросит у председателя ихнего лошадь, отвезет в район.

— Спасибо, Артем Платоныч! Ты вот что. Займись-ка этой рыбой всурьез. Возьми Егора своего да моего Павлушку в помощники, и ловите на здоровье. Сев скоро, надо ж бабам чтой-то в приварок. Мяса не будет, уйдет оно все как есть на фронт, красноармейцам. Так что выручай, Артем. Трудодни запишем.

— Рыбу ловить буду, а трудодней мне лишних не требуется. За огороды ставите две палочки — ну и довольно с меня. Все одно на них ни хренушки мы не получим, чего уж там... Давай твоего Павлушку. Кажись, он у тебя смышленый парнишка.

— Ничего. С головой шкет, — с тихой отцовской гордостью подтвердил Леонтий Сидорович.

— Известное дело, в Угрюмовых, — польстил еще более Апрель.

Леонтий Сидорович просиял внутренне, но виду не подал, сказал озабоченно:

— Сообщил мне ноне Тишка: ремонт завтра они заканчивают, а вот как пригонишь трактора? Мост у Панцировки под водой, а половодье схлынет, сам знаешь, недели через две, а то и две с половиной. А в поле можно выезжать хоть завтра: снега и в оврагах-то осталось чуть-чуть.

— А через Гайку — да бугром, полем?

— Гайка тоже не сошла. Мост там и вовсе порушен.

— Вот что, председатель, повезем мы с Павлушкой рыбу, пощупаем у Панцировки шестом, глубоко ли остался под водою мост, можа трактору по брюхо толечко будет, тогда...

— Нет. Опасная это штука. Лучше подождать.

— А земля просохнет — оставим мы голодными и солдат на фронте, и своих детей, — сказал Апрель, тяжело глядя на Леонтия Сидоровича.

— Что же делать? — развел руками тот.

— Подумать надо. Я ж говорю — померим глубину, и там видно будет.

К Панцировскому мосту они приплыли втроем — Апрель, Леонтий Сидорович и Павлик — и один за другим по очереди сокрушенно свистнули. Не увидели не только нижней, проезжей части моста, но и его перил, о последних можно было лишь догадываться по водяным бурунам, вскипающим слева и справа на одной линии, да по четырем глубоким воронкам, жадно захватывающим разный хлам и мгновенно проглатывающим его, — там, поближе к правому и левому берегам. Река успела

уже наработаться всласть, у кромки ее по ту и эту сторону вздымались клубы желтоватой пены, как в пахах загнанного рысака, а немного выше дыбились кучи мокрой, черной и тяжелой куги, пахнущей глубинной водяной сыростью, рыбой и лягушатником. Панциревские ребятишки прыгали на ней, как на резине, и радовались странному, неожиданному ощущению. Апрель не мог не заметить и двух мужичков, промышлявших у омута наметками нерестившуюся на его отмелях красноперую плотву. Руки его непрошено вздрагивали, в груди накапливалась нетерпеливая ревность рыбака, лишенного возможности немедленно присоединиться к тем двум. И Апрель был даже рад тому, что первые закидки у мужичков получились холостые, а за последующими, чтоб не теребить душу, он не стал уж следить. Сказал с притворной и поспешной, выдающей его с головой озабоченностью:

— Ничего, пожалуй, не получится, Левонтий. Не пройдут тракторишки.

— А я о чем тебе калякал? — буркнул тот.

Они перебрались на панциревский берег, раздобыли подводу и отправили Павлика в район — угостить трактористок свежей рыбой. В правлении поговорили о том о сем с местным председателем и вернулись в Заводово.

Не успел Леонтий Сидорович пообедать — позвали в правление к телефону. Знакомый скрипучий голос спрашивал требовательно:

— Что думаете делать с отремонтированными тракторами?

— Подождем малость, Федор Федорович. Вот вода чуток сойдет.

— А не опоздаете с севом?

— Не должны.

В голосе Леонтия Сидоровича не было, однако, уверенности. Это уловил Знобин и еще более скрипуче прокричал в трубку:

— А вот твоя дочь не хочет ждать!

— Дура она, моя дочь, — в сердцах молвил Леонтий Сидорович.

— А говорят, она в тебя, — насмешливо прозвучал надтреснутый голос.

— Стало быть, и я дурак. Только не простой, а старый. Известное дело, яблоко от яблони...

— Ну, ты вот что, друг, не сердись. И пословица твоя мне известна — только она тут ни при чем. Скажи

лучше, что будем делать? А точнее: что ты собираешься делать? Тракторы-то час тому назад выехали.

— Как выехали, куда?! — испуганно закричал Леонтий Сидорович.

— К тебе, к тебе, председатель. И, пожалуйста, без паники. В мирное время она плохой помощник, а в войну и подавно. Ты вот что: наскреби-ка с десяток стариков и поспешай с ними к Панциревскому мосту. Я бы и сам подскочил к вам, да в область вызывают. Боюсь, как бы вас всех подчистую у меня не забрали. Девчатам своим скажи, чтоб особенно-то не рисковали. Теперь каждый трактор на вес золота. Ну, успеха вам! Ночью позвоню из Саратова. Бывай!

Повесив трубку, Леонтий Сидорович некоторое время стоял в тяжкой задумчивости.

"А ведь это она надумала — Фенька. Ну, постой, запорю мерзавку! И Тишка, ему у баб не бригадиром, а подстилкой быть. Тряпка!" Нахлобучив шапку, председатель быстро вышел на улицу. У крыльца еще постоял, решая, кого бы первого потревожить. Ну, конечно, дядю Колю, тем более что он и сам шел к конторе.

— Что случилось, председатель? — подойдя, спросил дядя Коля. — Что-то ты того... Нос вроде повесил.

— Девчата трактора гонят.

— Они что, спятили?

— Ладно, не кипятись! Позови Апреля, Тихана, еще кого там и живо к Панциревскому мосту. Апрель доставит вас всех. Я сейчас туда двинусь. Уже вечереет. А их нелегкая понесла! Успеть бы до темноты...

Четыре колесных трактора — один "универсал" и три СТЗ — медленно двигались по разбитому, раскисшему грейдеру, сплошь почти залитому взбаламученной тракторами и автомашинами водою. Первым шел "сталинец" Фени, а замыкала малую эту колонну машина Степаниды Луговой. Рядом со Стешкой, на крыле, примостился Тишка. Маша Соловьева пристроилась в хвост Фениному трактору и старательно держалась его колеи, тотчас же заполняемой водой. Когда на дороге попадались ямы, седловины, наполненные водою, и машина погружалась по брюхо, Маша страстно умоляла свой трактор: "Миленький, родимый мой!.. Не подведи, не остановись посередь этой проклятой лужи — пропаду я, ни за что не заведу, а просить Феньку стыдно будет... Миленький, ну, ну, давай, давай!" Маша невольно отрывалась от сиденья, приподымалась на ноги и так

вся напружинивалась, будто помогала трактору, будто ему легче становилось, при этом газовала так, что машина чертом выскакивала из ложбины, выбросив в небо черные султаны вонючего, не перегоревшего дыма. Оглянувшись, видела, как Ти́шка грозил ей кулаком, широко разевал рот, шлепал толстыми губами, как в немом кино, — за трескотней моторов слов его не было слышно.

К Панциревскому мосту подъехали еще засветло. Но уже синее, пока еще прозрачное покрывало сумерек повисло окрест. Вспугнутое ревом моторов полчище грачей поднялось с ближних старых ветел и носилось в воздухе; в чистой, почти спокойной воде омута заметались черные тени. Где-то в лесу, залитом водой, раздался ружейный выстрел. Оттуда взвилась высоко в небо станица чирков, издали похожая на облако, и минутою позже с тонким, режущим темнеющую синь небес свистом пронеслась над мужиками, вышедшими из Завидова навстречу трактористкам. Дядя Коля не удержался, чтобы не дать оценки в общем-то пустячному этому событию:

— Архип Колымага пуляет, жирный кобель. Не в чирков бы ему палить. Есть теперь иная дичь. Туда б его.

— Дойдет и до него очередь, — глухо сказал Леонтий Сидорович, вспомнив про недавний разговор с секретарем райкома. Увидев, что дочь его уже подъехала к мосту и приноравливается с ходу перемахнуть по бушующему потоку на этот берег, закричал хрипло и страшно, не своим, испугавшим всех голосом: — Фенька, остановись!

Однако Феня едва ли смогла услышать голос отца, а если и слышала, то все равно ничего уже нельзя было изменить. Сотни раз проезжала она прежде по этому мосту, отлично знала его очертания; приглядевшись хорошенько с бугра, она и сейчас отчетливо увидела под водой низенькие его перила и поняла, что вода может доходить лишь на высоту передних колес, а значит, до свечей не достанет, и мотор не заглохнет. Знала Феня и про другое: начни она долго размышлять, советоваться с Тишкою, с подругами и с теми, что пришли их встретить, — потеряет лишь время драгоценное, ибо все станут доказывать, что затевает она дело гиблое, что ее надо выпороть, или посадить в сумасшедший дом, или еще что-нибудь в этаком же роде. А потом приспеет темнота, и ночевать придется под открытым небом (не бросишь же машины), а наутро ничего ведь лучшего не

придумаешь, не ждать же целых две недели, пока вода убудет: земля не ждет, видела Феня своими глазами, как курится она паром, как быстро отдает солнцу драгоценную влагу.

Леонтий Сидорович, дядя Коля, пастух Тихан, Апрель, почтальон Максим, да еще с пяток старичков суетились на берегу, что-то кричали, размахивая руками, но Феня никого не видела и ничего не слышала. Трактор ее уже был на середине исчезнувшего под водою моста, гнал перед собою высокую упругую волну, по обоим бокам его, впереди, там, где бешено вращались лопасти вентилятора, вскипали радужные, пронизанные закатным солнцем фонтаны; с левой стороны, откуда было течение, вода подымалась все выше и выше, и Феня, судорожно вцепившись в сделавшийся вдруг горячим под ее ладонями стальной обруч руля, немигаючи глядела на свечи: стоит захлестнуть их, и мотор умолкнет, а там... там... лучше не думать, что будет там. Теперь уже она, точь-в-точь как ее подруга Маша давеча на дороге, стала умолять, упрашивать свой трактор: "Миленький, родненький мой, поскорее же, поскорее!" — и так же, как Маша, привстала, приподнялась над сиденьем, вытянулась в струнку; по лицу ее, наполовину закрытому растрепавшимися темными мокрыми волосами, бежали струи — и не поймешь чего: пота ли, воды ли, распыленной и разбрасываемой вентилятором, слез ли, исторгнутых сжавшимся на какой-то там миг сердечком. Внутри все похолодело, когда увидела, что вода проникла уже под сиденье, что через короткие голенища сапог потекли ледяные струи. Но, глянув на резко поднявшийся вверх радиатор, она поняла, что это спасение, машина поднималась вверх, вон уже передние колеса покатились по песчаному берегу. Обрадовавшись до крайности, Феня до предела выжала газ, и трактор, кашлянув раз и два, шустро выбежал наверх, на ровную дорогу.

Мужики, шарахнувшиеся было в сторону (задавит сослепу-то чумная бабенка!), теперь окружили трактор, роняющий на дорогу капли радужной от керосина и солидола воды, по-прежнему кричали что-то Фене, и она по-прежнему не слышала их. Теперь уже определенно счастливые слезы текли по ее лицу, и она, будто и вправду чумная, громко хохотала, уронив голову на баранку руля.

Разрядившись таким образом, быстро соскочила с трактора и побежала к мосту:

— Маша, чего же ты? Давай!

Но, бойкая в иных делах, тут Маша проявила несвойственную ей осторожность. Сперва она сделала вид, что не слышит подругу, а потом все-таки откровенно и прямо призналась:

— Боюсь я, Феня. Вот, можа, Степанида, а потом уж и я.

Степанида Луговая не стала ждать, что скажет ей Тишка, который все еще сидел на крыле ее машины, включила первую скорость и медленно пошла к мосту. До этого она напряженно наблюдала за Феней и учла ее промашку: Феня решила преодолеть водное пространство на второй, более высокой, скорости, и то был неразумный в общем-то риск — высокая скорость вызывала бо́льшую ярость водного потока, и от одного этого мотор мог заглохнуть. Степанида же спокойно скатилась на мост, прошла по нему как бы ощупью и прибавила газу только тогда, когда передние колеса достигли противоположного, завидовского берега. Ее переход был столь удачен, что ни председатель колхоза, ни те, что пришли сюда вместе с ним, ни Тишка уже не сомневались в благополучном исходе всего более чем рискованного предприятия. Холодные, свинцового отлива, тяжелые глаза Леонтия Сидоровича на мгновение потеплели.

— Ну что же, дочка, — крикнул он Соловьевой, — давай и ты! А ты, Тимофей, на "универсал" пересядь. Сам поведешь. Настенька — совсем еще дитя малое. Куда ей...

Маша, перекрестившись, пробормотала про себя молитву, которую давно уже забыла и теперь вспомнила с пятого на десятое, невзначай включила сразу третью скорость и не успела опомниться, как трактор оказался где-то посреди моста, вздыбив высоченные гребни воды. Выжав резким нажимом ноги муфту сцепления, Маша остановила трактор, начала туда-сюда дергать рычажок переключения, но он заклинился; советы, послышавшиеся с обоих берегов, не могли помочь ей; вконец отчаявшись, Маша громко и откровенно разревелась и в смятении так толкнула рычажок, что включилась задняя скорость, и машина, пятясь, ткнулась задом в невидимые перила, легко сломала их и вместе с тяжким уханьем погрузилась в воду — так, что был виден теперь лишь глушитель выхлопной трубы. Маша успела, однако, по-обезьяньи цепко ухватиться за сучок раскинувшейся над водою старой ивы и повиснуть на нем. Ей с великим трудом удалось найти опору на другом толстом сучке и для ног, и теперь, прилипнув к

ствolу дерева мокрой телогрейкой, она дала уж полную волю своим слезам; рыдания молодой солдатки перемежались проклятьями по адресу подруги, заманившей ее, Машу, в эту ловушку. Обида была тем более велика, что Феня же лучше других знала, какой из нее, Машухи Соловьевой, тракторист, и документ-то на курсах ей выдали, взяв грех на душу, потому как на экзаменах, если говорить правду, ни на один вопрос преподавателей Соловьева не ответила. (Они, конечно, пытались выручить ее, задавали множество наводящих вопросов, но, видя ее полную беспомощность, сами же и отвечали на эти вопросы...)

Феня, ахнув, кинулась было в воду, но Апрель успел подхватить ее своими железными, цепкими пальцами за ошкур ватных штанов и выбросить на берег.

— Куда те нечистый понес! С ума спятила!

В десяти шагах вверх по течению у него была привязана лодка. Апрель подбежал к ней и вскоре был уже возле Маши. Помогая ей спускаться, с притворной строгостью бормотал:

— Ишь куда те занесло! Эт ить и кошка так-то скоро туда не вскочит. Как только тебя угораздило?

— Жить-то, чай, хочется. Молодая я, — отвечала Маша, все еще судорожно всхлипывая. — Что же, дедушка, судить теперь меня будут, а?

— Судить? — удивленно переспросил Апрель. — Это за что же?

— Трактор-то сгубила.

— Гитлера будем судить, дочка, — очень тихо и очень серьезно сказал старик.

Апрель еще не подплыл вплотную к завидовскому берегу, как Маша подхватилась, выпрыгнула прямо в воду, несколькими прыжками достигла земли и побежала к селу.

— Беги за нею, Фенюха, — сказал Леонтий Сидорович. — Трактор твой Тишка пригонит. "Универсал" до утра постоит. Попрошу панцирevских, чтобы надгляды-вали. А ты беги, не ровен час...

Уже в селе Феня узнала — сообщили встретившиеся женщины, — что Маша Соловьева побежала прямо к ним, к Угрюмовым. Еще в сенях услышала, что в избе их стоял сплошной вой. Три женщины, две старые и одна молодая, рыдали в голос, а с печки им помогала тонюсеньким и жалобным всхлипыванием Катенька. На какое-то очень короткое время Феня вспомнила про своего сына, обрадовалась, что его нет тут, что он у Тетеньки и не слышит бабьего завывания и что всю посев-

ную пробудет там, Тетенька обещалась подержать его при себе. "Милая, родная-прародная Тетенька, как бы я была теперь без тебя?!" — думала Феня.

Кое-как успокоив женщин, Феня только теперь обнаружила, что причины горестных слез у всех были разные. Маша ревела от обиды, от страха за возможное наказание из-за потопленного трактора. Тетка Авдотья час тому назад получила извещение о том, что ее сын Авдей пропал на войне без вести. Услышав об этом, Феня коротко застонала и, белая как стена, тяжело опустилась на лавку. Устало, медленно оглядев всех, остановилась взглядом на матери, спросила хрипло:

— Ну, а ты-то что, мам?

Мать с удивлением подняла на дочь красные, мокрые глаза, обиженно сказала:

— Как это что? Ты ить и не спросишь, жив ли твой братец-то. Тебе, видать, чужие дороже...

— Мама! — закричала Феня таким страшным голосом, что Аграфена Ивановна тотчас же оборвала свою речь. И Феня, видя, что перепугала мать до смерти, уже тише, добрее спросила: — Что с Гришей?

Обиженно поджав губы, мать какое-то время молчала, потом сообщила:

— Вторую неделю нет писем. — И губы, и щеки, и все сухонькое тело Аграфены Ивановны опять затряслось от подымающегося рыдания.

— Ну, мама... Половодье ведь, почту-то не привозят.

В другое время Аграфена Ивановна могла бы возразить дочери, она знала, что в словах ее нету правды, ибо тетка Авдотья получила худую свою бумагу не вчера, не позавчера, а сегодня, час тому назад принесла ее Елена Рябая.

Но Аграфена Ивановна ухватилась за дочерины слова как за единственно нужные ей в ту минуту и, всхлипнув еще раз, досуха вытерла глаза, которые теперь чуток посветлели и как бы уж начинали жить.

— Скажи, Фенюха, судить меня будут ай как? — спросила Маша.

— Чего ты выдумала! — зло прикрикнула на нее Феня. — Завтра подцепим тросом и вытащим твой трактор — только и делов. А ты — судить.

Они ушли в горницу, разделись, легли в мягкую Фенину постель, крепко обнялись, и тут Маша вскоре заснула. Феня же, боясь потревожить подругу и высвободить из-под ее отяжелевшей вдруг головы свою онемевшую руку, не спала, тревожно смотрела в потолок, и глаза ее были сухи. Она лежала и горько, с обидой ду-

мала про то, зачем это судьба так жестоко поступает с нею, двадцатилетней, никому не сделавшей зла, желавшей себе и всем людям на свете одного лишь счастья? Отчего? Чем прогневила она, девчонка, судьбу? После гибели Филиппа Ивановича, хоть Феня ни за что на свете не призналась бы в этом, у нее все-таки жила глубоко припрятанная в сердце, хрупкая, пускай еле ощутимая, но все-таки надежда — Авдей... Теперь и ее она лишилась...

Так и не заснув, Феня разбудила Машу ни свет ни заря, со вторыми петухами. Долго и настойчиво стучались в окна и двери бригадировой избы, пока не выжили Тишку из теплой жениной постели. Хозяин откинул изнутри крючок и в черном зеве двери четко обозначился в белых своих исподниках и белой рубахе. Похоже, он надеялся увидеть в ранний этот час кого-нибудь из мужиков и потому не натянул штанов.

— Иди оденься, а мы во дворе обождем.

— Подняла вас нелегкая... — буркнул Тишка.

Слышалось, как в кухне он что-то объяснял ревнивой и недоверчивой жене, как от полушепота они перешли на крик и как в конце концов хозяину пришлось прибегнуть к более сильным выражениям, единственно способным охладить ярость не в меру разбушевавшейся супруги. Выйдя к трактористкам, перекипая все еще праведным гневом и будучи совершенно уверенным в том, что они слышали происходившее в доме, как бы подводя итог только что закончившейся словесной баталии, промолвил с неподдельной искренностью:

— Не из ребра адамова вас, бабы, бог исделал...

Солдатки расхохотались. Маша Соловьева сказала:

— Видать, здорово она тебя, Тиша!

— Здорово, ничего не скажешь, — подтвердил Тишка. Помолчав, спросил: — А вас кой черт поднял в этакую рань?

— Тиша, милый! — горячо заговорила Феня. — Трактор надо как-то вытаскивать. Не дай бог нагрянет днем милиция, прокурор. Акты, допросы, следствия. Засудят девку! Тиша, родненький!

— Ладно, ладно. Не тараторь. Бегите заводите твой, Фенька, трактор, да и Степаниде передайте, чтоб тоже на своем к мосту подъезжала. А я трос поищу. Где-то у меня в сарае припрятан. Покамест больше никого не булгачьте. Лишние советчики нам ни к чему.

— Трос и у меня и у Стешки есть.

К утру вода чуть убыла; кроме глушителя, теперь виднелись и часть трубы, и баранка руля. Тишка, Феня, Маша и Степанида ходили по берегу и никак не могли

приступить к делу. Пробовал Тишка подплыть к трактору на челноке, оставленном вечор Апрелем, глубоко погружал руку, отыскивая, за что бы зацепить трос, но до рамы и до крючка не мог дотянуться, к тому же вода была так студена, что руки мгновенно коченели.

— Дай-ка, Тиша, я попробую, — сказала Феня и прыгнула в челнок. Никто не успел опомниться, а она уже выгребала к утопшему трактору, накрепко привязала лодку к дереву, на котором вчера по-обезьяньи повисла бесталанная ее подруга, опробовала ногами устойчивость челнока. Все смотрели на нее и будто не понимали, что она собирается делать. Лишь когда Феня прыгнула в воду и оказалась в ней по самую шею, всех точно кнутом хлестанул режущий крик Маши Соловьевой:

— Феня-а-а!!!

Тишка не мог даже кричать. Он суетился на берегу, размахивая руками, и накопившаяся в груди брань буйно прорвалась у него только в момент, когда Феня вновь взобралась на лодку. Она слышала крики женщин и бригадирскую ругань, однако знала, что самое лучшее и верное в ее положении — это ни на что не обращать внимания, а быстро и, главное, спокойно делать задуманное дело. Сбросив шерстяной платок, она опять погрузилась в воду, и на этот раз — с головой, утянув туда и конец толстого проволочного троса.

— Феня-а-а!!! — вновь хлестнуло по воде, но это было уж совсем ни к чему, под водою голос Маши не был слышен.

Простоволосая, тяжко опрокинула Феня свое тело в лодку, долго глядела в светлеющее небо, набираясь сил. С трудом поднялась затем на ноги, не спеша отвязала лодку и, отталкиваясь длинным шестом, поплыла к берегу. Вбежавшие прямо в воду Тишка, Маша и Степанида подхватили, вынесли ее на берег. Женщины принялись целовать в посиневшие, дрожащие, холодные губы, в такие же ледяные щеки. Феня вяло сказала:

— Я пойду. Как бы того... не простудиться. Трос-то я гоже закрепила. Вы только кустарник подрубите да сройте крутой берег, а то не вытащите.

И быстро пошла в сторону Завидова. Потом оглянулась, попросила:

— Маша, а ты забеги потом!

Аграфена Ивановна, не успев даже испугаться по-настоящему, постаскивала с дочери мокрое, помогла взобраться на печь, закутала ее там в сухое, горячее тряпье, пахнущее знакомой с детства, поджаренной пыльцой, и, только дождавшись, когда Феня перестала

дрожать и стучать зубами, принялась причитать. В короткие промежутки между аханьем и оханьем успела все-таки сообщить, что отца вызвали в правление к телефону, и вот уже другой час, как его нет и нет, а испеченные давно блины стынут, и баньку бы надо протопить для Фени, пропарить хорошенько, — глядишь, бог и милует, не простудится.

— Как бы в район не укатил. Там, чай, переполох теперя... — сказала Феня.

В район Леонтий Сидорович не укатил, но переполох там действительно подняли большой. И к телефону Леонтия Сидоровича пригласил сам прокурор. И очень подробно расспрашивал, как потонул трактор. А когда председатель поведал обо всем, на том конце провода строгий голос спросил:

— Ну и как вы думаете, по чьей же вине?

Леонтий Сидорович промолчал.

— По чьей, я вас спрашиваю? — закричала трубка.

Леонтий Сидорович отвел ее от уха, зачем-то посмотрел на другой ее, точно бы в оспинках, издырявленный конец, поднес близко к губам, сильно дунул и лишь потом четко, с нужной в таких случаях паузой меж слов, громко сказал:

— Виновата моя дочь.

— Феня?

— Она... Она показала дурной пример.

— М-да... Ну хорошо! — И где-то далеко щелкнул рычажок, на который была брошена трубка.

— Тебе-то, может, и хорошо... — Леонтий Сидорович все еще держал трубку в руке и чувствовал, как она словно бы потеет.

Рев моторов отпугнул невеселые думы, председатель выбежал на крыльцо и увидел, как два трактора, запряженные цугом, волокли за собой третий, с которого продолжала капать радужная водица. За рулем его гордо восседал Тишка с приклеенной к нижней губе самокруткой и улыбался по-детски счастливой улыбкой.

— Мать честная, вытащили! — закричал Леонтий Сидорович. — Степанида! Машуха! Стой!

Стешка резко остановила трактор, так что Машка едва не наехала на нее.

У председателя не хватило терпения на то, чтобы выслушать доклад Тишки. В одно мгновение вернулся он в правление и начал отчаянно крутить рукоятку телефона. Рядом в ожидании стояли трактористки и тихо улыбались.

Однако прокурора на месте не оказалось. Он ушел к первому секретарю райкома и теперь, вооруженный сведениями из самого что ни на есть первоисточника, сообщал обстоятельства завидовского дела. Федор Федорович в продолжение всего доклада ни единым словом ни разу не перебивал прокурора и кивком головы как бы даже поддерживал его доводы. Оставалось выслушать решение, которое намерен принять прокурор.

— Дело, Федор Федорович, яснее ясного. Трактор в канун самой посевной... в канун первой военной весны, когда каждая машина... Одним словом, трактор погиб.

— Погиб?

— Да, погиб. И погиб по вине председателевой дочери. И, естественно, она должна нести ответственность по законам военного времени.

— Естественно, — повторил Федор Федорович и поморщился. — А вы с нею говорили?

— Я говорил с ее отцом.

— Ну и что? Что отец?

— Угрюмов сам сказал, что во всем виновата его дочь.

— Так. Ну, а как вы думаете, зачем она торопилась?

— Не знаю. Говорят, ребенок у нее малый в Завидове.

— Что ж, и тут можно было бы ее понять. Только это неправда, товарищ прокурор. Сына своего эта женщина оставила здесь, в районе, у родственницы. Итак, что же ее толкнуло на безрассудный с логической точки зрения шаг? Ну-с? Молчите? Так-то, дорогой мой! Ну, вот что. Вы продолжайте расследование, и об одном вас прошу самым настоятельным образом: не торопитесь с выводами. Подумайте. И тоже... по законам военного времени. — И вдруг широко, как-то по-домашнему, по-свойски улыбнулся, голос помягчел, утратил неприятную скрипучесть. — Женщин-то беречь надо, голубчик! Еще годик повоюем, одни только они с малыми детьми да старики останутся на селе. А ты — судить! Эх, голова, голова! Ну, ну, не дуйся. Иди расследуй. Я б на твоем месте в Завидово все-таки съездил. Или погоди завтрашнего дня — поедем туда вместе.

Пока говорились эти слова, в самом Завидове дела шли своим порядком. Пострадавший трактор к вечеру был разобран, раздет до последней возможности, и теперь детали его, обсохшие за день на солнце и тщательно промытые в керосине, лежали на подстилке в сарае: все было приготовлено, чтобы с завтрашнего утра начать сборку. За то время, пока трактористки возились

с машиной, Леонтий Сидорович вместе с главным сейчас своим помощником по дому, Павликом, жарко протопили баню. И теперь окончательно пришедшая в себя Маша Соловьева охаживала взобравшуюся на полок подругу хорошо распаренным, крепко пахнущим веником.

— А ну, поворачивайся! Вот так, так! Еще, еще! Так, так! Грудь-то руками прикрой, а то исполосую, любить мужики не будут! Ну, ну, еще немного! Не ори! Спасибо потом скажешь!

Феня ворочалась, задыхалась нагнетаемым с каменки обжигающим воздухом.

— Ничего, ничего, девонька! Постеля-то у нас теперь холодна, хоть тут погреемся! Ух ты! Кажись, и я умаялась! Ну, будя с тебя, слезай, недотрога! Ох и худющая ж ты стала, Феня, на одних бедрах только и остался чуток мяса, а то кожа да кости. На такую ни один мужик и глазом не глянет.

— А мне и не нужны твои мужики, — проговорила Феня, с величайшим блаженством развалившись на скользком полу, как будто уплывающем из-под ее горячего, распаренного тела.

— А я вот — ты уж не осуди, подруга милая, — грешна. Федька-то мой... Ну сколечко мы с ним пожили вместе? Неделю одну. Растревожил, а утешить вволюшку и не успел. Боюсь, не дождуся его, изменю.

— И тебе не стыдно говорить такое, хабалка ты этакая?!

— А лучше разве, коли я тайком от тебя?

— Выбрось из головы это. Комсомолка!

— Комсомолка разве не баба? Разве не живой человек?

— Да ну тебя! — отмахнулась Феня и, поднявшись, взялась за веник. — Полезай-ка теперь ты. Я из тебя сейчас дурь-то выбью!

10

Максим Паклёников разбирал на кухонном столе очередную почту. Треугольники у него ложились в одну сторону; с обратными адресами из тыловых городов — в другую; а в особую кучку — те, где пославший скрыт за безымянной полевой почтой.

Сложив первую и вторую кучу конвертов в кожаную разносную сумку, над третьей остановился в тягостном раздумье.

За последний год Максим научился безошибочно определять, в каком конверте какая бумага заключена. Красноармейские самодельные треугольники радовали его старые глаза и веселили душу: жив служивый, и об этом сейчас узнают в его доме, и будет под крышей этого дома праздник великий; на ту пору Максим еще не думал про то, что, пока дойдет солдатское письмо, самого-то солдата, может быть, уже и в живых не будет. Охотно разносил он письма и из второй кучи, менее желанные, правда, но зато без горькой начинки, или во всяком случае, не самой горькой; хотя случалось, что в этих кто-нибудь из дальних или ближних родственников, в некие времена покинувших по разным соображениям Завидово, сообщал селянам о гибели сына или племянника своего — по большей же части в таких конвертах содержалась просьба сообщить, живы, здоровы ли сродственники, а заодно давались последние сведения и из своей семейной хроники. Как бы там ни было, но и эту корреспонденцию Максим Паклёников вручал в тот же день, без промедления.

А вот над третьей стопкой всегда призадумывался: нынче ли доставить или погодить?

Только позавчера в пяти домах были получены такие конверты; в одном из этих домов, у Катерины Ступкиной, побывали казенные бумаги уже дважды, и теперь он должен нести третью.

Когда доставлял предыдущую, Максим не решился отдать ее в руки Катерины. Он постучался, приоткрыл дверь, просунул конверт, да и бегом со двора. На улице его настиг-таки разрывающий душу вой...

Тяжко, до хруста в груди вздохнул почтальон, позвал жену:

— Ты, Елена, вот что... Ты сама разнесешь вон энти. Выручай, мать. Силов моих больше нету. Меня во дворах и собаки рвать уж начали. А бабы глядят еще лютее, как на Гитлера, будто я виноватый. Так что ты уж, слышь, сама, мать... С тобою-то им полегче маненько будет. Поплачете, поревете вместе — глядишь, оно и...

К вечеру пришел в правление — и напрямик, без всяких предисловий:

— Левонтий, увольняй. Не могу боле. Посылай на любую работу: конюхом, быкам хвосты крутить, из-под свиней назем чистить — куда хошь. Разносить те бумаги боле нету моей моченьки. Меня солдатки скоро вилами запорют — что с них возьмешь! Так что...

Максим в удивлении остановился. Долго приглядыи теперь он должен нести третью.

вался, пытаясь понять, что же это такое сотворяется с Левонтием. На его, Максимовы, слова председатель и ухом не повел, а втолковывает что-то озабоченному и присмиревшему дяде Коле.

— Левонтий, чего же ты молчишь?

— Да погодь ты, Максим Савельич! Не видишь — занят: дела вот Николаю Ермилычу передаю. С ним потом и будешь решать твои неотложные, сейчас потерпи чуток.

— Это что же... Неужто и тебя?

— А ты как думал? Гляди, дед, как бы и твой не пришел черед! Слышал, поди, куда немцы-то притопали?

— Слыхал, — потерянно обронил Максим. — Как же это, а, мужики? А сказывали, что Красна́я Армия сильнее всех. И в песнях так играли и в кине, а? Что же́ это, как же? К Дону, вишь, подкатил тот немой. Шутка ли?

— Не ной ты, Максим, и не мешай нам.

Обиженный вконец неучтивостью Леонтия Сидоровича, почтальон вышел на улицу. Решил, что сейчас самое бы время поврачевать душевные раны у молодой солдатки Маши Соловьевой, с недавних времен приладившейся гнать самогон. Феня и стыдила подругу, и стращала, и на комсомольском собрании слушалось Машино "персональное дело", да не помогло. Бесталанная во всех иных отношениях, Маша оказалась в высшей степени практичной в устройстве малых своих житейских благ в са́мое трудное военное время. На Фенины укоры решительно и со злою усмешкою ответила:

— Ты меня, Фенюха, не учи. Ученого учить — только портить. Чалишь на своем горбу дрова из лесу — ну и чаль на здоро́вье. А я не буду. Архип Архипыч Колымага нарубит да сам и привезет на мой двор на своей же лошади. За какую-нибудь одну поганую бутылку первача.

— За одну ли? — Губы Фенины дрожали.

— Ну, может, за две, — как ни в чем не бывало с веселым, злым торжеством продолжала Маша. — А тебе что, жалко?

— Послушала бы, что люди про тебя говорят.

— А мне наплевать.

— Иной нальет свои бесстыжие зенки, да и будет хвастаться промеж мужиков, как ты его потчуешь и винцом и...

— Что, ай завидки взяли?

— Дура ты беспутная, Машка! Федор вернется, узнает — что тогда? Ты подумала?!

— Это уж не твоя печаль.

— Может, и моя. — Феня сказала эти слова тихо, почти шепотом, но так, что Маша испугалась, что-то дрогнуло у нее, ткнулось под сердце остро и горячо.

Она кинулась к подруге и заговорила часто, с надрывом:

— Прости меня, Феня, язык мне надо вырвать за мои слова! Не слушай ты меня! Неужто ты поверила? Нужен мне тот Колымага! Дрова привозит — это правда. А боле ничего. Не могу я сама, не привыкла. Когда был жив тятя, баловал — ведра воды не давал принести самой... И вообще — так ведь не дозовешься ни одного старика. А покажешь стакан — он тебе, бородач, и плетень подымет, и ворота починит, и хлев к зиме поправит. У тебя отец, мать не старуха еще, братишка Павлик, а я одна. Мы на собранье комсомольском горазды друг дружку критиковать, а вот бы сговориться и помочь кому всей организацией — этого у нас нету. Вот что я тебе скажу!

— Ну, хватит. На фронте не была. а вон как ловко от обороны перешла в наступление. Ты все-таки поаккуратней будь с мужиками. Болтуны они, ославят.

— Ну, этого я не боюсь. Нынче путайся не путайся с кем — все едино наговорят семь верст до небес. Ты думаешь, про тебя ничего не сказывают?

Феню точно кипятком обварили:

— Что, что про меня? Не выдумывай, слышишь?!

— Ишь как тебя перекосило! И пошутить уж нельзя...

— Нет уж, ты боле так не шути.

— Злющая ты, Фенюха, ноне. Что с тобой?

Феня не ответила. И разговор их на том и окончился. Маша по-прежнему, совершенно не таясь, гнала самогон, приносила иной раз его в поле, угощала бригадира, а тот — услуга за услугу — садился на ее трактор и "ургучил" за отчаянную самогонщицу полсмены, а ежели была ночь, то и всю смену...

Максим Паклёников, как и весь малочисленный теперь мужской род Завидова, не раз причащался на Машином подворье и хорошо знал, где хранилось у нее зелье, и мог бы без труда проникнуть в это самое хранилище, потому как ни одна дверь в избе, в погребище, в чулане ли давно уже не запиралась на замок — воры, какими в прежние времена славилось Завидово, с неких пор перевелись вовсе: оттого ли, что красть в общем-то было нечего, оттого ли, что народ сознательнее стал, а может, от того и другого одновременно.

Почтальону сейчас вот ничего не стоило проникнуть в Машухин чулан, перевернуть кадушку и обнаружить под нею трехчетвертную бутыль, да и угостить себя во славу господню. Однако ж старик не пошел в центр села, где в вишневом закуте пряталась избенка Соловьевых (Федя был пятым сыном у отца с матерью, и потому его охотно отпустили к Маше, которая и расписаться-то с ним не успела, так и осталась Соловьевой). Но и отказаться совершенно от мысли побаловать себя чаркой-другой почтальон уже не мог. Присев на ступеньку правленческого крыльца, Максим попытался не спеша — куда ему торопиться? — оценить обстановку. Скоро он даже просиял весь от внезапно озарившей его догадки. Не может того быть, чтобы сдача дел закончилась у Леонтия Сидоровича и Николая Ермиловича одним лишь этим вон сидением над колхозной канцелярией! Должна же она найти законное завершение в доме либо самого председателя, либо его восприемника! И ежели поднабраться терпения, подежурить тут, на этом вот приступке, глядишь, чего-нибудь и высидишь.

Размышляя, почтальон не забывал поглядывать и на улицу, не упадет ли его глаз на что-либо заслуживающее внимания. Скоро его наблюдения увенчались открытием исключительно важным: Максим приметил, как со стороны реки проулком вынырнул на улицу Апрель с ведром, прикрытым лопухом, и под-над самыми домами быстро пошагал в правую от наблюдателя сторону. Максим даже привстал, предельно вытянув шею, чтобы до конца уж проследить, куда это путь держит старый рыболов, и радостно, победно как-то хохотнул, когда увидал, как длинная нога Апреля лягнула дяди Колину калитку.

— Вот оно какое дело, — прошептал почтальон и весело похлопал себя по коленкам.

И когда Леонтий Сидорович и Николай Ермилович вышли из правления, молча пристроился тенью к одному из них и проследовал прямо на двор Крутояровых, куда, как он теперь знал, еще раньше пробрался со свежим уловом карасей Апрель. К появлению хозяина и еще двух его гостей рыба была уже поджарена и теперь дымилась посреди стола на черной сковороде. Апрель стоял возле разрумянившейся у печки хозяйки и, счастливый, загадочно улыбался. Максим при виде жареной рыбы не смог удержаться, чтобы не воскликнуть:

— Ну и ну!

Его, однако, очень удивило отсутствие другой посудины на столе. Впрочем, вскоре он и сам совершенно

забыл о ней, поскольку разговор сразу же пошел о делах колхозных, о фронте, неотвратимо приближающемся к их приволжским краям; побранили неверных союзников, посуливших второй фронт, но так до сих пор и не открывших его; вспомнили про первую германскую, ибо все были ее участниками. Хозяин сказал при этом:

— Тогда солдаткам нашим было еще горше, чем теперь. Никому до них никакого дела не было. Живи баба одна, как знаешь и как хочешь. Ни тебе председателя колхоза, ни тебе бригадира, с которых можно что-то потребовать, ни тебе сельского Совета, куда можно пойти, по крайности, и пожаловаться, ни тебе парторга-заступника. Никого — одна со своею бабьей нуждой. Кругом одна. А теперь совсем другое дело. К тому же как-никак они, солдатки, сейчас все вместе. На миру, известное дело, и смерть красна.

— Знамо дело... Апрель потянулся было за новым карасем, но на полпути к сковороде остановился, обвел сидящих за столом многозначительным взглядом, и все поняли, что он собирается сказать что-то очень уж важное, потому и примолкли в ожидании.

Апрель между тем прокашлялся, как бы прочищая голос, глянул еще раз на стоявшую у шестка хозяйку и только потом заговорил:

— Слыхали, мужики, наши саратовские земляки самолеты да танки на свои сбережения покупают для фронта? Головатый Фе... Фо... имя его мудреное какое-то, без чарки и не выговоришь...

— Ферапонт, — подсказал Леонтий Сидорович.

— Вот-вот, о нем это я. Так вот этот самый Фернапонт Головатый...

— Что же ты предлагаешь? — спросил дядя Коля.

— А вот что. Ни ты, ни я, ни Максим, ни Левонтий, которого завтра уже не будет на селе, понятное дело, танк или там самолет в одиночку не огоревает — кишка тонка. А ежели всем миром — глядишь, и осилим. Как вы, мужики? Негоже нам в хвосте плестись. Ну как? — Апрель, воодушевляясь все более, вертел головой, стараясь понять, как принято другими его предложение. И, видя, что мысль его легла всем на сердце, начал быстро развивать свою идею: — Назовем мы наш танк "Красный завидовец" и направим в самую что ни на есть лучшую гвардейскую часть. Ну как, мужики, а? — вновь вопрошал разгорячившийся огородный бригадир.

— Дело говорит Артем, — подытожил Леонтий Сидо-

рович. — Надо только собрание провести. Заодно там и насчет коров хозяйских вопрос поставить. С тяглом прямо хоть плачь. А относительно танка я сам поговорю с райкомом нынче же, посоветуюсь, как такие дела делаются.

Дядя Коля шумно вздохнул:

— И все-таки обидно. Ведь так-то уж надеялись мы на Армию нашу Красную, а оно вон как обернулось...

— Ну, ну, только без паники!

— Это ты кому, мне говоришь, Левонтий? — не на шутку обиделся хозяин. — Моряку? Ежели хочешь знать, я бы и сейчас мог пойти добровольцем на позиции и лупил бы фрицев не хуже молодого. Так что...

— Не про тебя я. Баб не пугайте.

— Ну, наших баб не испугаешь.

— И все ж таки.

Сковорода давно уже была забыта. Так и не притронувшись больше к угощению, взволнованные, поднялись из-за стола. Уже на улице Максим Паклёников пропел вполголоса — похоже, специально для Леонтия Сидоровича:

Вот тебе рубашка,
Вот тебе штаны,
Вот тебе баклажка
С левой стороны.

Закончив куплет, спросил, обращаясь уже к обоим — к Угрюмову и Апрелю:

— Небось помните эту песенку? Пели ить мы ее, когда на первую германскую отправлялись.

— Как не помнить, — сказал Леонтий Сидорович.

— Когда же уходишь?

— Завтра.

— Н-да-а, — протянул Максим. — Останемся мы тут одни калеки, бабье да детишки. Выдюжим ли?..

Леонтий Сидорович не сразу вошел в дом — задержался во дворе. Без всякой цели заглянул в один хлев, в другой, вышел на зады, в огород и там послонялся без видимой причины, хотя причина была: вплотную приблизилась минута, которой он, сильный и суровый человек, страшно боялся, — сейчас он должен будет сообщить Аграфене Ивановне о своем завтрашнем уходе на войну. Повестка пришла вчера, но никому в своем доме он не сказал о ней. Дальше, однако ж, тянуть нельзя. Но он все-таки тянул, ходил, слонялся вот по двору

да по огороду — отпугнул сердитым окриком соседского теленка, норовившего перемахнуть через плетень, запустил камнем в петуха, взгромоздившегося на колодезный сруб и встряхнувшего было крыльями перед тем, как закукарекать, — кочет кудахтнул в недоумении и, вытянув шею, помчался прочь с огорода. Леонтий Сидорович поглядел вокруг еще и еще раз и, не найдя того, на чем или на ком бы можно отвести стесненную душу, решительно направился к крыльцу. У порога, как всегда, когда был в тревоге или не в духе, энергически высморкался и, не давая себе ни минуты на то, чтобы еще что-то там придумывать, громко, с видимым спокойствием в голосе сообщил:

— Мать, ты дома, что ли? Собери-ка мне бельишко. Завтра поутру...

Аграфена Ивановна не дала ему договорить. Она выскочила из-за печки, вместе со стоном из груди ее сдавленно и трудно вырвалось:

— Господи, да что же это!

— Не реветь! — прикрикнул он. — Слышишь, чтобы не реветь!

Жена умолкла, сгорбилась и, прикрыв лицо ладонями, побрела в горницу. Ничего не понимающая Катенька, вбежав в переднюю, забралась на сундук и глядела на мать большими своими глазами. Мать прижала ее к груди и тяжко опустилась на табурет. Сидела так долго, потом поцеловала младшенькую, уложила спать, а сама вернулась к сундуку.

Скоро Аграфена Ивановна вышла в заднюю комнату, сказала мужу, молча сидевшему на лавке и дымящему папиросой:

— Собрала. Поесть хочешь, что ли?

— Нет, не хочу. А где Павлик?

— В поле, на прицепе у Фени.

— Фенюха вернется нынче?

— Должна.

— Ну ты... вот что, мать... Не кручинься уж очень-то. Не одна остаешься:.. Да и мы с Гришей... Ну, ну... Кончится же когда-нибудь эта война... Придем, ничего с нами не случится.

Фене — она вернулась поздней ночью — наказывал:

— Ты тут за главного теперь, дочка. Гляди помогай матери. Павлухе воли не давайте. Да и сына-то забрала бы от Тетеньки. Будьте уж все вместе. Помогут, коли трудно будет. Свет не без добрых людей. Ежели уж невмоготу будет, кликни Николая Ермилыча. Он хороший старик.

— Ясли бы детские открыть.

— Вот и скажи про то Николаю Ермилычу. Да помогите ему. Хотя... Хотя я сам ему скажу об том. Пойду разбужу, есть у меня к нему еще разговор.

Леонтий Сидорович ушел. Аграфена Ивановна воспользовалась этим и, присев у дочерней постели, тихо заплакала. Феня не утешала, не уговаривала ее — у самой было каменно на сердце. По дороге домой забежала к Авдотье как бы справиться, не нуждается ли в чем одинокая старуха, а на самом деле для того, чтобы узнать, нет ли еще каких вестей об Авдее. Ничего нового не было, Феня достала из-за образов давно полученную бумагу, прочитала ее несколько раз кряду, положила на место и молча вышла во двор. У ворот она почувствовала, что голова пошла кругом, а земля стала опрокидываться. Падая, она успела ухватиться за верею, обняла ее и так в обнимку с жесткою дубовою лесиной стояла до тех пор, пока в голове не проясни́лось. На сердце же как лег камень, так и лежит до этой вот минуты. Тихо всхлипывая, мать дивилась черствости и безучастности дочери в такой полынно горький час — на фронт уходит поилец и кормилец семьи.

Ночь была лунная. Призрачный свет проник через окно и плашмя лег на середину избы. На светлое, серебристое это пятно откуда-то из мрака выкатился сначала клубок черных шерстяных ниток, а за ним уж такой же черный, чуть побольше клубка котенок и заиграл, закрутился на светлом пятнышке, посверкивая пронзительно зеленым тревожным огоньком глаза. Феня прикрикнула на него, и тотчас же укатились во мрак — в том же порядке — сперва клубок; за ним котенок; слышалась только их возня где-то под кроватью.

Аграфена Ивановна уже не плакала, лишь время от времени тяжко вздыхала. Потом неслышно поднялась, опять подошла к сундуку, долго рылась там, отыскивая что-то. Наконец нашла и вновь присела у дочернего изголовья. Зажгла свечку. Попросила слабым, больным голосом:

— Почитай-ка.

Феня взяла бумагу, которая побывала в ее руках, верно, десяток уж раз. Не заглядывая в текст, поскольку знала его наизусть, начала негромко, но внятно читать:

— "Дорогие мои тятя, мама, Феня, Павлуша, Катенька и Филипп-младший! Сообщаю, что я жив, здоров, че-



го, разумеется, и вам всем желаю. Мне совсем хорошо, потому что определили нас в минометную роту вместе с Серегой: меня наводчиком, его заряжающим. А командиром взвода на днях прислали нашего товарища по училищу Семена Мищенко — вот было радости! На нашем счету несколько фрицев. Самое цифру, приписываемую нам, назвать боюсь: кажется, она сильно преувеличена. Да, признаться, и стыдно хвастаться перед вами, когда "наступаем" мы пока что пятками вперед. Вчера прямо на передовой, в донской степи, зачитали приказ товарища Сталина. Влетело нам от Верховного по первое число. Сейчас мы, бойцы Красной Армии, узнали, что вы, то есть народ, проклинаете нас за бесско-

нечное наше отступление. Весь день мы не глядели в глаза друг другу — так было тяжело и стыдно. И поняли с особой силой, что отходить больше нельзя ни на единый шаг. Ночью всем нам выдали по две тяжелые противотанковые гранаты — на случай прорыва немецких танков. Хотите вы верьте, хотите — нет, но как-то про себя я решил твердо: умру, а не сойду с места, на котором сейчас стою и откуда посылаю вам, дорогие мои, это письмо. Знаю, что и Серега, и Семен, и все в нашей роте думают так же. Словом, за себя я не беспокоюсь. А вас вот мне жалко: тятю, наверное, скоро тоже возьмут, а Павлик, хоть он и научился материться по-мужичьи, неважный еще работник. Вся надежда на Феню да на тебя, мама. Ты у нас пускай и ворчунья, но самая-самая работящая. Берегите друг друга.

До свидания. Крепко-крепко целую всех вас.

Ваш Григорий Угрюмов".

Феня замолчала и перевела дыхание. Мать беспокойно зашевелилась на своем табурете, сказала обиженно:

— Ты чего же пропускаешь?

— Что ты, мама? Все Гришино письмо — от слова до слова!

— Прочитай-ка еще последние-то слова.

— Хорошо, слушай. — На этот раз Феня поднесла свечу и глянула в бумагу: — "До скорого свидания. Крепко-крепко целую всех вас. Ваш Григорий Угрюмов. Июль, 1942 год".

— Ну вот. Вишь, сколько слов-то выронила! — Взяв из рук дочери бумагу, Аграфена Ивановна бережно свернула ее, унесла в сундук. Выходя из горницы, повторила: — "До скорого свидания!" Ох, Гриша, Гриша, кровинушка ты моя! Дождусь ли я этого свидания? Пресвятая богородица, заступница наша, убереги его, спаси и помилуй!

В задней комнате она упала на колени и долго разговаривала со своею заступницей, прося у нее помощи и защиты, и при этом голос Аграфены Ивановны был тих, благостен и покорен. Но стоило ей перейти к супостату Гитлеру, как в горле у нее закипели, заклокотали проклятия, и уже не умоляла, а требовала она от богородицы покарать нечистую силу, обрушить на того изверга все кары небесные, весь божий гнев, навлечь на него геенну огненную.

На заре проводила мужа без слез. Выплакала ли их раньше, ожесточилась ли сердцем, но глаза были сухи,

тлела потихоньку лишь давно основавшаяся в них и ни на минуту не покидавшая скорбь, — думается, явись сейчас в дом нежданно-негаданно самая великая радость, то и она не отогнала, не отпугнула бы этого настороженного, ожидающе-скорбного выражения на когда-то мягком, добром, но сейчас суровом лице. Павлику, вызвавшемуся отвезти отца на правленческом, единственно оставшемся еще в колхозе приличном скакуне, строго-настрого наказывала:

— Дотемна-то не задерживайся. Засветло вернись. В лесу, сказывают, пошаливает кто-то, лихие люди объявились. Свернут голову, как куренку. И ты, отец, не задерживай его там.

Феня предложила:

— Можа, мне поехать?

— Это еще зачем?! — Леонтий Сидорович строго посмотрел на дочь. — Ты почему до сих пор не в поле? Видишь, уже коров выгоняют. А ну марш, марш! Павлик без вас управится. Давай-ка щеку! — Он обнял Феню, хлопнул слегка по спине и тихонько оттолкнул от себя. — Ступай! Ну, мать... — подошел к смотревшей на него молча Аграфене Ивановне, так же коротко коснулся сухих, вздрагивающих и морщившихся от сдерживаемой боли губ. — Держись... Обо мне не думай... В обоз куда-нибудь определят твоего старика... Ну, ну, не надо! Вот так... Ты у меня ведь молодчина. Помнишь, поди, на первую германскую провожала... Ну, Павлуха! Где ты? Садись, сынок!

Заехали за Санькой Шпичом: председатель сельсовета не стал ждать, когда снимут с него броню, допектаки и военкомат и райисполком — отпросился на фронт.

Подъезжая к его дому, Леонтий Сидорович и Павлик издали увидели: какая-то девчонка стояла на улице и не сводила глаз с Санькиных окон, явно ожидая выхода самого Саньки. Легонькое голубое, совсем выцветшее, почти белое, платьице, потревоженное спустившимся с горы ветерком, трепетало, похлопывая босые ее ноги. Когда подъехали поближе, Леонтий Сидорович подивился:

— Никак Настёнка Вольнова? Она и есть! Насть, ты чего это тут?! — крикнул председатель. — "Универсал" на кого ж оставила?

— Я сейчас бегу в поле, дядя Леонтий! — ответила Настя, и видно было, как она вспыхнула вся, тряхнула головой так, что одна косичка отскочила за спину, а другая заметалась на груди. И когда появился в дверях

тот, кого она ждала, махнула рукой и тотчас же скрылась за углом. Леонтию Сидоровичу показалось, что Санька Шпич ее и не видел.

Возле военкомата Леонтия Сидоровича и Саньку ждал первый секретарь. Не успели они слезть с брички, как тот заговорил:

— Завидую вам. Хочется мне покомиссарить в дивизионе, в батарее ли.

— Покомиссарить, ишь ты! — улыбнулся Леонтий Сидорович. — А рядовым не хошь — в пехоте, а? Как вот мы с Санькой?

— Готов и рядовым, только зачем же в пехоте, коль я артиллерист? Да вот беда, не отпускает обком, и врачи на его же стороне — окопался в моих легких еще с гражданской заваляющий, плюгавенький туберкулезишко, вот они, врачи, и прицепились к нему.

Леонтию Сидоровичу и Саньке Шпичу было неловко оттого, что секретарь райкома вроде бы извиняется перед ними, хотя, кажется, мог бы этого и не делать: должность его такая, что и в мирное-то время как на войне, а в военное — и того паче, любой бы предпочел фронт, передовую. Что же касается "заваляющего, плюгавенького", то все в районе давно знали, как мучает он, гложет неунывающего этого человека, как худо бывает ему в весенне-осеннюю распутицу, каким черным, землистого цвета становится его сухонькое, из одних морщин лицо. Тут не могла его выручить и всегдашняя ирония, которой, словно броневым щитом, заслоняется Федор Федорович от бесконечного количества служебных и житейских неурядиц.

По взгляду, по другим ли каким приметам, но Знобин безошибочно определил, что могли испытывать встреченные им люди после его слов, и потому поторопился все свести к шутке, то есть прибегнул к средству, давно и хорошо отработанному и испытанному, неизменно выручавшему его в подобных ситуациях:

— Таких, как я, похоже, приберегают к Христову дню, к великому празднику. Когда вы до Берлина дотопаете и силенки ваши иссякнут окончательно — вот тогда-то и пробьет мой час.

— Это верно, — принял шутку Леонтий Сидорович, — для последнего штурма, должно, вас приберегают, Федорыч. Глядите только, не остался бы на вашу долю шапочный разбор.

— Нет, Леонтий, не скоро, видать, он наступит, тот разбор шапочный, — уже серьезно и с отчетливо разли-

чимой тревогой в голосе заговорил секретарь. — Слыхали гул?

— Как не слыхать! Ночью мы, мужики, видели с Чаадаевской горы далекое зарево. Что он там поджег, не знаешь ли?

— Завод "Крекинг" в Саратове.

— Н-да...

— Ну, довольно вздыхать. Пойдемте к военкому, у него уже собралось десятка два таких же воинов, как вы, — потолкуем. Боюсь, мужики, придется вам прямо в бой — на Дону уж немец, недалеко отсюда. Два-три пеших перехода — и вот она, война. Ну, пошли.

Часом позже Павлик чуть не задохнулся в отцовых объятиях. И более всего удивило и огорчило Павлика, что тятька его при этом был не похож на самого себя, губы тряслись по-бабьи, и Павлику было невыносимо душно, тягостно оттого, что его целуют и тискают в руках, как малого ребенка.

— Тять, ну будя, будя же, — ворчал Павлик, высвободившись из отцовских рук, — я поеду, не то мама будет беспокоиться.

— Ну, поезжай, поезжай, сынок, — заторопился и отец, и глаза его были уже сухие, только покраснели немного.

Павлик круто развернул жеребца, по-ямщицки гикнул, взмахнул кнутом и вмиг растворился в густой, непроницаемо плотной пылище. Серый жеребец и белоголовый возница, пока выбрались на околицу поселка, обрели каурую масть.

От Новой Ивановки, первой деревни, лежащей на пути от районного центра, Павлик должен был бы взять правее, и лес остался бы у него слева, внизу, а он проехал бы степью, грейдером, до Панцыревки, откуда рукой подать до Завидова. Но мальчишка избрал нижнюю дорогу — и вовсе не потому, что она была короче (в его возрасте такие соображения не берутся в расчет), а потому, во-первых, что в лесу было прохладнее, а во-вторых, и главным образом потому, что мать припугнула его какими-то там лихими людьми, и вот теперь он, Павлик, покажет, что никаких разбойников там нету, а ежели и есть, то уж, во всяком случае, он их нисколько не боится.

Дорога, по которой давно уже никто не ездил, заросла травой; широколистый лесной жирный пырей, свирельник вонючий, папоротникообразные, с тонкими резными листочками растения, дягиль, борчовка, дикая морковь сообща вели тут сражение с горьким лопухом,

оттеснив его в конце концов вправо и влево от колеи; примирившись с поражением, лопух стоял в сторонке, покорно держа на своей огромной жилистой ладони одну какую-нибудь, а то и сразу несколько пичужек, вспархивавших лишь тогда, когда лошадиная морда чуть ли не касалась лопуха. Сороки тарахтели где-то близко и мелькали, нахальные, возле самой морды недовольно похрапывавшего жеребца. Оводы и неисчислимые полчища комаров, будто из засады, накинулись на Серого и ездока, едва они погрузились в душный, против ожидания, крепко настоянный на множестве разнообразных горячих лесных запахов омут; обмахивая и себя и Серого, Павлик в сердитом недоумении подумал о том, для каких уж это крайних надобностей сотворены все эти отвратительные, злые, кровожадные существа, разве нельзя было обойтись без них? Вот птицы — те да, они нужны, без них было бы скучно на белом свете: взять хотя бы лес — ну какой же он лес, ежели в нем нету птиц? На что уж вреднющее отродье сорока, но и с нею Павлик готов примириться, она хоть и воровка, но не покидает человека и зимою, когда почти все птицы улетают в теплые края, а без них, известное дело, и сорока сойдет за соловья. То же самое можно сказать и про ворону, про воробья, про синицу, дятла... Павлик вспоминал, какие еще пернатые остаются в здешних краях и зимою, но не вспомнил. Может быть, потому, что в глубине леса вдруг кто-то заголосил каким-то уж дурным, переходящим от дикого вопля к столь же дикому хохоту голосом. Мысли Павлика смешались, во рту в один миг все спеклось, а под рубашку забрался и побежал по спине противный холодок. Серый вспряднул ушами, прибавил шаг. Крик повторился, и Павлик догадался наконец, кто бы это мог быть. И, догадавшись, сам расхохотался, но светлые капельки все же катились по его щекам — они успели выскочить из глаз раньше, чем пришла к мальчишке счастливая догадка. Ясное дело, это голосил филин. Днем-то он ни черта не видит, вот и орет, чтобы и подбодрить самого себя, и постращать врагов своих на случай, если им вздумалось бы напасть на него, слепого.

— Серый, Серый, успокойся, это ж филин! — сказал Павлик жеребцу и, привстав, погладил его по широкому заду у самого хвоста. Серый еще раз вспряднул одним ухом и вроде бы действительно успокоился, всхрапывания его кончились, и шел он теперь обычным, неспорым шагом. В одном месте, однако, резко остановился, испуганно заржал и вскинулся на задние ноги

так, что толкнул телегу задом, и Павлик от неожиданности едва не свалился на землю. Когда опомнился, пришел в себя, увидел человека в рваной и грязной гимнастерке и таких же брюках, с которых, усыпанные репьями, гармошкою сползали серые обмотки. Человек держал Серого под уздцы, а сам пристально, пронзительно вглядывался в возницу чуть видимыми в густой черной волосне глазками. Белая кость зубов на мгновение осветила дремучие эти заросли, послышался хрипловатый, но вовсе не старческий голос:

— Ты откуда будешь?

— Из Завидова, — ответил Павлик, от страха стуча коленками о переднюю перекладину брички.

— Чей же? Не Угрюмова ли Левонтия сын Павлушка?

— Да-а, — тихо протянул Павлик.

— А меня узнал?

— Не-е.

— Врешь?! — злобно рявкнул бородатый.

— Не-е, правда, дяденька, не узнал.

— Ну ежели пикнешь, скажешь кому, утоплю, как щенка. Слышишь?! — После таких угроз бородатый подошел к бричке, отшвырнул мальчишку, выхватил ученическую его холщовую сумку, в которой лежали круговина колбасы да связка кренделей, сунутые в последнюю минуту отцом. Порылся еще и, ничего не найдя, пообещал еще внушительнее: — Раздеру, как лягушонка, ежели скажешь! Ты ничего не видал, ничего не слыхал. Понял?

— П... п... понял, — с трудом выдавил из себя Павлик.

— Ну, а теперь мотай. Живо! — Бородатый выхватил из рук мальчика кнут, для острастки потянул им сперва возницу, а потом уже Серого.

Жеребец еще раз взвился — и понес. Павлик упал навзничь на дно брички и подняться, ухватиться за вожжи не смог. Серый мчался с такою резвостью, на которую не был способен и в молодые свои лета. Сомкнувшиеся высоко над дорогой вершины деревьев зелеными, растрепанными облаками стремительно неслись навстречу, убегали назад, быстро перемещающейся рябью отражались в широко распахнутых, округлившихся в испуге глазах мальчугана. Низко свесившиеся гибкие ветви молодых вязов и черемушника, встретившись с дугою, издавали короткий жалобный стон, точно раненые; под копытами жеребца то и дело раздавался хряск, и тогда над телегой летели с вибриру-

ющим свистом и воем осколки раздробленной сухой древесины; замешкавшаяся трясогузка не успела улететь в сторону, стукнулась о ремешок туго натянутой узды, теплым комочком шмякнулась прямо в лицо Павлику, и тот непроизвольно, автоматически прижал ее рукою да так и держал на щеке, чувствуя слабеющие судороги угасающей жизни, держал до тех пор, пока Серый не вкатил его прямо в правленческий двор.

Вышедший на крыльцо дядя Коля крикнул:

— Павлушка, да ты что так жеребца-то гонишь? Разве не видишь, весь он у тебя в мыле! Вот возьму кнут...

Но тут дядя Коля понял, что с мальчишкой что-то случилось, проворно сбежал с крыльца.

— Что с тобой, Павлушка? Отчего ты помушнел так? И откуда кровь-то на щеке? — Заметив выпавшую из слабевшей и все еще вздрагивающей руки ездового пичужку, продолжал: — Ах, вон оно что... Но зачем же так гнать лошаденку? Эх ты, работник. Будь я твой батька, не миновать бы тебе порки, Павлуха! Ну ладно, беги домой, а я уж сам распрягу Серого. Чего доброго, ты еще вздумаешь напоить его. Беги, беги!

Павлик, поднявшись на непослушные, ватные какие-то ноги, осторожно спустился на землю, но домой не побежал, как велел ему новый председатель. В мальчишке боролись и не могли не бороться два чувства. Ему, конечно, очень хотелось рассказать о случившемся в лесу, но он был все-таки угрюмовской породы, где ни во что ставились люди болтливые, не умеющие сохранить даже самой малой тайны. Угрозой бородатого Павлик мог бы пренебречь — ребенка можно припугнуть на час, другой, не более того, — но он дал слово молчать и как бы упал в собственных глазах, если бы не сдержал этого слова. А оставался Павлик на правленческом дворе потому, что еще не составил в голове своей сообщения, которое он обязан был все-таки сделать. В конце концов начал:

— Дядь Коля, скажи всем колхозникам, чтоб лесною дорогой не ездили в район!

— Это почему же?

— Пеньки там да ямы — чуть было ноги Серый не поломал, — быстро соврал Павлик. И чтобы убедить старика окончательно, уснастил свою версию очень важной, с его точки зрения, деталью: — И крапива там в человеческий рост вымахала, вон как ногу-то обжег. — Задрав штанину, Павлик показал косой лиловый след, оставленный ременным кнутом.

— Хорошо, иди, всем накажу, чтоб не ездили.

Павлик долго и внимательно глядел в добрые, с вечной усмешкой глаза дяди Коли, стараясь определить по ним, поверил ли старый матрос в его придумку, но так и не определил. Со смутною, недетскою тревогою на сердце направился домой — первый, кажется, раз в жизни не бегом, а размеренным, раздумчивым мужичьим шагом.

"Ишь как вытянулся! — подумал дядя Коля, глядя вслед удаляющемуся Угрюмову-младшему. — Можно, пожалуй, и к быкам его. Тихан и один управится или жену возьмет в подпаски. А этого в самый раз к быкам, они его знают, не обидят. К Солдату Бесхвостому — пускай от комбайна хлеб отвозит".

11

Дядя Коля, приняв дела артельные, очень скоро сообразил, что одними тракторами на поле не управиться. И по количеству этих тракторов с гулькин нос, а о качестве и говорить не приходится: слезы горючие, а не тракторы. В прошлом году в колхозе работали два новеньких гусеничных трактора, а теперь во всем районе их не увидишь: таскают могучие "сталинцы" не плуги, а тяжелые гаубицы где-то там, откуда по ночам видятся жидкие сполохи да слышатся не радующие землю глухие громовые раскаты. И первое, что сделал новый председатель, это собрал в нардоме всех женщин и сказал им, чтобы они незамедлительно начали обучать своих коров — в самый короткий срок буренки должны усвоить обязанности лошадей и заменить их на время войны. Нельзя сказать, чтобы хозяйки и их коровы с восторгом встретили дяди Колину идею. Как он и ожидал, они ее приняли в штыки. Применительно к коровам это выражение можно было бы понимать даже в буквальном смысле, ибо каждая из них, почуяв на шее ярмо, норовила подцепить на рога непосредственного исполнителя председателевых предначертаний, и не только норовила, но и подцепляла натуральным образом, так что кое-кому пришлось потом чинить поломанные ребра. И все-таки смирить коров было куда легче, чем солдаток, в особенности тех, у которых "семеро по лавкам". Катерина Ступкина, к примеру, решительно объявила:

— Моя Рыжонка в ярме не будет! Лучше уж заналыгайте меня, мне все едино. А ребятишек без молока не оставлю. Можа, твою Орину доить прикажешь?

Бабы захохотали, а дядя Коля, переждав их смех, подбавил своего:

— Э, Катерина, нашла кормилицу! Моя Орина, посчитай, годов тридцать уж не доится. Мы с ней давненько отдоились! Ну вот что, бабы, смех смехом, а ведь дело-то сурьезное. Плохо без молока и вам, и вашим детишкам — кто ж спорит? А ведь без хлеба — и того хуже.

— Мы и так его не видим, хлеба. В прошлом годе дали по сто грамм отходов на трудодень, а ныне, видно, и их не получим, — не сдавалась Катерина, — вся надежда на корову да на свой огород. А ты...

— Что я? — гневно перебил дядя Коля, весь он сделался вдруг злым и колючим, и женщинам даже показалось, что жесткие редкие седые волосы на большой круглой его голове встали дыбом, взъерошились, ощетинились. Повторил свой вопрос еще свирепее: — Что я! Может, скажете, о себе дядя Коля душой мается, свою корысть блюдет, а?! А кто ваших мужей и сыновей, какие на войне теперь, кормить, обувать да одевать будет Кто, я тебя спрашиваю, Катерина?!

Вгорячах дядя Коля выпалил последние слова и сейчас же осекся, замолчал, конфузливо пряча глаза, ибо слова эти были сейчас более чем некстати. И Екатерина не преминула воспользоваться его промашкой:

— Моих теперя ни обувать, ни одевать, ни кормить не надо: все полегли. А малых не дам в трату, горло перегрызу тому, кто сунется с налыгой к моей Рыжонке!

Старый матрос понял, что лобовая атака не удалась, что, хочешь не хочешь, придется перейти к тактике медленной осады, то есть к "индивидуальной" работе с каждой солдаткой в отдельности. Оставить без ответа горькие и в сущности-то справедливые слова Екатерины он тоже не мог, да это было бы и не в его правилах. Сказал — и никто не приметил в эту минуту ни в глазах его, ни в голосе привычной и знакомой всем усмешинки:

— До такой крайности, Катерина, дело не дойдет. Малых твоих ребят в обиду не дадим. Так что и зубы твои, и мое горло останутся в сохранности. Хотя за горло не ручаюсь. Ору вот, надрываюсь, да разве вас перекричишь? А оно у меня старое, горло. Не выдержит. С коровами придется так решать: дело добровольное. У кого есть сознательность...

— А у меня, знать, ее нету, сознательности?! — вновь поднялся пронзительно-громкий голос Екатерины. — Так, что ли, тебя понимать, Миколай Ермилыч? А? Мо-

жа, я по несознательности проводила на фронт мужа да двух старших сыновей? Можа, их дома припрятать надо было бы? Ну, что же ты молчишь?

Дядя Коля попытался вернуть своему лицу всегдашнее усмешливое выражение, но получилась гримаса, и само лицо уже было бледным, и по нему уже бежали капельки пота. Однако заговорил он спокойно:

— Почему я молчу, спрашиваешь? Да потому, что ты орешь, леший тебя дери! Ежели все мы будем говорить разом, кто же слушать будет?

Женщины сдержанно засмеялись, а дядя Коля продолжал совершенно серьезно:

— Про твое горе, Катерина, все мы тут знаем, но не нас вини в том. И не в один твой дом пришла такая беда, а, посчитай, в каждый второй. Войне конца не видно, она уже у нашего с вами порога. До споров ли теперь нам, Катерина? Может, погодим покамест, после войны поволтузим и словами и руками друг дружку сколько душе угодно, а сейчас лучше не за волосья, а рука об руку держаться. Так я думаю. Не знаю, как вы, бабы, а я вот так.

Дядя Коля замолчал и отвернулся, пряча что-то на своем лице. Потемневшая от пота и истлевшая прямо на нем же, ни в какие времена не снимавшаяся тельняшка висела на худых, мослатых, когда-то высоких и широких, а ныне сузившихся, как бы усохших его плечах. На морщинистую шею кирпичного цвета по-ребячьи жалко и трогательно упало несколько влажных седых кисточек, вконец уничтожавших былую воинственную осанку морского волка. В повисшей надолго плотной, тягостной тишине вдруг раздался глубокий, матерински сочувственный вздох:

— Да что это мы, бабы, в самом деле? Напали на одного старика! Аль он вправду провинился в чем перед нами? Я б на его-то месте плюнула на всех нас — и домой, делайте что хотите, черт с вами! У него пенсия матросская да семьдесят годов. Мог бы сидеть с удочкой на Баланде, а то вот возится с нами, дурами. Потому как честный человек.

— Не слушай ты нас, дядя Коля! — разорвала наступившую было вновь тишину своим тонким, как всегда, озорным голоском Маша Соловьева. — Баб калачом не корми, дай только побазанить.

— Ты уж не гневайся на нас, Ермилыч! Пустое мелем. Она, Катерина, пошумит, покричит, а душой-то твою же сторону и возьмет. Муторно у нее на сердце, вот и не знает, на ком злость сорвать. Так что ты уж ее

прости. А коровенок, коль надо, обучим. Оно и так сказать: за дровишками, за сеном ли на ком поедем, на себе? Много ли на салазках-то привезешь? Так что все едино придется буренок к ярму прилаживать.

Дядя Коля быстро повернул лицо к залу, и теперь он был прежний — лукавый, бесконечно добрый дядя Коля.

— Спасибо вам, товарищи женщины, за такие слова. Но все-таки нанесли вы моей душе урон...

Он сошел со сцены и, ни на кого не глядя, направился прямо к открытой двери. Второй вопрос — О сборе средств на строительство "Красного завидовца" — хотел было не поднимать, но у самой двери передумал, решительно вернулся на прежнее место и прямо с ходу объявил суть дела. К его радости, народ ответил одобрительным гулом. Многие женщины полезли за пазухи, извлекая оттуда узелки, с каковыми, видать, никогда не расставались. Дядя Коля остановил их:

— Это не сейчас. Завтра оформим в сельском Совете. Как положено. Еще раз спасибо вам от всей Советской власти. — И быстро пошел.

Увидел на улице, перед нардомом, среди подростков Павлика Угрюмова, вспомнил, что хотел пристроить его к Солдату Бесхвостому, и окончательно утвердился в этом намерении — мальчишка был крепыш крепышом. К тому ж такой не станет хныкать, гордый больно. Что ж, однако, случилось с ним в лесу? Про ямы и колдобины на дороге он врет. Не в них дело. А в чем? Не найдя на это ответа, дядя Коля опять нахмурился, пошевелил темными тонкими татарскими усами и не спеша побрел к правлению, где в одном лишь окне слабо желтел огонек.

Молодые колхозные быки, ставши волами, не утратили "индивидуальных" качеств, но вместе с тем в непостижимо малый срок обрели общие черты, пожалуй, единственно возможные и в высшей степени целесообразные в их положении, каковые с предельной точностью можно было бы выразить двумя словами: лень и упрямство. До знакомства с ярмом они могли бегать, взбрыкивать, пыряться, подбрасывать землю копытом, угрожающе мычать, мериться силой и ловкостью друг с другом, то есть всячески показывать перед юными рогатыми красавицами свою удаль. Но с того часу, как на бычью шею легло ярмо, животные, будто сговорившись, включили первую скорость с тем, чтобы никогда,

ни при каких обстоятельствах не переключать ее на иную, более высокую. Ты можешь кричать, призвав на помощь всех святых и представителей противоположной им нечистой силы, а также немыслимый набор энергичных словосочетаний, можешь размахивать кнутом, дубиной, с яростью опускать эти милые инструменты на бычью хребтину, как угодно и сколько угодно изощряться в экзекуции — бык не прибавит шагу, не сделает этого ни тогда, когда воз тяжелый, ни тогда, когда телега или фургон вообще порожние. В неумолимой своей неуступчивости волы удивительно напоминают человека за рыночным прилавком, который, подчиняясь то ли сокрытому от мирских глаз сговору, то ли неписаному какому-то закону торгового люда, определит однажды цену своему немудрящему товару и не понизит ее ни за что на свете, хоть ты, покупатель, лопни или стань на колени. И все-таки воловье упрямство понять можно. Лишенные возможности объясниться с людьми, сказать им, что бык есть бык и глупо ждать от него рысачьей прыти, животные только таким вот образом могли выразить свой протест. К тому же, равно как и людям, волам свойствен инстинкт самосохранения, и, подчиняясь великому его закону, они понимают: чтобы не протянуть ноги раньше времени, не надо давать им лишней работы.

Павлик Угрюмов не знал про все это, когда выезжал в поле на Солдате и Веселом, которого определили в напарники Бесхвостому. Подпасок имел возможность за полтора года составить представление о них: Солдата и Веселого можно было обвинить в чем угодно, но только не в лени. В стаде за ними накрепко укоренилась репутация отбойных, непутевых, и за излишне свободолюбивый, озорной норов одному из них, как известно, пришлось лишиться такой важной и необходимой принадлежности, как хвост. На Веселом не было столь явных признаков крутых воспитательных мер, но по тяжести проступков он мог бы по справедливости поделить со своим напарником его участь. И если этого не произошло, то обязан Веселый столь счастливым для него исходом резвости своих ног или более удачливой доле.

Солдата и Веселого назвали первой парой, которая по мудрому замыслу дяди Коли и Тихана Зотыча должна была задавать тон всем остальным. Что ж, тон был задан, да вот только совсем не такой, на который рассчитывали мужики. Именно Солдат Бесхвостый в паре с Веселым, примирившись с новой своей участью, чуть

не на второй день своего учения раз и навсегда нашли для себя — а вышло, что для всех, — тот выверенно-медлительный шаг, который поначалу так удивил и огорчил Павлика. Мальчишка, основываясь на прежних своих наблюдениях, рассчитывал, что за каких-нибудь полчаса быки доставят его на поле, к комбайну, от которого предстояло отвозить на ток обмолоченную пшеницу. Но пришлось затратить два полных часа, какие и более терпеливому человеку могли бы показаться вечностью. На комбайне же работал дядя Павлика по материнской линии, Степан Тимофеев, мужичок хозяйственный и въедливый, прямо-таки презирающий людей, расхлябанных в работе. Впрочем, доставалось от него часто даже во всем правым людям, и виною тому была язва желудка, которой давно болел Степан. Из-за нее, проклятущей, страдала даже Феня, обязанная возить комбайн дяди на своем тракторе. Степан прямо-таки изводил ее своими бесконечными придирками. То, считал он, Феня едет слишком медленно, то слишком быстро, то не вдруг после его команды "сто-о-ой!" останавливается, то очень уж резко трогает с места, то еще что-то делает не так. В течение длинного и изнуряюще-томительного жаркого дня промеж них не раз вспыхивали изнурительно-однообразные словесные баталии, кончавшиеся с наступлением темноты для того лишь, чтобы с рассветом начаться сызнова. Павлик в который уж раз слышал, как, измученная физически и вконец истерзанная дяди Степановыми придирками, придя домой, Феня говорила, обращаясь к себе одной:

— Не буду больше с ним. Не человек, а зверюга какой-то, поедом ест. Попрошу Тишку, чтоб Машу к нему приставил. Она его так отбреет!

Но угрозы свои Феня никогда не доводила до исполнения. Может, потому, что Степан чуть свет сам заезжал за нею на правленческом Сером, усаживал, как барыню, в бричку со свежим душистым сенцом и вез к комбайну, а там помогал завести старый ее, весь в недугах трактор. Степан не хуже Фени знал, что вместо нее к нему могут прислать только Марию Соловьеву, и это никоим образом его не устраивало: и тракторист из Маши получился аховый, и не накричишь на нее, как на племянницу, Соловьева не из тех, что терпят ругань в свой адрес.

Павлик издалека увидел, что Степанов комбайн стоит. Наверное, намолотил уже полный бункер, отвезти пшеницу не на чем, отвечать за это придется ему, Павлику, — разве объяснишь дяде, что быки идут чере-

пашьим ходом, что все средства, которые обычно пускает в таких случаях ездок, были уже испробованы парнишкой и не помогли, не вразумили ни Солдата, ни Веселого? Чуть не плача, Павлик уже кричал в отчаянии:

— Какой же ты Солдат? Гитлер ты — больше никто! Чтоб ты сдох на этом месте!

Когда и это не помогло, Павлик в полной безнадежности упал на дно фургона и без всякой мысли стал глядеть в блеклое, разморенное жарою, какое-то нерадостное, вовсе не синее небо. Без единого облака, оно было бы совсем пустынно, если бы его отчетливо не прочерчивала с запада на восток белая полоса, возникшая где-то далеко у горизонта. Глаза Павлика остановились на ней нехотя и лениво — так, чтобы лишь на чем-нибудь остановиться, за что-нибудь зацепиться. Вскоре на оконечности движущейся, ползущей этой полосы Павлик увидел серебристый крестик и невольно залюбовался им. До его слуха откуда-то издалека и сверху докатился густой, прерывистый нездешний гул, тот самый, в который фронтовой люд успел вложить уже вполне определенный, извлеченный из горького опыта смысл: "Везу, вез-у-у!" Но для степного мальчишки то были пока что просто незнакомый гул и чудной крестик, похожий еще на жаворонка той ранней весенней поры, когда он светлым поплавком трепещет в синем океане небес. Крестик приближался, тянул за собой белую, всю в барашковых кучерявинках полосу; вот он стал уже просто крестом, все более утрачивавшим серебристую окраску, сменяя ее на темно-серый, с сизоватым оттенком цвет. Поняв наконец, что бы это могло быть, Павлик быстро вскочил на ноги и тут увидел, что слева от фургона по багряно-золотистой стерне стремительно бежит такой же крест, только совсем уж черный и до жути чужой в этом пахнущем хлебом и травами раздолье. Запрокинув голову, Павлик увидал, как из-под темного перекрестья грузно стонущей неживой птицы отделилась точка и, вытягиваясь в большую каплю, косо, с потрясающим душу свистом полетела вниз, а затем, встретившись с землею, сомкнулась с громом, прокатившимся по степи и встряхнувшим ее. В каких-то двухстах метрах от комбайна взметнулся султан черного дыма, смешанного внизу с кроваво-красным пламенем. Сухая и тугая волна упруго толкнула Павлика в грудь, опахнула незнакомым, никогда не испытанным мальчишкой, тревожным дыханием. Павлик выпрыгнул из фургона и помчался было

босиком по стерне, но вскоре остановился, поглядел туда, где разорвалась бомба. Дым уже убежал далеко в сторону, у комбайна маячили две фигурки — Степана и Фени. Быки стояли на дороге, и когда Павлик подбежал к ним, то не мог поверить глазам своим: сладко смежив очи, Солдат и Веселый как ни в чем не бывало пережевывали жвачку, по бархатным их шеям изнутри прокатывались снизу вверх шары отрыгиваемой, наспех нахватанной и упрятанной про запас травы; по краям нижних губ пузырилась зеленоватая пена, быки слизывали ее толстыми шершавыми языками, и оттого было особенно хорошо видно, что они испытывали ни с чем не сравнимое блаженство и явно не хотели расстаться с ним, когда Павлик раз за разом огрел обоих кнутом.

За изволоком, у Большого мара[1], совсем близко Павлик увидал, как к свежевспаханной, словно бы шевелящейся, переливающейся в текучем прозрачном мареве, лоснящейся от перевернутого чернозема полосе отовсюду подходили женщины. Они шли и все время оглядывались на то место, где только что упала бомба; те, что постарше, крестились, странно и неловко махая перед лицом отвыкшими молиться руками. В борозде, вытянувшись в длинную цепь, стояли запряженные в плуги пары быков и коров. Возле ярма передней пары возвышалась костлявая фигура нового председателя; одною рукой он придерживал налыгу, а другою, как бы черпая воздух, звал разбежавшихся при бомбежке женщин. Только волы и поставленные вслед за ними коровы были невозмутимы. Они, так же как и Солдат с Веселым, спокойно пережевывали серку и подремывали, пользуясь нежданной и потому особенно приятной передышкой. Павлик увидел старых знакомых из своего стада и порадовался этой встрече. Возглавляли, или вели борозду, Цветок и Рыжий, оба смиренного нрава; за ними — Гришка и Ванька, когда-то они были самыми слабыми, а теперь заматерели, но сильно исхудали; в паре с Мычалкой, быком, в конце прошлой зимы приобретенным дядей Колей в соседней Чаадаевке, стояла корова. К ней уже успела подойти хозяйка — Павлик узнал Катерину Ступкину; затем было еще пар двадцать коров, которыми управляли хозяйки. Дядя Коля, точно командир на смотре своего войска, медленно двигался от головы колонны к ее хвосту, на минуту останавливался около каждой пары и что-то говорил —

[1] Скифская могила.



видать, подбадривал пахарей в юбке. У последней пары он постоял чуть больше, потом поднял руку — и цепь двинулась. Спины быков и коров выгнулись, морды опустились до самой земли, послышались то звонкие, девичьи, то надрывно-хрипловатые, бабьи, голоса: "Цоб-цобе, Цветок!", "Цоб-цобе, Рыжий!", "Цоб-цобе, Мычалка!", "Цоб-цобе, Лысенка!", "Пестравка, Зорька, цоб, цоб, родные!". На курящейся теплым паром борозде тотчас же появились пресытившиеся зерном грачи, они бесстрашно, нахально выхватывали розоватых, влажных червяков прямо из-под пяток плугаря: с тою же целью, но немного позади, над черными волнами пахоты трепетали кобчики и, рассчитав мгно-

вение, камнем падали вниз и сейчас же взмывали в небо, лакомясь, подобно чайкам, прямо на лету.

Когда цепь двигалась в обратном направлении, на ее пути оказалась воронка от разорвавшейся недавно бомбы. Женщины вновь остановили волов и коров и пестрою толпою помчались в голову колонны, встретившейся с препятствием. Тут уже и Павлик не удержался — направил Солдата и Веселого к воронке. Еще раньше туда прибежали и Феня со Степаном Тимофеевым, чему Павлик обрадовался: отвлеченный происшедшим, дядя Степан не будет ругать за опоздание. Женщины стояли по краям воронки в торжественно-скорбном молчании, будто у только что вырытой могилы. Чем-то жутко враждебным, до ужаса ненужным и противоестественным дохнуло на них из этой разверзшейся, воняющей горькой, незнакомой гарью рваной раны земли. Павлик спрыгнул с фургона прямо на комкастую насыпь и сейчас же ощутил под голой ступней правой ноги что-то жгуче-острое; вскрикнув от внезапной боли, он непроизвольно нагнулся. И все увидели в его руке ощерившийся, поблескивающий на солнце осколок бомбы. Женщины невольно отпрянули назад, а Настя Вольнова ойкнула и инстинктивно, совсем как ребенок, ухватилась за рукав Фениной кофты да так и стояла в своем ситцевом, закапанном машинным маслом платице, не зная, что делать дальше: может быть, бежать от этого страшного места сломя голову? Сейчас она была похожа на молодую испуганную дикую козочку: крикни кто за спиной, и Настя вмиг сорвется с места, и только пятки замелькают на стерне да затрепещут, вспыхивая на солнце, светлые ее косички. И ужас и жалость к пораненной земле, и удивление перед безумием и дикостью только что совершившегося одновременно можно было увидеть в ее увлажнившихся, заблестевших глазах. "Зачем, зачем, зачем все это?" — спрашивали эти испуганно-недоумевающие глаза. Феня, поняв, что творится в душе девчонки, притянула ее к себе.

Павлик попросил у сестры платок, осторожно завернул в него осколок и сунул в карман — поздней ночью, когда все в доме уснут, когда Феня уложит своего маленького Филиппа и уснет, когда мать в последний раз поговорит с пресвятой богородицей, Павлик осторожно, на цыпочках, выскользнет из избы, проберется на зады и там, возле плетня, под горьким лопушком, около могилки, в которую захоронил трясогузку, упрячет осколок; неизвестно почему, но Павлик решил, что он должен сохранить этот недобрый знак

войны и показать его возвратившимся отцу и старшему брату Гришке. Но пока что Степан Тимофеев сердито посоветовал племяннику:

— Выброс ты эту пакость.

Однако за Павлика вступился долго молчавший и посуровевший дядя Коля:

— Пускай сохранит — для памяти. Может, сгодится когда. Мало ли чего бывает на земле. Спрячь, спрячь, сынок!

Тишка, спавший в тракторной будке, вмиг разбуженный близким взрывом, похоже, еще не успел опра-виться от потрясения; зябко ежась, пряча чернявую свою голову в плечи, он все время твердил: "Мать их... от мать их!.." Это бормотанье он и унес с собою опять в будку, нырнул в нее, как суслик, и не показывался больше до темноты. Ушли к быкам и коровам женщины. Дядя Коля сказал тихо, осипшим от волнения голосом:

— Испортил борозду, негодяй...

— Он все испортил, — проговорила Катерина Ступкина.

Она одна только и осталась еще у воронки и по-прежнему глядела на ее дно скорбными глазами.

Наступившую тишину постепенно стали заполнять привычные степные звуки, те, что не слышит, не замечает сеятель, как не замечает он и своих движений, веками выверенных, нужных и важных. Перво-наперво вовсю заработали притихшие было неутомимые степные молотобойцы — кузнечики; густо, пружинисто загудел шмель, выбирая, в какой бы из бесчисленных цветков погрузить свое желтовато-черное мохнатое тело; где-то у Большого мара несколько раз кряду просвистел, поднявшись у своей норы столбиком, сурок; различим стал до того неслышный сытый шелест пшеничного колоса; сухо захлопали шершавыми лопоухими листьями поспевающие подсолнухи; над ними уже носились серым облаком, едва видимым в разогретом воздухе, воробьи, их чулюканье смешивалось с шелестом листьев. Сочный хруст разрезаемых лемехами кореньев, шорох переворачиваемой земли, возгласы женщин и щелканье кнутов так же незаметно и привычно вливались в остальные звуки, делались их неотъемлемой частью. Степь опять стала такой, какой из века в век ее знал и любил сеятель.

Настя Вольнова, сволакивавшая своим "универсалом" соломенные кучи из-под комбайна, с поздней ав-

густовской темнотой вернулась к тракторной будке, где уже готовились к ночевке старшие ее подруги. Настя долго умывалась возле деревянной бочки, и ее усердие в конце концов было вознаграждено: из черного круга воды вдруг выглянуло и озарилось призрачным светом луны ее милое, почти детское личико с ярко заблестевшими глазами и зубами. Встряхнув мокрыми на концах косами, девчонка направилась было зачем-то в будку, но ее остановил непривычно строгий предупреждающий о чем-то недозволенном для нее, Насти, и все-таки как бы виноватый голос Фени:

— Не ходи туда, Настя!

Расширившиеся в недоумении глаза девушки остановились на старшей подруге. Та снизила голос почти до шепота и теперь уж не требовала, а просила:

— Не ходи.

Феня приблизилась к Насте, обняла за худенькие плечи, подвела притихшую и напуганную к небольшой копне свежей соломы и усадила рядом с собой на своей постели. Развязала узел — на темном платке обозначились четыре яйца, ржаной хлеб Настя услышала задрожавшими помимо ее воли ноздрями. Она очень хотела есть, но все-таки сказала:

— Что ты, Феня?! У меня, чай, своя еда...

— Нету у тебя никакой еды. Не ври. В обед еще все слопала. Ешь!

Настя покраснела, но при свете месяца этого нельзя было увидеть. Разбив яйцо об острое свое колено, она запрокинула голову и по-сорочьему выпила его. Облизнулась и совсем уж по- детски шмыгнула носом. Теплая волна нежности, жалости и любви одновременно накатилась на Фенино сердце.

— Родненькая, сестренка моя! Чистая моя! — Последние два слова вырвались у нее с душевной болью и дрожью. Боясь, что на глазах объявятся слезы, отвернулась и поглядела на будку — теперь уж сама — с крайней досадой и горьким недоумением. Подумала: "Зачем ты, Мария, делаешь, сотворяешь такое? Зачем?!" И, как бы почуяв, чем мается ее подруга, в дверях будки появилась Соловьева. Застегивая кофту и спускаясь по ступенькам на землю, Маша говорила:

— Господь напитал, никто не видал. Слава ему, милостивцу и заступнику нашему! — Сказав это, с хохотом повалилась на трактористок, принялась щекотать, приговаривая: — Ну, ну, что хари воротите? Вы ж не

знали, чем мы там... Можа, искались. Ведь завшивели мы тут. И боле всех — Тишка. Измучился, сердешный, с нами вконец.

— Молчи, бесстыдница! Не видишь, ребенок совсем Настёнка-то. А ты что вытворяешь?

— Федору моему небось все расскажешь? — Голос Маши сделался враждебным.— Ну и рассказывай! Да не жди, когда вернется, пиши сейчас. Запомни адрес: полевая почта...

— Перестань!

— Ну и ты оставь меня в покое. Сама знаю, что делаю. И за Настю не беспокойся, не испорчу, не прокаженная.

— Ты хуже прокаженной.

— Ну и пусть.

— Дура ты, дура Машуха! Убила бы я тебя! — Феня кивнула на будку. Прикрыла при этом своими руками Настины уши.— Вот увидишь, кастрирую собственноручно. Подкрадуся как-нибудь к сонному и...

Маша громко расхохоталась.

— Давай, Фенюха, я за ноги его подержу.

— Хорошо, договорились. А теперь уходи от нас.

— Что, опоганилась?

— А ты думала? Уходи, уходи за копну. Чтобы и духу твоего тут не было.

— Тоже мне праведницы отыскались. Ну и дьявол с вами. Берегите свое богатство неизвестно для кого. У Настёнки хоть Санька есть, а ты, Фенюха, кого ждешь?

— Знаю кого. Иди, иди! — Феня поглядела вслед уходящей, сладко потягивающейся и позевывающей подруге, крикнула вдогонку зло и торжествующе: — Я-то дождусь, а вот ты!..

Феня повернулась лицом к притихшей, затаившейся, сжавшейся в комочек Насте, прильнула щекой к мягким ее, пахнущим керосином, чуть курчавившимся волосам, и, будто оберегая от близкой беды, крепко прижала к себе, и теперь слышала, как часто и напуганно стучит где-то рядом ее сердечко. На золотистой соломе, у девичьего изголовья, заметалась серая рваная тень вылетевшей на промысел совы. Чуя ее, под соломой беспокойно завозились полевые мыши, пискнули и умолкли, затаились. Настя плотнее прижалась к Фене, ткнулась маленьким холодным носишком своим в Фенино ухо, горячо прошептала:

— Я очень, ну очень, очень тебя люблю, Феня!

— Хорошо, ну, а теперь поспи. Скоро светать начнет. А если не хочется спать, давай споем песню.

— Давай! — обрадовалась Настя.— А какую? — И вдруг предложила: — Про ивушку, а, Фень?

— Про ивушку так про ивушку. Эх ты, пичужка моя беспокойная!.. Ну что же, попробуем.— И Феня запела глубоким, грудным, бархатным голосом, будто специально созданным для грустных девичьих песен:

Ивушка, ивушка, зеленая моя,
Что же ты, ивушка, незелена стоишь?

Настя сейчас же присоединилась своим робким и дрожащим, как струна:

Иль частым дождичком бьет, сечет,
Иль под корешок ключева вода течет?

Было уже за полночь. В пустынном небе одиноко висела молчаливая, как всегда загадочная луна, где-то далеко урчали тракторы, а тут лились и лились звуки старинной, забытой было, но в последнее время вновь воскресшей почему-то песни:

Девица, девица, красавица-душа,
Что же ты, девица, невесела сидишь,
Али ты, красавица, тужишь о чем,
Али сердце ноет по дружке милом?

Глаза Фени теперь были темным-темны и, устремленные вверх, влажно светились, как два глубоких ночных омутка. От тревожного, напряженного их свечения у Насти сжималось сердце, и она торопилась начать новый куплет:

Ивушка, ивушка, на воле расти,
Красавица девица, не плачь, не тужи!
Не срубят ивушку под самый корешок,
Не разлюбит девушку миленький дружок.

Феня вдруг нахмурилась, потребовала.
— Ну хватит, Настя. Спать, спать!

12

Голодно в семье Угрюмовых, голодно во всех домах, голодно в бригаде. Ржаные колючие галушки в постной, без единой масляной крапинки воде — весь приварок трактористок. Правда, приносили из дому что ни что с собою: яйцо там, огурец, ломоть черного, колючего, как и галушки, хлеба, глиняный кувшинчик квасу для луковой окрошки — тем и сыты. Правда, од-

нажды Тишке, вообще-то не слишком предприимчивому человеку, удалось изловить валушка, и тогда на поле у девчат был пир на весь мир. Тишка ходил гоголем, нимало не терзаясь совестью по поводу того, что добыл баранчика не совсем законным способом и отнюдь не в своем стаде. Ему хорошо была известна пословица, составленная мудрыми дедами специально для такого вот случая: "Не пойманный — не вор". Теперь бригадир мог легко обороняться ею. Да и не для себя Тишка, укрывшись в овраге, днями просиживал в ожидании той минуты, когда животина отобьется малость от стада и окажется в роковой для себя близости от засады. Вероятно, разматерый волк и тот подивился бы, с какою ловкостью и с каким редкостным проворством управился этот невзрачный мужичонка с довольно-таки крупным бараном. Ничего, что потом у него тряслись руки и ноги, а самокрутка тыкалась в губы противоположным концом, — дело сделано, девчата поели на славу, а державшийся на чем-то весьма непрочном бригадирский авторитет Тишки получил теперь существенную опору.

Единственно, о чем могли бы пожалеть Феня и ее подруги, так это о том, что жалостливый их начальник все-таки храбр не настолько, чтобы такие праздники в бригаде повторялись. Но они знали, на какой риск отважился их командир, и помалкивали: в мирное-то время за кражу колхозного добра карали прежестоко, а в войну и подавно. Насытившись, девчата все-таки сказали своему бригадиру:

— Ты, Тиша, боле не надо. За такие-то дела голову сымут. Лучше уж поголодать. Может, придумаем что.

Как-то, придя на стан и прислушиваясь к ропщущему своему желудку, Феня проговорила певуче-мечтательно:

— Ушицы бы теперь, девоньки-и-и!

— Не поминай про нее, Фенька! Мы уж и позабыли, как она пахнет, щерба. Хотя бы косточку рыбью пососать.— И Маша Соловьева непроизвольно облизала свои припухшие, порепанные на солнце губы.— Давайте, бабы, в пруду наловим. Глядишь, какой-никакой карасишка и попадется.

— А чем, юбками, что ли, будем ловить?

— И юбками можно. Они у нас все в дырках, как бредень. Истлели, срамоту скоро нечем будет прикрыть,— сказала Маша, и такая целомудренно-стыдливая скорбь легла вдруг на грешный ее лик, что женщины невольно расхохотались, а Настя, испугавшись заго-

дя замечаний, которые непременно должны были последовать после Машиного притворного вздоха, убежала за тракторную будку. Убралась Настя вовремя, потому что Катерина Ступкина, заделавшаяся поварихой в тракторной бригаде, не забыла указать Соловьевой на то, что всем было ведомо:

— Срамоту, говоришь, прикрыть нечем? Да ты, деваха, не очень-то и стараешься ее прикрыть.

— Хм...— вырвалось у Тишки, и он, не придумав ничего иного, принялся шарить черными пальцами у себя в затылке.

Между тем раскрылья Машухиных ноздрей начинали уже дрожать, надуваться парусом, толстые, румяные, потрескавшиеся губы обещающе шевелились, и всем было ясно, что с них вот-вот сорвутся слова, от которых будет не по себе даже повидавшей всякие виды Катерине. Но что-то вмиг переменилось в Машином настроении, опаленные обидой губы медленно разлепились, обнажив сверкающую белизну зубов. Сказала тихо, покорно, примиряюще:

— Да будет вам, тетенька Катя! Одни наговоры на меня. Потрется какой-нибудь завалящий мужичишка возле, а вы уж думаете бог знает что.

— Бог-то знает, да молчит до поры. А люди есть люди, они молчать не умеют. Вот про Фенюху что-то не говорят.

— Погоди, заговорят и о ней. Ославят поболе, чем меня. Вот надоем вам, за нее приметесь.

— Ну, хватит, бабы! Заладили! — сердито остановила их Феня. — Давайте лучше подумаем, как рыбы на щербу наловить. Ведь ноги уже отказываются носить нас. Помрем с голодухи-то, кто тогда будет пахать да сеять?

— Как кто? А Тишка!

— Нашла пахаря! Он, можа, годится для иной работы, только не для этой...

— Ох, и злая же ты, тетенька!

— Ну, опять расходитесь! Пошли, говорю, к пруду. Глядишь...

— И глядеть, Феня, нечего,— подал наконец свой голос и Тишка.— В пруду всех карасей повылавливали ребятишки. Они, чертенята, целыми днями лазят там с бредешками. В лес надо подаваться, бабы. Там вон сколько болот, и никто туда не ходит. Карасей и щук развелось, поди, страсть как много. Так уж и быть, отпущу завтра Феню и Марию на весь день. Пускай постараются для бригады. Ну как? — Тишка ожидал, что его

предложение будет принято с радостью, женщины, по его расчету и разумению, должны были прямо-таки завизжать от восторга, но они молчали, угрюмо переглядываясь.— Чего ж вы примолкли, пришипились? О вас же хлопочу.

— Спасибо, хлопотун, заботник наш дорогой! — запела Маша.— Только в лес мы не пойдем.

— Что, ай Колымагу испужалась? — ревниво спросил Тишка. И, осклабившись, заключил пословицей: — Волков бояться — в лес не ходить.

— Ни Колымагу, ни тебя, милый Тиша, я не боюся, не пужливая. Сами попадетесь в мой капкан, коль захочу. А вот волков страсть как боюсь. И в лесу их теперь видимо-невидимо. В селе-то от них житья не стало, а в лесу...

— Ну как хотите,— отступился Тишка и, обиженный, побрел в будку с очевидным намерением прикорнуть часок-другой.

Женщины молча разбрелись по своим делам.

Поздно вечером, намаявшись с подшипниками — их надо было подтягивать чуть ли не после каждой смены,— Феня разбудила Настю. Та спросила сонным и испуганным голосом:

— Ты чего?

— Вставай.

— Зачем это?

— Пойдем, карасей наловим.

— Когда?

— Да сейчас.

— Ты что, Феня, с ума сошла? Ночью? В лес?

— Ночью. В лес. Днем-то к трактором надо.

— Да нас бирюки сожрут. И не видать ничего.

— Бирюки, Настюша, за людьми не охотятся. И скоро луна взойдет. Есть-то завтра чего-то надо. К утру управимся. Ну как, пойдешь?

— А бредень где?

— У Апрелева двора расстелен на просушку. Мы потихоньку его...

От одной мысли, что они скоро окажутся в темном лесу, где сейчас, конечно же, хозяйничают звери, Настя готова была умереть; она слышала, как тоскливо заныло у нее под сердцем, как недобрый холодок пополз сперва по спине, а потом и по всему телу, но и отказать Фене она не могла, к тому же еды на завтра у них не было решительно никакой, если не считать рыжих, толстокожих огурцов, годных разве что на семена.

Они спускались с горы к Завидову быстро-быстро, и, чтобы подбодрить подругу, Феня не переставая говорила ненатурально громко. От страха перед лесными наваждениями Настя не понимала, что говорили ей, и отвечала невпопад, и голос ее дрожал, и сама вся тряслась, хоть Феня и обнимала ее за плечи горячей своей рукой.

Оказалось, бредень был развешен на плетне, и долго пришлось отцеплять его ячейки от сучков. Когда подходили к лесу, объявилась луна, точнее — одна ее половинка, до того яркая, что на поляне, куда они успели выйти, стало очень светло. Но то был не дневной, солнечный свет, постоянный, падающий прямо от источника, привычный и естественный, а какой-то нереальный и потому тревожный: он не лился ровным потоком, а как бы дробился, точно его просеивали через какое-то огромное позолоченное сито. Совладевши с темнотою, такой свет, однако, не способен отпугнуть ночных видений — напротив, чаще всего он сам и рождает их. В каждой тени, отбрасываемой вершиной, стволом ли дерева, кустом полыни или курышинника, чудились некие живые существа, собравшиеся в неисчислимом множестве и разнообразии с совсем уж недобрыми для оказавшегося среди них человека целями. Во всяком случае, так чудилось Насте, которая судорожно сжала Фенину руку повыше локтя (на следующий день та показывала трактористкам лиловый отпечаток Настиных пальцев). Кто только не бластился девчонке в ту проклятую ночь: и волки, и разбойники, она их видела в каждом густокронном и низкорослом карагаче и вязе; и, окаянные, их очень искусно изображали своими колеблющимися резными листьями дягили и папоротник; и бабы-яги, гарцующие верхом на метлах, эти туда-сюда прыгали через заросшую разнотравьем лесную дорогу, и были они безобиднейшим пакленик ом, за которым в дневную пору Настя часто хаживала в лес, поскольку кожица этого неприхотливого деревца хранила красящее вещество, очень ценное в девичьем хозяйстве: цвет получался мягкий, темно-сиреневый, благородный, от одного взгляда на него веяло единственным неповторимым запахом сирени. В довершение всего с ветвей пакленика при малейшем прикосновении к ним то и дело срывались холодные, как льдинки, капли росы. У них было странное обыкновение падать не куда там нибудь, а непременно за ворот кофты, и столь неожиданно, что Настя вскрикивала и еще крепче сжимала руку своей спутницы От

частого ее ойканья множились новые звуки и летели по лесу, сея по пути тревогу у пернатых и четвероногих его обитателей: одни из них улетали и убегали со всех ног молча, а другие, гакие, как сороки и филины, оглашали урочище криками, особенно громкими и неприятными средь натянутой до предела ночной тиши.

Феня, с трудом подавляя собственный страх, в ответ на вскрик Насти говорила, тихо смеясь:

— Да что ты, в самом деле! Видала, как от тебя зайчишка улепетывал, а ты боишься! Хочешь, я сейчас всех чертей до смерти испугаю? Хочешь? — И, не дожидаясь, что скажет на это Настя, Феня по-ребячьи заложила пальцы в рот, и лес пронзил оглушительный свист. Настя закричала истошным голосом:

— Не надо!

— Ну, ну, не буду больше,— испугалась за спутницу Феня,— успокойся, сейчас придем. Болото уже близко, видишь, во-о-он светится.

Они свернули с дороги влево, где на смену молодым дубкам пришли осины, листья которых тихо серебрились в вышине и в полном безветрии все-таки трепетали, шлепались друг об дружку.

— Слышишь, как осины обрадовались нашему приходу? — сказала Феня нарочито громко, по-прежнему с тою же целью — подбодрить себя и Настю.— В ладоши хлопают.

Под ногами сделалось мягко, пружинисто, многолетние напластования плотных листьев приятно прогибались под ступнями ног; скоро меж пальцев (девчата были босыми), щекоча, начала пробиваться тепловатая и вонючая болотная водица; послышался жесткий шелест осоки, раздвигаемой рыбой и лягушками, плавающими где-то почти поверх воды; сквозь разводья засветился чистый от травы круг водной глади, на нем то там, то тут возникали прозрачные пузыри и тотчас лопались, уступая место другим; лениво плескалась нешустрая болотная рыба, увертываясь от погони или просто балуясь. Была минута, когда Феня и Настя едва не оставили своей затеи и не убежали из леса,— это когда к противоположному берегу вышел лось. Привыкшие с грехом пополам к разным лесным звукам, девчата поначалу не обратили внимания на легкий шум в кустах и спокойно снимали с себя платья, готовясь к рыбной ловле. И только когда темная громадина показалась в лунном свете и настороженно подняла ветвистую голову, они обе взвизгнули и сорвались с места, сверкая меж осин нагими телами. Но, по-видимому,

лось был напуган еще больше, потому что до убегающих донесся треск сучьев, а потом и вовсе все затихло. Стыдливо прикрываясь руками, словно бы их кто мог увидеть тут, Феня и Настя какое-то время сидели на корточках в нерешительности. Однако близость цели и крайнее нежелание возвращаться ни с чем победили боязнь, они приподнялись и, взявшись за руки, начали вновь подкрадываться к водяному зеркалу.

Настя с ужасом поглядела на болото, в которое она, совершенно голенькая, в чем матушка родила, сейчас должна войти, в то самое болото, в котором кишмя кишат пиявки и разные кусючие пауки, а днем, в солнечную погоду — она это сама не раз видела, — плавают ужи; высоко задрав позолоченную свою головку, они угрожающе стригут черным раздвоенным язычком; поглядела Настя на мутноватую темную водицу, и ее всю так и передернуло, а кожа вмиг стала гусиной, покрылась зябкими пупырышками. Постукивая часто зубами, Настя ждала, когда ее старшая подруга развернет на траве бредень и подаст команду. Будь то в другое время, днем, скажем, Настя обязательно расхохоталась бы, и счастливые от веселого смеха слезинки катились бы из ее глаз, потому как поза "разнагишенной" Фени была уморительной. Но Настя не могла даже про себя улыбнуться. Дрожа всем телом и вызванивая зубами, она ухватилась за левую клячу бредня и, точно обреченная, равняясь на Феню, осторожно вошла в воду. Ноги сейчас же, и довольно глубоко, погрузились в тину, из-под них подымалась, вторгаясь в ноздри, болотная вонь, жесткая осока неприятно царапала бедра и колени,— и то была минута, когда девочка готова была проклясть подругу.

"Дались ей эти караси, да я лучше бы с голоду померла, чем такое..." — думала Настя. Феня между тем тихо командовала:

— На себя потяни чуток. Вот так! Нижний конец клячи вперед немножко и держи у самого дна!

Вода подымалась все выше и выше, а вместе с нею как бы подымалось сразу все внутри и у самой Насти, сердце замирало, когда она наклонялась ниже, и захолодавшая в ночи вода доставала плотного бугорка маленькой ее груди. Возле ног, задевая их, мельтешило, сновало что-то живое и мерзкое, и ничего с этим нельзя было поделать.

— Ой, Феня, ой, миленькая, поскорее бы из этой проклятой воды! Помру, ей-богу, помру! — бормотала

она, изо всех сил волоча тяжелый, зачерпнувший пуды тины и всякой болотной дряни бредень.

— Ничего, ничего, Настенька, мы толечко один раз забредем — и домой.

Когда же вышли на противоположный берег и на крыльях бредня и особенно в длинном хвосте его увидали упруго шевелящихся, отливающих начищенной самоварной медью крупных карасей, Настя сразу приободрилась, запрыгала над добычей, захлопала в ладоши, закричала:

— Ура, ура, Фенюшка! Ай да мы!

Феня прикрикнула на нее с радостной дрожью в голосе:

— Ладно, перестань скакать! Помогай мне, неси ведро-то! Мы его с той стороны оставили! Беги!

— Ой, я боюсь!

— Ну постой тут, я схожу сама.

— Я не останусь одна. Я с тобой...

— Ну и помощница! Пошли скорее.

Караси выскальзывали из рук, Настя вновь ловила их в траве и, счастливая выше всякой меры, бросала, тяжелых и жирных, в ведро. Феня, деловитая и уже охваченная нетерпеливым огоньком охотничьего азарта, говорила тихо и таинственно, словно боясь, что кто-то услышит и помешает их занятию:

— Еще разик забредем. Ладно?

— Еще, еще! — уже охотно соглашалась Настя.

На другом берегу все повторялось сызнова, и ведро было уже почти полно, и уже на смену лунному свету явственно надвигался дневной, от села доносился крик кочетов и вот-вот Тихан Зотыч хлопнет своим кнутом пастушьим, а они все шептали:

— Еще! Ну, еще один разик. Последний. Ладно?

Последний заброд оказался менее добычливым — всего лишь три карася, но рыбачки не очень огорчились: на том берегу у них стояло полное ведро. Не спеша, поженски аккуратно они свернули снасть, оделись, ощутив ласковое и привычное прикосновение сухой материи к влажному телу, и в самом добром расположении духа направились по полукружью берега к тому месту, где их ждал улов. Только что выловленных карасей Настя несла в подоле, не особенно заботясь о том, чтобы не выронить их. От ушедшей чуть вперед Фени она услышала:

— Где же ведро-то?

В голосе подруги поначалу не было решительно никакой тревоги: ведро никуда не могло деться, у него

же нету ног, чтобы убежать, просто надо хорошенько оглядеться вокруг, где-нибудь притулилось за осокой, за болотным или большим лопухом. Подошла Настя, стали искать вместе, ходить, шарить глазами там, тут...

— Нету?

Вот только теперь что-то дрогнуло в Фенином голосе.

Они уже не ходили по берегу, а метались. И что-то тупое и холодное упало на сердце девушки, когда Феня уронила потерянно:

—Украли!

И тотчас же тяжкий груз нечеловеческой усталости обрушился на них, ноги сделались вдруг чужими, непослушными. Обе сразу рухнули наземь. И, верно, расплакались бы от жгучей, злой обиды, кабы не эта отупляющая усталость.

— Кто бы это мог, а? — спросила Феня спокойно, как о чем-то малозначащем для них. — Как у него поднялась рука? — И усмехнулась с горьким безразличием. Погрызла какую-то болотную травинку, медленно поднялась, так же медленно взвалила на плечо бредень, сказала уже на ходу, не оглядываясь, скорее же всего боясь оглянуться на подругу: — Пойдем, Настя. Слава богу накормили бригаду...

13

Гонимые огненной волной и грохотом войны, с запада на восток уходили не только люди, но и звери. Уже в самом конце сорок первого года в лесостепных краях Поволжья объявились лоси, которых с давних-предавних пор никто не видывал тут. Теперь они напрочно поселились по обоим берегам Волги и в короткий срок пообвыкли настолько, что запросто средь бела дня семьями выходили к стогам, раскиданным по лугам и балкам. Согласно охотничьим теориям, волки должны были бы держаться подальше от здешних мест, но на то они и охотничьи, эти теории, чтобы решительно не находить своего подтверждения на практике. Волки поначалу, может, и напугались пришлых невесть откуда лесных великанов, но ненадолго. Скорее всего, они, волки и лоси, заключили нечто вроде пакта о взаимном ненападении, потому что ни единого лосиного теленка, задранного бирюками, даже всевидящее око Архипа Архиповича Колымаги нигде не могло заприметить, зато останки домашней крестьянской живности попадались леснику на каждом шагу.

Волки-беженцы, изгнанные из обжитых ими западных окраин страны, эвакуировались сюда в таком множестве и были столь голодны и свирепы, что стали бедствием не только для крестьянских дворов, но и для своих собратьев — аборигенов здешних мест. Эти последние не пожелали приютить изгнанников, встретили их крайне враждебно. С вечера и до утра, а то и днем, совсем не на самых дальних от селений лесных полянах или же прямо на поле, в виду у работающих там и замирающих в страхе женщин, вскипали яростные волчьи баталии. Оттуда доносились визгливый вой, захлебывающийся, задыхающийся хрип и рык, костяной лязг клыков. Редкие собаки, чудом ускользнувшие от волчьих зубов, слыша и чуя такое, просовывали меж задних ног и прижимали к тощему, поджарому брюху хвосты и жалобно поскуливали у дверей, просясь в избу, под защиту хозяев.

Так продолжалось много дней и ночей, потом бои внезапно прекратились. Что уж там случилось — договорились ли вожаки стаи промеж собою, поделив землю на участки, уступила ли побежденная сторона и подалась в иные края, разошлись ли миром, не в силах одолеть друг друга, — но в лесу и в степи все вдруг смолкло. Люди решили было, что звери ушли. Утратив на какое-то время бдительность, женщины вновь стали выводить телят и коз на лужайку против своего дома и ставить их там на прикол. Не знали завидовцы, что волки, оставив в покое друг друга, со всей накопившейся злостью, подогреваемой голодом, переключатся на их подворья. Не встречая отпора — на все Завидово было одно ружье, но и оно настолько проржавело, что нельзя было даже взвести курка,— волки до того обнаглели, что не ждали, как прежде, ночи для своих разбойных набегов, а совершали их средь бела дня, так что, возвратясь к вечеру с колхозных полей, многие хозяйки находили у тех приколов либо одну истерзанную, вывалянную в пыли шкуру скотины, либо в придачу к шкуре еще и рога, либо не находили и этого, поскольку живность была таковой, что зверь легко ее вскидывал на свою бирючью спину, утаскивал в лесную глухомань, где ожидающий такого случая многочисленный выводок спокойно доедал добычу.

Глубокие старики, бывшие охотники, пропуская мимо ослабевших своих ушей бабьи вопли и причитания, дивовались волчьей лихости и наглости, клялись и божились, что такого еще отродясь не видывали, хоть и были свидетелями на своем долгом веку всяких чудес

и напастей, и что, будь они годков этак на сорок помоложе, они б нашли управу на этих серых разбойников; притом не забывали помянуть не самым ласковым словом лесника, коему пора бы уж организовать волчью облаву, а еще прежде того — пойти к ним, старикам, да посоветоваться, как ее подготовить и провести, потому что без их совета ничегошеньки у него, Колымаги, из такой затеи не получится: пошумит, попугает зверя, обозлит его еще пуще, на том дело и кончится.

Старики вспоминали свою далекую молодость и вдосталь, прямо-таки всласть, хвастались былой своей удалью. Одна охотничья история удивительнее и умопомрачительнее другой были рассказываемы в те дни, и маленькие мальчишки, единственные слушатели дедов, с замиранием сердца внимали им, глухие к причитаниям матери над шкурой Зорьки или Звездочки,— для которой в двухведерном чугуне грелось еще в печке пойло,— что им, неразумным ребятишкам, с того, что могут завтра положить зубы на полку, ибо кусать будет нечего?

На селе, то в одном, то в другом его конце, только и слышалось переполошное, бабье:

— Ату, ату его! Люди добрые, да что же это! Караул! Ярчонку прямо со двора унес! Батюшки, напасть-то какая! О господи!

Поутру, собравшись у пруда, на выгоне, куда сгоняли коров в стадо, женщины подводили печальные итоги. У той последнюю овцу зарезал волк, у этой — козленка, у третьей — теленка, у четвертой — кабанчика, у пятой — до собачонки добрался, не побрезговал вонючим щенком.

— Что же делать будем, бабы? Пропадем совсем! Облаву бы... И чего глядят мужики?..

— Где ты их, Дашуха, видела, мужиков? Одни старики во главе с дядей Колей остались да ребятишки малые.

— Сами пойдем.

— А ружья где возьмешь?

— Они нам ни к чему. Поорем хоть, покричим, мальчишек позовем с собой — глядишь, распугаем, убегут, можа, куда волки...

Феня и ее подруги, вновь помышляя о рыбной ловле, не знали, что в селе уже вовсю шла подготовка к облаве на волков. В нее включился и председатель, поскольку от них было невтерпеж и колхозным дво-

рам, за которые он, дядя Коля, нес теперь, как сам любил говорить, всю полноту ответственности. Единственное ружье, которое оказалось на чердаке у Апреля, было доставлено председателю, и тот всю ночь купал его в керосине; жена дяди Коли, добрая и работящая бабушка Орина, катала на сковороде дробь, нарубленную хозяином из толстой проволоки. Пока ружье отмокало в керосине, сам дядя Коля не терял времени попусту: снаряжал патроны, тщательно отсыпая порох из ладони большим наперстком: на столе были припасены прокопченные гильзы, старые, порванные газеты для пыжа. А к утру, выйдя на крыльцо, он вертел уже в своих руках двустволку, переламывал ее на шарнире, прищурясь, ласково глядел в стволы, потом раз за разом взводил и спускал курки, радуясь звонким и сочным их щелчкам. Не терпелось ему бабахнуть сразу из двух стволов и подивить этим честной народ, но превозмог это желание — патронов было в обрез. А у Архипа Колымаги разве выпросишь? Ему летошнего снегу и то жалко! Да и калибр у его ружья, кажись, двенадцатый, а не шестнадцатый, как вот у этого... Дядя Коля еще раз собрал морщинки у глаз, еще посмотрел в стволы и только уж потом, удовлетворенно хмыкнув, сказав невнятно "ишь ты!", вернулся в избу и молча присел за стол, у которого что-то там мудрила старуха.

Тем временем у избы Угрюмовых накапливалась ребятня, вооруженная сторожевыми колотушками, самодельными трещотками, железными прутьями и просто дубинами или палками. Судя по воинственному виду Павлика, он был у них предводителем. Он переходил от одного парнишки к другому, проверял снаряжение, некоторым подолгу заглядывал в глаза, пытаясь определить, сколь высок боевой дух дружинника. Сам полководец вооружился железной палкой — занозой от ярма,— палка эта висела у него по левую сторону и должна была изображать кавалерийскую саблю. Уверенный, что его оружие выглядит наиболее эффектно, Павлик был явно обескуражен, пожалуй, даже сражен, когда к его войску присоединился еще один активный штык — верный его дружок Миша Тверсков. Активный штык — в самом прямом смысле, ибо в Мишкиных руках оказался настоящий трехгранный штык от русской трехлинейки, и бессмысленно было бы пытать Мишку, где он раздобыл такое чудо: он и под угрозой расправы не открыл бы такой великой тайны, как не открыл бы ее и сам Павлик, будь он на Мишкином месте. Теперь ему надо было собрать всю угрюмов-

скую выдержку, чтобы скрыть от Мишки и от других мальчишек острую зависть, каковая пронзила его, кажется, насквозь. Прикусив зачем-то нижнюю губу, Павлик елико возможно небрежнее махнул приятелю рукой: становись, мол, в строй, нечего прохлаждаться!

Женщины собирались у правления. Они не стали выделять руководителя из своей среды, попросили Апреля покомандовать ими, как-никак мужик, огородный бригадир к тому же. Вооружение их было хоть и простое, но зато привычное для бабьих рук: мотыги, вилы, грабли, косы, и у некоторых даже тяпки, какими по осени шинкуют капусту, иные прихватили старые, прохудившиеся противни и железные черпаки, которыми, по-видимому, собирались колотить по тем противням и производить таким образом побольше шуму в лесу, а одна принесла железный, изъеденный ржавчиной таз. Словом, бабы готовы были всерьез сразиться с волками и ждали лишь команды о выступлении, нетерпеливо поглядывали в окно, за которым в конторе дядя Коля подписывал наряды. Вызволенная из небытия двустволка висела у него за спиной и молчаливо целилась в прокопченный потолок. Апрель стоял рядом и собирался что-то сказать председателю, но пока из деликатности молчал, не хотел отрывать главу артели от серьезного занятия. Заговорил лишь тогда, когда дядя Коля, подышав на казенную печать, прицелившись, звонко пришлепнул какую-то очень важную бумагу. Женщины не слышали голоса Апреля, но догадывались, что бригадир гневается на то, что бабы идут не на сбор огурцов и помидоров, а на совсем не женское и, если говорить честно, пустячное дело. В ответ дядя Коля с гневным недоумением поднял на старого своего друга седую бровь, но ничего не сказал, махнул лишь рукой и тотчас же вышел на крыльцо, длинный и тощий, преисполненный благородной решимости.

— Ну, бабы, вперед! — скомандовал дядя Коля и двинулся по Садовой улице прямо к Ужиному мосту, за которым сразу же начинался лес.

Сбор был назначен на Вонючей поляне, в полуверсте от Ужиного моста. Дружина Павлика Угрюмова была там и, завидя приближающегося дядю Колю с его отрядом, загалдела. Председатель не по летам зычным окриком вмиг приглушил этот галдеж и приступил к подробному объяснению своей "диспозиции", как он назвал план волчьей облавы. По дяди Колиной "диспозиции" завидовцы разбивались на две группы, или "колонны", как опять же выразился председатель. Од-

на "колонна", ребячья, а значит, и самая многочисленная, выступая первой, должна была захватить и прочесать весь лес; женщины, уступавшие ребятам по числу, но никак не по шуму, для которого они подготовились, пожалуй, даже лучше мальчишек, двигались второй "колонной" с дистанцией в четыреста метров, и вел их Апрель, для которого, впрочем, вся эта затея представлялась в высшей степени неразумной.

Указав точное время начала облавы, председатель ушел узкой, заросшей травою дорогой в противоположный конец леса, выбрал подходящее место и устроил засаду. Изготовился, положив ствол ружья между двумя сучками. Недовольно поморщился, когда над самой его головой протараторила сорока. "Выдаст меня, стерва!" — подумал дядя Коля и хотел было уже поменять место, как донесся далекий и поначалу приглушенный, а потом все усиливающийся шум, единственный в своем роде, поскольку порожден он был таким же единственным в своем роде и неповторимым временем: ребячьи трещотки, вчера еще исполнявшие роль "максимов", пронзительный свист, каковым с начала войны в совершенстве овладели сельские ребятишки, пальба из самодельных пугачей, дикое улюлюканье, подогреваемое одновременно и страхом и азартом, смешивались с бабьим визгливо-остервенелым воем и визгом, с грохотом железа и невообразимым криком — ну в какие другие времена услышишь и увидишь такое?!

Дядя Коля, организовавший все это, разволновался, поначалу сам не на шутку струхнул и чуть было не дал тягу, но все-таки взял себя в руки, вытер ослезившиеся от напряжения старые свои глаза и стал пристально глядеть перед собой. Вскоре из общего гвалта отделился, как бы отскочил далеко вперед, один шум, производимый ломающимися сухими ветками и разрываемой прошлогодней травой; шум был прерывист, неровен, очевидно, кто-то бежал прямо на изготовившегося охотника. Дядя Коля прильнул щекою к горячему от его рук ложу, коснулся спускового крючка и был готов уже нажать на него, когда что-то темное замелькало впереди меж зеленых ветвей пакленика и вяза. В последний миг старик явственно различил, что перед ним не зверь. И то, что это был не волк, к встрече с которым изготовлялся так долго и так тщательно дядя Коля, а человек, которого он никак не ожидал, охотника испугало чуть ли не до полусмерти. В замешательстве он чуть не выронил ружье, но быстро спохватился, вскинул его на изготовку и закричал хриплым голосом:

— Стой, стрелять буду! Руки вверх!

Оборванный, бородатый человек, поднявши руки, медленно приближался к охотнику, говорил так же хрипло, сдавленно:

— Неужто не узнаешь, дядя Коля, Николай Ермилыч?

— Стой, тебе говорят! Не то...

— Да это ж я, Пишка! Епифан Федорыч! Как же?..

— А ну выбрасывай, что у тебя там в кармане? Нож? Ну!

Вид дяди Коли был воистину ужасен. Бородатый извлек из кармана плоский финский нож и далеко луknул его в лесную чащобу.

— Ну, так-то оно лучше, — заключил удовлетворенно дядя Коля. — А теперь усаживайся вон на том пенечке, покалякаем, Епифан свет Федорович... Вот и мой трудящий народ приближается, расскажешь нам, какой ты есть герой, как Родину защищал, награды свои покажешь... — Дядя Коля говорил, а вокруг него уже собирались ребятишки, среди которых Епифан сразу же приметил Павлика и сейчас же решил: "Сообщил, звереныш!" И угрюмое безразличие, только что сменившее безумный страх в его темных, некогда насмешливых, озорных глазах, тут же исчезло — лютая ненависть плеснулась из них в сторону Угрюмова-младшего. Разгоряченные беготнею и собственными криками, ребятишки теперь притихли. Надвинувшиеся отовсюду женщины сперва закричали на охотника, потребовали показать им убитого волка, но, увидав сидевшего на пеньке и безвольно опустившего голову человека с иссиня-черной бородой, расплавленной смолой стекавшей ему на колени, тоже смолкли и уставились на него до предела расширившимися глазами, в которых было сейчас все: и страх, и недоумение, и горечь, и боязнь за что-то очень большое и важное в жизни всех и каждого из них в отдельности. Между тем дядя Коля продолжал:

— Ну, бабы, узнаете героя? Ну да, он самый, Епифан и есть, Пишка, значит... Сказывай честному народу, как ты бил фрицев, как оборонял нас, стариков, женщин да детей малых... Ну! Садитесь, бабы, слушайте. О бирюках не печальтесь — они теперь от вашего шума за тридевять земель удрали. Тут вон какого матерого изловили. Давай, Епифанушка, говори-рассказывай, какими геройскими делами прославил родное Завидово. Давай, давай, не стесняйся, тут все свои. Давай, милой... — Голос дяди Коли был уже еле слышен, звук его словно бы прикипел к воспалившимся в страшном гневе гу-

бам и гортани. — И харю-то подыми, погляди в глаза людям!

И Пишка поднял глаза, утонувшие глубоко в слезах, ничего и никого не видящие. Тщательно вытер их подолом линялой гимнастерки, покосился на одного Павлика, заговорил:

— Из госпиталя, из Саратова иду... услышал шум, крики — испугался сам не знаю чего, ну, побежал... вот.

— А бороду-то в госпитале отрастил?

Пишка кивнул.

— В отпуск, стало быть, идешь? — спросил дядя Коля саркастически.

Пишка опять кивнул.

— Ну что ж, Дуняха, встречай воина своего, — сказал дядя Коля и поискал глазами Пишкину жену.

А она стояла неподалеку, обнявши старый карагач. И все видели, как тряслись ее плечи, и пожилая женщина стояла рядом с нею и говорила строго и сочувствующе:

— Ты-то что плачешь? Жена за мужа не ответчик! Ты ить у нас, Дуняха, передовая, руки-то у тебя золотые. Не реви, не трать на него слез, он их не стоит.

На человеческие голоса вышли из глубины леса со стареньким, мокрым, намотанным на деревянные клячи бредешком и полным ведром карасей Тишка, Феня и Маша Соловьева. Поначалу они тоже молчали, не понимая, что тут происходит. Первым сообразил Тишка, ибо в каком угодно обличье он угадал бы своего приятеля.

— Пиша, ты?! — заорал Тишка и кинулся было к Епифану, но был остановлен презрительными, озлобленными взглядами женщин.— Как же это, а?

— Не видишь разве? Удрал с фронта! — сказал, еще более накаляясь, дядя Коля, и тут с его уст первый раз сорвалось жуткое, заставившее всех содрогнуться слово: — Дезертир! — Короткое, как выстрел, и такое же убийственное, оно послужило как бы сигналом. Женщины сорвались со своих мест и кинулись на Пишку, и, верно, тут бы и нашел свой смертный час Пишка, тут бы ему и конец, если б не дядя Коля, который заорал что есть моченьки: "Не сметь, бабы! Самосуда не допущу!" — и который, похоже, не особенно надеясь на свой голос, подкрепил его оглушительным выстрелом вверх одновременно из двух стволов; листья вяза и пакленика зелеными парашютиками повисли над разъяренной толпою, медленно кружась и снижаясь. Бабы с испуганным визгом шарахнулись в разные стороны и оста-

новились поодаль, тяжело дыша. Возле Пишки оказались лишь две — Феня и Маша. В тишине, наступившей как бы после грозы, очень слышно и отчетливо прозвучал голос Фени, в котором была горечь и обида:

— Как же тебе не стыдно, Епифан?!

А Маша Соловьева решительно и, кажется, вполне серьезно потребовала:

— А ну, сымай брюки!

Пишка глядел на нее испуганно.

— Сымай, сымай, говорю!

Все — дядя Коля, мальчишки, женщины, в том числе переставшая плакать Дуняха, Пишкина жена, — ожидающе молчали: что там такое надумала Соловьева?

— Ну, я кому говорю! — глумилась Мария.

— Зачем тебе мои брюки? — слабо спросил Пишка.

— Воевать за тебя пойду в них. Понял?! А тебе отдам свою юбку.

В другое время, при иных обстоятельствах бабы покатились бы со смеху. Сейчас же они по-прежнему молчали, и лица их были суровыми. То, чему они стали свидетелями, казалось таким нелепым, непонятным и диким; им трудно было поверить, что это действительность, а не дурной сон.

Павлик, откопавший нынешним утром у себя на огороде, в укромном месте, возле трясогузкиной могилки, осколок от немецкой бомбы и припрятавший его в кармане штанов, сейчас ощупывал там острые края и с трудом сдерживался, чтобы не вытащить эту штуковину из кармана и не запустить прямо в Пишкину морду.

— Ну, бабы, хватит! Нагляделись на вояку, а теперь ступайте домой. Мы вон с Архипом Архиповичем спровадим его куда следует. Ступайте, ступайте, бабы!

Уходя, Феня наклонилась еще ниже к Пишке и выдохнула прямо в его бородатое лицо:

— Эх ты, герой! — выпрямившись, позвала подругу: — Пойдем отсюда, Маша! Тошно глядеть на него!

— Несло, поди, как из паршивого гусенка, от карасей ваших, — не удержалась под конец и Соловьева.

Тишка пошел вслед за ними, неся в одной руке ведро с рыбой, а в другой — мокрый тяжелый бредень. Ему очень хотелось в последний раз поглядеть на Пишку, но так и не решился: боялся трактористок. И в прежние-то времена не шибко бравого вида, сейчас он вроде бы вмиг усох, ссутулился, маленькие черные глазки встревоженно светились, забытая на нижней гу-

бе цигарка давно погасла, из нее сыпался на небритый подбородок остаток махорки. У села он окликнул женщин и виновато предложил:

— Возьмите домой по десятку, бабы.

— Мне не надо, я, с какой стороны ни глянь, кругом одна, — сказала Мария. — Вот Фенюхе брось в подол пяток-другой карасишков. У нее теперь полна изба голодных ртов. — И, не дожидаясь, когда это сделает бригадир, сама выхватила из ведра крупных рыбин, сама вложила в Фенину руку конец подогнутого ее подола, побросала в него карасей, сказала повелительно: — Бери, бери, чего уж там! Корми мать и детишек, особенно своего Филиппа Филипповича да Павлушку. Солдат, чай, многонько потребуется. К ним небось военком уж примеривается глазом-то своим. Вчерась, говорят, опять приезжал в Завидово, какие-то новые списки составлял в сельском Совете. — Вдруг замолчала, оглянулась в сторону леса, спросила неизвестно кого: — Что же теперь с ним будет, с Пишкой? — и ответила с клекотом в голосе: — Чего заслужил, то и получит! Только вот ваш Гриша да мой Федор должны теперь и за него, поганца, воевать.

Три немолодые женщины сидели на бревнах против угрюмовской избы. Феня еще издали узнала их. Посредине ее мать, Аграфена Ивановна, по правую и левую стороны от нее — Авдотья и тетка Анна, Тетенька, возле нее — маленький Филипп Филиппович. Завидя приближающуюся мать, он не побежал к ней радостно и нетерпеливо, как делал всякий раз, когда Феня возвращалась с работы. В другом случае это должно было бы обидеть Феню, она подумала бы испуганно и ревниво: "Не отвык ли от меня?" — но сейчас и сама, будто дитя малое, осветилась вся счастливою улыбкой и, ускорив шаг, понесла ее, улыбку эту, навстречу Тетеньке, которую не видела с зимы. Но еще прежде к Фене подбежала Катя. Заглянула в подол, схватила карася и полетела обратно, ликующе крича:

— Мам, мам! Феня рыбы несет!

Катя нюхала влажного, пахнущего болотом карася и, судя по ее виду, была немного разочарована: Феня не принесла ничего такого, что можно было бы съесть немедленно, а тут придется еще ждать. А мать по привычке осенила себя крестом, сказала, глядя на Феню мокрыми, бесконечно благодарными глазами:

— Спаси тебя Христос, доченька. Кормилица наша дорогая. Что бы мы делали без тебя? Пропали бы совсем, с голоду бы все засохли.

А Феня глядела уже на Авдотью, глядела в упор, с мольбою и великим нетерпением. "Ну, скажи, скажи скорее, есть что от него?!" — прямо-таки кричали ее потемневшие глаза. Авдотья нахмурилась.

Феня тяжело опустилась на бревно, рядом с Тетенькой, потянулась к сыну, уткнулась в него лицом и не подымала головы до тех пор, пока не надышалась им вволю и не успокоилась. Потом как-то встрепенулась вся, опять засветилась своею такой веселящей всех улыбкой, глаза стали прекрасными — синими-синими, — позвала радостно и беззаботно:

— А ну, Катя, мама, айда чистить рыбу! Сейчас такой щербой вас угощу!

Караси лежали на подорожнике и еще шевелились, когда несколько проворных рук принялись потрошить их и счищать кухонными ножами отсвечивающую золотом чешую. Из-за рыбьих кишок тут же разыгралась драка между кошкой и единственной курицей, сохраненной Феней для сына: когда-никогда, а все-таки снесет яичко. Курица была старая и храбрая, она коршуном налетала на кошку, клевала ее, норовя угодить в голову, и та отбегала на почтительное расстояние и ждала момента, когда соперница хоть на секунду утратит бдительность.

Варили щербу на огороде, возле колодца; для приправы под рукою было все: и лук, и укроп, и петрушка. Испугал было всех своим неожиданным появлением почтальон Максим Пакле́ников, но ненадолго; еще издали замахал треугольником: несу, мол, письмо солдатское, не пугаться, а радоваться надо. Письмо было от Гриши, и очень короткое: жив пока и здоров, воюет, и хоть нелегко им там, да что поделаешь — война. И чтобы, видать, родные догадались, как горька она, эта война, вложил в бумагу ветку степной полыни, сорванную на кромке окопа где-то там между Доном и Волгой. О друге своем, Сереге, написал, что и тот жив и здоров, воюют по-прежнему вместе в минометной роте. Когда Феня дошла до этого места, встрепенулась Авдотья, тут же начала уверять всех, что Серега для нее вроде сына, вспомнила вдруг, как обошла весь город, когда искала для него подходящий костюм, как в последние годы заменяла ему покойную его мать. Читали, перечитывали Гришино письмо, и никто при этом не глянул в лицо Тетеньки, а оно уже было совсем черным — нико-

му не сказала старуха, что недавно вновь навестила ее страшная гостья — та бумага, от которой свет меркнет в глазах. От горя, от тоски немыслимой и подалась в родное Завидово из районного поселка, куда много лет назад выдали ее замуж и откуда ей редко удавалось выезжать. Теперь на войне у нее оставался один-единственный сын, ее младшенький — вся надежда и отрада, но он летчик — долго ли сохранит свои крылышки, сокол ясный?.. Тяжко, прерывисто вздохнула, украдкой, тайком от повеселевших людей вытерла слезу, притянула опять к себе Филиппа. Фене сказала:

— Заберу я у тебя его, дочка, до осени. Что-то мне тошно одной там.

— Что ты, Тетенька, он и так за зиму-то надоел тебе.

— Да что ты! Матери твоей с двумя-то не сладко, да на колхозную работу ее еще наряжают, а я одна, с Филиппом-то мне будет повеселее. Да ты не беспокойся, догляжу, ничего с ним не случится.

— Ну, спасибо тебе, Тетенька! Когда надоест — дай знать, сразу же заберу обратно.

— Ладно, ладно. Вот только лошадь попроси у председателя. Ноги-то у меня уже старые, слабые стали. Не дойду. Семнадцать верст не ближний свет.

Запах созревающей ухи густел, набирая силу. Сидевшие вкруг чугуна люди, верно, и не замечали, как облизывали свои губы нетерпеливыми языками; они хотели, но не могли скрыть непроизвольного глотательного движения, чувствуя неловкость, отводили глаза в сторону от чугуна, от булькавшего в нем варева, от переворачивающихся карасей, побелевших мельтешащих икринок. Когда прямо на траве Аграфена Ивановна раскинула скатерку и, примерившись глазом по сидящим людям, начала по их числу раскладывать деревянные ложки, Максим Паклёников поднялся на ноги, стал прощаться:

— Бывайте здоровы, бабы. Приятного вам аппетита!

— Куда ж ты, Максим? Садись с нами, отведай ушицы!

— Сыт, Аграфена Ивановна! Вот те крест, сыт. Недавно сам наловил щурят и налопался вволю. Так что не беспокойтесь обо мне. Ешьте на здоровье сами.

— А ты не врешь, Максим Савельевич? — напрямик спросила Феня.— Что-то не видать по тебе...

— Я ж побожился!

— Ну, гляди. А то садись. Вон какой чугунище сварили. Всем хватит.

— Нет, нет. Я пойду. Бывайте!

И ушел, и ни разу не оглянулся. Феня долго смотрела ему вслед и удивлялась, что же такое содеялось с их далеко не стеснительным почтальоном.

Уже затемно вернулся Павлик из лесу. От ухи, оставленной для него, ко всеобщему удивлению, отказался, сейчас же укрылся в амбарушке, где у него была постель: мешок с сеном — под голову — и брошенный прямо на пол ватник, и как ни звала, как ни кликала, ни упрашивала его мать, чтобы вышел и поел, не подал даже голосу, дрянной мальчишка!

А Павлику было вовсе не до еды: там, в лесу, перед тем как встать под конвой дяди Коли и Архипа Колымаги, Пишка успел-таки крикнуть ему, Павлику Угрюмову: "Ну, волчонок, погоди, ты мне за все ответишь! Выдал, паразит!" Не думал Павлик, что бушующая где-то война повернется таким-то вот образом и к нему. Не будь он Угрюмовым, побежал бы вслед за уходящим Пишкой, закричал, уверил бы его: "Я не выдавал! Я никому не сказывал! Я, конечно, плохой пионер, но я никому, никому не сказывал про тебя!" Всю ночь он ворочался, мелко вздрагивал, всхлипнул несколько раз, но так тихо, что даже чуткое ухо вечно бодрствующей матери не услыхало этого всхлипа. Осколок бомбы лежал у него в изголовье, и, чуя его близость, Павлик уже жалел, что там, на поле, железка эта не долетела до него и не попала прямо в его сердце: он бы погиб тогда, как красноармеец в бою, и никакой бы Пишка не мог бы ничем ему пригрозить.

Захваченный нерадостными, беспокойными своими думами, Павлик не слышал, как к их дому подкатил автомобиль. Не слышал и разговора, какой был у секретаря райкома Федора Федоровича Знобина с его старшей сестрой. Зайти в дом секретарь отказался — зачем булгачить всю семью? — и решил поговорить с Феней прямо вот тут, на вольном воздухе. Для начала спросил, как чувствует себя утопленник. На испуганный вскрик Фени улыбнулся и уточнил, сказав, что имеет в виду трактор Марии Соловьевой.

— Ничего, тянет, — сказала Феня.

— Ну, а как сам тракторист?

— Маша, что ли?

— Ну да.

— А что ей сделается? — И Феня пристально посмотрела на Знобина, стараясь определить, для чего он завел весь этот разговор.

— Жива-здорова, значит. Добро. Ну, а ты? Как ты?

— Да все так же.

— Отчего сердишься? Случилось что?

— У нас в доме ничего. А в селе... слышали, чай?

— Слыхал. Завтра суд. Военный трибунал. Первый случай в нашем районе, — вздохнул и, некурящий, позвал шофера Андрея, попросил на закурку. Тот с удивлением всыпал в протянутую ладонь секретаря щепоть махорки, оторвал от газеты лоскуток для самокрутки. Федор Федорович пытался свернуть цигарку, но с непривычки не одолел этого дела, плюнул, бросил бумажку в сторону, стряхнул с брюк табачные крошки. — Опозорил, негодяй! Ну да черт с ним. Я по другому и очень важному делу, Федосья Леонтьевна, к вам.

Феня внутренне ухмылялась: Федосья Леонтьевна! А она и не знала, как это прозвучит, когда ее имя, утратившие ласкательное, девичье наклонение, будет поставлено рядом с отчеством. Оказывается, очень даже солидно. И, не удержавшись, сказала, стараясь придать своему голосу побольше важности:

— Федосья Леонтьевна!

— Что, не нравится так? Ну ладно — Феня. Вот что, Феня. Лето на исходе. Скоро осень, а за нею вот она, тут как тут — зима.

— Корма мы уже заготовили. Правда, маловато их, но заготовили. И с жатвой кончаем.

— Знаю. Молодцы вы. Знаю и о том, что деньги на танк почти все собраны. Но я сейчас о другом. Есть срочное задание: каждой женщине в районе связать по шесть пар варежек для бойцов Сталинградского фронта. Судя по всему, бои там будут и жестокие и долгие.

— А где ж мы возьмем столько шерсти?

— А вот этого я, Феня, по правде сказать, и не знаю. Я знаю, что эти варежки очень будут нужны бойцам, может быть, так же, как снаряды и пули.

— Да, но где же взять шерсть? Ведь сдали же всю.

— У тебя есть одна ярочка?

— Остригли ее дважды.

— Придется остричь в третий раз, — улыбнулся Знобин.

— Под самую зиму?

— А что делать? Война, Федосья Леонтьевна! И хорошо, если б через месяц, скажем, собрались вы, комсомолки, да организовали посиделки, как в старину делали, — с прялками, с вязаньем, с шитьем... А тут парни с гармонью, балалайками. Песни, смех, под утро — провожанья по домам. Здорово!.. Впрочем,

парней вам не обещаю. Разве что сам явлюсь. Это уж точно — непременно прикачу, вот увидишь, вспомню молодость! Голос у меня только того... хрипит, как у старого барбоса. Но ничего — все равно явлюсь. Так что давай, Феня, организуй. И поверь: это очень, очень важно! А теперь вот что... Ну-ка, Андрюха, давай сюда наш гостинец. Конфет привезли... Не маши руками, нос мне расшибешь, не для тебя вовсе, ухажеры из нас с Андрюхой неважнецкие, а вот для твоей сестрички малой да для наследника испанского героя они, конфетки эти, будут аж в самый раз. А теперь полезай в погреб и нацеди кваску. Знаю, у твоей матери он завсегда водится. Ступай, ступай!

Пил, покряхтывая, отчаянно хвалил Аграфену Ивановну, просил передать превеликую благодарность.

— Не квас, а царский напиток. Кхе, кхе...

— А чего вы все кашляете, Федор Федорович?

— Так, привычка такая дурная... Ты расскажи лучше, как живешь. Не пристают мужики-то?

— А где они у нас?

— Так уж и нет?

— Может, где и есть, да не про нашу честь.

— Ну, ты вот что... не сердись, что спрашиваю и об этом. Знаю, как липнет наш брат к молодым, красивым, да еще и к одиноким бабам. Гони в шею. После войны мы тебе такого женишка подберем, что всем на зависть.

— Да бросьте вы уж об этом, Федор Федорович! Прямо в краску вогнали. Хорошо, что темно — не видать.

—Ладно. Не буду больше. Поедем, Андрей. На пленум не опоздать бы. А за квасок еще раз благодарствуем.

Пока шофер ходил возле машины и что-то там в ней высматривал, Феня слышала тихое, старательно сдерживаемое покашливание Знобина.

"Господи, так вот и погаснет где-нибудь на дороге, — подумала Феня. — И почему это столько забот на одного слабого, больного человека? Много ль ему, одному-то, нужно? Странно, непонятно как-то устроена жизнь. А человек-то золотой, шутит все, на посиделки грозится приехать..." Мысль от посиделок неизбежно и по самому короткому пути привела ее к варежкам, которых надо было связать аж по шесть пар. И связать надо еще до зимы, а потом опять ремонт тракторов, уход за скотиной, своей и колхозной, да мало ли дел ожидало их впереди!

Автомобиль где-то за поворотом улицы в последний раз сверкнул фарой, осветил молчаливую ветлу над

речкой, и вскоре не слышно стало даже урчания его старенького мотора, хотя тарахтение слышалось — теперь уж в небе среди звезд. Невидимые глазу там, не на такой уж большой вышине, плыли ночные бомбардировщики, плыли в сторону Сталинграда, и Феня не знала, что управляют этими грозными птицами ее ровесницы, такие же девчата, и, может, какая-то из них уже не полетит в обратную сторону, а горящей звездочкой упадет наземь и рассыплется там.

"Жениха собирается мне подыскать. А его искать-то не нужно. Остался бы только в живых. Где он, как он там?" — острой болью отозвалось в сердце. Тихо застонав, Феня поднялась и пошла в дом. Но не пробыла там и минуты, как появилась опять на улице и быстро пошагала, почти побежала по проулку. У Авдотьиной избы остановилась, постучала в окно, попросила:

— Тетя Авдотья, открой!

— Что случилось, что ты? — В исподней рубашке старуха вышла на крыльцо.

— Он живой, живой. Сердце мне сейчас подсказало! Он живой и обязательно придет. Вот увидишь!

В ответ было молчание. Только слышалось тяжелое дыхание старой женщины. И Фене было очень горько, что та не отозвалась на ее порыв. Она резко повернулась и побежала в поле. Где-то у последней избы на нее тявкнул одинокий пес и, как бы спохватившись, что поступает неразумно, тотчас же смолк. В двух местах спугнула земляных зайцев-тушканчиков — они долго еще мелькали впереди нее длинными хвостами, пока не догадались свернуть в сторону и сгинуть с глаз человека. Какая-то ночная птица, сова должно быть, пронеслась мимо, и так низко, что едва не задела крылом пылающей щеки Фени. Феня хотела лечь рядом с Настей тихо, так, чтобы не разбудить ее, но та услышала. Обрадовалась. Спросила, как всегда, встревоженно:

— Ты что такая горячая? Прямо обжечься можно!

— Да так... Бежала очень.

— А мы тут щербу варили, — сообщила главную новость Настя, — и тебе оставили. Там вон, за будкой, в котле. Пойдем накормлю.

Фене хотелось посидеть, пободрствовать в прохладной ночи, и она сказала:

— Пойдем!

Уха давно остыла, но оттого была еще вкуснее. И они ели, и Настя смеялась, и постепенно ее настроение передалось Фене, и та радовалась, что не осталась ночевать дома, а убежала в степь.

Если и прежде Павлик Угрюмов мечтал при первой же возможности удрать на фронт, то теперь, после встречи с Пишкой, после того как он начитался в газетах и наслушался по радио о прямо-таки невероятных подвигах своих сверстников на передовых позициях и особенно в партизанских отрядах, после того как война подкатилась чуть ли не к их дому, после всего этого он уже не мог оставаться в Завидове и одного часа. Грозные сполохи, подымавшиеся на юго-западе, где-то совсем уж близко и не угасавшие от вечерней до утренней зари, одновременно и пугали, и властно притягивали, и будто укоряюще указывали ему, что настоящие ребята сейчас не могут отсиживаться дома под материнским крылом и что место их там, где дрожат эти вон зарницы и глухо ухают пушки; и горький, повянувший полынок, извлеченный из Гришиного конверта и припрятанный Павликом за пазухой, сейчас вроде бы раскалился, и припекал кожу где-то у самого сердца, и теребил его, и тоже звал, говорил мальчишке, что надобно бежать немедленно, сейчас же, сию секунду. И Павлик вскочил на ноги, забегал, заметался по амбару, собирая по карманам и в ученическую сумку, в которую мать укладывала для него еду, когда он выезжал на Солдате Бесхвостом в поле, — собирая самое необходимое, что потребовалось бы в дороге и, главное, на войне: первонаперво он прихватил, конечно, остро отточенный и длинный кухонный нож, который едва ли уступит винтовочному штыку Мишки Тверскова; потом — пугач, пригоршню мелко нарубленных гвоздей, давно испытанных Павликом и его товарищами в стрельбе по воронам и сорокам, когда те очень уж нахально подкрадывались к куриным гнездам; затем — изогнутый обломок серпа, заточенный когда-то еще Гришей так, что он больше напоминал короткий клинок, чем безобидную сельскохозяйственную принадлежность; решил под конец, что кое-какие продовольственные припасы в долгом его пути тоже не будут лишни, а потому тайком прокрался к судной лавке, отвалил тем клинком полкраюхи ржаного, совсем черного в предутренних сумерках хлеба, собирался было и ее упрятать в сумку, да что-то заколебался, подумал минуту, разрезал эту половинку пополам и лишь четверть прихватил для себя, присовокупив к ней несколько огурцов и помидоров, не забыв, разумеется, и про соль — как-никак, а он крестьянский сын и понимает, что к чему. Выскочив на

зады, которыми хотел незаметно пробраться сперва на луга, а затем в лес, он вдруг вспомнил про Мишку Тверскова и живо представил, какую тяжкую обиду испытает тот, когда узнает, что друг его ушел на войну, не простившись и, что особенно важно, не предложив и ему, Мишке, почесть уже полностью экипированному, а значит, и готовому бойцу, отправиться под Сталинград вместе с ним, Павликом. Изменив первоначальное направление, Павлик мигом перемахнул через плетень, добежал до подворья Тверсковых и сам не заметил, как оказался на сеновале, где, разбросавши руки, спал Мишка. Растолкал его, горячо зашептал в сонное лицо:

— Вставай! Довольно дрыхнуть-то!

— А, Павлуха? Ты чего это так?

— Вставай скорее. Сейчас скажу!

Мишка натянул портки, по которым теперь уж трудно было установить, какая материя составляла их основу, потому как все они были облеплены заплатками разных размеров и когда-то разных цветов: портки были до того обшмыганы им и застираны матерью, что теперь и цветов этих нельзя определить; проворно нырнул в рубаху приблизительно такого же достоинства, проморгался как следует и только потом уж переспросил:

— Ну? Сказывай!

— Пойдешь со мной? — в свою очередь спросил Павлик тоном таинственно-заговорщическим.

— Куда?

— Я тебя спрашиваю: пойдешь? Отвечай скорее!

— А то рази!

— Где у тебя штык?

— Вот тут, под травой.

— Доставай — и айда за мной! — С этими словами Павлик повернулся от товарища, на какой-то миг закрыл собою чердачную отдушину, к которой была приставлена лестница, и через минуту был уже на земле, нетерпеливо поджидая там своего приятеля.

Как ни торопились, покинуть село затемно не успели. Пришлось на ходу менять весь план намеченного побега. Теперь, когда Тихан Зотыч взбулгачил своим кнутом все Завидово и когда из-за Большого мара уже вылуплялся огромный желток небесного светила, идти пешком с боевыми доспехами было бы рискованно: взрослые тотчас догадались бы об истинных намерениях ребят и порушили бы весь замысел у самых его истоков. Поэтому сообразительный Павлик предложил

Мишке сначала пробраться на общий двор, что было нетрудно сделать, поставить в ярмо Солдата Бесхвостого и выехать полем туда, где кончались владения их колхоза; там вытащить занозу, выпустить быка в Дубовом овраге попастись, распрощаться с ним таким-то вот образом и преспокойно отправиться в путь-дорогу где полем, где лесом, примериваясь на далекий гул войны, а ночью — на огненное зарево, ни в коем разе не заходя в селения, деревни и хутора. Малые съестные припасы не очень-то должны беспокоить беглецов: была б вода, а еда завсегда отыщется; с шести лет каждый из них научен различать в сонмище лесных и степных трав и растений съедобные; правда, дело было к осени, так что ни сахаристого, сочного раста, ни лесной дикой моркошки, ни терпкого на вкус дягиля, ни борчовки, ни косматок жирных, ни горько-сладкого чернобыла, ни кислого и вкусного столбунца, ни душистых и упоительно нежных слезок, ни медовых лепестков клевера, которые так славно пососать, ни щавеля, ни даже земляники — ничего этого сейчас уже не сыщешь, отошел всему этому срок; но зато приспела пора для поздней ягоды: ежевики, костяники; теперь она уже светится красными и прозрачными своими глазками по краям дорог в темной и сырой дубраве; в лесу, в степных оврагах и в балках им непременно попадутся дикие яблони и груши; их плодами, пускай жесткими и кислющими, можно запастись на несколько дней, для голодного желудка и они радость. Короче говоря, беспокойство о еде исключалось. Главное, не попасться бы в руки взрослым, не быть схваченными, ведь их могут, чего доброго, еще выпороть и с позором вернуть домой.

Солдат Бесхвостый, прижмурившись, дожевывал свою жвачку и, кажется, не обрадовался, когда на его обсмоленную шею легли сначала рука бывшего подпаска, а потом уж и ярмо.

— Солдатик, миленький, цоб-цобе! Поскорее! — не понукал, а просил Павлик, только помахивая кнутом, но не опуская его на выгнутую бычью хребтину, так что не привыкший к подобному деликатному обращению Солдат Бесхвостый шевельнул ушами с явным недоумением и, кажется, впервые против своего обыкновения прибавил шагу. Во всяком случае, он-то знал, что пошел быстрее, но ребята этого не приметили, и Павлик продолжал просить, даже не просить — умолять: — Ну, ну, Бесхвостый, побыстрее же! Миленький! — И, словно догадавшись, на какое серьезное дело направляются его седоки, вол еще набрал скорости, а под го-

ру и вовсе побежал, смешно и нелепо вихляя клешнятыми ногами.

— Уррра! — закричали ребята. — Вперед, Солдатик, вперед!

У Дубового оврага они освободили его из ярма, по очереди подошли и потрепали за ушами.

— Спасибо, Бесхвостый! До свиданья! Жди нас с победой! Смерть немецким оккупантам! — Последние слова вырвались у Павлика одновременно со слезинками, которые сами собой выскочили из повлажневших и засветившихся странно как-то глаз.

Бык преданно и долго поглядел им вслед и не нагнул тяжелой своей морды к траве до той минуты, пока ребята не скрылись за ближним увалом. За увалом они остановились, поправили на себе поклажу, оглядели друг друга, и Павлик спросил на всякий случай:

— А ты жалеть не будешь, что пошел? Скажи прямо. Я ведь и один могу...

— Да ты что, — обиделся Мишка. — Я и сам хотел...

— Ну, лады, — заключил Угрюмов-младший удовлетворенно и скомандовал: — Тогда пошли!

— Пошли, — сказал Мишка как можно решительнее, но в голосе его, подчеркнуто воинственном, отчетливо слышались противные нотки смятения, поселившегося в его душе сейчас же, как они шагнули за увал и когда Солдат Бесхвостый скрылся из их глаз, как бы оборвав нить, которая еще связывала Мишку с дорогим и привычным миром, дорогим уж потому только, что он был для него пока что единственным. Это и мать с ее вечно встревоженными, чего-то недоброго ожидающими и оттого всегда печальными глазами; она, наверное, уже вернулась с выгона, куда провожала в стадо корову и где успела вдосталь наговориться с кумой Дарьей, а теперь вот зовет не дозовется его с сеновала завтракать. Это и два его младших брата, Генка и Андрюшка, — они небось сидят уже за столом и, голодные, думают, отчего это их мамка так долго не идет в избу и не ставит на стол чугун с похлебкой. Это и рыжий старый Полкан, увязавшийся было за ними и отогнанный самым грубым образом, — он, конечно, забился под крыльцо и поскуливает там, плачет по Мишке. Это и древняя груша на задах, единственное дерево, посаженное в какие-то давние-предавние времена еще Мишкиным прадедом, — она свечою уткнулась в небо, и на вышних колючих ее ветвях уже виделась восковая желтизна созревающих плодов, — Мишка дважды забирался туда, в кровь оцарапал себе грудь, она и сей-

час еще зудела. Это и речка, приласкавшаяся к их плетню, через который свисали на шершавых плетях рубчатые оранжевые тыквы-американки; сшибленные озорными мальчишками, тыквы эти часто плюхались в воду и плавали там до тех пор, пока мать или он, Мишка, не приметят и не повытаскивают их к себе в огород. Это и шустрые прожорливые окуньки в той речке; в раннюю и росную утреннюю зорю они охотнее других рыбин шли на приманку и подцеплялись на крючок, ржавый от забытых на нем от прежней ловли и присохших червяков. Это, наконец, и батькины треугольники, которые хоть и редко, но все-таки приходили в их дом и на целую неделю спугивали с материных глаз вечную ее печаль, когда мать пускай и сквозь слезы, но улыбалась, и в такие дни была она молодой и очень даже красивой. И вот все это осталось там, за тем вон увалом, за той невидимой глазу, но остро ощутимой чертой. Приметил ли что или так, на всякий случай, Павлик спросил:

— Ну как?

— Что?

— Не устал? Может, посидим?

— Не-э-э, — протянул Мишка. Помолчав, спросил: — А ведь у нас с тобой никаких документов? Как же мы?

Павлик победно глянул на него, взбудоражил пену кудрей, зачем-то подтянул штаны, хотел что-то сказать, но передумал и пошагал еще быстрее. Однако терпенья его хватило ненадолго, до той лишь минуты, как они ступили в лес. Отойдя в сторону от дороги, он покликал туда Мишку, наклонился над ученической холщовой, изукрашенной фиолетовыми чернилами сумкой.

— Говоришь, нету документов? А вот! — он погрузил руку в мешочек, порылся там и, точно фокусник в цирке, выдернул что-то ослепительно красное среди лесной зелени, взмахнул им раз и два прямо перед Мишкиным лицом и торжествующе воскликнул: — Вот наш документ, с ним куда хошь пустят!

— Галстук?

— Ну да. Ты, чай, свой не прихватил?

— Не. Его мамка в сундук упрятала. Говорит, до осени, — грустно признался Мишка. При слове "мамка" голос его дрогнул, и Мишка был совсем недалеко от того, чтобы зареветь на весь этот чужой, незнакомый лес.

Павлик же беспокойство и волнение друга расценил по-своему, а потому и сказал значительно, вновь подсмыкнув портки, которые норовили соскользнуть с узких и тощих его мальчишеских бедер:

— Ничего. Нам и одного галстука довольно. Ведь документы спрашивают, проверяют, значит, только у командиров.

— Ах вон оно как, — сказал Мишка, покорно и безропотно приняв на себя роль рядового бойца, а командирскую — без непременного во всех таких случаях боя — уступил Павлику, хотя тот был моложе на целых два месяца, так Мишке сказывала его мама.

Небольшая дубрава, как бы случайно оброненная кем-то среди степи, очень скоро кончилась. У ее опушки дорога, по которой шли Павлик и Мишка, разветвилась сразу на три, такой же ширины, с той лишь разницей, что были они не прямые, как их прародительница лесная, а какие-то все извилюженные; одна, как бы продолжая лесную, убегала вниз, под уклон большой балки, и была хорошо наезжена, припорошена сенцом и ветками с засохшими дубовыми жестяно-звонкими и жесткими листьями, по ней, видать, вывозили из лесу сено и дрова, и вела она — это уж всякий бы понял — в селение, укрывшееся у дна балки, по-над речкой, которая, конечно же, неторопко бежит там, пробирается через высокую осоку, кугу и светлокожие талы, купающие в теплой воде зеленые свои косички. Две другие дороги резко расходились влево и вправо и убегали от лесной опушки под острыми углами, наезжены они были меньше и выглядели уже, поскольку колесницы, заросшие с боков и посередине густой травою, были почти не видны, и сами эти дороги представлялись какими-то несамостоятельными, вроде ветвей от основной, хорошо накатанной.

Павлик и Мишка остановились в нерешительности. Сейчас они были в положении тех богатырей из сказки, перед которыми лежали три дороги, и надобно решить, по какой из них пойти. Правда, перед ребятами не было загадочных, пугающих надписей, кои гласили про то, что пойдешь по такой-то дороге — встретишь то-то, по другой — другое, по третьей — третье, и все, что ни встретишь на тех трех дорогах, — одно страшнее другого. Но оттого, что не было таких предостерегающих надписей, задача наших путешественников нисколько не облегчалась. Что бы там ни было, а они должны продвигаться вперед и для этого выбрать самый верный и безопасный путь. Пока что они украдкой поглядывали друг на дружку и пришмыгивали носами.

Центральная дорога исключалась начисто, потому что вела в селение, на глаза взрослым людям, которые представляли сейчас, как думалось беглецам, наиглав-

нейшее препятствие. Если удариться по правой, не исключено, что приведет она сызнова в Завидово, там, вдали, она подозрительно забирала опять вверх, с явным намерением обойти лес, соединиться где-то в степи с дорогой, по которой они вышли вот сейчас на эту опушку.

— Погоди тут, — приказал Павлик и побежал к дубку, самому молодому на вид и по причине этой самому недисциплинированному, потому как он вырвался метров на десять вперед, прямо в открытое поле и бесстрашно остановился там, шелестя темно-зеленою и жесткою шевелюрой, точно парень перед деревенскими девчатами. Подбегая к нему, Павлик с досадой подумал о том, как же это раньше-то он не сообразил, что надо взобраться на вершину дерева и оглядеться окрест — так ведь и поступают настоящие разведчики там, на фронте и в партизанских отрядах, про такое и в кино показывают, и в книжках пишут... Не прошло и двух минут, как он был уже на верхотуре, оседлав у основания сучок потолще и понадежнее. Впрочем, относительно надежности у Павлика не было никаких сомнений, поскольку все дубовые сучки, ежели они не сухие, даже растонюсенькие, тоньше его, Павликова, мизинца, легко держат на себе груз и потяжелее мальчишечьего, далеко не упитанного тела. Павлик сложил ладони раструбом, приставил их к глазам, как бы это был полевой бинокль, и принялся наблюдать.

Так и есть: внизу, вдоль заосоченной речушки, по обоим ее берегам, длинною цепочкой протянулись избы, покрытые сплошь соломой, над некоторыми еще струился запоздалый дымок, по ту и эту сторону реки, по деревне медленно двигались повозки, их влачили волы, ленивые и горбатые, как Солдат Бесхвостый, как все волы на свете. Женщины в пестрых кофтах и белых платках, закрывавших почти все лицо, сидели на повозках, свесивши босые ноги, — даже отсюда было видно, что они босые. В омуте, отвоевавшем у осоки и талов небольшое пространство, купались ребятишки. Один из них завел в воду старую клячу и теперь елозил по острой ее хребтине голым задом, нагибаясь то влево, то вправо, — мыл свою сивку-бурку. Против лошади, у берега, на деревянных мостках склонилась баба и смачно шлепала тяжелым вальком по мокрому тряпью — прополоснула, видать, шоболы со своей детворы, сейчас она вернется во двор и развесит их на плетне. Павлик посмотрел на дорогу, какая уходила влево от них; ничего утешительного он не обна-

ружил: и эта дорога вела к селу, только на его окраину. Теперь надо было поскорее слезать вниз и просить бога, чтобы он прибавил их ногам прыти, ибо Павлик успел заподозрить угрозу. Она надвигалась оттуда, откуда по логике вещей ее и следовало бы ожидать в первую очередь: их обнаружили купающиеся ребятишки. С наблюдательного пункта Павлику хорошо было видно, как они забеспокоились, быстро погребли мелкими саженками к берегу и, выскочив из воды, мигом повернулись лицом к лесу, вытягивая руки, загалдели, закричали что-то. А тот, что был на лошади, отчаянно молотил ее по ребрам пятками, гнал из реки вон. Выбравшаяся на берег и понукаемая голым наездником кляча поскакала к дому, над которым лениво пошевеливался источенный ветрами и дождями флаг.

Ничего яснее и быть не могло: готовилась погоня. И не простая, та, что предшествует обычной драке деревенской ребятни, когда любой предлог годен, когда потасовка начинается по самому ничтожному поводу, иной раз и вовсе без всякого повода, а потому лишь, что у забияк руки чешутся. Сейчас положение было куда серьезнее, в чем Павлик Угрюмов и Мишка Тверсков могли вполне убедиться через каких-нибудь полчаса.

Дело в том, что в последние дни, по мере приближения фронта к Волге, от селения к селению с быстротою прямо-таки непостижимой полетела тревожная весть о высадке вражеского десанта где-то в здешних краях, в глубоком тылу советских войск, о том еще, что чуть ли не все окрестные леса превратились в естественные укрытия для немецких шпионов и диверсантов, которые по ночам выпускают в небо ракеты и наводят свои бомбардировщики на важные объекты. Каждый второй житель приволжских селений будет клясться и божиться, что собственными глазами видел те ракеты, в доказательство приведет столько подкрепляющих подробностей, что не поверить ему попросту невозможно. Что до бомбардировщиков, то всякую ночь черными тенями двигались они над степью, терзая душу притихшей в тревожном ожидании деревни своим прерывисто-надрывным и постылым воем. Возвращавшиеся из Саратова люди сообщали односельчанам недобрые вести: разбомбили заводы "Крекинг" и шарикоподшипниковый, целились в комбайновый, который теперь вовсе не комбайновый, потому как переведен на производство иной, совсем не мирной продукции. И в городе, сказывают побывавшие в нем, укрывается немало неприя-

тельских парашютистов — шпионов и диверсантов. Про то и Павлик знал, поскольку своими ушами слышал, как дядя Коля рассказывал дедушке Апрелю, Максиму Паклёникову и другим собравшимся в правлении про вражеских лазутчиков и про изменников, предателей, которые помогали врагу.

— Теперь надо держать ухо востро, сейчас везде фронт, — говорил дядя Коля необычно строго. — Бдительность должна быть!

Павлику особенно запомнилось это по-военному тревожное и суровое слово "бдительность". Слушая с учащенно заколотившимся сердцем дядю Колю, Павлик не знал тогда, что сказанное стариком повернется, и очень даже скоро, и к нему, Павлику, самой жестокой стороной. Не знал он и теперь, что увидавшие его на дереве мальчишки вмиг решили, будто перед ними немецкий шпион, а потому и подняли тревогу. И коль скоро речь шла о делах чрезвычайных, к ребятам присоединились и взрослые, сбежавшиеся со всего большого селения. Вооруженные топорами, вилами, кольями, а кто и старыми дробовиками, люди устремились к лесу, где успели укрыться Павлик и Мишка. Скоро человеческие голоса и лай дворняг были слышны уже отовсюду, из чего беглецы могли заключить, что лес окружен, что они обложены со всех сторон и им едва ли удастся вырваться из этакой западни.

Притаившись под густой и низко свисающей кроной старого дуба, ребята изготовились к бою: Павлик держал в руке обломок серпа, а Мишка — всамделишный винтовочный штык, который то и дело выскальзывал из ослабевших, дрожавших рук. С Мишкиных губ готово было сорваться то единственное слово, какое припоминается прежде других слов всем нам, маленьким и большим, когда бывает особенно страшно. И оно сорвалось, и Мишка закричал, ибо лохматый, унизанный репьями и оттого, казалось, еще более свирепый пес вырвался из-за кустов, вскинулся на дыбки, засверкал зелеными яростными глазами, заклацал клыками и, верно, наскочил бы на одного из них и вмиг растерзал, не наткнись он грудью на трехгранный штык, инстинктивно выброшенный вперед Мишкой одновременно с его криком "мама!". Уколовшись, собака отступила, боль почуялась ей позже, потому что лишь спустя минуту послышался ее плаксивый, удаляющийся скулеж. На смену первой явились две другие. Но то ли они успели кое-что извлечь для себя из горького опыта предшественницы, то ли потому, что были не так

отважны, но остановились эти две похожие одна на другую, как инкубаторные курицы, белые собачонки на почтительном расстоянии от ребят и постарались только прикрыть свою трусость громким, выше всякой меры усердным отвратительным визгливым лаем. При этом они все время перемещались по кругу, как бы боясь выпустить свои жертвы. Ребята теперь напоминали не заматеревших еще волчат, на которых натолкнулась нечаянно собачья свора и которые, плотно прижимаясь друг к другу и озираясь затравленно, отпугивают своих трусливых врагов оскалом и коротким клацаньем молодых волчьих зубов. Выставив оружие перед собой, Павлик и Мишка вертелись как бы вокруг своей оси и предупреждающе говорили непрошеным гостям:

— Ну, только подойди, только сунься!

Собаки сделались храбрей, осмелели, когда меж деревьев замелькали фигурки ребятишек, одна из них даже подобралась к ногам Павлика и ухватилась зубами за штанину, но Павлик так рубанул ее по голове своим серпом, что собачонка вмиг отлетела от него и кубарем покатилась по лесу, оглашая его истошным воем. Вторая продолжала гавкать, и в голосе ее уже звучали плаксивые нотки от чувства бессилия перед вооруженным неприятелем. Их хозяева, деревенские мальчишки, намеревались с ходу броситься на Павлика и Мишку, но и они поостыли малость, когда увидели, что те приготовились стоять, что называется, насмерть. В рядах неприятеля начались взаимные упреки в трусости, подбадривания, натравливания, подзуживания. От плотной стены преследователей, обложившей двух незнакомцев, только и слышалось:

— Ванька! Что рот разинул? Хватай их!

— Сам хватай! Ишь какой храбрый отыскался!

— Эх ты, верзила, а еще кричал: "Я, я их!" Вот те и я! Видишь, они сопляки. Хватай!

— У рыжего-то финка!

— А у энтова штык. Глянь, ребята, наш, русский!

— Шпионы, они завсегда с русским оружием.

— Хитрые!

— Ну ничего, голубчики! Сейчас дядя Евграф мужиков приведет, тоды поглядим, как вы запоете... Ты что это, рыжий, глазами-то зыркаешь, как бирюк? Не больно испугались...

— Андрюха, влепи ему в морду! У, гитлеренок поганый!

— Сам ты гитлеренок! — не вытерпел Павлик, кото-

рый до этой минуты молчал и повелительным взглядом удерживал и Мишку от того, чтобы он опять не заорал "мама!". — Вот как пырну! — И Павлик, выбросив левую ногу вперед и согнувшись, сделал бойцовский выпад навстречу обидчику. Тот вмиг отпрянул, укрылся где-то за спинами товарищей и только там, в совершенной безопасности, угрожающе-воинственно закричал:

— Но, но, ты гляди у меня! Ишь чего надумал! Ребята, бей их!

Но и на этот раз никто не рискнул кинуться на "диверсантов", стояли, лукались обидными для Павлика и Мишки словами, но дальше этого не шли. Собачонка и та примолкла, прижалась к чьим-то ногам, по телу ее пробегала дрожь, и она тихо поскуливала, и было видно, что с удовольствием покинула бы вместе со своим хозяином поле брани.

Старики объявились с вилами, топорами, косами и дробовиками минутами тридцатью позже. Дышали они тяжело, по бородатым лицам катился обильный пот, серые сарпиновые рубахи-косоворотки были темны и плотно липли к мокрым спинам; седые волосы огромного деда, плавательным движением костлявых и длинных рук первым расчистившего себе дорогу сквозь толпу ребятишек, тонкими жгутиками приклеились к морщинистому и коричневому лбу, из-под которого на Павлика и Мишку посверкивали колючие черные маленькие глазки. Поначалу в них была вроде бы даже ярость, но она быстро сменилась недоумением и удивлением, а точнее всего — легким разочарованием.

— Где же шпиёны? — спросил старик.

— А вот они и есть, — указал кто-то на Павлика и его сподвижника.

— Энти вон шкеты?

— Ну да!

— Ну и ну! Что ж, вояки, придется вам сложить оружие. Мы, пожалуй, вооружены посурьезнее. — И старик поиграл в великанских своих ручищах вилами. — Видали?.. Ну, ты, звереныш, давай твой серп, а ты, как тебя там, — твой штык. Да сказывайте поскорее, откель вы такие явились. Да чтобы не врать, не то порку получите.

— Мы ничего не скажем, — быстро и решительно заявил Павлик, боясь, что его опередит товарищ и с перепугу выдаст их.

— Не скажете? Ну что ж. Тоды сымайте портки. Федосей, где там у тебя плетка-то? Давай-ка ее сюда. Будем отыскивать у "шпиёнов" язык, а то он у них за-

пропастился куда-то. — Пока ребята выслушивали эту угрозу и решали, как бы избежать порки, двое стариков подкрались к ним сзади и в минуту обезоружили. Видя такое, великан повторил свой вопрос: — Не будете говорить? Може, передумали, сами нашли свои языки? Ну?!

Павлик молчал, а Мишка ежели б и захотел сказать что, то все едино не смог бы: губы его тряслись, язык приклеился к высохшему нёбу, его нельзя было повернуть во рту, давно накапливавшееся желание зареветь прорвалось наконец, и Мишка заплакал жалобно и безутешно.

— А ну, ребята, обыскать их!

Вот теперь преследователи навалились валом, сбили ребят с ног, шестеро держали за руки и за ноги, а остальные принялись потрошить ученическую сумку. Сопротивляясь отчаянно, Павлик успел-таки одного ударить в ухо, второго в нос, третьего больно укусить. Но что сделаешь с такой оравой? В бессильной ярости Павлик уткнулся лицом в землю и, слыша, как за его спиною скручивают и связывают ему руки, застонал, впился зубами в траву.

Выплеснувшийся из сумки алым фонтанчиком гал-

стук на короткое время внес в ряды поимщиков замешательство, будто их кто-то сильный и невидимый оттолкнул от Павлика и Мишки. А здоровенный старик, может быть председатель здешнего колхоза, нагнулся над Павликом и, быстро развязывая ему руки, проворчал невнятно:

— Ишь ты... что же это мы, а?.. Ну, ну, не серчай, у, какой ты!..

— Ты, дяденька Евграф, не верь им, — встрял мальчишка, которому Павлик угодил в ухо своим жестким и злым кулачишком, — галстук — это для отводу глаз, для обману, так все шпионы поступают, диверсанты разные. Я в книжке читал! — заключил он для вящей убедительности.

— Бывает и так... — нарочито строго проговорил Евграф, но вид изловленных был так несчастен, что он резко поубавил в своем голосе крутости и не мог погасить в хитроватых глазах простодушно-доброй, вот именно дедушкиной, усмешинки. — Ну что ж, пошли в сельский Совет, ребята, там и разберемся, кого пымали — шпиёнов аль настоящих героев, которые на фронт пробирались. Только ты, желтый бесенок, не вздумай удирать! — на всякий случай предупредил Павлика ста-

рик. — Убежать от нас ты все одно не убежишь, а крапивой голый твой зад угощу досыта, будь ты там кто герой иль энтот... как его... Ну пошагали!

16

Тем временем Аграфена Ивановна подняла на ноги все Завидово. В самую последнюю минуту, решив, что будет слишком жестоко, если он просто исчезнет из дому, что мать в таком разе сошла бы с ума, Павлик вырвал из ученической тетради чистый лист, помусолил кончик химического карандаша и торопливо написал:

"Мама и Феня, обо мне не тужите. Ухожу на фронт Павлик".

Мать обнаружила это сыновнее послание лишь в полдень, когда заглянула в амбар, чтобы захватить там грязную рубаху, сброшенную сыном, и постирать ее вместе с другой его справой. Она не удивилась, что не нашла там его самого: Павлик уходил в поле до свету, раньше того часу, когда она начинала доить корову, готовя ее к стаду. И на бумагу не обратила бы никакого внимания, если бы она не лежала на постели так, что не приметить ее нельзя было. Аграфена Ивановна когда-то окончила два класса, но то было очень уж давно, читать скоро разучилась, потому и отправилась с листом в избу, надеясь, что кто-нибудь из грамотеев заскочит к ним часом и прочитает. Пока что принялась за стирку, сперва поворчала, принюхиваясь к вывернутому карману, от которого явственно шибало в нос распроклятой махоркой — Павлик покуривал украдкой, и, как ни выбивал, ни вытрусывал карман, прежде чем передать штаны в материны руки, табачный запах сохранялся, был он, как известно, вообще неистребим. Аграфена пожалела, — в который-то уж раз! — что нету дома Леонтия Сидоровича, который быстро нашел бы управу на непутевого мальчишку, вздохнула судорожно, прошептав автоматически "господи, господи", погрузила грязные портки в воду. Тихо вошел почтальон и так же тихо попросил:

— Аграфена, у тебя не найдется там?

— Чего тебе, Максим? — спросила она, не подымая головы, спросила просто так, для порядку, потому что отлично знала, с какою нуждой припожаловал к ней на сей раз почтальон. Да и Максим, видя, что его прекрасно поняли, не повторил своего вопроса, но терпеливо ждал, полагая, что это самое верное в его положении. В конце концов Аграфена Ивановна оставила свое

занятие, ополоснула руки над лоханью, отправилась за перегородку к печке. Оттуда скомандовала сердито:

— Проходи к столу, чего уж там!

В ожидании угощения он и прочитал написанное Павликом. Собирался побежать к печке и сообщить Аграфене Ивановне эту новость, но вовремя спохватился: от таких вестей-новостей, чего доброго, хозяйка может и в обморок упасть, что и само по себе будет большим несчастьем, усугубленным для него, Максима, еще и тем, что о похмелке тогда и речи быть не может. Посему решил повременить, рассудив, что разницы большой не будет от того, узнает ли о бегстве сына на войну его мать часом раньше или позже. Может еще получиться и так: пока он опохмеляется, придумает какие-никакие утешительные слова, подготовит женщину, чтобы этот удар не угодил ей прямо в сердце.

Аграфена Ивановна вышла из-за перегородки и поставила перед гостем граненый стакан, до краев наполненный коричневатой, пахнущей жженым жидкостью; рядом положила корочку ржаного хлеба, выскобленную Катенькиными ноготками так, что корочка была почти прозрачной от тонкости. Максим упрятал стакан в своей огромной лапище и собирался поднять ко рту, но Аграфена Ивановна остановила его:

— Лоб-то перекрестил бы, нехристь!

Почтальон мигом встал, устремил на Николу-угодника взор, исполненный глубокой веры, и в крайнем смирении перекрестился. Не поленился, прочел от начала до конца "Отче наш" и еще что-то от себя прибавил к этой мудрой молитве, чем окончательно умилил хозяйку и — что особенно важно для него — решительно упрочил свои позиции за ее столом. Взглядывая краем глаза на подобревшее, размягченное лицо, он смекнул, что Аграфена Ивановна не ограничится одним стаканом, если он поведет себя с нею разумно. Вернувшись к столу, подавил в себе отчаянное желание опрокинуть стакан в рот немедленно, а подождал, спросил у хозяйки о ее служивых, муже и сыне, вздохнул вместе с нею, поохал, побранил Гитлера, высказал уверенность, что и Гриша, и его отец возвернутся целыми и невредимыми, так уж сердце ему подсказывало.

— Так что не горюй, кума, придут-прилетят твои соколы. За твое, кума, и за их здоровье! — И вот только теперь он поднял стакан и медленно влил его содержимое в себя, как в большой кувшин.

Крякнул, переполненный добрыми чувствами, утер тыльной стороной левой ладони губы и принялся по-ко-

шачьи обнюхивать корочку. Не закусил ею, а только понюхал. Поднял на Аграфену Ивановну повеселевшие глаза, поблагодарил:

— Спаси тебя Христос, кума!

— Ради бога. Можа, еще?

— А не многонько ли будет? Она ведь проклятущая... — притворялся Максим, а сам с ужасом думал только о том, как бы не пересолить такими-то вот словами, вдруг хозяйка поверит в них, да и скажет: "Оно и правда, к чему она сейчас, самогонка, все люди на работе". Но, к счастью, Аграфена Ивановна не первый год знала нынешнего своего гостя, потому и решила уважить сокровенное его желание. Облегчила его долю, сказав:

— Чего уж там! Такому мужичищу что один, что два стакана — все едино. Ни в одном глазу...

— Ну, коли так, тогда что же, тогда... — И получалось вроде, что не он, а хозяйка просила, чтобы выпил еще стакан. Эта-то вторая порция и сделала свое злое дело. Оглушенный лютым первачом, употребленным без всякой закуски (хлебная корочка хоть и духмяна, но одним взглядом на нее сыт не будешь), Максим Паклёников стремительно хмелел и быстро приближался к тому очень знакомому всем выпивохам состоянию, когда опохмеление перерастает в пьянку самостоятельного значения. Короче говоря, вскоре он уже потребовал третий стакан и, получив решительный отказ, уставился на Аграфену Ивановну диковатым, малоосмысленным взором. В эту минуту в голове его, по-видимому, все и перемешалось, но в мешанине этой была какая-то очень важная нить, о которой он все время помнил и за которую хотел сейчас ухватиться, выловить ее. И он бормотал:

— Ишь ты... чего надумал, с-с-с-ссукин сын!.. А?.. Что? О чем это я? Кума, это ты?.. Ах да! Чего, говорю, удумал Павлушка-то ваш! Ну и ну!.. Налей лампадку, не скупись, кума!.. И-и-и-эх, жизнь наша жестянка!.. Кума, слышь-ка, ты где?..

— Ну вот я. Что тебе? — спросила Аграфена Ивановна, присаживаясь рядом с гостем и ища момент, чтобы выхватить из его пьяных рук бумагу, которую Максим немилосердно комкал.

— А, это ты, Аграфена!.. Дай-кось я тебя поцелую, и-и-и-эх! И смерть немецким оккупантам!.. Чего, говорю, удумал, паршивец!.. На войну!.. Сопляк, губы в молоке... А что? Ты чего надумала?.. Кто надумал? Что?.. Кума, ты где?.. И где твой?.. — Он повел вокруг

теперь уж вовсе бессмысленным взглядом, ни за что живое не зацепился им и, лишившись равновесия, рухнул под стол, до смерти испугав дежурившего там в ожидании поживы кота.

Тем временем записка Павлика уже ходила по рукам у соседей, ее громко читали девчонки, одна из которых училась с Угрюмовым-младшим в одном классе. На крик Аграфены Ивановны приковыляли старухи, чуть позже объявились и деды. Эти последние, узнав, в чем дело, разочарованно замотали бородами, медленно повернулись и побрели по домам, рассуждая дорогою:

— И чего реветь? Ну куда он денется? У Тверсковой Пелагеи, слышь, тоже удрал Мишка-то... Вместе, знать, с этим отпетым. Пороть их некому.

— Известное дело — безотцовщина.

— А матери куды глядят!

— Так они и послушались матерей!

— Ноне ведь они какие... Нешто это дети? Эт мы были с вами смирнее смирного, кочетиного крику и тележного скрипу боялись. А нынче...

— Что и говорить — распустила, избаловала их Советская власть. Отца с матерью ни во что ставят, а уж о нас, стариках, и говорить нечего. Того и гляди, по шее надают. Ну и детки! Мы, бывало... — Этого дедок не договорил, потому что его отвлекла Феня, которая бежала по улице, прижимая руки к груди; волосы ее растрепались, лицо было бледным, она ворвалась в толпу, оттащила в сторону плачущую, едва державшуюся на ногах мать, уложила на пожухлой, охваченной желтизною траве, заговорила как можно спокойнее, хотя слова давались ей с трудом, застревали в горле, и были они не самые главные и важные, какие надобно бы говорить сейчас:

— Мама, родненькая... милая, успокойся!.. Господи, что же это?.. Ну, мама, не плачь же!.. — И, глянув на стариков, остановившихся в отдалении и с любопытством наблюдавших оттуда за происходящим, вспомнила наконец про слова, которые и собиралась сказать матери; она подбирала их, когда бежала полем и конопляниками: — Ведь не один он, а и Миша Полюхи Тверсковой. Далеко не уйдут! Изловят их! Пойдем домой, мама! Ну, что мне с вами делать, измучилась я! Ну хватит же, мама!

Женщины помогли Фене увести мать в избу. Феня уложила ее на свою кровать, расстегнула синюю ситцевую кофту, положила на грудь мокрую тряпку. Испу-

ганной и вертевшейся тут же Кате приказала намочить в холодной родниковой воде еще такую же тряпку и, когда та исполнила поручение, завершив его глубоким и радостным вздохом, сделала примочку на голове матери. Аграфена Ивановна уже не могла плакать в голос, лежала молча, лишь из глаз ее стекали и падали на подушку медленные слезы.

Всю ночь Феня не отходила от постели матери, сидела у ее изголовья, меняя тряпки, которые уже через две-три минуты были горячими и потом так же быстро высыхали. Аграфена Ивановна то забывалась в коротком и беспокойном сне, то просыпалась и металась головою по подушке, ломала себе руки. В такие минуты Феня приникала к ней, целовала, уговаривала, уверяя, что с Павликом ничего не может случиться, что кругом все свои люди: старики, женщины... да солдат много появилось в ближайших селах, — пропустят ли они малых и глупых детей на войну?

— Схватят за уши героев, да и привезут домой, — говорила Феня со смехом и чувствовала, что смех ее — был бы он только понатуральнее, а не такой подчеркнуто вызывающий — сделал бы больше всяких слов. К утру мать могла уже и сама говорить, но вялым, больным, измученным, мертвым каким-то голосом, отчего Фене стало еще страшнее за нее, и она собиралась побежать к дяде Коле и попросить его, чтобы он отвез мать в районную больницу. Она выходила уже из калитки, когда услышала автомобильный гудок, а затем увидала и автомобиль, который, отчаянно пыля, катил прямо к их дому. Машина, однако, остановилась в некотором отдалении, из нее вылез Знобин и быстро направился к Фене.

— Куда это вы, Федосья Леонтьевна?

— С мамой плохо, Федор Федорович! В больницу бы ее!

— Не надо в больницу, Феня. Сейчас твоей матери будет легче. Я ей хорошего лекаря привез. Ну-ка, Андрюша, веди сюда сталинградских героев! — крикнул секретарь шоферу.

Феня радостно ахнула: от машины, придерживая крепко за руки, Андрей вел взъерошенных и насупленных Павлика и Мишку.

— Боже, да кто это тебя так? — испугалась Феня, глянув на украшенное синяками лицо младшего брата.

— Никто. Сам я.

— Упал, что ли?

— Угу.

— И тебе не стыдно? Мама чуть не померла из-за тебя! Ну, погоди, негодяй! Я до тебя доберусь, дядю Степана Тимофеева напущу на тебя. Ну, что молчишь?

Павлик молчал, а друг его, улучив момент, вырвался из рук шофера, сиганул через плетень и огородами подался домой.

— Держи, держи его! — скрипуче закричал Знобин, и все рассмеялись, даже у Павлика на распухших губах дрогнуло что-то вроде улыбки. (Его, конечно, никто не бил — сам изодрал лицо, когда грыз землю там, в лесу, будучи связанным.)

— Ну, пошли в избу, — сказал секретарь райкома. Он повел Павлика в дом и объявился с ним в передней, где лежала Аграфена Ивановна. При виде сына что-то заклокотало у нее в горле, она простерла к нему руки. Феня подтолкнула брата к матери, и та вцепилась в него, прижимая к себе. Павлику все это было ни к чему, но вырываться из материных рук он не посмел.

А Федор Федорович Знобин говорил:

— Вы его не очень ругайте, Аграфена Ивановна. Парень что надо. Настоящий боец. Как ни допрашивали его — слова не проронил. Из него настоящий разведчик получится. Только, конечно, подрасти малость надо.

— Где же вы его? — спросила Феня, устало улыбаясь.

— В Старых Пе́сках. Заехали мы с моим Андрюхой в сельсовет, а там "диверсантов" допрашивают. Павлуха и мне не признался, кто он и откуда, да ведь я его хорошо знал. Ну и хлопец! Нет, вы его не трогайте!

— Чуток отпорю. Так надо, — сказала Феня как можно строже и шлепнула вырвавшегося из материных объятий брата по затылку. Павлик даже не огрызнулся, принял шлепок как должное и молча направился за перегородку, к судной лавке, на которой надеялся отыскать что-нибудь съестное. Вышедшая слабой походкой вслед за ним мать вытащила из печки чугунок с картошкой. Павлик выдернул из него несколько картофелин и упрятал в кармане. Мать опять захлюпала носом, пнула согнутым пальцем в кудрявую его макушку, но тут же поцеловала в это же место, сказав едва слышным голосом:

— Ну, поешь, поешь, волчонок мой лохматый. Знал бы отец, что ты тут отчубучил! Ну, возьми еще... Погодь-ка, яичко достану тебе... у меня припрятано... Погодь, счас найду... пресвятая богородица, да где же оно, неужели Катя... ну, вот я ее сейчас... Катя! — позвала мать, но девчонка еще раньше догадалась убраться на улицу. — Убегла, паршивка! Получит она от меня ужо!

— Да я и не хочу, мам, — сказал, чтобы утешить совсем уж припечалившуюся мать, Павлик.

Аграфена Ивановна не поверила, но все-таки спросила:

— Кто ж тебя накормил, сынок?

— Накормили... — невнятно молвил Павлик, а сам напряженно прислушивался к разговору, который шел промеж сестрой и секретарем райкома там, в передней. Через полуоткрытую дверь до него отчетливо долетали их слова, которые, как казалось собеседникам, произносились ими почти шепотом. Перво-наперво Феня справилась, чем кончился суд над Пишкой. Павлику казалось, что Федор Федорович помедлил с ответом, хотя он заговорил тотчас же, и по какому-то особенному дребезжанию в его голосе Павлик понял, что секретарю был этот вопрос неприятен.

— Десять лет приварили вашему землячку, Феня. Так-то вот. — По возмущенно вскинутым бровям молодой хозяйки секретарь понял, что должно было бы сорваться с ее уст, а потому быстро продолжал: — Почему так мало? Тебя это смутило? Да, ты права, Феня: на фронте за такие штуки выводят в расход перед строем бойцов. Тут же не его пощадили, а ребятишек: у него ведь, мерзавца, их четверо. Когда только успел настряпать!.. Женёнка прибежала в райком к нам, забилась... Эх, лучше не вспоминать про то!.. — Он болезненно поморщился, закашлялся, привычно отворачиваясь от собеседницы.

Феня, давая ему возможность привести себя в порядок, молчала и, только когда он повернулся к ней и пробормотал виновато: "Разболталась старая телега!"— спросила:

— И куда его теперь?

— Как куда? На фронт. — На еще более удивленный взгляд ее ответил: — Неужели их кормить в лагерях еще, таких дармоедов?! Пускай повоюет. В штрафной роте... Ну да хватит об этом. Как насчет вязанья, Феня? На дворе осень, сентябрь. Немцы на окраинах Сталинграда. Как вы?

— Мы уж говорили с девчатами. Вчера Настя Вольнова комсомолок собирала прямо на поле. С зябью управимся и начнем.

— И шерсть отыскалась?

— Отыскалась, Федор Федорович, — улыбнулась Феня.

— Я так и знал, — теперь улыбнулся и он, и тусклые, больные глаза его впервые за время их разговора осве-

тились озорной, лукавой улыбкой. И, как бы спохватившись и смутившись от своей неожиданной ребячливости, сказал сурово и строго: — Спасибо вам, девчата! Знаете ли вы сами-то, что вы такое? Придет время, Федосья Леонтьевна, и вам воздастся полною мерой. Будь на то моя воля, я бы уже и сейчас памятник вам поставил!

— Так уж и памятник. За что?

— Ладно, когда-нибудь отвечу и на этот ваш вопрос. А теперь прошу простить меня: расчувствовался, старый болтун, и заговорил высокими такими словами. Их бы поберечь надо, для поэтов сохранить. Стихи-то любите? — вдруг спросил он.

Феня покраснела.

— Неужели не любите?

— Я — больше песни.

— Спела бы, что ли, для меня. Умру, так и не услышу пенья твоего. Слыхал, ты большая певунья.

— Спою когда-нибудь. Вы еще обещались к нам на посиделки, вот там и спою. А помирать не надо, Федор Федорович, — проговорила она чуть слышно, и было в ее голосе столько дочерней нежности и одновременно неподдельной, искренней тревоги, что он даже растерялся, глаза его потеплели, увлажнились. Встал, заторопился уходить.

— Ну, мне пора, Феня. Засиделся я у вас.

— Побыли бы еще немного, — сказала она, и по всему чувствовалось, что молодой женщине этой было сейчас хорошо и покойно, может быть, впервые после долгих дней и ночей. — Мама щей нальет. Она у нас мастерица варить щи. Останьтесь!

— С удовольствием похлебал бы щец, Феня. Да в райком надо. На двенадцать бюро назначено, а мне еще в двух селах надо побывать. В Салтыкове и Новой Ивановке.

— Это ж по пути.

— Знаю, что по пути, и все-таки надо торопиться. Где брательник-то? Ведь у нас в машине его боевые доспехи припрятаны. Надо их ему вернуть.

Павлика в избе не оказалось, он выскользнул на улицу после того, как разговор о Пишке перекинулся на иные дела, которые были для него неинтересны. Из чувства солидарности Павлик отправился к Тверсковым, подавив в себе крайнее нежелание встречаться с Мишкиной матерью.

К счастью для Павлика, Пелагеи дома не оказалось, — судя по всему, ушла к соседям, потому как

груз великой радости был не по силам ей одной, и она поспешила разделить его с соседками. Однако следы ее деяний были так свежи, что при желании Павлик мог легко восстановить во всех подробностях то, что происходило в Мишкиной избе и с самим Мишкой за каких-нибудь полчаса до прихода Павлика. По всему полу были раскиданы обшмыганные явно о Мишкину спину бодылья от полынного веника, главного орудия всех деревенских матерей по части вразумления непутевых деток; на столе в деревянном блюде остывала похлебка, оставленная Пелагеей с определенным расчетом на то, что ее сын в конце концов укротит свою гордыню (на мать грех обижаться!) и вспомнит о похлебке, к тому же голод не родная мать и даже не тетка, у него, голода, прав и власти поболе на людей-то. Сам Мишка лежал на широкой деревянной кровати, что слева от двери, против печки, и тихонько, жалобно постанывал. Не от побоев, конечно, — от веника, каковой был к тому же в руках матери, увечий, как известно, не бывает, — а от цыпок на ногах, обильно смазанных Пелагеей кислым молоком. Приди Павлик несколькими минутами раньше, он застал бы своего дружка не поскуливающим тихонько, а дико воющим от нестерпимого зуда, который вызывался действием этой извечной на селе лечебной процедуры. Теперь Мишка постанывал от постепенно утихающих подергиваний в порепанной коже ног, частью же — от унижения, которому был все-таки подвергнут.

Павлик взобрался на кровать, свесив босые, тоже в цыпках, ноги, спросил участливо:

— Что, Миш, сильно она тебя?

— Не-э! — решительно возразил Мишка, остановив свои стоны. — Я не дался! Она веником меня, но ни разу не угодила, я увертывался! А тебя били?

— Нет. Мамка картошки вот дала. Хочешь?

— Угу. Пойдем к столу. Похлебки поедим. Ладно? А картошку мы растолчем — и с квасом. Знаешь как вкусно!

Мишка был очень рад приходу товарища — кончилось его одиночество. Скоро они уже сидели за столом и, пришлепывая губами и пошмыгивая носами, с превеликим аппетитом уплетали сперва похлебку, успевшую давно остыть, а уж только потом квас с растолченной в нем варенной в мундире картошкой, хотя полагалось бы все делать наоборот.

Переживания вчерашнего дня, может быть самого долгого в их жизни, остались далеко позади, а потом и

вовсе забылись, и ребятам было хорошо оттого, что они опять дома, что где-то рядом их матери, младшие сестренки, братишки и что завтра поутру оба приятеля вместе побегут на общий двор, заложат в ярмо Солдата Бесхвостого и отправятся в степь, знакомую им до последнего полынка и родную до слез.

Ну, а обида? Что ж, она покамест жива. Но сердце мальчишеское — ненадежное хранилище для обид. Это уж известное дело.

17

В саманной, всегда чисто побеленной изнутри и снаружи избе Степаниды Луговой, в переднем и правом от входа углу, перед строгим ликом Иисуса Христа, воздевшего указательный перст и предупреждающего кого-то о чем-то этим перстом, вот уже девять лет теплились, ни на минуту не угасая, две лампадки, висевшие на тонких закопченных цепочках. Лишь один раз в неделю касались до них руки человеческие, это когда надо было добавить масла и снять с фитилей черный хрупкий нагар. Всякий раз, перед тем как отойти ко сну, Степанида становилась на колени, к знакомым и привычным для всех молитвам присовокупляя свою собственную, сложившуюся у нее сама собою, беспощадную и неумолимо жестокую:

— Господи праведный! Покарай мя, грешную, отдай преступную душу мою геенне огненной, и пускай горит — не сгорит она там веки вечные, варится — не сварится в котлах ее. Обреки, господи, мя на муки мученические, нету мне оправданья отныне и во веки веков!..

От горячей и жуткой молитвы этой, от дрожащего голоса все тело Степаниды охватывалось лихорадкой, глаза увлажнялись, слабое пламя светильников начинало колебаться, мерцать, и то было уже не пламя, а залитые слезами глаза ее ребятишек.

Нет, молва людская неточно передает совершившееся под крышей этой избы почти десять лет назад. Не наложила несчастная мать рук на детей своих, не морила их, как про то шептались на селе...

Собравшись в ближайшие деревни в надежде отыскать что-либо из съестного и боясь, что четырехлетние близнецы ее с тою же целью пойдут по селу и с ними может случиться непоправимое, Степанида наглухо закрыла ставни, заперла на замок дверь, покинув дом затемно, когда дети спали. Откуда ей было знать, что

в трех верстах от Завидова, на степной дороге, упадет она в голодном обмороке и затем, подобранная и отправленная в районную больницу, пролежит там в беспамятстве целую неделю, а когда придет в себя, вспомнит про ребят, про то, что оставила их взаперти, никого из соседей не предупредив об этом, и рванется к двери с душераздирающим воплем: "Скорее, скорее, люди добрые, они помрут там!!!" — будет уже поздно... Изломает руки, в кровь искусает губы, повыдирает половину волос из не чувствующей боли головы и не заметит, не удивится даже, что они у нее уже не черные, как прежде, а белые — длинные, мягкие и волнистые, их так любил гладить, бывало, ее муж, которого незадолго до этого переехало трактором неподалеку от того места, где и она упала в обмороке. Теперь она едва ли смогла бы объяснить, почему, отчего не открыла селянам тогда страшной беды своей, зачем не вспомнила, что на миру любое несчастье переносится легче, недаром же и пословица про то сложена, отчего не побежала к соседке, подруге своей с самых малых лет, не рассказала ей, не отворилась сердцем, зачем навлекла на себя ужасную молву? Глухой ночью завернула Ванюшку и Миньку в дерюгу, унесла в конец огорода, механически, почти не соображая, что делает, выкопала неглубокую яму, положила в нее сверток и быстро закопала. Так у плетня, под молодой ветлой, взявшейся от сырого кола в плетне, над рекой, в которой еще совсем недавно купалась сама и купала своих ребятишек Степанида Луговая, вырос чуть приметный могильный холмик. Той же ночью и зажглись перед образами две лампадки, и той же, быть может, ночью вскипели на сердце молодой женщины слова страшной ее молитвы.

Давно свыкшаяся и примирившаяся с тем, что в избу ее никто, окромя нее самой, не придет, вернувшись с полей, где допахивали зябь, поздним вечером и наскоро умывшись, Степанида и на этот раз вышла на середину комнаты, стала коленями на земляной, недавно побеленный пол, но не успела воздеть в горячей мольбе руки и вымолвить первое слово, потому что в минуту эту в дверь постучали. Постучали осторожно и тихо, очевидно, локотком согнутого в суставе указательного пальца, но в голове Степаниды стук этот отозвался громом, потому как был он первым за десять последних лет. Степанида вскинулась, метнулась к двери, чтобы успеть накинуть на пробой крючок раньше, чем дверь успеют открыть.

— Кто там? — спросила сдавленно и повторила еще слабее и скорбнее: — Кто там? — и была уже уверена, что все это ей причудилось, когда стук повторился и вслед за ним послышался знакомый голос:

— Открой, Степанида. Это я.

— Феня?! — Хозяйка отбросила крючок. — Господи, да как же... что же это?.. И ты не побоялась?..

— А чего бы мне бояться-то? Ты что — Гитлер?

— А кто же я? Он и есть. Люди добрые зверюгой окрестили, избу мою стороной обходят... — Она начинала уже дрожать, это почувствовалось и в ее голосе, и в руке, которая как вцепилась в Фенино предплечье, так и не отпускала его, сжимая все больнее и больнее... — Скажи... скажи, Фенюшка, ивушка моя милая, скажи, неужто и ты веришь в такое? Скажи только правду!

Фене было жутко и от хриплого голоса хозяйки, и от мрака, усилившегося от мерцающих лампад, и особенно от сурового Христова лика, устремившего из темного угла на них всепонимающий, проникающий во все и укоряющий взор и поднявшего с очевидною угрозою праведный карающий перст. Под взглядом таким, под точным и грозным прицелом воздетого, словно курок, божьего пальца, при отчаянно колотившемся сердце в своей груди и в груди стоявшей рядом и нетерпеливо ожидавшей ответа Степаниды нельзя было лгать. И Феня сказала:

— Верила, Стеша.

Степанида застонала, рука ее вмиг ослабела на Фенином предплечье. Невидимая, она отошла, заслонилась темнотою и — слышно было — тяжко опустилась на лавку. Скорее всего Степанида упала, грохнулась бы о земляной пол прямо у ног гостьи нежданной, но то, что Феня, как подругу назвала ее девичьим именем и в голосе этой, в сущности, женщины-ребенка прозвучало столько доброты, мудрости и искреннего, неподдельного сочувствия чужому горю, сохранило силы, но ровно настолько, чтобы Степанида добралась до поставленной у стены лавки. Теперь она сидела там молча и лишь тяжело дышала, судорожно втягивая в себя воздух. Феня ощупью отыскала ее там, обняла, попросила тихо:

— Не надо, Степанида Лукьяновна. Стеша, роднень-кая, не надо! Я верила и не верила слухам, а теперь не верю. — Чувствуя по вздрогнувшему под ее рукою плечу хозяйки, что та попыталась высвободиться из ее объятий, Феня поняла, что слова эти пока что не убедили Степаниду, не принесли того слабого утешения,

какое могли бы принести, если бы она уверовала в их искренность. Едва почувствовав это, Феня заторопилась, заговорила еще горячее, боясь, что ее перебьют, не дадут договорить до конца: — Не верю, не верю, не верю! Я ведь теперь и сама мать, разве б я могла на своего... Все ведь знали и видели, какая ты была хорошая мать. Ты не могла, ты этого не сделала! И я завтра же скажу всем о том! Стеша! Степанида Лукьяновна! Родная!..

— Доченька, Фенюшка! Сердечко, знать, у тебя золотое. Никому не верь, никому! Я расскажу, я все расскажу тебе, как было... — И Степанида отодвинулась в еще более темный угол, потом застучала, зазвенела по ведру железным черпаком. — Сейчас, роднень-кая... — Слышно было, как она жадно пила, как не умещавшаяся во рту вода лилась на пол, как звонко булькала в горле.

— Может, не надо рассказывать? — осторожно спросила Феня, боясь и подробностей этого рассказа, которые не могли быть не страшными и не тяжелыми для них обеих, и еще больше — того, что воспоминания для Степаниды воскресят картину ужасную, и это будет для нее новой казнью. Но хозяйка стояла на своем:

— Нет, нет. Мне надо рассказать. Камень-то, камень на сердце лежит, и ты, Фенюшка, потревожила его. Помоги теперь поднять, можа, полегчает чуток... — Она вытерла губы, вернулась к гостье, сама уж теперь обняла ее. — Доченька моя... — Передохнула, резко повернулась лицом к тускло мерцавшим в углу лампадкам, перекрестилась. Феня молча дожидалась, нисколько не удивляясь, что Степанида, комсомолка двадцатых годов, по рассказам, бойкая-пребойкая девчонка, непременная участница самодеятельных спектаклей, какие тогда часто ставились в нардоме, — что Степанида шептала молитву: сейчас, в войну, отчего-то многие вспомнили про бога. Феня дождалась, когда хозяйка помолилась и вновь повернулась к ней лицом. — Ну, а теперь слушай, Фенюшка, и не перебивай меня. А то сил моих не хватит... Ну, вот ведь как было все...

Первые минуты Феня сидела тихо, не шелохнувшись, лишь дыхание ее временами было неровным, а то и вовсе как бы останавливалось. Голос рассказчицы звучал то глухо, то звенел надрывно:

— Рванула дверь-то на себя... а они, птенчики мои, так и... так и... ой, Фенюшка! а они... шмяк к материным ногам... мертвенькие... Сколько дней, пока живые-то были, царапались... стучались в дверь-то...

кричали, поди: "Мама! Мама!" О господи!.. Да что... что... за что, за какие!.. — Степанида затряслась, забилась рядом с Феней, и тут Феня не выдержала, вскрикнула вдруг и кинулась к двери. Потом она рассказывала, что не помнила, как выскочила из дома Степаниды, как миновала двор, открыла калитку, как бежала по мокрым и грязным улицам, не разбирая дороги, и очутилась у подворья дяди Коли.

Было уже за полночь, когда в окно председателя забарабанили торопливо и яростно и вслед за тем послышался голос Фени, до того ужасный, что старого Николая Ермиловича будто подбросило. Он уже был возле Фени, на улице, а она продолжала стучать в окно и просить, и умолять, и требовать:

— Дядя Коля! Николай Ермилыч! Скорее! Скорее! Серого, Серого запрягай! Поскорее же!

Старик положил свои руки на ее плечи.

— Эк тебя! Ну, ты что орешь? Вот он я. Что стряслось?

— Серого, Серого запрягай! — Она тормошила теперь уже его самого, глядела в упор исступленными глазами.

— Да успокойся же. И говори толком: что случилось?

— Серого!..

— Нету у меня Серого, дочка. Воюет наш Серый. Вчерась отогнал его на станцию, прямо в лошадий вагон завел, в теплушку...

Феня не стала ждать, что там еще скажет дядя Коля, пропала во тьме, до старика донеслось лишь чавканье ее резиновых сапог по грязи. А тремя часами позже такой же стук раздался уже далеко от Завидова, на окраине рабочего поселка, в дверь тетеньки Анны. У Тетеньки не было привычки выспрашивать, выпытывать предварительно, кто постучался в ее избу, и ворчать про себя: "Кого там еще нелегкая?.." Она спросит, коли увидит, незнакомого человека, но уж после того, как впустит его в дом и вздохнет по привычке сочувственно. Может, потому поступает так Тетенька, что знает: с дурными намерениями в ее избу ходить нету расчета, поскольку поживиться в ней решительно нечем. В прежние времена случалось наведываться к Тетеньке и жуликам, но, окромя конфуза, они ничего не могли приобрести в ее доме. Тетенька Анна, как бы не догадываясь об истинной цели такого гостя, усаживала его вместе со своими детишками за большой семейный стол, угощала черным хлебом и постными

щами, бормоча при этом ласково, скрестив руки на животе:

— Ешь, сынок, ешь, родимый. Притомился, чай, в дороге-то. Чей же будешь? Не из Завидова ли? Что-то не узнаю.

Незваный гость краснел, окатывался потом, в ответ лепетал что-то невнятное; наскоро поблагодарив хлебосольную хозяйку, он быстрехонько оставлял стол, затем ее избу. Надо полагать, что извлеченный таким образом опыт не хранил долго при себе, а делился им с товарищами, и с неких пор у Тетеньки не было никакой нужды бояться людей, сторониться их.

И теперь на стук она отозвалась немедленно, позвала ласково:

— Да не заперто у меня там. Входи, входи!

Феня не вошла — ворвалась в избу, спросила испуганно:

— Где, где он?

— Да что с тобой, родимая?

Но Феня уже отдернула занавеску, схватила сына на руки.

Между тем Тетенька зажгла лампу, поставила ее на пригрубок печи. Оглядев Феню, всплеснула руками:

— Господи, ухлюсталась-то как! Неужто пешком? Ну, полезай, полезай на печь. Я сейчас чайку... Полезай!.. Чего же ты испужалась, глупая? Разбудила ребенка, испужала и его, поди, до смерти! Живой он, как видишь, и невредимый. Что ему исделается у меня? На моих руках таких-то вот перебывало поболе, чем у тебя... — Она помолчала, тяжко переводя дыхание. — Ну, лезьте на печку, я сейчас... — И пошла к самовару.

Филипп раз и два сладко потянулся, зевнул, окольцевал исхудавшую, утончившуюся шею матери мягкими и горячими своими руками, потыкался носом в ее щеку, в ухо и спрятал лицо у нее под мышкой. Задышал сперва часто, жадно втягивая родной запах, потом дыхание выровнялось, сделалось покойным, на расширившиеся и надолго устремленные на мать такие же синие, как у нее, глаза теперь медленно и осторожно опускались веки. Тени от длинных по-девичьи ресниц, повторяя тихое колебание светильника, мягко легли над верхними выступами припухлых щек. Мальчик опять заснул. И теперь уже мать глядела на него не мигаючи и время от времени вздрагивала и даже вскрикивала непроизвольно, и тогда Тетенька взглядывала на нее встревоженно, говорила осуждающе:

— Да будя уж тебе. Что ты, в самом деле?!

И лишь после того, как Феня, успокоившись, рассказала ей обо всем, что узнала в эту ночь в доме Степаниды Луговой, к которой забежала поговорить о предстоящих посиделках, Тетенька долго не могла вымолвить ни слова, что-то все искала слепыми руками на столе. Потом глянула на гостью просветленными, мудрыми своими глазами, сказала с глубоким внутренним облегчением:

— А я и не верила никогда в людские наговоры. Я ведь дружила еще со Стешиной матерью. Добрее-то Лукерьи никого не сыщешь. А Степанида, слышь, вся в нее, в мать, уродилась. Да и про отца никто худого слова сказать не может. Могла ли Стеша... Ты вот что, доченька... Завтра, как вернешься домой, собери баб и девчат своих, расскажи обо всем как есть. Пущай все знают про Стешу, и нечего сторониться ее. Сколько можно!.. Война ведь... Теперя всем нам надо вместе держаться, рука об руку итить, а то по отдельности пропадут все. Так-то. Приголубьте, примите ее, бедняжку, приласкайтесь сердцем-то к ней, глядишь — и выздоровеет, душой оживет...

— Мы посиделки на днях собираем. И Степаниду пригласим, — сказала Феня.

— Вот и хорошо. Вот и умницами будете, — одобрила Тетенька.

Попив чаю, Феня стала собираться в дорогу, закутывать сына. Она делала это торопливо, вовсе не слыша, что говорила ей хозяйка.

— Не пущу, и не думай! В такую непогодь — да ты и себя, и дите погубишь. Вот развиднеется... А сейчас и не смей, и не моги! Так вот я тебя и отпустила! — Тетенька Анна хоть и говорила такие слова, но чувствовала, что поделать с сумасшедшей этой бабенкой она ничего не сможет, и скоро уж сама начала помогать Фене: сняла с печки теплую, припахивающую каленым кирпичом старую фуфайку, почти силой натянула ее на молодую женщину, заново переодела Филиппа, накинула что-то там на старенькие свои плечи. — Провожу малость. Господи, темень-то, темень какая. Хоть глаз коли! — говорила она уже на улице, держа Феню за руку и направляясь по знакомой лишь ей тропе к дороге. Строго наказывала, напутствуя: — По кромке, по кромке иди. А то наедет какой-нибудь леший лошадью либо трахтуром в темноте-то...

У дороги они распрощались. Сделав несколько шагов, Феня вдруг остановилась, резко повернулась к невидимой в темноте Тетеньке, которая — Феня знала

про то — стояла на прежнем месте. Подбежала к ней, одной свободной рукой обняла за шею, горячо сказала:

— Спасибо тебе, Тетенька!

— Ну, ну, чего уж там... — говорила та, а сама уж поднесла конец шали к увлажнившимся глазам. — Привози сына... в любое время привози...

В Завидово Феня вернулась с рассветом. На выгоне первым ее увидел пастух Тихан Зотыч и удивился так, что покалеченная левая рука его выскользнула из-под мышки, где он всегда держал ее, как на привязи, и нелепо замахала перед его лицом. Пока Тихан ловил и укрощал ее, водворяя на прежнее место, Феня прошла мимо, и пастух не успел справиться, откуда это она в такой ранний час и что с нею такое могло приключиться. Долго глядел вслед, покачивая головой и бормоча что-то неслышное Фене. Едва передав дома своего сына на материно попечение, она отправилась к Степаниде Луговой, удивив этим односельчанок не меньше Тихана. Степаниды в избе не оказалось. Феня отыскала ее на задах, в огороде, у речки, и с трудом оттащила от крохотного, затравеневшего бугорка.

Вскоре они были уже в поле — каждая возле своего трактора, а вечером на полевом стане Феня и поведала подругам обо всем, что узнала про Степаниду Луговую. Первой бросилась к несчастной этой женщине Настя Вольнова, потом другие, они обнимали ее, и каждая чувствовала, как что-то тяжкое отходит от сердца и как вокруг вроде бы все светлеет, и никому, конечно, в голову не могла бы прийти более чем странная мысль о том, что облегчение это и прояснение между ними пришло в самую что ни на есть жестокую пору: ведь шла война, а главным назначением ее во все времена было делать людей несчастными. Под конец Катерина Ступкина все-таки спросила:

— Зачем же ты, Стеша, осталась в Завидове, не уехала, как другие, в Саратов аль еще куда подальше? Ить молоденькая была, могла бы и замуж...

Степанида встрепенулась, поглядела на старую женщину в крайнем удивлении:

— Да как же можно? А дети-то... как же бы они тут... без меня?

Теперь уж не она, а другие глядели на нее с испугом и недоумением: о каких детях говорит она... их же нету в живых?! Да не тронулась ли она умом?.. Примолкли, притихли. Катерина позвала:

— Пойдемте ужинать, девчата. Говядинкой вас попотчую ноне. Тиша где-то расстарался.

Тишка слышал это, но сделал вид, что сказанное поварихой его не касается, — принялся рубить дрова для "буржуйки", установленной в будке. Осень пришла сразу с холодом, с почти непрекращающимися дождями, назойливо-липкими, простудно-привязчивыми. Где-то сразу же за низкими и вязкими непроницаемыми тучами, все время накатывавшимися с северо-запада, временами проплывали невидимые бомбовозы, под тяжестью грозного своего груза они надрывно, одышливо стонали, будто сердито и злобно понукаемые кем-то. А ниже туч над свежевспаханной степью кружилось со знобящим душу карканьем воронье.

— Нечистый их носит, — проворчала Екатерина Ступкина, и женщины не поняли, к кому обращались эти ее слова: к бомбовозам или к воронью.

Помолчали, думая каждая про свое.

В ту ночь Степанида Луговая впервые лежала в будке на дощатых нарах под одним одеялом с Феней и Настей. Она лежала посередке, и тепло, какое слышала и правым и левым боком, проникая через кожу, лилось прямо на ее сердце, и она беззвучно плакала и была впервые за долгие десять лет почти счастлива.

В жизни трактористок бывали минуты, когда они смотрели на свои машины, как на существа, специально придуманные кем-то для того, чтобы мучить их, девчат, выматывать у них не только руки, но и душу. Это ведь в песнях певалось: "Ох вы, кони, вы, кони стальные..." Какие уж там кони, когда возле каждого трактора нужно было промаяться целый день, а то и все сутки, прежде чем вновь застучит, заколотится его хоть и стальное, но совершенно изношенное сердце. Сущим проклятием для женщины были бесконечные перетяжки подшипников. Сделает она два-три круга по пахоте, глядь — поворачивает к стану, подгоняет к будке, собирает консилиум из механика, бригадира и всех, кто окажется на ту пору здесь, и вот вам точнейший диагноз: люфт в подшипниках, еще бы круг — и расплавились, полетели бы к чертовой бабушке, и "железный конь" вышел бы из строя, может, на неделю, а может, и на три недели, потому как раздобыть новые подшипники в военное время было делом нешуточным. И что же? Отвинчивает картер, ложится бабенка навзничь под трактором и в продолжение пяти, и шести, и десяти часов ковыряется ключом в его окаянных внутренностях. С коленчатого вала, с поршней, с других металлических сочленений, как ни обтирай их ветошью, капает то порознь, то вперемешку масло и керосин, и капли,

будто нарочно, норовят угодить либо в глаз, либо в ноздрю, либо в рот, раскрытый в отчаянном напряжении в момент, когда надобно покрепче затянуть гайку. Руки при этом дрожат, ключ то и дело выскальзывает из них и падает — тоже не на землю, а обязательно в лицо несчастной трактористке, оставляя как недобрую память о себе синяки, ссадины и шишки. Одна терпит, матюкаясь по-мужски, но негромко, — так, про себя; другая, как, например, Машуха Соловьева, помогает себе таким же способом, но ругается уже на чем свет стоит во всеуслышанье, нимало не стыдясь бригадира Тишки, сидящего обычно на корточках возле больной машины и подающего свои советы великомученице; третья — такое чаще всего случается с Настей Вольновой — начнет откровенно реветь, и над ней сейчас же сжалится какая-то из старших подруг, и подсобит, и выручит, и утрет слезы; четвертая — к таким следует отнести Феню и Степаниду — орудует ключом молча, только слышится под распоротым брюхом трактора тяжелое сопенье, покряхтыванье и короткое оханье — когда больно зашибет руку ли, лоб ли, нос ли, локоть ли. Подвесив с помощью других — одной тут не управиться — картер, женщина какое-то время будет лежать неподвижно в прежнем положении, расслабив тело и наслаждаясь коротким, с таким трудом заработанным отдыхом, прислушиваясь к тому, как выравнивает свой стук сердце, как по всем жилам растекается сладкая истома, как свободно разбросанные руки и ноги постепенно начинают ощущать прохладу, восходящую откуда-то из глубоких земных недр, а грохот пульсирующей в висках крови делается все глуше и мягче, и на щеках, как бы остановившись на бегу, замирают грязные ручейки пота. Но самое тяжкое было бы впереди, ежели бы оно приходилось на долю одного человека. Подлеченный указанным способом трактор не тотчас же, не вдруг, не сейчас пробудится к жизни; будь ты богатырь из богатырей, Илья Муромец или Добрыня Никитич, то и в таком разе не заведешь после ремонта старый трактор с помощью рукоятки, для этого тебе пришлось бы взять длинную трубу — а такая есть среди деталей рулевого управления колесной машины, — просунуть в нее конец заводной ручки, и тогда шесть, а то и восемь рук, натужившись до крайнего предела, начнут медленно поворачивать коленчатый вал, почти намертво схваченный туго подтянутыми подшипниками. Только не думайте, что героические эти усилия обязательно увенчаются успехом: трактор, если зажига-

ние у него на месте, а не "ушло в пятку", как говаривают трактористы, может и завестись, сперва чихнув несколько раз для порядку, но может и не завестись, выкинув номер, нередко смертельный, не для себя, конечно, а для тех, кто пытался вернуть его к жизни: при раннем зажигании коленчатый вал так боднет, что люди летят от заводной ручки кубарем, и оборони господи от того, чтобы ручка эта встретилась с чьим-нибудь неосторожно подставленным виском... Поздней осенью или зимой, в холодную пору, машина заводится с помощью другого трактора — самый надежный и самый безопасный способ, но, впрочем, и он чреват последствиями, которые трудно предугадать, потому как несет в себе элемент грубого насилия, которое всегда вредно — и не только для людей.

В ту ночь Феня спала непрочным сном, несколько раз вскакивала, подкрадывалась на цыпочках к похрапывающему Тишке, вынимала из его карманчика часы, глядела на них, потом опять ложилась, затем вновь подкрадывалась к Тишке и все-таки проспала. Ей хотелось встать пораньше и до полудня управиться с подшипниками, чтобы потом сделать хоть несколько кругов по зяблевому полю, но проспала: после очередной проверки времени решила прикорнуть еще на часик, да и заснула под утро крепко-крепко, а когда очнулась, рядом с собой не увидела ни Насти, ни Степаниды. Быстро одевшись, выскочила из будки и радостно улыбнулась: черное корыто картера от ее машины лежало в сторонке, а из-под самого трактора торчали обутые в мужские сапоги ноги Степаниды Луговой; по другую сторону находилась Настя, самой ее не было видно, зато хорошо был слышен ее звонкий и, как всегда, немножко испуганный голосок:

— Тетя Стеша, какой тебе ключ-то? Вот этот? А, другой? Ну, я сейчас принесу. Господи, хоть бы Феня не проснулась! Измучилась она вконец, шутка ли — семнадцать верст туда, семнадцать — оттуда, да ночью, да с ребенком! А знаешь, зачем она к тебе приходила, а, тетя Стеша?

— Не знаю, Настя. Она так и не сказала. Посидела немного и убегла.

— А я знаю.

— Ну?

— Феня хочет тебя на наши комсомольские посиделки пригласить.

— Нашли комсомолку.

— Нет, там не только мы... Там надо будет шерсть прясть и носки вязать. Для красноармейцев. Слышишь?

— Слышу. И когда же это?

— А вот как с зябью управимся.

Феня тихо стояла за спиной Насти, притаив дыхание, прислушиваясь к ее разговору со Степанидой. И когда услыхала главное, а именно то, что Луговая согласилась прийти на посиделки, и согласилась не как-нибудь, а с радостью, почти шлепнулась на землю и поползла под трактор, говоря с притворною обидой в голосе:

— Зачем же это вы? Что я, сама не управлюсь? Идите к своим машинам. Настя, а ну, марш! Чего это Тишка смотрит? Беги, беги к своему "универсалу", бороную! И ты, Стеша!

— Сейчас там моя сменщица пашет. А я тебе подмогну маненько. — Степанида замолчала.

Примолкли, притихли и Феня с Настей.

— Ну, я побегу, — заторопилась Настя.

— Ступай, ступай, — сказала из-под трактора Феня и принялась помогать Степаниде.

Настя отошла немного, остановилась и потом долго еще глядела в сторону старших односельчанок, ставших для нее неожиданно такими близкими и дорогими. Неласковый осенний ветер выдергивал из-под ушанки ее мягкие светлые волосы, забирался под ватную куртку, трепал полотняную юбку. Если не умом, то сердцем Настя понимала, что в ее подругах и в ней самой совершилось вдруг что-то очень уж важное и значительное, то, ради чего, может быть, и надо жить, ради чего и рождаются люди на белый свет, — то, чему она, Настя, не в силах отыскать точное определение, и ощущение этого, пускай пока что смутного и неясного для нее, наполняло отныне и ее маленькую и хрупкую жизнь каким-то новым и тоже более значительным содержанием. Во всяком случае, Настя с какою-то особой силой и остротой увидела и поняла сейчас, что она не одна в этом огромном, непонятном и тревожном мире, что она лишь крохотная частица чего-то необъятного и неукротимо целенаправленного и что ощущать себя такой частицей, оказывается, чрезвычайно важно и радостно. Настя попыталась представить себя одинокой в этом размокшем, зябком степном царстве, под бесконечными и злыми струями осеннего дождика, под этими низкими, сумасшедше несущимися куда-то, грозно насупленными тучами, под карканьем ворон, тоже уносящихся прочь отсюда, — попыталась и ужаснулась, и увидела себя раздавленной вроде того сусли-

ка, что угодил вчерась под колесо ее "универсала". Так она размышляла и страшно дивилась тому показавшемуся ей теперь совершенно противоестественным обстоятельству, что еще совсем недавно люди Завидова жили и работали поврозь. "Вот чудаки-то!" — непроизвольно вырвалось у нее, и Настя хохотнула. Сызнова поглядела на будку, на людей возле будки, на Фенину красную косынку на земле у трактора, на бригадира Тишку, стоявшего в привычной своей — на корточках — позе и что-то указывавшего возившимся под машиной женщинам, глянула и на дымок, поднявшийся за будкой, у котла (старая Катерина что-то там придумала им на завтрак), поласкала засветившимися глазами и флажок, привезенный на днях дядей Колей и им же водруженный над будкой, — поглядела на все это и сейчас же почувствовала, что вокруг разом все посветлело, и холодный, пронизывающий ветер оказался не таким уж холодным, и земля не вязкой, потому что не мешала Насте бежать быстро и легко к ее трактору, маячившему вдали, а подбежав и взявшись за рукоятку заводную, не услышала, не почуяла даже ее упругого и сердитого сопротивления. И трактор, будто и ему передалось все, что было на сердце девушки, завелся против обыкновения быстро и потащил сцепление многих борон легко и уверенно, без визгливого, жалобного и надрывного стона. Настя прислушивалась к ровному гулу мотора, и гул этот тотчас же превратился в мелодию знакомой и любимой песенки, а когда мелодия эта надоела, Настя напрягла, настроила слух, и вот прямо в душу ее лилась уже другая песня, и так они менялись, подчиняясь ее желанию. И все-то у нее в тот день ладилось...

Феня и Степанида вылезли из-под машины лишь к полудню, помогли друг дружке подняться на ноги и, придерживаясь под руку, еле взобрались в будку.

— Поясница совсем никуда не годится, — пожаловалась Степанида.

— Не горюй. У меня тоже.

— Ну, тебе, Феня, грех еще про то. Молоденькая.

— Молоденькая, а болит.

— Полежим маленько.

— Нет уж, пойдем заводить.

— Самую малость отдохнем. Руки прямо чужие. Не слушаются. — Но Степанида не пролежала и двух минут. Поднялась первой. — Ты погодь. Я пойду свой пригоню, тогда уж и за твой примемся. — И, вздохнув

и проворчав обычное про то, что старость, мол, не радость, вышла на улицу. Сперва — Феня слышала это — поговорила о чем-то с Катериной Ступкиной, потом с бригадиром, потом еще с кем-то (вскоре Феня с удивлением узнала голос Архипа Колымаги) и только потом ушла к своему трактору. Но гнать к будке не торопилась, явно тянула время для того, чтобы дать ей, Фене, отдохнуть.

Архип Архипович поднялся в вагончик, глянул в одну, в другую сторону и, удостоверившись, что, кроме Фени, тут никого нет, присел на краешке нар, у ее ног. Феня быстро села, подтянув колени к подбородку.

— Вы что это, Архип Архипыч?

— Ты лежи, лежи. Ишь вскочила! Что ж, и в гости к вам нельзя? Чирков с десяток настрелял для вас. Катерина лапши с утятиной сварит. Хошь, поди, с утятиной? — Лесник улыбался, толстые губы его раздвинулись так, что приподняли малость большие, сторожкие, всеслышащие его уши.

— А то нет! Конечно, хочу.

— Ну вот. А пока повариха там хлопочет, я тоже прикорну чуток. Подвинься-ка, дочка...

— Чего еще надумал? А ну, уходите отсюда, а то закричу.

— Какая ты злющая, право. Вся в батю.

— Ты моего батю не трогай. Он воюет, а ты...

— Что я? — живо спросил Колымага.

— А вот с нами, бабами, воюешь, — быстро и беспощадно последовал ответ.

Темная волна ярости прихлынула, сделала лицо лесника, и без того красное, совсем уж багровым. Но он все-таки сдержал себя, сказал подчеркнуто ласково:

— Зря ты все это... самое, Фенюха. Разве я зверь, бандит какой, чтобы бедных бабенок забижать? Дровишек-то заготовили с матерью?

— Где нам их взять?

— Чего ж ты, милая, думаешь? Зима, она подкатит, не заметишь как.

— Где ж мы их возьмем? — снова спросила Феня вкрадчиво. Она отлично понимала, к чему клонит старый этот хитрец.

— Дрова, известное дело, в лесу произрастают.

— Да ведь вы, Архип Архипыч, голову за них оттяпаете аль прямо к прокурору потащите, а он зуб на меня давно имеет, еще за Манькин утопший трактор.

Архип Архипович усмехнулся.

— Эт кому как. Одному голову, другова в милицию. А ежели кто попросит по-хорошему да работает ударно в колхозе, тому... Ну, ты вот что, Фенюха. Попроси в воскресенье у Николая Ермилыча лошадь либо вола, хоть того Бесхвостого. Укажу две кучки у Лебяжьего, с прошлогодней порубки остались. Не то померзнете зимой все как есть, окочуритесь.

— Спасибо, Архип Архипыч. Попрошу Бесхвостого. Чай, не откажет дядя Коля.

— Ну, коль откажет, на моем жеребце привезешь. Да и сам я могу помочь.

— Спасибо, — еще тише сказала Феня.

— Не стоит, — ответствовал Колымага вежливо. — Чего же это ты поднялась?

— Мне к трактору.

— Ну, ну, — вздохнул Колымага и нехотя оторвал свой зад от нар. Увидал входящую в будку Марию Соловьеву. Та подмигнула сперва Фене, затем леснику и не преминула подытожить с неподдельной завистью в голосе.

— Живут же люди!

Феня, ничего не объясняя, оттолкнула ее в сторону, освободила для себя дорогу и быстро вышла из будки. Двинулся за нею и Колымага.

Ночью, оставшись наедине с Феней (Степанида, Маша и другие трактористки были в ночной смене), Настя призналась:

— Феня, чего-то хорошо, сладко на сердце! Отчего бы это, а, Феня? — Помолчав, добавила: — А Степанида-то Лукьяновна — золото. Правда, Фень?

— Правда, Настя. Оно во всех нас есть, золото.

— И в Маше?

Феня немного подумала.

— Может, и в ней. Доброе-то в человеке заглушить легче, чем дурное. Дурное так и лезет в глаза всем. А хорошее надо еще увидеть, разглядеть да все время ухаживать за ним, чтобы не увяло, не засохло, не пропало в человеке. Пропалывать надо, очищать от сорняков. А как же ты думала? Вот взять гриб мухомор. Он завсегда на виду...

— И верно: высокий, нарядный такой, с белыми крапинками на красной голове. Красивый-прекрасивый, прямо как цветок!

— Красивый, а есть нельзя. Сразу отравишься. А настоящий-то гриб надо еще поискать, он в глаза

людям не лезет. Зачем ему красоваться, коль он и так хорош? Такое и промеж людей бывает. Вспомни Епифана — мужик с виду ладный, веселый, многие незамужние девчонки и то на него украдкой поглядывали: ведь нам нравятся озорники, это уж известно. А когда дошло до дела, подлецом и трусом самым что ни на есть распоследним обернулся наш Пишка. Поняла?

— Поняла, — сказала Настя еле слышно, и лобик ее наморщился от какой-то трудной думы.

— Ты у нас умница, Настя, — так же тихо сказала Феня, закутывая девушку потеплее. — Когда отыщется хорошее, пускай даже не в тебе самой, а в другом человеке, и на твоей душе все одно праздник. Потому, знать, тебе и хорошо сейчас. Ну, давай спать. Руки и ноги гудут, гудут, гудут, моченьки от них моей нету, впору хоть плачь.

— А правда, почему ты никогда не поплачешь с нами, Феня? — спросила вдруг Настя.

— Откель тебе знать, плачу я аль нет? Может, я реву больше всех, да только никто не видит. Зачем я буду выставлять перед людьми свои болячки, когда у них и своих хоть отбавляй?.. Прижмись ко мне поплотнее. Вот так. Тепло? Ну то-то же. Спи.

18

На посиделки собрались в доме Соловьевой. Изба у Маши пустовала. Ни матери, ни отца у нее не было — померли в тридцать третьем, — ни свекрови со свекром, а детьми обзавестись не успела: слишком скоро и бесцеремонно война увела ее суженого, за которого она и вышла-то без любви, а так, лишь бы не остаться одной и не прослыть старой девой, во всяком случае, в этом Маша усиленно уверяла подруг и особенно, конечно, всех своих случайных залеток. В пользу Машиной хижины говорило еще и то, что она стояла почти посередь села, и женщинам не надо было уходить далеко от своих домов, а также и то, что хозяйка охотно шла на это. Было еще и другое, может быть, самое главное в пору рано начавшихся и свирепых морозов, — Соловьева не нуждалась в дровах. Архип Колымага старался изо всех сил и в несколько ночей, пока Маша пахала на своем тракторе зябь, завалил сухими, по большей части дубовыми, сучьями весь ее двор и немалое пространство перед двором, на радость воробьям, коим теперь тоже было где проводить свои шумные собранья.

— Так натоплю печь и голландку, что хоть парьтесь прямо в избе, девчата! — хвасталась Маша, обходя подруг и сзывая их на посиделки. — Только еды не спрашивайте. В моем доме — хоть шаром покати, хлебной корочки не сыщешь, котенок и тот сбежал с голодухи. И ухажеры пошли — один скупее другого! Баранчика бы, что ли, подкинул кто... — И Маша вздыхала с огорчением.

Управившись с домашними делами, убрав свою и колхозную скотину, женщины, кто с прялкой, кто с большим клубком шерстяных ниток, кто с чесальными гребенками, кто с начатым уже вязаньем, кто с приготовленной для пряжи шерстью, с наступлением темноты направлялись к дому Соловьевой. Маша встречала каждую у калитки, вводила в избу и указывала отведенное загодя место. Первыми объявились девчата, за ними — молодые солдатки (этих было больше), потом солдатки постарше, приползли было совершенно древнии старушенции, но этих хозяйка быстро наладила домой, избавившись таким образом от не в меру длинных и не ведающих покоя языков.

— Ну, кажись, все собрались? — Маша пробежала шустрыми, ухватистыми своими глазами по лавкам и табуреткам, на которых сидели в полной готовности женщины и девчата, горько усмехнулась, вздохнула. — Хотя бы какая из вас штаны надела, все бы мужским духом повеяло, а то... Что это за посиделки без парней и мужиков!

Соловьева, однако, поторопилась с печальным выводом. Вскоре явились и кавалеры. Правда, по временам мирным девчата скорее всего и на порог не пустили бы их, но теперь война, а по ее жестоким, безжалостно урезанным нормам и эти были впрок. В минуту, когда уже завертелись, зажужжали колеса прялок, запели вьюшки, побежали от проворных женских рук веретена, замелькали в пальцах спицы, когда тени от всего этого запрыгали, засновали по освещенному двумя лампами потолку, дверь распахнулась, и в ней в клубе холодного пара пропечаталась высоченная фигура дяди Коли. Из-под правой и левой рук, как цыплята из-под клушкиных крыл, вынырнули Павлик Угрюмов и Мишка Тверсков, а вслед за этими тремя в жарко натопленную избу повалила толпа других мальчишек, а также мужиков и стариков, опахивая уже разомлевших от тепла женщин ядреным холодком полушубков, фуфаек и пиджаков. Когда только успел дядя Коля наскрести такое количество разнокалибер-

ного этого народу и кого только не приволок с собою на Машины посиделки! То, что пришли сюда Павлик, Мишка Тверсков и еще несколько их одногодков, это никого не удивило: двенадцати- и четырнадцатилетние, они могли смело изображать из себя женихов, поскольку война позаботилась об их ускоренном возмужании. Но вместе с ребятишками в избу протиснулись старый огородник и рыболов Апрель, почтальон Максим Пакле́ников, пастух Тихан Зотыч и еще пяток таких же мужиков. Теперь они, подсмеиваясь друг над другом, подтрунивая над собой, не спеша, привычно усаживались на согнутые ноги возле голландки, быстро перенося ее свежую побелку на свою одежду, вынимали из карманов кисеты, отрывали от газетного листа большие дольки и скручивали цигарки.

— Что, ай не рады? — на всякий случай осведомился дядя Коля и, не дождавшись ответа (поскольку не испытывал в нем никакой нужды), продолжал, торжествующе оглядывая свое задымившее вдруг, точно на привале, войско: — Робятам этим по нонешним временам цены нету. Про пацанов не говорю — они в самый аж раз. Но и с этих... сдуньте-ка с нас, старичков, пыль, вытрусите хорошенько да приголубьте, тогда посмотрите, какими орлами мы обернемся.

Маша не стерпела:

— Потрясти и потрусить вас мы можем, да как бы не рассыпались вовсе.

— А ты, Машуха, испробуй, а вдруг самая-то заглавная деталь в нас и останется! — предложил Апрель под общий хохот.

Солдатки обливались слезами от смеха, поджимали животы, а Катерина Ступкина умоляла:

— Перестаньте же вы, сил моих нету! Нагрешишь с вами!

Настя Вольнова, покраснев, поспешила пустить свою прялку на полный ход, затеребила, задергала шерсть из деревянного гребня шустрыми пальцами.

— Вы что, помогать аль мешать нам пришли? — строго спросила Феня, а глаза ее были мокрые от смеха и счастливые, и если она чего и боялась на ту минуту, так это того, как бы эти веселые старики и ребятишки не поднялись и не оставили их тут одних.

К счастью, председатель достаточно пожил на свете, чтобы понять истинную цену строгого ее тона. И все-таки решил припугнуть:

— Мы что ж. Мы можем и уйти, коли мешаем. Ну как, мужики, может, лучше уйти нам? Зачем отвлекать

славных тружениц от серьезного дела! — И он демонстративно поднялся на ноги, пригасил пальцем недокуренную самокрутку, упрятал ее в карман полушубка.

— Что вы?! — испугалась хозяйка. — Да мы без вас тут с тоски подохнем. Оставайтесь, скоро песни будем петь.

— Ну, а как Фенюха? — спросил дядя Коля и глянул на Феню хитрющими, упрятанными за седой занавесью бровей глазами. — Что она скажет?

— Оставайтесь, чего уж там! Только дымите поменьше.

— Мужику без дыма нельзя, — пояснил Апрель. — Дым мозги прочищает и дурь всякую из головы гонит. Да нам, старикам, в дыму-то перед вами только и сидеть: не всякую овражину да бородавку на нашем обличье разглядеть сможете, все вроде помоложе.

— Бородавку на твоем носу, Артем Платонович, никакой дым не прикроет, она у тебя как Большой мар на Правиковом поле, — сказала Маша.

Апрель согласился, добавив только:

— Да, она б, бородавка моя, на наблюдательный пункт сгодилась. Все как есть с нее было бы видно.

Позднее пришли "бронированные" Архип Колымага и комбайнер Степан Тимофеев. Женщины про себя подивились тому, что до сих пор еще не было среди мужиков Тишки, который, по всему, должен был бы притопать первым. В конце концов и его предупреждающее покашливание послышалось в сенях, некоторое время бригадир царапал с той стороны дверь, нашаривая ручку. Какая-то из молодых солдаток не преминула заметить, да так, чтобы услышали все:

— Чего скребется, чего шарит, будто первый раз сюда...

Маша лукнула в сторону солдатки короткий сердитый взгляд. Та мигом примолкла, смиренно поджав губы, вязальные спицы замелькали в ее пальцах.

Тишка наконец отыскал скобу, вошел в избу, да не один, а в сопровождении своей Антонины, не пожелавшей на этот раз отпускать мужа одного. Антонина прихватила с собой связанный наполовину шерстяной носок, а Тишка — большой и плотно набитый самодельной махоркой кисет, который немедленно пошел по рукам, быстро "теряя в теле" на глазах огорченного и скрывающего изо всех сил огорчение хозяина. Впрочем, очевидно, Тишка предвидел заранее, какая участь постигнет табачные его припасы, потому что нижняя толстая губа с трудом удерживала огромную само-

крутку, ее должно было хватить на добрый час усиленного курения.

Пока Тишка и его Антонина рассаживались, перекидывались с мужиками и бабами малозначащими, но неизбежными в таких случаях словами, дядя Коля из своего уголка внимательно вглядывался в лица своих помощниц. В вечных хлопотах, в беготне и суете, какими полнился день от зари до зари, он как-то не находил минуту, чтобы присмотреться к каждой из них, приметить перемены в лицах, а сейчас, когда собрались вместе и сидят так близко от него, он мог это сделать. Останавливаясь стариковским своим глазом то на одной, то на другой, он чувствовал, как что-то брало в тиски его сердце: как же они исхудали все и постарели! И за что, за какую провинность выпало им такое наказание?! Дольше всех глядел украдкой на Степаниду Луговую, она хоть и постарела, подурнела, как все, но в глазах ее не было прежней молчаливой и глухой стрешенности, и в последние дни она все больше и больше удивляла его, старика, своими поступками. Надо же было случиться, что одна свиноматка опоросилась в пору, когда на ферме не было кормов, когда через прохудившуюся крышу длинного сарая лились потоки дождевой воды, когда животные по уши вязли в назьме и грязи. Десять дрожащих поросят-недоносков тыкались в черное брюхо матери, тщетно отыскивая соски, отталкивая друг дружку, визжа и кусаясь. Степанида, помогавшая Тихану вывозить на быках навоз, случайно услыхала разговор двух свинарок:

— Что нам с ними делать теперь? Вот наказанье-то!

— А ты не знаешь что? Закопаем в навоз — и делу конец. Что ж им мучиться?

— А коль узнают?

— Кто узнает? Окромя нас, их никто и не видал.

— Ну, может, ночью?

— Знамо, не теперь.

Дождавшись, когда свинарки ушли обедать, Степанида забралась в клети, положила поросят в мешок и унесла к себе домой. Нагрела ведерный чугун воды, выкупала и принялась отпаивать похлебкой, забеленной молоком (благо, корова ее продолжала еще кое-как доиться). Вечером, придя в правление за нарядом — трактористки уже заняты были на разных работах, — рассказала о случившемся председателю. Дядя Коля не стал подымать шуму, велел лишь своей жене выделять толику молока от их коровы для поросят, которых призрела в своей избе Степанида. Пока что никто

из присутствующих на этих посиделках не ведал, не знал про то. Свинарки тоже помалкивали, хотя таинственное исчезновение поросят немало обеспокоило их: вдруг откроется, что их разворовали, растащили по домам колхозники? Тогда свинаркам пришлось бы держать ответ: кто да как, почему недоглядели? И они примолкли: не бежать же навстречу своей беде!

В полночь совершенно неожиданно (не для Фени, разумеется) к подворью Соловьевой подкатил на паре райисполкомовских лошадей Федор Федорович Знобин, автомобиль его вместе с шофером совсем недавно отправили на фронт. В избе сейчас же все смолкли, лишь хозяйка засуетилась, отыскивая место для внезапных и важных гостей: с секретарем райкома была незнакомая завидовцам худая высокая женщина. Взяв из ее рук небольшой мешочек, Знобин, высыпал на стол кренделя, несколько больших комков рафинаду. Солдатки разом ахнули от такого неслыханного, прямо-таки невероятного богатства, а Федор Федорович пояснил:

— Сахарку военные подбросили, а баранки пришлось утащить прямо с хлебопекарни. Сам бы я не рискнул на такое преступное дело, да вот Советская власть благословила, — и он указал на улыбающуюся женщину. — Знакомьтесь, Наталья Петровна Фетисова, новый председатель райисполкома. Избрана недавно вместо ушедшего на фронт Семена Отставного. — Федор Федорович попросил: — Вы, хозяюшка, налаживайте самовар, а я лошадей заведу во двор.

Однако его опередили Павлик Угрюмов и Мишка Тверсков.

— Мы сами, дядя Федя! Вы грейтесь! — крикнул Павлик и выскочил из дому.

Мишка, нахлобучив шапку, последовал за ним. "Советская власть" и Маша занялись самоваром, а Федор Федорович подсел к старикам. Последние успели приметить, что, окромя сахара и кренделей, секретарь привез в Завидово еще что-то, может быть, куда более важное, да почему-то не открывается перед ними, ждет чего-то, хотя по голосу его, необычно звонкому и сочному, по возбужденно блестящим, повеселевшим глазам, по нетерпеливому движению рук, которым он никак не находил места, а главное, по уголкам губ, притаивших улыбку совсем не обыкновенную, — по всему этому старикам видно было, как нелегко было Знобину удержать в себе какую-то чрезвычайную новость. Они понимали это, но и не то-

ропили гостя, догадывались, что так, видать, нужно, всему, как известно, свой срок. Лишь Апрель не удержался и спросил:

— Как там? Держутся наши?

— Держатся. Потом скажу. Потерпите малость, Артем Платонович. Правильно я вас назвал?

— Вроде бы правильно. Меня на селе Апрелем величают. К прозвищу-то я больше привык.

— Бывает, — согласился Знобин и, видя, что и Апрель, и Тишка, и Архип Колымага, и все погребли к столу, где уж попыхивал и пофыркивал парком самовар, остановил их: — Это вы куда направились, мужички? Э, нет, нет! Сперва чаевничать будут женщины — они заработали. А у нас, сами, поди, знаете, каждому по труду. Мы уж с вами во вторую очередь. Так-то, дорогие товарищи!

— А почему ж на поминках мужиков первыми за стол сажают? — сказал Тишка, нехотя отваливая от стола и направляясь на прежнее свое место.

— То на поминках, а у нас посиделки. А ну, товарищи женщины, за стол, за стол! Командуйте, хозяйка!

— Да садитесь уж вместе с нами, — пожалела мужиков Феня.

— Нет, нет, — решительно запротестовал теперь уж дядя Коля, будто ему принадлежала эта идея, — мы погодим, ничего с нами не случится.

В конце концов угостились чайком все, даже вернувшиеся со двора Павлик и Мишка, правда, эти пили чай без сахара, свою долю припрятали в карман, сохранили для младших братишек и сестренок. Какое-то время в избе слышался лишь шум прялок да неторопливый разговор покуривающих у голландки мужиков. Потом Федор Федорович посмотрел на часы, воскликнул: "Ого!" — и сделал вид, что заторопился.

— Кто-то, помнится мне, обещался песнями попотчевать? Может, я спутал что, а? Как ты думаешь, Феня?

Феня улыбнулась:

— Так уж и быть. Споем, коль обещались.

Как водится, долго не могли начать, не находилось запевалы, каждая сперва отнекивалась, ссылаясь на отсутствие слуха, на разные другие причины. Видя, что дело с песней затягивается и затяжка эта готова уж подойти к той психологической черте, за которой никакая уж песня невозможна, Маша Соловьева шумно вздохнула, выпрямила и без того стройный стан, заговорила взволнованно:

— Ну, чего молчим-то? Аль не пели никогда? Фень,

чего ж ты?.. Ну да ладно, начну я. Какую ж? Может, вот эту?.. — И она запела, но перехваченный волнением голос поначалу не послушался, оборвался. Маша прокашлялась, повела медленным и приглашающим взглядом по своим товаркам, запела тихо и теперь стройно и ровно:

Ивушка, ивушка, зеленая моя,
Что же ты, ивушка, незелена стоишь?

Но Феня почему-то забеспокоилась вдруг, замахала на подругу руками, громко потребовала:

— Маша, не надо эту! Другую давай!

Маша остановила песню, посмотрела на подругу с удивлением. Покорно спросила:

— А какую же? Ну, начинай сама. А мы подпоем.

Теперь отказываться было невозможно. Феня тоже прокашлялась, тоже поглядела на притихших женщин потеплевшим, размягченным каким-то взглядом, побледнела сперва, потом покраснела и затянула свою любимую:

Ой, туманы мои, растуманы,
Ой, родные леса и луга-а-а...

Остальные, будто и ждали только этого, единым, могучим, поднявшимся далеко вверх дыханием подхватили:

Уходили в поход партизаны,
Уходили в поход на врага-а-а...

А Феня, светясь вся, пела все усиливающимся голосом и, чувствуя, что рвется он из самого ее сердца, не дожидаясь окончания одного куплета, который вели другие голоса, начинала следующий:

На прощанье сказали герои:
"Ожидайте хороших вестей".

Теперь уж и старики и мужики не могли молчать. Тишка, например, и сам не заметил, как выскочил из его груди тонкий, по-бабьи высокий голосок и ловко ввинтился в общий хор, обвиваясь вокруг рокочущего баса Архипа Колымаги, который, перед тем как запеть, страшно выпучил круглые свои глаза. Рядом сперва робко, потом все смелей, смелей ладился не-

громкий, с обязательной пастушьей хрипотцой баритон Тихана Зотыча. Пристроился было к нему со своим надтреснутым тенорком и Знобин, но, увидев, что только портит хорошую песню, смущенно примолк. Старый Апрель, верный своей привычке не петь при людях, помалкивал и тут, посвечивал лишь повеселевшими глазами да щелкая языком от великого удовольствия. Хор, однако, уже составился и жил по своим законам — гремел могуче и грозно:

...И на старой Смоленской дороге
Повстречали незваных гостей.

Феня запевала, а глаза ее так и говорили, так и кричали собравшимся тут людям: до чего ж люблю вас, до чего ж дороги вы мне! Голос ее все набирал и набирал силу, нагнетая и в других небывалую, какую-то новую энергию:

Повстречали — огнем угощали,
Навсегда уложили в лесу...

Но вот на мгновение Феня смолкла — в напряженной, до последнего предела натянутой тишине сейчас должны были прозвучать слова, от которых дрогнет все у нее внутри, словно бы оборвется что-то, — она не знала, хватит ли у нее сил, чтобы не сорваться и не зарыдать, не задохнуться от нахлынувших чувств. Хор поднялся торжественно и грозно:

...За великие наши печали,
За горючую нашу слезу.

Нет, Феня не сорвалась, но и петь не могла больше. Другие женщины заплакали. Первой не выдержала Катерина Ступкина, сидевшая в дальнем переднем углу, слабо освещенная керосиновой лампой, длинноликая и суровая. Настя Вольнова плотно, как делала это часто, прижалась к Фене, уткнула мокрый носишко под мышку старшей подруги, и лишь по мелко вздрагивающим узким ее плечам можно было понять, что и она плачет, но никто за ней не наблюдал. Могли бы увидеть это ребятишки, которые не плакали, но они еще раньше, по прежним опытам зная, что без бабьих слез эта песня не кончится, убрались на улицу. Откровенно заливалась слезами и сама "Советская власть" — женщина, председатель райисполкома, позабыв про

свое высокое положение. Старики хоть и не плакали, но притихли, принялись быстро сооружать новые самокрутки неловкими, плохо слушающимися пальцами. И вот тут-то и поднялся Знобин. Долго откашливался, дождавшись тишины, громко спросил:

— Ну, наплакались? Теперь хватит. Вытрите хорошенько глаза. Досуха, досуха, товарищи женщины! Вот так. А сейчас послушайте, что я вам скажу. Знаю, репродукторы ваши молчат уже четвертый день (столбы кто-то на дрова порезал), и вы ничегошеньки не слыхали, между тем... — Он помолчал, перевел дух, опять долго и тщательно откашливался. — Между тем, дорогие мои, свершилось долгожданное. Трехсоттысячная армия немцев полностью окружена советскими войсками в районе Сталинграда!..

Звонкая, ослепительно звонкая тишина повисла в комнате, и, зная, что она сейчас оборвется либо торжествующим бессвязным воплем, либо — чего всего вероятнее — опять бабьим плачем, Федор Федорович заторопился и, вытащив откуда-то из-за пазухи бумагу, быстро прочел сообщение Советского информбюро.

Кто плакал, кто кричал "ура", дядя Коля, Апрель, Тихан Зотыч и Тишка мяли в своих объятиях сухонькую фигуру Знобина, а женщины — Наталью Петровну, потом обнимались и целовались друг с другом, пока хозяйка не растолкала всех по лавкам, по табуреткам, по углам и не понеслась по избе кругом, подогревая себя сейчас же подвернувшимися словами частушки:

Мой миленок на войне,
На германском фронте.
Вы летите, пули, мимо,
Милого не троньте!

Она кликала, заманивала глазами, звала подруг на середину избы и, видя, что одного куплета для этого мало, завела второй — еще громче и задористей:

Неужели пуля-дура
Ягодиночку убьет?
Пуля, влево, пуля, вправо,
Пуля, сделай поворот!

Маша не успела даже удивиться, почему это первой к ней присоединилась не Феня и не кто-нибудь еще, а пугливая и застенчивая до обморока Настя Вольнова и почему именно она запела прямо в ее, Машино, лицо

слова дерзкой и намекающей на что-то частушки (где только подобрала такую?).

Получила письмецо,
Цензурою проверено,
На обратной стороне —
Гулять ни с кем не велено.

Женщины и мужики засмеялись, закричали, поддерживая Настю:

— Ай да молодец! Так, так, Настенька! Ищо поддай!

Но Соловьева опередила, приблизилась, пританцовывая, к Насте вплотную и, жарко дыша ей в лицо, весело сверкая зеленоватыми озорнущими глазами, запела:

Не дождешься тех минут,
Когда из армии придут.
Рубашки белые наденут,
По деревнюшке пройдут.

А Настя тут как тут:

Скучно милому мому
Сидеть в окопе одному.
Кабы легки крылышки,
Слетала бы к нему.

Маша — ей сквозь собственный смех, вызывающе!

Мой миленок не в тылу,
Он в бою, в самом пылу.
Он уехал воевать,
Не велел мне горевать.

— Ну и ну! Вот баба! — мотал головой восхищенный Тихан Зотыч. Покалеченная рука его давно уж вышла из повиновения и теперь подпрыгивала перед его носом, приладившись к пляске и частушкам.

Никто не мешал этим двум, понимая, что идет спор, и притом не шуточный, так что впутываться в него не след.

Между тем Настя уже принахмурилась, приглушила голос:

Ягодиночка на фронте,
Пули черные летят,
Неужели сероглазого
В земельку повалят?

Притуманилась и Маша, вмиг подстроилась под юную свою подругу:

Сероглазого убили
Из винтовки боевой.
Он лежит в сырой земелюшке,
Не думает домой...

Видя, что Катерина Ступкина опять поднесла к глазам угол платка, Настя широко улыбнулась, вихрем пронеслась по кругу, запела:

Мой миленок на войне
Управляет ротою.
А я тоже не гуляю,
На быке работаю.

Подхватилась Маша:

Заменила тракториста —
Стала тракторы водить.
Неужели гармониста
Не сумею заменить? —

и, не дав подключиться Насте, изогнулась, приблизилась к Архипу Колымаге, дерзко выкрикивая:

Ты не стукай и не брякай,
Ягодинка, не пущу.
Для посылочки солдатикам
Перчаточки вяжу.

Не обращая внимания на Антонину, метнулась к Тишке, приподняла ладонью острый его подбородок, запела прямо в лицо ему:

Ой, война, война, война,
Она меня обидела:
Она заставила любить
Кого я ненавидела.

— С ума сошла баба, — тихо молвила Катерина.

Весь путь до районного центра его руководители проехали молча, и, лишь прощаясь у исполкома с Натальей Петровной, Знобин сказал, отвечая каким-то своим, очевидно, всю дорогу занимавшим его мыслям:

— Дурак он, дурак!

— Кто? — не поняла Наталья Петровна.
— Гитлер. Кто ж еще!

Под утро Маша Соловьева осталась в своем доме одна. Машинально, механически как-то прибрала в горнице, разобрала постель, легла, но сон не шел к ней. Глядела в потолок, думала: "Догулялась, милая!" Глаза ее были мокры, но не от рыданий, а от сильной тошноты: теперь она уже была совершенно уверена в том, что понесла.

"Ах, не все ли равно!" — решила она и потянула на лицо теплое стеганое одеяло, когда услышала тихий двукратный стук в окошко. Нет, то был стук не ее дружков-ухажеров. Так стучать мог только один человек.

— Все, — тяжко обронила Маша в тревожную тишину и, вмиг раздавленная чем-то неимоверно тяжелым, села на кровати, свесила босые, не чувствующие холода ноги. Спросила больным голосом: — Кто там?

— Это я, Федор. Открывай, Маша!

— Все, — снова вырвалось у нее.

Войска, участвовавшие в разгроме немцев под Сталинградом, отводились в ближние тылы на отдых и переформирование. Случилось так, что дивизия, где служил гвардии старший сержант Григорий Угрюмов, была дислоцирована в их районе, а стрелковый полк, в состав которого входила минометная рота, расквартирован в Завидове. Если бы неделю назад там, в заснеженной балке Караваткa, откуда расчет Гриши обстреливал последние рубежи окруженного врага, кто-то сказал бы старшему сержанту, что буквально на днях тот окажется дома, то он посмотрел бы на такого человека, как на сумасшедшего. Между тем чудо свершилось: живой и невредимый, Гриша стоит сейчас в своей бане и яростно нахлестывает дубовым веником распаренное, красное тело своего взводного — лейтенанта Мищенко. Да, да, того самого Сеньки Мищенко, из-за которого понес когда-то тяжкий сердечный урон приятель Гриши — Серега. Душевные раны, как известно, зарубцовываются медленно, они долго еще мучили Серегу и попритихли лишь тогда, когда — уже на фронте — он узнал от самого Сеньки о том, что

и у него не сладилось с Леной: непостоянная, она вскорости влюбилась в преподавателя литературы и вышла за него замуж. Гриша парил Мищенко и — в какой уж раз! — дивился тому, что казавшаяся когда-то непомерно большой голова Сеньки была теперь совершенно нормальной относительно его сильно вытянувшегося, на редкость стройного тела. Нагнетая сухой, накаленный воздух, веник часто взлетал и опускался; лейтенант просил уж пощады, а снизу бойцы из Гришиного расчета поддавали еще и словесного жару:

— Хорошенько, хорошенько его, товарищ старший сержант!

— Вдарь, вдарь, Гриша! В бане все равны!

— Тут знаков различия нету!

— Ежели к тебе, Андрюха, приглядеться, то такое различие приметишь!..

Тугая завеса пара качнулась от дружного хохота. Андрюха, наводчик миномета, не остался, однако, в долгу. Отпарировал мгновенно под новый взрыв смеха:

— Ну и тебя, Алеша, бог не обидел!

Лейтенант Мищенко улучил момент, соскользнул с полка, выскочил в предбанник и чуть было не сшиб с ног Феню, принесшую как раз два ведра холодной воды для них. Лейтенант мигом повернул обратно, но Феня успела-таки плеснуть на его спину несколько ледяных капель. Сенька заорал благим матом, а дежурившая около бани и ревниво охранявшая моющихся Аграфена Ивановна сказала осуждающе:

— Уйди оттуда, бесстыдница!

— Разве я знала, что его вынесет нелегкая, — сказала Феня, выходя из предбанника и направляясь к курящейся на речке проруби. Мать поглядела ей вслед и вздохнула. Должно быть, от глаз ее не укрылось странное оживление, охватившее Феню сразу же после того, как Гриша привел к ним на постой своего командира. Удивило, встревожило, даже испугало Аграфену Ивановну то, что Феня отдала лейтенанту, при горячей поддержке Гриши, свою кровать, а себе постелила за голландкой, на сундуке. Глянув раз и другой то на дочь, то на молодого красивого офицера, Аграфена Ивановна почувствовала, как что-то больно ворохнулось у нее внутри, потом долго и томительно заныло под ложечкой. "Быть беде", — решила она и тотчас же приняла некоторые защитительные, очень необходимые, с ее точки зрения, меры. Во-первых, попросила командира, чтобы он разрешил ее сыну ночевать дома,

а не в клубе, где размещалась их минометная рота, а во-вторых, и это было главным, поставила железную Гришину койку в горнице, там, где была и Фенина кровать. Сделала она все это после того, конечно, как вволю наплакалась от нежданной и потому еще более великой радости, после того как подскребла в доме все, что можно было, и досыта накормила не только сына, но и всех оказавшихся на ту минуту рядом его товарищей, за общий стол Павлика, Катю и Филиппа не посадила ("чтобы не шмыгали там носами!"), а сунула им блюдо похлебки прямо на печь, допустив при этом непростительную промашку: зажав бутылочное горло пальцем, хотела, как делала не первый уж раз, уронить самую малую каплю подсолнечного масла, да не приметила, как подкрался Павлик и подтолкнул, будто нечаянно, ее под локоть, и большая-пребольшая капелюха золотисто и весело расплылась в посудине; Павлик был немедленно пожалован звонким подзатыльником, но масло-то не воротишь, а ведь этакую толику Аграфена Ивановна могла бы растянуть на несколько дней — вот какую шутку отмочил, озорник! Сидящие за столом и оживленно разговаривающие солдаты не догадывались об этом происшествии, и это было уже хорошо. Аграфена Ивановна быстро вернулась к столу и заговорила певуче, ласково:

— Угощайтесь, родненькие. Чем уж богаты...

— Что вы, хозяюшка, нам и во сне-то не снилось такое! — отозвался красивый лейтенант и опять бросил короткий взгляд на стоявшую в дверях своей горницы Феню. Смутился, но затем опять, уже помимо своей воли, глянул на молодую улыбающуюся женщину. Феня нахмурилась, заторопилась:

— Ну, я пойду баню затоплю. Гриша, вы б дровец мне...

После бани минометчики из Гришиного расчета ушли на ужин в расположение своей роты, они еще издали увидели возле клуба полевую походную кухню, а рядом с ней — знакомого повара. Лейтенант Мищенко и Гриша пошли в избу, где их поджидал самовар, водруженный Аграфеной Ивановной посреди стола в окружении припасов, входивших в офицерский доппаек взводного: несколько кусков настоящего рафинада, пачка галет, банка тушеной говядины, уже раскрытая, сокрушительно пахнущая разваренным мясом, лавровым листом и перцем. Чтоб не искушать судьбу, Павлик, в последний раз втянув в себя этот запах, ушел на улицу и присоединился там к мужикам и

старикам, толпившимся с вениками под мышкой у бани и ожидавшим своей очереди. Тут были Тишка, Тихан Зотыч, Максим Паклёников, а в самой бане мылись и парились дядя Коля, Апрель, Архип Колымага, их, видать, пропустили вне очереди; хоть и не бог весть какую, но каждый из них представлял собою власть; один — председатель артели, второй — огородный бригадир, третий — лесник, важнее-то его должности по нынешним временам на селе и не сыщешь. Павлик был убежден в том, что вся эта компания окажется, и очень даже скоро, в их избе и баня для них не больше как предлог для того, чтобы иметь подходящую возможность заглянуть в дом Угрюмовых и разделить с его обитателями радость встречи с сыном и братом. Может случиться и так, что кто-то из них и вовсе не войдет в баню, а вот только постоит тут так, для блезиру, выждет момент, кинет веник в предбанник и — была не была! — решительно направится к дверям угрюмовского дома. С Павликом заговорили необычайно приветливо:

— Ишь как ты вымахал, Павлуша! Прямо орел!

— Ты уж старшего брательника догоняешь. Ну и ну!

— Как там Григорий? Мать, поди, не наглядится.

— Медалей-то много у него?

— Две! — с гордостью ответил Павлик.

— Две! — ахнули мужики. — Мать честная, две!

— Пойдем-ка, сынок, я тебя попарю.

— Я сам, — сказал Павлик и независимой, по-мужски солидной походкой направился к предбаннику.

После бани мужики не сразу вошли в дом. Задержались в сенях и отдались во власть воспоминаний. Вспоминая, оживленно переговаривались. Говорили громко, так, чтобы их непременно услыхали в избе. Первым завел Апрель:

— Что говорить про Левонтия, Гришиного-то батьку? Не мужик, а золото!

— И до чего простой! Бывало, идешь мимо, а он откроет фортку, кликнет: "Максим Савельич, заглянул бы на час, первачок у меня, ночесь нагнал — ну прямо как фабричный, чистый как слеза!"

— Да, тот не даст пройти, обязательно зазовет, — поддержал Тишка.

— Она, и Аграфена-то Ивановна, такая ж. Пошумит, покричит, поворчит маненько, а сама... — вспоминал вслух Тихан Зотыч. — Бывало, пригонишь скотину с полей, а она видит, что ты голодный как волк, сунет

тебе в руки то пышку, то пару яиц вареных. Вот какая женщина!

— Ну, а про Феню все знают: эта последнее с себя снимет и отдаст кому хошь, — заявил под общий одобрительный гул дядя Коля.

Потом воспоминания углубились, перекинулись сперва на ближайших, а потом и на далеких предков Угрюмовых, и выходило, что и деды, и прадеды, и прапрадеды, равно как бабушки, прабабушки и прапрабабушки их были, на удивленье, добрыми, разумными и баснословно щедрыми людьми. Своеобразная эта психологическая подготовка завершилась совершенно уж безудержной похвалой в адрес молодого хозяина. Из слов, которые отчетливо слышны были в доме и от которых Гриша готов был провалиться сквозь землю, неопровержимо следовал вывод: великая битва под Сталинградом не увенчалась бы такой блистательной победой, если б в ней не принимал участия гвардии старший сержант Григорий Леонтьевич Угрюмов, кавалер сразу двух медалей: "За боевые заслуги" и "За отвагу". Это было уже слишком, и лицо Григория начало буреть, на скулах вспухли и ходуном заходили каменной твердости желваки, и скорее всего дело бы закончилось тем, что он выскочил бы из-за стола, выбежал в сени и турнул куда-нибудь подальше от своего дома не в меру разошедшихся мужиков. Но упредила Аграфена Ивановна, на которую, собственно, и была в первую очередь направлена "психическая атака". Она отошла от печки, широко распахнула дверь и впустила вместе с потоками холодного воздуха чаявших этой минуты, бесконечно довольных, счастливых односельчан.

— Входите, входите, чего там мерзнуть! Николай Ермилыч, Архип Архипыч, Максим, Тихан Зотыч, Тиша!.. Милости прошу, да не сымайте вы валенок-то, ай нам трудно помыть полы? Рассаживайтесь, ради бога! Вот тут, тут... Артем Платоныч, а вы что же стоите у порога? Присаживайтесь, в ногах правды нет! Чем богаты, тем и рады... Максим, нет ли письмеца от моего старика-то? Нету? Господи, вторая неделя пошла... Садитесь, садитесь, милые вы мои! Радость-то какая у нас нынче! Павлик, лезь на печку, сопли-то вон как текут. Простыл, поди! — Она и говорила, и указывала каждому его место, и успела уж добыть где-то за фанерной перегородкой у печки бутылку, поставить ее на стол и сообщить сокрушенно и виновато, что недоглядела, пере-

жгла немного, потому-де и мутновата самогонка, но — слава богу — крепка, горит, что твой керосин-бензин!

— Пускай горит себе на здоровье, — перебил вдруг ее дядя Коля. — Не за тем мы тут объявились, Аграфена. Нам бы на сталинградских героев поглядеть да послушать их — так что можешь спрятать твою бутылку.

Феня, видя, что одной матери теперь не справиться, поднялась из-за стола, опять украдкой глянула на лейтенанта и, уверенная, что и он сейчас будет глядеть вслед ей, быстро и легко направилась к печке, где на высоком таганке поджаривалась картошка на армейской, фронтовой тушенке. На вошедшую без стука Машу Соловьеву посмотрела враждебно, но спохватилась, торопливо пошла навстречу.

— Ой, как хорошо-то! — воскликнула Феня, обнимая подругу. — Ну, раздевайся, помогай нам с мамой! Где ты так долго пропадала? Не видала тебя сто лет!.. Раздевайся, проходи! — Повернулась к Мищенко, сказала неестественно громко и беззаботно: — Знакомьтесь, это Семен Мищенко, ну, а это наш Гриша, мужиков ты всех хорошо знаешь. Ну, а это моя подруга Маша Соловьева!

Аграфена Ивановна вышла из-за перегородки, поставила сковородку на стол и поглядела на Машу. Лицо Соловьевой немного подурнело, на щеках пропечатались темные пятна, губы припухли, а под глазами вроде отеки объявились, под платьем уже явственно обозначилась округлость. Старики тоже все оглянулись на Машу и, кажется, первый раз смотрели на нее с уважением. Знали, что по дороге из госпиталя приезжал к ней муж, знали, что на рассвете, не показавшись людям, он ушел на станцию; знали и про то, что Маша в первую же минуту их свидания призналась, что была неверна ему и что Федор оценил ее мужество и даже ни разу не ударил, сказал только на прощанье: "Ладно, вернусь — разберемся. Узнаю, кто удружил... кто так уважил фронтовика, тогда и поквитаемся. А сейчас пока, дорогая моя женушка!" — и хлопнул дверью. С дороги, из Аткарска, прислал письмо. Всего несколько слов: "Ухажеру скажи: приеду — убью". И все. Так еще одна веревочка захлестнулась, свилась, скрутилась, затянулась в тугой узелок. Кто и когда теперь его развяжет? И развяжет ли?

Пришла глянуть на фронтовика Авдотья. Прямо с порога спросила:

— А где же племянник-то мой, Сережа?

Выйдя ей навстречу и обнимая, Гриша спросил:
— Разве вы не получали моего письма?
— Что, что с ним?! — закричала Авдотья.
— Да ничего плохого с ним не случилось, наоборот... — поспешил объяснить Гриша. — В военное училище его направили, офицером будет Серега.
— Слава те... — Помолчала, глянула в лицо Гриши почти с мольбою: — Авдеюшку... сыночка мово, не встрел ли где? А?
— Нет, Авдотья Степановна. Не встречал.
В избе стало тихо-тихо. Приблизясь к столу, Авдотья пристально посмотрела на незнакомого лейтенанта, потом на побледневшую Феню, ничего не сказала, вздохнула только. Поздравив хозяйку с возвращением сына, мужики стали просить офицера, чтоб он рассказал им про недавние бои у Сталинграда.
— Говорят, Иосиф Виссарионыч сам туда выезжал, руководил вами. Правда, что ли? — спросил для начала дядя Коля.
— Может, и приезжал. Но мы не видали, дедушка. Малые для этого у нас чины. Мы ведь с Гришей не генералы, — сказал лейтенант. И быстро прибавил: — Мы, сталинградцы, ему письмо писали. Клятву.
— Слыхали про то. Это чтоб город врагу не сдавать и изничтожить их, поганцев, всех как есть до единого на Волге. По радио Левитан сообщал, — пояснил Апрель и вдруг обратился к Мищенко с просьбой, совершенно уж неожиданной: — Ты, товарищ командир, секретное-то при мне не сказывай. Дырявый я для всяких там военных тайн. Какой-нибудь час-другой потерплю, помолчу, а потом зачнет во мне свербить, царапаться, лезть наружу, не вытерплю — все выложу своей старухе, а та мигом разнесет по селу, так что вы, товарищи военные, поосторожней со мной, — заключил Апрель серьезно.
— Спасибо, дедушка, за предупреждение! — улыбнулся лейтенант. — Только секретов у нас с Гришей больших нет.
— Ну и слава богу, ну и ладно, — молвил удовлетворенно Апрель. — Теперь сказывайте, как вы там... энтих псов...
— Рассказывайте, ребята, — попросил и дядя Коля, — а насчет секретов — не слушайте Артема. Наговаривает он на себя. Делать ему нечего, вот он и...
— Совести у тебя нет, Ермилыч. Ты ноне цельный день в тепле, в правлении своем просидел, а я с бабами снегозадержанием в огороде занимался. Мне б в мои

лета кирпичи на печке протирать тощим задом да старые мослы греть, а я день-деньской в снегах торчу да с бабами воюю. А битва эта — пущай на меня не обижаются фронтовики, — битва эта погорячей сталинградской будет. Там у вас кто? Враг! С ним дело яснее ясного: на прицел — и бац. А с бабами? К ним подход иной нужен. В них не стрельнешь из берданки, и язык мой — плохой помощник, потому как их языки подлиннее и позлее моего. Как зачнут чесать тебя вдоль и поперек!..

— Ну уж расплакался! — перебила Феня. — Ты и близко-то к женщинам не подходишь. Сказывали они нам вот с Машей: постоишь в сторонке, повернешься спиной к ветру, чтобы не продуло, помаячишь так для виду — и был таков. Глядят бабы: был Артем Платоныч и нету Артема Платоныча.

— Кто это наплел про меня такое? — Апрель даже привстал за столом. — И ты, Фенюха, поверила такой брехне?

— Не поверила. Помолчи, Артем Платоныч. Дай людям послушать — вон в каком пекле были, а ты сравниваешь. Сеня, Гриша, рассказывайте. — Феня испуганно глянула на мать, на лейтенанта, на Авдотью с Машей, вмиг поняла, что и она приметила, как назвала незнакомого, в сущности, офицера ласковым именем "Сеня". Быстро поднялась, вышла из-за стола и скрылась за перегородкой, у судной лавки. Пошарила там, принесла никому не нужные две ложки. Догадливые и разумные гости сделали вид, что не обращают на нее никакого внимания. И чтобы выручить Феню окончательно, дядя Коля громко похвалил:

— Никак главную орудью принесла? Вот молодец, а то тычешься в сковородку этой вилкой, ни хренушки не подцепишь. Ложкой оно сподручней. Спасибо, дочка!

Феня благодарно посмотрела на него и тихо присела на краешек табуретки, подальше от лейтенанта. Потом, как бы вспомнив про что-то неотложное, подошла к печке, подняла руки, и в них свалился давно ждавший этой минуты Филипп Филиппыч.

— Сынок Фенин, — поторопилась пояснить Аграфена Ивановна.

— У, какой гвардеец! — Мищенко взял из рук матери мальца. — Ну, а где же твой батька?

— Убили,— сказал Филипп, а сам уж тянулся к рубиновой звезде боевого ордена на лейтенантовой гимнастерке.

Мищенко смущенно притих. Затем спросил глухо
— Кто же убил твоего папку?
— Фашисты, — сообщил Филипп и, теребя орден, сейчас же, без паузы, спросил: — А ты командир?
— Командир.
— Ты герой? — допытывался Филипп.
— Как тебе сказать...
— Герой, герой! — подтвердил Гриша.
— Дай поиграть.

И когда Мищенко приготовился отвинтить орден Красной Звезды, врученный ему всего лишь несколько дней назад, Феня, испуганно ахнув, вырвала сына из его рук, тихонько шлепнув Филиппа-младшего, увела в горницу, за голландку, на свою постель. Мальчишка сейчас же дал такого реву, что Мищенко выскочил из-за стола, убежал в переднюю и вернулся с ребенком. На этот раз Филипп забрался к нему на колени, крепко обнял за шею, приготовился к стойкой обороне от матери, которая теперь стояла в дверях, и на лице ее отразились одновременно и состояние неясной тревоги, и смятение, и неловкость перед чужими людьми, и перед матерью, и особенно перед Авдотьей, которая сидела сиротливо и молча в сторонке, никем не замечаемая, как бы уж вовсе забытая всеми (глаза Авдотьи были полны скорби и невысказанной обиды, и Феня понимала, откуда могла взяться и эта скорбь, и эта обида), неловкости перед старшим и младшим братьями, даже перед Катенькой, и чувство стыда и великой виновности перед портретом, с которого глядел на веселое застолье светлыми и тоже веселыми глазами человек с дюжиной нарядных значков на танкистской гимнастерке. И эта тревога, и смятение, и неловкость, и стыд, и виноватость не могли все-таки скрыть главного, что было у нее на сердце. Этим главным была не угасавшая в ней никогда, со временем все накапливающаяся и усиливающаяся оттого, что не находила утоления, потребности любви, и предчувствие того, что с нею может произойти, и очень скоро, то, чего она так долго и тайно ждала, и пугало и делало ее счастливой. Феня даже вздрогнула, лицо ее исказилось, когда лейтенант передал ей Филиппа и сказал:

— Пойду к минометчикам. Скоро вечерняя поверка. Сейчас бойцы пойдут на прогулку. — Но Мищенко успел увидеть ее огорчение. Сейчас же прибавил: — Я скоро вернусь. Может, выйдете на улицу и послушаете, как мы поем? — сказал он уже всем.

Гости вместе с хозяевами вышли за ворота и не

узнали своего села. Было около одиннадцати, но ни в одной избе не погасили лампы. До нынешнего дня Завидово погружалось в глухой мрак рано: селяне экономили керосин, которого у них было в обрез, так же как и хлеба. Дремотно-подслеповатые, вечно насупленные окошки вдруг ярко засветились, заулыбались, далеко бросили перед собой пучки желтого света, в которых замельтешили, заиграли, точно ночные светлячки, мохнатые снежинки. Почти у каждого дома в одиночку и группами стояли женщины, молодые, средних лет и вовсе старые, у их ног кувыркались в снегу, горланили ребятишки — теперь не отыскалось бы такой силы, какая могла бы удержать всех этих людей в избе. А посреди улицы солдаты строились в колонны: отделения, взводы, роты. Слышались звонкие в ночи команды:

— Отделение, становись!

— Взво-о-од, равняйсь!

— Справо по четыре рассчитайсь!

— Равнение на середину!

— Смирррна-а-а!!!

— Прямо шагом а-а-арш!!

Снежная, укатанная дорога тяжко вздрогнула под ударами сотен ног, и при третьем или четвертом шаге взметнулся требовательный и властный голос:

— Ррро-та, запева-а-ай!

На какое-то время слышались лишь шаги: жух, жух, жух. Команда повторилась — еще грознее и требовательнее. В пучке света показался и тот, кто ее подавал. По вырвавшемуся из его рта пару завидовцы догадались, что подает команду он. Феня удивилась, узнав в командире "своего" лейтенанта, удивилась, что не узнала его голоса.

В доме Мищенко говорил со всеми мягко, и кто бы мог подумать, что он может кричать так громко и, как показалось Фене, сердито. "Злой какой", — подумала она с неудовольствием, когда команда раздалась в третий раз и когда в голосе лейтенанта можно было уже различить (во всяком случае, Феня различила) как бы угрозу. И тогда-то в ночное небо, запахнутое в теплую белую шубу туч, рванулись звуки незнакомой песни:

Тучи да бураны,
Степи да курганы,
Грохот канонады,
Дым пороховой...

Колонна подхватила припев, первых слов которого Феня не расслышала, но последующие различила отчетливо, у нее даже похолодело, дрогнуло под сердцем от суровых этих слов:

По донским станицам...
В грохоте сражений
Не смолкает бой.

— Раз, два, три! Раз, два, три! — отсчитывал по-прежнему громко и властно "Фенин лейтенант", но в голосе его теперь не было угрозы, и, счастливая, она тихонько повторяла вслед за ним: "Раз, два, три! Раз, два, три!"

— Авдей, давай!

Феня вскрикнула от этих слов взводного. Мать, стоявшая рядом, быстро обернулась к ней:

— Что с тобой?

— Ничего. Ничего, мама. Я так.

А от удаляющейся колонны подымалось:

Мы идем к победам,
Страх для нас неведом...

Феня вернулась в избу первой, ушла за голландку и сразу легла в постель. Скоро пришла и Аграфена Ивановна, сняла с печки сонного, зажавшего в кулачке орден Филиппа и унесла к Фене, сунула ребенка к ней под одеяло. Та мысленно посмеялась над наивной хитростью матери, но ничего не сказала, поцеловала сына в мягкое и теплое его пузцо. Семен и Гриша вернулись около двенадцати, разделись в задней избе, а в горницу вошли на цыпочках, пошептались о чем-то, улеглись на своих местах, затихли. Часом позже в переднюю вошла и Аграфена Ивановна. Будучи уверенная в том, что сын ее заснул, присела на краешек его койки и ушла только с рассветом. Аграфена Ивановна не знала, что в той же комнате всю ночь не сомкнул глаз еще один человек, и то была старшая ее дочь Феня; пока мать сидела возле своего ненаглядного, дочь терзалась иной мыслью. Когда утром Гриша остался один в доме — лейтенант освободил его на несколько дней от занятий, — Феня вдруг сказала:

— Может, ему другую квартиру подыскать?

— Ты это о чем? — еще не до конца поняв сестру, но уже возмущаясь, переспросил Гриша.

— О лейтенанте твоем.

— И тебе не стыдно? Может, на улицу его выгоните? Мама, это не ты ли придумала?

— Что ты, господь с тобой! Что, я не человек? Ты, сынок, не слушай ее. Мало ли чего взбредет в ее голову! Еще могешь человека два пригласить. Изба у нас просторная. Всем место найдется.

— Нет уж, хватит нам и одного! — теперь уж встревожилась Феня и вся так и зарделась от поднявшегося в ней быстро и яростно слепого эгоизма.

Гриша и Аграфена Ивановна промолчали.

Каждый день после завтрака солдат уводили в заснеженную степь на занятия. Павлик увязывался за лейтенантом Мищенко, по дороге забегал за Мишкой Тверсковым, но еще прежде них к сталинградским бойцам присоединялась ватага завидовских ребятишек. Одетые в тряпье, в старых отцовских валенках, из которых вылезала солома, мальчишки стоически выносили лютую февральскую стужу и возвращались лишь под вечер вместе с солдатами. Павлик, преисполненный великой важности, однажды взахлеб рассказывал матери о том, как один боец разрешил ему бабахнуть из взаправдашней винтовки по фанерному фашисту и как он, Павлик, не промахнулся, а влепил пулю прямо в лоб фрицу, о том еще рассказал Павлик матери, как Мишка Тверсков тоже пальнул, но не попал в мишень, а послал пулю "за молоком", — так сказал ему "наш лейтенант" (последние два слова Павлик произнес с особой значительностью и с явным удовольствием). Рассказывая, Павлик отвлекал себя от страшной боли, которую испытывал и должен был бы сопровождать обязательным ревом, потому что мать отчаянно терла в ледяной воде отмороженные его руки. Не забыл Павлик сообщить и о том, что солдаты по окончании занятий всякий раз присоединялись к женщинам и помогали им навьючивать возы соломы и потом разгружать ее возле ферм. Он мог бы рассказать и о том, что военные не сразу покидали общий двор, а еще долго возились там, кувыркались вместе с девчатами и молодыми солдатками в соломе, но Павлику это было неинтересно, и, если честно признаться, он не одобрял этих действий: сталинградские герои, как ему казалось, могли бы найти дело и посерьезнее. Но как бы там ни было, а Павлик был ужасно доволен каждым прошедшим днем. Этому в немалой степени способствовало и то, что в душе мальчишки, в самом заветном и сокровенном уголке ее, вновь возродилась и стала быстро крепнуть мысль о новом

побеге на фронт. Теперь, думал он, все зависит только от него: надо не терять времени попусту и поскорее заводить дружбу с солдатами, с их-то помощью Павлик обязательно достигнет цели. Мишку, пожалуй, в такое дело ввязывать не следует: слаб оказался духом его дружок.

Занятый своими важными и большими думами, Павлик и не заметил, как боль в его руках сменилась сладким ощущением тепла, и он покорно и живо исполнил приказание матери, залез на печь и через минуту уже спал крепким и спокойным сном, сном человека, славно и честно прожившего очередной день своей жизни.

20

Прошли февраль, март, на исходе был уже апрель, начиналась посевная, а полк еще стоял в Завидове. Как только сошел снег, в избе нельзя было удержать не только Павлика, Катю, но и маленького Филиппа. Нередко минометчики брали его с собой и увозили далеко от села, туда, где у них был полигон, — к Орлову оврагу. Солдаты, которым было за тридцать и более, соскучившиеся по своим детям, переносили отцовскую нежность на этого сироту, в перерывах между занятиями играли с ним, изображали из себя лошадок и возили мальчишку верхом на своих спинах, в обед отдавали ему кто кусок мяса, кто сахару, кто галеты, кто что и вконец избаловали Филиппа, к великому неудовольствию матери и бабушки.

Видя, как ее сын восседает на шее лейтенанта и даже громко понукает его, стукая ручонками по черной маковке, Феня говорила, изо всех сил стараясь быть строгой:

— Семен, зачем вы это? Совсем испортите мне сына. Вот уедете скоро, что я с ним буду делать? — Она с трудом отдирала ребенка от лейтенанта и относила, брыкающегося и ревущего, в другую комнату под присмотр Кати. Войдя, опять же строго наказывала: — Больше не берите его с собой на занятия. А то сердиться буду. — Говорила так, а сама чувствовала, что говорит неправду: видя, как ее сын все больше и больше привязывается к лейтенанту, она и сама была счастлива безмерно, и тревожило и пугало ее только то, что все скоро закончится, закончится для нее, для сына, для ее матери, поскольку предстоит разлука и с Гришей.

В первых числах мая произошло событие, на время отвлекшее Феню от собственных ее забот.

Маша Соловьева допахивала у Правикова пруда клин, оставшийся от зяби. Бригадир Тишка время от времени выходил на крыльцо будки, точно командир, с наблюдательного пункта осматривал поля, по которым медленно и редко туда-сюда ползали старые тракторы. "Ну, у Фени и Стешки все, кажись, в порядке. У Насти — тоже, — бормотал он себе под нос, — и Машуха ноне должна прикончить свой клин". В очередной свой выход он приметил, что машина Соловьевои стоит на одном месте и трактористки ни на сиденье, ни рядом с трактором что-то не видать. "Опять поломка. Подшипники, знать, поплавила, негодная баба. Никогда вовремя недоглядит. Где мне теперя и взять?" — горестно подумал он и нехотя побрел к Машиному трактору. Однако Соловьевой рядом с машиной не оказалось, мотор работал на малых оборотах. "Похоже, спит вон в той соломенной куче", — решил Тишка и быстро направился туда. Но в каких-нибудь десяти шагах от прошлогодней копны был остановлен испуганным криком:

— Не подходи! Прочь отсюда!

Ничего не поняв толком, Тишка сделал еще несколько шагов и тут увидел, как Маша, схватив какой-то сверток, кинулась за копну. И теперь только послышался ребеночий писк, заставивший Тишку сообразить наконец, что тут могло быть.

— Что ж ты никому не сказала, глупая? Не позвала никого?

— Одна грешила, одна и... ах, какое твое дело? Ступай отсюда, Тиша. Одна управлюсь. А хочешь — Фене скажи, боле никому. Одной Фене, слышь!

В полдень Феня привезла подругу с новорожденным в Завидово, а наутро Машуха была уже опять в поле, на своем тракторе.

— Ты с ума сошла! — удивилась и одновременно страшно разозлилась Феня. — Сейчас же домой!

— Как бы не так. А кто пахать за меня будет? О ребенке моем не кручинься. Бабка Фекла доглядит пока, а в обед схожу покормлю его. Только и делов. Иди, иди к своему трактору, Фенюха, и не делай такого лица. Ничего со мной не случится. А коль случится — не велика беда. Иди, иди. — Уже вдогонку крикнула: — Вечор приходи со своим лейтенантом! На крестины. Слышишь, Фенюха? Обязательно приходите!

В конце мая на селе был большой праздник. В Зави-

дово приехало чуть ли не все районное начальство во главе со Знобиным, еще несколько дней назад из уральского города был доставлен новенький танк Т-34, и теперь грозная машина стояла против сельсовета на зеленой лужайке, и на приплюснутой, отсвечивающей сизиной башне красовалась видная издалека надпись: "Красный завидовец"; такие же надписи, сделанные уже самими завидовцами, были и по бокам, на бронированных щитах, и на груди танка, и даже на длинном, чуть приподнятом стволе орудия.

В назначенный день все собрались на площади против сельского Совета. На танковой башне, как на трибуне, стоял сухонький Федор Федорович и произносил речь. Экипаж машины выстроился против танка в ожидании конца митинга.

— Пожелаем же "Красному завидовцу" дойти до Берлина и раздавить там последнего гитлеровца! Ура, товарищи!

Площадь огласилась громкими ответными криками "ура". Федор Федорович быстро соскочил с танка. Военные оживились и, не успели люди заметить, как это все произошло, оказались уже внутри машины. Взревел двигатель, позади вырвались густые и черные клубы дыма, и танк, качнувшись, взял с места и стремительно двинулся вдоль улицы. Толпа мальчишек устремилась за ним.

Завидовцы с праздничными, ликующими лицами стояли на площади и долго еще глядели вслед удаляющемуся танку. Их танку!

— В добрый час, — тихо сказал дядя Коля.

— В добрый час, в добрый час, — послышалось в толпе.

А на другой день покидал Завидово и стрелковый полк. В нардоме проходил вечер прощания селян с защитниками Сталинграда. Он закончился к полуночи, как раз к солдатскому отбою.

Феня возвращалась домой одна, но на полпути ее догнал лейтенант. Сначала шел молча, долго подлаживаясь под ее короткий и частый шаг, потом взял под руку. Феня поглядела на него, но ничего не сказала и не попыталась высвободиться. Она уходила из нардома одна, и до этого они ни о чем не договаривались, но Феня знала, что лейтенант догонит ее, будет сначала идти тихо, потом робко, неловко возьмет под руку... Все так и произошло. И не он, а она первой свернула на тропу, которая вела отнюдь не в угрюмовский дом. Они долго ходили взад и вперед по лесной дороге, осыпаемые

отовсюду горячей и сочной соловьиной трелью. Лейтенант все хотел заговорить, но Феня просила:

— Не надо. Зачем? Так ведь лучше.

Она взяла его за руку и, как мальчика, повела за собой в глубь леса и, должно быть, была прекрасна в минуту отчаянного и безумного своего решения.

Под утро, покоясь головою на ее руке и дыша ее теплом, он говорил торопливо, боясь, что его не дослушают, а еще больше того — что ему не поверят!

— Мы сейчас же... вот теперь же пойдем в сельсовет и запишемся. Сейчас же!

"О чем это он? — мелькнуло в усталой и счастливой ее голове. Поняв, вздохнула: — Вот чудачок!" Вслух сказала:

— Ребеночек ты мой сладкий, чего ты надумал?

— Ну, а как же?

— А никак. Ты хоть живой вернись. Там уж... — Не договорила, взяла его голову, подтянула ближе, положила себе на грудь. — Радость ты моя нечаянная! Скажи, хорошо хоть тебе со мной?.. И откель каким ветром занесло тебя к нам на головушку мою горькую?

1966–1969

КНИГА ВТОРАЯ

Не разлюбит девицу миленький дружок!
Не срубят ивушку под самый корешок,
Красавица девица, не плачь, не тужи!
Ивушка, ивушка, на воле расти.

Из русской народной песни

...Лишь окончится война,
Тогда-то главное начнется.

С. Наровчатов

Оставив людям великое множество недоделанных дел, недосказанных сказок и недопетых песен, война в придачу ко всему понавязала такое же множество тугих узлов и петель в самих человеческих судьбах. И никто даже не пытался развязать и распутать их в пору войны: все ждали ее окончания. Вот тогда-то, думалось людям, все устроится само собою, узлы и петли распутаются, недосказанные сказки доскажутся, недопетые песни допоются, а человеческие страсти угомонятся, войдут в привычные свои берега, как входят в них разбуянившиеся на время половодья реки.

И как-то никому не приходило в голову, что не все узлы обязательно развяжутся, что иные из них затянутся еще туже, рядом со старыми образуются новые, и в расставленных войною петлях и сетях долго еще будут барахтаться и задыхаться многие людские души, что в тяжкой и горькой работе по разматыванию тех клубков придется участвовать не одному поколению: хватит этой работы и детям и внукам, останется, может быть, еще и для правнуков.

У войны был далекий прицел.

Ни о чем таком, разумеется, не думал и гвардии капитан Сергей Ветлугин, или Серега, как звали его в Завидове, да, пожалуй, и не мог думать о чем-либо подобном, когда сентябрьским вечером 1947 года выходил с двумя чемоданами в руках на берег Волги. Тут он остановился, опустил свою ношу на землю, вытер вспотевшее лицо платком и глубоко вздохнул. Вздох получился трудным, прерывистым, и, наверное, не столько от усталости, сколько от нерадостной картины, открывшейся его глазам.

Внизу, у самой воды, против своих лодок, группами и в одиночку расположились их владельцы, промышлявшие на частной переправе, поскольку моста через реку тут не было, а единственное судно перевозочное с звучным именем "Персидский", прошлепавшее по Волге своими плицами без малого сто лет, третий месяц находилось в ремонте. По нестройным голосам лодочников и больше всего по взмаху рук, не подчинявшихся решительно никакому разумному началу, не только Сергей, но любой бы на его месте тотчас же определил, что волжские эти "гондольеры" свой рабочий день окончили и уже успели вознаградить себя за труды праведные. Впрочем, успели не все. Некоторые пока еще собирались это сделать: на брезентовые плащи, брошенные прямо на песок, ставили бутылки, консервные банки, вытряхивали из узлов и карманов соленые огурцы, вареные яйца, зеленый лук. На лицах этих последних даже отсюда, сверху, Сергей мог различить некое сияние, вызванное, похоже, предвкушением давно ожидаемого приятного "шабаша".

Ясно, что ни первые, ни тем более вторые ни за что на свете не согласятся сейчас сделать еще один рейс через реку, расплеснувшуюся тут вширь на добрых три километра и начавшую вздымать крутую волну от упругого и упрямого низовского ветра, прозванного астраханцами моряной.

Это было ясно для Сергея. Но еще яснее для него было другое: ежели нету такой силы, которая смогла бы поднять перевозчиков на одну "ходку", то нету и такой, которая бы заставила гвардии капитана Ветлугина отказаться от мысли перебраться на тот берег сегодня же, нынешним вечером, но никак не позже.

За его спиной гигантским полукружьем раскинулся полумиллионный город. Сергей мог бы постучаться в одну, другую, третью дверь и где-то отыскать приют до утра, что, кажется, было бы самым логичным его

поступком. Но он не постучится, потому что знает: ни за одной из этих дверей его не ждут, а ждут кого-то другого, скорее всего тоже фронтовика. Среди тысяч огней, которые вот-вот загорятся в давно снявшем светомаскировку городе, не будет одного, пускай крошечного, пускай робкого, зажженного не для кого-нибудь, а именно для него, Сергея Ветлугина. Без этого город — пустыня, ибо у человека бывают минуты, когда в огромном людском скоплении он, человек, может быть бесконечно одиноким.

Сергей рвался за Волгу. Там, в лесном поселке с неожиданным для здешних саратовских краев названием Тяньзин, жили его старший брат и сестра, которых он не видел с полынного тридцать третьего года. Он ждал свидания с ними целых четырнадцать лет, а теперь не может подождать одной-единственной ночи. Сергей не давал им телеграммы, но знал, что там, в этом странном и неведомом ему Тяньзине, его давно ждут, что среди редких скуповатых огоньков, какие скоро замерцают за рекой, зажелтеет в одном окошке и его, Серегин, огонек. Потому-то он и продолжал — теперь уж более внимательно — всматриваться в лодочников, прикидывая, на ком бы из них остановить свой выбор.

В конце концов решил попытать счастья на одном. Приземистый, багроволицый, однорукий и, как все, небритый, он отличался, однако, от своих товарищей тем, что казался чуток трезвее их. Последнее обстоятельство было для Сергея самым важным. Не теряя более ни минуты, он подхватил чемоданы и сбежал вниз.

— Здорово, фронтовички! — приветствовал перевозчиков как можно дружелюбнее.

Нельзя сказать, что "гондольеры" ответили ему тем же. Поначалу они вообще никак не ответили — невозмутимо продолжали свое веселое занятие. Это удивило Сергея, и он на всякий случай повторил приветствие.

Несколько сейчас же нахмурившихся лиц повернулись к нему. У некоторых на полпути ко рту остановились в нетвердой руке стаканы. Остановились, однако, совсем ненадолго — ровно настолько, чтобы лодочники успели бросить оценивающий взгляд на того, кто так некстати прервал малую эту пирушку. Затем стаканы проследовали дальше по назначению.

Крякнув и обнюхав не спеша кто ржаную корочку, кто ломтик огурца, перевозчики ответили вразнобой и как бы нехотя:

— Здравия желаем, капитан.

По тому, что при виде офицера они не приостановили выпивки, и в особенности по тому, как они поздоровались с ним, Сергей мог убедиться, что вчерашние эти солдаты достаточно попривыкли к новому своему положению, и не только попривыкли, но очень гордились таким положением, ревностно оберегали его и не прочь побравировать им.

И все-таки однорукий, освобождая место рядом с собой, предложил:

— Присаживайся, командир. Пропусти с нами лампадку.

— Не могу, ребята. Тороплюсь.

— Куда так? Не на Берлин, чай?

— За Волгу.

— А-а... Ну, начальник, торопись не торопись, а до утра тебе придется загорать на этом берегу. На-ка вот держи! — Однорукий протянул капитану стакан.

Сперва Сергей хотел отказаться от предложенной чарки, но вовремя сообразил, что делать этого не следует, что этим жестом он не только не перекинул бы моста между собою и незнакомыми людьми, от которых теперь определенно зависим, но и утратил бы последнюю, пусть слабую, самую ничтожную, но все-таки надежду столковаться с перевозчиком. В таком случае его поведение было бы расценено одноруким и его сподвижниками не иначе как неуважение со стороны офицера к их, вчерашних воинов, нынешнему положению, обретенному столь дорогой ценой. И как ни странным и ни неожиданным было для него все это, Сергей принял стакан, кивнул всем слегка, сопроводив этот приветственный знак восклицанием "побудемте!", и под молчаливыми, чуть подобревшими и потеплевшими взглядами лодочников выпил водку. Кто-то — Сергей не успел заметить, кто именно, — всунул в его свободную левую руку большой ядреный огурец. Сергей, как и все, с удовольствием крякнул и звонко закусил огурцом — белые брызги сорвались с его зубов и окропили сидевших поблизости.

— Ну а теперь садись. В ногах правды нету, — вновь пригласил однорукий.

— Не могу, товарищи. Честное слово! Ждут меня там! — горячо проговорил Сергей и посмотрел на одноруkого почти с мольбою. — Перевези, друг. Я заплачу.

— Знамо, заплатишь. Задарма нынче никто не работает. Война кончилась.

— Хорошо заплачу, — тихо, но торопливо произнес

Сергей и съежился, почти физически ощущая удар, который мог нанести ему за такие слова перевозчик.

Но однорукий не осерчал, только заметил — с еще большим, как показалось Сергею, безразличием:

— Деньжонок, должно, поднакопил, капитан? Оно конечно, офицерский оклад поболе нашего, солдатского, будет...

— Но и ты, поди, теперь не бедняк, — не вытерпел Сергей, — свое судно заимел. Как-никак владелец...

— Н-да, — простодушно ухмыльнулся однорукий. — Владелец... У меня, как у того веселого мужичка... Слышал, может, капитан, присказку? — И, не дожидаясь ответа, пропел простуженным и пропитым голосом:

Слава богу, понемногу
Стал я поправляться:
Продал дом, купил ворота —
Стал я наживаться.

Лодочники захохотали, а потом дружно, уже хором, без всякого, правда, ладу проорали:

Галифе мои худые
Распоролись до колен,
Хотел осенью жениться —
Поросенок околел...

Остановив жестом товарищей, которые собирались было завести какой-то новый куплет, однорукий подытожил:

— Видишь, капитан, какие мы владельцы...

— Вижу. Да вы не сердитесь на меня.

— А мы и не серчаем. Сколько бы ты дал, к примеру сказать, ежели я тебя все-таки перекину на тот берег? — Теперь на багровом челе однорукого отпечаталось подобие любопытства, но не больше того. — Ну?

Остальные ожидающе притихли, отставили стаканы, закуску — все смотрели на офицера.

— Ваша лодка, вам и назначать цену, — рассудительно ответил Сергей.

— Ну а все ж таки? — настаивал на своем перевозчик.

— Не могу я... сам.

— Хитришь, капитан. Ну да ладно. Двести рубликов не пожалеешь для инвалида Великой Отечественной?

— Что за вопрос? Конечно!

— Ишь ты как... скоро. Ну, что ж, пошли. Вижу, капитан, тебе и вправду невтерпеж. Кто там у тебя? — Он указал за Волгу. — Мать, жена? Может, краля?

— Брат и сестра.

— Могли бы и до утра подождать.

— Они, пожалуй, и смогли бы. Да я...

Однорукий не дослушал — под недовольными взглядами товарищей быстро направился к лодке.

Сергей с радостно заколотившимся сердцем последовал за ним, боясь лишь того, как бы перевозчик не передумал.

Но тот уже склонился над мотором, наматывая на заводной маховик обшмыганный до блеска брезентовый ремешок. Не разгибаясь, скомандовал:

— Клади, капитан, свои чемоданы и оттолкни лодку.

Было видно, что недавнему солдату доставляло особое удовольствие обращаться к офицеру на "ты" и хоть теперь, хоть вот таким образом немного покомандовать самому.

— Возьми шест, капитан. Давай, да поживее, не то стемнеет.

Когда все было исполнено Сергеем и лодка оказалась на плаву метрах в десяти от берега, ее хозяин принялся дергать единственной своей рукой за ремень. Причем для каждого рывка приходилось наматывать его сызнова. Старенький мотор кашлял, фырчал, всхлипывал, выстреливал изредка, но не заводился.

Сергей предложил свою помощь: теперь владелец лодки только наматывал ремень, а капитан дергал за него. Пот лил с обоих ручьями. И была минута, когда они готовы были отказаться от своего предприятия, но именно в эту минуту, как это и бывает нередко, после сотой, кажется, попытки завести мотор последний ожил наконец, и бойкое его тарахтенье покатилось над Волгой.

— Ура! — закричал Сергей и едва не свалился в воду, потому что перевозчик вынужден был сделать крутой разворот: пока возились с мотором, не заметили, как суденышко, подгоняемое волной и почти незаметным тут течением, обратилось носом к берегу и, не сделай однорукий своего маневра, могло бы на полном ходу выскочить на сушу.

Но все окончилось пока благополучно. Сергей устоял, а лодка, вырвавшись на простор, взяла курс на тот берег.

Пассажир повеселел и полагал, что, по обстоятельствам, должен был бы повеселеть и перевозчик. Однако

тот был по-прежнему сумрачен и управлял лодкой молча. Более того, было заметно, как его хмельные глаза быстро трезвели, обретая тяжкий цвет катившейся встречь волны. Должно быть, однорукого уже тревожили белые барашки, появившиеся на волне. Там, позади, ближе к берегу, они были чуть приметны, а к середине реки уже сливались в грозные буруны, точь-в-точь как на гребне морской волны. Лодка то взлетала вверх, то падала вниз, в водяную яму, винт подвесного мотора то с сердитым урчанием вгрызался в тугой водяной вал, то, подброшенный на самую хребтину, с жалобным визгом и стоном крутился вхолостую.

Однорукий сидел на корме и походил сейчас на нахохлившегося грифа. Но, видать, он был опытный лодочник — стремил свой челнок не вдоль, а поперек волны. Хмурился же, очевидно, потому, что низовский, астраханский, ветер, теперь еще более усилившийся, гнал волну не поперек реки, а прямо вверх, так что кормчему все время приходилось забирать вправо и невольно отклоняться от цели все больше и больше. Перевозчик, правда, временами пытался направить лодку куда нужно, но боковая волна принималась так качать ее из стороны в сторону, что в любой миг могла бы опрокинуть вовсе. Прислушиваясь к неровному, надрывному, на пределе, рокоту мотора, однорукий все больше мрачнел. Чувствовалось, что он пуще всего опасался сейчас того, как бы мотор не заглох среди вздымающихся волн.

Но мотор оказался молодцом — не подвел. А замолчал он позднее и, как выяснилось, не по своей воле, когда до левого берега оставалось каких-нибудь двести метров и когда сидевшим в лодке людям уже ничто не угрожало: осокори, выстроившиеся по ту сторону и за изгибом Волги высокой и плотной стеною, преградили путь ветрам, и волнение на реке здесь было чуть заметным.

— Зачем вы заглушили мотор? — вскрикнул Сергей.

— Дальше не повезу.

Сергею показалось, что он ослышался, — таким диким и неправдоподобным было это заявление.

— Что, что вы сказали?.. Вы, кажется, что-то сказали?

— А вот то, что ты, капитан, слышал. Не повезу дальше.

— Вот те раз! Это почему же? — Сергей улыбнулся: ему все еще думалось, что однорукий шутит.

— Мало даешь.

— Что, что?

— Мало, говорю, положил.

Притихшая лодка легонько покачивалась на присмиревшей волне. Казалось, ей было неловко за своего хозяина, лица которого уже не разглядеть хорошенько в густеющих сумерках.

— Ты же, а не я определял плату. Так чего же?..

— Э, капитан! — В темном овале лица сверкнула белая кость зубов. — Знаешь, поди: когда девку умасливаешь-берешь — города отдаешь, а взямши — и деревеньки жалко. Вот оно какое дело! — И он громко, хрипло, клекотно как-то захохотал, радуясь своей присказке, изреченной им, конечно, более обнаженно и грубо.

Тягостное молчание с минуту давило лодку. Наконец, задыхаясь от ярости, Сергей спросил срывающимся голосом:

— Сколько же вы хотите?.. Только сказывайте сразу!

— Четыре сотенных, капитан. И денежки на лапу.

Сергей достал кошелек, быстро отсчитал и передал требуемую сумму однорукому. После этого почти крикнул:

— Заводи!

Перевозчик заторопился. На этот раз и мотор почему-то завелся необыкновенно быстро.

Вскоре лодка мягко зашуршала днищем по песчаной отмели левого берега.

Сергей выпрыгнул в сапогах прямо в воду, затем вышел на сушу.

— Может, оттолкнешь, капитан? — бесстрастным и оттого еще более ненавистным Сергею голосом спросил однорукий.

— Нет уж, выбирайтесь как-нибудь сами.

— Что так?

— Вы еще спрашиваете? Где это вам руку-то оторвало?— вместо ответа холодно спросил Сергей.

— Под Ельней, капитан. В сорок третьем. Осколком мины.

— Жаль.

— Чего это тебе жаль?

— Жаль, что только одну руку. Надо бы еще и голову.

— Это почему же? — казалось, не столько с обидой, сколько с удивлением осведомился перевозчик, в голосе его едва-едва пробивалась насмешинка, како-

вую Сергей в своем положении не улавливал. — Чем не показалась тебе моя голова?

— Дрянная она у тебя, — сказав это, Сергей повернулся и зашагал в сторону покрапленного огоньками поселка. В сумерках слева смутно бугрились нефтеналивные хранилища, похожие на огромные доты.

Сергей не слышал, чтобы однорукий его обидчик пробовал завести мотор, — там, у берега, было тихо.

"Черт с тобой, сиди. Ни за что не вернусь и не помогу тебе!" — с незнакомым ему прежде злым одушевлением подумал Сергей, прибавляя шагу и чувствуя, что в груди у него тупо и грубо погашено, умерщвлено сейчас то, что так светло и радостно жило в нем с той минуты, когда он выправил первый свой послевоенный отпуск и когда, провожаемый фронтовиками, поднялся в вагон, чтобы отправиться из чужой и далекой Австрии домой на побывку. Это светлое и радостное нарастало в нем по мере приближения к родным краям и уж совсем заполнило душу, когда он вышел на высокий берег и перед ним во всю ширь распахнулась Волга с ее непостижимо волнующими и нигде больше не встречающимися запахами, с ее глубоким дыханием, с ее шумами, гудками, умеющими так быстро и властно полонить человеческое сердце.

Насупленный вид и молчаливая угрюмость нефтебаков усилили в Сергее состояние душевной потерянности, и, верно, потому он сильно обрадовался, когда услышал за своей спиной быстро приближающиеся шаги — как раз то, что нужно было ему сейчас более всего на свете.

Человек надобен был Сергею и для того, чтобы побороть, одолеть в себе возникшее вдруг холодновато-щемящее чувство одинокости и неприкаянности в огромном этом мире, и для того, чтобы справиться об улице, на которой находился домик брата и сестры, паче же всего — для того, чтобы убедиться, увериться, что не все тут люди такие, как помеченный войною перевозчик.

Да, да, вот это было самым главным: Сергею надо было как можно скорее встретить хорошего, доброго, улыбчивого человека, который воскресил бы в его душе прежнее ощущение света и радости. И он сейчас же оглянулся с приготовленной в ответ доброй же улыбкой и не успел убрать ее со своего лица, когда увидел перед собой знакомое и ненавистное лицо "гондольера".

Всматриваясь в офицера своими тяжелыми глазами,

тот медленно и негромко вымолвил, протягивая пачку бумажек:

— Возьмите, товарищ капитан. Я с фронтовиков деньги не беру. Так что зря вы... — Видя, что офицер не собирается взять у него деньги, сам всунул их в карман плаща. — Берите, берите и не швыряйтесь ими так. Брат-то, поди, с сестрой с голоду пухнут, а вы...

Замолчал. Тяжелые глаза, придвинувшиеся к Сергею почти вплотную, вроде бы чуток оттаяли. Сказал оправдываясь:

— Не гневайтесь, капитан. Бывает с нами, мужичьем. Шутить любим, но не всегда умеем. Да и скрыть тоже... Сунем телегу в мешок, а оглобли торчат. Так-то вот.

Не дав Сергею сказать что-либо в ответ, быстро пошагал в сторону реки.

Скоро оттуда послышался гул мотора, сперва звонкий, отчетливый, а затем постепенно стихающий, удаляющийся.

Встретившаяся в узком переулке, меж дощатыми заборами, какая-то крупная женщина, увеличенная в размерах сумерками и старым ватником, проводила Сергея до небольшого, тоже будто бы собранного из одних досок домика, в котором, по ее словам, "мыкали горюшко" его сестра и брат с их семьями.

— Вот тут они и живут, милый. На днях коровенку огоревали, купили старую, пятнадцатым, вишь, телком пошла... Отелится, детишкам какая-никакая капля, а будет, — сообщила она, верно, как главную новость не только для Серегиных родственников, но и для всего этого лесного поселения. Сообщила и, не в силах победить в себе охватившего ее любопытства, не отходила от дома, чтобы продолжить прежний свой путь, — ждала, что же будет дальше. А Сергей тоже не спешил, стоял перед окном в нерешительности да все всматривался увлажнившимися вдруг глазами в перемещающиеся за белой ситцевой занавесью человеческие силуэты. В какой уж раз подымал руку, чтобы постучаться, но сейчас же испуганно опускал ее. И, видно, не скоро бы дал о себе знать, если б не выручила все та же крупная, в своем рваном, точно побитом осколками мин, ватнике женщина. Она забарабанила в окно своей красной, не по-бабьи большой и сильной рукой. Над поселком загремел требовательный, властный ее голосище:

— Татьяна! Настюха! Что же вы гостя не встречаете?! — обернулась к офицеру, пояснила: — Лександры-то, чай, дома нету. Засиживается до полуночи в своей конторе, окаянный бы ее побрал. Ну а бабы, те небось дома — где ж им еще. У обеих на руках по дитю — не больно-то убежишь от них.

Последние сведения доброхотная баба успела сообщить в ту короткую минуту, пока кто-то суматошно открывал сперва избяную, затем сенную двери и, наконец, калитку и не кинулся на капитана со счастливо-испуганным воплем.

— Дождались брательника. С великой радостью вас, соседушки! — И незнакомая женщина тотчас же отошла, заторопилась по дороге, и, не будь офицер занят радостною канителью встречи с родными, он, наверное, услышал бы глухое, изо всех сил сдерживаемое рыдание случайно повстречавшейся ему солдатки в стареньком солдатском же ватнике.

А радость встретившихся после долгой разлуки братьев и сестры была так велика, что любой бы мог подумать: родные постараются как можно долее удержать друг друга возле себя, потому что на свете уже не оставалось людей, которые были бы им еще ближе по крови: в разное время, но их носила под сердцем одна и та же мать. Первые два дня и две ночи ушли на воспоминания, сбивчивые, как уж водится, перескакивающие с одного на другое, уходящие далеко в сторону, вновь возвращающиеся, — и все это покрывалось смехом, накатившимся вдруг весельем. Времена прошлые, с которых незлая память легко сдернула пелену горечи, которой каждому из них было выдано полною мерой, предстали теперь чуть ли не сплошь счастливыми и забавными. Только и слышалось: "А помнишь?", "А помнишь?" — и опять смех до слез, до кашля. Давно ушедшие из жизни при обстоятельствах трагических мать и отец являлись живыми на этот стихийный праздник воспоминаний, и их, отца с матерью, постоянная ссора, некогда отравлявшая существование семьи, теперь почему-то оборачивалась лишь смешною стороной, и причины душевных неурядиц родителей казались сейчас их детям, пережившим военное лихолетье, столь ничтожными, что над ними можно лишь снисходительно посмеяться.

Никто не был обойден памятью — ни люди, ни домашние животные, от которых теперь и костей-то не сохранилось. Вперемежку с людьми не раз были помя-

нуты старая кляча (вволюшку посмеялись над ее чудовищной ленью, каковой кобылка была обязана своим необыкновенным долголетием); корова по имени Рыжонка (кто-то вспомнил, что она была "ведерница", да слаба на соски, роняла по пыльной дороге, к великому огорчению хозяев, немалое количество произведенного ею за день молока, когда стадо возвращалось со степей в село); коза Машка (едва вспомнил ее Сергей, раздался сильный взрыв смеха, поскольку лукавое это существо самим господом богом было создано для того, чтобы злить и смешить род людской); небольшая рыжая собачонка, классическая дворняга с незаслуженно грозным именем Тигран (о грустном конце этого пса почему-то не говорилось — его задрали волки прямо во дворе в одну лютую зимнюю ночь); даже курица по кличке Тараканница (тараканы, в которых не ощущалось недостатка в любой крестьянской избе, были ее любимым лакомством), — все они чудодейственным образом воскресли и явились на этот странный парад.

Потом опять переключились на людей, перебрали решительно всех близких и дальних родственников, не обошли и знакомых. Был, однако, человек, о котором все, не сговариваясь, помалкивали до поры до времени, ибо это решительным образом нарушило бы праздничное, освежающее уставшие души представление, — человеком этим был средний их брат, след которого оборвался где-то на Смоленщине осенью сорок третьего года. Имя его еще не было произнесено вслух, но Алексей уже ступил через порог забывшегося в мимолетной радости домика. Братья, сестра, невестка, даже малые дети, до этого радостно гыкавшие только потому, что взрослым отчего-то было весело, — все вдруг приумолкли, закручинились, непроизвольно глянули на стену, отыскали в большой общей семейной раме его фотографию, а в сердце Сергея больно ворохнулись строчки, каковыми, мучаясь, кусая в беспомощности губы, он пытался четыре года назад, сидя где-то за Днепром в своем блиндаже, выразить боль, вызванную известием о гибели Алексея:

В Смоленщине, близ Ельни,
Простой и честный,
В бою был убит солдат.
Для всех — Неизвестный.
А мне он — брат.

И в эту-то минуту Сергею захотелось немедленно, сейчас же, сию же секунду покинуть чужой и решительно ненужный ему Тяньзин и поскорее оказаться в Завидове. В первое мгновение он, вероятно, и не отыскал бы причины вдруг вспыхнувшего в нем острого желания. Но если бы кто-то со стороны ему подсказал, что Завидова не хватало ему потому, что там все было так или иначе связано с теми, о ком только что вспоминалось, там в число действующих лиц, помимо людей, неизбежно включилось бы все, что окружает завидовца со дня его рождения по день смерти. От одной только мысли, что по пути в родное селение от районного центра лесная дорога поведет его сначала рядом с Лебяжьим озером, всегда таинственным, полным устрашающих легенд, затем по-над речкой с обидным и вовсе не соответствующим ее красивой сути именем Баланда через Салтыковский лес выведет на луга, по которым теперь там и сям раскиданы тихие, по-осеннему загорюнившиеся овины, потом — мимо старого кладбища, где, должно быть, и крестовто не сохранилось (сожгли, наверное, горемычные солдатки в своих печах в долгие и свирепые военные зимы), а горбятся одни лишь неровные могильные холмики, свежие и те, что давно, точно плесенью, покрылись низкорослым сивым полынком — под какими-то из них отыскали вечный свой предел и его мать, и его отец, и даже те, канувшие в глухую и темную бездну времен, те, до которых никогда не дотягиваются плебейски короткие и непрочные нити нашей памяти, но которые когда-то же являлись на свет, любили и мучились для того, чтобы оставить и в наших жилах беспокойную и неистребимо-живучую каплю своей крови, а с нею — и сладостно-горькую радость короткого, как миг, пребывания на грешной этой земле; за кладбищем сразу же завиднеются соломенные кровли села, дороже которого уж не сыскать во всем белом свете (пройдя почти полсвета, Сергей смог убедиться в этом), — от такой мысли сердце Ветлугина заколотилось так-то уж часто и нетерпеливо, что он и не заметил, как поднялся за столом. И тут же объявил:

— Завтра уезжаю.

— Куда?! — закричали почти в ужасе глаза сестры.

— Домой. В Завидово! — и сказано это было так сильно, а еще сильнее и значительнее сказалось на лице, что старшие брат и сестра поняли: никакие уговоры не помогут.

— Побыл бы еще с недельку. Ну кто тебя там, в Завидове, сейчас ждет? — неуверенно, как бы по инерции, без малейших надежд переменить Серегино решение, заговорил старший брат, но младший быстро и горячо перебил его:

— Там все меня ждет! Как же вы...

И, вдруг сообразив, что словами ничего не объяснишь, он смущенно замолчал. Может быть, в последнюю минуту вспомнил, что понять его этим добрым и дорогим для него людям и невозможно — для этого они должны были бы пройти дороги, им пройденные за минувшие шесть с половиной лет, и испытать на этих дорогах то, что испытал он. Тогда, верно, они догадались бы, отчего ему захотелось поскорее увидеть и Завидовский лес, Дальний, Средний и Ближний въезды в этот лес, и Вонючую поляну в нем, и кареокую речку, заблудившуюся в лесу, и само Завидово с его дядями Колями и тетками Авдотьями.

Сергей и не заметил, что слово "Авдотья" было произнесено им вслух и тотчас получило отзвук:

— Не до тебя, Сережа, ей теперь, тетке Авдотье.

Сергей встревожился:

— Что? А?

— Не до тебя, говорю, тетке Авдотье. У ней своих забот хоть отбавляй.

— Что там у них?

— Толком не знаем. Разное болтают... Приедешь — узнаешь сам про все...

2

Всего, конечно, за недолгий свой отпуск Сергей не мог ни увидеть, ни узнать, — слишком много странного, никак не вязавшегося с ожидаемым, встретило его не только в селе, но еще на ближних подступах к нему, когда он вышел из вагона на станции и по обыкновению всех завидовцев не направился прямо домой, а решил заглянуть к тетеньке Анне — на этот раз для того, чтобы получить первую и — он знал — самую обширную и достоверную информацию об односельчанах. Да и время было позднее: вечерние сумерки быстро сгущались, попутного транспорта теперь уже не будет; до Завидова семнадцать верст, не ближний свет, к тому ж на руках офицера были два чемодана, отнюдь не до конца опорожненные у брата и сестры. Тетенькина же информация сгодится для того, чтобы, придя в село,

не совершить какого-нибудь необдуманного поступка и не обронить какого-либо слова, способного не поврачевать, а, напротив, раскавелить, растеребить чью-то сильно пораненную душу — а их на селе окажется немалое число, таких-то душ.

Как и в довоенные годы, ни калитка, впускающая во двор, ни двери, ведущие в сумеречь сеней и в светлую горенку с земляным, всегда свежепобеленным полом, не были заперты, потому что хижина Тетеньки более, чем прежде, в худую военную и тяжкую послевоенную пору, была для людей домом открытых дверей. Сергей подошел к нему в момент, когда хозяйка, ни капельки, с точки зрения офицера, не изменившаяся за эти шесть с половиной лет, вышла на низенькое, о двух ступеньках, подгнившее крылечко, жалобно зароптавшее под ее ногами. Вслед за Тетенькой из сеней выкатилась рыжая лохматая собачонка, взъерошила загривок, но, тут же вспомнив, что так на их подворье гостей не встречают, уложила вздыбившуюся шерсть на место и приветливо замолола хвостом.

Тетенька Анна, замерев, с минуту рассматривала пришельца молча. В первый-то миг она коротким судорожным рывком подалась вперед, да вдруг остановилась, именно замерла, потому как не могла поверить в то, что ей поначалу припомнилось, в то, что перед ней стоял ее младшенький, которого она проводила на войну последним и о котором уже на исходе сорок четвертого пришла похоронка, третья по счету, — о двух старших своих сыновьях Тетенька получила черные те бумаги еще в первые годы войны. Но уже в следующее мгновенье она увидела, что ошиблась, и лицо ее, вспыхнувшее было непередаваемой радостью, сейчас же потускнело, покрылось тенью невидимого облака. И Сергей, не понявший истинной причины быстрой этой перемены, остановился в двух шагах от тетеньки Анны в крайнем смущении. Но старуха спохватилась, встряхнулась как-то внутренне, осветилась вся и шагнула к нему. Сперва обняла, затем взяла горячими сухими ладонями его голову и долго вматривалась такими же сухими глазами в его лицо, как бы еще надеясь: а вдруг не угадала, а вдруг это все-таки ее "младшенький", ясный ее соколенок? И опять омрачилась, но уже не столь явственно, как в первую минуту.

— Никак ты, Сережа? — вымолвила наконец и не выдержала — плечи, острые, старческие плечи затряслись под его руками. — Откель же ты, сынок? Жив,

родимый. Как же ты... — и попятилась, заторопилась присесть на ступеньку крыльца. — Ноги чтой-то подломились, стара, знать, стала... — и виновато улыбнулась, подвигаясь к краешку и выпрастывая место для него рядом с собой. — Давно ли объявился?

— Прямо с поезда к тебе, тетенька Анна.

— В Завидове нашем, стало быть, не был еще?

— Не успел.

— Ну, ну. Поезжай, поезжай, сынок, да смотри не утопни там...

— О чем ты, тетенька Анна?

— Не утопни, говорю, в бабьих-то слезах. Полою водой хлынут на тебя. Не все выплаканы, осталось на такой вот случай. Хоть и получили на руки ту бумагу, да не хочется верить в нее. Вот и ждут, вот и взглядывают на всякого пришлого, не мой ли, мол, объявился. Видят — нет, не он, ну и в слезы. Вот оно, Сережень-ка, как все получается. Я вот и сама, старая, тебя попервах за своего последыша приняла... — Тетенька Анна умолкла, попыталась встать, да не смогла поначалу. Лишь опершись на его плечо, приподнялась. — Пойдем в избу, Сережа, чайком побалую тебя, а ты про себя мне расскажешь. Тетка твоя Авдотья, чай, рада-радешенька будет. У нее там, слышь, такое сотворяется... — Старуха спохватилась, что сказала лишнее, и попыталась исправить промашку: — Да у нее разве одной? У всех ныне так — то одно, то другое. Проходи, родимый! Сейчас самовар поставлю. Он у меня быстро — уголька на шестке припасла дубового, чай, уж подсох.

Проводив его в красный угол горенки, она вернулась к печке, принялась выгребать на середину шестка древесный уголь.

Сергей же, по извечной привычке всех гостей, коротая время, начал рассматривать на стене семейные фотографии, развешанные по обе стороны образов. Слева от икон, почти рядом с седобородым и благообразным Николой-угодником, в маленькой самодельной раме, на желтой карточке, густо засиженной мухами, похоже, в ту еще пору, когда фотография не была семейной реликвией и когда изображенные на ней молодые супруги были счастливо-беспечны, — можно было, хоть и с трудом, распознать в одном юном создании тетеньку Анну, когда она еще не была тетенькой, а просто Анютой, выданной замуж шестнадцати лет от роду, а в другом — ее суженого Агафона, снятого, видать, в первые дни по возвращении из царской солдат-

чины, поскольку он стоял по левую сторону молодой своей жены в форме унтер-офицера с залихватски закрученными типично унтер-офицерскими усами. Правее образов, уже в большой, но также самодельной раме хранились карточки всей семьи: в центре тетенька Анна и Агафон с испуганно-удивленными почему-то глазами, по правую и левую руку от них сыновья — пока еще разновозрастные отроки. В отдельной раме, сделанной каким-то местным, но уже более искусным мастером совсем недавно, сыновей этих можно уж было увидеть взрослыми, двоих — в форме военных летчиков, а третьего — в куцеватом, дешевеньком костюмчике восьми- или девятиклассника. Те, что были в военном, очевидно, не раз вынимались из-под стекла и показывались людям, поскольку были сильно захватаны.

Заглядевшись на этих последних, Сергей не слышал, как подошла к нему сзади их старая мать. Но уже через минуту он почувствовал ее рядом и оглянулся. Тетенька Анна, сложив руки на груди, глядела туда, откуда гость ее только что отвел глаза, и губы ее, сухие, сморщившиеся, беззвучно шевелились, словно силились, хотели и не могли сказать что-то. Так ничего и не сказала, прерывисто вздохнула и вернулась к самовару, который, не в пример хозяйке, не был так гостеприимен и не торопился разогреться.

— Я выйду покурю во дворе, тетенька Анна! — заторопился он к дверям.

— Кури в горнице. Подыми тут. Мои глаза привычные.

— Нет, зачем же. Я выйду. На одну минуту.

— Ну, ну. Ступай посиди на крылечке. Скоро, чай, и они вернутся.

— У тебя кто-то квартирует?

— Да нет...

— Но ты кого-то ждешь?

— Все мы все время кого-то ждем, сынок, — уклонилась старая от прямого ответа, и Сергей внутренне насторожился.

Подождав немного в надежде что-то еще услышать от тетеньки Анны и не дождавшись, он тихонько вышел на крыльцо.

Пес вновь приблизился к нему, обнюхал всего, уловил хорошо знакомые ему запахи их жилья, еще приветливее, чем прежде, завилял хвостом и тут же устроился на приступке, возле ноги Сергея; судя по всему, он ничего не имел бы против, если бы этот чело-

век стал его вторым хозяином: собака-то он собака, да тоже, видать, скучает без мужской грубоватой ласки, даже без мужского сурового окрика.

— Ну, как живем, друг? — обратился к нему Сергей, раскурив австрийскую сигарету и пряча зажигалку в карман. — Зовут-то тебя как? Полкан? Шарик? Ну, конечно же, Шарик, как же еще?! Ишь как ты заволновался! Откуда, мол, этот чужой дядька знает, как меня величают? Просто угадал. Ведь вас, дворняг, на Руси чуть ли не всех зовут Шариками... А где же ты, дружище, репьев-то столько насобирал, а? Да ты и хвост по-собачьи не подымешь? Разве тебя теперь расчешешь?.. И все-таки давай попробуем заняться ими. А вдруг какие-никакие и повыдираем...

Подхватив покорно подчинившуюся ему собачонку на руки, Сергей вышел на середину дворика, примостился на комельке, на котором тетенька Анна рубила хворост, и принялся сосредоточенно выдирать из хвоста Шарика репьи. Пес, хоть ему и было больно, однако терпел, даже лизал в благодарности руку неожиданного своего благодетеля. Он, разумеется, не ожидал ни от кого таких деяний и готов был хранить колючее и цепкое свое приобретение до весенней линьки, то есть до той поры, когда репьи сами собой, по доброй своей воле и незаметно покидают и собачий хвост, и лохматый загривок, и подбрюшье вместе с клоками туго свалявшейся шерсти.

Не прекращая своего странного занятия, Сергей чувствовал, как теплая и нежнейшая волна сперва коснулась его глаз, а затем стала быстро заполнять и сердце, и он понял, что это вернулось к нему на короткий миг навсегда укатившее невозвратное детство, когда он вот так же, как теперь, готовя своего верного Тиграна к зиме, освобождал его от репьев, в изобилии нацеплявшихся на него за лето.

Увлеченный своим делом, Сергей не видел, как раскрылась калитка, как в нее вошла молодая женщина, как остановилась на полпути к дому в изумлении, а потом быстро приблизилась к нему.

Услышав наконец за своей спиной ее частое, скомканное волнением дыхание, он стремительно приподнялся с колен, смахнул прилипшие к ним сухие ветки, по привычке военного человека одернул на себе китель, пробежал пальцами по пуговицам, все ли застегнуты, и только потом уж глянул прямо в глаза женщине, лицо которой покрывалось то бледностью, то густым румянцем. И не одни эти перемены броси-

лись офицеру в глаза, — он видел радость, тревогу и даже смятение, которые попеременно возникали на таком знакомом, таком когда-то ясном и, как ему всегда думалось, совершенно спокойном Фенином лице. Ну радость — это понятно. Как-никак она видела живым и невредимым человека, который был самым близким другом ее брата Гриши, который служил в минометной роте лейтенанта Семена Мищенко — короткой и "нечаянной" ее любви. Ну а тревога, ну а смятение — откуда они?

Недосуг было доискиваться ответа. Феня обнимала и целовала его, увлекая в избу. Шарик, забытый, не до конца расчесанный и прибранный, недовольно побрел вслед за ними в сени, в свой угол. Подталкивая Сергея впереди себя, Феня усадила его за стол, где их ожидал, попыхивая и посапывая, пузатенький, с множеством медалей, генеральского вида самовар. Рядом, на блюдце, лежали два крохотных кусочка сахара, только что отщипнутые от большого куска́, очевидно уже припрятанного. Было еще несколько сухариков черных. И все.

— Когда же это ты?.. И что же телеграмму-то? — говорила Феня то обычное, что говорят в таких случаях, явно не зная, когда надо и надо ли вообще спросить его о самом важном и самом горьком: из письма, полученного некогда от Сереги теткой Авдотьей, Феня знала, что и ее брат Гриша, и лейтенант Мищенко были убиты на Серегиных глазах осколками одной разорвавшейся неподалеку от них немецкой мины.

— Кому бы это я ее послал, телеграмму? — в свою очередь спросил он, горько усмехнувшись.

— Как это — кому?! — искренне обиделась Феня. — А мне? А тяте? Он еще в сорок пятом вернулся и опять за председателя у нас. Мог бы и своей тетке Авдотье послать — не чужой, поди, ей.

— О чем это вы тут? — старая хозяйка заняла свое место за столом, и вот только тогда стол этот как бы обрел свои привычные формы и стал наконец таким, каким ему и полагалось быть в этой избушке: добродушно-приветливым, располагающим к неспешной беседе, именно тем столом, за которым чай не пьют, а балуются чайком.

И все-таки, хоть Тетенька и разлила чай по стаканам, и расставила их по блюдцам, и положила перед гостями те два кусочка сахара, ни Сергей, ни Феня не притрагивались к угощенью. Они молча глядели друг на друга, не решаясь первым или первой загово-

рить о том главном и страшном. Поняв, что он и не заговорит, если его не попросить об этом, Феня, вновь побледнев и потемнев глазами, тихо вымолвила:

— Как же все это случилось, в самом ведь конце войны? Расскажи, Сережа, ничего не скрывай от меня. Сам знаешь, я сильная...

— Знаю. Только чего ж тут сказывать? В Померании это было. Готовились мы к новому наступлению. Стояли за каким-то селом — название трудное, не припомню. Гриша и капитан наш находились поодаль от меня, рассматривали карту — капитан (Мищенко уже был в таком звании) только что вернулся из штаба, уточнял там задание... Ну а мина немецкая, единственная в тот день, пущенная так, наугад — никто и не слышал ее свиста, — трах!.. И не стало обоих. Гриша часа полтора еще был живой, скончался в медсанбате. Ну а Семена Мищенку, того...

В этом месте его рассказа Феня вдруг встрепенулась, прижала пальцы к своим губам, давая Сергею знак, чтобы немедленно замолчал.

В горницу входил Авдей Белый.

— Вот это встреча! Сергей, ты ли это, в самом деле?!

— Он, он! — сказала Феня елико возможно спокойнее, а краска непонятного еще для Сергея стыда густо покрыла и ее лицо, и шею — даже крупные руки трактористки вмиг обсыпало багровыми пятнами, а меж широко, просторно раскинутых бровей выступили капельки пота — явно не от чая, до которого она так и не прикоснулась.

Сергей вышел из-за стола. Мужчины крепко обнялись. Теперь уже вместе вернулись за стол. Феня мельком взглянула на Авдея, как бы только скользнула по нему своевольным взглядом, но его-то и оказалось достаточно для того, чтобы офицер начал кое-что понимать, кое о чем догадываться.

— Живой, живой! — воскликнул вдруг Сергей в радостном удивлении, словно бы только вот теперь, в эту минуту убедился, что перед ним его старший двоюродный брат, а не кто иной, и что этот брат, который считался без вести пропавшим, сидит сейчас с ним за одним столом и со странною, растерянной улыбкой на лице рассматривает Сергея, будто тоже удивляется тому, что его младший брат вернулся с войны живым и невредимым. — Как же все-таки?.. Где же ты был все эти годы, а? Расскажи, пожалуйста!

— Долгая, Сережа, история и невеселая. Потом как-нибудь. Да и трудно мне. Ты уж извини. В другой раз.

— Ну, хорошо, Не надо. Живой — и отлично. Как же ты теперь? Где?

— В Завидове. Механиком вот у них, у трактористок, — он указал глазами на примолкшую, насторожившуюся Феню и растерянно улыбнулся. — А ты надолго к нам?

— Там видно будет. Недельки две поживу.

— У матери моей, чай, остановишься?

— Ну а где же мне еще?

— Вот и хорошо. На охоту вместе походим. На уток.

— Нет, Авдей, тут я тебе не компания. Наохотился.

— Ну, на рыбалку.

— Это другое дело.

— Да пейте вы чай-то, охотники! — подала наконец свой притворно возмущенный голос Тетенька. — Наговоритесь еще, успеете! Вся ночь впереди, теперь вас не уложишь спать-то.

— На том свете выспимся, тетенька Анна! — улыбнулся Авдей, радуясь тому, что разговор двинулся по более легкому для него руслу.

Обрадовалась тому же самому и Феня, но не настолько, чтобы окончательно погасить в своих потемневших глазах напряженно-тревожные огоньки.

Сергей оглядел стол, увидал вроде бы впервые все Тетенькино богатство на нем и быстро вышел из-за стола. Понял, что приспело время, когда он может наконец раскрыть свой чемодан, где у него лежало несколько банок с мясными консервами, которыми его снабдили на дорогу сослуживцы.

— Что ты там роешься, сынок? Ай мне нечем угостить вас? В печке у меня щи, они еще горячие, картошка в мундире. Сейчас выну. А чай сызнова подогрею... Садись, садись, чего уж там!

Но консервы были уже на столе. Объявилась, но, похоже, уж по Фениному волшебству, и некая посудина, без которой редко обходится русское, даже самое худое, застолье.

— Валушка продала сегодня, — вроде бы оправдывалась Феня, — с выручки не грех, чай, одну-то бутылку. Вишь, как она кстати пришлась.

К водке еще не прикоснулись, а веселое ее действо на человеческие языки уже совершилось. Сидевшие за столом повеселели, сделались вдруг чрезвычайно разговорчивыми, в речах бойки. Ну а пропустивши по малой, — тетенька Анна достала откуда-то действительно очень малые, на один лишь короткий глоток

граненые стаканчики, — совсем уж одушевились, и теперь речи людей, как и в лесном поселке у брата и сестры, то и дело перемежались веселым смехом, единственно способным хоть на время снять с души тяжесть накопившихся страданий.

Потом, двумя или тремя часами позже, — кто же за столом замечает, как бежит время! — Авдей по не примеченному Сергеем знаку Фени вышел, будто по какой-то своей надобности, в сени, а Тетенька еще раньше вспомнила, что ей пора подоить козу, — и тоже была где-то во дворе, в хлевушке, — Феня заговорила:

— Вот что, Сережа... Может, ты и сам уж догадался. Ведь мы с Авдеем... Мы живем с ним. Может, и ты осудишь, может, станешь на сторону тетки Авдотьи и тех, кто нас осуждает... Это уж твое дело...

— Что ты, Феня? Как же я могу осуждать? — горячо сказал он. — Кто же может быть судьей в таких делах, кроме вас самих!

— Судей хватает, — легкая судорога пробежала по левой щеке молодой женщины. — Ну да ладно. Справимся как-нибудь. Бог не выдаст... — она прервала вдруг эту мысль, перекинулась на другую, видать, не меньше тревожившую ее. — И еще к тебе просьба. Ты маме о гибели Гриши не сказывай...

— Как же? Она ведь знает. Командир наш писал...

— Не верит она никаким бумагам. Мама и держится-то на земле только потому, что ждет. Так что ты ничего не видел и не слышал. А то убьешь ее своими подробностями.

— Понимаю.

— Ну и хорошо. А об Авдее, как у него все было, ты узнаешь из этого вот письма. — Она вынула откуда-то из-под кофты старый, обмусоленный руками конверт и подала Сергею. — Прочитай, только верни мне потом... Вот видишь, Сереженька, какая я...

— Какая?

— Грешная со всех сторон. Непутевая.

— Неправда! — горячо возразил Сергей.

— Ты хороший, добрый, Сережка. Будь хоть ты один за нас!

— Буду! — сказал он почти клятвенно.

Феня подошла к двери, толкнула ее, позвала:

— Иди к нам, Авдей! Чего ты там торчишь! Я уж исповедалась. И за себя и за тебя. За обоих сразу.

Он вошел еще более взволнованный, слезы облегчения выступили на его глазах, руки нервно перебирали светлые, увлажнившиеся, прилипавшие ко лбу вихры.

— Так-то вот, братишка, — проговорил глухо, сдавленно.

— Ну что ж, счастья вам, — сказал Сергей.

Феня печально улыбнулась:

— Какое там счастье?

— А что так?

— Надолго к нам?

— Я уже сказал Авдею — недельки на две.

— Ну вот сам все и увидишь. Наглядишься на наше счастье. Ну да ладно. Ты, поди, устал с дороги. Отдохни, а мы у соседей переночуем. Они тоже завидовские. А завтра вместе выйдем на грейдер. Пойдем, Авдей.

Они ушли, и сейчас же вернулась тетенька Анна с малюсеньким ведерком, попахивающим парным козьим молоком, прямо с порога осведомилась, сурово насупившись:

— Ну, что, сынок, узнал теперь все?

— Не все, но кое-что.

— Ну, всего-то многонько накопилось. В один час не узнаешь. На-ко вот, милый, выпей кружечку. Не молоко — сливки от моей Машки. Выпей да ложись. Постель разберу для тебя за занавесью. Сама-то я на печке. Моим старым костям там в самый раз. Зимой и летом грею их на кирпичах. Покойной тебе ноченьки, солдатик родной. Я еще схожу к шабренке[1], закваски попрошу, можа, лепешек на дорогу вам успею испечь...

"Покойной ноченьки" у Сергея не получилось. Часть ее ушла на чтение пространного письма Авдея, а часть — на беспокойные, неугомонные думы по поводу туго стягивающихся обручей вокруг их судьбы.

3

"Ты, наверное, удивишься, получивши это письмо. Я и сам не сразу понял, почему именно тебе — не матери, а тебе! — решил рассказать обо всем, что было со мною на войне. Потому, видно, решил, что для матери я непременно стал бы, жалея ее, немножко лгать, смягчать обстоятельства, в которых оказался и оказываюсь еще и теперь. Тебе же могу поведать всю правду — иначе с тобой нельзя, к тому же после матери ты, Феня, единственный человек, с которым как-то еще связываются у меня надежды на завтрашний день. Нет, нет,

[1] Так в здешних местах называют соседку.

я не имею в виду того, о чем ты могла подумать сейчас: между нами стоит о н — слышал, очень хороший человек, дай-то вам бог счастья! Но мне довольно и того, что ты есть на свете и что я могу хоть редко, но видеть тебя — пускай и издалека.

Итак, послушай.

В 1941 году, в первый день войны, я был призван в армию в Ленинграде, где из таких же, как я, рабочих парней сформировали роту, погрузили ее на машины и доставили на передовую — Карельский перешеек. Времени было так мало, что даже оружия не успели подвезти нам. На всю роту приходился один автомат и два ручных пулемета. Винтовок не оказалось, вместо них выдали пистолеты и к ним по десять штук патронов, которые приказано было строго беречь.

На Карельском перешейке простояли до третьего июля. Поскольку на этом участке противник больших наступательных операций не проводил, а рвался к Ленинграду с Северо-Западного направления, нашу 70-ю, которой командовал генерал-майор Федюнин (может быть, Федюнинский, прославившийся впоследствии?), — нашу, стало быть, дивизию перебросили в район города Луги, где мы прямо с ходу вступили в бой; я не мог, конечно, знать, какие у нас были силы и какое оружие в других подразделениях, но мы наступали. В результате немец был отброшен на 70 километров, за город Сольцы и военный городок Медведь, где мы заняли оборону. Враг, наверное, понял, что сломить сопротивление нашей дивизии нелегко, и бросил против нас большое количество боевой техники — самолетов, танков — и живой силы. Нам не удалось остановить его. Где-то на фланге, где стояла другая дивизия, наспех сформированная из ополченцев, противник прорвал нашу линию. Начались бои в полном окружении. Как мы ни старались выйти из него, ничего из этого не получилось: кольцо сжималось все туже и туже. При такой ситуации люди стали разбиваться на группы, чтобы легче было просочиться к своим.

Я угодил в небольшой отряд, где, кроме нас, рядовых, были два младших лейтенанта. По их расчетам, на рассвете мы должны были выйти из окружения к Чудскому озеру. Ночью, однако, группа наша рассеялась, к утру я уже не увидел рядом с собой младших лейтенантов: видно, с другими красноармейцами они поднялись еще раньше и стали пробиваться из окружения. Так мы бродили одни — я да еще несколько бойцов — вплоть до 28 августа где-то в районе Старой

Руссы и в конце концов нарвались на немецкую засаду. Сперва отбивались как могли. Почти всех моих новых товарищей в первые же минуты поскосили из автоматов, а меня поранили в правую ногу, чуть выше коленной чашечки.

С этого дня, Феня дорогая, и начался для меня плен. Под усиленным конвоем меня привели в какую-то деревню, куда еще раньше было согнано много наших, в том числе, как я вот, раненных, едва державшихся на ногах. Тут нас построили и объявили: кто попытается выйти, будет расстрелян без предупреждения. И это была правда — немцы слов на ветер не бросают, в этом мне пришлось не один раз убедиться.

Потом погнали дальше. Гнали безостановочно — никаких привалов. Сами конвоиры менялись каждые десять километров. Обессиленные пленные падали прямо на дороге, их расстреливали, закалывали штыками. А мы все шли. Я, конечно, не прошел бы и версты со своей пораненной ногой, да другие пленные выручили. Особенно наш земляк — саратовец, старший сержант Чигирев. Он поддерживал меня под руки да подбадривал: "Держись, друг, не то хана!" Ряды наши постепенно редели. Так прошли 80 километров — ни воды, ни еды — до города Порхова, где уже действовал настоящий лагерь для военнопленных. Тут нас сдали по счету — тех, что остались в живых.

Лагерь был огорожен колючей проволокой с пулеметными вышками вокруг и сторожевыми псами. Помещений на его территории никаких не было. Мы стояли по пояс в грязи, ни сесть, ни лечь, и притом голодные. Пленных было тысяч двенадцать. Помню, в первую же для меня тут ночь пошел сильный дождь. Укрыться от него было негде, так и валялись прямо в грязи.

Поутру доставили "продукты" — хлеб пополам с опилками, одна килограммовая буханка на пятнадцать человек, и по ковшу баланды из просяной трухи. После такой еды пленные не могли оправиться, — прости, Феня, за такую подробность!.. Люди умирали прямо у канавы, вырытой для уборной.

Потом стало еще хуже. Наступили заморозки. Пленные стали гаснуть массами. Меня выручали шинель и плащ-палатка, каким-то чудом уцелевшие на мне. Палатку я расстилал на грязи, в шинели ложился. Час-другой вздремну — сил прибавится. Покойников грузили, как дрова, и пленные же вывозили их на себе к приготовленной загодя яме.

Ясно, что, кроме смерти, тут ждать дальше было нечего. И вот, Феня, у меня созрело решение — бежать. Во что бы то ни стало бежать! Рана моя помаленьку поджила — оказалась поверхностной, повредило только мякоть, кость не задело. Бежать! — другой мысли теперь у меня не было. Бежать, но как? К огораживающей лагерь проволоке не подпускали ближе чем на десять метров, а дальше — запретная зона. Но надо что-то придумать: оставаться долее в лагере нельзя.

Выбрали с Чигиревым самую темную ночь и подкрались к колючей проволоке, в том месте, где, по моим наблюдениям, охранялось не так строго. С помощью плащ-палатки перебрались через проволоку и, поскольку в темноте я ни черта не видел, сейчас же оказался во рву, специально, видать, выкопанном на такой-то вот случай. Как ни старался выкарабкаться из него — не смог. В конце концов меня обнаружили — осветили прожектором — и сразу выслали охрану с собаками. Понятное дело, схватили и грозились уничтожить, что было бы для меня, пожалуй, лучше. Но охрана почему-то не сделала этого — швырнула обратно за проволоку. Старшего сержанта Чигирева я больше не видел: убежал ли он или был пристрелен сразу за оградой — не знаю. Знаю только, что спас мне жизнь он. А через несколько дней слышу у ворот голос переводчика:

— Пленные украинцы и белорусы, выходите сюда и снимайте с себя грязную одежду. Складывайте ее вот тут. Взамен вам выдадут чистое и отправят по домам, так как ваша местность уже освобождена от Советов. Германское командование проявляет к вам свою милость — отпускает...

Я, конечно, не поверил в такую "милость", но все-таки решил: что будет, то и будет — надо же как-то выбираться из лагеря! Словом, тоже направился к воротам. К моему удивлению, конвой пропустил меня в одежде к столу, где производилась регистрация. На вопрос — откуда, назвал Могилевщину, полагая, что мои льняные волосы (не зря же в детстве я носил прозвище Ленок, да и ныне там у вас, в Завидове, все меня называют не иначе как Авдей Белый), — что мои льняные, значит, волосы вполне могли бы принадлежать белорусу. С присвоенным мне номером 95 встал в строй. Когда закончилась вся эта церемония, нам выдали хлеб — по одной буханке на десять человек — и повели на вокзал.

Одежды пленным покамест не выдавали — сказали, что сделают это в вагонах.

На вокзале нас уже поджидали открытые платформы и отряд опять же усиленного конвоя. Отсчитав по пяти человек, грузили. Грузили почти нагих, а ночью ударил мороз. Поезд двинулся — весь состав освещался прожекторами. И шел поезд неведомо куда. Пленные жались друг к другу, старались хоть таким образом немного согреться. Но это мало помогало — люди быстро превращались в окоченевшие трупы. Утром производилась проверка, мертвых сбрасывали на малых станциях, потом состав опять трогался.

К вечеру прибыли в Ригу. Состав разгрузили. Оставшихся в живых построили в колонну — по пять человек в ряд — и повели в неизвестном направлении. Скоро оказались на окраине города, где у немцев тоже был лагерь для советских военнопленных. Все называли его "Большой" — в нем содержалось до сорока тысяч человек. Перед лагерем стояло несколько тополей, еще не окончательно сбросивших листву. Через пять минут тополя стали совершенно голые: листва была съедена пленными.

Нас пересчитали и впустили за ограду. Все лагеря у немцев были сделаны по одному стандарту: та же колючая проволока, такая же охрана, такая же грязь и такое же "питание". Только пленных больше, а значит, и получать "паек" было еще труднее. Бросят на пятнадцать человек буханку — она вмиг исчезнет в человеческой свалке, и спрашивать не с кого.

В Большом лагере я пробыл недолго. Немцы решили немного разгрузить его — стали отбирать более сильных. Их набралось две тысячи шестьсот человек. Опять колонна и опять, как всегда, по пять человек в ряд. Куда? Никто нам об этом ничего не говорил. Шли долго. В Риге было одно трех- или четырехэтажное здание — хорошенько не помню, — но тоже огороженное колючей проволокой и тоже с охраной. Наутро нас разбили по командам, над которыми были поставлены старшие. Думалось, что тут должен был бы быть хоть какой-то порядок и сносное питание. Но ничего подобного! Все так же, как и во всех гитлеровских лагерях.

Декабрь. Морозы стоят жестокие — до сорока градусов. Одежда на нас износилась вконец, вошь ходом пошла, овладела нашими лохмотьями. В пять часов утра нас поднимали старшие, вели на работы. Имени и фамилии у старших не было, так же, как и у нас, — только номера. Мы уже привыкли к этому и сами себя окликали по номерам: "Эй, сороковой, дай потянуть от

твоего окурка!", "Девяностый, отломи корочку!" — ну и тому подобное.

Я попал в группу по разгрузке горючего — выводили нас за город, на станцию. Рабочий день длился дотемна, была установлена норма (как же может немец без нормы!): на каждого человека один вагон, в котором помещалось пятьдесят бочек, пока что порожних. Но их надо было выгрузить, заполнить горючим и вновь закатить в вагон — установить так, чтобы поместились все пятьдесят. Увидя, что один не может справиться с полной бочкой, нас начали ставить по двое. И на каждую такую пару двуногих лошадок-кляч выделялся один погоняльщик. И так-то вот, Фенюшка моя милая, день за днем, день за днем. Тот, кто не выполнял нормы, лишался пайка и в конечном счете погибал: падал замертво тут же, на станции, или по дороге в лагерь, пристреленный конвоирами. Некоторых выручали сами же пленные — несли на себе: кого под руки, кого на носилках, но и, доставленные в лагерь, они все-таки умирали там либо от слабости, либо от расстройства желудка, так как при погрузке пленные набрасывались на дизельное масло и пили его.

На каждом шагу пленного подстерегала смерть. Тех, кто пытался совершить побег, излавливали, потом неделями не давали им есть, а то ставили на улице совершенно нагими. У окна, где выдавалась баланда, их избивали дубинками, колотили до тех пор, пока не кончится очередь всех двух с половиной тысяч человек. Затем полумертвых опять уводили в холодный сарай до следующего утра. В воскресный день строили виселицы и вешали неудачливых беглецов на наших глазах.

Как-то ночью я вышел в уборную. Она находилась внутри лагеря, где вся площадь хорошо освещалась при двух охранниках. По дороге поднял буханку хлеба, решив, что она кем-то оброненная. Охрана сейчас же схватила меня и втолкнула в подвал. Освоившись с темнотой, постепенно стал различать людей, которые, оказалось, попали сюда по той же причине, что и я. Спрашиваю, почему валялся хлеб на дороге, — ответить никто не может. И тогда я понял, что хлеб был специально подброшен — то была приманка, наживка для нашего брата, пленного. Яснее ясного стало для меня и то, что всем нам, угодившим в подвал, грозит смерть. Вопрос был в другом: стоило ли ее ждать вот так, сложа руки, ничего не предпринимая?

Я стал уговаривать пленных совершить побег, но они отказались. Тогда я решил про себя: сделаю это один! Ночью, когда все спали, а скорее всего делали вид, что спали, я вывернул в стене два камня и оказался в другом помещении, которое было с окнами, открывавшимися своими створками внутрь. Выглянув осторожно в окно, сразу же увидел охрану — тех же двух часовых. Надо было улучить момент, когда охранники отойдут, и тогда выпрыгнуть в окно.

На мое счастье, кто-то подъехал к воротам, и охрана ушла туда. Я выскочил в окно и как ни в чем не бывало направился в помещение лагеря. Утром всех, кто сидел в подвале, вывели и начали считать. Одного, конечно, недосчитались. Принялись искать. Выстроили весь лагерь. Номер мой ночью оставался в помещении, на шинели, и это спасло меня. А тех, из подвала, облили водой и на наших глазах заморозили. Тебе, Феня, трудно поверить, чтобы такое сделали одни люди с другими людьми. Самое-то, может быть, ужасное состоит как раз в том, что все, о чем я тебе сейчас рассказываю, сущая правда. И было это в январе тысяча девятьсот сорок второго года.

Бежать, бежать, бежать, так смерть и так смерть. Зачем же погибать по-кроличьи!

Вторую попытку избавиться от плена я сделал 17 января сорок второго года. Была сильная пурга. Два немца — часовые — стояли у ворот, возле бочки с баландой. Я в очередь за едой не встал. Затаился неподалеку от охраны и ждал момента, когда часовые отойдут подальше. Было это на работе, на станции, и потому конвоиры были одеты в теплые шинели с капюшонами, а на сапогах у них большие соломенные лапти, чуть поменьше соломенных гнезд для кур, которые, бывало, плела моя мать. Когда они отошли, я шмыгнул в сторону так, что часовые не заметили. Рядом находились товарные вагоны. Погрузку здесь производили латыши. Увидав меня, они показали дорогу, куда надо бежать.

Так я оказался за городом и бежал на восток до самого вечера. Со мной, кроме пустой сумки, ничего не было. Мучили меня и голод и холод. На ногах были ботинки без подошв, а на плечах рваная шинель. Рискнул зайти на хутор немного обогреться. Выбрал нарочно самый захудалый домик. В нем были только два человека, наверное, муж и жена. Они готовились к отъезду, упаковывали вещи. Мое появление очень напугало их. Но, приглядевшись, они спросили: "Ты

русский?" Я ответил: "Да". Это были евреи. Они попросили меня поскорее покинуть их дом, так как им и без того грозит большая опасность. Я понял все и собрался уходить, но хозяева задержали меня, дали на дорогу немного хлеба, грамм двести колбасы, грамм сто масла, пачку папирос и коробок спичек.

И я отправился в путь. В сумерках заметил на поле стог сена, где и заночевал. С рассветом пошел дальше, хотя нужно было бы делать это ночью. К вечеру все-таки благополучно добрался еще до одного хутора. Обойти его не представлялось возможным — весь почти поселок окружен непроходимыми болотами. Но и хутор я миновал удачно. За хутором, неподалеку, стояли две сосны. Дорогу, по которой я вышел, пересекала другая дорога — как раз в том месте, где были сосны. Из-за деревьев навстречу мне вышли два человека. То были полицейские. Они задержали меня. Я долго упрашивал их, чтобы отпустили, но они не согласились и отвели меня обратно в хутор, в полицию, а оттуда, на подводе, под охраной, отвезли в Ригу и сдали в гестапо. Там меня продержали три дня. Затем направили в тюрьму для политических заключенных, где содержались латыши, служившие в Красной Армии. Большинство из них были командиры. Я не знал, что тут было мое спасение, и ожидал, конечно, самого худшего.

Поместили в одиночную камеру, пищу подавали в окошечко из коридора. Пища была не гуще той, что выдавалась в других лагерях. Утром чай и девяносто граммов хлеба, в обед — ковшик супу, вечером — опять чай. Вот и все. Но зато не гоняли на работы и вообще никуда не выводили, кроме как один раз в неделю на прогулку. Вскоре вслед за мной в тюрьму поступило еще пять человек. По их рассказам, попали они сюда за диверсию. Работая где-то в гараже, закопали в землю несколько бочек бензина, но их разоблачили.

Заключенные умирали и тут. Это знали в городе: об этом рассказывали латыши, обслуживавшие тюрьму, — повара, раздатчики пищи. Узнав, что в тюрьме содержатся четыреста человек латышей, которым грозит голодная смерть, жители Риги потребовали от немецкого коменданта разрешения помогать заключенным. Такое разрешение в конце концов было дано. С той поры каждое воскресенье рижане приносили кое-что из еды, сдавали на кухню, где работали надежные люди, которые делили все поровну среди заклю-

ченных, не глядя на то, кто ты: латыш или не латыш. Это была большая поддержка.

Не знаю, чего от нас хотели фашисты, но держали очень строго: через каждые три дня снимались допросы и отпечатки пальцев.

Прости, Фенюха, но дальше описывать все у меня нету мочи, не хватает моих сил. Скажу только, что я прошел семнадцать — слышишь, 17 — немецких лагерей. Рассказал же только о трех. Был я и в Эстонии, на сланцевых рудниках, оттуда меня направили в другой лагерь, а затем и в третий, в четвертый, в пятый, в шестой...

Вот все, Феня. А сейчас еще одно испытание — надеюсь, последнее: я нахожусь хоть и на родной земле, но далеко-далеко от Завидова. Люди, специально назначенные, должны убедиться, что и за той чертой, под номером 95, оставался советский человек.

Ну а для этого надобен какой-то еще срок".

Письмо длинное, но Сергей прочел его от начала до конца один раз, потом другой, не в состоянии избавиться от встревожившей его мысли: физические раны, оставленные войной на миллионах бывших фронтовых солдат и на теле их Родины, в малый, большой ли срок, но все-таки исцелятся, зарубцуются. А как исцелишь, заврачуешь раны душевные, полученные от той же войны десятками тысяч людей, подобных Авдею? И еще. Для чего, собственно, Феня Угрюмова держит постоянно при себе это письмо? Не служит ли оно для нее некой охранной грамотой?.. И от кого обороняется она этим страшным документом? От матери, отца, от тетки Авдотьи или от всех завидовцев, осуждающих их связь: ведь, помимо всего прочего, Авдей доводится ей двоюродным дядей — Феня укладывается в постельку с "родственничком", допустимо ли этакое?!

Ну а сам Авдей? Выветрятся ли из его памяти кошмары прошлого? Будет ли он когда-нибудь спать бестревожно?

Тетенька Анна все-таки не вытерпела — подала свой голос с печки:

— Да ты никак все не спишь?

— Сплю, сплю, тетенька Анна!

— Как же — не слышу, что ли! Ложись, хоть часик вздремни. Скоро уж вставать.

— Не спится что-то, тетенька Анна. Все о них. Трудно им придется.

— Знамо, нелегко, — живо отозвалась старуха. —

Теперя держись. Сладок будешь — расклюют, горек будешь — расплюют... А ты все-таки сосни часок. И мне, старухе, дай вздремнуть маненько, — тяжко, с оханьем вздохнув, хозяйка умолкла.

4

Странно все-таки и горько устроен мир. Событие, от которого человек вправе был ожидать если не полного счастья, то хотя бы какого-то просветления в своей судьбе, неожиданно, вопреки, казалось бы, всякой житейской логике поворачивается к нему самой своей неласковой стороной. Полученное Феней в конце сорок пятого года письмо от Авдея зажгло в ее душе некий светильничек, безотчетную покамест еще надежду на что-то почти праздничное впереди; после извещения о гибели брата Григория и Семена Мищенко впервые выжало на ее вроде бы уж навсегда недвижных, закаменевших губах легкую, едва заметную, на один лишь миг дрожь улыбки, которую, наверное, она и сама-то не почувствовала, — но улыбка все-таки была, и она была вернейшим знаком душевного воскрешения.

Первое, что она сделала тогда, так это помчалась, как потом рассказывала, "сломя голову" к Авдотье Степановне, Авдеевой матери, чтобы принести ей столь неслыханно великую радость; может быть, Феня и не думала в тот час, что такою новостью она растопит лед отчуждения, бывший между ними с весны сорок третьего, то есть с той поры, когда Фенина связь с фронтовым постояльцем стала достоянием всего Завидова, а в сердце Авдотьи поселила чувство беспричинной, казалось бы, ревности и обиды за сына, пропавшего без вести. Не думала Феня, не стремилась расположить Авдотью к себе, но такая надежда жила в ней сама собою, подспудно, и, верно, потому она огорчилась, узнав, что в тот же день почтальон Максим Паклёников принес такой же конверт и Авдеевой матери, принес и не сунул, как делал почти всегда, под сенную дверь, а чуть ли не ворвался в избу и пропадал там более часа, пока не выполз оттуда чуть ли не на карачках полным-полнехонек, как заключила встретившая и освидетельствовавшая его по дороге домой жена Елена, давно не видевшая мужа в этаком состоянии: на радостях Авдотья Степановна поставила на стол всю четверть, хранившуюся у нее в подпечке с бог знает

каких времен, может быть, как раз для такого вот редкостного события.

Не дознавшись, с каким делом заявилась к ней Феня, Авдотья упредила гостью горячей просьбой:

— Прочти теперя ты, Фенюшка! Максим, поди, с пято на десято... Пропустил, чай, половину. От Авдеюшки это!.. Живой сынок-то мой! Я знала, сердцем чуяла, что не погибши... Прочитай еще разок, доченька! О господи, за что мне, грешнице, такое счастье!

Феня, бледная от волнения и от накатившейся откуда-то на сердце тревоги, стала читать. Читала медленно, потому что Авдотья Степановна просила не торопиться, читать погромче ("Слабеть что-то стала на ухо", — предупредила она гостью). Письмо было недлинное, не такое, какое получила она, без всяких подробностей относительно его скитаний по немецким лагерям, — просто он сообщал, что жив, здоров, надеется скоро вернуться, и тогда заглянет в Завидово, чтобы повидаться с нею, матерью, да сестрами, которым велел кланяться. Далее шли поклоны другим, более дальним "сродничкам" и знакомым — в перечислении многих имен значилось и ее, Фенино, имя; она даже обиделась на него, что помянул ее едва ли не самой последней, позже Саньки Шпича, очень нелюбого ей человека, вернувшегося недавно в Завидово, и попытавшегося было "прихлестнуть" за Фенею, и вызвавшего таким образом лютую ревность Насти Вольновой, младшей ее подружки, за войну очень привязавшейся к Фене.

Прочитавши, Феня призадумалась. Пока растроганная донельзя хозяйка, исполненная благодарности, обнимала и целовала ее, обмачивала Фенины щеки обильною слезою несказанной радости, Феня решала, сообщать ли Авдотье Степановне о полученном ею, Фенею, письме. Если скажешь о нем, то Авдотья непременно заставит прочесть, а как она прочитает, если сам Авдей не захотел, не стал рассказывать матери того, что рассказал другому человеку?! Может, просто вот встать сейчас и уйти, но и этого Феня не могла сделать: как-никак, а она была женщина, то есть самое ненадежное хранилище каких бы то ни было новостей, ну а хороших — и подавно. И она тихо, хриплым голосом, перехваченным волнением и той неясной, подкатившейся к ней вроде бы украдкой тревогой, сообщила:

— Он и мне прислал весточку.

— Кто, милая? — не поняла сперва Авдотья Степа-

новна, оглушенная нежданно-негаданно свалившейся на нее великой радостью.

— Да Авдей же!

— И тебе?.. Чего же он?.. — слезы счастья стали быстро, прямо на глазах Фени, подсыхать на лице хозяйки, а лицо становилось и суше и холоднее. — Что же он пишет тебе?

— То же самое. Жив и здоров, — сказала Феня елико возможно спокойнее и будничнее.

— Прочла бы.

— Да не захватила с собой.

— Ужо наведаюсь к вам. Чай, прочитаешь.

— Прочитаю, — сказала Феня, не сводя приугасших глаз с озабоченного лица Авдотьи. Про себя подумала: "С чего это она надулась? Разве я худое что сказала? Господи, как же все непонятно!" — Ну я пойду. Хотела тебе добрую весточку принесть, а она к тебе раньше прилетела. Рада за тебя, тетка Авдотья.

— Спаси тебя Христос. Так я ужо к вам...

— Приходи, — сказала Феня теперь тоже холодновато, потому что к этой минуте вспомнила, что приход такой гостьи не сулит ничего хорошего не только самой Фене, но и ее матери, для которой любая чужая радость — лишнее напоминание о собственном горе.

Аграфена Ивановна не знала о том, что Авдей жив; дочь все-таки утаила от нее получение Авдеева письма, и до сих пор, пока он числился в без вести пропавших, горе двух матерей было общим, они словно делили его пополам, при встречах и при воспоминаниях о сгинувших на войне сыновьях обе, конечно, плакали, но слезы приносили на какое-то время пускай малое, но все-таки облегчение. Теперь же доля тяжкого бремени снимается с сердца Авдотьи Степановны и сама собою свалится на несчастную Аграфену Ивановну, — устоит ли она под таким еще ударом? Между тем Феня знала, что не найдется на свете такой силы, которая заставила бы Авдотью Степановну промолчать о своем счастье: оно ведь, как и несчастье, нетерпеливо, рвется из груди и властно требует, чтобы ты поделился им с другими.

Еще до "ужо", то есть до того не определенного никаким конкретным часом времени, где-то за полдень, к вечеру, когда деревенская женщина обычно успевает встретить корову, подоить ее, управиться с другими домашними делами и с чистой совестью и не обремененными особыми заботами думами может пойти погостить у кого ни то на один часик, — так вот еще до этого "ужо", едва проводив Феню Угрюмову,



Авдотья Степанова помчалась к шабренке, а та, сделавшись обладательницей такой новости, распрощавшись с Авдотьей, метнулась к своей шабренке — и понеслось. Словом, к возвращению Фени домой Авдотьина новость, околесив по улицам и впадающим в них проулкам все село, замкнулась как раз на угрюмовском подворье.

Однако Фенины опасения были напрасны. Против ожидания новость эта не только не сокрушила Аграфену Ивановну, но дала добавочную пищу для чуть тлеющего где-то в глубине ее души огонька надежды, — теперь этот огонек возгорелся, и отсветы его явственно замерцали в почти омертвелых, насквозь

проплаканных глазах матери. На них и сейчас были слезы, но не замутненные, как обычно, неизбывной, непроходящей горечью, а детски чистые, родниковые.

— Слышала, Фенюха, новость-то? — почти закричала она, завидя входившую в избу дочь. — Авдюшка-то Белый отыскался! Живой и здоровый. Можа, и наш Гришенька... — тут она замолчала, двинулась навстречу Фене, распростерши руки для объятия. Не прижалась, а прямо упала на дочернюю грудь, и Феня, поддерживая, подвела ее к лавке, уселась и сама рядом, с трудом удерживая собственные слезы, вскипающие на сердце и рвущиеся наружу.

Весною нынешнего, сорок седьмого, года Авдей вернулся. Он вернулся с твердым намерением лишь повидаться с матерью и сестрами, ну конечно же, и со всеми другими завидовцами, а через недельку-другую уехать к себе на завод в Ленинград. И уехал бы и занял бы место у своего станка, если бы не Феня, которую увидел в первый же день своего возвращения в родное село. Увидел — и уехать один, без нее, уже не мог.

Авдотья Степановна, материнским, а может быть, просто женским своим чутьем понявшая еще задолго до его приезда в Завидово о возможной их связи, пыталась предотвратить ее всеми доступными для нее средствами. В каждом письме к сыну, куда-то туда, в далекую Сибирь, она как бы мимоходом, без особого нажима, не забывала сообщить про Феню что-нибудь такое, что могло бы охладить его чувства к ней, ежели такие у него имелись (а то, что такие чувства были, Авдотья Степановна не сомневалась). В одном, чуть ли не самом последнем своем письме она не поленилась и во всех подробностях описала то, как Феня Угрюмова, "потеряв стыд и совесть", чуть ли не на глазах у всего Завидова "жила с каким-то заезжим красавцем лейтенантом", "ославилась так, что родная мать боялась на глаза людям попадаться!". Получались подобные послания и от сестер. Те шли еще дальше. Одна даже сообщила, что во время войны в будку "тракторной бригадирши", то есть к Фене, "поныривал лесник Архип Архипович Колымага", что сестра своими глазами видела, как он приносил на стан уток, понастрелянных им в лесных болотах, — "с чего бы он так расщедрился! — многозначительно восклицала сестрица. — Ты, чай, Авдей, помнишь этого Колымагу,

скряга, каких свет не видывал, у него летошнего снегу не выпросишь, не то что уток!". Другая, младшая, и поведала ему о другом, о том, что в товарки себе Феня подобрала Марию Соловьеву, "самую распутную бабу в Завидове". "Идет эта Марея по селу, поставит сиськи, как верблюжьи холки, берите меня, мужики, голыми руками! Стыд и срам! — возмущалась младшая, не лишенная, судя по письму, художественного воображения бабенка. — А Фенька дома и не ночует. Спихнула сына на материны руки, а сама, хабалка, у Соловьевой шашни с мужиками разводит. Та, Марея-то Соловьиха, прижила от Тишки Непряхина ребенка, и ей хоть бы что, мочись в глаза — ей божья роса! А муж, Федор-то, слышь, живой, в Германии служит, до Берлина, вишь, дошел, пишет, что вскорости вернется, накрутит ей хвоста, а мо-ка, и голову свернет, как гусенку!"

Авдей читал все это и внутренне ухмылялся, отлично понимая, к чему ведет и чего опасается мать, мобилизовавшая и дочерей для поношения не такой уж близкой, но все-таки родственницы. Не знала Авдотья Степановна, не знали и сестры, что явно переусердствовали, что добились результата, прямо противоположного тому, на коий рассчитывали. Сами того не ожидая и, конечно же, не желая, они возбудили в Авдее острый и нетерпеливый, может быть, даже болезненный немного интерес к молодой и красивой женщине, которая еще с довоенных лет не была для него безразличной.

Он пришел в Завидово в полдень, прошагав от станции до села без малого семнадцать верст. Остановился у крайних изб, что принадвинулись к самым заливным лугам, названным почему-то Малыми, хотя они куда обширнее тех, что подступали к селению с противоположной стороны и были наречены Большими. Авдей остановился, снял линялую, отороченную по краям темною от пота и грязи каймой, засаленную пилотку, тщательно вытер ею вспотевшее вдруг лицо, долго еще протирал неожиданно заслезившиеся глаза, зачем-то глянул на часы и удивился, что все семнадцать верст оставил позади себя за каких-то неполных два часа. "Должно быть, старая пехотинская привычка сказалась, — удовлетворенно подумал он. — Настоящий марш-бросок, да еще с полной боевой выкладкой!" — и он встряхнул за спиной пузатый, чем-то туго набитый, такой же, как пилотка, вылинявший вещмешок.

До вечера мать и сестры, забаррикадировавшись

на своем подворье, ревниво оберегали его от нашествия других родственников, от знакомых, а в особенности от фронтовиков, вернувшихся в Завидово раньше Авдея и теперь встречавших очередного и, в общем-то, очень редкого счастливца всенепременным трехдневным, а то и недельным загулом.

Прежде всех, как того и ожидала и боялась Авдотья Степановна, припожаловали Тишка и Пишка. Первый хоть и не был на войне, но теперь все время находился при важной особе Епифана, потерявшего где-то в своей штрафной роте левый глаз и сейчас чувствовавшего себя настоящим героем. Единственный глаз, в качестве компенсации, что ли, за утрату другого, обрел у него орлиную зоркость, позволявшую Пишке первым узрить нового завидовского пришельца; да и вообще теперь ничто, пожалуй, не могло на селе и в его окрестностях ускользнуть от цепкого, в постоянном насмешливом прищуре глаза. Завидовцы уже успели приметить, что Пишкино око, помимо остроты, постоянно хранило какую-то загадочную и пугающую веселинку и все время подмигивало, как бы намекая на что-то такое, о чем ведает лишь сам Пишка, а остальным людям надлежит еще догадаться. В одном только случае эта непонятная веселинка исчезала, пряталась — это когда на глаз Пишки попадался Павлик Угрюмов, пятнадцатилетний юноша, беззаботный и беспечный соответственно своему возрасту, однако ж с нынешней весны уже севший за руль трактора. При встрече с ним Пишкина улыбочка вмиг пропадала куда-то, может быть, сгорала в яростной вспышке затаившейся до поры до времени злобы: ведь никому на селе и в голову не могло прийти, что Епифан до сих пор убежден, что по наущению Павлика, "этого щенка", была организована на него лесная облава, что и левого глаза лишился Пишка по милости этого молокососа. "Ну погоди, я с тобой поквитаюсь!" — бушевал затаенно Пишка, и тогда-то в ястребином его глазу вспыхивали молнии. Жажда отмщения жила в нем, но даже самому близкому человеку Пишка не сказал бы о ней, даже "по пьяну делу" ни разу не проговорился, когда люди, хорошо знавшие, как было дело, могли бы без особого труда разубедить его, снять с мальчишки страшные Пишкины подозрения и отвратить грозу, которая при нынешнем положении вещей должна была рано или поздно разразиться. И виною всему опять война — она посеяла и это тайное злое семя, как и множество других, таких же черных и страш-

ных семян, из которых может проклюнуться любая беда...

К дому Авдотьи Степановны Пишка, однако, притопал в самом добром расположении духа: военные передряги не переиначили его характера, а следовательно, и старых привычек, в число которых входила и та, что давала Епифану возможность при малейшем случае угостить себя за счет чужого кармана. Торкнувшись в калитку, затем постучавши в окно и не услыхав в ответ никакого отзвука, Пишка подмигнул своему верному спутнику, и подмигивание это означало: не огорчайся, Тиша, Авдотьина крепость недолго продержится, мы с тобой, дружище, не такие укрепления брали, брали штурмом, коли не выходило осадой!

— Авдотья Степановна! Алена! Веруха! — начал он взывать сладчайшим голосом, называя вместе с хозяйкой и ее дочерей, поскольку видел, как они часом раньше нырнули в родительский дом. — Откройте! И не совестно вам скрывать от фронтовика своего служивого? Чай, не съедим мы у вас его. Только глянем, поздравствуемся — и по домам!

В избе молчали. Авдей делал отчаянные знаки сестрам, чтобы открыли калитку, а те так же отчаянно и отрицательно качали головами, не желая хотя бы в первый этот день делиться с кем-либо долгожданным братцем.

Между тем Епифан продолжал ораторствовать:

— Авдотья Степановна, не гневи бога! Не простит он тебе, припомнит на страшном суде, как ты честных своих односельчанов на порог не пустила. Слыхано ли дело, чтобы фронтовик от фронтовика под материным подолом скрывался!

Неизвестно, что больше подействовало на хозяйку — угроза предстать перед божьими очами в судный день или последнее, обидное для ее сына Пишкино замечание относительно материнской юбки, — неизвестно, что именно, но первой сдалась, выбросила белый флаг Авдотья Степановна.

— Ступай, Вера, отомкни калитку. Ведь он, одноглазый черт, силком вломится, нечистый бы его побрал совсем. И энтот антихрист с ним, — закончила она, глянув в окно и приметив укрывшегося за Епифаном и виновато ухмыляющегося Тишку.

Через минуту с торжествующим видом победителей приятели ввалились в избу и, соблюдая очередность, принялись мять в своих объятиях смятенно улыбающегося и отчего-то вдруг покрасневшего Авдея.

— Присаживайтесь, чего уж там, — пригласила Авдотья Степановна, — какой только окаянный вам все доносит, ума не приложу!

— Э, тетка Авдотья! Ты, вижу, не знаешь, что на фронте я был разведчиком! — не моргнув своим единственным и нагловатым глазом, соврал Пишка и выпятил грудь, на которой были медаль "За боевые заслуги" да желтенькая, захватанная пальцами нашивка, свидетельствующая о тяжелом ранении ее владельца.

В штрафной своей роте Пишка в непостижимо малый срок коротко сошелся со старшиной, по счастью оказавшимся тоже саратовским, тот и оставил его при себе, возложив на Пишку не очень-то обременительные обязанности кашевара. Место, прямо скажем, не такое уж опасное для драгоценной Пишкиной жизни, но и оно не оборонило проштрафившегося солдатика от увечья: при одной из многочисленных бомбежек совсем крохотный, именно такой, о котором говорят, что "только в глаз пустить", вражеский осколок приласкался-таки к хитрющей Пишкиной физиономии и навсегда сделал его кривым. О том, что случилось это так, а никак не иначе, в Завидове мог знать только сам Пишка, других свидетелей нету, ранение же остается ранением, и вокруг него Епифан волен сочинить любую, самую что ни на есть героическую историю. Потому-то он и продолжал, все более возгораясь, подгоняемый неудержимой фантазией:

— От меня, если хотите знать, ни один фриц не мог увернуться! Одних "языков" перетаскал для наших командиров видимо-невидимо. А на Одере — есть такая, Авдотья, река у немцев, — так вот на этом самом Одере я германского генерала прихватил и переправил на нашу сторону на бревне, вот тебе крест! — И Пишка незамедлительно перекрестился, не забыв повернуться лицом к образам. Он говорил, еще сильнее распаляясь, а хищный и нетерпеливый глаз его уже давно косил в сторону стола, уставленного закусками, к которым еще не притрагивалась ни одна рука.

— Да садись уж, хватит языком-то молоть! Знаем, какой ты у нас герой, — сказала Авдотья Степановна.

— Это что, намек? — вмиг помрачнел Пишка, сменившись с лица.

— Какой там намек! — вздохнула хозяйка. — Что было на языке, то и сказала. На то я и баба. А ты не сердись. Садись и угощайся. Это я к тому... Чтой-то орденов маловато на твоей геройской груди...

— А твой, мать, сынок, похоже, по карманам их рассовал, что-то не примечаю на его гимнастерке, — не удержался Пишка, чтобы не нанести ответный укол, но, боясь, как бы не нарушить в этом доме праздничного настроения и не пострадать самому от такого нарушения, быстро перестроился и говорил уже в прежнем своем, чуть насмешливом, но благорасполагающем тоне: — Вот слушаю я тебя, Авдотья Степановна, и удивляюсь: баба ты вроде мудрая, а иной раз скажешь такое, что хоть стой али падай. Орденов, видите ли, мало на Пишкиной груди! Ты, родимая, ничегошеньки в таких серьезных делах не смыслишь. Орден — это не солдатская награда. Она для офицеров да генералов... А для солдата — медаль. Да ты почитай, что написано на моей медали! За что она мне дадена? Читай: "За боевые заслуги". Не за какие-то там еще, а за б о е в ы е! Поняла?

— Поняла. Уймись ты, за-ради Христа!

— Теперь молчу, коль поняла. Давай, Тиша, поздравим Авдея с возвращением с того света, а его мать и сестриц с великой радостью! — С этими словами Пишка уселся за стол, да не где-то там с краешку, а поглубже, чуть ли не под иконами, откуда его непросто будет потом выдворить. Тишка, тот поскромничал, ткнулся тощим своим задом в старенький скрипучий стул чуть даже поодаль от стола, показывая таким образом, что он гость неопасный, поскольку собирается быстро покинуть застолье, предназначенное явно не для них с Пишкою.

К двум этим незваным гостям вскоре прибавились еще два: Санька Шпич, вернувшийся в конце войны с покалеченной правой рукой (на ней остались теперь лишь два пальца, средний и указательный, да и те не сгибались, так и торчали, вроде бы в кого-то тыча, похожие на зубья двурогих вил), и пристегнутый за компанию секретарь сельсовета Виктор Лазаревич Присыпкин, о котором, пожалуй, следует сказать подробнее, поскольку человек этот до войны и во время не значился в списках завидовцев. Санька Шпич познакомился с Виктором где-то на фронте — был этот солдат в их роте отделенным командиром, а по совместительству еще и писарем, — и они условились, что, демобилизовавшись, Виктор Присыпкин не поедет к себе на Брянщину, где оккупанты изничтожили всех его родных, да и само селение сровняли с землей, а наведается в Завидово, сперва для того, чтобы погостить у фронтового товарища, ну а потом, если село

покажется ему, Санька возьмет его к себе в секретари. Так все и произошло. Присыпкин остался. Впрочем, эту подлинную его фамилию знали лишь в районе, куда Виктор Лазаревич чуть ли не каждый день отвозил собранные им у населения денежные налоги, Санька Шпич, вновь избранный председателем завидовского сельского Совета, да еще тетенька Анна, у которой, как и прочие завидовцы, останавливался секретарь. Все другие называли Виктора Лазаревича Присыпкина одним коротким и категорическим словом — Точка. О таком прозвище позаботился не кто иной, как сам Виктор, поскольку любую фразу, любую, малую или длинную, свою речь секретарь завершал, как бы подытоживая мысль, именно этим словом "точка". В его устах она обретала множество самых разных по значению интонаций, несла самую разнообразную эмоциональную нагрузку, нередко совершенно неожиданную, каковую надлежало бы обозначать каким-то иным знаком препинания, но не точкою.

Итак, усердиями Саньки Шпича Точка была поставлена в Завидове, а через год прибавилась к ней и Запятая, славная и прехорошенькая девчонка по имени Дарья, которую до замужества все называли ласково и любовно — Даша. Выйдя за Виктора, она естественно и тотчас же была окрещена селянами Запятой. Теперь, завидя супругов, отправившихся куда-то вместе, человек не удержится, чтобы не сказать: "Точка с Запятой куда-то наладились. К Шпичу, должно, в гости".

К Шпичу Точка хаживал часто, иногда один, но больше все с Дашей, потому что та была близкой подругой Насти Вольновой, тоже утратившей свою веселую и легкую фамилию. Теперь нет-нет да кто-нибудь кинет ей вслед: "Председательша, Шпичиха пошла!" Настю, однако, любили на селе и даже в слово "Шпичиха" не вкладывали насмешливо-злого смысла, а произносили его с неизменным уважением, может быть, не только потому, что Настя обладала редким по доброте характером, но и потому, что, сделавшись "председательшей", она не оставила трактора, продолжала крутить баранку своего старенького, "зачуханного", как она говорила, "универсальчика". Мягкая по натуре, Настя показала вдруг своему начальствующему супругу характер и решительно отклонила его просьбу, похожую по интонации на приказ, чтобы оставила трактор и занималась только по дому, провожая на службу и встречая со службы своего суженого. "В домработницы, что ли, меня взял? Не бывать этому!" —

объявила она, да так, что у Саньки отпала всякая охота сызнова заводить речь об этом. "А ты, оказывается, того... оса, и ужалить можешь!" — только и вымолвил он в крайнем удивлении и долго, в раздумчивости крутил круглой и умной своей председательской головой. "Могу, могу, дорогой муженек, а ты как думал!" — сказала она, смеясь, и сейчас же обвилась руками вокруг Санькиной шеи, неожиданно даже поцеловала его и в губы, и в двупалую руку.

К счастью для Авдеевых родственников, четырьмя этими людьми и ограничился круг гостей в тот первый день его возвращения. Правда, направлялся к ним было и Апрель, Артем Платонович Григорьев то есть, с полмерным ведерком только что выловленных в пруду карасей, но его упредили Пишка и Тишка, двумя или тремя минутами раньше припожаловавшие к Авдотьиному дому. Не знаем почему, но Апрель остерегался оказаться в одной компании с Пишкой, может быть, боялся подвернуться под злой Пишкин язык. Вот и в тот раз не решился присоединиться к дружкам-приятелям, — прозябнувший до костей от студеной воды, чертыхаясь вполголоса, поминая при этом не самыми ласковыми словами Епифана и Тимофея, побрел наш Апрель в свою Поливановку, дрожа по-щенячьи: как ему, сердешному, пригодилась, пришлась бы впрок добрая чарка Авдотьиного самогону!

Эти четверо гостили недолго: У Шпича и Точки были какие-то срочные, неотложные дела в сельсовете; у Пишки с Тишкой не было таких важных дел, но оставаться после председателя они сочли для себя неудобным, да и хозяйка не очень-то уговаривала их, чтобы задержались.

Авдей решил вдруг проводить всех. Авдотья Степановна, нахмурившись и ревниво поджавши губы, двинулась было вслед за сыном, но тот спокойно, но достаточно настойчиво попросил:

— Мать, ты не ходи со мной. Я скоро вернусь.

Это "скоро" затянулось до поздней ночи. Мать долго терпела, ожидаючи, но в конце концов терпение ее иссякло. Накинув на голову шаль, которая редко покидала ее и зимой и летом, решительно направилась... Она отлично знала, где ей искать сына. Конечно же, он "застрял" в доме Угрюмовых. Авдотья Степановна увидела его сидящим на скамейке возле калитки, да не одного, а с Фенею. То, чего она больше всего опасалась и не хотела, кажется, уже началось. Остановилась в

двух шагах от сидящих, дрожа всем телом, срывающимся голосом заговорила:

— Да что же ты, сынок... Сколько годов ждала тебя, все глазыньки проглядела и проплакала. А ты с родной матерью и часа не побыл. Неужто тебе дороже... — Задохнулась от жгучей ненависти и обиды одновременно. От ненависти к молодой женщине, обладающей, видно, куда как большей властью над ее сыном; от обиды на Авдея, не вернувшегося к столу, который был накрыт сызнова и за которым Авдотье и ее дочерям хотелось посидеть по-семейному. Не сдержавшись, заплакала, вернулась и пропала в темноте.

— Ступай домой, Авдей, — сказала тихо Феня. — Мать не зря обижается. Любая бы на ее месте... Вон Филипп мой задержится, забегается с мальчишками на какой-нибудь лишний час, а я уж места себе не нахожу, сердцем вся изойду. Ступай, Авдей, и ко мне пореже заглядывай — мать твоя бог знает что может подумать. И вообще... Лучше бы тебе поскорее уехать отсюда в город, — закончила она, и плечи ее зябко передернулись.

— От этого никуда не уедешь, Феня, — сказал он.

— Ты о чем?

— О том самом.

Не воспользовался Фениным советом Авдей, не уехал в город — и не только потому, что чувствовал: говоря так, в действительности-то Феня вовсе не хотела, чтобы он уезжал; не покинет он Завидова главным образом потому, что это просто свыше его сил. С того вечера он стал наведываться в дом Угрюмовых так часто и задерживаться там так надолго, что через какую-нибудь неделю по селу сначала пополз робко и неуверенно, а потом уж побежал, набирая силы и стремительность, облачаясь в новые подробности, слушок: "Авдей-то с Фенюхой, слышь, того..." Такое говорила какая-нибудь одна, другая сейчас же подхватывала: "Быстро она забыла и про своего Филиппа Иваныча, и про энтова лейтенантика!" Третья притворно сокрушалась: "И в кого такая беспутная пошла, про мать и отца ее никто слова худого не скажет, а эта!.."

У колодезных журавлей сбивались и подолгу задерживались бабьи станицы. Женщины, как уж водится на селе, то подымали коромысла с полными ведрами на плечи, будто вспоминали, что надо торопиться, что дома их ждут срочные дела; то, удерживаемые



другой, более важной причиной, вновь ставили эти ведра на землю. В осуждении Фениного "проступка" больше усердствовали те, у которых мужья или женихи вернулись с войны, — эти просто кипели в ярости, будто не Авдея, ни одной из них в отдельности не принадлежавшего, а их нареченных завлекла Феня Угрюмова в свои любовные сети.

Иную позицию занимали солдатские вдовы и вообще одинокие женщины, которых на селе и без войны было предостаточно. Защищая Феню, они таким образом защищали и себя, потому как со всякой из них мог случиться подобный грех. Роль самого страстного и речистого Фениного адвоката взяла на

себя, как и следовало ожидать, Мария Соловьева. Ораторский ее дар словно бы только и ждал такого часа.

— Что вы срамотите бабу, которой вы и в подметки-то не годитесь! — обрушивалась она на Фениных хулительниц, грозно упершись руками в крутые и упругие свои бедра, на коих почему-то нисколько не сказался этот голодный сорок седьмой год. — Вот ты, Антонина! — выхватывала она из толпы горящими глазами Непряхину. — Орешь на все село, как, скажи, оглашенная! Аль она твоего зас...ного Тишку увела?! Да кому он нужен! Я и то, — сама, поди, знаешь, — давно на него начхала. Это в войну он за мужика сходил, а теперя — только плюнуть и растереть! — И Мария сопроводила эти слова выразительным плевком, который столь же выразительно растерла на земле подошвой резиновой галоши. — Так что зря ты, Тонюха, убиваешься!.. Что же, по-вашему, Фенька не человек? Разве она виновата в том, что двух мужиков ее война забрала и позабыла вернуть?! Эх вы, — поворачивалась разъяренным лицом к другим женщинам, — забыли, как в войну-то всех нас она выручала?! Кому дров привезет, кому соломки, кого добрым словом в горе поддержит?! "Феня, милая, помоги! Феня, родненькая, выручи!" — не ваши ли это были речи! И Феня помогала и выручала! А теперя вонзились в нее своими злыми зубищами и терзаете, как собаки голодные. И было бы за что! А то так, за здорово живешь. Он кто вам, энтот Авдей? Муж аль полюбовник? Никто на ваших мужей не зарится. Ухватились за их... прости господи!.. ухватились, говорю, за мужнину ширинку и дрожите, боитесь, как бы кто не отнял!..

В толпе обязательно находилась такая, которая спешила на помощь Соловьевой.

— И не говори, Маша! — подхватывала она сочувственно, указывая глазами на редких счастливиц, дождавшихся наконец своих возлюбленных. — Пригрелись под мужниным бочком и отвернулись от своих же подруг, с какими вместе всю войну горе мыкали, быкам хвосты крутили да возле старых тракторов пупки надрывали! Побывали бы они на нашем месте, — подушки-то не просыхают под головами, проплаканы наскрозь, всю-то ноченьку глаз не сомкнешь, ворочаешься с боку на бок, все думаешь: где же ты, родимый, почему не возвернулся вместе с другими, где сложил ты свою головушку?.. Вскочишь

на ноги ни свет ни заря — корову надо подоить, проводить в стадо, напилить и наколоть дров, чтобы детишкам хоть по одной черной лепешке испечь. Возьмешься за пилу, а она одной-то руки вдвое длиннее кажется, а топор — тижельше... — Женщина умолкала на минуту, а потом, решившись, пускала в дело главное свое, сокрушающее оружие: — Вы уж, бабы, помалкивайте! Не все вы были праведницами, когда в сорок третьем годе военные в нашем Завидове стояли...

Разумеется, такая концовка действовала на односельчанок неотразимо-отрезвляюще. Теперь они вспоминали вдруг о совсем было позабытых ими ведрах, поднимали коромысла на плечи и, торопясь, направлялись к своим избам, а победившие их в словесной перепалке Мария Соловьева и ее союзницы — к своим. Завидово на какое-то время погружалось в затишье.

Надо сказать, что бабье судилище Феня переносила, в общем-то, легко (бабы, думала она, на то и бабы, чтобы промывать косточки своим ближним), куда сложнее было с родными. Правда, Леонтий Сидорович, заваленный по самую макушку множеством колхозных дел, пришедших за войну чуть ли не в полное расстройство, будто ничего такого и не слышал про свою дочь; возвращался он домой с первыми петухами, а с третьими уже подымался и уходил в правление, — на разные намеки отмалчивался, будто и не понимал, о чем это толкуют люди. Другое дело мать. Подстегнутая Авдотьей, Аграфена Ивановна сразу же взяла ее сторону, и теперь пожилые эти женщины атаковали Авдея и Феню уже вдвоем, сообща. Очень скоро к ним присоединилась и Матрена Дивеевна Скворцова, прозванная Штопалихой за то, что когда-то была великая мастерица штопать прохудившиеся шерстяные носки (со всего Завидова несли ей таковые для починки и получали их обратно "лучше новых"). Появление на боевой арене Штопалихи немало удивило Феню. Повстречавшись с ней как-то лицом к лицу, Феня спросила, стараясь быть как можно спокойнее:

— Ну тетка Авдотья, ну мама моя, их еще как-то можно понять, а тебе-то, Дивеевна, чего от нас нужно?

— Ничего мне от вас и не нужно. Только мать твою жалко, Аграфену, кума она мне ай нет?! — ответствовала Матрена Дивеевна, пряча от Фени глаза. — И тебе, девка, не грех бы подумать об матери с отцом.— И Штопалиха, обогнув Феню, быстро пошагала своей дорогой.

Матрена Дивеевна, конечно, слукавила, сказав

такое Угрюмовой. Была у нее и своя прямая корысть, и притом немалая. Феня, обороняясь, почему-то совсем потеряла из виду Надёнку Скворцову, восемнадцатилетнюю и единственную Штопалихину дочь, которую, как и многих ее сверстниц, осиротила война и которая заканчивала теперь в районном центре курсы колхозных бухгалтеров.

Узнав из первого Авдеева письма, что сын ее жив и скоро вернется в Завидово, показывая драгоценную эту бумагу Штопалихе, Авдотья Степановна как бы невзначай обронила:

— Вот, Дивеевна, и жених для твоей Надёнки!

— Да что ты, Степановна! — замахала рукой Штопалиха.

— Неужто старый для нее? На каких-нибудь...

— Не о том я, Авдотья! Разве твой Авдей возьмет сироту, бесприданницу мою, да еще и деревенскую? Его, поди, в городе краля ждет не дождется.

— Нету у него, Матрена, никаких краль, не успел заиметь — война помешала. Ежели повести дело по-умному да по-хорошему, глядишь, и столкуемся, породнимся. Конешное дело, мой Авдей не простой колхозник, городским стал, грамотным шибко, да и Надёнка твоя будет не чета другим — бухгалтерша одна на все село!.. Боюсь я только, грешница, Феньку Угрюмову. Пишет и ей он письма, — вот навязалась на мою шею, головушка моя горькая!

— Да ведь она вам родня, — вкрадчиво, осторожно напомнила Штопалиха.

— То-то и оно, Дивеевна! Слыхано ли, чтобы на двоюродной племяннице женились! Да за такие-то дела на том свете...

Авдотья Степановна не уточняла, что бывает на том свете за такие дела, но Штопалиха знала про то не хуже своей собеседницы.

Словом, Матрена Дивеевна вместе с Авдотьей Степановной и Аграфеной Ивановной составили некий триумвират по части гонения глубоко затаившейся с довоенных еще времен и вот теперь вырвавшейся наружу Фениной любви. Они установили за влюбленными что-то вроде негласного надзора, дежурили по ночам в местах, бывших у них на подозрении, а утром где-нибудь за околицей либо на выгоне у пруда, где обычно завидовцы провожают коров в стадо, делились увиденным или услышанным между собою.

— Опять не ночевал дома, — сообщала, горестно

вздохнув, Авдотья Степановна. — Господи, вот присушила так присушила!

— О, пресвятая богородица! — затягивала Аграфена Ивановна. — И за что нам такое наказание! Всю-то ноченьку напролет, до третьих аж кочетов, пропадала где-то, сукина дочь!

— Известно где, — подхватывалась Штопалиха, — у братца твоего, Степана, в погребице укрывались. Ты бы, кума, постыдила его, чего это Степан не турнет их оттедова! Заодно, знать, с ними. Оно и понятно, Фенька его комбайн на своем тракторе всю войну протаскала, другая бы убегла от него, ведь он, окаянный его возьми, точно ястреб, заклюет любого, а она терпела. Правда, он хоть и ярился на нее, матерился на чем свет стоит, а любил, похоже. Увидал меня ночесь — я за калиткой у него притаилась, пришипилась, — увидал меня, милые, да как гаркнет: "Ты что, — орет, — старая ведьма, тут торчишь, чего ты тут забыла, такая-разэтакая!" — да как схватил вилы!.. Меня, девоньки, точно ураганом подхватило, в один момент дома очутилась! Откель только прыть взялась в старых моих ногах, днем-то с трудом двигаю ими, ревматизм замучил вконец, цельными ночами гудут- гудут...

— Неужели у Степана? — ахала Аграфена Ивановна. — И что с ней, бабы, сотворилось? Пять, почесть, годов держалась. Кто толечко к ней не подмасливался, гнала всех в три шеи. А тут — на тебе! Стыду-то никакого!

Ну а что же с Фенею? Наласкавшись вволюшку, хмельная и оттого неоглядно отважная, к утру она, однако, трезвела, хмель сходил с нее, и тогда, встревоженная и задумчивая, говорила необычайно сухо и рассудительно:

— Уезжай, Авдей, завтра же уезжай. Дорого нам обойдется краденая эта любовь!

— У кого же это мы ее воруем?

— Ни у кого. Но все равно уезжай. Не дадут нам покоя!

— Иль ты старух испугалась? Да черт с ними, пускай судачат, чешут свои языки, когда-нибудь да надоест им это и умолкнут, — говорил он, а на душе у самого было тоже неспокойно, муторно. — Если невмоготу тебе, давай уедем в Ленинград, распишемся там.

— А паспорт? Где я его возьму? Ты разве забыл, что мы, колхозники, беспаспортные?

— Выдадут тебе паспорт, когда выйдешь за меня.
— А куда Филиппа дену? На тятину шею повешу?
— И Филиппа заберем в город!
— Нет, Авдей, Филипп тебе не родной сын и никогда им не будет. Ты уж поезжай один.
— Не могу я без тебя, Феня. Разве ты не видишь?
— Вижу, да что поделаешь! Плетью обуха не перешибешь.
— Подумаешь, обух — старухи! Умолкнут, говорю, затихнут. Завтра же пойдем в сельсовет и распишемся. Санька Шпич выдаст свидетельство.
— Нет, Авдей, давай погодим малость. Может, мать твоя и вправду опомнится, затихнет.

Так ничего толком и не решив, они расставались до следующей ночи в надежде на то, что людская молва рано или поздно утихнет, а матери их в конце концов вынуждены будут примириться с положением вещей.

Но в стане ворчуний ничто не предвещало скорого затишья. Авдотья, Аграфена и Матрена вовсе не собирались складывать оружия. Напротив, они преследовали Авдея и Феню теперь уже открыто, шагу шагнуть не давали, неожиданно для влюбленных появлялись в самых, как думалось Авдею и Фене, укромных местах — на глухих лесных полянах, в какой-нибудь заброшенной, заколоченной избушке на окраине Завидова или даже соседней деревни, у тракторной будки на далеком полевом стане, в домике лесника Архипа Архиповича Колымаги, расположенном в пяти верстах от Завидова, на берегу Лебяжьего озера с его недоброй славой... Но и там объявлялись либо Аграфена Ивановна, либо Авдотья Степановна, либо Штопалиха, самая дотошная из них, либо все вместе. Обнаружив скрывавшихся, бабы подымали такой крик, что слышно их было за целые километры. Довели бедных влюбленных до того, что те готовы были убежать хоть на край света.

5

И они убегали. Но покамест еще не на край света, а в районный поселок и там несколько дней скрывались в тихой и доброй хижине тетеньки Анны, благо что сама Тетенька не осуждала ни Авдея, ни тем более Феню, которую давно знала и к которой особенно привязалась душой за время войны, — на Тетенькину доброту Феня отвечала своей добротой: где открыто,

а где и тайно от матери привозила одинокой женщине то ведерко картошки, то немножко ржаной мучицы, то свежего, только что откинутого творога, то кусок стирального мыла, присланного с фронта Леонтием Сидоровичем, того самого мыла, которое было в ту пору на вес золота. За все за это, а более того за Фенину чуткость и теплоту тетенька Анна, как известно, брала к себе маленького Филиппа иногда на неделю, иной раз на месяц, — в сорок втором мальчишка находился на Тетенькиных руках и харчах всю зиму.

Словом, тетенька Анна не осуждала Авдея и Феню и не могла понять их матерей, употреблявших все силы на то, чтобы положить конец их связи.

— Погодите, я до них доберусь! — говорила Тетенька сердито, имея в виду Аграфену и Авдотью. — С ума, что ли, посходили! И как только им не стыдно! Сами разве не были молодыми! Ну Штопалиха — понятное дело. Энтой надо дочь свою пристроить, женихов-то нынче днем с огнем не сыщешь, а матеря ваши радоваться должны да любоваться на вас. Двоюродная племянница — эка родня! Седьмая вода на киселе. Твой плетень горел, а он, такой-то вот сродственник, заднее место грел. Вы уж простите меня, старую грешницу. В сердцах и не такое с языка сорвется!.. Нет, нет, доберуся я до них, я им языки-то поукорочу, старым дурам!

Между тем время шло, а Тетеньке все было недосуг наведаться в Завидово. Может, так и не собралась бы, если бы не приезд Сергея — теперь решила отправиться в родное село со всеми вместе, то есть с Авдеем, Фенею и Серегой. Перед тем как покинуть дом, не забыла зайти к соседке, у которой переночевали "преступники", сунула ей в руки ржаной сухарик с тем, чтобы та сделала из него тюрю для Шарика и покормила пса пополудни. Прикрыла ставнями окна, пошла было к вышедшим раньше ее и ожидавшим за калиткой гостям, да вспомнила про свою "кормилицу" козу Машку, которую чуть не забыла в хлевушке, всплеснула испуганно руками, быстро вернулась и отвела упирающееся по извечной козьей привычке животное на двор к той же соседке. Напоследок наказала:

— Не забудь подоить ее, Петровна!

— Подою, подою! — послышалось в ответ. — Поезжай и не беспокойся! Не пропадут твои ни Шарик, ни Машка. Ступай с богом!

— Ну, спаси тебя Христос, — удовлетворенно сказала Тетенька и только теперь присоединилась к тем троим.

Они вышли на грейдер, где надеялись перехватить какой-нибудь попутный транспорт. Феня уверяла, что нет такого дня, чтобы кто-нибудь из завидовских да не приехал в район.

— На машину можете не рассчитывать, — предупредила она, адресуясь прежде всего к Сергею. — На весь колхоз осталась одна полуторка, да и та сроду в ремонте. Лошадей тоже — раз-два, и обчелся. Есть, правда, правленческий жеребец Серый, сын того Серого, — помнишь? — но тятя держит его под семью замками в конюшне, никого к нему не пускает и никому не показывает. В район выезжает, как и все, на быках, боится, как бы Серый не приглянулся Федору Федоровичу Знобину, первому секретарю райкома, — разве такому человеку откажешь?

— Неужели в райкоме ни одной машины не осталось?

— Ни одной. В начале сорок пятого последнюю на фронт отправил Федор Федорович. Теперь на лошадях в села выезжает. Так что, Сереженька, придется тебе вместе с нами на му-два до Завидова прокатиться, — заключила Феня, улыбнувшись.

— Это еще что за машина такая — му-два?

— А вот сейчас увидишь. Вон она как раз выползает.

Вдалеке на грейдере обозначился возок, влекомый двумя волами. Вглядевшись в него, Феня сказала:

— Наша подвода, завидовская.

— Как это ты определила? — спросил в удивлении Сергей.

— По быкам. Видишь, какой слева от нас — это Веселый, а справа — Рыжий. Всю войну они с нами, бабами, провели, как же бы это нам их не узнавать! Почти всех мы сохранили. И этих вот двух, и Солдата Бесхвостого, и Ваньку, и Гришку. — Она помолчала, перевела дух и закончила горестно: — Только Цветка не уберегли, отбился ночью от остальных быков, ушел к Орлову оврагу, там его волки и подстерегли — одни рога да копыта оставили нам на память от Цветка! А какой был вол — не животина, а прямо-таки человек, с полуслова понимал нас и слушался, не в пример Солдату Бесхвостому. Но и Бесхвостый, как и другие, до сих пор выручает колхоз — без них бы пропали совсем. Вот и теперь хлеб вывозим на элеватор все на них же, на быках, с хвостами и бесхвостых...

— Хлеб весь с полей убрали?

Феня с Авдеем переглянулись: давно, мол, оторвался от колхозных дел, иначе бы не задавал такого наивного вопроса.

— Како там весь, — ответила Феня, — до самой зимы хватит нам этой уборки, подсолнухи, похоже, под зиму уйдут. Правда, их и по снегу можно убирать — высокие. А вот ежели с пшеничкой не управимся — беда. Остался у нас один-единственный комбайн, и тот давно бы отдал богу душу, если бы не дядя Степан. Только он как-то еще умудряется поддерживать в дряхлом этом старикашке жизнь...

Феня замолчала, и на этот раз потому, что волы были уже в десяти шагах от ожидающих. Феня и Авдей подивились, что погоняла их не женщина, как обычно, а помахивал кнутиком и покрикивал Тимофей Непряхин. На нижней губе его, как и всегда, держалась искуренная на три четверти самокрутка, а глаза щурились, силясь распознать, что же это за военный был среди его односельчан, которых он узнал еще издали.

— Никак это ты, Серега?! — заорал он что есть моченьки, просияв от столь неожиданной встречи. И не в силах, видать, удержать в груди восторга, разрядился короткой матерщиной, которая с его уст срывалась так часто и так свободно и естественно, что не смущала не только чьего-нибудь мужского, но и женского уха. Однако сейчас Феня строго отчитала его:

— Что же ты материшься, бесстыдник! И какой он тебе Серега? Аль не видишь погон? Может, нализался с утра?

— Нет, Фенюха, это ты зря. Маковой росинки во рту не было. Честно говорю — не осквернял я своих уст вонючей этой гадостью.

— Что-то не верится.

— Иди, дыхну!

— Дыхни на свою Антонину. Зачем в район-то мотался?

— Не видишь — запчасти к тракторам везу. В ногах валялся у этого сквалыги Федченкова. Ему бы не директором МТС — наркомом финансов быть. Ну и скупердяй! Что там Зверев! Дай этому волю, он не то что яблоню, но и крапиву за твоим плетнем налогом бы обложил!

— Зачем же за глаза такое о человеке говорить! — остановила Тишку Феня. — Ты бы прямо ему и выложил все это.

Тишка протяжно свистнул, подмигнув при этом Авдею и Сергею:

— Нашла дурака! Тогда бы не эти вот поршня да коленчатые валы я вез в Завидово, а кругленький шиш с маслом! Я ему такую оду пропел, что любой скряга раскошелится! — Непряхин оживленно рассказывал, а Рыжий и Веселый, воспользовавшись неожиданной передышкой, расслабив члены, пережевывая жвачку, предавались откровенной лени. От доброго расположения духа их вечно грустные воловьи глаза сейчас сладко жмурились.

— Да что же это за ода такая? — допытывалась Феня, взбираясь на фуру и приглашая туда своих спутников. — Подхалимничал, значит?

— За такие слова, Фенюха, мне бы следовало тебя с воза турнуть. Ты, милая, ввалилась ко мне, не спросясь разрешения...

— Видал его! Разрешения еще спроси! Аль быки в твою собственность поступили! Погоняй да рассказывай, как тебе удалось эти железки у Федченкова выцарапать. Ведь он и вправду скупой невозможно, — подтвердила она, очевидно, только для Авдея и Сергея. — Расскажи, Тиша, не сердись. Знаешь, поди, как я тебя люблю. Хочешь, обниму?

— Нет уж, голубушка, ты лучше отодвинься от меня подале. Так-то оно будет безопаснее. Мне моя голова дороже твоей любви, — Тишка покосился на Авдея, — у него вон какие лапищи-то. Подкараулит где за углом, поднесет разок — и нету Тимофея Непряхина.

— Будя уж прибедняться. В войну-то шустрый и храбрый был...

— В войну я и воевал один с вами, бабами. Кого мне было бояться!

— Ладно. Погоняй и рассказывай про Федченкова.

Тишка тронул быков, заменил самокрутку новой цигаркой, пристроил ее на толстой своей нижней губе, затянулся поглубже, не спеша, выпустил кольцо за кольцом дым не через две, а только через одну ноздрю (так мог делать один он на селе) и лишь потом начал, поглядывая украдкой почему-то на Сергея:

— "Андрей, — говорю, — Федорович, душа человек, войди в наше положение. В бригаде три трактора, и все обезножели без запасных частей. Я ведь, — говорю, — знаю, сколько колхозов вы за короткий срок своего директорства выручили из беды, на ноги поставили. Вы ни дня, ни ночи не имеете отдыха, ни себе, ни вашим рабочим не даете спокою, мотаетесь то по рай-

ону, то в область, до Москвы аж добираетесь, а достаете эти запчасти. Без вас бы мы и посевную, и уборочную — все как есть провалили, оставили бы страну без куска хлеба. И только благодаря вам...” Тут Федченков не утерпел, одернул меня. ”Ты, — говорит, — товарищ Непряхин, мне зубы не заговаривай, они у меня все здоровые, не пой мне твоих райских песен, не трать попусту красивых слов. Говори лучше, что ты от меня хочешь?..” И что бы вы думали? Унял я себя? — Тишка интригующе примолк, оглядывая попутчиков. Не рассчитывая, конечно, на их ответ, быстро и воодушевленно заговорил снова: — Как бы не так! Ежли уж я что начал, меня не остановишь. А потом, я знаю не хуже других: это ведь только на словах начальники уверяют, что не любят, не уважают подхалимов, но не отыскалось еще среди них и одного, которому не нравилось бы слушать хороших речей в свой адрес!

— А ты, Тимофей Егорыч, оказывается, психолог, — сказал Сергей.

— Это что, врач? Куда мне! Приучил меня пастух Тихан Зотыч в войну молодых бычков легчать — это верно, но до ветеринара, до врача то есть, мне далековато. Мозгов не хватает.

— А на подхалимаж, знать, хватило.

— Опять ты за свое, Фенька! Поглядел бы, какие слова ты бы сказывала в мэтээсе, ежели оставалась бы бригадиром. А то свалила все на Тишку. Какое кому дело до того, что я там заливал Федченкову! Важно то, что железки, как ты назвала их неуважительно, лежат в моей фуре, и завтра же, глядишь, две, а то, может, и все три мои машины воскреснут и будут подымать зябь... Ну, хватит об этом, тебя ведь, Федосья, не переговоришь. На то ты Леонтьевна. Вся в батьку угодила, тот любого в бараний рог согнет.

— Это кого же он согнул? — ощетинилась вдруг Феня. — Не тебя ли?

— Я не в том смысле. Ишь взъярилась — из глаз искры аж сыпятся!.. Упрямый твой отец, вот о чем моя речь. Завсегда на своем поставит.

— С такими, Тишенька, как ты да твой приятель Пишка, иначе и нельзя. Вы на шею сядете.

— На шее твоего родителя, Федосья, таких, как я, десяток угнездятся и ничего — не сломают. Она ведь у него как у Солдата Бесхвостого, прямо сказать — бычачья у него шея. И чем вы только с матерью его харчите?

— Он у нас главный работник, как же его не кор-

мить! А шея у него как у всех нормальных людей — обыкновенная. Ты со своей, Тиша, сравниваешь, да разве у тебя шея — хвост бычий, а не шея!

— Это ты правду сказала, — согласился быстро Тишка и обхватил свою шеенку так, что кончики большого и среднего пальцев левой его руки почти сомкнулись у затылка. — Моя Антонина, знать, на мне экономит еду. Сама, матушка, раздобрела, с похмелья не обойдешь, и с чего ее только так разносит, ума не приложу!

— Это после родов, — пояснила Феня, — у женщин такое бывает. Ты ведь, козел вонючий, и года не даешь ей передохнуть, и куда только плодишь!

— Вижу, Федосья, что ты человек негосударственный, иначе бы так глупо не рассуждала. Правду, знать, говорят люди: у бабы волос длинный, а ум короткий. Ежели б ты умела думать, то вспомнила бы, сколько мужиков мы потеряли на войне. Ты что же, милушка, считаешь, что опосля войны нам солдаты не надобны будут?

— Да вы-то ведь со своей Антониной не солдат, не мужиков на свет производите, а сплошь одних девчат, а в Завидове и без них нами, бабами, хоть пруд пруди. Деремся из-за вас, паршивых, аж клочья от нас летят!

Авдей, Серега и тетенька Анна сидели и не вступали в эту несердитую словесную перестрелку. Только переглядывались между собой и тихо улыбались.

Тишка, сунув кнутовище под мосластый зад, еще раз сменил цигарку, продолжал совершенно серьезно:

— Насчет женской драчки это ты верно говоришь, Фенюха. Одна война окончилась, началась другая — бабья. Бывало, когда ни приду домой, за полночь или даже с третьими кочетами, моя Антонина и слова не скажет. А теперя, задержусь где на один час, со свету сживет, такой допрос учинит, что твой районный прокурор, всю душу вымотает! "Сказывай,— кричит,— у какой нынче под бочком лежал?" —"Ты что,—говорю,— сдурела?! В правлении с мужиками дела колхозные обсуживали, обмозговывали, значит, как нам жить дальше, а ты?..", Куда там! "Знаю, — орет, — про твои дела!" — и за ухват... Приходится в чужой бане искать политическое убежище... Так и сражаемся кажный божий день.

— От таких "сраженьев" дети не рождаются, — заметила Феня, смеясь одними глазами.

Тишка по-прежнему был чрезвычайно серьезен.

— Бывает и промеж нас перемирие, — пояснил он.

— Частенько же вы миритесь! Антонина небось опять уж понесла.

— Нету. У нас с ней крутой разговор вышел.

— Из-за чего же? — полюбопытствовал Авдей.

— Ты Федосью свою спроси. Она, поди, слыхала. Да про то все Завидово знает.

— Расскazывай сам, — попросила Феня.

— Родила мне Антонина последнюю дочь на цельный месяц раньше сроку, — повествовал Тишка с редкой для такого случая откровенностью. — Дождался я, когда она оклемалась, отудобела после родов. Спрашиваю: "Как же это, милая, получилось, что ты разрешилась до времени?" Отвечает — и хоть бы что дрогнуло в ее обличье: "Недоносила, недоносок она у нас, Тиша". "Недоносок, значит? — спрашиваю свою женушку, потом приношу из сеней безмен, взвешиваю дитятю, а в нем — не поверите — без малого пять кило! — Ну и недоносок! — говорю Антонине. — А сколько же бы он потянул, ежели б ты его доносила?!"

— Да ребенок-то, наверно, подрос, — заметила Феня.

— Ишь нашлась заступница! Когда бы это он успел подрасти, ежели я взвешивал на третий день после родов? Это ведь только у царя Салтана такие богатыри родятся и растут не по дням, а по часам, да и то в сказке. А я на царя вовсе даже непохожий.

Посмеялись, поговорили еще, потом, видать, приустали и до самого села ехали в полном молчании. Только Тишка время от времени покрикивал на волов да причмокивал губами, хотя мог бы этого и не делать: ни это его покрикивание, ни причмокивание, ни даже кнут, коим он частенько жаловал то Рыжего, то Веселого, ни в малой степени не действовали на животных: быки переставляли свои клешнятые ноги не реже и не чаще того, как делали это в начале пути, в его середине и как будут делать у финиша, то есть у самого Завидова, — кто угодно мог при нужде изменить своим привычкам, но только не волы!

При въезде в село из-за палисадника крайней избы метнулся к фуре чернявенький, удивительно похожий на Тишку мальчуган лет пяти. Тишка резко наклонился, ловко подхватил его и усадил на колени.

— Твой? — спросил Сергей.

— Нет... — неуверенно пробормотал Тишка.

Авдей и Феня промолчали.

— Ты чей? — обратился капитан к чернявому.

— Мамкин! — бойко ответил тот и взял из рук "дя-

ди Тимофея" вожжи, закричал грозно: — Цоб-цобе, Веселый! Рыжий, цоб-цобе!

Из-за угла другой избы выскочил еще малец чуть поменьше да посветлее, очевидно, приятель первого. Этого уже подхватил Авдей и посадил к себе на колено.

— А этот чей? — вновь спросил Серега.

— И этот мамкин, — грустно сказала Феня.

— Это наш сталинградец! — гордо выпалил Тишка.

Феня так ворохнула в его сторону своими глазами, что Тишка сейчас же прикусил язык. Потом, оправившись от минутной растерянности, изрек глубокомысленно:

— Все тут, Серега, наши. Чужих нету. Нам их и растить! — Он посмотрел куда-то в сторону, в какой-то проулок, воскликнул совсем уж весело: — Увидал, увидал, паршивец! Вон как нарезает!

К подводе с ликующим воплем мчался Филипп Филиппович, Фенин сынишка. Ученическая сумка трепыхалась за его спиной, как крыло большой птицы. Счастливые слезинки сами собой выскочили из глаз его матери, вдруг необыкновенно похорошевшей, и шустро покатились по разрумянившимся щекам.

— Ура-а-а! Мамка едет! — кричал Филипп, теперь уже размахивая сумкой перед собой, рискуя заехать ею в ухо дружку, в последнюю минуту выскочившему из какой-то избы и присоединившемуся к чужой радости. Филипп намеревался с ходу вспрыгнуть на фуру, но, увидев в ней Авдея и другого незнакомого ему мужчину в военной форме, застеснялся, остановился как вкопанный и разочарованно приутих.

— Иди скорее, сынок, гостинца тебе Тетенька привезла! — позвала Феня, торопливо развязывая у себя на коленях узелок и указывая глазами на сидевшую рядом и светло улыбающуюся старуху, которая так же, как и Авдей с Сергеем, ни разу не включалась в Тишкину с Феней болтовню, может быть, потому, что прикидывала в уме и взвешивала то, что должна будет сказать своим подругам, Аграфене и Авдотье. Никто из сидевших в возу и не приметил, когда этот узелок оказался в руках Фени, и уж совсем было не понять, какой гостинец могла наскрести в своей избушке давно овдовевшая солдатская мать, — не мог, например, Серега вспомнить сейчас про тот кусочек сахару, который появился на столе хозяйки словно для того только, чтобы сейчас же вновь исчезнуть; а он-то и составлял основу гостинца, скрывавшегося в узелке.

Но и гостинец не превозмог Филипповой застенчи-

вости. Тогда Феня, наскоро попрощавшись со своими спутниками, пригласив Серегу и Тетеньку наведаться к ним "ужо", не включив в число приглашенных лишь Авдея и Тишку, первой спрыгнула с воза и быстро двинулась к сыну. Сунув в его руку узелок, хотела поднять Филиппа, но тот так тряхнул плечом, что мать с недоумением посмотрела ему в глаза и молча пошла дальше; Филипп шагал рядом и не брал руки матери, которая все время подсовывала ему ее. На опечаленный вдруг и удивленный ее взгляд сказал по-мужски грубовато:

— Я, мам, чай, не маленький, чтобы за твой подол держаться или там под ручку...

— Ах да! А я, сыночка, совсем забыла, что ты у меня уже мужик, — сказала она; просторно улыбнувшись, спросила: — У нас все дома?

— Все, окромя Павлика.

— А Павлуша где?

— В поле. Зябь распахивает. На твоем тракторе. Я у него вчерась был за прицепщика, мам! — сообщил под конец главную свою новость Филипп, ту, что собирался поведать в последнюю и самую торжественную минуту, да не вытерпел и выложил сейчас.

Феня испугалась:

— Вы с Павликом с ума сошли! Вот я ему задам!

— А вот и не задашь! Мне дедушка разрешил!

— И дедушка, знать, поглупел с вами. И ему влетит от меня. Уроки-то приготовил?

— А то нет! Я и стихотворение выучил. Хочешь, расскажу?! — И, не дожидаясь согласия матери, начал звонким и вибрирующим, как балалаечная струна, голоском декламировать:

У лесной опушки
Домик небольшой.
В нем давно когда-то
Жил лесник седой...

— Ладно, ладно. Будя уж! Вижу, что знаешь, — молодец! Пойдем скорее. Вон бабушка Груня уже вышла к калитке нас встречать.

Вслед за Феней покинули Тимофея Непряхина и Авдей с Серегой. Эти свернули в проулок, который ближним путем должен был привести их к старенькой избе Авдотьи Степановны. Собралась было с ними и тетенька Анна, но Тишка удержал ее, даже обиженно воскликнул:

— Это за кого же ты меня, Тетенька, принимаешь! Аль трудно мне тебя к Авдотьиному двору подкатить?! Моим быкам, как бешеной собаке, семь верст не круг! Не пройдет и минуты, как мы... это самое... домчимся!

Прошло, однако, с полчаса, прежде чем Веселый и Рыжий "домчали" Тишку и единственную теперь его спутницу к Авдотьиному двору. Зная хорошо повадки своего нынешнего погонщика, волы подвернули к плетню, где неосторожно возвышался крохотный стожок заготовленного хозяйкой сенца, и погрузили в него по самые глаза свои морды, со свистом потянув раздувшимися ноздрями острый и душноватый запашок; Тишка же, как того и ожидали волы, увязался за тетенькой Анной в избу. Сергей Ветлугин был не просто племянником Авдотьи, — рано осиротевший, он в предвоенные годы жил у нее и был вроде младшего Авдеева брата, так что, думал — и совершенно справедливо — Тишка, тут не обойдется без угощения.

Авдей и Сергей к тому времени находились уже в доме, а по дороге первый успел сообщить:

— Тот чернявенький мальчишка знаешь чей? Марии Соловьевой. Говорят, от Тишки.

— А-а-а, то-то Непряхин поперхнулся.

Авдей возразил:

— Ну, положим, Тимофея трудно чем-нибудь смутить. А вообще-то, веселого и у него, у Тишки, мало. Ему, как и Соловьевой, предстоят нелегкие объяснения с ее мужем, с Федором, который не сегодня-завтра объявится. Вот, брат, какие тут пироги!

— Да-а-а, круто замесила их война, — сказал тогда Сергей.

— Куда уж круче! — горячо заговорил Авдей, будто только и ожидал момента, когда может выплеснуть наружу давно накипевшее в нем. — И какой это идиот мог сказать, что война все спишет?! Ну, нет! Война — жестокий бухгалтер. Она ни о чем не забывает и никому ничего не списывает и, наверное, долго еще будет хранить строгие свои счета. Так что...

— Это верно, — остановил его Сергей. — Конечно, ты мог бы попытаться обмануть этого "бухгалтера", как-то запутать или даже уничтожить, сжечь его архивы. Но что поделаешь со своей совестью? Ее ведь не обманешь. Рано или поздно она выдаст тебя и безжалостно отдаст на суд честным людям.

Сергей говорил это, а глаза помимо его воли оглядывали селение, то самое, о каком неотвязно думалось и помнилось и в горчайший час Сталинградского побои-

ща, и у Белгорода, под Верхней Масловкой, в кровавые июльские дни сорок третьего, и на Днепре в утлом суденышке, в той крестьянской долбленке, которая, схваченная цепкими лапами немецких прожекторов, ныряла в багровых — не то от крови, не то от зарева пылающих по обе стороны хуторов — волнах песенной реки, неся на себе один лишь минометный расчет, вместе с которым переправлялся на правый берег и он, тогда лейтенант Ветлугин. Помнил он о Завидове и в далекой Венгрии, на неведомом ему до той поры Гроне, в общем-то ничтожной речушке, отмеченной далеко не на каждой карте, но унесшей так много солдатских жизней. Завидово было с Сергеем Ветлугиным и там, в Косовой горе, чехословацком селеньице, в котором Сергею Ветлугину и его фронтовым побратимам довелось встретить Победу. И удивительное дело: тогда он как бы впервые за четыре почти последних года стал явственно различать звуки, которые до него почему-то не доходили на фронтовых дорогах. Первое, что он услышал, выйдя поутру из своей землянки, это оглашенный и, как ему показалось, ликующий крик петуха, взлетевшего на изгородь у окраинного домика. Замерев, прильнув сердцем к этому звуку, Сергей чуть не заплакал от счастья, от невыразимо острой, пронизавшей его насквозь жажды жизни и нетерпеливого желания поскорее оказаться в родном селе, тихо присесть где-нибудь за калиткой, на скамеечке и, наблюдая, как просыпаются, а потом угасают ночные небесные жители-звезды, прослушать всех завидовских петухов — от первой их, поначалу редкой и нерешительной, разрозненной еще переклички до последней, предзоревой, сочной и отлаженной, хорошо руководимой каким-то опытным и невидимым дирижером побудки. О нехитрая, простейшая кочетиная капелла, кто бы мог подумать, что и ты способна обжечь душу фронтовика, сладко и больно коснуться его сердца, почему-то не окаменевшего от пережитого и увиденного за четыре года самой страшной войны!

Сейчас Сергей шел улицей, по которой мог бы пройти и с закрытыми глазами — так часто он хаживал по ней когда-то! — но он не закрывал своих глаз, они у него были голодны и жадно выхватывали из порядка то одну, то́ другую избу. Избы эти когда-то казались ему высокими и статными, а сейчас по-старушечьи усохли, пригорюнились, глубоко, по самые окна, погрузились в землю, так что куры без помощи завалинок склевывали замазку на стеклах. Почти у всех домов коньки

крыш прохудились, поверху безобразно обнажились ребра стропил и кривые сучкастые перекладины, обглоданные и облизанные вышними ветрами и временем. Трухлявая, позеленевшая, обомшелая солома кровли сползла вниз, понависла над окнами, сделав дом похожим на дряхлого, подслеповатого, оплешивевшего и насупившегося старичка. Ставни на окошках — до войны их красили каждую весну черной и синей краской — когда-то делали избы молодыми, по-девичьи свежими, черноокими или синеглазыми, всегда радостно́ приветливыми, теперь либо вовсе сорваны, либо кособоко держались на одной петле, кривя и всю хижину. Стекла за малым все побиты, кое-как склеены дольками газетной бумаги, а то и совсем заменены фанерой.

Сергею хотелось как-то подбодрить эти наполовину порушенные человеческие гнезда, чем-то утешить, сказать: "Потерпите немного и вы, как терпели ваши хозяйки, придет час, и подведут вам новые венцы, подымут поближе к солнцу, сменят крыши, вставят стекла, смастерят наличники и ставни краше прежних, и вы вновь заулыбаетесь свету вольному, а прохожий будет на вас любоваться!" На сердце уже теплело от этих не произнесенных пока слов, но когда они были произнесены — это произошло уже в доме Авдотьи Степановны, — то были грозно и тревожно подавлены другими словами, сказанными будто уже не этой приветливой и ласковой хозяйкой, не знавшей, где посадить и чем угостить столь дорогого и неожиданного гостя.

— Ох, Серега, Серега! — тяжело вздохнула Авдотья Степановна. — Ты уж прости старую, что зову тебя как прежде. Для меня ты, сынок, так и останешься Серегой, а в ваших чинах-званиях я не очень-то разбираюсь... Вот ты про новые дома калякал... Может, Сереженька, другое заговоришь, когда поживешь с нами неделю-другую. Кто же, милый, будет нам подводить те венцы, менять крыши, вставлять стекла да выстругивать наличники и ставни? Много ли мужиков возвернула нам война? Какой-то там десяток, а исправных и того мене. У одного, поглядишь, руки нету, у другого ноги, у кого — правой, у кого — левой... Слезы горючие, а не работники!.. А двое только по одному глазу привезли с собой. Ну, какие же они мужики!

Тишка, закуривая, продолжал:

— Я энтим инвалидам предлагал. "Обобществите, — говорю, — ребята, свои руки, ноги и глаза, как в тридцатом годе тягловый скот или, как теперь вот,

коров". Ты, Сережа, поди, не знаешь, что сейчас у нас по одной корове на два, а то и на три двора. В войну одной солдатке коровы не продержать, не прокормить, вот бабы и объединились, да так и живут. Это самое я, значит, и предлагаю фронтовикам. "Обобществите, — говорю, — тогда у вас на двоих по две руки, по две ноги и два глаза получится — как-никак легче будет!"

— И что же, приняли они твое предложение? — полюбопытствовал капитан, грустно улыбнувшись.

— Как бы не так! Даже шутки не приняли — осерчали. А дружок мой, Пишка, так тот сказал: "Прочитал,— говорит, — я, Тиша, в какой-то ученой книге, что в человеческом мозгу двенадцать миллиардов клеток, а одних нервных волокон, ежели их выпрямить, от Земли — нашей, стало быть, планиды — до самой аж Луны хватит. Но ить, — говорит Пишка, — то у нормальных, умных людей. А в твоем, Тишка, мозгу и дюжины не отыщется тех клеток, а волокна, знать, там короче волоса, какие у бабы на известном месте произрастают!" Инвалиды посмеялись — им что?! — и разбрелись по домам, а обидные Пишкины слова занозой торчат у меня вот аж тут! — Тишка драматически коснулся рукой левой части груди. Закончил же так: — Авдотья Степановна правильно говорит: некому покамест поправлять наши домишки да и все протчее хозяйство. Может, ребятишки подрастут, тогда... Да ведь их еще надо понаделать, тех ребятишек! А баба без мужика родить еще не научилась. Они не буренки, чтобы искусственно осеменяться...

— Да перестал бы ты болтать, бесстыдник! — одернула хозяйка Тишку, забывшего о границах, какие все-таки бывают для людских речей. — Ну ж и поганый у тебя язычище, Тимофей, хоть бы кто-нибудь тебе его маненько подрезал. Меня, старухи, постеснялся бы, каково мне слушать такое паскудство!

— Да ведь слова из песни не выкинешь! — возразил Тишка.

— А ты побереги свои песни для себя, — посоветовала Авдотья.

— Поберегу, мать, так уж и быть, не оскоромню твоего нежного уха. Правду сказать, трудненько мне будет удержаться, да что поделаешь: в чужой приход с своим уставом не ходют даже попы. А ты, может, Степановна, вознаградишь меня за такую выдержку?

— Вознагражу, — и хозяйка кивнула на угол возле печки, где были у нее ухваты, кочерга и еще какие-то штуки из кухонной утвари.

— Понятно, — медленно вымолвил Тишка и покорно вышел из-за стола. Под конец изрек обычное: — Спасибо этому дому, а я пошел к другому! — Уже у порога сказал приличия ради: — Заглядывай ко мне, Сережа. И ты, Авдей.

— Как-нибудь заглянем.

— Ну, тоды до свиданьица. Прощай, мать, и не гневайся. Ты, чай, не барыня, чтобы наших мужицких речей бояться.

— Да ступай ты, ради Христа! — прикрикнула Авдотья, подталкивая Непряхина в сени. — Вот уж истинно говорят: "Не бойся гостя сидячего, а бойся гостя стоячего!" И не прогневайся на угощенье мое. Чем бог послал.

Двумя или тремя минутами позже длинные бычьи рога проплыли мимо окон в угрожающей близости от них.

— Дьявол бы его побрал! Последние стекла выдавит! — встревожилась Авдотья Степановна, а когда увидела, что стекла остались целы, добавила: — Колготной мужичишка этот Тимофей, а в войну цены ему не было, дай-то бог здоровья его грыже, из-за нее и не взяли Тишку на позиции. Выручал он нас, бабенок. По весне украдкой от району вместе с Фенюхой огороды наши трактором распахивал... А плату брал одну: стакан самогону, а коли не было, не обижался — на нет и суда нет! В партию его, вишь, Ермилыч хотел завлечь. А Тишка — нет! "Грехов, — говорит, — у меня по моральной части многонько, куда с такими в партию! Ты, — говорит, — дядя Коля, хоть и старый большевик, но не священник, грехов моих отпустить не могешь. Останусь я, — баит, — беспартейным большевиком!" На том, знать, и порешили.

— Ну а как он, дядя Коля, живой, здоровый? — быстро спросил Сергей, и глаза его заблестели.

— Живой. Скрипит пока.

— Вот что значит морская закалка! — сказал Авдей.

— Дядя Коля... Любили мы, завидовские мальчишки, его. Чудной он какой-то, непохожий на других. Вот кого бы мне хотелось поскорее увидеть! — признался Сергей и даже смутился немного, вспомнив, очевидно, что этим своим признанием мог обидеть тетку.

Но Авдотья Степановна не обиделась — заговорила о Ермилыче с глубоким уважением:

— Увидишь, куда он от тебя денется! Тоже, почесть, всю войну с нами, бабами, провоевал. Как только выдержал — ведь давно сёмой десяток разменял. Гля-

нешь, бывало, не него — в чем душа держится, а все бежит, торопится куда-то, везде поспеет — и на поле, и на огороды, чтобы Апреля и его баб подстегнуть, и н фермы колхозные, и вдове-солдатке слезу иной раз утрет... А по работе не было у него пощады ни себе, ни своей Орине, ни всем протчим. Измотаемся, бывало, моченьки уж нашей нету, просим: "Отпустил бы на час домой, Ермилыч, руки отваливаются!" А он: "Ничего, бабыньки, опосля войны отдохнем аль на том свете! Видите, просо-то как осотом да молочаем заросло! Оставим солдат без каши. А солдат без каши не солдат. Это говорю вам я, старый матрос Балтийского и Черноморского флоту!.. Да ить и немного осталось пропол-ки! К закату как раз управимся. Глаза страшат, а руки делают! Вы, бабыньки, не вперед смотрите, а вниз, на сорняк, — тогда поскорее дойдете до конца вашей делянки. Я маненько постарше вас, да не хнычу! Так что вперед, бабы, и смерть тому супостату Гитлеру!" Скажет, милые, такое, мы и заулыбаемся, откель толь-ко силы возьмутся — так и дергаем тот молочай, пока-мест весь не прикончим! И он с нами... иной раз дотем-на протолошится... Да и теперь ему бы на покой — ник-то бы не упрекнул. Человек сделал на земле свое дело, да и колхоз давно Левонтий у него принял. При всем народе обнял в клубе, сказал: "От ыхай, Ермилыч, спасибо тебе!" Не стерпел, сердешный, Ермилыч-то, всплакнул, ну а мы, бабы, и того пуще — зашмыгали носами все разом! А он спрятал от нас свое лицо да и кричит: "Перестаньте! Чего ревете как над упокойни-ком! Аль на радостях, что избавились наконец от ста-рого ворчуна! Не торопитесь, бабы, дядя Коля еще не все позиции сдал!" И правда, не сдал! Торчит в правле-нии до́си. Ране председателя туда приходит, по старой привычке женщинам наряды дает... — Авдотья Степа-новна всплеснула руками, спохватилась: — Что же это я заболталась, дура старая! Обкормила, поди, гостей бабьими своими речами. Ты уж не прогневайся, Анна! — вспомнила наконец и про Тетеньку, не проронившую ни единого слова в течение всего этого времени и толь-ко внимательно слушавшую и наблюдавшую, что го-ворилось и что делалось в доме давнишней подруги. Тетенька и сейчас промолчала, лишь поощрительно взмахнула рукой: что, мол, ты, Авдотья, продолжай, разве мне не любопытно узнать, что творится в род-ном Завидове!

А Сергей поспешил успокоить хозяйку откровен-ным признанием:

— Что вы, тетка Авдотья! Мне, например, это даже очень интересно. Рассказывайте.

— Нет уж, на сегодня будя с вас. Накалякаемся еще, успеем. А ты, Серега, и вправду сходи к Ермилычу, проведай старика, рад будет до смерти, его ведь хлебом не корми — дай только с фронтовиком, служивым человеком, вдосталь поговорить.

Авдотья Степановна рассказывала и будто не видела, что ее сын уже несколько раз подмигнул Ветлугину, чтобы тот поскорее закруглялся в беседе с его словоохотливой матерью: сыну не терпелось поскорее отправиться в другой дом, запретный только для него одного, но вполне доступный и ему, ежели они пойдут туда вдвоем. Но когда Авдей подмигнул еще раз, мать сурово нахмурилась:

— Да что ты все подмаргиваешь, Авдей! Аль я не вижу, что тебе не сидится с матерью, ерзаешь на лавке, словно на ежовину тебя усадили. Не бойся, никуда от тебя не убегет энта... — глянув на гостей, оборвала свою речь, воздержалась от какого-то грубого слова, приготовившегося сорваться с ее уст, позаботилась о его замене более пристойным: — Не ускачет энта... вертихвостка.

— Это ты о чем, мать?

— Все о том же.

— Постыдилась бы гостей-то.

— А чего мне их стыдиться? Они свои. Я им еще не то — все как есть расскажу. И тогда не мне, старухе, а тебе, сынок, стыдно будет... Ох, Аннушка, знала бы ты, какое несчастье на мою голову свалилось... — блеклые, сморщенные губы ее задрожали, лицо изломалось гримасой боли, задрожали и первые слезы на глазах, но Авдотья Степановна быстро взяла себя в руки, вытерла углом платка глаза, высморкалась в тот же платок, закончила, через силу улыбаясь: — Чего же это я мелю, старая кочерга! Все у нас хорошо, Аня, и нечего мне бога гневить.

— То-то и оно. Давно бы так-то! — заговорила наконец и тетенька Анна. — Сын вернулся, чего же еще! Не каждая мать могет теперь похвастаться таким счастьем... — замолчала, сдавленная подкатившимся к горлу сухим горячим комком. Вздохнула, строго глянула на Авдея с Серегой: — Ступайте, ребятишки, погуляйте, покажитесь людям, пускай на вас полюбуются. А мы уж с Авдотьей одне посумерничаем. К Аграфене Ивановне не забудьте зайтить. Она, чай, все глаза проглядела, тебя, Сережа, ожидаючи. Можа, про сына ее, Гришу,

новое что расскажешь. Ступайте, а ты, Авдотья, самоварчик бы спроворила, что ли? Не могу, грешница, без чаю.

Когда вышли на улицу, Сергей попросил:

— Ты вот что, Авдей. Ты иди прямо к Угрюмовым, а я сперва загляну в правление. Придем оттуда вместе с Леонтием Сидоровичем. Без него боюсь на глаза Аграфене Ивановне показаться. Странно, но я чувствую себя сейчас так, будто провинился перед ней в чем-то.

— Ну это ты зря.

— Может быть, и зря, но чувствую, что...

Сергей не довел своей мысли до конца — замолчал. Хотелось же ему сказать о том, что, готовясь к поездке в Завидово, он ни разу не подумал, да, пожалуй, и не мог подумать о тех мучительных "неловкостях", с которыми должен был неизбежно повстречаться, едва переступив черту, за которой начиналось родное село — свидание с ним связывалось в его представлении с чем-то обязательно радостным, светлым и праздничным как для него самого, так и для тех, кого он там увидит. И более всего это радостное и праздничное увязывалось в его сознании как раз с этими-то двумя домами — домом тетки Авдотьи, заменившей ему на время родную мать, и домом Леонтия Сидоровича Угрюмова, где в компании лучшего своего друга Гриши Сергей провел большую часть босоногой своей поры. Думалось, приедет, вбежит сначала в одну избу, и там все озарится, заулыбается от его появления, потом то же самое произойдет в другой избе, куда он тоже ворвется неожиданно и стремительно, как врывается в отворенную дверь упругий ветерок перед долгожданным, все освежающим и оживляющим дождиком.

В действительности все совершается совсем иначе. В первый дом он не вбежал, а тяжело поднялся по ступенькам, неся немалую часть груза от чужой вроде бы драмы, которая, однако, не могла не коснуться его сердца уже по одному тому, что была хоть и малым, но все-таки эпизодом величайшей человеческой трагедии, действующим лицом которой был и он, гвардии капитан Ветлугин. Во второй дом он не только не ворвался освежающим ветром, как хотел когда-то, а вообще не торопился, поскольку должен еще решить, не прибавит ли этому дому страданий своим появлением, не сорвет ли нечаянно тонкой, как молодой ледок на их речке, непрочной корки с едва зарубцевавшихся или только начавших зарубцовываться душевных ран у его обитателей, и прежде всего у Аграфены Ивановны, о встрече

с которой он теперь думал с больно занывшим, затосковавшим сердцем. Когда еще сидели в доме тетеньки Анны, там, в районном поселке, когда выходили вчетвером на грейдер и когда ехали на волах в Завидово, когда Сергей легонько впускал в одно ухо и еще легче выпускал в другое Тишкину болтовню, он все время помнил о словах Фени, о ее просьбе не рассказывать матери о гибели Гриши, о том, что Сергей своими глазами видел, как это произошло, — помнил и думал об этом, но еще больше о том, что не в силах будет солгать, если только войдет в дом Угрюмовых и встретится с глазу на глаз с Аграфеной Ивановной. Но и не пойти вовсе, уехать, не побывав в угрюмовской семье, он не мог, ибо это сказало бы сердцу Гришиной матери больше всяких слов.

— Ну так я скоро приду, — пообещал он Авдею, когда кончился проулок, по которому они шли, и когда надо было сворачивать на угрюмовское подворье. — Сейчас прихвачу только Леонтия Сидоровича.

Авдей ничего не сказал на это, только посмотрел вслед быстро удаляющемуся капитану. Покачал, отвечая какой-то своей нелегкой мысли, головой, медленно побрел к крыльцу один.

6

Правление колхоза находилось в том же доме, что и до войны. Но дом, некогда конфискованный у завидовского священника, сейчас, как и все дома в селе, был уже не тем, не дразнил своих бедных и — по бедности — скромных соломенноголовых соседок своей ярко-зеленой крышей с петухом на самой ее вершине, вырезанным из белого оцинкованного железа каким-то завидовским искусником, — именно петух придавал дому особенно заносчивый вид; не кичился теперь и высокой, сложенной из небольших, аккуратных, хорошо прокаленных кирпичиков трубой, которую венчала ажурная, похожая на царскую корона; не вызывал испуганно-завидчивых взглядов у прохожих и своим крыльцом, на какое вбежишь не прежде, чем пересчитаешь ногами дюжину широких дубовых ступеней, не издававших ни малейшего скрипа под любой тяжестью, — впрочем, до тридцатого года, то есть в то время, когда дом не был реквизирован и принадлежал одному своему хозяину, не всякий селянин отваживался не только чтобы подняться на это крыльцо, но и подойти к нему близ-

ко, да что там селянин — сам батюшка и его домочадцы появлялись на нем лишь по большим праздникам, да и то в летнюю только пору, когда крыльцо сплошь обвивалось длинными и цепкими руками дикого винограда и превращалось в подобие веранды, где можно тихо и покойно в кругу семьи или близких ей людей почаевничать и отвести душу в неторопливой тихой беседушке. В остальное время пользовались другим крыльцом, которое пониже и пускало людей в дом со двора.

Теперь ни того, ни другого крыльца не было. Главное порушили еще до войны, а то, что было со двора, само ушло под землю вместе с нижними бревнами дома; колхозникам не надо было подниматься по ступенькам, достаточно пнуть входную дверь ногой, и она впустит в чадную, прокуренную прихожую, где в ожидании наряда собирались мужики и с наслаждением затягивались крепчайшим самосадом, сдабривая его посоленными не менее крепко деревенскими побасенками. Это зимой. Летом же дверь не закрывалась вовсе, а чтобы она не хлопала попусту, раскачиваемая залетными ветрами, ее сни́мали с петель и прислоняли где-нибудь к глухой стенке, там и покоилась она до студеной поры.

И серебряный петух куда-то улетел с крыши, и труба не выглядела уже столь монарше; ажурная ее корона приглянулась одному механику из МТС, и дядя Коля, сговорившись с Феней Угрюмовой, махнул рукой и обменял эту красоту на обыкновенный, далеко не новый, но все-таки исправный радиатор для давно остановившегося трактора из женской бригады — на исходе войны она оказалась единственной в колхозе, поскольку заключительные боевые операции на фронте подчистую подмели последних механизаторов, бронированных и тех, что имели отсрочку по разным причинам. Через какую-нибудь неделю после выгодной дяди Колиной сделки с эмтээсовским механиком в военкомате уже приготовлялась повестка и для Тимофея Непряхина с его грыжей, да опоздала прилететь в Завидово: война окончилась раньше, чем военком успел ее, эту Тишкину повестку, подписать. В Фениной бригаде ужасно обрадовались и победе в войне, и тому, что Непряхин, один на всю тракторную бригаду мужик, оставался до лучших времен с ними, бабами да девчатами. Горевал, кажется, только один Тишка. Во всяком случае, жаловался он пахарям в юбках совершенно серьезно:

— Не везет мне, бабы! Не успел на войну. Тогда бы не те двое, Егоров и Кантария, — не они, а я водрузил бы победное знамя над Берлином, это уж точно, как пить дать. Я бы на тот рейхстаг быстрее обезьянки вскарабкался, никто бы раньше меня не смог. И геройская Золотая Звезда не у Егорова и Кантарии, а на моей груди бы блестела! — И, сказав это, Тишка выпячивал свою грудь, не увенчанную высокой наградой по досадной оплошности райвоенкоматовских писарей, не догадавшихся оформить повестку месяцем раньше.

Женщины подыгрывали:

— Первым, стало быть, вскочил бы на рейхстаг?

— Непременно! — решительно подтверждал Тишка.

— Это со своей-то килой? — сомневалась Мария Соловьева.

— Про болячки в таком разе забываешь, — резонно заметил Тишка и, мстя Соловьевой за обидный вопрос, напомнил: — Да ведь и ты, Мария, что-то не жаловалась на мою грызь, когда мы с тобой, бывалоча...

— Ничего промеж нас такого не было, понял?! — и Соловьева так ошпарила Тишку осатаневшими вдруг глазищами, что тот сейчас же согласился:

— Не было, не было, Марея! Это я пошутил.

— То-то же. Ты больше, Непряхин, не шути. Время для наших с тобой шуток, кажется, кончилось. Понятно?

— Понятно, — поспешно уверил Тишка, остолбенело глядя на Соловьеву, узнавая и не узнавая ее.

Фене почему-то стало жаль Тишку, и она сказала:

— А ты бы, Тимофей, телеграмму товарищу Сталину послал. Так, мол, и так, Иосиф Виссарионович, погоди маненько с окончанием войны-то. Дай и мне, Тимофею Непряхину, повоевать. Как же, мол, без меня...

— Ну и посоветовала! — прогневался Тишка. — Хоть ты, Фенюха, и бригадир у нас, а ум-то у тебя бабий!

На том разговор тогда и кончился, — вопрос о не совершенных Тишкою подвигах в Великой Отечественной войне больше в тракторной бригаде не подымался. Что же касается ажурной короны, то никто вроде бы и не заметил ее исчезновения. Буркнула, правда, что-то Катерина Ступкина, да и то, знать, по привычке. Но и эта первая на селе ворчунья быстро приутихла — может быть, потому, что своими глазами видела: корона была впрок трубе, "личила" ей, когда труба украшала новую железную крышу, теперь же, для полужелезной и полусоломенной, ажурная нашлепка подходила бы ничуть не более, чем Солдату Бесхвостому кавалерийское седло, — только подчеркивала бы неряшливость и беспри-

ютность утратившей былую стать кровли. Местами листы железа сорвались с гвоздей, проржавели, завернулись в рыжие дырявые жгуты и непрерывно грохотали, скрежетали или, зажавши замешкавшуюся где-то там струйку ветра, тонко сиротливо повизгивали, жалуясь на свое бесприютство.

В прихожей правления сидел, укрыв зачем-то в пригоршне дымящуюся сквозь пальцы цигарку, один лишь старик. Сергей поздоровался с ним и хотел пройти мимо к председательской двери, но пожилой колхозник проворно поднялся со скамейки и, выпрямившись, одернув на себе старенькую, явно с чужих плеч, великоватую ему гимнастерку, с которой не были убраны знаки старшего сержанта, преградил путь. Разглядев, однако, на плечах пришедшего офицерские погоны, смутился, сейчас же попытался отыскать оправдание своей промашке:

— Вы уж извините, товарищ командир, старика. Я ить думал... — он запнулся, оглядывая Сергея с ног до головы, — думал, без дела кто... А там правление заседает. Важные дела решают. Первый секретарь райкому попусту не приехал бы. Видал, поди, во дворе жеребца? Так это на нем Федор Федорович прикатил к нам еще до свету. Целый день шастал с Левонтием по Завидову — все как есть обнюхал, ну а теперя вон заседают. Чего уж они там высиживают, видит бог, не ведаю, не знаю. А вы, товарищ командир, входите. За вас, чай, мне по шапке не надают.

— Вы что же, Максим Савельич, сторожем при правлении?

— Не то чтобы... А ты откель, сынок, меня знаешь?— Старик с еще большим любопытством стал общупывать глазами Сергея. — Парень ты, кажись, не наш, не завидовский, а меня по имени и по отчеству назвал, а? Как же это?

— Эх, дядя Максим, дядя Максим! Вспомни, кто в тридцать пятом с тобою вместе прицепщиком работал, кого ты тремя годами раньше в своем саду крапивой по голому заду отстегал, кто с твоими сыновьями-близнецами, Ванькой да Петькой, дружил, в легкой кавалерии по охране урожая был, кто по нечаянности чуть было твою хату не подпалил — сам ты виноват, сызмала пристрастил нас к куреву, — неужели и это не помнишь? А кто в твоей бане прятался, когда Колымага по всему селу рыскал, отыскивая порубщика? А кто...

— Погоди! — замигал глазами Максим, озаряясь запоздалой догадкою.— Ну, чего ты зачастил, стреко-

чешь, как Штопалиха, а еще капитан! Кто, кто? Дай подумать — припомню, кто ты есть и чей будешь. Ведь вас, паршивцев, тьма-тьмущая была на селе до войны-то, разве всех упомнишь... Постой, да ты не Серега ли, Николай Лексеича Ветлугина, царство ему небесное, сынок? Сдается мне...

— Наконец-то! — радостно перебил его Сергей и, взяв старика за худые, угловато выпиравшие из-под гимнастерки плечи, отвел к скамейке, на которой присел и сам.

— Как же, как же, помню! — продолжал Паклёников с нарастающим воодушевлением. — Мы ить с твоим отцом, покойником, были дружки-приятели. Не только тебя, но и нас крапивой угощали в чужих садах — куда от нее денешься! Больше, правду сказать, мне влетало по дурости моей. Твой-то батюшка известный был плут — меня посылал к яблоням, а сам у плетня, в безопасном местечке, притулялся. Я, говорит, буду на карауле, как, мол, завижу хозяина, свистну, дам тебе знак, а ты, Максим, и удирай. А где мне слушать тех сигналов, коль я заберусь на самую вершину и жадничаю там, наполняю пазуху... Может, твой отец и свистнет когда, да только я-то не услышу. А хозяин сада тут как тут. Ну и отдерет, обработает мой зад энтой крапивой по всем правилам. А Колькин и след простыл — шустер был покойник, быстрее его, мотри, никто в Завидове и не бегал. И надсмешник был первый. Увидит на другой день меня, спрашивает: "Может, Максим, еще разок наведаемся в Горохов сад?" Говорит так, а самого, чертенка, всего трясет от смеха. И за что только я к нему привязался? Дня, бывало, не мог провесть без Кольки!

— Он что, действительно был такой хитрый, мой батя? — спросил Сергей, который насмешливый характер отца и на себе не раз испытывал, слышал о нем от многих завидовских мужиков, но про отцову хитрость — впервые.

— По этой части, сынок, равных твоему родителю в нашем Завидове не было. А вот смертушку и он не мог обхитрить — подстерегла и его и Лизавету, матушку твою, подкосила в самом расцвете сил! Да только ли их! Тридцать третий годик прокатился по-над Волгой-матушкой лютее иной войны, сколько народу смахнул с землицы — не счесть! И отца твоего за компанию с другими... А какой был мужик! Мы ить с ним всего-то навсего два класса церковноприходской одолели, из третьего, последнего, нас вытурили за всякие геройст-

ва. Колька священнику, отцу Василию, — на божьем законе дело было — гнилую помидорину в галошу подсунул, ну а я не захотел отставать, отмочил штуку еще похлестче — оправился на крыльце вот этого батюшкиного дома. Нас, конечное дело, поперли из школы с кандибобером!.. Твой отец и с энтими двумя классами в люди вышел, шутка сказать — в сельсовете секретарствовал, подчерк у него был наилучший, в районо приглашали, чтобы он там переписывал начисто какие-то важные бумаги. А я... что ж я?! Как был, так и остался осел ослом, али, сказать точнее, жуком навозным. Всю жизнь в назьме проковырялся...

— А я слышал, что ты в войну почтальоном был.

— Да я, Сережа, и ныне почтальон, будь оно нелад-но! Сторожем-то я тут по совместительству.

— Управляешься?

— А куда ж деваться! — продолжал Максим фразою, с которой обычно начинал и которой оканчивал любую свою речь. — Теперя у нас все что-нибудь да совмещают. Не люди, а какие-то совместители, право слово! Тишка вон Непряхин бригадир и тракторист, а Присыпкин Виктор Лазаревич, или Точка по-нашему, он у нас приезжий, странний, ты его не могешь знать, — так он и секретарь в Совете, и партейный секретарь в колхозе, неосвобожденным прозывается. Раз неосвобожденный, то зарплата тебе за такую должность не полагается. Да только от обязанностей никто человека в таком разе не освобождает. Как чуть что, мы к нему, к Точке... Голова у этого парня, скажу тебе, Сережа, хорошо устроена и крепенько держится на плечах. Неспроста, видать, Федор Федорович Знобин, да и другие из району, когда приезжают к нам, присматриваются к Точке. Прикидывают что-то там в уме, не иначе заберут к себе. А жалко будет — хорошая бы смена для нашего Левонтия была!.. Может, как раз об этом и подумывает Знобин — у него глаз наметан на стоющих людей... Ну, Точка — это все ж таки мужик, на фронте сержантом был. А возьми Настасью Вольнову! Она, правда, теперь не Вольнова, а Шпичиха, заарканил-таки девку Санька, сосватал чуть ли не в первый день своего возвращения с войны. Заарканил, да не совсем — в доме удержать не сумел. Настя у него и трактористка, и секретарь комсомольской ячейки, или как там ее теперь называют, такую должность? А давно ли я ей сопли утирал — поймаю, бывало, на улице, зажму двумя пальцами носишко и уберу у нее их... энти самые. Да-а-а, вот, Сережа, какие они дела! О чем, бишь, это я? Увело старого пусто-

мелю далеко в сторону... Ах да, вспомнил — это мы с тобой о совместителях толкуем. Я, Сережа, не только почтальон теперь и правленческий сторож, но и добровольный финагент!

Последнее слово выстрелилось у Максима Паклёникова как-то уж очень значительно и, должно быть, излишне громко, потому что председателева дверь приоткрылась и грозно осведомилась: "А потише нельзя?"

Приняв это замечание к сведению, Максим увернул голос почти до шепота, но повествования своего не прервал — продолжал неторопливо:

— Легко сказать — финансовый агент. А тут, сынок, особенная сноровка нужна и подход к людям...

— Налоги, что ли, собираешь, дядя Максим?

— И налоги, и подписку на заем.

— Ну, это дело хлопотливое.

— Не только хлопотливое, Сережа, но и щекотливое. А куда денешься! Уговорил Виктор Лазаревич. Берись, говорит, за это дело — и точка. Ты вот, сынок, на гимнастерку мою косишься: откуда, мол, она у старика? А ведь это его, Виктора, подарок. Сам принес прямо на дом ко мне. Одевай, говорит, товарищ фининспектор, казенная эта справа тебе сейчас надобна для большего авторитету. В солдатской форме, говорит, тебе будет сподручнее вести сраженье с бабами да стариками, какие не хотят платить налогов. И, говорит, погонов не сымай, Савельич, — с ними ты солидней выглядишь, не финагент, а прямо-таки маршал! Действуй!.. Ну и действую, от зари до зари хожу по дворам и все воюю, уговариваю, увещеваю, стыжу, умоляю — видишь, охрип, как старый барбос, от таких уговариваний. В войну, скажу тебе, Сережа, легче было. Зайдешь, к примеру, к Катерине Ступкиной аль там к Штопалихе, на что уж скандальные бабы, а и тем молвишь, бывало: война, бабы, Красной Армии надо помочь. Вздохнут, всплакнут когда — не без того, — но достают узелок из своих сундуков, выгребают последние деньжонки. Куда ж деваться — война! А теперь не то. Теперь из них так просто не выцарапаешь те рублишки. Моих правов не хватает, и командирские погоны на ту клятую Штопалиху не действуют, она сама себе командир, как откроет пасть и такими словами зачнет тебя поливать, что не приведи господи! Откель только они у нее и берутся! Шпарит как из пулемета, и конца этой словесной ее ленты не видать. А через плетень ее шабренка, Катерина, открывает пальбу. И стоит Максим Паклёников под перекрестным огнем, как, скажи, на боевых позициях.

Вспомянешь ненароком наркома нашего, товарища Зверева: "Вот бы тебя сюда, попарился бы часок в такой баньке, небось прибавил бы к зарплате сотрудников райфо какую ни то десятку..." Отбрехиваюсь я от Штопалихи да Катерины, как могу, обороняюсь вместо того, чтобы идти на них, горластых, штурмом. Слов моих не хватает — приходится частенько брать взаймы у Точки, то есть звать на помощь Виктора Лазаревича. Иначе их не сокрушишь. "Война, — говорят, — окончилась, дай ты нам, Максим, немного вздохнуть! Все кишки ты из нас вымотал". А я что? Для себя нешто собираю тот налог да займы? Надо же, втолковываем им уж вместе с Точкой, надо же, товарищи женщины, возрождать, подымать порушенное, кто ж, окромя нас, поможет Советской власти! Покричат еще, поворчат, обматерят и его и меня иногда по-мужски — за войну хорошо научились этому ремеслу! — а все-таки платят. В последние дни сделались не шибко прижимистыми...

— Ну вот видишь, дядя Максим, значит, люди немного стали справнее.

— О нет, сынок, рано ты о справности нашей заговорил. Тут другое. Про денежную реформу слушок прошел. Сказывают, за десятку только один рубль будут давать. Вот и торопятся умные люди вложить свои сбережения в облигации. Только, по-моему, ничего у них не выйдет: они хитры, да и Зверев не дурак — облигации-то разве нельзя обменять одновременно с деньгами? Завидовцы, какие пособразительнее, те стараются поскорее погасить задолженность по налогам...

— Ничего, Максим Савельич, пройдет годок-другой, люди станут побогаче, и финансовым агентам будет все-таки легче, — пытался как-то подбодрить добровольного инспектора Ветлугин.

— Э, сынок! Год от году нашему брату, финагенту, да и руководителям будет все труднее. На войну и на разруху уж не сошлешься, а люди захотят немного и для себя пожить. Понял?

— Понял, Савельич, тут кто не поймет. Рассказал бы, как сам-то живешь.

— Живу. Куда денешься, ежли бог смерти не дает.

— Ну, зачем так! Сразу о смерти? Я на нее, дядя Максим, вот как нагляделся!

— Это верно. На войне, она, проклятая, ни на шаг от солдатика. Но ты, вижу, сынок, все ж таки обманул ее, перехитрил, обвел вокруг пальца косую, а мои Ванька и Петька...

Максим замолчал, вмиг потемнел лицом, словно бы

окунулся в сажу. Затих и Сергей. Улыбка, которая поселилась на его лице, как только он увидел Паклёникова, и стойко удерживалась в продолжение всего их разговора, теперь сконфуженно убралась, спряталась куда-то. Вызвана же она была, улыбка, разными воспоминаниями, связанными с этим удивительным мужиком.

У Максима Паклёникова было много странностей, давно ставших достоянием всего Завидова, при случае любившего, впрочем, как и все российские селения, потешиться над чудачествами того или иного своего жителя. Завидовцы удивлялись, например, тому, что своих сыновей, Ваньку и Петьку, вместо того чтобы пороть за раннее приобщение к табаку, как это делали все разумные отцы на всем белом свете, — своих детей Максим сам приучал к курению с двухлетнего возраста, то есть еще тогда, когда на их губах не просыхало материнское молоко — и не в переносном, а в буквальном смысле. На совершенно, казалось бы, логичные и справедливые замечания соседей, попрекавших Максима тем, что тот губит здоровье младенцев, Паклёников отвечал загадочно:

— Я не гублю, а закаляю их.

— Куреньем? Табачищем? Самосадом своим вонючим?!

— Именно.

— А чахоточными ты их не сделаешь?

— Ни в жисть!

— А ты, Максим, того... не спятил, случаем? Не рехнулся?

— Нисколько! — заявлял Максим еще решительнее.— Пока еще при своем разуме.

— Немного, знать, осталось у тебя этого разуму.

— С меня хватит.

— Что-то мы не понимаем...

— Глупые, потому и не понимаете, — спокойно говорил Паклёников и, значительно поиграв глазами, в свою очередь, спрашивал: — Как вы думаете, доведется Ваньке и Петьке сидеть в остроге? Знамо дело, доведется, куда от него денешься! — продолжал, не дожидаясь ответа. — Угодят в общую камеру, а там все курящие, надымят столько, что некурящему человеку — конец, задохнется в момент. Покашляет, поматерится да и затихнет, поскольку в тюрьме ни до кого делов нету. Теперь вы поняли?

— Понять-то поняли, — отвечал обычно от лица "общества" Апрель,— только не можем в толк взять, зачем ты, Максим, такую несладкую долю своим мальчиш-

кам прочишь? К чему бы это им непременно попадать в каталажку? Не все ж туда...

— Ну и что с того! — перебивал Максим и в помощь себе привлекал известную пословицу насчет сумы и тюрьмы, от которых никто не должен зарекаться.

Апрель пытался возражать:

— Поговорка-то твоя, Максим, сложена еще при старом режиме, вон когда!

— Знаю, что при старом. Но и при новом что-то не торопятся убирать решетки с иных домов.

— Дай срок — сымут.

— Не скоро это будет, Артем.

— А тебе-то что они? Человек вроде ты честный, а решетки для преступников существуют.

— За них и по ошибке, по чьему-либо недогляду аль по собственной дурости можно угодить. Опять же какую-никакую напраслину на тебя по злобе могут возвесть, доказывай потом, что ты...

Какие бы доводы ни приводил Апрель или даже дядя Коля, умеющий лучше других подойти к человеку, убедивший не одного завидовского упрямца, гнувшего не ту линию, — Максим стоял на своем, и, наверное, потому, что сам побывал под казенной крышей серьезного заведения и собственными глазами видел страдания людей, в свое время не пристрастившихся к куреву.

Первый раз Максим попал в тюрьму в конце шестнадцатого года, когда, не согласовав своего решения с ротным начальством, темной ноченькой добровольно покинул окопы и по пути домой, уже на узловой станции Ртищево, был схвачен отрядом военной полиции, которая охотилась по всей России за такими вот "верными" слугами царя и отечества. Во второй раз оказался за решеткой уже гораздо позднее, в голодном тридцать третьем, когда пытался принести домой с полей немного ржи; и спрятал ее как будто искусно, в бабьем шерстяном чулке, подвешенном между ног; номер, однако, не прошел, разоблачили Максима: подвела, видно, походка, которая в таких случаях не бывает нормальной, шагал враскорячку, а участковый словно из-под земли...

В первом разе Максима вызволила из заключения Февральская революция, правда, для того лишь, чтобы вновь, уже только с новыми лозунгами, бросить в те же окопы, где наш солдатик и досидел до революции другой, Октябрьской, — тогда-то ненадолго вернулся домой, а потом отправился сражаться с белоказаками, кавалерийские лавы которых, вступив в пределы Сара-

товщины, катились уже от Елани через степи прямо на Завидово.

Наскоро сформированным из местных добровольцев и брошенным навстречу казачьим сотням красным полком командовал тогда Федор Знобин, нынешний секретарь райкома. Он-то и вытащил в начáле тридцать четвертого года бывшего своего бойца Максима Паклёникова из саратовской тюрьмы, охарактеризовав его весьма скромные боевые дела в гражданскую как исключительно геройские; не забыл Федор Федорович сообщить в той бумаге и о том, что сразу же после гражданской войны, в 1921 году, Паклёников отличился и при разгроме банды Попова, одного из самых свирепых антоновских сподвижников,— Попов ворвался в рабочий поселок ночью, переловил поодиночке чуть ли не всех его коммунистов, в том числе и первых районных руководителей, и той же ночью расстрелял всех захваченных во дворе райкома. Лежать бы в братской могиле и Федору Знобину, но, по счастью, он оказался проворнее других, убежал из своего дома буквально за минуту до того, как туда ворвались бандиты, и с тремя коммунистами поднялся на гору, которая возвышалась над поселком и по чистой случайности называлась Поповой, придушил там пьяного вражеского пулеметчика, который, ничего не видя и не слыша до роковой для себя минуты, поливал крыши домов и окна взбулгаченного поселка слепыми, пьяными же очередями; оттолкнув с величайшим омерзением труп бандита в сторону, Федор сам лег за пулемет и дал антоновцам первый бой. К рассвету подоспела подмога — это прибежали поднятые по тревоге мужики, парни и даже ребятишки из окрестных сел и деревень, вооруженные чем попало, с ними оказался и Максим Паклёников со своей старенькой берданкой.

Теперь он и сам не помнил, сделал ли хотя бы один выстрел из своей шомпольной, но Знобин, решивший во что бы то ни стало выручить мужика из беды, категорически свидетельствовал, что "гражданин села Завидова Максим Савельевич Паклёников у подножия Поповой горы бесстрашно вступил в бой с превосходящими силами противника и из своей винтовки наповал уложил четырех антоновцев".

Под вдохновенным пером Федора Федоровича древняя Максимова берданка обернулась боевой винтовкой, а скошенные из пулемета самим Знобиным бандиты оказались пораженными меткими выстрелами Паклёникова.

Ясно, что при такой характеристике и при столь авторитетном ходатайстве соответствующим инстанциям республики ничего не оставалось, как вынести постановление о помиловании Максима. И все-таки должностное лицо из тюремной администрации сочло необходимым посоветовать освобождаемому до срока, чтобы впредь он прятал чулок с уворованной колхозной ржицей куда-нибудь подальше и транспортировал его домой не среди бела дня, а чуток попозже.

Максим улыбнулся. Ответил, однако, совершенно серьезно:

— Взял бы ты, гражданин начальник, тот чулок себе на память, потому как он больше для такого дела мне не спонадобится. А для ног жена новые свяжет, она у меня по этой части бо-ольшая мастерица!

— Вон ты как! — подивился такому решительному заявлению гражданин начальник, но закончил все ж с профессиональной осторожностью, сдобренной определенной толикой скепсиса, тоже, впрочем, профессионального: — Ну-ну, поглядим.

— Глядите на здоровье, — сказал Максим смиренно и с тем вышел за ворота.

Позже, наезжая время от времени в город по разным колхозным надобностям, Максим непременно заворачивал на улицу, на которой возвышалось хорошо знакомое ему здание, в более поздние годы прозванное саратовскими шутниками Белым домом, — заворачивал и, попридержав кобылу, вывернув как-то по-птичьи голову, лукаво подмигивал зарешеченным стрекозьим тюремным очам. Максим подмигивал, а свободные от вожжей пальцы правой руки, следуя его мыслям, сами собой складывались в великолепный кукиш, выразительнее всяких слов говоривший: "А вот этого не хочешь?! Накось выкуси! Хрен ты теперь меня возьмешь!"

Нельзя сказать, однако, что, ведя безмолвную беседу с тюрьмой, уверяя и себя и ее, что уж никогда больше не доведется ей видеть Максима Паклёникова под своей крышей, этот последний уповал лишь на опыт, полученный им тут за неполных восемь месяцев. Просто Максим был убежден в том, что год тридцать третий, непонятный для него, нелепый и страшный, не повторится, а значит, и не будет той крайней нужды, какая только и смогла толкнуть его, мужика честного и даже совестливого, на позорный поступок.

Что же касается Петьки и Ваньки, то Паклёников-старший мог бы и не приваживать их к сверхраннему



курению, руководствуясь таким странным и неожиданным для односельчан соображением, поскольку тюрьма, как и все прочие средства вразумления непутевых, по ним, его сыновьям, не скучала. Выросли они парнями толковыми, окончили семилетку, вступили в комсомол, выучились на трактористов, в первый год войны пахали, сеяли, убирали хлеб вместе со стариками, женщинами да немногими "бронированными" мужиками, а в сорок третьем упросили командира стоявшей в Завидове воинской части взять их в экипаж "Красного завидовца", танка, купленного на сбережения колхозников. Приняв все меры предосторожности, чтобы его не услышала жена, Максим и сам подключил-

ся к этой просьбе. А в начале сорок пятого в далекой Венгрии, под городом Секешфехерваром, назвать который без запинок, без многократного спотыкания Максим так и не научился, Петька и Ванька сгорели вместе со своим танком и теперь смотрели на отца с увеличенной фотографии, смотрели и, ясноокие, решительные, словно разговаривали с ним, спрашивали этими отчаянными соколиными глазами: "Ну как, батя, хороши? Ну вот, а ты говорил!"

Извещение об их гибели задержалось в долгом пути и пришло в Завидово уже после победного дня, в середине мая, а Максимова жена Елена, которая каждое утро выходила на дорогу и зорко вглядывалась, не появятся ли на той дороге ее близнецы, узнала о похоронке гораздо позже. Оберегая старуху, с каких уж пор жалующуюся на свое сердце, Максим все тянул, выжидал какого-то особого случая, когда бы такой удар мог быть хоть капельку смягчен и не оказался смертельным для жены. Конверт с извещением находился у него в небольшом кармашке-тайничке, спрятавшемся в многочисленных складках сумки, — в него почтальон обычно помещает извещения о посылках, денежных переводах и другие ценные, малые по размеру бумаги. Не всякий отыщет этот карманчик, но Максим не был уверен, что его тайничок является таковым и для Елены, а потому и оставлял на ночь разносную сумку в сельсовете: в таком случае Елена не могла заглянуть в нее, как заглядывала в карманы его брюк, когда Максим спал. При этом надобно сказать, что, обнаружив на другой день следы сыскных ее "мероприятий", Паклёников не подымал шума, не возмущался, ибо знал, что привычку производить ревизию его карманов Елена обрела не от хорошей жизни и по мужниной же вине, обрела еще в довоенное время, когда Максим стал прикладываться к чарке гораздо чаще, чем дозволялось снисходительною к такому греху деревенской нормой, и когда, уложив его, "тепленького и полнехонького", в кровать, она принималась за дело, обшаривала карманы, выворачивала их, проверяла все другие складки на штанах, при редкой удаче выгребая из них либо уцелевшие каким-то чудом, либо специально припрятанные деньжата. Дома Максим не бунтовал, но, придя в "потребиловку", начинал всенародно обыскивать себя, тщательно, как старатель, исследуя те же места, по которым раньше него пробежали проворные и зоркие пальцы жены. Отчаявшись, горько жаловался: "Словно Колчак, прошлась по штанам, все очистила. Хорошо

помню, что рупь под ошкур засунул, утречком, думаю, на похмелку как раз будет, — так нет же, вымела, языком вылизала, проклятущая! Ей бы только сыщиком при угрозыске быть!"

"Ищи, ищи хорошенько, Максим!" — вдохновляли его мужики, с молчаливой усмешкой наблюдавшие за возней своего старшего компаньона, наперед зная, как знал об этом не хуже ихнего и сам Максим, что его поиски не увенчаются успехом и что вдохновителям придется снова поправлять голову страдальца на свои гроши, в наличии которых никому до поры до времени не хотелось бы сознаваться. Первым не выдерживал, как правило, Апрель. Сокрушенно вздохнув, он погружал руку по самый локоть в глубочайший свой карман и вычерпывал оттуда истертую бумажку. "Видно, уж мне придется нынче вас угощать!" — говорил он медленно и важно. Радостно оживившись, кто-нибудь обязательно замечал: "Давай, Апрель, угощай, тут у тебя конкурентов не будет!"

Ну, все сказанное выше — это сказано лишь к слову. Для Максима же в конце концов надо было сообщить жене о полученной им и схороненной в почтальонской сумке страшной бумаге. Он, как известно, и прежде страдал, сильно маялся душой, когда нес ее, черную, в чужой дом. Теперь же его муки оказались во сто крат большими, день ото дня сумка его становилась все тяжелей, давила будто не на плечи, а на сердце и в какой-то час сделалась совсем неподъемной. Подходящего, однако, случая, который мог бы немного ослабить удар, — Максим понимал, что рано или поздно, но вынужден будет обрушить его на жену, — такого случая. что-то не оказывалось. И вот однажды, черный весь, похожий на большую головешку со свежего пожара, с провалившимися глазами и щеками, пришел к обеду домой, присел к столу, на котором дымилось большое блюдо со щами, зачерпнул деревянной ложкой тех щей, поднес ко рту, на полпути раздумал, выплеснул хлебово обратно, после чего ложка сама выскользнула из его ослабевших, задрожавших безвольно пальцев, — тяжело поднялся, ватными ногами сделал несколько шагов к стене, где только что повесил сумку, снял ее и, пряча налившиеся влагою глаза от жены, заговорил: "Мать, слышь-ка... Ты только..." Не дала договорить, закричала жутким голосом. Крик ее выметнулся на улицу, вихрем подхватил каких-то баб, кинул их на Максимово подворье...

— Да, мои Ванюшка и Петяшка лежат теперя гдей-то на чужой сторонке, — вздохнул Паклёников, — и могилку их не проведать, да сохранилась ли она, та могилка? Сам воевал в первую германскую, знаю, как хоронят нашего брата на позициях — где упал, там и прикопают, попробуй потом найти... А Елена до сих пор житья не дает, пиши, говорит, самому Сталину, чтобы пропуск дали в Венгрию. Грозится пешком пойти в энтот Шехер... мехер... Язык, говорит, до Киева доведет. Пробовал образумить старую. Куда ты собралась, Елена?! Ты ить дале нашего районного поселку отродясь не ездила, а тут — заграница! Язык у тебя, говорю, в полной исправности, это правда, а в ногах-то нету прежней резвости. Вон в Салтыково, за три версты, к своей сестре дойтить не могешь, куда ж тебе... — Максим опять тяжко, с прихлипом, вздохнул. — Ведь я, Сережа, чуть отходил ее тогда. Цельну неделю пролежала ни жива ни мертва, кормил ее с чайной ложечки, хлебушка в соску нажевывал, как малому дитю, чтобы как-то удержать ее на белом свете, — без нее, Елены моей, признаюсь тебе, Серега, и мне бы не жить, не топтать травы-муравы на наших завидовских тропках. Слава богу, выходил, вернулась баба к жизни, спасибо Степаниде Лукьяновне, целыми ночами просиживала возле моей старухи добровольной сиделкой... Поднялась Елена, все бы ничего, а вот на ноги совсем слабой стала...

Максим рассказывал, а слушавший его Сергей Ветлугин искал и не мог пока найти ответа на вопрос, вдруг вставший перед ним. Он помнил, что до войны Максим Паклёников слыл в Завидове выпивохой и по этой причине не занимал в отличие от большинства завидовских мужиков даже самой малой руководящей должности в колхозе. В то время никому бы и в голову не пришло, чтобы доверить такому человеку денежные дела, а теперь вот доверили. Что же случилось с Паклёниковым? Может, остепенился? Может, война не только убивает и калечит, но и кого-то исцеляет? Что-то мало похожа она на исцелителя...

Заглянув глубоко, как, бывало, заглядывал в деревенский колодец, в совершенно трезвые, родниковой чистоты, ясно мерцающие из-под наволочи густых, сомкнувшихся над переносьем бровей глаза старика, спросил напрямик:

— А водочку-то пьете, дядя Максим?

— А куды от нее денешься, — быстро и спокойно сказал Паклёников.

— И что же, много ты ее...

— Вижу, Серега, ты про прежние годы вспомнил, когда мы с твоим отцом... Теперя не то. Годы бегут, а с ними и силенки убывают. Спрашиваю днями Николая Ермилыча, дядю Колю то есть, спрашиваю, значит: "Тебе, Ермилыч, когда бывает тижельше — в гору аль под гору?" А он мне: "Знаешь, Максим, теперь все едино — что в гору, что под гору: так тижало и так тижало". "Ну, — говорю, — в войну-то ты вроде прямее был". А он мне: "Война ково хошь выпрямит. А сейчас с какой стати мне выгинаться — старик должен быть стариком. Годы, они что тебе пудовые гири, любого к земле прижмут. И ты, Максим, растешь в обратную сторону..." Ермилыч прав: тут, Сережа, не до жиру, быть бы... Да и должности мои не дозволяют: все время при финансах. Пропустишь иной раз лампадку — не без того, принесешь в какой дом радость в конверте, в ответ тебе стакан самогону — попробуй откажись, обидишь хороших людей до смерти... А так — ни-ни, ни боже мой! — Максим вдруг замолчал на минуту, глянул на Ветлугина, спохватился: — Я, кажись, совсем заговорил тебя, Сережа, ты уж прости старого брехуна — ни речи́, ни мочи́ уж не могу удержать, такие теперь мои лета. А ты так и не попал на заседание. Кончилось, видать. Слышь, все поднялись? Сейчас выходить начнут... Ты бы, сынок, заглянул к нам на часик. Я еще не накалякался. Мы ить с твоим отцом, бывало...

7

За председателевой дверью зашумели, задвигали стульями и скамейками, заговорили почти все разом, не успев разрядиться до конца во время заседания. Сперва Сергей отчетливо различил характерный, постоянно сдерживаемый, как бы виноватый кашелек Знобина, затем послышался давно знакомый густой бас Леонтия Сидоровича Угрюмова, вокруг которого закручивались повиликой женские, требующие чего-то голоса, натыкаясь по пути — и оттого еще более воспламеняясь — на беззаботный Тишкин хохоток, и совсем умолкали, когда наперерез им подымался старческий, с присвистом на конце фразы баритон дяди Коли, и вновь протестующе звенели, когда высовывался со своими замечаниями Санька Шпич, по несчастью для себя обладающий тем редким голосом, когда один его звук сообщает собеседнику мгновенное и острое желание возражать, перечить, протестовать, не соглашаться

ни с чем из того, что бы тот ни говорил, отвергать, оспаривать даже очевидно бесспорные, вполне логичные его доводы. Беда владельца такого голоса состоит в том, что сам он не в силах понять, почему с ним не соглашаются, когда он говорит, безусловно, разумные вещи, и, горячась, пытается подойти к своим мыслям с иного конца в надежде примирить с ними спорщика, но вызывает лишь еще большую ярость последнего, который, не выдержав, закончит тем, что попросит почти с мольбою: "Да замолчи ты, ради бога, не то ударю!" И Санька Шпич, ежели речь идет о нем, остановится на полуслове в крайнем недоумении, беспомощно мигая своими длинными, как у теленка, белесыми ресницами. Сейчас он, судя по всему, и пребывал как раз в таком положении, потому что, выйдя в коридор вслед за Апрелем, явно удиравшим от него, хватал старика за пиджак, старался таким образом задержать и все-таки убедить. Сопротивляясь, Апрель встряхивался весь, точь-в-точь как встряхивается всей кожей лошадь, когда ее одолевают слепни, и, свирепо вращая окровенившимися белками своих вообще-то добрых глаз, шипел сквозь редкие зубы:

— Сань, милай, отвяжись!

— А вот и не отвяжусь! — кричал Шпич. — Ты, Артем Платонович, должен в конце концов понять, что сейчас нам не до твоей картошки, хлеб еще на поле, кто же тебе даст быков. Картошке в земле ничего не сделается. Полежит еще с месяц, а хлеб...

— А картошка, по-вашему, не хлеб?! — злился Апрель и опять настойчиво просил своего преследователя:— Отстань от меня, нет моей моченьки слушать тебя!

— Я замолчу, но прежде хотел бы услышать от тебя: прав я или нет?

— Умру, а не соглашусь с тобой, Санька!

— Это почему же?

— А черт ее душу знает, — чистосердечно признался Апрель, впервые натолкнувшись на такой вопрос, но, подумав, попытался объяснить: — Как те сказать, Саня... Вот когда ты помалкиваешь, ты мне больше по душе. А как только отверзнешь уста, заговоришь, у меня мороз по коже, точно кто серпом по энтому месту... Да ты не серчай, я ить правду говорю, другой тебе ее не скажет, потому как ты, Саня, большая шишка на селе. Слушал я тебя сейчас на правлении, а самого так и подмывало подойтить и заткнуть тебе рот. Так что отстань, ради господа бога, от меня со своими речами. Сыт я ими по горло!

— Но я же прав...

— Ты завсегда прав, Шпич, и все-таки отвяжись!

Однако спорщики унялись только тогда, когда увидали рядом с Максимом Паклёниковым офицера, который смотрел на них и, улыбаясь, терпеливо ожидал окончания дуэли. Минутой позже, узнав Сергея, не соизмеряя своих сил, они трясли за плечи, толкали с обеих сторон в бока, словно испытывали на прочность его ребра, — особенно доставалось одному правому ребру, под который поддевали два негнущихся Санькиных пальца. Свои действия Шпич и Апрель сопровождали обычными в таких случаях междометиями:

— Ну и ну!

— Эх, паря!

— Скажи на милость!

— Вот это да!

К спокойным расспросам так и не подошли, поскольку из кабинета председателя вышел Знобин, а за ним и все остальные: Леонтий Сидорович, не успевший убрать со своего лица строгую озабоченность; почти впритык к нему — дядя Коля, комкавший в руках старенькую, полувоенного образца фуражку — любимый и чуть ли не обязательный головной убор председателей колхозов, сельсоветов, директоров предприятий и прочего начальствующего люда в границах района; к дяде Коле фуражка эта перешла вместе с казенной печатью и всеми прочими правленческими и колхозными делами от Леонтия Сидоровича, когда тот уходил на фронт, а по возвращении не потребовал ее обратно, видел, как приладилась она к дяди Колиной голове и как необходима его рукам, когда хозяин не знает, чем их занять. Последними кабинет покинули Настя Вольнова — теперь Шпичиха — и Феня Угрюмова, которую позвали в правление, едва она вернулась домой; впереди себя они подталкивали упиравшегося малость Тимофея Непряхина, награждая его легкими тычками в спину, из чего можно было заключить, что между Непряхиным и этими молодыми женщинами не до конца разрешен какой-то вопрос. С круглого лица Насти еще не сошла краска смущения: десятью минутами раньше она заговорила о ремонте клубного помещения, но наткнулась на тяжелый и холодный взгляд председателя, который, не ограничившись одним этим взглядом, присовокупил к нему слова, каковые и придавили Настю, как глупого котенка: "Клуб? Может, дворец тебе выстроить, а колхозная скотинешка пускай так и стоит по брюхо в грязи, а избы солдатских вдов так и остаются раскрыты-

ми? Видел, чего ты захотела! Ай-ай-ай-ай! Ну и комсомол!" На вмиг сваренном Настином лице выступили бисеринки пота, готовы были выскочить и слезы, но их остановил Федор Федорович Знобин, заметивший строгому председателю: "Зачем же так, Угрюмов! Ну, поторопилась девчонка — эка беда. Пройдет год-другой, мы сами от тебя потребуем того же, а попозже и дворец станет на повестку дня... Кто это хмыкнул? Вы, Непряхин? Не верите, значит? Зря! Может, поспорим? Ну, по рукам?!" Тишка спорить не стал, сославшись на то, что ни в какой еще игре его ни разу не посещала удача, добавив к случаю, что и ни на одну из его облигаций не выпадал хотя бы самый пустячный выигрыш. "Подписываемся с моей Антониной на все займы аккуратно, нас даже Максим Паклёников в пример другим ставит, а как начнем проверять таблицу — одни нули, — пожаловался он, торопясь соорудить цигарку, — так что вы уж меня, товарищ секретарь райкому, увольте от ваших споров. Вон Епифана, дружка моего, пригласите, он любит поспорить. А я невезучий, хотя в разные там дворцы, извините меня, темного человека, не верю. Может, лет через сто..." Все, кто был в правлении, невесело засмеялись. Засмеялся, откашливаясь, и сам Знобин, подумав: "А не хватил ли я лишку насчет того дворца?" Насте же эта поддержка главного районного начальника была как нельзя кстати, молодая Шпичиха успокоилась, а вот теперь ей захотелось немного побаловаться — она подталкивала вместе с Феней в спину этого Фому неверного, Тишку. В прихожей Настя немедленно присоединилась к тем, кто окружил Сергея Ветлугина, и ушла из правления лишь тогда, когда Леонтий Сидорович увел капитана на правленческий двор, чтобы попрощаться с Федором Федоровичем.

Тогда Ветлугин хотел и не мог отвести своих глаз от лица Знобина, не мог при этом отделаться от мысли, что кто-то долго и тщательно натирал это лицо золою — ни кровинки не чуялось под сухой и серой кожей, и было странно и горько видеть, что, мертвое, оно еще улыбалось, что в больных, бесконечно усталых глазах временами вспыхивали живые золотистые огоньки, а меж почерневших, сморщенных тонких губ влажно блестели ровные крепкие белые зубы. Но когда Знобин заговорил с ним, Сергей сейчас же забыл о том, что перед ним человек, давно приговоренный к смерти страшным своим недугом.

— Победили, значит? — Федор Федорович глянул на

Сергея, улыбнулся, помолчал, затем вновь стал хмурым и серьезным. — Да, победили! Но, товарищ Ветлугин, девятого мая — это победа для всей страны. Теперь от нас зависит, чтобы она стала победой для каждого советского человека. Только в этом случае мы сможем сказать: да, мы победили, победили стратегически и политически во второй мировой войне! Пока что мы одержали лишь военную победу. Понял?

— Что-то не очень, — признался Сергей, чувствуя, однако, что в словах секретаря кроется нечто очень важное и тревожное.

— Не понял? Ну что ж. Значит, не мог сказать яснее. Под старость что-то философствовать частенько стал. Поживешь немного тут с нами, сам сообразишь, что к чему. Будешь в районе — заглядывай.

Знобин уехал.

Леонтий Сидорович пригласил к себе дядю Колю, Апреля, Шпича и Точку, весьма кстати выглянувшего из своего сельсоветского кабинета в самую последнюю минуту. Максим Паклёников примкнул к компании без всякого приглашения, полагая, очевидно, что он имеет на это полное право, поскольку первым встретил офицера и в течение целого часа занимал его своими рассказами. Потопал было вслед за всеми и Тишка, да остановился на полпути: ему явно не хватало вдохновителя, а именно Пишки, который в таком разе повел бы себя куда решительнее, но Ёпифан еще вчера уехал в Саратов заказывать протез для своего глаза. Постоял на одном месте Непряхин, потоптался, как всегда, в затруднительную минуту, поскреб у себя в затылке, вздохнул неприкаянно, повернулся и медленно поплелся в сторону своего дома, где его, как всегда, ожидало множество разных мелких дел: надо было наколоть дров, да посуше (жена затеяла полную квашню хлебов, поутру станет выпекать), вычистить хлев, застелить его соломой, поднять плетень, сваленный ночью мирским бугаем, припожаловавшим на свидание с Тишкиной коровой, которая, к великому огорчению хозяина, вспомнила о женихе почему-то с большим опозданием; ждали в чуланчике и два тракторных карбюратора, в которых Тишка собирался поковыряться со слабою надеждой вернуть их к жизни; ждали его и малые дети, которым привез из района по одной конфете, да не успел передать — теперь сладкие эти штуки медленно плавились в глубоком и теплом Тишкином кармане, постепенно утрачивая не только форму, но и свойственные им благовония и взамен обретая ни с чем не сравнимый

и никакими иными запахами не сокрушаемый дух самодельной махры, давно и безраздельно господствовавший во всех складках Тишкиных штанов.

Гася неприятно шевелившуюся на сердце зависть к тем, кто скрылся в председателевом доме и теперь рассаживается за гостеприимным угрюмовским столом, Тишка мысленно начал уж похваливать себя за то, что повернул к дому, что сейчас вручит детям гостинцы и займется домашними делами под молчаливым (чтоб не спугнуть его!) и радостно удивленным взглядом Антонины; он уже прикидывал, за какие дела примется в первую очередь, и прибавил было шагу, когда путь ему преградил лесник Колымага.

— Здорово, Тимофей! — приветствовал он Тишку как-то очень поспешно.

— Здорово, коль не шутишь, — хмуровато отозвался Непряхин, вспомнив, очевидно, про то, что топор и пила, отобранные у него Колымагой месяц назад, до сих пор еще не возвращены.

— Ты никак из правления?

— Из него. А что? — спросил теперь уже Тимофей, впервые приметив на лике грозного стража местных лесов что-то вроде испуга или тщательно скрываемой растерянности.

— Ну что там? — маленькие глазки Архипа Архиповича беспокойно сверлили Тишку, ожидая чего-то.

— Аль не знаешь! Все то же. Хлеб. Мясо. Шерсть. Яйца.

— Никак Знобин наведывался?

— Был. Только что проводили.

— Ну и что он... О чем?

— Да обо всем. Тебя-то, Архип, что тревожит? Лес твой как стоял, так и будет стоять.

— Да не о том.

— О чем же?

— Ну те к лешему! — рассердился почему-то Колымага. — Ты ему про Фому, а он тебе про Ерему. Бывай, Тимофей!

— Бывай, Архип Колымажевич, Архипыч то есть. А топоришко-то пора вернуть бы мне. И пилу тоже.

— Приходи ужо. Потолкуем. Теперь мне неколи с тобой. Будь здоров! — И лесник, поправив на большой своей, наполовину оплешивевшей голове форменную, с кокардой, фуражку, прямиком подался к дому Угрюмовых, обстреливаемый с тылу недобрым взглядом Непряхина.

Сказать правду, не так уж и печалился Тишка по по-

воду утраченных им топора и пилы, он бы плюнул и махнул на них рукой, как не раз делал и при более серьезных утратах; обидно было то, что Колымага числился у него, Непряхина, в друзьях, во всяком случае, частенько уверял Тимофея в этом, не озаботясь, однако, подкрепить свои устные заверения какими-либо практическими делами. Тем не менее Тишка даже гордился, что находится на короткой ноге с таким важным и значительным человеком, в подходящий момент не прочь был похвастать этим, а однажды чуть было не поскандалил с Апрелем, когда тот обронил: "У иных, Тиша, черти лучше, чем у тебя друзья". Выходит, Апрель прав, дружки-приятели Тишкины действительно того, с изъянцем — взять хоть Пишку аль этого лешего, Колымагу, ну, что ему стоило сделать вид, что не приметил у Дальнего переезда Тишку с возком хвороста, под которым укрывались всего-навсего два дубовых кругляша, заготовленных Непряхиным для починки колодезного сруба, для ремонта того самого колодца, из коего черпает воду чуть ли не полсела, в том числе и он, Колымага?!

"Пусть подавится моим струментом, а на поклон к нему не пойду. Не на такого напал. Знаю, чего он дожидается. Но я ему не Машуха Соловьева — пол-литра не поставлю. На мне где сядешь, там и слезешь. Ишь ты — "ужо приходи, потолкуем"! А вот этого не хошь? — промасленные на веки вечные Тишкины пальцы с удовольствием переплелись и ловко изобразили известную фигуру. — Непряхин Тимофей ни у кого еще в ногах не валялся. Так что не жди — не дождешься!" — решил про себя Тишка и, еще более зауважавший себя за столь непреклонное и принципиальное решение, быстрехонько направился домой. Знай он, что происходило сейчас в председателевой избе, то еще выше оценил бы несомненную мудрость своего поступка.

Большой, семейный, хорошо выскобленный кухонным ножом и старательно вымытый стол был загодя накрыт, уставлен погребными припасами, а на шестке, в огромной, как поднос, сковороде что-то пошипливало, должно, картошка, сдобренная двумя, а может, и тремя яйцами, схороненными Аграфеной Ивановной от зоркоокой Катеньки и не менее шустроглазого Филиппа. Сковорода покинула шесток и оказалась посреди стола, дорисовав окончательно его великолепие, когда торчавший у окна внук провозгласил: "Бабаня, они

идут!" У старой хозяйки хватило еще сил на то, чтобы отнести поджаренную картошку и водворить ее на положенное место, но затем руки ее безжизненно обвисли, а ноги подогнулись, — поддерживаемая младшей дочерью и внуком, она с трудом добралась до широкой лавки и рухнула на нее всем своим тяжелым, обмякшим телом. Живыми остались лишь одни ее глаза — сухие, воспаленные, немо и исступленно вопрошающие. Они-то, эти глаза, и остановились на одном только человеке из всех вошедших в избу — на Сергее. В них он прочел и вопрос, и горячую материнскую мольбу одновременно: "А где же Гришенька? Где же сын мой? Ведь он живой, живой! Скажи же скорее — живой?"

Сергей быстро подошел к ней, присел рядом, привлек седую ее голову к своему плечу и, ничего не говоря, поцеловал. Все, кто был в доме, — Леонтий Сидорович, Феня, Авдей, дядя Коля, Апрель, Санька Шпич, Точка, Максим Пакленников, пришедший чуток позже Архип Колымага — все теперь стояли посреди избы, не зная, куда себя деть и что надо делать в таком случае; никто не мог в эту минуту не то чтобы сесть за стол, но и глянуть на него. А покрытые густою сеткой красных прожилок глаза хозяйки уже начали наполняться влагою, две крупные капли уже медленно ползли по щекам.

— Ты вот что, Сережа, — первым, как и следовало ожидать, заговорил дядя Коля, — ты скажи ей всю правду. Так-то будет легче, чем всю жизнь понапрасну ждать. Убит ежели, так и скажи...

Теперь глаза Аграфены Ивановны обратились на старика, и была в них такая ярость, такая лютая ненависть, что тот сейчас же замолчал и в замешательстве начал оглядывать всех, как бы ища поддержки. Но его выручила сама же хозяйка, вновь повернувшая лицо к Сергею:

— Правду ли нам писали... правду ли? — умолкла, тяжело задышала.

— Правду, Аграфена Ивановна, — сказал Сергей тихо, но слова эти были услышаны всеми, и на какое-то время звенящая тишина воцарилась в избе. Неожиданно для всех Аграфена Ивановна поднялась над этой тишиной, над всем этим невыносимым напряжением, повернулась к образам, встала на колени и долго, под молчаливыми, встревоженно недоумевающими взглядами гостей молилась. Затем медленно встала, суровым, отвердевшим взглядом обвела всех, сказала громко и как-то даже торжественно:

— Ну, что ж вы, мужики, стоите? Садитесь за стол. Помянем сыночка нашего по-христиански. Левонтий, приглашай!

— Садитесь, мужики. Николай Ермилыч, Санька, Артем Платоныч, Виктор Лазаревич, Максим, Архип Архипыч... ну, чего же вы стоите? В ногах правды нету. Прошу, прошу вас... — Леонтий Сидорович приглашал, а глаза его тоже были красны, и он все время вытирал их, по возможности так, чтобы не видели гости. — Мать, веди Серегу. Садитесь, а ты, Фенюха, угощай нас... Мать, ты куда же?

— Я в горенке побуду. Мне одной надоть. — И Аграфена Ивановна ушла в переднюю. Под взглядом отца туда юркнула и догадливая Катенька, а потом и Филипп.

Все уже сидели за столом, Феня и помогавший ей Авдей разлили по стаканам самогон, а хозяин все чего-то ждал, не садился, топтался неловко на месте и, наконец решившись, подошел к Ветлугину.

— Ты вот что, Серега... ты мое место занял, пересядька сюда, к Николай Ермилычу.

Сергей исполнил эту просьбу быстро, но все-таки покраснел от столь неожиданной выходки хозяина. Феня поспешила пояснить:

— Ты не сердись на него, Сережа. Отец этого места никому не уступит. Один раз он оттуда турнул самого Знобина. Ну-ка, друг, говорит, освободи — тут я завсегда сижу.

Апрель, дядя Коля и Максим Паклёников подтвердили: оказывается, и они не раз были изгоняемы старшим Угрюмовым с этого места. С незапамятных времен Леонтий Сидорович облюбовал его для себя, садился у левого края стола, спиною к стене, разделяющей избу на две половинки, и никто из домашних не смел нарушить этого правила даже тогда, когда хозяин был в отъезде; неукоснительно соблюдалось оно и в годы войны, когда неизвестно было, вернется ли Угрюмов-старший вообще домой. Постепенно спина и голова хозяина четко нарисовали на стене два разных по величине пятна. Хозяин не велел их закрашивать во время весенней и осенней побелки избы, чтобы не пачкать рубахи.

Первые стаканы выпили не чокаясь — это уж как водится, когда хотят кого-то помянуть. Перед тем как выпить, каждый сказал что-то из того, что говорят на Руси по такому горькому поводу. Один пожелал, чтобы земля, упокоившая героя, обернулась для него пухом, другой — вечную память, третий — того, чтобы вообще могилы павших были священны для всех людей земли.

Следующие стаканы были также посвящаемы памяти Григория Угрюмова. Оказалось, что тут каждому было что вспомнить. Дядя Коля, например, рассказал о временах, когда он, страдая известным недугом, наведывался в школу и читал свои проповеди о Риме, когда, спроваженный директором, он становился под покровительство Гриши и Сереги вот — ребятишки отводили его домой и укладывали спать. Апрель не без умиления поведал о том, как эти же ребята во время студенческих своих каникул вели с ним долгую беседу там, у Ерика, и как потом поправили его "дурную голову". Максим Паклёников прослезился, вспомнив, как Гриша и Сергей дружили с его сыновьями-близнецами, и из слов его, Паклёникова, выходило, что лучших друзей у его Ваньки и Петьки, царство им небесное, вообще не было. Санька Шпич жил на хуторе, совсем в другом конце Завидова, и в течение многих лет находился в состоянии непрерывной мальчишеской вражды с ребятами, проживающими на одной улице с Угрюмовыми, а значит, и с Гришей Угрюмовым, но и он, Санька, во всех подробностях рассказал о том, как произошло их примирение с Григорием. Он теперь не мог сказать точно, кто их впервые поссорил (сдается, что это был Пишка, любивший стравливать ребятишек, как молодых кочетов), но отлично помнил, что лупцевали они друг дружку в течение пяти лет. Стоило, скажем, Грише оказаться на хуторе, Шпич встречал его там со своими сподвижниками-сверстниками и колотил; и, напротив, то же самое незамедлительно получал Санька Шпич, забредши на угрюмовскую улицу. Неизвестно, как долго продолжалось бы такое положение вещей, если бы однажды на какой-то нейтральной улице Гриша и Санька не столкнулись носом к носу и один из них, озаренный какой-то внезапной и вместе с тем очень трезвой мыслью, не спросил: "Сань, а чего это мы лупим друг дружку? За что?" Вопрос был поставлен так прямо и так неожиданно, что Санька в растерянности замигал рыженькими своими ресничками, утопил в краске смущения веснушки на носу и на щеках, тут же признался: "А я не знаю". — "И я не знаю, — сказал Гриша и вдруг предложил: — Давай, Санька, дружиться!" — "Давай!"— немедленно согласился Шпич, и с того дня они действительно стали хорошими товарищами, при случае даже оборонялись совместно от наскоков и других ребятишек.

— Вот ведь как бывает! — заключил свой рассказ Шпич.

— Бывает... — начал дядя Коля раздумчиво, — бывает — и не только с малыми и глупыми детьми, но и с вполне взрослыми дядями. Вместо того чтобы научиться жить в мире и согласии, они дубасят себя чем попадя. От таких-то вот драчунов беды поболе бывают, иной раз целые народы кровью умываются из-за них...

Все примолкли. И молчали бы, верно, долго, если бы Архип Колымага не вспомнил, что тоже должен что-то сказать о Григории Угрюмове. Видать, он отчаянно ворошил свою память, но выудить в ней что-либо подходящее к такому случаю не мог, поскольку в лес Гриша Угрюмов ходил отнюдь не за дровами, а за птичьими яйцами да разными съедобными растениями — растом, слезками, дягилем, борчовкой, а потом — ягодами: земляникой, дикой малиной, а поближе к осени — ежевикой и костяникой, то есть за тем, что уж никак не подлежало высокому попечительству Архипа Архиповича Колымаги. Потому-то он и счел необходимым лишь заметить:

— Славный был парень твой, Левонтий, сынок! Не бедокурил в лесу, не сдирал лыка с деров, как иные протчие...

В еще более неловком положении находился Виктор Лазаревич Присыпкин, или Точка, о котором подробно рассказал Ветлугину еще в правлении Максим Паклёников, — Точка вообще не знал старшего сына председателя, а потому и прибавить к тому, что говорили о нем другие, ничего не мог. Архип же Архипыч, поменявшись за столом местами с Апрелем, подсел к Точке и, судя по суетности своих движений и по беспокойному поблескиванию крохотных, почти совершенно заплывших глаз, собирался о чем-то спросить секретаря сельского Совета. Он и спросил, улучив момент, сунувшись для такой цели толстым и влажным носом в Точкино ухо:

— Что там, Лазарич, слышно... про энту саму?

— О чем вы, Архип Архипыч?

— Про реформу денежну... слухи разные.

— А не верьте слухам.

— Как же им не верить, ежели все как сговорились...

После третьего-то стакана Колымага, видать, не мог соразмерить своего голоса и потому был услышан всеми, кто сидел за угрюмовским столом. Бесцеремонный и имеющий касательство к делам финансовым Максим Паклёников тотчас же отозвался:

— У нашего Колымаги деньжищ как у дурака махорки, вот он и дрожит за них. То ли дело у меня: ни

копеечки лишней за душой, никакая реформа не страшна!

— А ты что, Максим, в карманы мои заглядывал? — осерчал, бурея лицом, Архип Архипович.

— Не заглядывал, а знаю. На то я и финагент! — выпалил Паклёников опять со всей возможной многозначительностью.

— Знаешь, ну и помалкивай, — посоветовал лесник.

— Ну, Архип, тут ты мне не указывай. Это не в лесу, на какой-нибудь просеке, где ты всем властям власть, а тут... Давай-ка лучше хлобыстнем еще по одной!

— Хлобыстни без меня.

— Эка беда! Могем и без тебя... — Максим понес было очередной стакан ко рту, но на полпути остановился, потому что на пороге стояла Мария Соловьева и испуганными глазами кликала к себе Феню.

— Иди за стол, Маша, — позвала Феня.

Мария отчаянно затрясла головой:

— Выйдь же на минуту!

Они вышли на улицу, а пятью минутами позже Феня вернулась с лицом, побеленным какой-то великой тревогой.

— Что там еще? — спросил Леонтий Сидорович.

— У Марии муж вернулся. Федор.

Звук Фениного голоса долго еще держался в плотной, спрессованной тишине и затем сомкнулся с другим, тоже надолго повисшим в воздухе:

— Ну и ну! Доигралась бабонька! — это обронил Апрель и почему-то первым засобирался домой: никто в ту минуту не вспомнил, что Мария Соловьева доводилась ему по женином линии племянницей.

Вслед за Апрелем вышли из дома и Феня с Авдеем. В сенях они едва не столкнулись с Авдотьей Степановной и Тетенькой, которые к этому времени успели вдосталь "накалякаться" и теперь торопились заполучить в качестве третьей собеседницы Аграфену Ивановну, давнишнюю свою подругу. Пришли старухи вместе, но решительно с разными целями. Авдотья Степановна очень опасалась, как бы Серегин приезд и его появление в доме Угрюмовых не перетянули на сторону влюбленных Фенину мать, — отец ее давно склонялся к этому, — и спешила по возможности воспрепятствовать такому направлению дел; а ее подруга, тетенька Анна, надеялась "уломать" Аграфену, примирить ее и с дочерью и с Авдеем — переломить настроение Авдотьи ей не удалось, Авдеева мать оказалась непримиримой. При короткой встрече в сенях каждая из них и проявилась

по-иному: Авдотья Степановна плеснула на обоих гневным взглядом, а Тетенька, напротив, обласкала доброй, все понимающей и как бы благословляющей улыбкой: держитесь, мол, и никого не бойтесь, все уладится, я на вашей стороне. Благодарные, они улыбнулись ей, но на одно лишь мгновение, поскольку были заняты чем-то иным, очень серьезным и срочным. Но эта их улыбка не пропала — слилась с ее собственной, и теперь Тетенька внесла ее на своем лице в избу и будто осветила ее всю изнутри и всех, кто оставался еще за столом.

Леонтий Сидорович поспешно поднялся, вышел к желанной гостье навстречу и, поддерживая за плечи и смеясь одними глазами, под довольный шум других гостей подвел к столу и торжественно усадил рядом с Точкой. Виктор Лазаревич, донельзя довольный таким обстоятельством, отодвинул в широчайшей улыбке уголки своего великолепного рта к самым ушам, которые на радостях багряно вспыхнули, как два мудреной поделки фонаря; синие, васильковые, его глаза радостно заблестели.

Авдотья же Степановна подойти к столу отказалась, вяло поздоровалась со всеми разом прямо от порога и демонстративно присела на приступок печки. По строгим ее глазам, по губам, сурово поджатым и образовавшим тонкую сухую ниточку, по рукам, глубоко упрятанным в рукава плисовой поддевки, по частым и прерывистым вздохам — по всему угадывалось, что она пришла сюда вовсе не для того, чтобы ублажать себя и других за праздничным столом, что явилась она с решительными намерениями — приготовилась дать бой и теперь только ждала подходящего момента, чтобы начать его.

Вышедшая как раз в эту минуту из горенки Аграфена Ивановна быстро поняла, что к чему, сердито молвила:

— Негоже, кума, так-то. Чем это мы тебе не угодили! Сережа нам такой же сродник, как и тебе. Присаживайся к столу, чего уж там. Тут, чай, все свои — не обидят.

— Ничего, Графена. И без меня обойдутся. У меня к тебе дело. Погожу, когда ослобонишься.

— Зря, зря, Авдотья. Не по-божески.

— Ты меня богом не стращай. Бог правых не судит.

— Никак это ты, Степановна? — спросил дядя Коля, сидевший спиной к двери и теперь поворачивавший свою длинную жилистую шею почти на сто восемьдесят

градусов, чтобы окончательно убедиться в том, что перед ним действительно Степановна. — Ты, матушка, вроде не в духе? Может, сообщишь старику, что у тебя там стряслось? Надо думать, что-то уж очень серьезное, ежели ты не хочешь посидеть с нами и почествовать фронтовичка, дорогого нашего победителя. Сказывай же, что там?

— Это не твоя печаль-забота, Ермилыч. Угощайся на здоровье и в наши бабьи дела не встревай. Сами как-нибудь...

— Вон ты как! — удивился старик. — Что-то не очень-то обходились вы без дяди Коли в войну, а теперь, знать, не нужен стал. Ну и ну!

— А ты не серчай. Не все дела тебе подсудны, хоть ты и разумнее нас всех, — сказала Авдотья Степановна и нахмурилась еще больше.

— Ах вон оно что! Ну, ну, извини, коли так, — примирительно вздохнул, малость сконфузясь, дядя Коля, придавая своей голове прежнее положение, лицом к окну, возле которого находился Ветлугин. Этому последнему пожаловался взглядом, неожиданно омрачившимся: "Попробуй их пойми, этих баб!"

А на другой день, после того как Сергей Ветлугин объездил с Леонтием Сидоровичем лишь наполовину убранные поля, побывал на колхозных фермах, тыкающихся в остывающее сентябрьское небо исковерканными руками оголенных стропил, нагляделся на скотину, утопающую в грязи, на пустые амбары, в которых еще не ссыпано ни зернинки для аванса на трудодни, — после всего этого, придя под вечер к дяде Коле, Сергей с отчаянием воскликнул:

— Все, что я увидел у вас тут, Николай Ермилыч, — это ужасно. Разве можно все это поправить?

Дядя Коля заговорил немедленно и сердито:

— Во-во! И ты о том же, а еще командир, начальник над людьми. Энтот, толстомордый, ну как его?.. Да Черчилль, будь он неладный, он как раз на то и располагал, что мы после такой порухи никогда уже не встанем на ноги, не выпрямимся в полный, значит, рост. Три, посчитай, года тянул со вторым-то фронтом, чтобы побольше нашей, русской кровушки пролилось... Орина, а ты чего рот разинула? Гостя-то надо встретить по-людски. Где у тебя там все — давай-ка, мать, на стол. Мы с Серегой посумерничаем. Боюсь, сынок, заговорить тебя до смерти. Вот как хочется покалякать с тобой! — Дядя Коля черканул ребром ладони по острому клинышку подвижного кадыка, указывая на тот край, до

которого хотелось бы ему достать в милой его стариковскому сердцу беседе. Убедившись, что Орина занялась тем, чем ей и полагалось бы заняться еще раньше, без его напоминания, то есть шевелить заслонкою и выуживать что-то в темном зеве печки разного размера ухватами, хозяин удовлетворенно крякнул; пропустил сквозь кулак жиденький пучок теперь уже совсем белой бороды, собрался продолжать свою речь, да потерял нить, которую обронил, делая внушение жене. — Ишь ты... Старая голова — что решето, все проваливается насквозь. На чем же мы, Серега?..

— Про Черчилля вы что-то...

— Ну да. Тянул, вражина, со вторым фронтом. Пускай, мол, вымотаются совсем — это он о нас так. А потом, дескать, я могу взять и того немца, и того русского голыми руками. Теперь, поди, таращит в нашу сторону свои зенки: подымемся аль нет? А мы, Сережа, должны, перед всем миром обязаны не только подняться, но и стать сильнее всех. — Дядя Коля помолчал, встал с лавки, на которой до этого сидел рядом с гостем, начал расхаживать по избе. Половицы поскрипывали под его тяжелым шагом, и скрип этот как-то очень уживался с несильным, суховатым и тоже немного скрипучим голосом старика. — Тебя худоба наша испугала, Серега. А разве тебе не доводилось видеть живых скелетов? У иного с голодухи одни ребра остаются — в чем душа держится? Ан в душе-то и весь фокус, весь секрет. Коли она здорова, мясо на костях нарастет. Подкорми человека, похоль его самую малость — глядишь, он и ожил, и румянец на щеках молодым баловнем заиграет. Ты вот увидел голые стропилы, буренок наших колхозных по пузо в назьме — и чуть ли не караул закричал. Пропали, дескать. Нет, Серега, не пропали покамест. Будут и крыши над фермами, и кормов для скотины вдоволь, и шерстка на животине залоснится, и трудодень наш прибавит в весе — все будет. Другое, сказать по-честному, меня, старика, заботит и иной раз лишает насовсем сна...

— Что же? — спросил Сергей, видя, что старик остановился посреди избы и неожиданно примолк хмурясь.

— Что?.. Дай собраться, сынок, с мыслями... опять разбежались они в разные стороны, как мыши по своим норкам. — Он расстегнул ворот темной сатиновой рубахи, чтобы дышалось попросторней, гость с удивлением увидел под рубахой все ту же матросскую тельняшку, до того изношенную и полинявшую, что теперь можно лишь догадываться о ее изначальной расцвет-

ке. — Все, говорю, будет, — повторил он с прежней значительностью и убежденностью. — А вот скажи, Серега, что нам делать с Машухой Соловьевой и вернувшимся вчерась ее Федором? Второй день идет война пока что в их доме, а назавтра может перекинуться и во второй дом, скажем, к Тишке, а оттудова — в третий, четвертый и пойдет полыхать, как при большом пожаре, потому как, Серега, все мы тут во время войны были одной судьбой повиты, одной веревкой связаны — потяни за один конец, всех как раз и зацепишь. Как тут быть? Как быть, скажем, с Катериной Ступкиной, у которой муж и старшие сыновья ушли на фронт и не вернулись, а на руках осталось еще семеро по лавкам... ну, не семеро — это к слову, — а четверо, разве мало?! — как ее с этими сопливыми удержать на свете и заставить распрямиться? Катерине нету и пятидесяти, а она старее вот нас с моей Ориной выглядит. А ведь в Завидове не одна такая, в каждой третьей избе — загляни-ка! — увидишь такую же. Что нам делать с ними? Что нам делать с твоей сродницей Федосьей Угрюмовой? Золото бабенка, а счастье бог не дал: одного возлюбленного потеряла в Испании, другого в германской стороне, а на третьего, которого полюбила и оттого стала вроде бы воскресать душой, матери их родные да другие злоязыкие бабенки устраивают настоящую облаву, как, скажи, на бирюка... Как помочь Фенюхе? А помочь надо — не дай бог, сломается в неравной-то войне, потеряем такую работницу, каких мало на земле. Что нам делать с этими бабами, какие вчерась еще были подругами, а нынче, клятые, тиграми глядят друг на дружку? Почему так глядят? Да потому, Сережа, что война и тут все замутила — сперва уравняла их, забрав суженых на фронт, а потом одним вернула мужиков, а других обнесла такой радостью, проложила между бабами глубокую пропасть. Примири-ка их попробуй, когда одна поглядывает украдкой на чужое счастье, а другая оберегает его, стережет, как волчица: не подходи, подруга моя милая, не то глотку перегрызу, — дядя Коля грустно улыбнулся. — До глотки пока что не доходит, а вот волосьям бабьим достается. Так-то, Сережа! Вот где, думается мне, главная послевоенная закавыка — в людских судьбах, путаных-перепутаных проклятой этой войной. Вот тут бы не сломиться. А остальное — пустяк. На теле любая рана зарастает, была бы здоровой душа, не задело бы ее теми осколками. А она, душа-то, Сергуха, как раз у многих ушиблена, и даже очень сильно. Тут простой повязки не наложишь, и лекарь для таких ран ну-

жен особый... Эх-хе-хе-хехенюшки! — дядя Коля вздохнул совсем уж по-стариковски и потянул гостя к столу. — Ну, довольно хныкать, подтягивайся, сынок, поближе к яишенке, бросим тут якорь. Орина давно уж постреливает в меня глазами: остынет, мол, а ты, старый пустомеля, никак остановиться не можешь. Я и вправду на Максимку Пакленикова начинаю походить, он у нас бо-о-ольшой любитель покалякать, а вот слушать других не любит. Только ты собрался разинуть рот, а он уж шумит: "Погоди, Ермильч, дослушай меня спереж!" А как его дослушаешь, когда конца его речи не бывает? Не приведи господи, коли он на колхозном собрании надумает выступить — никаким строгим регламентом его не унять!.. Ну да бог с ним, без таких на свете тоже не обойтись, оставалось бы какое-то на земле белое, незаполненное место... — говоря это, дядя Коля сперва ощупал придирчивым глазом стол, чего-то, похоже, там недосчитался, потому что повернул лицо к старухе и изобразил на том лице немой вопрос.

Орина поняла его и смятенно замотала головой.

— Неужто ни капли? — спросил он на всякий случай.

— Ни единой, Ермилыч.

Серега, с некоторым опозданием догадавшийся о затруднениях стариков, поспешил на выручку:

— Не о выпивке ли хлопочете? Не надо, дядя Коля. Пить не хочется, да и нельзя мне. Завтра уезжаю, а мне надо еще кое с кем встретиться и поговорить. Так что...

— Уезжаешь? Так скоро? А сказывал, на две недели к нам.

— Вызывают в часть, Николай Ермилыч, — пояснил Ветлугин, присаживаясь к столу.

— Случилось что?

— Может, и случилось, да кто же напишет об этом в телеграмме? Сам ведь был военным — знаешь.

— Оно конечно, — согласился старик и добавил: — А я собирался взять поутру ружьишки да по нашим болотам с тобой походить, уток и своих и пролетных, сказывают, многонько там. Глядишь, подстрелили какую ни то.

— Меня уж приглашал на охоту Авдей.

— Ну и что, ходили?

— Нет, отказался я.

— Вот как? А почему, дозволь узнать?

— Сказать правду: настрелялся я досыта, довольно с меня...

— Ну-ну, понимаю... Ты ешь, сынок, а мы со стару-

хой потихоньку будем глядеть, любоваться тобой. До Берлина, слышь, дотопал?

— До Праги!

— До Праги?! — воскликнул дядя Коля, озаряясь счастливой улыбкой и весь как-то выпрямляясь. — А ведь я, сынок, бывал в Праге, это еще когда в дунайской флотилии службу нес. С визитом вежливости наши корабли к австрийскому императору приходили по Дунаю. Вот тогда и в Будапеште, и в Вене, и в Праге — везде побывал. Сам Франц-Иосиф на палубу нашего корабля подымался, руку мне пожал и что-то там прошепелявил по-ихнему, по-ненашему, а мичман — он у нас большой был грамотей — перевел мне: "Каков молодец!" Это австрийский царь про меня так сказал...

— Опять расхвастался. Дай ты человеку поесть! — одернула старика Орина. — Твоими речами сыт не будешь.

— И то верно, — сейчас же согласился дядя Коля и надолго умолк.

Гостя своего он проводил до "места расквартирования", до подворья Авдотьи Степановны.

Телеграмма, предписывавшая гвардии капитану Ветлугину немедленное возвращение в часть, была хоть и неожиданна для него, но о ее возможности Сергея предупреждал еще писарь, который оформлял на него отпускные и который, как известно, принадлежал к той категории "младших чинов", каковые обо всех военных новостях, в том числе и наисекретнейших, узнают раньше своих командиров. Да и сам Ветлугин покидал полк с неясной тревогой на сердце: фултонская речь Уинстона Черчилля к тому времени уже прозвучала, в отношениях недавних союзников потянуло прямотаки холодом, а вчера еще безоблачные горизонты быстро затягивались грозовыми тучками, временами их наискосок рассекали острые сверкающие клинки молний; далеко и смутно погромыхивало. При таких обстоятельствах кадровый офицер гораздо лучше чувствует себя в своей части, среди однополчан, в особенности же — среди тех, с которыми прошагал без малого полсвета фронтовыми дорогами. И Ветлугину уже не терпелось дождаться утра, когда Леонтий Сидорович впряжет в таратайку правленческого, ревниво оберегаемого им Серого и в один час отомчит на станцию. Ка-

питан намеревался и лечь пораньше, чтобы поскорее прошла ночь, но получилось так, что ему не удалось вздремнуть и одного часа: война в доме Марии Соловьевой, та самая война, о которой помянул вскользь, мимоходом дядя Коля, захлестнула вдруг и его, Ветлугина, так что на всю эту ночь он оказался втянутым в сражение, не предусмотренное никакими боевыми уставами и не изучаемое ни в каких военных академиях.

Авдотья Степановна, заслыша его шаги, выскочила на крыльцо и заголосила:

— Беги, ой, господи, ой, матушка владычица!.. Беги же скорее туда!.. Перебьет он их всех, перестреляет... У него, сказывают, пистолет! И зачем только Авдей встрял в такое дело? Пускай бы она, сука беспутная, сама ответ держала! Господи, да не стой же ты, Сережа, беги, милый!..

Сергей, оглушенный сполошным криком тетки, поначалу не мог понять, что же случилось, а поняв, не сразу сообразил, какой путь короче, чтобы побыстрее оказаться у дома Соловьевых. Ноги, однако, оказались понятливее его головы — в пять минут перекинулся с одного конца села в его центральную часть, где обреталась всю войну в малой своей халупе непутевая головушка по имени Мария. Сейчас перед избой догорал амбар, подожженный, видать, вернувшимся Федором, и в зареве его, в раскачивающихся под несильным ветром жгутах пламени Ветлугин увидел все поле брани: Мария Соловьева, плотно взятая в оборонительное кольцо Феней Угрюмовой, Степанидой Луговой, Катериной Ступкиной, Настей Шпичихой и еще какими-то незнакомыми Сергею женщинами, стояла в одной изодранной станушке[1], прижимала к груди чернявую и кудрявенькую головку сына и яростными, без единой слезинки, глазами смотрела прямо на бушевавшего в руках Авдея и Точки мужа, гимнастерка которого была тоже изодрана и от сотрясения побрякивала полдюжиной боевых медалей.

— Убью, убью суку!.. — хрипел Федор, безуспешно пытаясь высвободиться.

— Отпустите его, — приказал подошедший Сергей, и случилось невероятное: разбуянившийся перестал вдруг кричать, уронил руки вдоль казенных своих брюк, как только они были отпущены мужиками, глаза его виновато забегали, лицо жалко затряслось, обмякло, и пьяные слезы, мутные и обильные, покатились по исцара-

[1] Так называют в здешних местах исподнюю рубаху.

панным, похоже, жениными ноготками, щекам. Плечи затряслись. Дыша на Серегу самогонными парами, заговорил всхлипывая:

— Как же... как же, товарищ гвардии капитан, можно ли так с фронтовиками? А? За что?! — выкрикнув это, он вдруг снова напружинился, мышцы рук отвердели, вскинутые над головой кулаки налились свинцовой тяжестью, рванулся к жене, но его опять подхватило несколько таких же сильных рук, и снова обманутый муж закричал с пьяной слезливостью: — Хоть бы прощенья попросила, змеюка подколодная!..

— Ишь чего захотел! — отозвалась Мария остуженным холодной ненавистью голосом, слизывая с рассеченной губы кровь. — Может, на колени упасть перед тобой? Не дождешься этого!

— А может, и надо бы упасть в ноги ему, покаяться? А, Маш, а? — зашептала ей в ухо Катерина Ступкина. — Глядишь, простил бы, и жили бы по-хорошему, в миру да ладу, а, Маш?

— Не будет этого, помру, а не покаюсь! — выдохнула та с прежним остервенением. — Пущай с Гитлера спрашивает!

— На войну, значит, хочешь свалить свой грех?! — закричал, задыхаясь в предельной ярости, муж. — Не выйдет! — Теперь Федор уже не был похож на пьяного, страшные слова рвались из него хоть по-прежнему бурно, но вполне осмысленно. — С Гитлером я уже свел свои счеты, теперь наступил твой черед, потаскуха завидовская!

Настя Шпич вырвала из материных объятий дрожащего мальчугана и, подхватив его, упирающегося и ревущего, на руки, унесла домой, чтобы ребенок не слышал больше жуткой матерщины, поганых слов. А к горячей точке быстро снарядила мужа, сказав:

— Свяжите вы его и заприте в сельсовете, а завтра видно будет, что с ним и как.

С такою установкой Санька и двинулся к месту происшествия. Тем часом страсти там накалялись. Обожженная низким словом, брошенным ей прямо в лицо, Мария вспыхнула, вырвалась из бабьего круга, подскочила к мужу и с перекошенным в бешенстве лицом раз за разом хлестнула его по щекам, приговаривая при этом:

— Это тебе за потаскуху, а это за проститутку!

Марию оттащили, Феня принялась увещевать ее, уговаривать:

— С ума ты сошла, Маша!.. С кем связалась! Оставь

его, пойдем к нашим. Поживешь покамест там, и Миньку твоего возьмем, пускай с Филиппом играют. А Федор... черт с ним... пусть воюет тут один. Может, еще и избу подпалит — пусть. Пойдем, Мария. Пойдем...

Должно быть, Федор все это слышал, потому что в следующую минуту взвыл еще пуще:

— А-а-а!.. И ты, Фенька, такая же! Защитница!.. Вместе, чай, по мужикам, мокрохвостые!.. Спелись вы тут все!

— Знамо спелись, — отозвалась Катерина Ступкина,— нашу, сынок, песню одному-то человеку не вытянуть. Вот мы и...

— Ты, тетенька Катерина, помалкивай. Не о тебе речь. А Феньке я все припомню!..

Феня остановилась как вкопанная, минуту думала о чем-то, что-то решая. Затем, подтолкнув Марию к другим женщинам, передав таким образом ее на их короткое попечение, вернулась, приблизила свое бледное даже в отсветах пожара лицо почти вплотную к лицу Федора, долго глядела так. Сказала коротко:

— А ну, гад, повтори, что ты сказал!

— Пошла ты...

— Повтори, говорю! Слышь? "Мокрохвостые"? Ах ты, зас...нец несчастный! А кто тебя всю войну кормил, поил? Кто одевал, обувал? Мы, "мокрохвостые"! Без нас бы ты и без немецкой пули окочурился... Что лапаешь свои медали?.. Не ты один вернулся с войны в медалях, да что-то никто так не бушует. Разобраться надо сперва во всем, а потом уж воевать... Ишь скликал все село, бесстыдник! Все Завидово взбулгачил. Глядеть на тебя тошно — ге-э-рой!

Феня, очевидно, решила, что этих слов вполне достаточно, чтобы расплатиться с неразумным мужиком и за себя, и за подругу, а потому и отошла вновь к тому месту, где сгуртовались ее односельчанки — с минуты на минуту их число становилось все большим и большим.

Оправившись от временного замешательства, Федор закричал вдогонку Угрюмовой:

— Убью и тебя, сводницу! И Машку, и ее выблядка — всех!.. И энтова Тишку Непряхина прикончу!.. Всех, всех!

— Ладно, — совершенно спокойно сказал дядя Коля, незаметно подошедший сюда вместе с Санькой Шпичем, — всех побьем, никого не оставим в живых, но только потом. А теперь, Федяша, пойдем-ка ко мне, посидим малость, потолкуем...

— Это ты, дядь Коля? — Федор перестал вдруг брыкаться, поглядел на склонившегося к нему старика виновато, робко как-то и одновременно с какою-то надеждой. Попросил: — Скажи им, чтобы отпустили меня.

— Отпустите, ребята. Федяшка — парень разумный, разве вы не знаете?

— Спасибо тебе, дядь Коля, а то все на меня... А где они были?.. — Федор оглядел всех разом: и Точку, и Авдея, и присоединившегося к ним Шпича, и даже Ветлугина. — Где, спрашиваю, они были, когда я...

— Были они все там, где и ты, Федя. Так что правду тебе сказала Фенюха: разберись сперва, а потом уж и буйствуй. А покамест пойдем ко мне. Я вчерась еще хотел прийти к тебе, да прихворнул — кости мои старые раскапризничались, так разломились, что моченьки никакой не было. Пойдем, сынок. А вы, бабы, по домам! Ишь нашли спектаклю! Веселого тут мало. Марш, марш по избам. И вы, мужики, тоже. Мне с Федяшкой одному надо побыть, без свидетелей потолковать. Айда, Федя. Старуха моя рада будет, ты, знать, забыл, что она тебе крестной доводится, крестила тебя с кумом Максимом Паклёниковым. Пойдем, голубок...

Необыкновенно покорного, обмякшего вдруг, по-ребятишьи пошмыгивающего носом Федора дядя Коля увел куда-то в темноту, должно быть, и вправду взяв направление к своему дому.

На том и закончился первый и, судя по обстоятельствам, далеко не последний бой у этого крохотного человечьего гнезда, на ничтожно малом кусочке огромной планеты, по которой только что прокатилась грозная колесница великой войны, позаботившейся о том, чтобы никто из сущих на этой горькой земле не был обойден ее милостью. Толпа разошлась, растворилась в темных проулках, скрывшись за плетнями, заборами и калитками других человечьих гнездовий. На прежнем месте какое-то время оставались только Мария Соловьева, Феня Угрюмова, Сергей Ветлугин и Авдей Белый. Стояли они молча, вроде бы прислушиваясь к треску догоравших и рушившихся наземь стропил, к звонкому стрекоту сверчков, успевших вовремя покинуть амбарные выщербинки, где до этого укрывались. Первой нарушила молчание хозяйка потревоженной хижины. Сказала, ежась, — лишь теперь почувствовала зябкую ночную прохладу:

— Спасибо, Фенюшка, дорогая, но к вам я не пойду. Как можно?

— Почему же? — спросила Феня с нескрываемой обидой.

— Ай не знаешь почему? — выдохнула Мария. — Мать и так жизни тебе не дает, а коли я еще нагряну с мальчишкой, да со своими грехами, Аграфена Ивановна и вовсе со свету тебя сживет. Разве можно! Ты, знать, вгорячах пригласила. Сердечушко-то у тебя доброе. Но ты не беспокойся обо мне. Никто не виноватый в моей беде, окромя меня самой. Останусь я дома аль на крайностях к Апрелю подамся, к Артему Платонычу, какникак дядя он мне, не выгонит, чай. И тетенька Прасковья не станет перечить...

— Ты вот что, Мария, ты нынче же и отправляйся к Апрелю. Тут тебе оставаться нельзя. Федора долго не удержишь в доме Николая Ермиловича, — сказал Авдей.

Сергей поддержал его:

— Правда, Маша, иди теперь же к своему дяде. Хочешь, я отведу тебя туда?

— Нет уж, Сережа, я сама. Да и вы идите. Досыта, поди, наопохмелялись на моей пирушке. Мне вот еще переодеться нужно, — и она оглядела себя, горько хмыкнула: — Хороша, нечего сказать! Домарьяжилась девонька! Ну что ж. Любила кататься, люби и... А! Да все равно теперь. Ну я пойду, а вы не ждите.

Они все-таки дождались ее — проводили, непохожую на себя, по-монашески тихую, с узелком, в который наскоро сложила что-то из шоболов, — проводили до самого Апрелева дома, для верности постояли у окон, прислушиваясь к тому, как будет встречена Машуха Соловьева не слишко-то близкими ей родственниками. Ушли к себе только тогда, когда после короткой сумятицы в доме погас возженный было светильник и все стало тихо.

— Слава тебе, господи, кажись, приняли — не выгнали. — Феня неожиданно для себя даже перекрестилась.

Авдей и Серега собрались теперь проводить Феню, но она решительно отказалась, так что им пришлось отправиться к Авдотье Степановне. У самых, однако, ворот своего дома Авдей замялся, заговорил невнятно:

— Ты вот что... ты, Сережа, иди... А я тут... я тут...

— Хорошо, хорошо, — заторопился Сергей, отлично понявший своего двоюродного брата. — Иди скорее. Может, еще догонишь.

— Спасибо! — почему-то поблагодарил Авдей и прибавил, оправдываясь: — Да я скоро...

— Давай, давай жми! — Сергей засмеялся, дал доб-

рого тычка Авдею и бегом влетел в избу, встреченный хозяйкой прямо у порога.

— А где ж сынок-то мой?

— Сейчас вернется. А ты чего, теть, не спишь?

— Ох, Серега, да какая же мать уснет, когда сын ее...

— Сын-то тетка Авдотья, не малое дитя. Чего же тут беспокоиться?

— А вот когда у тебя будут свои детки, тогда и узнаешь, чего это убиваются родители о своих птенчиках.

— Ничего себе птенчик — двадцать шесть лет.

— Для матери он завсегда птенец, — сказала она, как будто обидевшись, спросила еще раз: — Где ж он? За ее хвостом, поди, увязался? Ты уж, Сереженька, правду мне скажи, не обманывай тетку родную... Фенюха увела? Да?

— Зачем же увела? — заговорил напрямик гость. — Сам пошел. И напрасно ты, тетенька...

— А это уж, племянничек, мое дело, — сурово пресекла старая. — Что он у меня, Авдеюшка-то, аль судьбой обижен, чтобы чужие объедки по чужим дворам подбирать? С кем толечко не путалась эта Фенюха, а теперь на шею к моему сыну кинулась... Срам! Мне и на люди-то стыдно выйти, глазыньки показать не могу честному народу! Невест, что ли, в нашем Завидове для него мало! Взять хотя бы Надёнку Скворцову — первеющая красавица на селе, чем бы не пара ему?! Так нет, приворожила проклятая Фенька эта, околдовала, змеюка, часу без нее не могет пробыть, извелся весь...

Сергей терпеливо ждал, когда тетка его выговорится до конца, и, дождавшись, спокойно начал:

— Вот уж истинно сказано кем-то: в любви человек слеп...

— Ну, ну, — быстро подхватила Авдотья, принудив гостя опять смолкнуть. — А я о чем же толкую! Об этом самом.

— Ты-то об этом, а я о другом, — продолжал он, чувствуя, что начинает злиться. — Материнская твоя любовь к единственному сыну не его, а тебя сделала слепой. Иначе бы ты не устраивала гонений на женщину, равной которой нет на селе. И Авдей твой может быть счастлив лишь с ней, с Феней, и больше ни с кем. Разве это трудно понять? Ежели вы разорвете их связь, сделаете несчастными и его, и ее, да и себя самое. Вот увидите. И ты еще вспомнишь мои слова. Сейчас я иду к

правлению — мне пора на станцию. — Он скрылся в передней, через минуту вернулся с чемоданом в руках, крепко обнял молчаливую, напуганную горячей его речью хозяйку и быстро вышел из дому.

Двумя часами позже поезд увозил его на запад — подальше от родного Завидова с его постоянными, непреходящими и новыми, не совсем и не во всем понятными тревогами и заботами. В голове и, кажется, в сердце больно торчали дяди Колины слова: "Что нам делать с Машухой Соловьевой?.." "В самом деле, — билось в груди Сергея, — что им делать с нею, со всеми другими, похожими на нее? Где те сильные и ловкие пальцы, которые развяжут все эти страшные узлы? А я-то, чудак, думал, что с последним нашим выстрелом на земле наступит рай. Ничего себе рай!"

Он глядел в окно, навстречу бежали кусты с пожелтевшими, сморщенными листьями, промелькнула сорока вместе со своим большим полуобнажившимся к осени гнездом, она провожала поезд точь-в-точь как вон та одинокая женщина на малом, забытом всеми разъезде, — провожала глазами, не заботясь, наверное, обременить себя мыслью, куда он, поезд, катится, и что за люди в нем, и куда они направляются, что их гонит, какая нужда...

Вспомнив во всех подробностях увиденное за эти три неполных дня в родимых краях, он с больно сжавшимся сердцем спросил себя: "Неужели это и было то, о чем грезилось на военных дорогах и потом, после войны, там, на далекой чужбине? И зачем я приезжал? Что я мог привезти своим землякам? Чем помог им?"

Мельтешение кустов, бешеная встречная скачка телеграфных столбов, светофоров, шлагбаумов с их длинными ручищами, тонкие, распиливающие синь небес строчки проводов, унизанных какими-то пригорюнившимися черными птицами, одинокие люди, бездумно глазеющие на пролетающий мимо поезд, желтые флажки у будок — все это внезапно исчезло. Перед глазами, закрыв все другое, явственно, с поразительной отчетливостью выплыл откуда-то строгий, иконописный, словно бы уж окаменевший в непреходящей скорби, лик Аграфены Ивановны, жившей до его приезда пускай хрупкою, иллюзорною, но все-таки надеждой, единственно способной, несмотря на свою призрачность, удерживать человека на земле. Лишив ее этой надежды, что ты оставил ей взамен, гвардии капитан Сер-

гей Ветлугин? Черную, бездонную пустоту? Или вот эту мертвую окаменелость?

Тихо застонав, он отошел от окна, откинул дверцу купе и с ходу упал вниз лицом на нижнюю свою полку. Кто-то сверху обронил порицающе:

— Хоро-о-ош!.. А еще командир! Орденов, медалей-то сколько!..

Он слышал это, но занят был слишком важным для себя, чтобы одернуть незнакомого спутника за его несправедливое и обидное замечание. Он лежал, уткнувшись носом в подушку, а видел тот майский день в маленьком чехословацком селении по имени Косова гора, видел ликующие толпы людей, кричавших в безумно радостном упоении "наздар", размахивавших трехцветными флажками и бросавших под ноги солдатам, под их запыленные разбитые сапожищи и ботинки охапки живых, обсыпанных еще каплями росы цветов; увидал опять и того нарядного, будто специально приодетого для такого великого праздника, петуха, который взлетел тогда на забор и на весь белый свет протрубил свою песнь в честь победы и во славу освободителей. И день тот представлялся ему тогда лишь самым первым в бесконечном ряду дней грядущих, таких же, а может быть, еще более солнечных и праздничных, — мог ли он, победитель, осыпаемый цветами, погруженный в свя-тую купель безмерно счастливых слез людей, которым принес избавление, которые на его глазах приходят в неописуемый восторг только оттого, что им удается коснуться кончиком пальца линялой гимнастерки русского воина или дотронуться до звездочки на его полевом погоне, — мог ли он в тех условиях увидеть сухие, выплаканные до последней капли глаза, скажем, тетеньки Анны, окаменевшее в вечной материнской скорби лицо Аграфены, поджатые в неподсудном своем эгоизме губы тетки Авдотьи? Мог ли в тот ослепительный день подумать о жестокой сцене, разыгравшейся на его глазах прошлой ночью? А сколько их еще будет, таких-то сцен?

9

Ночная драма, свидетелем и участником которой был Сергей Ветлугин, имела свое продолжение, расходясь кругами и по временам принимая самые неожиданные, причудливые формы. Начать с того, что Авдей Белый прибежал к дому Угрюмовых, когда за Феней уже захлопнулась сенная дверь, а на крыльце вместо

нее встала грозным и неумолимым стражем Аграфена Ивановна, которой не впервой заступать таким образом дорогу Фениному ухажеру. Столкнувшись с непреодолимым препятствием, Авдей остановился посреди двора, глупо заморгал, решительно не зная, куда себя деть. Так бы, наверное, и стоял истукан истуканом неизвестно сколько времени, если бы его не выручила сама же старая хозяйка. Она спросила:

— Чего ты, голубок, забыл на нашем дворе?

"Голубок" промолчал, ибо на такой вопрос не отвечают. Однако Аграфена Ивановна все-таки сделала свое дело — вывела парня из минутного оцепенения. Авдей попросил:

— Позови Феню на минуту. Мне поговорить с ней надо.

— Для этого добрые люди днем приходют. Иди, голубок, никто тебе ее не позовет. Ступай.

Сказано это было таким тоном, что надеяться Авдею на что-либо не приходилось. Повернувшись, он медленно пошел со двора, а за калиткой его догнала Феня. Набросив на плечи ватник и наскоро покрыв голову темной шалью, она вышла из избы, скользнула мимо матери, миновала двор и вот теперь, взяв Авдея под руку, повела в сторону леса. Заговорила лишь тогда, когда дорога скатилась под гору, пробежала мимо Апрелевой избы, по Поливановке, и втянула, укрыв от стороннего глазу, в плотный белесый омут тумана, спускавшегося перед рассветом на все пойменные места, на лес и лесные озера — в первую очередь:

— Зачем же ты со двора? Вот чудак! Разве ты не знаешь маму? Она и раньше-то, почесть, не спала, а теперь и подавно. А я с проулка окно тебе открыла. Думала...

— Я знал, но ведь уж светало, бабы коров собирались выгонять.

— Ах да! Я и забыла, что уже утро. Но все равно пойдем: я хочу что-то сказать тебе. Так дальше нельзя, Авдей.

— Как? — встревожился он, остановившись и пытаясь заглянуть ей в лицо, прикрытое шалью.

— А вот так... Аль мы прокаженные с тобой, что от нас все отворачиваются?

— Опять ты за свое. Какие все? Старухи — это, по-твоему, все?

— Не только старухи... Ну ладно — не все. Пускай будет по-твоему. Но я больше не могу так. Либо ты оставайся с матерью и твоими сестрицами, либо... либо приходи ко мне совсем.

— А твоя мать? Как она поглядит на мой приход?

— А мы у Пелагеи Тверсковой покамест поживем. Я говорила с ней. Она согласна. А потом свое гнездо надо вить. У меня сын растет, у тяти своя семья. Да и Павлуша — парень уже. Не успеешь оглянуться, как приведет в дом невесту. Ну как ты? — Теперь она остановилась и глянула на него ожидающе. Испуганно, с глубокой тревогой, в нетерпении переспросила: — Как?.. Что же ты молчишь?

— Я думаю, Феня. Но хорошо ли нам будет в чужом доме?

— Да временно же!

— Все равно. Что скажут...

— Ах вон ты чего испугался! — голос ее задрожал.— А по чужим погребицам да по амбарам укрываться лучше?.. У разных там тетенек и дяденек? Ну, коли боишься мирского суда, веди в свой дом! — выдохнула она с торжествующей яростью. — Веди, веди! Ты же хозяин, мужик. Вот и веди. Что, боишься? Матушки, сестриц своих испугался? А еще герой, от фашистов, говоришь, три раза убегал, а от глупых баб не можешь...

— Постой, постой, — заторопился Авдей, вот только теперь действительно испугавшись. — Надо же все обдумать как следует...

— Ну и обдумывай один, а для меня хватит! — Она резко оттолкнула его от себя и свернула на лесную тропинку, едва различимую в плотном занавесе тумана. Заслышав за собой шаги, зло выкрикнула: — Не ходи за мной! Иди, иди к своей матушке. Она давно невестенку тебе подыскала. Надёнка Скворцова, бухгалтерша наша, уже постель приготовила. Ступай, и чтобы ноги твоей у меня больше не было. Слышишь?!

— Слышу! — отозвался он, тоже распалясь. — Больно-то не расходись. Как бы...

— Что "как бы"? — отозвалась она, вновь задержавшись. — Бросишь, что ли, меня? Эка испугал!

— Я не пугаю. Но только ты подумай...

— Я уж надумалась — голова кругóм идет от этих дум. Подумай теперь ты.

Авдей не ответил. Феня постояла еще немного, ожидая, когда он заговорит, но Авдей молчал. Прикусив в обиде нижнюю губу и подрагивая тонкими крыльями ноздрей, она медленно пошла в глубь леса.

Утро было тихое, макушки деревьев помалкивали, не перешептывались даже пожелтевшей листвою; лишь осинник, в который привела ее тропа, лопотал что-то тихо по своей всегдашней болтливости. Треснули где-то неподалеку сухие ветви под ногами потревоженного

лосиного семейства; взмахнула над самой Фениной головой своими бесшумными крылами сова, заканчивавшая ночной промысел; легкой тенью перечеркнул тропу зайчишка, вмиг сгинув в чащобе; с ближнего болота снялись дикие утки, огласили лес звонким и сочным кряканьем; вслед им раздался сдвоенный, дуплетный запоздалый выстрел.

Феня вздрогнула и, шарахнувшись в сторону, присела, прислонилась спиной к холодному и шершавому у комля стволу старой осины, затаилась.

Мимо, по тропе, огромная в рассеивающейся пелене тумана, проплыла фигура Архипа Архиповича Колымаги.

"Господи, только бы не увидел!" — Феня сжалась в дрожащий комок.

Лесник, однако, не заметил — проследовал в нужном ему направлении.

Феня вышла на тропу и медленно двинулась по ней, вовсе не думая, куда и зачем идет. Туман стал быстро редеть, можно было различать деревья и даже кустарник. Щеки Фенины уже не натыкались на хлесткие и обжигающе-гибкие лапки вяза, пакленика, карагача и густого в низинах черемушника.

Черемуха...

Феня задержалась, отломила ветку, отсекла крепкими и острыми, как у зверька, зубами кусочек, пожевала — рот сейчас же наполнился кисловато-горьким, вязким и душистым, а сердце вдруг что-то вспомнило, забилось часто и тревожно, сладкий испуг охватил ее всю. О чем-то напряженно думая, догадываясь о чем-то, но еще не догадавшись, но чувствуя, что вот-вот откроется ей это "что-то", заставившее тревожно и сладко заныть под ложечкой, она закрутилась на месте, зорко всматриваясь в каждое деревце, в каждый кустик, в каждую ветку. Не то, не то, не то — стучало в сердце и оглушительно звонко отдавалось в висках. Ах вот оно!.. Лишь теперь вся окинулась жаром, ибо глаза ее нашли наконец то, о чем догадывалось сердце: в двух шагах перед нею стояло, торжественно разбросав шатровую свою крону, большое черемуховое дерево, то самое, под которым четыре с половиной года назад, майской соловьиной ночушкой, ласкала она Семена Мищенко, нечаянную свою и самую короткую любовь. Оказывается, ноги, не согласуясь с ее волей, зачем-то сами принесли ее сюда. Зачем? Темнокожее, пахучее дерево стояло рядом и, казалось Фене, глядело на нее с тихою и грустною улыбкой, как бы говоря: " Не тревожься, не

выдам тайны твоей, потому что я всего-навсего дерево, и я умею молчать. Присядь возле меня, прижмись поплотнее к моей коре, остуди сердечко, а коли хочешь, поплачь — никому не скажу". Никто, разумеется, ей этих слов не говорил, они сами вскипали в груди и звучали там, когда она приблизилась вплотную к старой черемухе, обвилась вокруг нее и беззвучно заплакала, сотрясаясь плечами.

Несколькими минутами позже она уже быстро шагала по той же тропе, возвращаясь в село. Глаза ее были холодны и тверды, исполнены решимости. Сейчас она вновь была Ивушкой неплакучей, готовой встретить и отвратить любую напасть, какая бы ни выпала и на ее долю, и на долю близких ей людей. Она не знала, что эта внутренняя ее готовность, эта ее душевная мобилизованность потребуется ей, как только она войдет в село, в Поливановку, куда успело перекинуться и принять, кажется, самый крутой оборот начавшееся ночью событие.

Посреди Апрелева двора два человека, в которых Феня тотчас же признала Федора и Тишку, вцепившись друг в друга, отплевываясь кровью, рыча по-звериному и жутко матерясь, остервенело дергая один другого за ворот рубахи и гимнастерки, пытались и никак не могли подмять противника под себя и завершить схватку в свою пользу. Рядом суетился Апрель, усиливаясь — и явно без всяких шансов на успех — вразумить взбесившихся мужиков:

— Что вы делаете, негодяи?! Тиша, ты хоть отлепись! Вклещился, как, скажи, бульдог колымажий, не отдерешь... Федька, мерзавец, да ты задушишь его!.. Глянь, уж синеть начал Тимофей... Опомнись! Ты ж фронтовик. Неужто милицию кликать?! Мотри, не то сейчас же в сельсовет за Точкой сбегаю!

Последняя угроза, приберегаемая завидовцами обычно на самый крайний случай в подобных обстоятельствах, не могла подействовать на Федора, усмирить его, поскольку служивый еще не знал того, что Точка этот есть не кто иной, как секретарь и сельского Совета, и колхозной партийной организации, ни того, что он ко всему прочему еще и депутат и что, стало быть, все жалобщики при всех кризисных житейских ли, иных ли каких делах обращаются только к нему одному. Ничего такого не знал Федор, продолжая терзать отчаянно сопротивляющуюся свою жертву. В конце концов он одолел бы Тишку, ибо был почти десятью годами мо-

ложе его да и харчился, видать, чуток получше, — из-под воротника потемневшей от пота и грязи гимнастерки, от шеи к затылку, двумя крутыми и упругенькими валиками набегал непривычный для глаза отощавшего завидовца жирок. Но Тишка отбивался, как мог, понимая, что дело его — табак, если он хоть на миг расслабит мышцы и оробеет; он даже умудрялся держать в углах разбитых в кровь губ искуренную лишь наполовину самокрутку, которая и придавала его отнюдь не бойцовскому обличью насмешливое выражение, более всего злившее противника; Федор какой уж раз пытался выдернуть из его рта клятый этот окурок, но Тишка ловко увертывался, нередко утыкаясь концом непогасшей цигарки в небритую щеку или прямо в ноздрю вчерашнего солдата, коий выл от этого по-волчьи, но поделать ничего не мог ни с Тишкой, ни с его папиросой. Суетившийся рядом Апрель продолжал увещевать, уговаривать, угрожать всяческими карами, предусмотренными в имеющихся в сельсовете законах.

Феня вошла во двор в тот момент, когда к словам своим Апрель присоединил и физические действия — пытался растащить в разные стороны и встать поперек дерущихся, но куда там! Федор и Тишка хоть и маломерные по завидовским нормам, но все-таки мужики, а не кочета, которых легко укрощал старик таким-то вот образом; одного швырнет в правую, другого в левую сторону — и делу конец; унесут незадачливые бойцы к своим гаремам расклеванные гребешки и утихнут, вразумленные. Эти же не ограничились взаимным кровопусканием и мордобитием, но, волтузя друг дружку, поделились парою добрых оплеух и с ним, Апрелем; один удар пришелся как раз по "сопатке", как потом рассказывал Точке сам пострадавший, и теперь из ноздрей старика бежали и уже перекатывались через губы две тоненькие красные струйки, а крупная бородавка на носу увеличилась в размере чуть ли не вдвое и сделалась лиловой, как перезревшая ягодка крыжовника. Остервенев, старик взвыл и заметался по двору в надежде отыскать оружие, с помощью которого можно было бы одним разом покончить с буянами. Глаза его наткнулись на большую рыбацкую сеть, связанную им совсем недавно и теперь развешанную для просушки на плетне; ни минуты не колеблясь, не задумываясь над тем, что губит ценную вещь (впрочем, об этом он вообще никогда не задумывался), он начал с лихорадочной поспешностью срывать ее с кольев и острых сухих сучков, выпиравших всюду, и, когда снасть оказа-

лась вся в его руках, подскочил к месту побоища и с ходу накрыл обоих. Те затрепыхались в ней, как крупные рыбины, запутались в один момент и пали наземь, обессиленные, по-судачьи разевая рты и жалобно постанывая.

— Что, отвоевались, голубчики? — спокойно осведомился Апрель, а приблизившейся к нему Фене сказал:— Теперь их можно брать голыми руками. Как это я раньше-то не вспомнил про эту сеть! Давно бы утихомирил безумные их головы. Давай, Фенюха, помогай старику, одному мне с ними не сладить. Распутаем и разведем по углам.

Но слов этих Фене не требовалось. Она опустилась на колени рядом с хозяином двора и, горестно, укоризненно покачивая головой, принялась вызволять из сети драчунов, отделяя от одежды петлю за петлей до тех пор, пока мужики не оказались на свободе. Встали, отвернулись друг от друга и понуро уставились в землю, как вконец загнанные меринки.

— Хороши, нечего сказать, — обронила Феня.

— Тебя еще тут не хватало, — пробурчал Федор, поспешно застегиваясь на одну уцелевшую чудом пуговицу на своей хлопчатобумажной гимнастерке, по-прежнему увешанной боевыми медалями.

— Вот именно, не хватало. Кто бы вас распутал? Ка-ра-си! — усмешка, но не веселая, а скорее горькая, покривила ее губы. — Как же собираешься жить? Федор, слышь? Тебя спрашиваю. Аль не надоела тебе война, не навоевался там? На дом войну пригласил, с собой привез? Так, что ли?

— Не твое дело, — по-прежнему стоя к ней спиной, сказал он.

— Это как же так — не мое? А чье же? Мария подруга мне ай нет?

— Ежели подруга, что же ты, праведница, не прищемила ей хвост, когда она...

— Пробовала, не получилось, — сказала Феня, темнея лицом и глазами. — Что ж теперь делать, как будем жить, спрашиваю я тебя, Федя? Я нисколько не оправдываю Марию и этого вот... козла вонючего...— она повернулась к Тишке, который стоял на всякий случай поближе к Апрелю и торопливо сооружал цигарку. — Не оправдываю никого. Но жить-то нам вместе, в одном селе, в одной артели. Что же ты молчишь, Федор?

— А что я?.. Что ты ко мне привязалась? Покуда не рассчитаюсь с Мареей и вот с этим... — Федор резко повернулся и в один прыжок оказался рядом с Тишкой,

но Феня успела ухватить его за воротник и резко отбросила назад, на прежнее место.

Отругиваясь и сплевывая запекшуюся во рту кровь, Федор медленно побрел со двора. Оказавшись на расстоянии, которое гарантировало его, по крайней мере, от немедленного ответного удара, он злобно пообещал:

— Ну-у-у, сука, постой... Ты еще узнаешь меня... Федька такого никому не прощает!

— Давай, давай проваливай! Видала я таких... — она говорила так, а чувствовала, что сердцем-то жалеет его, жестоко обиженного и оскорбленного, вернувшегося после всех мытарств по фронтовым дорогам к разоренному гнезду. Но чем помочь, как утешить, где взять лекарств для таких-то вот ран? — Повернулась к Тишке: — А ты как тут оказался? Какая нелегкая занесла тебя сюда? Без тебя тошно. Шел бы на поле, пересидел бы эту беду там, ребятишкам бы помог. Павлушка наш с Мишей Тверсковым третьи сутки без смены... Одни глазенки остались... В чем душа только держится. Помогал бы им, а ты тут войну затеял. Эх ты, аника-воин! Погляди на себя, на кого ты похож? Антонина не признает... Ну ж, Тимофей, будет тебе от нее! Представляю... — Феня невольно улыбнулась.

— Ну и представляй, — огрызнулся Тишка, обидевшись. Теперь, когда непосредственной опасности не было, он вдруг расхорохорился, победоносно глянул в сторону калитки, за которой только что скрылся его враг, воинственно выкрикнул: — Зря вы нас растащили! Он бы у меня...

— Он бы у тебя, — быстро закончила за него Феня, — вырвал со всеми причиндалами то место, которым ты, паршивец, грешил. Говори спасибо нам вот с дядей Артемом, а то бы...

— Ну и хулиганка ты, Фенька! Ну и баба! — воскликнул Тишка с искренним восхищением. — Так, думаешь, и вырвал бы?

— Вырвал бы и псам выбросил, — быстро подтвердила она. — И жаловаться тебе, Тиша, не на кого было бы. Понял?

— Как тут не понять. Тут любой...

— То-то же. А теперь иди. Мне с дядей Артемом поговорить надо. Иди, иди, милый. Я скоро тоже в поле отправлюсь. Иди... Нет, постой... Дядя Артем, принеси воды — я хоть мурло-то ему умою маленько. Страшно глядеть — Антонина в обморок упадет от такого видения...

Апрель вышел на зады, за плетень, над которым по-

дымался колодезный журавль, и скоро вернулся с полным ведром.

Феня скомандовала:

— Голову-то наклони, назола!

Тишка подчинился.

— Ниже, ниже! — она поддела пальцами остро выступающую затылочную кость его черепа и окунула голову по самые большие, оттопыренные уши. — Вот так, вот так!

Захлебнувшись, Тишка боднул головой, заорал — забулькал горлом:

— Ты что, с... сорвалась? Очумела? Вода-то ледяная!

— Ничего, потерпишь. Ишь какой нежный! Охолонь немножко — тебе это сейчас в самый раз... Дядя Артем, принеси мыльца, да, смотри, не душистого, а стирального. Тишка того не стоит, чтобы...

— Отвяжись ты от меня, Фенька! — шумел Непряхин, пытаясь высвободить из ее по-мужски сильных, жестких и шершавых рук головенку, круто, прямым неотесанным колышком всаженную меж узких плеч.— Что привязалась?!

— А ну, цьщ! — Феня приняла из рук хозяина кубик мыла, сваренного бог знает из чего, цветом и несокрушимой твердостью напоминавшего антрацит, стала ожесточенно надраивать им Тишкину физиономию, почти сплошь покрытую кровоподтеками и вымазанную грязью. Затем, отложив мыло в сторону, а голову придерживая левой рукой, начала проворно и привычно — так умывала она своего Филиппа — ополаскивать побитую физиономию страдальца. Покончив, отпустила его, сказав с печальною усмешкой: — Теперь иди. Жених!

Обернувшись к молча наблюдавшему за ними Апрелю, спросила:

— Маша дома, что ли?

— Како там! Услыхала эту заваруху — шеметом на задний двор, только ее и видали. И старуха моя за ней. Должно, к трактору своему Мария подалась. Сказывала ночесь, что поутру отправится в поле. Не вернусь, говорит, в село до самых морозов.

— А Минька ее где?

— Настенька Шпичиха приголубила. Сама-то она тоже на зябь, поди, ускакала — нешто ее удержишь в доме в такое время. Да ничего. Мальчонку, чай, отвела уж к Стешкиному приемышу, к Гриньке, — они ведь как близнецы... Так что Минька теперь уж у дружка своево, у Гриньки. И добро. Вдвоем им повеселее будет, когда матери их на работе... Эх, Гринька, Гринька! Из чьего

семени ты народился, рыжий бесенок, из чьего яичка проклюнулся? Какая кукушка обронила тебя на Стешкином крыльце? Сказывают люди, залетная, будто бы из Кологривовки. Узнай теперь поди, отыщи ее, ту кукушку...

— И искать нечего, Степанида Лукьяновна разве отдаст кому? Она дышит над Гринькой и лампадку давно погасила у своих икон, — сказала Феня. — Сколько лет не видели люди улыбки на Стешином лице, а теперь улыбается. "Мой Гринька!" — молвит так и расцветет, просветлеет. "Это, — говорит, — бог мне послал за все мои муки, за все мои страдания!" Вьется над ним, как клушка над цыпленком, готова любому глаза повыцарапать, коли тронет ее Гриньку...

Феня замолчала. Молчал и Апрель — не сразу вернулись они к событию, которым были заняты всю ночь и часть этого утра. Наконец Феня спросила:

— С чего началось-то у этих драчунов?

— А шут их знает. Да ты в избу прошла бы. Озябла небось?

— Нет, ничего. Да и недосуг мне, дядя Артем, тоже в бригаду, на стан надо бежать, брата Павлушку сменить. Умаялся, поди, до смерти парнишка.

— Да, жидковат твой брательник покамест. Ему бы в козны еще играть, а он на тракторе. Да что поделаешь? Не бросать же землю, кормилицу нашу, невспаханной, мужиков-то на селе — кот наплакал. Взять хотя бы Федяшку — когда теперя отойдет сердцем-то, успокоится, чтобы к делу какому привязать его, к тому же трактору али там к комбайну?! Да и удержишь ли его сейчас в Завидове? Махнет в город аль еще куды, только бы с глаз долой. Ты вот спрашиваешь, Фенюха, с чего началось тут у них, как заварилось? Да я и сам никак в разум не возьму, как они очутились на моем дворе, какой шут привел их сюда. Только присел позавтракать, слышу — шум, ругань... Вскочил, а они уж схватились...

Она не дослушала — заторопилась:

— Я пойду, дядя Артем. Спасибо тебе.

— Эт за что же? — искренне удивился Апрель.

— За все. Хороший ты.— И Феня быстро пошла со двора, оставив старика в состоянии некоторого недоумения: по правде говоря, за всю свою долгую жизнь Апрель ни единого раза не думал, какой он: хороший, плохой ли. "Я ить и в зеркало-то лет сорок не глядел-ся,— подумал он, запуская пальцы правой руки в свой загривок.— Хрен ее знает, эту Феньку, чего она там...

Черт те что!" Он поскребся еще и в реденькой бороде, хмыкнул напоследок и направился в избу. У самой двери, однако, вспомнил про изодранную сеть, вернулся, поднял ее с земли, потряс, помедлив, швырнул за плетень, на кучу навоза. Теперь только, почтя, видимо, свой долг исполненным до конца, удовлетворенно перевел дух и отправился в избу.

10

Фене Артем Платонович сказал правду. Он действительно не знал, что же предшествовало сражению, затеянному на его подворье двумя непримиримыми врагами. Появление одного Федора вряд ли удивило бы старика: рано или поздно, но тот должен был прийти, поиски жены непременно привели бы его сюда. Но вот Тишка... По логике вещей, он должен был бы держаться подальше от Марии Соловьевой, во всяком уж случае, не показываться на глаза ни ей, ни ее разъяренному мужу хотя бы в первые дни возвращения Федора. Тишка, насколько его знал Апрель, не отличался особой храбростью, держался всегда подальше от любых стычек, время от времени возникавших среди завидовских мужиков, и потому маловероятно, чтобы он мог сознательно, не имея рядом с собой своего дружка-приятеля Пишки, пойти на столкновение с человеком, который был гораздо сильнее его и на стороне которого к тому же была правда, взывающая к отмщению. Но к моменту своей неожиданной встречи с Тишкой Федор был настроен почти миролюбиво, он направлялся в Поливановку лишь затем, чтобы уговорить Марию вернуться вместе с ним домой, до этого с такою же целью он обошел полсела, нащупывая ее след, пока Екатерина Ступкина, сжалившаяся над ним, не указала верный адрес. Причиною же такой быстрой перемены в настроении Федора было двухчасовое пребывание в доме дяди Коли, куда вскорости завернул "на огонек" Виктор Лазаревич Присыпкин, то есть Точка, не на шутку встревоженный ночною историей, могущей повлечь за собой самые непредвиденные и менее всего желательные последствия.

Дядя Коля начал с того, что омыл лицо гостю, поправил на нем солдатскую одежду, усадил за стол и только потом уж сказал — строго и наставительно:

— Ты, Федяшка, меня знаешь. Дядя Коля слов на ветер не бросает. Ну вот. Слушай меня внимательно — это тебе говорит революционный матрос: кулаки свои

засунь поглубже в карман и держи их там до тех пор, пока разум твой не возьмет верх над твоим слепым сердцем — оно у тебя сейчас горит в лихорадке и в советчики при важных делах совсем даже не годится. Понял?

— Понял, дядь Коля. Да я...

— А ты помолчи, дядя Коля еще не кончил своей речи. — Когда в Николае Ермилыче просыпался проповедник, он весь преображался, плечи его прямились, правая бровь становилась торчком, лик делался суров и торжествен, голос дрожал, и называл себя дядя Коля в такой-то час лишь в третьем лице.— Война, сынок,— она твой злой разлучник, она порушила не одно твое гнездо... Да ты постой, не рвись из оглобель, как норовистый жеребчик! Знаю, чего ты хочешь сказать. Все, мол, на войну свои грехи хотят свалить. Нет, Федяшка, не про то я. На войну всего не спихнешь, какой с нее спрос? Она вон усеяла всю, почесть, землю могильными холмами да сиротами, и ей хоть бы что — краснеть не умеет, совести у нее нету. И на скамью подсудимых вместе с ее зачинщиками не посадишь... И все ж таки, сынок, злое семя в твое гнездо она лукнула, война. Марея, конечное дело, дрянь девка, слаба оказалась...— дядя Коля покосился на Орину, стоявшую тихо со скрещенными на животе руками на постоянном своем месте, возле печки, поперхнулся малость, прокашлялся,— слаба, говорю, оказалась на это самое... Да ведь, Федяша, не все же люди одинаковы, не все являются на свет сильными и непреклонными...

— А мне-то что делать? — перебил старика Федор, чуть не плача.— Как людям в глаза смотреть? Как жить буду?

— О людях не беспокойся. Люди у нас не глупые. Правильно все поймут. Не осудят, коли ты простишь ее, неразумную. И она оценит это по-настоящему, прикипит к тебе сердцем — не оттащишь. Это уж как пить дать! А так — кулаки, мстить... Кому? Бабе глупой? Сильные люди, Федяшка, так не поступают, это у слабых да у тех, кто с придурью, кулачишки завсегда чешутся. Ты, чай, не Пишка, это он, как чуть что — в драку. Днями за малым Павлушку Угрюмова не прикончил, подстерег в проулке. Мальчишка с полей домой шел, кинулся Епифан на него сзади и давай душить... Едва отцепили. Спрашиваем: "За что ты его так, что он тебе сделал?" Твердит одно: у него, мол, спросите, он, щенок, знает за что. Спрашиваем того: "Что ты натворил, Павел?" Отнекивается. "Ничего, — говорит, — я не натворял, не знаю, за что на меня дядя Епифан наки-

нулся...” Вот и пойми их. А зачни разбираться как следует, копни поглубже, на нее же опять и наткнешься, на войну. Небось и тут она замешана...— дядя Коля глубоко, трудно вздохнул, собирался, видимо, продолжить свою мысль, но услышал, что кто-то скребется в сенях, отыскивая ручку двери, шумнул на жену: — Орина, чего ты уши развесила? Не слышишь, стучатся? Открой человеку!

Вошел Точка. Прямо с порога посетовал:

— Ну и темнотища у вас в сенях! Хоть бы ”летучую мышь” повесили.

— Чего не хватало,— грубовато ответил хозяин, вставая и идя навстречу новому гостю.— Хочешь, чтобы пожару наделали? Вы со своим Шпичом новую избу мне не простите, кишка у вас тонка. И у вас, и у колхоза. Так что, Виктор Лазаревич, отыскивай мою дверь на ощупь да приходи почаще, проведывай стариков, тогда и пообвыкнешь, зажмуркой найдешь ту рукоять... Проходи, подсаживайся к нам. Мы тут с Федяшкой об жизни калякаем. Знакомьтесь...

— Да мы уж вроде бы познакомились...— сказал Точка.

— То не в счет. Сейчас знакомьтесь.

Федор нехотя встал и, хмурясь, сунул свою руку.

Точка с готовностью и, кажется, даже с радостью крепко, энергично пожал ее. Сразу же спросил:

— На каком фронте воевал?

— Второй Украинский,— глухо и по-прежнему сумрачно ответил Федор, садясь.

— На Втором Украинском?! — живо переспросил Точка. — Ну и ну! А армия! В какой армии? Не в седьмой ли гвардейской?

Федор с удивлением поднял глаза на Точку:

— В седьмой, а ты откуда знаешь?

— Еще бы мне не знать! Я с этой армией от Сталинграда до самой Праги протопал.

— Не может быть! — Федор даже чуток подскочил на скамейке.— А в какой дивизии?

— В семьдесят второй...

— Гвардейской, бывшей двадцать девятой?

— В ней самой...— осторожно, не столь уже бойко подтвердил Точка.

— Ну и ну! — Федор заерзал, поглядел на дядю Колю, на его жену.— Слышите? Однополчанина встретил! Вот это да! Неужели правда?

— Точка! — подвел первый итог этой встречи Виктор Лазаревич и, чтобы окончательно развеять возмож-

ные сомнения у благоприобретенного однополчанина, продолжал: — Наверное, помнишь, как в шутку называли мы свою дивизию: непромокаемая, непросыхаемая...

— ...околохарьковская, мимокременчугская, — подхватил Федор, смеясь, удивляясь и уже по-настоящему радуясь, что так нежданно-негаданно отыскал еще одного фронтового товарища, да не где-то там еще, а в родном селе.

Позабыв и про дядю Колю, и про его старуху, молча, с тихою и доброй улыбкой наблюдавших за ними, они говорили и говорили, перебивая друг друга все тем же, обычным для таких случаев "А помнишь?", говорили о том, как сражались под Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре, как шли по Румынии, как продирались через Трансильванские Альпы и Карпаты, как не по своей воле купались в студеных волнах Дуная и Грона...

Постепенно повествование Федора стало обрастать подробностями, обилием мелких деталей и второстепенных, но чрезвычайно важных для рассказчика эпизодов, то есть наступил момент, которого больше всего опасался Точка; чтобы не быть разоблаченным, он с этой минуты должен следить за каждым своим словом и находиться в состоянии предельной внутренней сосредоточенности: сведения о том, где и в каких войсках служил Федор, Точке удалось заполучить всего лишь час назад у одного завидовца, который воевал в одной части с Федором и вернулся домой одновременно с ним, а сам Точка находился совсем на других фронтах — сперва на Волховском, позднее на Втором Белорусском — и по этой причине не имел ни малейшего понятия об эпизодах, о которых вспоминал сейчас с великим упоением его встревоженный и взволнованный собеседник. Потому-то, когда речь заходила о конкретном человеке, солдате, офицере ли, или о каком-нибудь румынском или венгерском населенном пункте, Точка скромно умолкал, не перебивал Федора, лишь изредка ронял неопределенное: "Ну да", "А как же!", "Хорошо помню!", "Еще бы" и подобные этим словесные туманности, с тем лишь, чтобы как-то поддерживать разошедшегося не на шутку фронтовика,— так обычно люди поддерживают костер, изредка подбрасывая в него сухие ветки. Охваченный лихорадкою воспоминаний, Федор, конечно, не замечал этой уловки, и Точка вполне мог бы быть спокоен, но его покалывала собственная совесть: правдивый во всем до крайности, не тер-

певший даже самого безобидного вранья, глубоко убежденный в том, что половина всех бед, время от времени обрушивающихся на людей, обрушивается на них оттого, что в житейском, человеческом общежитии наряду с правдой получила по чьему-то преступному недосмотру прописку и ложь,— убежденный в этом несокрушимо, Точка тем не менее принужден сейчас лгать. Ему меньше всего хотелось бы следовать известной формуле относительно того, что цель оправдывает средства, ибо не всякое средство и не всякая цель оправдывают такое сотрудничество; но у Точки не было иного способа сблизиться с человеком, который оказался в ужасном положении, а сблизиться надо было во что бы то ни стало, потому что человек этот нуждался в немедленной помощи. Внимательно слушая его рассказ и терзаясь душою, Точка мучительно отыскивал на этот раз точку опоры для самого себя, ту точку, которая хотя бы в малой степени могла успокоить его совесть. В конце концов вздох облегчения вырвался из его груди — это когда он вспомнил, что со временем признается Федору в своем обмане, расскажет ему всю правду, снимет таким образом грех со своей души, — и произойдет это тогда, когда в жизни Федора все сколько-нибудь образуется, утрясется, войдет в более спокойные берега, не прежде. Кровь, которая было густо подступила к лицу Виктора, сейчас отхлынула, оставив на лбу и в переносье лишь крупные капли пота — незаметно для Федора он быстро смахнул их рукавом рубахи.

— Точка! Хватит, брат! — поднялся Виктор из-за стола.— Вон уж бабы коров выгоняют, не дали мы с тобой старикам и часа соснуть.

— Сидите, у нас с Ориной сон теперь воробьиный, на минуту прикроем глаза — и довольно, — успокоил их дядя Коля.

— Благодарим, но нам и вправду пора,— сказал Федор, явно сожалея, что должен был вернуться из привычного мира, в котором он еще недавно жил как в мире жестоком, но реальном, а минутою раньше погрузился в него в своих воспоминаниях.

Почувствовав это, Точка пообещал:

— Мы еще с тобой, Федор, наговоримся. Приходи вечером ко мне. Вся ночь в нашем распоряжении. Приходи! Даша моя рада будет.

— Спасибо, друг, — немедленно согласился обрадованный Федор. — Обязательно приду. Куда ж мне...

— Вот именно — куда тебе? — быстро отозвался дядя Коля.— Оставайся у нас. Мы со старухой на печке, а

тебе кровать свою супружескую ссудим. Мы уж, Федяшка, с Ориной теперь и не вспомним, когда лежали на ней. Ни к чему она нам, давненько отслужила она для нас свою службу. Так что раздевайся и ложись.

— Нет, дядя Коля, я пойду.— В голосе Федора послышались и непреклонность и нетерпение. Потому-то хозяин и сказал быстро:

— Ну иди, да смотри не бунтуй.

— Что ты, дядя Коля! Я теперь...

Федор вышел из избы раньше Точки, вышел, как уже сказано, с решительным намерением отыскать Марию, объявить ей сейчас же о своем прощении и увести вместе с ее сыном домой. И когда Екатерина Ступкина указала ему точный адрес, он бегом направился в Поливановку. Федор бежал и не знал, что туда же и в этот же самый час направлялся другой человек, и звали того человека Тишкою Непряхиным...

Не только Апрель, но никто на селе не мог бы и предположить, что Тишка отважится на такой шаг, что по доброй своей воле очертя голову кинется в самое пекло. Но бывают моменты, когда и в заячьем сердце просыпается львиная отвага, только надо, чтобы сердца этого коснулась любовь — единственное, что способствовало сделать невозможное возможным. Нет, нет, речь тут идет не о Тишкиной любви к Марии Соловьевой, ее, собственно, никогда не было, что могли бы со всей очевидностью засвидетельствовать Тишкины же слова, брошенные им в минуту окончательного разрыва с Соловьевой. Он сказал тогда без малейшего сожаления и огорчения: "Что ж, Марея, завлёка моя сердечная? Зад об зад, горшок об горшок — и наврозь? Так, что ли? Ну и добро! Посмешили, потешили народ честной, да и довольно!"

Другое дело — Минька, этот черномазый, цыгановатый шкетенок, которого Тишка умудрился вылепить по образу и подобию своему: не отыщется, кажется, ни единой извилинки, ни единой конопинки, ни единой крапинки на Тишкином лице, каковые не повторились, не отпечатались бы в удивительной точности на лице мальчишки; нос, глаза, оттопыренные уши, большая, чуток вывороченная нижняя губа — все, решительно все было Тишкино, а курчавая, вытянутая вверх, острая головенка довершала это поразительное сходство. На все на это Тишке частенько, используя любой повод, указывали завидовские бабы, видел это и он сам, Непряхин, и, видя, все больше привязывался, прикипал душой к мальцу. Не следует забывать при этом, что

законная Тишкина жена Антонина рожала ему дочерей, которых было теперь уже четверо, а он ждал все сына и потому не давал супружнице своей передышки, вел, как сам однажды признался мужикам, "дело до мальчишки". Пока что у них с Антониной это не получалось, и можно было подумать, что Мария Соловьева сжалилась над Тишкою, разрешившись прямо на поле майским деньком сорок третьего года кудрявеньким, смугловатым Минькой.

Никто в Завидове, кроме разве Дашутки, нынешней Точкиной жены, которая во все эти трудные лета заведовала детским садиком, никто, кроме нее, не знал, как Тимофей Непряхин нередко пробирался в этот самый детский сад, торопливо, озираясь, точно вор, хватал на руки Миньку и, если было холодно, прятал его под полой своего полушубка и уносил куда-то, а потом возвращался, выпускал его из рук, как птенца, и, стоя у порога, долго глядел на него, счастливый. Напоследок говорил юной няньке: "Ты уж, Дашуха, того... ты не проговорись... никому, что я... это самое. Ладно?" Она успокаивала: "Иди, дядя Тиша, никому не скажу".

И вот теперь, представив мальчишку в опасности, Непряхин сначала побежал на хутор, к дому Соловьевых, затем, околесив все село, переспросив десяток людей, где бы могла быть сейчас Мария со своим дитем, в конце концов нащупал дорогу, которая привела его прямо во двор к Апрелю, куда минутою раньше проследовал Федор. Завидя его, стучавшегося в дверь, Тишка в два-три прыжка оказался рядом, ухватился за ворот гимнастерки... Ну а что было потом, мы уже видели.

11

Мария Соловьева, прежде чем отправиться на поле, забежала к Шпичам, забрала сына и отвела к Степаниде, где мальчишка тотчас же присоединился к Гриньке, затеявшему какую-то игру со скамейкой — кажется, вообразил ее лошадью, потому что две скамеечные ножки были спутаны, перевязаны веревкой. Степанида, глянув на гостью, быстро поняла, что к чему:

— Оставляй, оставляй, пускай поживет у нас сколько понадобится. Да и сама перебирайся ко мне. А сейчас иди в поле и не беспокойся за сына. Я присмотрю. Теперь ведь я все время дома, трактор мне уж не по силам, взяла вон десяток поросят с колхозной фермы —



отпаиваю их у себя, там бы они в навозе все потонули. Так что ступай и ни о чем не тужи.

— Спаси те Христос, Степанида!

— Вот еще! Велика тяжесть — ребенку кусок хлеба сунуть да спать уложить. Для меня хоть один, хоть два... Иди, иди. Глянь, как завозились! Вдвоем-то им одна радость!.. Ты только глянь! — и Степанида осветилась вся, глаза ее заблестели. Повернувшись опять к Соловьевой, сказала уж построже: — Аль не доверяешь мне?

Мария ушла, а Степанида присела у печки и, притихнув, стала наблюдать мальчишью возню, чувствуя, как теплая волна нежности заливает грудь, подступает к глазам, которые быстро увлажнялись. И опять — в ка-

кой уж раз! — вспомнила про ту ночь, которая разом покончила с ее горьким одиночеством.

Спала она тогда плохо. Что-то ее тревожило. Часто просыпалась, открыв глаза, прислушивалась, ждала чего-то. В какую-то минуту ей послышался ребеночий писк, она перекрестилась, но не поднялась с кровати, решив, что почудилось: откуда взяться дитю? А когда писк повторился, вспугнутой большой птицей сорвалась с постели и в одной станушке выскочила на крыльцо. Подхватила сверток, вбежала с ним в избу, положила на подушку, долго не могла найти спичек, чтобы зажечь лампу. Когда же нашла и зажгла, кинулась к кровати, принялась разворачивать сверток. Несчастная женщина, давшая жизнь, теплившуюся теперь в этом свертке, позаботилась все-таки о том, чтобы дитя не замерзло, не застыло до утра (на дворе был декабрь),— запеленала в полдюжину пеленок, сделанных из старых юбок и кофт, закутала в стеганое из хорошо, со вкусом подобранных разноцветных льняных и шелковых клинышков одеяло, похоже, приготовленное еще в девичью пору в надежде на скорую свадьбу; головку ребенка уложила в белоснежный шлычок, отеплив его куском платка, связанного из козьего пуха.

Степанида раздевала ребенка, словно луковку, до тех пор, пока под грубыми, очерствевшими пальцами не затрепетало, не запульсировало нежное и тепленькое, пока не пахнули на нее запахи, о которых она давно позабыла. Застонав, уткнулась пылающим лицом в подушку, прислонилась щекой к горячей головке и сейчас же почувствовала, как где-то у височка часто-часто бьется жилка, стучится в ее щеку невидимым малюсеньким молоточком. Ее душили слезы, она сглатывала их, силилась что-то сказать, а с губ срывалось несвязное:

— Капелька... горошинка ты моя... Кто же... как же это? Пресвятая богородица! Неужто... неужто это?.. — Сухими, опаленными внутренним зноем губами пробежала по всему тельцу, от прижмуренных глазенок, через шейку, пузцо, через ямочку пупка, до пипирочки, до этого теплого краника, только что пустившего бойкую струю, до коленок, до пальчиков на красных ножках.

В то время она не думала и не могла думать о том, чем будет кормить, во что одевать ребенка; не думала и не могла думать и о том, что скажет людям, когда они увидят его на ее руках, ибо все это, все эти соображения были так ничтожны в сравнении с тем, что испы-

тывала она сейчас. Знала ли та, несчастная и слабая, добровольно приговорившая себя на вечную казнь, та, что робкой тенью промелькнула по спящему селению, знала ли она про то, что ее преступление, что тяжкий ее, ничем не искупимый грех обернется великим благом для другой женщины?

Степанидина печь задымила и тогда раньше других печей, но на тот раз намного раньше, только никто этого не приметил, а когда начали просыпаться соседние избы, когда закудрявились дымки и над их крышами, она уже выкупала своего Гриньку (так почему-то окрестила, едва убедившись, что перед ней мальчик), накормила молоком, сразу же отыскав соску, о которой никогда до этого не вспоминала и не знала даже, где она могла валяться. Летала по избе, по сеням, по двору и снова по избе, как на крыльях, чувствуя упругую легкость во всем теле, находя то одно, то другое, вдруг ставшее крайне необходимым. Забралась с необыкновенным проворством на подлавку, стащила оттуда широкую, рассчитанную на близнецов, сделанную покойным мужем зыбку, подвесила на крючок у потолка матицы, застелила, отыскав так же быстро детские матрасик, одеяльца, подушки; затем осторожно, замирая, млея от счастья, уложила ребенка. Укачав его, сама переоделась во все чистое и нарядное, извлеченное со дна старенького сундука, где это нарядное и чистое лежало в печальной неприкосновенности с тридцатых годов и, пожалуй, тоже забытое хозяйкой.

Странное дело: все вещи, которых она касалась и которыми до сегодняшнего утра пользовалась как-то механически, с тупым безразличием, переставляя их с места на место машинально, как бы не замечая вовсе,— теперь все они вдруг ожили, одушевились, задвигались, обрели свой изначальный истинный смысл, свое доподлинное назначение. Меньше чем за полчаса в ее руках перебывали, поиграли в проворных и ловких пальцах все чайные блюда и чашки, пылившиеся до этого на судной полке, деревянные солоничка, толкушка, ложки, ковшик, и Степанида видела, что блюдца — это и есть блюдца, толкушка и есть толкушка, солоничка и есть солоничка... В углу стояли три ухвата, стояли они тут вчера, позавчера, позапозавчера — всегда стояли, но вот только сейчас она увидела, что они все разные: один большой, другой чуть поменьше, а третий еще меньше; первый предназначен для самого пузатого чугуна, рассчитанного на многосемейных, второй для чугуна средней величины, а третий для малого. Большой

ухват — и Степанида только сейчас это заметила — поржавел, а черенок его покрылся какой-то зеленью, потому что до него не касались ее, Степаниды, руки с самых тридцатых годов. И до среднего ухвата дотрагивалась она не часто, только тогда, когда варила щи или кашу про запас, с тем чтобы хватило на несколько дней. Увидела она и горшки, расставленные кое-как на подоконниках,— сейчас же вымыла их и сунула в печь на просушку, вспомнив при этом и похвалив себя, что не отказалась от своего пая на корову, которую они держали с Катериной Ступкиной,— как теперь сгодится молочко! Земляной пол показался ей плохо побеленным— решила про себя, что к полудню непременно побелит его заново. А над окнами у нее появятся чистые занавески — она и забыла, что давно приготовила их, выгладила рубелем, но почему-то не повесила. Придирчивым глазом пробежала по всем углам, стенам, простенкам и там обнаружила непорядок: ходики давно остановились, оконце за кукушкой захлопнулось и не раскрывалось больше, потому что гирьки уперлись в лавку, а она, хозяйка, не догадалась их подтянуть,— теперь вот только быстро подошла и подтянула, подтолкнув пальцем маятник; кукушке, оказывается, недоставало первых его нескольких шагов, чтобы выглянуть из оконца и звонко прокуковать. Большое зеркало в другом простенке засижено мухами, а рушник, которым обрамлялось, запылился, красные петухи на нем были уже не огненно-красными, а какими-то бурыми и не могли веселить человека, ежели бы тот заглянул в Степанидину избу,— хозяйка тотчас сняла его и швырнула под лавку, где лежали ее юбки, приготовленные к стирке; зеркало хорошенько протерла мокрой тряпкой, убрала с него мушиную сыпь и украдкой погляделась, полюбовалась собой, слегка разрумянившейся и оттого похорошевшей...

Делая все эти дела, носясь по избе, она всякую минуту подбегала к зыбке, наклонялась над спящим ребенком, приспанивалась ухом к его грудке, слушала и, отпрянув, шептала: "Живехонек, дышит..."

Постояла посреди избы, вспоминая, что ей еще потребуется на первый случай. Колыбелька, корытце оцинкованное, распашонки, соска — все это есть. Ах, мыльца бы беленького детского! Но где его сейчас добудешь?

И снова, как бы производя учет, стала осматривать вещи, находящиеся в избе.

В тот день она не могла надолго оставить того, кто

тихо покачивался в люльке. Чистая, нарядная, праздничнo одухотворенная, взяла приемыша на руки и присела у окна. Сидела и нетерпеливо ждала, когда кто-то войдет — скорее всего это будет Феня — Степаниде очень хотелось, чтобы это была она! — придет и увидит ее, Степаниду, вот такую, сильную и гордую. Впрочем, пускай приходит кто угодно — теперь ей никто не страшен...

— Правда, сынок? — она чмокнула ребенка в сонные глазенята и рассмеялась.

Первым человеком, который заглянул к ней, была не Феня Угрюмова, а Матрена Дивеевна Штопалиха. По обязанности, возложенной ею на себя добровольно, каждое утро и каждый вечер с целью сбора свежих новостей она обходила все Завидово, заворачивая чуть ли не в каждый дом и к каждому колодцу, где сбивались, накапливаясь, бабьи гурты. Утренние сведения нужны были Штопалихе для того, чтобы поделиться ими с односельчанами во время вечернего обхода, а вечерние — для того, чтобы обогатить ими своих товарок при обходе утреннем. С годами к этим Матрениным обходам так привыкли, что уж, казалось, не могли и жить без них, особенно, конечно, женщины. Многие из них не дожидались, когда Штопалиха войдет в их двор, а сами, завидя из окна ее приближение, выбегали на середину улицы, хватали за рукав и, не в силах удержать в себе нетерпеливого любопытства, справлялись:

— Ну, что, что там, Дивеевна?

— Аль ты, Глафира, не слыхала? — в свою очередь спрашивала, всплескивая руками, Штопалиха для того только, чтобы больше накалить пока еще не погашенное, не утоленное любопытство односельчанки.

— Ничего,— признавалась выскочившая за новостями,— откудова же мне?.. Я ить, Дивеевна, и на улицу-то не выхожу...

— Не слышала, значит?

— Ничегошеньки, Дивеевна! Ничегошеньки!

— Как же это? У Катерины Ступкиной ночесь бирюк последнюю овцу зарезал. Там слез-то, слез-то!.. Бедная! Правду сказывают люди: где тонко, там и рвется.

Так уж получалось, что Штопалиха была вроде бы живой, ходячей копилкой новостей, которыми щедро делилась с односельчанами, и копилка эта не истощалась потому, что неутомимо изо дня в день обильно пополнялась. Словом, Штопалихиного появления на улице, на дворе, у окон ждали, и она была желанной гость-

ей чуть ли не в каждом доме. Лишь в войну, когда она, упредив Максима Паклёникова, приносила в иную избу совсем нерадостные вести, ее побаивались так же, как и почтальона, и, завидя Матрену, торопливо вышагивающей вдоль дворов, шептали: "Господи, хотя бы только не к нам!" И собаки кидались на нее с той же яростью, что и на Максима. Другой бы на месте Штопалихи сделал соответствующий вывод и не спешил нести в дом черную новость, когда это мог сделать другой человек по тяжкой служебной необходимости. Но Штопалиха есть Штопалиха: она и в этом случае не могла уступить кому-либо первенства. Навязавшись в добровольные помощники к Максиму, она вытряхивала из его сумки на широченный стол всю корреспонденцию и принималась потрошить ее, пока почтальон подкрепляется с дороги. Не успеет Паклёников дозавтракать, а в Завидове то на одной улице, то на другой подымается бабий крик — по улицам этим уже прошлась Штопалиха. Со временем Максим решительно отстранил Матрену Дивеевну от своих дел, рассудив: лучше все-таки, ежели одна и та же горькая весть войдет в чей-то дом один раз, чем дважды.

После войны Штопалиха с ее новостями стала опять крайне необходимой всем завидовцам. Ее снова ждали. И она двигалась по селу важная и торжественная, поскольку битком была набита разными историями, которые сейчас же будут поведаны любому, кто бы изъявил желание их услышать. А желающими оказывались без малого все завидовцы. От нее первой они узнали, например, что на десятый день после Победы вернулся домой Пишка и принес с войны только один глаз, а другой оставил где-то, что Архип Архипович Колымага прихватил на лесной тропе некую молодицу, кажется, Дашутку (это Штопалиха должна еще уточнить), с вязанкою дров и, сперва припугнув, весьма прозрачно намекнул ей, на каких условиях мог бы смягчить или же вовсе сменить свой гнев на милость, но получил неожиданно энергичный и дерзкий отпор, след которого еще долго оставался на Колымажьей физиономии. От нее же, Штопалихи, узнали люди, что в отличие от Пишки Санька Шпич объявился на селе с двумя совершенно невредимыми глазами, оставив там, на боевых рубежах, каких-нибудь два или три пальца от правой руки, — пришел не один, а с каким-то незнакомым, который прозывается Виктором Лазаревичем Присыпкиным; что Артем Платонович Григорьев, то есть Апрель, после недавней смерти Прасковьи собирается жениться,

сватался третьего дня к ней, Штопалихе, но она не торопится выходить за него — боится, поскольку все ее предшественницы (а их было три) отдавали богу душу на пятый или шестой год своего замужества; что близнецам Максима Паклёникова, Петьке и Ваньке, собираются посмертно присвоить звание Героя Советского Союза, — так что скоро Максиму и Елене привезут сразу две Золотые Звезды на память о сыновьях-героях; что к Аграфене Ивановне Угрюмовой, потому как она до беспамятства убивается о Григории, всякую ночь является летун (Штопалиха собственными глазами видела, как он снопом искр рассыпается на угрюмовском дворе), и Аграфена разговаривает с ним, будто с сыном, до тех пор, пока Леонтий Сидорович не выйдет на крыльцо и не прикрикнет на жену; что днями следует ожидать денежной реформы (эту новость Матрена почему-то прежде всего принесла в дом лесника и повергла сурового Архипа Архиповича в крайнее смятение); что в городах вот-вот отменят карточки и на продукты, и на промышленные товары, на обувку — перво-наперво, добавила рассказчица; что в германском городе (назвать его Штопалиха не решалась, поскольку язык ее не справился бы с такой трудной задачей) судят главных военных преступников, но самого заглавного главаря ихнего, Гитлера, не нашли, потому как он "навроде" на подводной лодке на дне морском укрылся; что Антонина Непряхина в отместку мужу родила ему чужую дочь, — теперь в доме Тишкином какой уж день идет война; что к Авдотье Степановне восейка приезжала тетенька Анна, гостила три дня и все три уговаривала, чтобы она, Авдотья, смирилась, оставила своего сына Авдея и Фенюху Угрюмову в покое, не мешала их любви, но Авдотья не послушалась совета старой своей подруги, неласково спровадила ее из своего дому; что на хуторе задохнулась в своем погребе старая Антипиха, — одни говорят, нечистый ее там прикончил, грехов-то много у старухи, другие сказывают, что гас, нефта объявилась под Завидовом и вышла наружу в Антипихином погребе...

Обо всех этих и о других событиях, больших и малых, важных и ничтожных, рассказывала Штопалиха. Случаи, когда бы ее сведения не подтверждались, были редки. Однако новость, какую Матрена Дивеевна вынесла однажды из дома Степаниды Лукьяновны Луговой и распространила по селу с быстротой прямо-таки непостижимой, показалась завидовцам совершенно неправдоподобной. В самом деле, можно ли поверить,

чтобы Степанида, эта тихоня, эта нелюдимка, эта недотрога, эта набожница, часами простаивавшая на коленях перед горящей и днем и ночью лампадой,— чтобы она прижила младенца, проносила его в своей утробе все девять месяцев тайно, никем, даже самой Штопалихой, не замеченная, и минувшей ночью благополучно разрешилась им?!

— Неужто не верите? — обрушив на первую же бабью стоянку ошеломляющую эту новость и видя недоверие в глазах женщин, воскликнула Матрена, крутясь вокруг своей оси, поворачиваясь пылающим лицом то к одной, то к другой пораженной слушательнице... — Как бы вы думали, от кого бы это она? — И, не ожидая ответа, заверила: — Все одно выведаю, разнюхаю. От меня не скроешься! — Зеленые глаза Штопалихи горели сатанинским огнем, так что поневоле поверишь, что от них никто и ничто не сможет схорониться.

— Можа, кума, ей подкинули ребеночка-то? — неуверенно предположила Катерина Ступкина.— Не похожа Стешка на блудную-то бабу. Это, чай, не Соловьева.

Матрена Дивеевна метнула в сторону Катерины гневный взгляд, кривая усмешка пробежала по ее лицу:

— Тебе бы, кума, не Ступкиной, а Заступкиной надо прозываться... "Подкинули"! Скажешь еще!.. Я, милая, сама спрашивала: "Чей,— говорю,— у тебя, Стеша, ребеночек-то? Не в няньки ли к Машухе Соловьевой нанялась?" — "Нет, — говорит, — Дивеевна, моя кровинка..."

— Так и сказала?

— Так, так, милые. Штопалиха врать не будет. Может, я уж из веры у вас вышла? — И Матрена обиженно поджала губы, лицо ее сделалось вдруг постным.

— Да ты не гневайся на нас, Дивеевна,— пыталась поправить свою промашку Катерина Ступкина, — новость-то больно уж такая...

— Какая уж есть...— сурово заметила Штопалиха, все еще хмурясь, как хмурился бы человек, который вместо заслуженной им благодарности получил нагоняй.

И понять Штопалихину обиду можно, потому что поведала она сущую правду, то есть не то чтобы правду, а честно повторила чужую ложь. Дело в том, что Степанида не пожелала сказать Штопалихе, что ребенок подкинут, что подобрала она его глухою ночью у своего порога,— ей, Степаниде, поначалу казалось, что будет лучше, для ребенка лучше, если она выдаст его за своего и будет придерживаться этой версии всегда, до кон-

ца дней своих. Но потом передумала: скажет правду, как оно все есть, зачем навлекать на себя напраслину, развязывать по доброй своей воле чужие языки, и без того немало потешившиеся над ее бедой.

В тот же день, сопровождаемая Феней и Настенькой Вольновой-Шпичихой, взятыми в качестве свидетельниц, Степанида пришла в сельсовет, решительно приблизилась к секретарю и положила прямо на его письменный стол живой сверток. Потребовала:

— Регистрируй. Теперь он не подкидыш, а мой сын. Выписывай на него метрику.

Узнав от приемной матери и ее свидетельниц подробности, секретарь спросил:

— Как назовем твоего крикуна?

— Гриня... Гринька... Григорием! — заторопилась она.

— Мне все едино, Григорием так Григорием, — сказал секретарь.— Готовь угощенье, приду на крестины.

— Приходи. Рада буду! — сказала Степанида, прямо и смело глядя в веселые глаза секретаря.

Так в Завидове объявился еще "мамкин" — не сынок, а сын. Он пришел в этот мир и не знал, не ведал про то, что вместе с его появлением навсегда исчезнет с лика земли робкая, замкнувшаяся в себе, всех сторонившаяся и всех боявшаяся женщина по имени Степанида, а вместо нее будет двигаться по селу, гордо подняв голову и выпрямив стан, смелый, независимый, бесстрашный человек. И гордая ее осанка станет еще более гордой и осанистой, а ожившие глаза станут еще живее, когда однажды она услышит впервые выговоренное "ма-ма...".

12

Чтобы переодеться в рабочий комбинезон, старый, заляпанный мазутом и заплатками, но хорошо, уютно облегавший ладную ее фигуру, Феня попыталась незаметно для матери прошмыгнуть в чулан, где лежала эта справа, но не смогла: Аграфена Ивановна встретила ее еще у калитки и, горестно покачав головой, выдохнула протяжно свое обычное, осуждающее: "Эх, паря!" Феня быстро прошла мимо, ожидая затылком более сердитых слов, брошенных матерью вдогонку, но Аграфена Ивановна промолчала. Молча вошла вслед за дочерью в чулан, только тут заговорила:

— Что у тебя с ним?

— С кем?

— Ай не знаешь?

— Не знаю... Ты, мам, не мешай мне.

— Родная мать завсегда всем помеха, — голос Аграфены Ивановны задрожал.

— Да тороплюсь я. Неужели не видишь?!

— Вижу. Мать все видит...

Из избы выскочил Филипп, и Аграфена Ивановна замолчала.

Филипп сейчас же оценил обстановку и решил, что теперь самое время попросить мать взять его в поле. Феня обрадовалась тому, что может заговорить с другим и о другом:

— Тебе же в школу, сынок?

— Да ты что, мам? Аль забыла? Нынче выходной, воскресенье!

Аграфена Ивановна не преминула воспользоваться и этой возможностью, чтобы уколоть старшую дочь:

— Она, мамка твоя, про все забыла... Не ходи, Филиппушка, никуда, оставайся со мною дома.

— Нет, я с мамкой! — закричал, набычившись, мальчишка.

— Филиппа я возьму с собой, — твердо сказала Феня, выходя из чулана, — ты, чего доброго, не такого еще наговоришь ему про меня.

— И скажу, — пообещала Аграфена Ивановна, — все скажу.

— Ну и говори! — Феня подтолкнула парнишку впереди себя. — Пойдем, сынок! — Крылья ноздрей, по обыкновению, вздрагивали, глаза, до этого синие, потемнели. — Подожди меня на улице, я сейчас...

Вернулась в избу, под молчаливым и строгим взглядом матери увязала в платок какую-то еду, уходя, сказала придавленным, еле слышным голосом:

— Спасибо, мама родная, за все. Но больше жить в твоем доме я не буду.

И выметнулась во двор. На испуганные крики матери не оглянулась и не отозвалась. Бледная, больно сжимая руку сына, узким проулком вышла на околицу и, лишь ступив на полевую дорогу, ведущую к тракторной бригаде, немного успокоилась, заговорила с притихшим было сыном:

— Какие отметки-то принес?

— Марья Кирилловна тройку поставила, — мужественно признался Филипп. Но, чтобы мать не слишком огорчалась, быстро пояснил: — Это она за кляксу. Ванька Баканов плеснул мне на тетрадку, а я ему по затылку...

— Драку затеяли в школе?



— Не-э, мам, мы не дрались. Он плеснул, а я ему по шее...

— Это, по-твоему, не драка? А вот если я тебя ремешком за это?

— Не я начал, а Ванька, — оправдывался Филипп, опасаясь не обещанного матерью ремня, а того, как бы она не завернула его сейчас домой, к сердитой бабушке.

— Ты уж больше не дерись, сынок. Будь умницей. Мне ведь неколи надглядывать за тобой. Видишь, твоя мамка все в поле да в поле. И папаньки у тебя нету... — Дыхание заслонилось, она отвернулась от сына, чтобы не видел ее лица, и стала смотреть окрест, узнавая знакомое до каждого кустика, до малейшей рытвинки и щербинки поле.

Утро было ясное, северо-восточный упругий вете-

рок прогнал росу, подсушил желтеющие, тихо шелестящие у придорожья травы, поднял над степью легкую зыбь, откуда-то пригнал реденькие, ослепительно белые паутинки — первые вестники приближающегося бабьего лета; они зацепились за такие же тонкие былки, повисли меж ними, готовые в любой миг сорваться и полететь дальше; одна ниточка, невидимая глазу, щекотно коснулась Фениных щек, запуталась потом в длинных ресницах, и свет в глазах раздробился, стал призрачно-непостоянным, и все в степи запрыгало, заколебалось в этом неровном свете, сделалось неуловимым.

— Ты плачешь, мам?

— Нет, сынуля. Паутинка в глаза попала.

— Давай я ее уберу.

— Ничего. Я сама. Сейчас пройдет.

Феня остановилась. Пропустила через пальцы ресничку за ресничкой, протерла глаза, — свет в них установился, поле светло и радостно раздвинулось, разбежалось до горизонта, на котором явственно обозначился сперва один, а потом и второй трактор. Далекие дымки закурчавились там, послышалось глухое и частое, как сердцебиение, постукивание моторов, в расширившиеся ноздри вторгся привычный запах, вернее — множество запахов, сквозь которые настойчиво пробивался машинный, тоже не односложный, а смешанный из запахов керосина, солидола и других масел. Вместе с ними в Фенину грудь вливалась также привычная и знакомая ей уверенность и в руках и в ногах своих, во всем том, что она будет сейчас делать. Глянув на сына, сказала громко:

— Скоро придем, сыночка. Не устал?

— Нету. Ты что!

— Ну, хорошо. Пойдем потише.

Феня вспомнила, что еще ни разу не выходила в поле вместе с сыном, что вот теперь шла в первый раз, и, не зная отчего, но ей захотелось вдруг рассказать ему обо всем, что попадалось им по дороге, чтобы он знал так же, как знала она, родную свою степь, свое поле, землю, на которой родились и на которой, может быть, им суждено будет и умереть. У подножия неглубокого овражка она даже приостановилась, чтобы сын мог хорошенько приглядется к нему, запомнить его, ничем с виду не приметного. Назывался этот овражек Березкой, а почему — знали немногие. А Феня знала. Ей, еще маленькой, рассказывал отец, Леонтий Сидорович Угрюмов, когда они проезжали на своей "единоличной" лошади по этой дороге. Когда-то у истоков оврага рос-

ла береза, под нею обычно пастухи находили для себя прохладу, тень в знойную пору, отдыхали, пока солнце не склонится поближе к закату. Береза погибла вместе с человеком, укрывшимся под ней во время грозы. Выплыла откуда-то, и совершенно неожиданно, сперва одна тучка, ей навстречу другая; сошлись, столкнулись, облизались грозными языками молний, зацепили кончиком страшного этого языка березку, расщепили ее, сожгли, превратили в черную головешку пастуха. Давно это было, даже корней не сохранилось от дерева, а имя Березка осталось.

— А того дяденьку где схоронили? — спросил Филипп, задумавшись.

— На могилки его принесли. Там и схоронили.

Приблизились к вершине другого оврага — этот был и пошире и поглубже. Оказывается, и он не безымянный. Звали его Дрофевым.

— А что это такое, мам, Дрофев?

— Птица есть такая, дрофа! Большая-пребольшая. Больше ее у нас нету. В поле она водится. Помнишь, позапрошлым годом я тебе птенчика привозила?

— Э-э-э, вот так птенчик! С цельну курицу! — подивился Филипп.

— Так вот, это детеныш дрофы.

— А ты говорила, дудак? Как же?

И тут Филипп сделал для себя новое открытие: оказывается, дрофа и дудак — одно и то же, а большой овраг называется Дрофевым потому, что возле него по осени собирались эти крупные птицы в большие стаи, чтобы на своем птичьем совете выбрать вожака — самого сильного, самого опытного и мудрого дудака, который бы мог провести всю станицу самым верным путем в теплые края, а потом привести обратно.

— А зачем дудаки улетают, мам?

— Они только на зиму. Тут они замерзли бы.

— Такие большие! — все более дивился Филипп. — Воробьи вон малюсенькие, а не улетают.

— Они привычные.

— И мы привычные?

— И мы.

— Вот бы, мам, и мне крылья. Я кы-ы-к бы взлетел, кы-ы-к бы догнал тех дудаков и полетел бы вместе с ними.

— И меня бы, мамку свою, оставил? — с грустной улыбкой спросила Феня, прижимая голову сына к себе, будто он и впрямь сейчас взмахнет крылами, вспорхнет и улетит от нее.

— А я бы вернулся, мам. Скоро, скоро бы возвернулся!

— Нет уж, сыночка, ты не улетай. Мне будет плохо без тебя, — сказала она уже без улыбки и вздохнула.

— Ладно, не улечу, — заверил он и сам уж прижался к матери поплотнее.

Между тем показался третий овраг, шире и глубже прежних. Скалился в небо голыми рыжими челюстями с редкими изломанными зубами — острыми выступами там, где по весне, в половодье, с полей по бесчисленным ложбинкам сбегали в овраг шустрые ручьи, кромсая овражьи края на изломистые лоскуты. Все рыжие, глинистые стены оврага, точно оспою, были издырявлены стрижиными норами, — стрижи теперь уже улетели, а норы остались в ожидании будущего лета, когда вернутся из дальних странствий их непоседливые обитатели, чтобы дать жизнь новому полчищу себе подобных. Филипп вспомнил, что старшие его товарищи уходили куда-то в степь, и возвращались оттуда либо со стрижиными яйцами, либо с оперившимися уже стрижатами, и хвастались перед другими ребятишками своей добычей; Филипп раза два просился, чтобы и его взяли с собой стрижиные охотники, но те не согласились, нашли, что он, Филипп, еще очень маленький для таких серьезных дел, что у него еще мамкино молоко на губах и нос сопливый; Филиппу было до слез обидно, он уверял, что никакого молока у него на губах нету, а сопли он ловко смахивает рукавом рубахи либо слизывает языком и что никому они вовсе даже не помешают, но ребята были непреклонны. Но вот теперь Филипп узнал, где водятся стрижи, и сам, без тех нехороших мальчишек, может отправиться на охоту.

— Правда, мам?

— Ну конечно, Филипп! Ты уже совсем большой у меня.

— Мам, а как зовут этот овраг? Стрижиный или Стрижовый?

— И не так, и не этак.

— А как же?

— Правиковым его величают. Тут вот неподалеку и пруд есть. И его зовут Правиковым. Мужик такой богатый был — Правиков. Рядом его земли были. Ну вот — Правиков и Правиков.

Филипп опять задумался. Видимо, он решил, что богатый мужик сам присвоил и оврагу и пруду такое название, потому что сказал:

— А я так не буду его звать. А буду Стрижиным...

— Ну хорошо. Зови так. А вон видишь те бугры?

— Вижу, а что это, мам?

В степи там и сям подымались одинаковой величины и разбросанные на одинаковое расстояние друг от друга седые от покрывавшего их полынка курганы. На двух из них торчали землемерные вышки, на других маячили в глубокой задумчивости орлы-маломерки, над иными, трепеща крыльями, вились кобчики, высматривая что-то там, на кургане, должно быть, полевых мышей. Звали их завидовцы не курганами, а марами. Посреди поля, в центре, возвышался Большой мар, все другие были значительно меньше и находились у него, великана, вроде в подчинении. Может быть, он был древнее их, а потому и лыс — на его макушке почему-то не вырастала никакая травка, даже вездесущий красноголовый и нахальный татарник взбежал на него лишь до середины и тут остановился в нерешительности. Говорят, под Большим маром схоронен самый главный скифский предводитель, а под теми, какие поменьше, — вожди помельче, но все-таки тоже вожди, не станут же на могилку рядового человека сыпать столько землищи, для него и десяток лопат довольно...

— Мам, а откопать того князя можно? — спросил Филипп, пораженный рассказом матери.

— Нет, сынок.

— Это почему же?

— Глубоко его зарыли, да и грешно в могилках копаться.

Филиппа такое объяснение не устраивало:

— Э-э-э, а я вот, когда вырасту, все одно выкопаю.

— Хорошо, выкопаешь. А сейчас пойдем быстрее. Солнце уже высоко. Небось Павлушка заждался нас с тобой.

Они ускорили шаг. Какое-то время шли молча. А Феня все решала про себя и не могла решить: спросить у сына или не спросить? Наконец решилась, но еще не успела раскрыть рта, как вся покрылась краскою великого стыда. Но уже остановиться не могла. Спросила осторожно и почти шепотом, как будто их мог кто-то услышать:

— Дядя Авдей приходил к нам? — сказала и невольно схватилась за сердце, которое заколотилось так, что того и гляди выскочит из груди.

Но Филипп ничего этого не видел и не знал. Ответил беспечно и даже весело:

— Приходил! Целый час просидел на крыльце, а бабуня его прогнала. "Ступай, — говорит, — домой, не мо-

золь мне глаза". И он ушел, — сказав это, менее всего его занимавшее, он вспомнил о другом, куда для него более важном: — Мам, глянь! — В руках Филиппа была зажигалка, сделанная в форме крохотного пистолета. Целясь в мать, он взвел курок, спустил его, и из ствола вылетела искра.

— Откуда это у тебя? — испугалась Феня. — Пугач? И ты на меня?..

— Это не пугач, мам! Это бензинка. Дядя Сережа подарил, когда уезжал. Я его до Дальнего переезда провожал.

— Ах вон оно что! Ну береги, сынок, Сережин подарок. Он, наверно, дорогой, не всем показывай, а то большие ребятишки отымут.

— А я его так спрячу, никто и не найдет.

— Вот и хорошо... А что, сыночка, — краска стыда снова прихлынула к лицу, — а что, Филипп, дядя Авдей ничего не говорил бабушке?..

— Не-э-э, только встал и ушел.

— Куда же он ушел? — спросила она автоматически, по инерции, потому что хорошо понимала, что не должна спрашивать обо всем этом у неразумного мальчишки, который к тому же был так далек от того, чем была занята она. Устыдившись еще больше, поспешила переключить и себя и сына на другое: — Марья Кирилловна много ли задала на дом?

Но Филиппа вовсе не устраивало такое переключение, потому что он нимало не отличался от своих школьных товарищей, для которых величайшее благо, когда их учительница заболеет и не явится на урок или когда придавят морозы сверх положенной им нормы и в школе приостановятся занятия. Во всяком случае, Филипп пропустил вопрос матери мимо ушей и решил, что лучше он продолжит разговор о дяде Авдее. Неожиданно для Фени сообщил:

— А он мне общую тетрадку купил.

— Кто это тебе купил? — спросила она рассеянно, потому что все еще ждала ответа относительно домашнего задания. И только когда дошло до нее, торопливо, усиливаясь скрыть волнение, переспросила: — Кто, кто тебе купил?

— Дядя Авдей. Он еще книжку с картинками мне подарил. Вот вернемся с поля, покажу. Знаешь, мам, какая книжка? Во! Большая-пребольшая, а на картинках волк серый нарисованный и лиса красная, с бо-о-льшущим хвостом!

Захлебываясь от восторга, Филипп перечислял все,

что изображено в его удивительной книге, а мать его молчала, прикусив уголок платка и снова замедляя шаг. Замедлила она его, видать, еще и потому, что увидела возле будки Авдея. Почувствовала, что захолонуло и дрогнуло что-то у нее под ложечкой, хотя до этой минуты была почти уверена, что встретит его именно тут и нигде больше. Авдей совсем недавно окончил курсы тракторных механиков и теперь по своим обязанностям должен был находиться поближе к машинам. Но сегодня, после ночной их размолвки, он мог бы и не прийти в бригаду, но все-таки он должен был быть именно там, потому что она этого очень хотела и не простила бы ему, если бы они не повидались в тот же день и не помирились. Подойдя, однако, к будке, она почти не ответила на его радостное приветствие, небрежно кивнула и направилась к Марии и Насте — заговорила с ними неестественно громко, как бы игнорируя его присутствие, всем своим видом показывая, что ей нету никакого дела до него, что она сама по себе, а он сам по себе. Подруги приняли ее игру, подделались под нее, заговорили оживленно, вроде бы и не замечали ее смятения; Мария, тормоша, посмеиваясь, выспрашивала все новые подробности о побоище на Апреле-
вом дворе, а Настя своими восклицаниями "О, ужас какой!" лишь подогревала рассказчицу, просила старших своих приятельниц: "Да не смейтесь вы!" — а под конец объявила, что вот сейчас заберет своих комсомолят, Павлика и Мишку, и отправится с ними в село — мало ли что там может натворить этот Федор! А ребята ее, комсомольцы, на кого хочешь найдут управу. Вскоре она и вправду собралась домой и теперь дожидалась, когда Павел и Михаил умоются возле деревянной бочки, — они уже плескались там, фыркали, взблескивали, хохоча, белозубыми ртами. Феня подкралась к брату сзади, черканула согнутым указательным пальцем по его ребрам — парень охнул и по-заячьи скакнул в сторону. Только теперь увидел улыбающуюся сестру:

— С ума сошла!

— Одевайтесь — и марш домой! Настя вон дожидается.

— А чего нам делать дома? — сказал Мишка Тверсков. — Мы тут останемся.

— Настюха вам дельце одно подыскала.

— Какое?

— Там увидите.

Ребята оделись, подбежали к ожидавшей их Насте и, подхватив с двух сторон, хохоча, понесли ее от будки в

сторону села. Она брыкалась, перебирала ногами, шлепала руками по тонким, почти детским еще их шеям, а они не отпускали — бежали с ней вприпрыжку, получая, как награду, звонкие, жгучие оплеухи.

— Женихаются, — кинула им вслед Мария.

— Увидит Санька Шпич, он им поженихается, — сказала Феня, а глаз ее помимо воли косился в сторону будки, где Авдей и Филипп рассматривали диковинную зажигалку и вели какой-то свой мужской разговор.

Должно быть, Мария перехватила этот взгляд, а может быть, потому, что вообще была чрезвычайно догадлива там, где речь идет о таких тонких делах, как любовь, — не знаем уж почему, но она вдруг вспомнила о стоявшем неподалеку, оставленном ее напарником Мишкой Тверсковым тракторе, заторопилась к нему; решив что-то про себя, покликала:

— Филипп, пойдем со мною. Будешь у меня за прицепщика!

Мальчишка, однако, заупрямился:

— Я с мамой.

— Ишь какой мамкин сынок, — засмеялась Мария, — и тебе не стыдно за мамкин подол держаться?

Филипп задумался. Мать его, снова покраснев, сказала:

— Иди, сынок, с тетей Машей. Я еще не скоро.

Филипп, глянув на мать, потом на Авдея, поколебался еще немного и нехотя побрел за Соловьевой. Если бы он обернулся в эту минуту, то увидел бы на глазах матери слезы.

Впрочем, Феня быстро, злясь на себя и на того, кто стоял у будки и ждал ее, сейчас же их вытерла, внутренне собралась для нелегкого, по-видимому, но неизбежного разговора.

13

Она стояла, прислонившись спиною к противоположной стене будки, — ждала, когда он подойдет к ней. Он подошел быстро, но ей показалось, что Авдей опять, так же как в лесу, замешкался, а потому и сказала холодно:

— Чего тебе?

— Не дури, Феня. Ты же знаешь...

— Ничего я не знаю и знать не хочу!

— Вот как?

— Вот так!

— Это ты всерьез? Подумай..

— Я уж подумала. Надоело мне, как сучке, бегать с тобою по чужим дворам.

— Ну куда ж нам?..

— Ты мужик. Давно бы решил.

— Давай уедем в город.

— Поезжай один. Мне там делать нечего.

— Ну вот видишь...

— Вижу. Оставь меня, пожалуйста! — Ни эти, ни другие ее слова не должны быть и не были бы сказаны, если бы она услышала то, что хотела услышать. Она надеялась, что он приглядел уже где-то для них угол и сейчас объявит ей об этом, что и с ее сыном он разговаривал так весело и оживленно потому, что все у него решилось, все внутренне определилось и установилось, что он лишь в нетерпении ждет, когда Феня останется одна, чтобы один на один обговорить все с нею, назначить день и час, чтобы перебраться в тот угол, — она не сомневалась, что такое место отыщется для них, не все же в Завидове враги их счастья.

— Я бы давно перешел к вам, но твоя матушка..

— Я сама ушла из дому, — сообщила вдруг Феня.

— Как? Куда?

— Это уж не твоя печаль. Хотела к Степаниде, но у нее Маша с ребенком... Пелагея Тверскова, Мишкина мать, обещалась приютить.

— Их же самих четверо! — Авдей глядел на нее, как на сумасшедшую. — Четверо, слышишь?

— Слышу, будет шестеро, только и всего. А ты вот что, Авдей, ты все-таки уезжай. Так будет лучше.

— Кому лучше? Тебе?

— И мне и тебе. Всем.

— Вот как?! Значит, все?

Феня не ответила.

Над бескрайними, по-осеннему притихшими и пригорюнившимися полями низко и стремительно побежали первые темно-сизые, как бы порванные в лохмотья тучи. Ветер, недавно еще чуть приметно шевеливший травы и вершины деревьев в видневшихся поодаль посадках, усилился и принялся хозяйничать всюду: отыскал быстро щель под железной крышей будки, пробрался туда и заверезжал, больно ввинчиваясь в человеческое сердце; подхватил на залежах с десяток больших и рыжих шаров перекати-поля и погнал их по степи, точно гончие стаю вспугнутых ими зайцев; задрал на ближнем мару орланий хвост и свистел сквозь него, как сквозь большую деревянную гребенку, а трепетав-

шего легким поплавком кобчика швырнул далеко в сторону, и тот теперь метался в синеве небес, ища изломанным крылом опоры; а дымы, вырвавшиеся из выхлопных труб работавших неподалеку тракторов, прижал к самой пахоте, будто бы окутал ее, зябнущую, легким, но теплым одеялом; сорвал со свежего, не успевшего улежаться и уплотниться омета огромную шапку золотистых волос и, балуясь ими, закрутил, завихрил, разбросал на целую версту окрест; добрался до сорочьего гнезда, смутно черневшего в густых зарослях посадки, просквозил, изгнал, вытурил из него хозяйку, и та, вцепившись лапками в раскачивающуюся ветку, ни о чем другом и не думала, а только о том, как бы удержаться и не оказаться окончательно во власти разбуянившегося степного гуляки ветра. Лишь коршун был рад ветру. Он поднялся так высоко, как только можно, и не махал радужными, перламутровыми своими крыльями, а только чуть скашивал то одно, то другое, рассекая упругую струю воздуха, да поводил разбойно горбатым клювом...

Авдей повторил:

— Все, значит, Феня?

Феня продолжала молчать, плотнее прижимаясь к будке, словно ища в ней опоры. И только после того, как Авдей вновь произнес те слова, она, потупившись, не глядя на него, сказала усталым, надломленным голосом:

— Все так все. Подумаешь, испугал! — И, резко оттолкнувшись от стены, быстро пошла к своему трактору.

Авдей некоторое время глядел ей вслед, чувствуя, что грудь его и весь он наполняются свинцовой тяжестью обиды. В беспечальных, вообще-то, и добрых его глазах загорались недобрые огоньки. Дыхание сделалось частым и трудным, воздух со свистом вырывался из расширившихся ноздрей. Ясно, что ни до этого, ни днем, даже ни часом раньше, а вот только теперь, в эту последнюю минуту, он и принимает страшное и роковое для них обоих решение. Чтобы еще больше, надежнее убедить себя в его необходимости и неизбежности, он произносит вслух, поигрывая зарумянившимися клиньями скул:

— Не испугалась, значит? Ну, ну! Поглядим, как ты...

Не докончив фразы, круто повернул в сторону видневшегося далеко внизу селения и с наигранной беспечностью замурлыкал какую-то песенку, глупую и до

чрезвычайности неуместную. На полпути встретил идущего в поле Тишку. Спросил, не думая, о чем спрашивает:

— Как дела, Тимофей?

— Дела у прокурора, а у нас делишки, — беспечно, как ни в чем не бывало, ответил Тишка.

Но Авдей не уловил игры слов в этом ответе, спросил:

— Неужели до прокурора дошло?

— Покамест еще нет, а можа, дойдет и до него, — спокойно сказал Тишка, нащаривая в кармане кисет. — Закурим, что ли? Ты зачем это в село?

— В район позвонить надо, о запасных частях поговорить. Не нынче-завтра встанут два трактора, подшипники на ладан дышат. — Это было бы совершеннейшим враньем, если бы в самый последний миг Авдей не вспомнил, что ему действительно надо позвонить в район относительно запасных частей.

— Это ты правильно надумал, Авдей, — одобрил Тишка. — Напомни там Федченкову, что новый гусеничный трактор Знобин нам пообещал. Не забудь.

— Хорошо.

Они закурили и разошлись. Тишка направился в бригаду, Авдей, исполненный злой решимости, — в село.

Тишке почему-то захотелось оглянуться, посмотреть еще раз на удаляющуюся фигуру Авдея: что-то неладное почуялось Тишке, неспроста так нарезает Авдей, с широкого шага то и дело сбивается на бег, на иноходь; что-то гонит его в Завидово. Но что? К телефону, в правление, он бы так не пер — не на пожар, чай. Не иначе как с Фенюхой крутой разговор вышел. В тупик у них зашло. "Шляпа ты, Авдей, вот что я тебе скажу", — подумал Тишка и вдруг запел козлиным, без ладу и без складу, своим голосишком, провожая прищуренными глазами механика:

Он не даривал княгиню
Он ни златом, ни кольцом,
А княгиня к нему льнула,
Как сорочка на плечо.

Внезапно оборвав песню, произнес раздумчиво:

— Княгиня и есть. Упустишь, дурак, бабу, каких не скоро сыщешь, — и, необыкновенно серьезный, непохожий на самого себя, Тишка глубоко и по-детски прерывисто, судорожно вздохнул, будто собирался заплакать. — Фенюха, она, брат, того... она баба... — не дого-

ворил, повернулся и тоже быстро пошел к будке, куда, опередив его, другою дорогой уже приехала на Бесхвостом повариха Катерина Ступкина. Завидя Тишку, начала громко жаловаться на председателя:

— Он уморит вас с голоду, этот скупердяй! Сунул горсть ржаной муки — вари галушки, Катерина! А какие из нее галушки? Они в горло-то вам не полезут, смолото кое-как, наполовину с отрубями...

— А мясо? — спросил Тишка и пожалел, что спросил, потому что принужден был выслушать длинную, клокочущую гневом речь Катерины.

— Мясо?! — возопила она. — Ишь чего ты захотел? У него не то что мяса — зимой снегу не выпросишь. Сунул вон комок старого, лежалого нутряного бараньего сала, от какого и собаки-то отвернулись бы, и стряпай, Катерина, как хошь, корми свою бригаду Вот придет Фенюха — расскажу все ей про отца, може, она устыдит его, жмота, куркуля этакого. Детей своих хотя бы пожалел — Павлушка как плотвица обглоданная, одни ребрышки на нем остались. И Фенюха не глаже... Правду сказать, эта нажила себе еще сухоту — попался он мне сейчас, механик ваш, бегет как угорелый в село, окликаю — не слышит, бегет — и все... — Замолчала наконец, горестно оглядела все, что удалось выцарапать у скупого председателя, вздохнула: — Вари как хошь... — Пригляделась наконец к Тишке, ахнула: — Ба, святая богородица! Да что это у тебя с лицом-то? Кто тебя, разумильного, так уделал? Не Федяшка ли? Слыхала я, вроде бы повздорили с ним.

— Бритвой... брился я, Катерина.

— Выпимши, знать? Все пьешь.

— Да кто ж ее не пьет? Может, сова, да и то потому, что днем не видит ни хренушки, а ночью потребиловка закрыта, — сказал Тишка совсем буднично.

— И не стыдно? Когда вы только налакаетесь ее, окаянный бы вас побрал всех!

— Окаянный, Катерина, с нами заодно, потому как любит веселую компанию.

— Хотя бы запрет на нее вышел, проклятущую, поганую эту вашу водку. Слыхала я, будто бы указ такой выйдет...

— Нет, Катерина, ничего не получится, — спокойно объявил Тишка. — Указ, может, и выйдет, но за водку я спокойный. Много гонений испытала она на своем долгом веку и от этого только крепчала.

— Ну, дьявол с вами, хлебайте ее, поскорее копыта-то откинете, оттащим вон за село. Туда вам и дорога.

— Зачем же так, Катерина? На могилки я не тороплюсь, мне еще на этом свете не надоело, я еще твою обедню не дослушал.

— Иди уж, занимайся своим делом, а мне не мешай, — Катерина отошла к своим припасам. — Скоро пахари придут, а у меня еще ничегошеньки не готово. Ступай, Тиша, не мельтешись тут.

Тимофей ушел к тракторам. А двумя часами позже вернулся со всеми вместе полудневать. Рядом с собою за стол усадил Филиппа, приказал:

— А ну-ка, стряпуха, зачерпни, да погуще, галушков новому нашему пахарю. Посмотри, как наработался!

Филипп, как заправский тракторист, был весь испачкан, измазан и грязью, и машинным маслом, но ни за что не захотел пойти вместе с матерью к бочке с водой, а уселся вот так, как есть, и Катерина Ступкина не погнала его из-за стола, видно, догадывалась, что для юного механизатора эта благоприобретенная чумазость сейчас дороже всего на свете. Она налила ему полную тарелку и подала первому. Сказала, лаская глазами:

— Ешь, золотой мой работничек. Ешь досыта.

Большая деревянная ложка замелькала над блюдом. Слышалось только сопение да прихлебывание, сопровождаемые шмыганьем, поскольку остуженный на степном осеннем ветру нос постоянно требовал к себе внимания. Иногда, увлекшись едой, изголодавшийся мальчишка забывался, и тогда прозрачная капля повисала на губе, грозя сорваться прямо в хлебово. Однако в самое последнее мгновение малец спохватывался и ловко убирал эту коварную капелюху кончиком своего языка. Катерина, сложивши руки на животе, стояла рядом, видела все, но, боясь смутить едока, помалкивала, только изредка, поощряя, говорила:

— Ешь, Филя. Ешь, родимай.

— Я и так ем, теть Катя! — отозвался наконец Филипп, чувствуя, как тяжелеет, как надувается его плотнеющее брюхо.

— Ну и хорошо. Ешь больше.

— Не могу, теть Катя.

— А ты, сынок, через не могу.

— Эх! Эт как же? Через не могу?

— А вот так. Ну-ка разевай рот! — Катерина зачерпнула еще полную ложку и почти силой втолкнула галушки в Филиппов рот. — Вот теперя ты сыт. Ступай зови мать и тетку Марию.

Филипп убежал, а Тишка, непривычно задумчивый,

поглядел ему вслед, покачал головой и только потом пододвинул к себе тарелку с остывающими галушками.

У бочки, где умывались женщины, Феня хотела умыть и сына, попыталась было ухватить его за пиджачишко, но Филипп миногой вывернулся из ее рук, выскочил на пашню и, перепрыгивая через жирные пласты, убежал к трактору, на этот раз к ее, материному.

— Хорошо, поди, в охотку-то, — сказала Феня, озаряясь светлою улыбкой.

— В охотку и взрослым все хорошо. На нелюбую, постылую работу идешь, как в гору крутую, а на любую — как под гору летишь, ног под собой не чуешь, — расфилософствовалась Мария, глянув сбоку на все еще улыбающуюся подругу, не вытерпела, спросила: — Ты, Фенюха, нынче какая-то вся из себя... какая-то спокойная. Отчего бы это?

— А что мне? — просто ответила Феня. — Я, Маша, завсегда спокойна, покуда дело делаю. Вот оторви меня от этого руля проклятущего, приведи хоть на один день в село, меня и зачнет качать из стороны в сторону. Места себе не нахожу! А тут... — она умолкла, проследила глазами за сыном, который уже вскарабкался на трактор и теперь, наверное, вообразил себе бог знает что.

Солнце уже миновало половину небес и клонилось к закату. Большой мар, подсвеченный сбоку, отбрасывал длинную конусообразную тень; на другом кургане землемерная вышка поместила неподалеку от себя такую же вышку из тонких, изломанных теней; серебристая паутина, зацепившись за верхнюю перекладину первой, реальной вышки, силилась другим концом ухватиться за ту, призрачную, но не могла и порхала, сама уж вроде бы и невесомая и нереальная. Феня залюбовалась ею, в глазах опять зарябило, они ослезились, и она повернулась к подруге:

— Пойдем скорее. Катерина ругает вон уж нас.

Ели молча. Не ели, а насыщались, потому что еда была невкусная, как ни старалась стряпуха как-то сдобрить ее комочком сала да пережаренным в том же сале луком; галушки, хоть и были малыми в размере, все же царапали горло, а разжевывать их не хотелось: проглоченные целиком, они быстрее наполняли брюхо и создавали иллюзию сытости. В какую-то минуту — Феня не заметила ее — она перестала есть, сидела за столом спиною к будке, а лицом к селу. Не хотела думать, а думала. Где он там сейчас? Что делает? Думает ли о ней? И что он решил? По глазам его она видела в пос-

леднюю минуту, что он что-то надумал, и скорее всего нехорошее для нее. Но что?

— Маш?

Но за столом уже никого не было. В стороне, у котла, Катерина мыла посуду. А на приступке, по которой трактористы подымаются в будку, сидели Тишка и Мария Соловьева. Тишка склонил на ее колени свою кучерявую голову. Маша бездумно глядела на нее, изредка запуская пальцы в его жесткие волосы.

— Вы что ищетесь, что ли? — вяло спросила Феня.

— Ищем, да никак все не найдем, — усмехнулась Мария. — У тебя, Фень, нет ли какой-нибудь мази?

— Зачем тебе?

— Для него вот. Лицо-то вспухло. Как, скажи, у Колымаги стало. Даже пошире.

Феня порылась в кармане, достала баночку вазелина.

— На, смазывай. Да смотри не приголубь опять.

— Не дай бог! — испугалась Мария. — С нас довольно.

— Богу молись, а черта не гневи, — обронила у своего котла Катерина и, крестя рот, вздохнула: — Эх, хехенюшки-хе-хе! Грехи наши тяжкие!

— Ты что там, теть Катя? — забеспокоилась Мария.

— Да так, об своем...

14

Авдею потребовался целый час, чтобы дозвониться до директора МТС. А когда все-таки дозвонился и узнал от самого Федченкова, что требуемых Авдеем запасных частей нету, а гусеничный трактор прибудет не раньше весны, пожалел, что понапрасну затратил время, которое ему было нужнее для другого дела. Разговаривая по телефону, он видел через полуоткрытую дверь председателева кабинета, как из соседней комнаты выскочила юная бухгалтерша — Надёнка Скворцова и скрылась за входной дверью. Последние слова директора относительно гусеничного трактора выслушал рассеянно и теперь не знал толком, по какой причине машина эта придет в их колхоз с таким опозданием. Повесив трубку, Авдей выбежал на улицу, но Надёнкин, как говорится, и след простыл. Он глянул в одну, другую сторону, но нигде ее не увидел. Зашел за один угол, за другой, вышел за глухую стену — Скворцовой нигде не оказалось, а ему очень хотелось захватить ее одну в

бухгалтерии и разом порешить задуманное дело. Поглядел на часы: сообразил — Надёнка ушла домой обедать. Двинулся было по направлению Штопалихиного дома, но на полпути передумал, повернул домой, почти вбежал в избу, с ходу выпалил изумленной Авдотье Степановне:

— Готовься, мать. Женюсь!

— Не бывать этому! — выкрикнула та, хватаясь за сердце.

— Как не бывать? — в свою очередь, удивился он, не сообразив поначалу, что говорят и думают с матерью о разном. — Ты же сама мне все уши прожужжала: "Женись, женись на Надёнке Скворцовой", а теперь...

Авдотья Степановна просияла:

— Господи! А я-то, грешница, подумала... Слава те, услыхал мою молитву, всемилостивец! Давно бы так-то! — Она зачем-то метнулась в горницу, выскочила оттуда, забегала по задней избе, тычась, точно слепая, во все углы, не зная, что ей делать, что предпринять, куда в первую очередь надо побежать и кому раньше всего поведать о своей великой радости. На какое-то время, однако, потеряла и память и рассудок, наконец, пришла в себя, спросила: — Ты что ж, сынок, уже посватался?

— Да я ее и не видел, не говорил еще с ней, — сказал он, смеясь: его потешал возбужденный вид матери, ее суматошные, бестолковые движения. — Ступай ты к Скворцовым.

— Сейчас, сейчас, Авдеюшка! Я мигом. Только ты-то не умыкнись куда. Сиди дома. А я мигом!

Наспех покрылась шалью, на бегу застегивая кацавейку, она побежала сперва не к Штопалихе, а к Аграфене Ивановне, полагая, что лучше будет, если та пойдет вместе с нею и будет за сваху. Авдотья Степановна была совершенно убеждена, что подруга ее будет не меньше ее, Авдотьи, рада такому исходу дела. И уж никак не думала, что вчерашняя ее союзница в одну минуту обернется ярой супротивницей. А произошло именно это, повергнувшее Авдотью в крайнее недоумение.

Выслушав принесенную ей новость, Аграфена Ивановна собрала сухие губы в щепотку, окинула гостью сердитым взглядом, задышала часто, неровно. Молвила с великою обидой:

— Моя Фенюшка аль хуже Надёнки, вертихвостки этой? И сынку твоему аль не совестно? Морочил, морочил голову бабенке, а теперь в кусты? Можа, она уж понесла от него? Ить жили как муж с женой. Почесть, открыто. Если бы не мы с тобой да энта сплетница Штопа-

лиха, они бы давно сошлись и жили, как все люди. Мы им поломали жизню...

— Постой, постой, кума, — с трудом протиснулась со своим словом вконец сбитая с толку Авдотья, — да как же это так? Ты ить, матушка, сама...

— Мало ли чего я. У кого хошь могет разум помутиться! Вот и у меня... Иди, иди, Авдотья, из моего дому. Не доводи до греха. И чтобы ноги твоей... А сынка твово... коль увижу... в глаза его бесстыжие наплюю. Вот! Да лучше-то моей Фенюхи найдет ли он бабу! Ох, доченька, горюшко ты мое, нашла с кем связаться! Не стой ты, Авдотья, уходи, ради Христа, не то вот схвачу кочергу...

— Ты, кума, никак свихнулась? Господь с тобой. Свят, свят, свят! — крестясь, пятясь, Авдотья Степановна задом подтолкнула дверь, выкатилась в сени, а потом во двор, едва не упав на приступках крыльца.

Оставшись одна, Аграфена Ивановна тяжело опустилась на скамейку и горько задумалась. Вспомнила про тетеньку Анну, про то, как та пыталась вразумить ее, Аграфену, говорила, чтобы она и ее союзницы оставили Феню и Авдея в покое, не устраивали на них гонений. Не послушалась, дура старая, а теперь что же получается? Авдей женится на другой, а Фенька опять останется одна, опять будут приставать к ней мужики, не давать ей проходу, а надолго ли хватит ее, чтобы отбиваться от ухаживаний, ведь она живой человек, молодая, пригожая, и впрямь Ивушка, гибкая, как лозинка таловая. "Что же я наделала? — сокрушалась Аграфена Ивановна. — Будут теперя насмехаться над дочерью, глумиться над ней. "Брошенная, — скажут, — на Надёнку Скворцову, соплячку, променятая..." Да и мне-то теперь на люди нельзя будет появиться... А Матрена-то хороша! Вон куда она метила, а я, безмозглая баба, помогала ей..."

В то время как Аграфена Ивановна корила себя, казнилась душой, в Штопалихином доме царствовала та радостная, озаряющая всех и вся суетливость, какая приходит вместе с давно желанной, но неожиданной вестью. Надёнка, узнав, с какою целью заявилась к ним Авдотья Степановна, приняла приличествующий ее юному возрасту и положению вид, то есть вспыхнула вся, не проронив ни единого слова, заперлась в горнице, в немыслимо короткое время переоделась, выпорхнула в заднюю избу легкой нарядной бабочкой, набросила на узкие девичьи свои плечи жакет, чмокнула сперва мать, затем дорогую гостью в щеки, сверкнула карими,

огромными на худом личике глазами, выбежала на улицу, а тремя минутами позже уже сидела одна в своем кабинете, перебирая без всякой цели лежавшие на столе какие-то ведомости, счета, накладные, путевые листы; руки ее в точности воспроизводили тот ералаш, который был сейчас в ее голове: потом ей потребуется не один день, чтобы привести в порядок все эти бумаги. Пока же, собрав в кучу, она ворошила их, комкала, роняла под стол, поднимала, снова стряхивала под ноги, мяла там, прокалывая острым каблуком туфельки, входившей только что в моду. Вскоре к ней стали заглядывать люди, спрашивали ее о чем-то, чего-то требовали, совали ей под нос какие-то бумажки с колонками каких-то цифр, но лица людей расплывались перед ее глазами, а бумажки она брала, совала в общую кучу и глядела, не видя, на человека, который протягивал руку и требовал возвращения своей бумаги — ее всего-навсего требовалось лишь подписать и вернуть посетителю. Словом, Надёнка была как в угарном чаду, и не ее вина, что входившие в бухгалтерию люди не понимали этого. Но и их винить нельзя, и вообще никого нельзя винить, потому что в жизни человека бывают минуты, когда он как бы разом переселяется в иной мир, неведомый и загадочный, когда еще и сам не знает, что это за мир и как он туда попал, а люди, пришедшие к нему в том реальном, будничном мире со своими реальными и будничными докуками, люди эти не в состоянии понять такого человека.

Надёнкина мать, напротив, тотчас же поставила все на практическую ногу. Поначалу она тоже выказала радость, но не столь бурно; причиною тому были как раз практические соображения. Она опасалась того, что ее сваха возгордится сверх всякой меры, коли увидит особенное сияние на ее, Штопалихином, лице. Чтобы этого не случилось, Матрена заломила по старинке такую кладку за свою дочь, что у свахи глаза едва не выскочили из орбит.

— Креста на тебе нет, Матрена! Какая кладка? Ты, знать, забыла, в какое время живешь? — изумленно вопрошала Авдотья Степановна, решительно не ожидавшая такого оборота дела. — Коли так, готовь приданое побогаче. Бесприданница нам не нужна. — Припугнув собеседницу, Авдотья Степановна выжидающе примолкла, изобразив на своем челе обиду.

Матрена Дивеевна, почувствовав, что малость пересолила, поторопилась успокоить сваху:

— Да это я так, для смеху, какая нынче кладка, ка-

кое приданое! Лишь бы любились, жили дружно. А мы бы, старухи, радовались да дивовались на них...

— Вот и я так думаю, Дивеевна! — подхватила, светлея лицом, Авдотья Степановна. Но все-таки добавила: — А свадьбу надоть сыграть по-человечески. Не шибко громкую, но все ж таки...

— А как же, — быстро согласилась Штопалиха, — что мы, ай хуже других людей. Такую пару нужно всему миру показать, чтобы с поездом, чтобы постель пронесть по главной улице, чтобы с девишником...

— О девишнике ты, мотри, зря, Дивеевна. Не согласится Авдей. Жизнешка-то сейчас больно тижелая, не до девишников. Да и с поездом будет загвоздка. В колхозе осталось десятка три лошадей, и те клячи, а на быках не повезешь невесту с женихом.

— У соседей, в Панциревке, попросим. У них, вишь, лошади посытее.

Решив этот вопрос, они приступили к другому — стали определять день свадьбы. Обеим хотелось сыграть ее как можно быстрее; не открываясь друг другу, боялись одного — того, как бы Авдей не передумал; с ним могло такое случиться, от его матери не укрылось его какое-то лихорадочное, беспокойно-болезненное состояние, его смятенность, когда он в неурочный час прибежал домой и прямо с порога объявил о желании жениться на Скворцовой. Матрена же, хоть ничего такого и не видела, тревожилась тем, что новость эта свалилась на нее и ее дочь слишком уж неожиданно; многоопытная в житейских делах, она не могла не думать о том, что такое быстрое решение Авдей мог принять под влиянием какой-то большой размолвки с Феней, что со временем он может остыть, отойти душой и станет искать примирения; значит, надо ковать железо, пока оно горячо...

— Чего тянуть? В воскресенье и справим. У Наденки постель готовая. Самогону несколько четвертей нагоним, заколем по баранчику — и с богом, — сказала Штопалиха.

Авдотья Степановна сейчас же согласилась с ней.

О главном столковались, теперь бы разойтись по домам и заняться подготовкой свадьбы, но они не могли быстро расстаться в такой день. Обсудили еще множество мелких дел, заглянули в завтрашний день, когда у их детей появятся свои дети. Когда дело дошло до этих последних, свахи заговорили разом, расцвели, помолодели вдруг Штопалиха сообщила доверительно:

— Хоть и говорят, что нельзя детское приданое гото-

вить загодя, я все-таки справила. Украдкой от Надёнки уложила в свой сундук пеленки, распашонки, носочки, даже пару штанишек. Выстегала сама — Надёнка и не видела — два теплых одеяльца. Клинышки сохранились с моей еще свадьбы. Пригодились теперь.

Под конец едва не повздорили. Штопалиха объявила вдруг, что жить молодые будут у нее, потому что Надёнка — единственная дочь и ни за что не захочет покинуть ее, мать. Но тут нашла коса на камень. Авдотья Степановна запротестовала:

— Это как же? Что ж он, аль в зятья к вам? Аль у него нету своего дома? Где это видано, чтобы парень уходил из своего дома к невесте? Да нас засмеют. Нет уж, Дивеевна, по-твоему не будет. А ежели твоя Надёнка не захочет пойти к нам, то и пускай живет с тобой, а мы поищем невесту в другом доме!

Штопалиха вструхнула теперь всерьез.

— Да что ты, Степановна?! Господь с тобой. Это я так... Можа, думаю, тесно у тебя и протчее. А так, что же, где им пондравится, тама пущай и живут. Их воля.

— В свой дом приведет Авдей молодую жену. Вот и все. И нечего об этом! — отрезала Авдотья Степановна.

— Хорошо, хорошо, сваха. Я согласная.

На том конфликт был исчерпан. Свахи расцеловались. Штопалиха проводила Авдотью за калитку. На широком лице ее плавилась довольная улыбка, когда она провожала глазами только что обретенную родственницу. Вернулась в избу не прежде, чем та скрылась в ближайшем проулке. Вернувшись же в избу, открыла дочерин сундук, вынула, пересчитала, осмотрела всю ее справу, вновь аккуратно уложила и, удовлетворенно вздохнув, вышла в заднюю избу, чтобы обдумать, за какое дело приняться в первую очередь. Нашла, что надо затевать барду. При этом в мыслях похвалила себя за то, что третьего дня смолола мешок заработанной дочерью ржи. "Душа, знать, чуяла", — подумала она и направилась в чулан, где стоял тот мешок. Однако не притронулась к нему, потому что была до краев наполнена другим грузом, носить который далее была не в силах: Штопалиха должна была поскорее, сейчас же, сию же минуту поделиться с кем-то своей семейной радостью. На ее счастье, кто-то постучал в сенную дверь и голосом Пишки вежливо спросил:

— Можно к вам, Дивеевна?

— Заходи, заходи, Епифан! Всегда рада гостям! — отозвалась хозяйка. — Когда приехал? Слышала, ты в городе был. Ну как с глазом? Исделали?

— Сделали. Да ты приглашай в избу, тут темно, не увидишь моей обновки.

— И правда, чего же это я стою, дура старая. Проходи, проходи, Пишенька! Я те, милок, какую новость-то сейчас сообчу!

— Слыхал, слыхал про твою новость, Дивеевна...

— От кого это? — спросила Штопалиха, немало подивившись тому, что можно узнавать о новостях не только от нее одной. — Кто сболтнул? — добавила обиженно.

— Зять твой, кто ж еще, — сказал Пишка. — Я уж полсела обежал, глазом своим хвастаюсь. Заглянул часом и к Авдею. Ну и, значит, того... Да ты сама-то подыми на меня личность свою, глянь!

Штопалиха запрокинула голову и долго рассматривала Пишку. На нее смотрели два совершенно одинаковых глаза. Только один из них жил, подмигивал, подмаргивал, как всегда, дерзко и загадочно, а другой хранил полнейшую неподвижность, как бы давал Пишкиному собеседнику хорошенько рассмотреть себя, узнать наконец, каким бы должен быть Пишкин глаз без этого вечного подмаргивания и подмигивания, без постоянной загадочной усмешки. Оттого, что сработанный каким-то неизвестным саратовским умельцем глаз находился в статичном, раз и навсегда заданном ему положении, что веко почему-то не прикрывало его, он казался немного крупнее своего живого соседа. Потому, наверное, Штопалиха и не могла долго любоваться Пишкиным приобретением, быстро отвела свои глаза, призналась, хоть немного и обидной для гостя, однако ж с полнейшей откровенностью:

— Что это он у тебя так таращится? С одним-то глазом ты, Пишка, для нас был милее.

— Так уж и милее! — усомнился Пишка. — Привыкли к одному глазу, теперь привыкнете и ко второму.

— Можа, и привыкнем когда, — не стала перечить ему хозяйка. — Поднести, что ли? Радость-то у нас какая!

— Да я и пришел затем, чтоб поздравить. Как услышал от Авдея про это самое, так и сюда...

Штопалиха снова ушла в чулан, а Пишка, воспользовавшись моментом, пробрался в Надёнкину светелку и стал внимательно рассматривать себя в зеркало. В эту минуту и живой его глаз перестал прижмуриваться, мигать и сравнялся по размеру со своим сводным искусственным братцем, что и дало их владельцу право заключить:

— Брешет, старая. Глаз как глаз. Хоть сейчас в торгсин. Жаль, что его сейчас нету. А то бы... — Заслышав шаги вернувшейся из чулана хозяйки, быстро вышел к ней и, не моргнув даже живым своим глазом, соврал: — Наденкин портрет разглядывал. Красавица она у тебя, скажу, писаная. Таких, Дивеевна, не то что в Завидове, во всей Саратовской области не сыскать. Ну и девка! И в кого она у тебя такая!

— Как это в кого?! — осерчала Штопалиха. — В покойного отца. Аль ты забыл Митрия-то моего! Первый красавец был на селе. Да и я в молодости...

— Это верно! — немедленно согласился Пишка. — Что отец у Надёнки, что мать... Есть у кого взять красоты! — Пишка говорил, а ястребиное его око уже вонзилось в стакан с самогоном, только что водворенный Штопалихою на стол; гость находил, что сосуд этот мог бы быть и пообъемистей, поскольку поздравитель был самый первый.

Авдотья Степановна вернулась домой вовремя. Опоздай она хоть на полчаса, могла бы и не застать сына дома, потому как длительное ее отсутствие сильно встревожило его. Мысль, совершенно ясная и трезвая, которая почему-то не пришла к нему раньше, хотя, по логике вещей, должна была бы прийти в первую очередь, — мысль о том, что Надёнка, может быть, вовсе не собирается замуж или собирается, но не обязательно за него, Авдея, что у нее мог быть другой в виду, — мысль эта, придя в голову, сперва лишь чуть озадачила его, потом стала крепнуть, овладевать им все сильнее и уж готова была перерасти в убеждение, что так оно и есть все, что задуманное им предприятие построено на песке, что можно еще все поправить, если сейчас же пойти в бригаду и помириться с Феней. Глянув раз и два в окно и не увидев матери, которой пора бы давно прийти, он потянулся было за фуражкой, но тут объявился со своим новым глазом Пишка. Авдей, не зная почему, но сразу же сообщил ему о своем намерении жениться на Скворцовой и о том, что послал к Штопалихе за сваху свою мать и что вот теперь ждет, что принесет она ему.

— Как ты думаешь, Епифан, Надёнка согласится? Не устарел я для нее? Может, у нее уже есть жених?

Пишка понял, что на все эти вопросы должен дать ответы, вполне устраивающие вопрошающего, а потому категорически заверил, что Надёнка не только согласится, но будет без ума от радости, что это даже очень хорошо, что муж окажется несколькими годами старше своей жены (такой надежней, больше самостоятель-

ности в нем), что никакого другого жениха, это уже точно знает Пишка, у Надёнки нету и что, стало быть, дело Авдеево в шляпе и тревожиться ему нечего, а посему с него, Авдея, причитается.

Получив положенное ему вознаграждение, Пишка быстро распрощался с молодым хозяином и чуть ли не на рысях отправился к Штопалихе, радуясь в душе тому, что вернулся из города в самый аж раз, что теперь его ожидает веселенькая неделька. Но не одна только свадебная заваруха, в которую он непременно попадет, сейчас бодрила его дух. Наконец появилась великолепная возможность позлорадствовать, поликовать, поиздеваться над Фенькой Угрюмовой, виноватой перед ним, Пишкою, уже одним тем, что она была сестрою Павлика, что одного с ним семени.

— Так ей и надо! Молодец Надюха! — говорил он, прибавляя шагу и все более оживляясь.

Не был, однако, столь оживлен сам жених. Мать пришла сияющая, по одному ее виду можно уж было определить, что согласие невесты и ее матери получено, что вопрос решен, что отступать теперь некуда, что надо готовиться к самой свадьбе. Но на душе Авдея не было той устойчивой и глубокой обиды на Феню, обиды, которая одна только и могла подвигнуть на такой шаг. И чтобы шаг этот не выглядел для него низким и позорным, он начал припоминать все, что могло бы указать на ее вину, на то, что именно она, Феня, разрушила их счастье, что она, а не кто иной оборвал нити, до этого связывающие их. Главное состояло в том, что она не согласилась уехать с ним в Ленинград, что, стало быть, она вовсе его не любит, а удерживала его возле себя просто так, из бабьего самолюбия или потому, что не могла жить без мужика, — она, как известно, и в войну не терялась, недолго оплакивала своего Филиппа Ивановича, при первой же возможности связалась с тем лейтенантом...

Накалив себя сызнова и усмирив таким образом свою совесть, он вновь исполнился холодной решимости.

— Когда же свадьба?

— В воскресенье, сынок.

— А пораньше нельзя?

— Куда уж раньше!

— Поскорее бы... — Он вышел из избы, почему-то сильно хлопнув дверью и встревожив этим мать.

— Царица небесная, что с ним? Оборони и помилуй!

Несколькими минутами позже и сама вышла из дому: надо было оповестить дочерей и включить их в предсвадебную канитель.

15

Всю вторую половину недели Феня и Мария не приходили в село — ночевали в будке, когда в ночную смену заступали Павлик Угрюмов и Михаил Тверсков. Настя вечером отправилась домой: она сделала единственную уступку ревнивому мужу — не выходила в ночную смену. Прежде ее выручал Авдей, который с великой охотой оставался в поле и ночью, когда там была Феня. Теперь же вместо него по ночам на Настенькином "универсале" работал бригадир, Тимофей Непряхин.

Феня и Мария не знали о затевавшейся в Завидове свадьбе и потому были сильно озадачены, когда под горою, на дороге, ведущей из села в степь, появился необычайный кавалерийский разъезд. С десяток мальчишек, раздувая полы пиджаков, с диким, разбойным криком и улюлюканьем, размахивая плетками, самодельными нагайками и деревянными саблями, мчались во весь дух прямо, казалось, к будке. Но, не доскакав метров сто, резко повернули влево, в направлении соседней деревни Варварина Гайка, вихрем пронеслись мимо застывших в удивлении трактористок, прокричали что-то озорное и невнятное, скрылись за Правиковым прудом. Затем появились подводы, их было около дюжины; отчетливо доносился звон колокольчиков под разукрашенными дугами, слышались пьяные, разухабистые голоса; "Хаз-Булат удалой" скакал по степи, вдогонку ему неслась увитая бабьим визгом "Полным-полна моя коробочка", взъяривались частушки. Теперь стоявшие у будки люди уже поняли, что к ним приближался свадебный поезд, только никак не могли взять в разум, за каким лешим ему понадобилось вымахнуть на полевую дорогу, — не знали трактористы, что главным распорядителем свадебного ритуала, то есть дружкою, был Пишка, и он решил для пущей важности промчать невесту с женихом сразу по трем селам: сперва по Завидову, затем по Варвариной Гайке, а на обратном пути прихватить Салтыково, а может быть, еще и Панциревку — знай, мол, наших, черт подери! Конечно, в Варварину Гайку можно было бы попасть, и даже скорее, нижней дорогой, но Пишка повел поезд по верхней, степной. У него, у Пишки, был свой план.

Михаил Тверсков, Павлик Угрюмов и Настя Шпич хорошо знали, чья это свадьба, знал, наверное, и Тишка, но, чтобы не расстраивать Феню, не говорили ей об этом. А теперь украдкой взглядывали на нее: догадалась аль нет? В первую минуту лицо Фени ничего не выражало, кроме удивленного недоумения, затем стало быстро покрываться бледностью, а глаза утрачивать синеву, темнеть. На передней бричке, в которую были впряжены сытые, незавидовские, лошади, она увидела Авдея и Надёнку. Не сразу сообразила, сраженная увиденным, что это были жених и невеста. Посреди брички стоял, раскорячив ноги для устойчивости, дружка с красным бантом на груди, с рушником, перекинутым через плечо. Это и был Пишка. Размахивая руками, он что-то орал. Когда поезд приблизился, Феня и все, кто был рядом с нею, увидали на его лице печать откровенной радости. Едва поспевая за первой подводой, катились другие, полные нарядными бабами. Против будки, в каких-нибудь ста шагах от нее, Пишка что-то скомандовал, подвода резко остановилась, так что ехавшая вслед едва не врезалась в нее своим дышлом.

— Поезжай! — крикнул Авдей. Он не глядел на трактористов.

Пишка, однако, не послушался. Кобенясь и ерничая, пританцовывая на бричке, адресуясь к одной Фене, он запел жутко фальшивым голосом:

Сорок елок, сорок елок,
Сорок елочек подряд.
Нынче вот какая мода
Девки сватают ребят

— Го-го-го!

— Ха-ха-ха!

В хмельном поезде — хохот, рев. Феня стояла не шелохнувшись, с застывшим, окаменелым лицом. Лишь глаза все более темнели, не мигаючи глядя на глумливую процессию. Не выдержала лишь тогда, когда услышала голос самой Надёнки:

Я иду, а мне навстречу
Трактора да трактора.
Почему любовь не лечат
Никакие доктора?

Вот тогда только Феня повернулась и побежала к своему трактору. А ей вдогонку неслась, жаля и обжи-

гая, глупая и злая прибаутка Пишки, сочиненная, похоже, им самим для этого случая:

Ах ты, Феня дорогая,
Нынче новые права,
Если парень не подходит,
То тяни за рукава.

Настя не вытерпела, подскочила к первой подводе, закричала, чуть не плача:

— Как вам не стыдно? Да замолчите вы! Авдей Петрович, как ты глядишь на все это? — Затем посмотрела на Пишку так, что тот на миг опешил: — Прочь отсюда, кривая собака! Дезертир несчастный!

— Ну ты вот что, ты не больно! Я ведь не посмотрю, что ты Шпичиха. И на вас найду управу. Оскорблять инвалида Великой Отечественной! — вмиг протрезвев, ощетинился Пишка. — За это ответишь!

— Отвечу. Уматывайте отсюда, пока мы всех вас не подавили тракторами, как сусликов!

Во второй подводе, за спиною погонщика, важно восседали сватьи — Матрена Дивеевна Штопалиха и Авдотья Степановна. Морщины на лице Штопалихи разошлись, разгладились от беспредельной широкой улыбки. Ее тоже подмывало пропеть частушку, но она не решалась и только шевелила губами, да плечи неудержимо подпрыгивали, как подпрыгивали они у нее в молодости, когда она, бывало, притопывая, приговаривала: "Ходи, изба, ходи, печь. Хозяину негде лечь". Лик Штопалихи был сейчас светел, радостен и малость лукав. И вдруг на том же лице все переменилось: только что молодо поблескивающие глаза округлились в животном страхе, рот разверзся в жутком крике.

Как раз в эту минуту из-за будки выкатился на сестрином тракторе Павлик Угрюмов. На черном от мазута, грязи и пыли лице — яростный оскал ослепительно белых зубов. Брошенный вдогонку отчаянный Фенин крик: "Павлушка, наза-а-а-ад!"— видать, опоздал или не был услышан вовсе за ревом мотора и за визгом всполошившихся в поезде женщин. Врезавшись передним колесом в задний угол заглавной брички, опрокинув ее вместе с женихом, невестой, дружкою и ездовым, зацепив затем и вторую, перевернув и ее, исторгнув из покатившейся растрепанным снопом по земле Штопалихи паническое: "Караул, убили, убили!", взбесившийся парень направил бы свою машину и на другие подводы, но перепуганные бабьими воплями лошади разнесли их

по степи и теперь мчали бог весть куда. Многие женщины, впрочем, догадались спрыгнуть с телег и теперь пестрыми курами рассыпались по полю. Под гору, от места происшествия катились, будто вперегонки, два колеса от пострадавших подвод. Какие-то мальчишки увязались за ними, усиливались подхватить, удержать, но это им не удавалось, — так и скрылись из виду вместе с теми ошалевшими колесами.

У дороги оставались лишь Авдей, Надёнка, Пишка и их кучер, этот последний выпряг из покалеченной брички лошадей и сейчас держал их, храпящих и пританцовывающих, под уздцы, то ли не зная, что ему делать дальше, то ли ожидая указаний жениха и дружки. Но Авдею и Пишке было недосуг. Первый, совершенно некстати, а потому и глупо улыбаясь, поправлял на своей невесте, по-детски, судорожно всхлипывающей, шмыгающей носом, свадебный наряд; а Пишка, встав на четвереньки, ползал у их ног, рядом, что-то вышаривал в пожухлой траве, искал чего-то, дав полную волю своему мастерству по части матерщины.

— Убью щенка! Раздеру, как лягушонка! — орал он, задыхаясь и от клокотавшего в нем негодования, и от неестественного положения, к коему его принудили обстоятельства. Отчаявшись найти пропажу в одиночку, обратился за помощью к Авдею и Надёнке: — Какого... вы там ощипываетесь и охорашиваетесь? Помогите мне!

— Да что с тобой? — наклонился к Пишке жених. — Что ты тут потерял?

— Известно что. Ай не видишь? — Пишка вывернул шею так, чтобы его беда стала тотчас же очевидною для всех, но все-таки уточнил: — Этот мерзавец, щенок, глаз мне вышиб, опять оставил с одним!

Авдей только сейчас увидел, что на разгневанном Пишкином лице светился лишь один глаз, а другой, искусственный, который еще недавно так надменно, равнодушно и бесстрастно взирал на все, что бы перед ним ни являлось, куда-то пропал, оставив вновь своего лукавого, насмешливого собрата в печальном одиночестве.

Скоро поисковая группа получила подкрепление. В нее включились свахи, пришедшие наконец в себя; бригадир Непряхин, попытавшийся хотя бы вот таким своим участием немного смягчить, убавить кару, которая не замедлит обрушиться и на юного тракториста, и на бригаду, и на него, бригадира, на Тишку, за то, что недоглядел вовремя, не остановил мальчишку, не предо-

твратил несчастья. Ползая рядом с Пишкой, Тишка на чем свет стоит клял Угрюмова-младшего и всю их упрямую породу, не пощадил и самого Леонтия Сидоровича, лишь бы только расположить к себе Пишку, понесшего столь великую "втрату". С уст Тишкиных в какой уж раз готов был сорваться торжествующий клич, — это тогда, когда на глаза его попадались светлые, кварцевые камушки, легко принимаемые за Пишкино искусственное око. К счастью для себя, Тишка быстро догадывался об ошибке, и готовые сорваться с его губ радостные клики застревали в горле.

Ничего этого уже не видел главный виновник случившегося. Сделав свое дело, Павлик развернулся и, не убавляя скорости, увел трактор на самый дальний клин зяби. Ушли к своим машинам и Настя с Марией. Феня же вернулась в будку, упала на нары, натянула на себя брезент, укрывшись им с головою. Никто не решился подойти к ней, как-то утешить. Это могла бы сделать Катерина Ступкина, но она находилась еще в Завидове, получала на складе продукты. Какое-то время Феня слышала возню, разговоры там, у дороги, потом и они стихли. Скрежетал лишь кусок железа, сорванный с гвоздей где-то там на крыше; ветер, балующийся этим куском, доносил до нее приглушенный рокот удаляющихся тракторов. Чулюкнула раза три синица, заглянувшая по причине своего извечного и часто рокового для нее любопытства в будку через разбитое оконце, но, не получив ответа, разочарованно пискнула в последний раз и убралась. В ушах Фени, однако, шумело, а перед плотно закрытыми глазами живо стояло то, что только что пронеслось перед нею там, за будкой, то, что она готова была скорее принять за кошмарный сон, чем за действительное. Нервы ее были до того натянуты и все в ней так напряглось, что она истерически вскрикнула, когда кто-то осторожно и тихо коснулся брезента. Вскинулась, отбросила брезент к ногам, почти дикими глазами смотрела на сына, не узнавая его в первое мгновение.

— Ах, что?.. Кто это?

— Мам! Ты что?!

Она вмиг обмякла, окинулась потом, вяло, безучастно спросила:

— Ты, сыночка? Зачем ты... кто тебя послал?

— Никто. Я сам. Сегодня воскресенье. Ты опять забыла?

— Забыла, Филипп. Мамка твоя... — не досказала, привлекла к себе, не замечая, что прижимает его к сво-

ей груди все туже и туже. И вот диво: вся тяжесть, которая только что давила на сердце, вся горечь, которая жгла ее, которой была переполнена до краев, — все это стало вдруг отходить, отступать куда-то, словно переливалось в того, кого она сейчас прижимала, к кому прислонилась. Филиппу было и больно и душно, потому что руки матери были очень крепки и сильны, и она не могла в такую минуту соизмерять этой силы, но он не отстранялся от нее, не вырывался из материных объятий, что делал всегда, когда мать пыталась приласкать его. А когда она отошла душой, оттаяла немного, он осторожно высвободился из ее рук, отбежал к двери будки, вернулся быстро с каким-то узлом.

— Что у тебя там?

— А я не знаю. Бабушка дала.

— Бабушка? — подивилась Феня, развязывая узел. — Как она там?

— Сказала, чтобы ты домой шла. Она очень наказывала. — Он говорил, а Феня внимательно слушала, силилась понять, что же произошло там, дома; в самом ли деле мать смягчилась или еще что? Филипп между тем продолжал: — Я, мам, сказал ей, что мы будем жить у тетки Поли Тверсковой, а бабушка как заплачет, а дедуня меня отругал: "Уши, — говорит, — оборву за такие слова!" — Затем без видимой связи Филипп стал рассказывать матери про все, что видел по дороге сюда, в поле. Он рассказывал серьезно, старался не пропустить ни одной подробности, и постепенно перед Феней стала обрисовываться только что отшумевшая драма в полном ее объеме.

Она живо представила себе толпу своих односельчанок, тех, что отвернулись от нее в первые послевоенные годы, которые с радостью погрузились было на свадебный поезд, а теперь, конфузливо пряча друг от дружки лица, в одиночку скатывались с горы в село, чтобы спрятаться за плотно закрытыми дверями своих изб; бабы пробирались на свое подворье глухими проулками, огородами, но их все-таки видели и провожали озорными, насмешливыми выкриками Фенины союзницы, которых было тоже немало. Едва удержалась от смеха и она, когда сын сообщил ей, что дядя Епифан вчерась был с двумя глазами, а нынче опять только с одним. Пишка, Авдей, Надёнка и обе сватьи повстречались Филиппу возле могилок, уже недалеко от села, направляясь, очевидно, в Непочетовку, в самую неавторитетную часть Завидова, где жила со своей дочерью Штопалиха. Шли они молча, стыдясь поднять очи, а позади две уста-

лые лощади влачили бесколесную телегу. Злой, короткий смешок вырвался у Фени, когда она вообразила себе Надёнку, свою соперницу и разлучницу.

Оскорбленная до глубины души, униженная, втоптанная в грязь, несколькими минутами раньше готовая уже наложить на себя руки, обдумывавшая было, как, когда и где это лучше и вернее сделать, теперь Феня воспрянула духом, чувствуя, что наполняется знакомою, не раз испытанною при трудных минутах жизни упругою силой сопротивления. "Постойте, еще не то будет. Я вам устрою свадьбу!" — сказала она про себя, не произнося этих слов вслух. Теперь по холодной бледности ее щек и лба, глазам, потемневшим до черноты, по грозному блеску в них, по шевелению сухих, изломанных глухою ненавистью губ можно было бы понять, что она принимает или уже приняла какое-то решение и внутренне подобралась вся, изготавливаясь к прыжку. Теперь не ждите от нее смирения и не прогневайтесь, ежели она будет не слишком разборчива в средствах борьбы. Не ждите и того, что она кинется в сражение очертя голову, ни о чем не думая и ничего не помня. Ей нужно во что бы то ни стало выиграть бой, а потому она должна хорошенько подготовить его. Изготовившись внутренне, молодая женщина на время уйдет в сторонку, оглядится, выждет, и горе будет тому, кто примет такое ее поведение за покорность судьбе, за примирение с жестокой действительностью. Нет, она еще покажет себя!

Видя, что мать уже не слушает его, Филипп сказал:

— Я к Павлику побегу. Ладно? А ты ступай домой.

Хоть Феня и решила не торопиться со своими ответными действиями, но в Завидово ее тянуло неудержимо, и слова сына были ей впрок. Она сейчас же согласилась:

— Иди, милый. Смотри, под плуг не угоди там. Осторожней.

— Хорошо, мам!

Филипп убежал, и Феня засобиралась домой. Одернула на себе комбинезон, застегнулась на все пуговицы, вынула из кармашка зеркальце, глянула в него, оправила волосы и вышла из будки. Она шла быстро, как всегда в решительную минуту, прямя стан и высоко приподняв подбородок, и если бы кто-нибудь из людей мог видеть в ту минуту ее лицо, то, верно, подивился бы его спокойствию и невозмутимости; разве лишь холодноватая, затаившаяся по краям плотно сжатых губ

и в уголках чуть прижмуренных глаз усмешка смогла бы малость смутить, насторожить встречного, но ее надобно было еще приметить, эту неприметную почти усмешку.

16

Старенький СТЗ, сопя и постреливая, попыхивая дымком, размывчиво вылетавшим из выхлопной трубы, неторопко полз по борозде, оставляя за собой светло-жирные, отливающие вороньим крылом пласты чернозема. Погребенная под этими тяжкими пластами золотистая стерня лишь между валами кое-где могла просунуть к свету вольному косо срезанный острый стебелек. По пятам за плугом, стараясь опередить один другого, скакали вприпрыжку грачи, белоносые, важные. Сравнявшиеся давно с ними, но еще черноклювые их питомцы, не избавившиеся до конца от детской привычки нахлебников, бежали по самой кромке борозды, горланили, часто взмахивали крылами, вымогая у родителей поживу — светло-розового дождевого червяка либо личинку жука-кузьки, загодя позаботившегося о продолжении своего зловредного для пахаря рода и упрятавшего яйца глубоко в землю. Низко над зябью кружили коршуны, но эти выискивали, высматривали в ней иное — полевую мышь, суслика. Но у пернатых хищников на земле были серьезные конкуренты — лисы. Нахальные и хитрющие по своей лисьей породе, они выбегали на свежую пахоту с двух сторон — от Правикова и Дрофева оврагов — и нередко выхватывали добычу прямо из когтей коршуна или ястребка, затем, вытянувши не опушившийся еще до конца длинный свой хвост, уносили добычу в норы, а если были уж слишком голодны, пожирали ее на месте, сладко облизываясь красными, как кусок кумача, языками. На крики трактористов "Ату, узы ее, возьми!" мошенницы лишь подымали остроносые свои рыльца, настораживали уши, выжидая, что последует за грозными этими выкриками, и, убедившись, что не последует решительно ничего опасного для них, вновь как ни в чем не бывало принимались за охоту. Порою воздушные разбойники пытались переменить игру, обратить ее в свою пользу, — они сами пробовали, мгновенно кинув себя к земле, подцепить перед самым лисьим носом мышь или того же суслика, но лиса, по стремительно приближающейся ли тени, по свисту ли крыл, раньше догадывалась о таком намерении и почти всегда успевала при-

нять предупредительные меры, то есть схватить добычу и сейчас же проглотить. Но в тех редких случаях, когда опережал коршун, она делала кряду несколько больших прыжков вверх, словно еще надеясь спасти ускользнувшую от нее добычу, и затем долго жалобно тявкала, будто ее и вправду обокрали, ограбили средь бела дня: плуты, как известно, очень любят околпачивать других и совершенно не выносят, когда жертвою надувательства становятся сами. Нередко перед трактором, на не вспаханной еще полосе, подымался разбуженный гулом мотора заяц и спросонья, видимо, не знал, что ему надо делать, — дул прямо перед машиной, высоко подбрасывая зад, мелькая белым подбивом кущего хвоста. Павлик и Филипп, по древнему инстинкту охотников, приподымались за рулем и орали как очумелые: "Держи, держи косого!" Зайчишка так наддавал, что в один миг скрывался в чернеющих неподалеку посадках. А ребята долго еще не могли прийти в себя, не в силах погасить в своем теле охотничьего зуда, а в глазах — яростного, звериного блеска. Пальцы вздрагивали, будто в них только что побывал длинноухий трусишка, которому на этот раз удалось вырваться и улепетнуть. Какое-то время были заняты воспоминанием этого веселого происшествия. Обменивались впечатлениями.

— Эх, как он тяпнул! — кричал, чтобы перекричать шум мотора, Филипп.

— Еще б немного, и наехали б на него! — в свою очередь, орал Павлик, смеясь и радуясь.

В эту минуту он ничем не отличался от своего напарника. Глаза, щеки, уши — все горело на нем, все полыхало жарким пламенем. Вспугнутый ими заяц напомнил ему недавнюю картину: паническое бегство женщин с разгромленного свадебного поезда, жуткий страх в глазах Штопалихи, опрокинутые телеги, отчаянная брань Пишки, Надёнкин вопль, ее белый кисейный платок, подхваченный ветром и кинутый на раскаленную выхлопную трубу трактора, растерянность Авдея, крик Фени, требовавшей остановиться, суетная беготня бригадира Тимофея Непряхина вокруг будки, одобрительная улыбка Насти Шпич, их комсорга (она-то, улыбка эта, может быть, и решила все дело). Вспомнив все это, Павлик почувствовал себя настоящим героем. Ему не довелось тогда, в сорок втором, убежать с Мишкой Тверсковым на фронт, под Сталинград, и совершить свой подвиг. Что ж, он совершил его сейчас. Правда, перед ним были не фашисты, но дядя Пишка... Чем

он лучше? Зачем он надсмехается над Феней? Что она ему и всем им сделала плохого? Да она лучше всех на свете! Павлик-то уж это хорошо знает! Пусть только кто тронет ее хотя бы одним пальцем, он еще не такое сотворит! Он никого не убоится! Он заступится за нее!

Словом, Павлик был счастлив и горд. Но ему хотелось еще чего-то необыкновенного, но чего, он не знал. Исполненный нетерпеливого желания выкинуть еще какой-нибудь номер, придумывая, что бы сделать такое, чтобы вокруг всем было хорошо и весело, как вот ему самому сейчас, он не нашел ничего другого, как внезапно предложить десятилетнему племяннику:

— Хочешь посидеть за рулем?

Филипп вздрогнул, но промолчал, потому что не верил ушам своим. Но юный его дядя уже подымался с железного, высветленного сиденья, укладывал на нем ватник, явно уступая свое место ему, Филиппу. Вот теперь только мальчишка понял, что не ослышался. Покинув крыло, прикрывавшее зубастое колесо трактора, быстро скользнул к рулю и, судорожно, до помутнения в глазах, вцепился в него. Слезы счастливого страха застилали ему белый свет, и Филипп ничего не видел перед собой и готов был передать управление трактором Павлику, но, на его, Филиппа, счастье, тот отлично понимал, что могло быть в такую минуту с его оглушенным неслыханной радостью племянником. Чуть склонившись над ним, придерживая одною рукой руль, а другою обнимая плечо парнишки, Павлик ждал, когда тот немного успокоится, когда в глазах у него просветлеет, а к рукам придет уверенность.

Трактор между тем шел точно по борозде, за ним по-прежнему двигалось черное полчище грачей, которые непрерывно садились и взлетали, дрались из-за свежей борозды, где только и могло ожидать их лакомство. По-прежнему кружили ястреба и коршуны, выглядывая крохотного зверька, с тем чтобы молнией броситься вниз и утопить в теплом мягком тельце острые когти.

Павлик, видя, что племянник малость освоился, советовал:

— Держи руль вот так. — Он положил свою руку рядом с рукой Филиппа. — Больше ничего не надо делать. Не крути его туда-сюда. Правое переднее колесо трактора должно вплотную прижиматься к краю борозды, а левое идти по стерне. Так трактор сам будет ехать, как надо. Твое дело не отпускать руль вправо. Вот так... Ну держи! Понял?

— По-о-о-нял, — сказал Филипп дрожащим голосом.

— Смелее, смелее. Так, молодец! — похвалил совсем по-взрослому Павлик. — Да ты ослабь пальцы-то! Они у тебя аж посинели!.. Ну, ну, вот, вот! Хорошо, давай, так, так! Молодец!

Кто хоть раз в жизни испытал сладостную власть над машиной, подчинил себе ее слепую могучую силу, тот поймет нашего героя. Первые минуты, когда он видел, что рядом с его руками не было больших, ловких и сильных рук Павлика, Филипп терялся, напряженно наморщенный лоб его покрывался испариной, сердце начинало стучать часто и напуганно, а глаза слезились. Но так было до тех пор, пока он в какой-то момент не почувствовал, что огромная рокочущая махина движется, покорная его воле, что ее стальное сердце стучит согласно с его сердцем, что они, трактор и водитель, слились как бы уж воедино, что дрожь того и другого передается взаимно, что теперь им ничто нипочем, что песня без слов, какую выводит мотор, звучит уже и в груди Филиппа, небывало, прямо-таки невиданно выросшего в своих глазах. Теперь он даже отважился отвлечься на минутку, глянуть на Павлика, сидевшего на покатом крыле заднего колеса, на плуг, тремя своими большими лемехами ворочающий, вспарывающий земную твердь. Что там и говорить, Филипп был счастлив! Но для полного торжества не хватало, конечно, сверстников, сопливых его одногодков, которые теперь слоняются без дела по селу и не видят, что Филипп сам, совсем-совсем сам, без чьей-либо помощи (Павлик вон и не глядит на него, не хватается за руль своими руками), совершенно самостоятельно ведет трактор. Да что там одногодки! Генка и Андрюшка Тверсковы, Мишкины братья, гораздо старше Филиппа, а еще ни разу не сидели за рулем трактора, а он вот, Филипп, сидит. Только почему же никто этого не видит?! Эх, если бы мамка хоть одним глазком глянула на него, то-то бы обрадовалась! Вот, сказала бы, ты какой у меня! Ну, мамка, та теперь, наверное, уже в Завидове, но где другие, куда они запропастились? Где тетя Маша, Настя, где Михаил Тверсков? Где дядя Тишка? Почему они так далеко отсюда со своими машинами? Разве нельзя было пахать где-нибудь поближе — тогда бы они видели, как он, Филипп... Хотя бы бабушка Катерина подошла, принесла свои галушки да поглядела! Нету никого...

— Не устал? — кричал в его ухо время от времени Павлик.

— Не-е-е-е! — качал отрицательно головой Филипп, боясь, как бы Павлик не спровадил его на крыло.

Но Павлик лишь в конце гона подменил племянника, чтобы развернуться, войти в борозду на другой стороне, а потом опять уступил руль Филиппу. Вдвоем им было весело, и дряхленький тракторишко вроде бы помолодел рядом с ними и повеселел, — мотор рокотал бодро и ровно. Лишь на солончаковых или суглинистых местах, узкими залысинами белевших на поле, начинал реветь натужно, со стоном, тогда и Филипп весь напрягался, привставал над сиденьем, словно хотел помочь машине; в такие минуты лицо его вновь заливалось потом, а глаза слезились. И когда трактор справлялся с железной твердостью почвы, мальчишка переводил дух, смахивал с лица пот, снова опускался на сиденье, на фуфайку, подложенную Павликом для того, чтобы Филиппу было повыше, удобнее.

Они делали круг за кругом, не замечая времени; другие трактористы были уже у будки, обедали, а эти увлеклись до того, что не видели красного флага, давно поднятого над будкой Катериной Ступкиной, скликавшей теперь таким образом всех к обеденному столу Остановили свой трактор только тогда, когда он уперся в знакомую Павлику еще с времен войны воронку от бомбы. Никто почему-то не догадался закопать ее, сровнять с пашней, и теперь она незаживающей, гноящейся раной лежала на живом теле земли. По краям, впрочем, воронка заросла сорною негодной травой — дурманом, татарником, осотом, молочаем; даже крапива каким-то неведомым путем перебралась сюда и, вымахав в сажень высотою, царствовала над всем этим чертополохом. На дне глубокой ямы рыжей сукровицей брезжила вода, — должно быть, скатившиеся туда осколки, ржавея, окрасили ее в такой цвет. Какие-то лягушки (в завидовских колодцах, погребах и речках таких и не увидишь, такие там не водятся) таращились оттуда своими пучеглазыми бельмами. И больше ничего тут не было. Павлику не терпелось засыпать воронку, закопать, порушить ее так, чтобы и следов от нее не осталось, но он видел, что не сможет сделать это сейчас: одному тут не совладать, надо будет собрать всех комсомольцев — он обязательно попросит об этом Настю Шпич — и устроить воскресник по уничтожению поганой воронки, чтобы она навсегда исчезла с родных полей вместе с этим вот дурманом и мерзкими пучеглазыми тварями...

Павлик и Филипп постояли еще немного у края во-

ронки. Им сделалось вдруг зябко и бесприютно; ветер, которого они и не замечали до этой минуты, пробрался под одежду, пронизывал насквозь, вызывая мелкую дрожь во всем теле. Ребята поспешили к трактору; тот охотно обогнул безобразную рытвину, с удовольствием лег на борозду и спокойно двинулся дальше. Повеселели вновь и его наездники. Никто из них не приметил, когда на далекой дороге появилась маленькая движущаяся точка. Да если бы и приметил, то не отыскал бы логической связи этой стремительно приближающейся точки со своим существованием, со всем тем, что они сейчас делали, в особенности же с тем, что чувствовали, что было у них на душе. А на душе опять был праздник. Они даже забыли о голодных своих желудках, которые давно уж бурчали и просили, чтобы о них вспомнили наконец и хоть чем-нибудь, но насытили. Но о каком голоде, о каком обеде может идти речь, ежели Филипп снова сидит за рулем, ежели трактор охотно отдал всего себя в его распоряжение и подчиняется его рукам?! Да полно, трактор ли это?! Разве вы, люди, не видите, что они, Павлик и Филипп, изобрели новую машину, каких еще никто не видывал, огромную-огромную, с целый дом, и сейчас вывели ее на поле, и впряжена та машина не в один плуг, а в целых сто таких плугов, которые захватывают сразу половину поля, и мчится эта чудо-машина со скоростью поезда, на котором Филипп ездил с матерью в Саратов?!

А точка меж тем катилась по дороге. И нацелена она была на них, вернее, на одного из них, и не сулила ничего хорошего. Они увидали ее, когда она из обыкновенной точки превратилась в обыкновенный мотоцикл с коляской. И вел этот мотоцикл человек в милицейской фуражке на голове. Поставив трехколесный свой драндулет поперек борозды и преградив им путь, человек повелительно поднял голову.

Сердце Павлика упало. Оно-то раньше всех догадалось, что празднику пришел конец. Поменявшись с Филиппом местами, Павлик остановил трактор. А милиционер скомандовал:

— Слезай, парень. Приехали.

Павлик слез и покорно побрел к мотоциклу.

Ему указали на люльку:

— Садись.

Павлик исполнил и эту команду.

Через две-три минуты мотоцикл вновь превратился в точку, только уж не приближающуюся, а убегающую под гору

17

Феня добрый час просидела в приемной районного прокурора, того самого, который в сорок втором году намеревался строго покарать ее, бригадиршу, за потопленный у Панциревского моста трактор. Его помощница дважды сообщила ему, что пришла Угрюмова и просит свидания с ним. Тот, держа правою рукой телефонную трубку у своего уха, а левою недовольно отмахиваясь от помощницы, сердитыми глазами отчитывал ее: "Не видишь разве, что занят?"

Он и вправду был занят, иначе бы не вопрошал в трубку:

— Где? В Безобразовке? И в Новых Выселках тоже? Хорошо, сейчас вышлю следователя... А Вехремеев на месте? Какого же дьявола он цацкается с ним там? Тащил бы сюда! Тут бы и разобрались! Ах пьян! Ну, ну. Сказал, высылаю. До свиданья! — повесил трубку, поднял голову, увидел у двери Феню, которая не вытерпела и вошла без спросу. — Ах, это вы, Федосья Леонтьевна?.. Да, да, все знаю... Проходите, садитесь вот тут. Что натворил, а? Да садитесь же, пожалуйста! — Прокурор вышел из-за стола, пододвинул Фене стул.

Феня не села — сказала быстро и просяще:

— Не заводите дела-то на него. Не позорьте. Вгорячах он. Сестра ведь я Павлику. Вот и вступился. Любой бы на его месте. Да и дело-то вроде семейное...

— То есть?

— Сказала же — вроде...

— А-а, ну да, конечно! — Прокурор кивнул головой, будто бы хорошо понял ее и вполне согласен с нею, но все-таки спросил: — Он кем же вам доводится?

— О ком вы? — Феня насторожилась.

— Ну, жених тот, Авдей. Так, кажется, его зовут?

Вместо ответа Феня спросила уже сама:

— Он, что ли, бумагу-то настрочил?

— Нет. Не он.

Феня не могла удержать облегченного вздоха

Прокурор, не спуская с нее глаз, продолжал:

— Бумагу написал председатель колхоза.

— Кто?! — В глазах Фени ужас, недоумение, возмущение — все смешалось и отразилось в них в один миг. — Не может того быть!

— Очень даже может быть, Федосья Леонтьевна. Бумагу написал ваш отец. По нашему требованию, разумеется. — Помолчав, прокурор пояснил: — Он обязан был это сделать.

— Да, конечно... — Феня оглушена, эти слова она сказала машинально, не зная, что говорит.

Прокурор — торопливо:

— Не волнуйтесь, Федосья Леонтьевна. Жених заявления не писал, я повторяю вам это. Да и отделался он, ваш Авдей..,

— Никакой он не мой! — быстро и зло перебила его Феня.

— Я в ином смысле... ну, ваш то есть односельчанин... И отделался, говорю, он легким испугом. Ну, подпортило чуток их свадебное торжество, но не расстроило же вовсе. Говорят, такую кралю подцепил... Вы куда же, Федосья Леонтьевна?

Феня остановилась у самой двери, оттуда сказала:

— Вас, товарищ прокурор, вижу, крали интересуют, а не моя нужда. До свиданья!

— Нет уж, Федосья Леонтьевна, постойте! — Прокурор успел ухватить ее за рукав и вернуть на прежнее место. Присев рядом, заговорил строго, но отечески сочувственно: — Вот теперь давайте поговорим о вашей беде. И, пожалуйста, не егозите, не глядите на меня так... Еще раз говорю: объяснение написал ваш отец по нашему требованию. Но не в его бумаге дело. Есть еще одна, вот эта, — прокурор подошел к своему письменному столу, извлек из красной папки какие-то листочки и положил, вернувшись к Фене, перед нею: — Полюбуйтесь. Ежели поверить этому сочинению, то ваш брат — не человек, а прямо-таки разбойник с большой дороги, головорез, изверг рода человеческого...

Бегло взглянув на бумажки, заполненные кривыми каракулями, Феня без всякого труда поняла, чья это работа.

— Пишка постарался.

— Это по-вашему Пишка, а для нас он Епифан Матвеевич Курдюков, гражданин села Завидова. И этот вышеозначенный Курдюков сообщает нам по всей форме... впрочем, о форме говорить не будем: форма, прямо скажем, самая несимпатичная... Так вот: Курдюков Епифан Матвеевич, по-вашему — Пишка, сообщает в этой бумаге о чрезвычайном происшествии, на которое мы обязаны были немедленно отреагировать...

— И вы заарестовали несовершеннолетнего парнишку, стащили прямо с трактора — и сюда?

— Да вы не нервничайте, товарищ Угрюмова. Должны же мы были разобраться. Ведь он, этот Курдюков, такое тут накатал! Да вы прочтите! Впрочем, давайте-ка я сам, вы в его почерке глаза изуродуете, я вчера

более часа просидел над этой персидской грамотой, едва расшифровал. Послушайте же! — Прокурор начал читать. Сперва огласил заголовок, выведенный Пишкою преогромными буквами. Должно быть, он немало попотел, прежде чем у него получилось:

"О СОБЫТИЕ КАКОЕ ИМЕЛО МЕСТО НА МЕСТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПРОИЗШЕДСТВИЯ В СЕЛЕ ЗАВИДОВОМ ВО ВРЕМЯ СВАДЕБНОГО ПОЕЗДА У ПРАВИКОВА ПРУДА ДВАДЦАТОГО СЕНТЯБРЮ В ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОК СЕМОГО ГОДА ЗАЯВЛЕНИЕ РАЙПРОКУРОРУ ОТ ГРАЖДАНИНА КУРДЮКОВА ЕПИФАНА МАТВЕЕВИЧА".

— Как видите, Федосья Леонтьевна, уже в заголовке все обозначено: место и время действия. Абсолютно все. Теперь полюбуйтесь на существо дела, так, как оно изложено автором пространного послания. Читаю...

Слушая, Феня сперва возмущалась, в наиболее вероломных местах, там, где Пишкина фантазия, подгоняемая ненавистью к Павлику, хлестала через край, даже вскакивала со стула, вскрикивала возмущенно, всплескивала руками в изумлении, не понимая, как можно было нагородить такое, а потом успокоилась, потому что написавшему все это нужно было бы обратиться к законченным идиотам, чтобы они, по глубокой дурости своей, поверили ему. Все чаще она прыскала в уголок платка, плечи ее особенно сильно затряслись от смеха, когда прокурор дошел до места, где Пишка живописал историю с потерей своего искусственного глаза.

Прокурор, однако, не разделял ее веселости.

— Я тоже, когда читал эту поэму в первый раз, смеялся не меньше вашего, Федосья Леонтьевна, но веселого-то тут, прямо скажу, мало. Во всяком случае, для вашего братца...

— Павлику едва исполнилось шестнадцать, — вытирая увлажнившиеся от смеха глаза и бледнея, на всякий случай напомнила Феня.

Прокурор пропустил ее слова мимо ушей, продолжал, железною логикою своей обнажая один лишь голый факт, который постепенно вылущивался из диких зарослей Пишкиных строк.

— История с глазом показалась вам наиболее смешной. Не правда ли? Мне тоже. Но извлечем из нее зерно Федосья Леонтьевна, — прокурор поднялся и стал прохаживаться по кабинету, роняя слова, как метроном

в равные промежутки времени. — Извлечем из нее самую суть. Инвалид Отечественной войны с величайшим трудом изготовил глазной протез. На него налетает хулиган — в данном случае не столь уж важно, совершеннолетний он или нет, — нападает хулиган и лишает инвалида искусственного глаза. Ну, каково? Дельце-то, Федосья Леонтьевна, некрасивое, не так ли? — Прокурор остановился даже, заглянул через Фенино плечо в ее глаза, как бы желая удостовериться в том, что и она уж хорошо видела, что он, прокурор, прав, что дельце действительно дрянь.

Феня молчала. Прокуроровы слова, произносимые им ровным, почти одинаковой тональности голосом, падали на ее голову, на самую маковку, как капли холодной воды, и голова эта все ниже и ниже склонялась к столу, пока не уперлась в него вовсе.

Помощница в какой уж раз просовывалась в дверную щель, чтобы сказать начальнику о новых посетителях, которых скопилось в приемной уж слишком много, но тот резким, отрицательным жестом возвращал ее на положенное ей место, не меняя голоса, продолжал:

— Далее Курдюков, гражданин Курдюков, называет материальный ущерб, который был нанесен вашим братом колхозу. Посмотрите: две изуродованные телеги, тут указана и копеечка, в которую обошлась вашей артели постройка этих телег. Названа и лошадь, у которой повреждена нога, ну а лошадь, сами знаете, стоит чуть более телеги. Неуклюже, правда, но довольно ясно указано в заявлении и на моральный ущерб, который был нанесен двум — да разве только двум, а сватьи, а родня! — лицам при совершении ими самого торжественного гражданского акта, при отправлении свадебного ритуала. Урон этот, Федосья Леонтьевна, в материю не переводится, но и за него должен отвечать тот, коий его причинил. Не так ли? Во-о-о-от! — протянул прокурор. — А мы с вами веселимся, потешаемся над стилем, действительно весьма и весьма комичным. Давайте-ка подумаем лучше, что нам делать, как поступить, как выйти из положения с меньшими потерями. Передо мной документ, Федосья Леонтьевна, я должен проверить его существующим законом, обязательным для всех граждан страны, и принять решение. Подскажите, помогите мне, я сейчас больше всего озабочен тем, чтобы найти обстоятельства, которые бы могли смягчить вину этого дерзкого мальчишки. Вы плачете?

— Нет, — Феня подняла голову — Я вас слушаю.

— Я заканчиваю, Федосья Леонтьевна, — успокоил прокурор, опускаясь наконец в кресло за своим письменным столом. — То, что он вступился за вас, не есть оправдание. На вас ведь не было совершено никакого нападения, не правда ли? Следователь доложил мне все обстоятельства дела. Свадьба есть свадьба. Она двигалась по дороге, мимо вашей бригады. Кто-то пел разного содержания частушки — не исключаю и того, что среди них были и двусмысленные, — а кто их не поет на свадьбе?! А вообще-то, все было пристойно, даже слишком, по-моему, пристойно для такого предприятия, как свадьба. Не правда ли? Но тут выкатывается на тракторе ваш братец и начинает все кромсать...

— Да что он, аль убил кого? — устало сказала Феня, чувствуя, что в душе у нее не остается ничего для сопротивления.

— Не хватало, чтоб убил, — резонно поправил ее прокурор. — Тогда был бы совсем иной разговор. Но согласитесь, что и без того вина его велика. Не правда ли?

— Неправда! — Она поднялась, губы ее тряслись. — Все, все неправда!

— Вот те раз! — искренне огорчился прокурор. — Я на нее битый час израсходовал, а она все свое. Как же неправда?

— Неправда. Ежели вы человек, вы должны были...

— Ну да, я не человек, я прокурор, — обиделся хозяин кабинета.

— Вы прокурор, — согласилась с ним Феня

— Ну хватит об этом, Федосья Леонтьевна! Следствие еще не закончено. Я постараюсь, чтобы в самый короткий срок его окончить. И то сказать колония для малолетних преступников — не такое уж страшное место, Федос...

Феня вобрала голову в плечи, будто ее кто ударил, подкравшись сзади, по голове. Она медленно приблизилась к прокурору, в горле мгновенно стало сухо:

— Что... что вы?.. Колония?.. Преступник?! Нет уж, умоляю вас, только не это!.. Штраф там... еще что... Только... Не позорьте, не губите его, поверьте мне, ради бога, он... он... знали бы вы, какой он! "Пре-ступник"!.. Господи, это Павлушка-то преступник!.. Его в комсомол недавно приняли...

— Может быть, поторопились? — прокурор сокрушенно развел руками, не зная еще, что эти его слова достигнут уха одной из тех, кто дожидался в приемной.

Настенька ворвалась в кабинет с такой стремитель-

ностью, словно ее подхватил вихрь и швырнул прямо под нос оторопевшему прокурору.

— Поторопились? Кто поторопился?! — кричала она прямо ему в лицо. — Я, все мои комсомольцы, райком — все поторопились? Эх вы!

— Вот что, барышня... Вы кто такая? Кто вам дал право врываться? Потрудитесь выйти из кабинета!

— Не потружусь. И я вам не барышня. Я секретарь комсомольской организации. Я... я...

— Ну что с того, что вы секретарь, — прокурор смотрел теперь на раскрасневшуюся, разгневанную Настю со снисходительной усмешкой. — Вот и занимайтесь своим делом, а я займусь своим. И этак-то будет лучше. Поверьте, мне мое дело знакомо больше, чем вам, иначе бы...

— Я прошу... мы требуем! — звенел Настин голос. — Требуем...

— Кто это "мы" и что они требуют от меня? — Глаза прокурора по-прежнему были холодны и насмешливы. — Вы хотите, чтобы я, не окончив следствия, отпустил хулигана подобру-поздорову, чтобы нарушил присягу, попрал законы, которые призван защищать? Этого вы хотите? — Веские эти слова, выговариваемые четко, с одушевлением, сделали лицо прокурора совершенно иным: спряталась, убралась куда-то насмешливость, в глазах появилась спокойная усталость, оттенок даже той горькой опечаленности, которая приходит к человеку под бременем служебных обязанностей, не всегда приятных для других, а потому и не понимаемых ими. Видя, что его посетительницы немного увяли, поубавили свою прыть, приписав эту резкую перемену в их поведении исключительно своей безусловной правоте, он готов был уже и пожалеть их, — заговорил мягче и проникновеннее: — Поверьте, дорогие мои, я не меньше вашего озабочен случившимся и сделаю все, что только в моих силах и возможностях, все, что находится в пределах моих прерогатив...

Феня и Настя, присмирев, слушали его внимательно, старались понять и вникнуть во все, что им говорилось, но лишь до той поры, пока с уст прокурора не спрыгнуло незнакомое, пугающее, какое-то вроде бы рычащее слово "прерогатив". Что только не увиделось им за этим словцом! И страшные рога, и преграда или ограда, за которую прокурор собирался упрятать их Павлика, и рогатина, которою — они видели это на картинках — охотники вспарывают брюхо медведю, и еще что-то в таком роде. Сидели как пришибленные и ждали лишь

момента, когда прокурор закончит свою речь, нить которой давно уж была ими утрачена, и отпустит их. Они сидели и не знали, что в соседнем доме в кабинете первого секретаря райкома велась другая беседа, но все о нем же, об их несчастном Павлушке.

Туда лишь несколькими минутами позже вошел Виктор Лазаревич Присыпкин, прискакавший в район на выпрошенном у председателя Сером. Поначалу он намеревался тоже пойти к районному прокурору или старшему следователю, но по дороге решил, что лучше будет, если с таким делом явится прямо в райком партии, где, кстати, размещался, занимая нижний этаж, и райком комсомола. Такое решение Точка принял не потому, что не доверял органам юстиции. Но ему казалось, что людям, перед которыми лежал свод законов, где все расписано по статьям и параграфам, определено и предопределено, труднее будет разобраться в психологических тонкостях происшествия; Точке думалось — и в этом он был, конечно, не прав, — что психология, проблемы морального порядка, дела интимные, житейские, тем более любовные — не дела следственных органов, что в них естественнее разбираться людям, занимающимся непосредственно воспитанием, то есть партийным и комсомольским работникам. Виктор Лазаревич к тому же ставил себя мысленно в положение прокурора и видел, что выходку молодого тракториста нельзя квалифицировать иначе, как злостное хулиганство (хорошо, что обошлось без жертв, но могли бы быть и жертвы!), нельзя, если ты не знаешь всей истории отношений его старшей сестры с Авдеем, например, и со всеми участниками события на протяжении не одного года, а нескольких лет. Чтобы узнать все это, прокурору потребовалось бы много времени, а дело-то для него очень даже простое и ясное: игралась свадьба, явился хулиган и разогнал эту свадьбу, опозорив бракосочетающихся и нанеся материальный ущерб хозяйству, а по статье такой-то за такие-то дела полагается столько-то...

В обоих райкомах — партии и комсомола — тоже не сразу, не сейчас же поняли Точку, даже Федор Федорович Знобин накричал на него за то, что занимается черт знает чем, а не завершением уборки урожая и зяблевой вспашкой.

— Хулигана надо проучить, и только. А вас с Леонтием Сидоровичем давно бы следовало на бюро...

— На бюро вы нас можете всегда вызвать и снять с нас стружку, — продолжал Точка. — Но только сперва

выслушайте. Не хулиган он, этот Павлушка. Напротив, замечательный хлопец! Вы, Федор Федорович, наверное, забыли, как этот "хулиган" в 1942-м пытался убежать на фронт. Вы же сами рассказывали, как изловили его где-то в Песках и доставили матери. А сейчас там оскорбили его сестру, понимаете...

Знобину и всем, кто находился в его кабинете (первый секретарь райкома редко остается у себя в одиночестве, это уже известно), показалось, что дело, с которым припожаловал Точка, не такое уж важное, чтобы им занялся райком, что есть дела посерьезнее, что не завершена еще уборка хлебов, а значит, и не исполнена "первая заповедь", план по хлебосдаче выполнен лишь наполовину, а вот-вот пойдут дожди, комбайны остановятся, дороги раскиснут, зерно окажется под угрозой гибели даже на токах; скот, те жиденькие остатки мелкого и крупного рогатого поголовья, не подготовлен к зимовке: заготовленных кормов хватит лишь до Нового года, разваливающиеся постройки на скотных дворах залатаны, починены на живую нитку, да и то далеко не во всех хозяйствах; на трудодни колхозникам выдано лишь по сто граммов отходов в качестве аванса, и теперь люди ждут окончательного расчета, а его — в райкоме-то это отлично знали — и не будет вовсе, такого расчета, ибо надо рассчитаться сперва с государством, после чего колхозные сусеки будут совершенно пусты. Точка объявился в кабинете как раз после того, как Знобин повесил трубку телефона, до которого мог касаться лишь он один, трубка эта еще была горяча и влажна, поскольку державший ее человек принужден был в течение получаса выслушать в свой адрес слова, какие не прибавляют доброго настроения; если бы у Точки был досуг, если бы он не был слишком занят делом, с которым сюда пришел, он, верно, заметил бы на переносье секретаря, меж близко сдвинутых седеющих бровей, изморось, не успевшую подсохнуть, испариться; нелегко дались ему те полчаса, хотя к такого рода выволочкам со стороны областного начальства, казалось бы, он должен был давно привыкнуть. Но то, что он услышал, услышал впервые, и это обидело его. Ему было сказано, что, видно, устарел, пора, мол, на покой, на пенсию, что партии сейчас нужны работники помоложе, более решительные и динамичные, такие, которые меньше бы рассуждали, а больше делали, — очевидный намек на то, что Знобин указал на невозможность района не только перевыполнить, что требовала область, государственный план по всем показателям, но и вы-

полнить его. "Да, да, согласен. Вижу, что не гожусь. Устарел. Вызывайте на бюро обкома и решайте", — отвечал Федор Федорович, а трубка в его руке быстро нагревалась, увлажнялась, будто плавилась, а в груди накапливалось знакомое, сухое, удушливое, что вот-вот разрядится долгим кашлем, истязующим все его, по сути, давно уж изношенное тело. Приступ кашля на этот раз был особенно жестоким и длительным, и работникам райкома и районо пришлось ждать, когда их первый секретарь справится с недугом и возвратится к вопросу, ради которого он вызвал их всех, — к вопросу об учителях, которых не хватало во всех без исключения школах, и теперь нужно было что-то придумать, чтобы как-то выйти из положения.

В приемной Точку задержала было секретарша, но он сделал вид, что не заметил ее протестующего красноречивого жеста, и проскользнул в кабинет. Знобину пришлось вопрос об учителях ненамного отложить и выслушать Точку. Вот тогда-то Федор Федорович и попрекнул его, а заодно с ним заочно и Леонтия Сидоровича Угрюмова за то, что те занимаются "черт знает чем", а не тем, чем следовало бы заниматься в первую очередь. Тем не менее упрямый Виктор Лазаревич изложил всю историю со свойственной ему обстоятельностью и свой личный взгляд на нее, заметив под конец, что дело, с которым он пришел, тоже важное, ибо война кончена, и теперь, хотим мы того или нет (это Точкины слова), но придется — и чем дальше, тем больше — заниматься отдельными людьми, устройством их судеб, по большей части расстроенных и порушенных. В заключение сказал:

— Я кончил, Федор Федорович. Все. Точка...

— Скорее запятая, чем точка, — улыбнулся Знобин. — Что ж, товарищи, попробуем разобраться в этой закавыке. — Нажал кнопку. Вошедшей секретарше велел: — Марья Петровна, пригласите прокурора. Да побыстрее. — И когда тот вошел в кабинет, попросил, обращаясь к Точке: — Повтори, Присыпкин, слово в слово все, что ты нам только что рассказал.

Точка начал все сызнова, не торопясь, уснащая рассказ свой деталями, которых не было в прежнем его повествовании, ибо видел, что без прокурора дело не решалось, а на этого одними эмоциями воздействовать трудно, подавай ему факты, и притом самые что ни на есть убедительные. Прокурор слушал, а глядел больше на Знобина, стараясь угадать, какое решение принял секретарь райкома, чтобы самому действовать в соот

ветствии с этим решением. В конце концов понял, что арестованного придется отпустить и что он отпустит, но только постарается все же показать, что сделает это не без внутреннего затруднения: буква закона несколько смущала его совесть. Ни прокурор, ни товарищи из райкома, ни Точка, только что окончивший свою защитительную речь, — никто из них не подумал об истинном виновнике этого, в общем-то, очень малого происшествия в Завидове, не назвал его по имени, потому что он был, виновник этот доподлинный, неконкретен, а потому и неподсуден...

В Завидово возвращались веселой компанией — Точка, Феня, Настя и Павлик. В селе, растроганные, обнялись, расцеловались. Какое-то время не могли разойтись по домам — хлопали друг дружку по плечу, смеялись, вспоминая только что пережитое в районном поселке, провожались озорными выкриками, взаимным подтруниванием, перекинулись под конец несколькими насмешливыми замечаниями по поводу несчастливой свадьбы.

Феня, однако, не приняла в этом участия. Быстро распрощалась с Точкой и Настей. Отойдя, заговорила с Павликом:

— Господи, хорошо-то как! Есть же на свете добрые и умные люди — разобрались. — Брата она держала крепко за руку и вела, как нашкодившего и тут же прощенного несмышленыша, домой, точно так же, как вел его когда-то, случайно обнаружив в Песках, Федор Знобин. — Все, все кончилось. Ты уж, Павлушка, больше не лезь в драку, не заступайся за меня. Я уж как-нибудь сама. Пойдем скорее! Я сейчас баню истоплю, вымою тебя, а сама в бригаду. Тракторишко-то наш стоит, поди, кто же нас с тобой подменит? Некому.

18

Более десяти лет прошло с того дня, когда Федору Федоровичу Знобину дали понять, что он постарел и должен уступить свое место другому человеку. Наутро, сразу же после памятного и обидного для него звонка, он ехал в область с тоскливо-томительной, припекающей горечью на сердце. И не то его огорчало, что должен оставить пост, который занимал более полутора десятка лет (на такой работе за такой-то срок надломился бы и Добрыня Никитич), он — солдат партии. Знобин понимал, что так и должно быть, что его окоп,

его огневую точку в конце концов и по необходимости займет другой боец, со свежими, нерастраченными силами. Не этим, стало быть, терзалась, маялась душа, а тем, что не сам, по доброй своей воле, попросил отставки, но дождался, когда его понудят к этому сверху. Печальнее же всего было то, что мысль об уходе в последнее время навещала его трижды. Однажды, вконец измотанный и изнуренный, он даже склонялся над чистым листом бумаги, чтобы написать заявление в бюро обкома, но рука почему-то не могла вывести и двух строчек; разозлившись, резко выдвинул ящик письменного стола и смахнул туда листок, чтобы потом вернуться к нему, но совершенно забыл. И вот теперь его упредили — без всяких дипломатических уверток напомнили, что пора, мол, дружище, что ты свой срок отслужил. Знобин и сам знал, что пора, но насколько же ему было бы легче, если бы об этом первым заговорил он, а не другие! Но почему же все-таки он этого не сделал? Что остановило его руку, изготовлявшуюся написать то несчастное заявление?

Нахохлившись, рассеянно глядя на катившуюся под колеса недавно подаренного ему трофейного "опеля" дорогу, он пытался уяснить для себя: что ж все-таки случилось с ним, стреляным воробьем? Зачем не потребовал своего освобождения в определенный им, а не кем-то другим срок? "А уж не любишь ли ты властишку, Федька Знобин? — жестоко спрашивал он себя. — Не избалован ли ею? Может, привык, что все в районе встают перед тобою в струнку? Так, что ли?" Казня и очищаясь этой казнью, этим самоистязанием, он готов уж был ответить утвердительно на все эти сердитые вопросы, но чувствовал, что это было бы неправдой. Власть, которою он располагал, была действительно велика, но, вечно занятый по горло неотложными, надвигающимися на него волна за волною делами, которым не было конца, он о ней, этой большой своей власти, и не думал, у него просто не оставалось времени, чтобы подумать. Знобин принадлежал к тому типу работников, по праву называющих себя ленинцами, которые помнили больше о своих обязанностях, нежели о своих правах. "Партийный долг" — два слова, немало пострадавшие от неумеренного употребления, для таких людей, как Знобин, означали очень многое, если не все. То была формула их жизни, ее кодекс, ее альфа и омега, весь ее смысл, высокое назначение. Знобин видел, разумеется, что физическая его оболочка почти разрушена, но вместе с тем видел и другое, то, что духом он

далеко еще не сломлен, что воля его достаточно крепка, — зачем же он в таком случае добровольно покинет боевые позиции? Не будет ли это дезертирством с рубежей, на которых сейчас идет тяжелейшее сражение с послевоенной неустроенностью? Это соображение было главным, решающим. Может быть, к нему присоединялось кое-что иное, второстепенное, даже пустяковое. Такое, например...

Зашел к нему однажды по каким-то своим делам старший инспектор районного собеса — заговорили о стариках, о тех, кто унес на покой чтимое в нашей стране звание "персональный пенсионер". По просьбе Знобина фининспектор назвал общую сумму пенсионных, выплачиваемых собесом за год. Глаза Федора Федоровича округлились: "Так много?!" — "Цифра знатная, — подтвердил инспектор и тут же успокоил с профессиональным, не замечаемым им самим цинизмом: — Да вы не пугайтесь этих сумм, Федор Федорович! Они, персональные, быстро умирают. Два, от силы три годка, и, глядь, уж родня оркестр заказывает..." Заметив, однако, что лицо секретаря поскучнело, а на землистого цвета кожу пятнами пробился больной румянец, заторопился подкрепить невеселые свои наблюдения философской подкладкой. "Для человека его дело — что почва для дерева. Убери почву — дерево засохнет. Отыми у нас дело — враз скрючимся..." Знобина нисколько не утешила и такая выкладка невозмутимого финансиста; все еще хмурясь, он посоветовал: "Ну ты вот что, ты эти свои мысли держи про себя, утешай ими жиденький ваш районный бюджет, а не живых людей. Ясно?" — "Ясно! — ответствовал тот, не совсем понимая, чем же прогневил секретаря райкома. — Я хотел сказать..." — "Хорошо, — не дослушал Знобин. — Ты уже все сказал. А теперь выкладывай, с чем пожаловал".

По дороге в обком Знобин едва ли мог вспомнить про этот мимолетный, в общем-то, разговор с сотрудником районного собеса, к тому же он и не собирался оставаться без дела, когда вынужден будет покинуть заглавный в районе пост. Войдя в приемную первого секретаря обкома и усаживаясь на указанный помощницей стул, он уже расстегивал папку, где лежали заготовленные два заявления: одно — об освобождении, другое — о том, чтобы ему подыскали новую, притом любую работу, но только в своем районе. Приняли его быстро, он вошел в обширный кабинет и удивился, что секретарь обкома не находился в плену у бесчисленных

своих телефонов, не сидел в своем кресле и не держал сразу две трубки у своих ушей, не разговаривал то с одною, то с другою из них, давая указания и той и другой одновременно, чуть приметным кивком здороваясь с вошедшим, — а, небывало приветливый, вытянув перед собой руки, двигался навстречу Знобину. В том настроении, в каком пребывал сейчас Федор Федорович, приветливость и радушие секретаря обкома он мог воспринять не иначе как желание "подсластить пилюлю", ласково похлопать по плечу, чтобы плечо это немножечко взбодрилось, приподнялось и не хрястнуло под тяжестью, которую собирались на него обрушить. И Знобин хотел было передать конверт с заявлением секретарю и одним разом покончить с нелегким делом, избавить и себя, и областного руководителя от необходимости долгих объяснений. Но от бумаг его отмахнулись, секретарь заговорил совершенно о другом, то есть все о том же самом — о хлебе, мясе, шерсти, яйцах, о животноводческих помещениях, о зяблевой вспашке, о восстановлении тракторного и автомобильного парка, о реконструкции завода резинотехнических изделий, эвакуированного с запада и прижившегося в знобинском районе, о закладке фундамента под птицефабрику — обо всем очень даже знакомом Знобину, но тон был иным: на Федора Федоровича не кричали, не указывали на его постарение; напротив, говорили так, будто собирались закрепить за ним пост первого секретаря райкома навечно. Лишь к самому концу двухчасовой беседы секретарь обкома заметил:

— Исхудал ты, Знобин, до крайности... И виноваты мы тут, в обкоме. Не даем людям передышки. Работают они у нас на износ... Ну вот теперь появилась возможность. — Секретарь обкома вернулся к своему столу (до этого сидели чуть поодаль, за столом для заседания), взял конверт. — Вот для тебя путевка в Барвиху, завтра же отправляйся. А эти свои бумажки давай сюда, — вернулся, выдернул из рук растерявшегося Знобина его заявления, подошел с ними к голландке и бросил в ее разверстый, дышащий жаром зев, — и, пожалуйста, забудь про них. Когда наступит твой час, партия скажет.

— Но в дом отдыха я не поеду, — запротестовал совершенно честно Знобин, — в такое время, когда в районе столько дел...

— Завтра их будет еще больше, — перебили его, — и, чтобы локомотив мог тянуть свой состав, его надо капитально отремонтировать. Понятно?.. Ну вот, а теперь

отправляйся домой, сообщи мне к вечеру, кого оставляешь за себя. Из Барвихи позвони и доложи о своем прибытии. Все. До свиданья, товарищ Знобин, Федор Федорович Знобин! Ишь чего придумал — в отставку, в кусты! Не выйдет, не получится! Вместе уйдем, лет этак через десять. Ну, ступай! Желаю хорошего отдыха и полного выздоровления!

О десяти годах секретарь обкома говорил, конечно, в шутку. Однако брошенные мимоходом слова его оказались пророческими. Ровно через десять лет и он и Знобин находились еще на своих постах, пока первого не отправили послом в одну из народно-демократических стран, а второго — на пенсию.

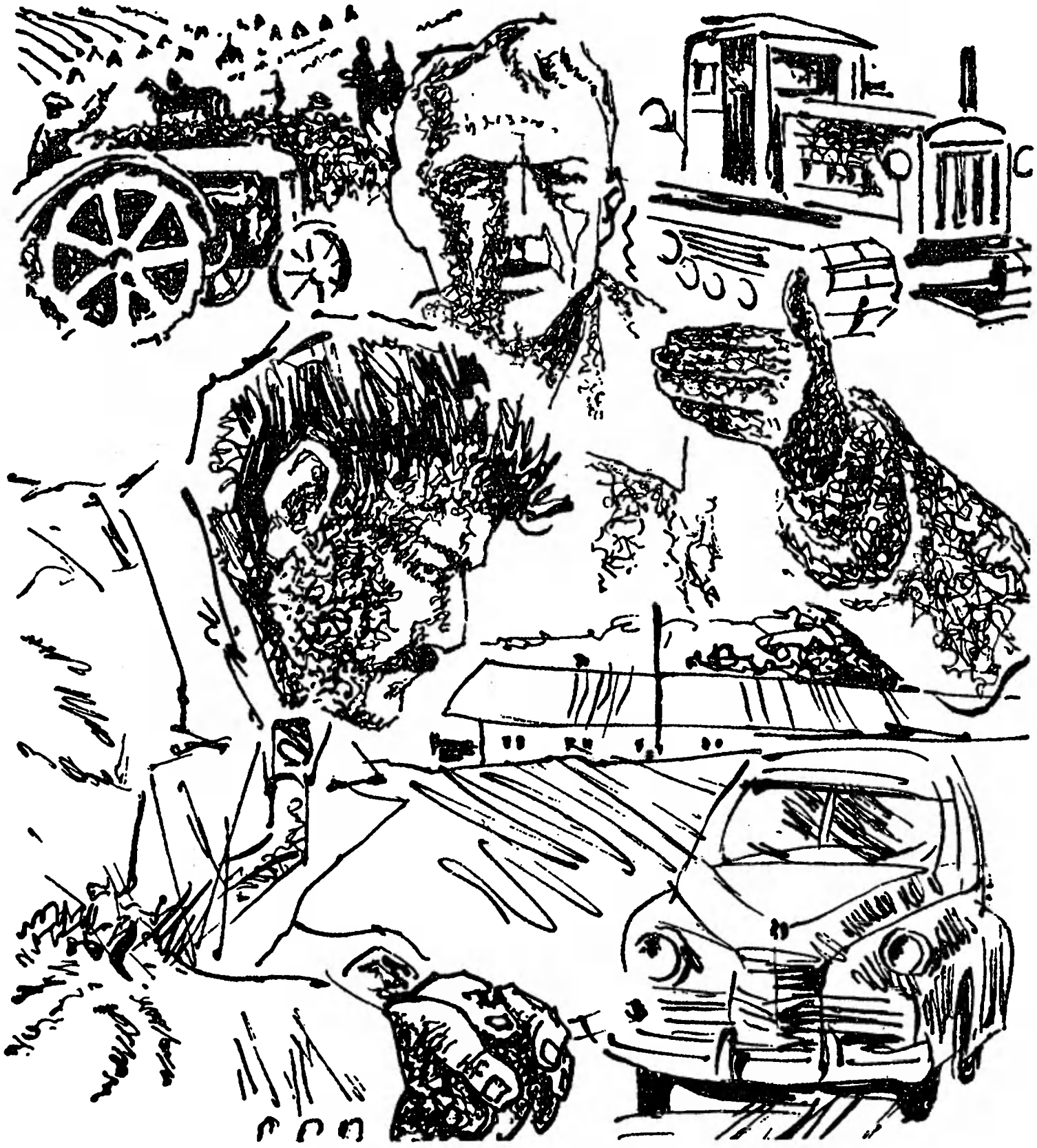
Сменивший Федора Федоровича новый секретарь райкома был Кустовец, а звали его Владимир Григорьевич. Обком отыскал его где-то в Заволжье. Огнеглазый, смуглый, с коротким, чуток пригнутым к толстым твердым губам беркутиным носом, с охапкою спутанных на большой круглой голове каштановых волос, Кустовец весь дышал зноем и нетерпением горячих степей; глянув однажды на него, любой бы подумал, что кто-то из его прародителей не иначе как побратался когда-то с цыганским табором, перехватил ненароком капелюшку живучей, озорной крови этого вольного племени. На его уже законченно штатском, без малейшей примеси со стороны военного, костюме красовался и бил по погрустневшим глазам Знобина новенький университетский значок. И все-таки Кустовец, принимая дела, чувствовал себя не совсем хорошо, будто провинился чем-то перед этим пожилым, вконец износившимся человеком, а потому и торопился хоть как-то услужить ему, чем-то ободрить, выказать свое понимание и расположение. Не смея при Знобине сесть в его кресло, скромно притулившись у самого дальнего конца длинного стола, образующего, как уж водится в подобных учреждениях, вместе с главным письменным столом огромную букву Т, он заговорил:

— Я просил бы вашего согласия, Федор Федорович... просил бы не отказывать мне в вашей помощи. У вас такой опыт, а у меня... мне еще предстоит... Так что, ежели я обращусь к вам...

Знобин отлично понимал душевное смятение молодого своего преемника, а потому сейчас же уверил:

— О чем речь? Я ведь не уезжаю из района.

— Спасибо сердечное, Федор Федорович. Надеюсь,



вы не будете возражать, если на пленуме вас вновь изберут членом бюро.

— Думаю, это не обязательно.

— Ну а работу, работу выбирайте для себя сами. Знаю, что вы не захотите остаться без дела. Так что выбирайте.

— Я уже выбрал, Владимир Григорьевич. Недавно у нас создано охотничье хозяйство. Руководителя же пока нет. Мне это очень подошло бы. Если не возражаете, я бы назавтра же приступил, как говорят военные, к исполнению своих новых служебных обязанностей, отбыл к месту новой службы.

— Ради бога! — обрадовался Кустовец, и лишь смуг-

лая кожа не позволила видеть, как загорелись его щеки. — Я ведь и сам люблю поохотиться. У нас, в Заволжье, пропасть дичи.

— Ну а у нас такой пропасти нету, но кое-что водится. Лоси, например, да и кабаны объявились. Не было счастья, да несчастье помогло: война пригнала с запада этих невиданных тут прежде зверей. Стало быть, одобряете?

— Конечно! — Слово это в продолжение всей беседы со старым секретарем у Кустовца выскакивало чаще других, но только позже, после многих встреч на разного рода заседаниях, собраниях, пленумах и активах, Знобин понял, что оно, это слово, было у нового секретаря почему-то самым любимым. — Вам, конечно, надо немного отдохнуть, Федор Федорович.

Знобин согласился, но на второй же день понял, что должен немедленно окунуться в дела, иначе пропадешь. Правда, проснувшись в первое свое свободное утро, как всегда, ни свет ни заря, вспомнив вдруг, что ему никуда не надо торопиться, что он может лежать сколько его душе угодно, он испытал блаженнейшую минуту грузчика, освободившегося наконец от тяжелой, долго носимой им ноши. Но то была минута, не более того. В следующую на него накатилась такая звериная тоска, что он даже застонал, по-волчьи лязгнув зубами. На вопрос заглянувшей к нему жены: "Что с тобою, Федя? Ты заболел?" — сердито ответил: "Я вполне здоров. Иди, Лена". И когда, обеспокоенная, она ушла к себе на кухню, почувствовал, что задыхается от этой вдруг навалившейся на него тоски. Представил себе свой кабинет, стол, сидящего за ним нового человека, входивших и выходивших людей, телефонные звонки, которые, казалось, осточертели ему до последней степени, но без которых, видимо, он уже тоже не мог прожить и одного часа; подъезжающие к райкому и отъезжающие от него тарантасы и двуколки с давно знакомыми работниками, лихо подкатывавшие легковушки (теперь, спустя десять лет, их было немало в районе) с председателями колхозов и директорами предприятий — всех их наставлял он на путь истинный, натаскивал на руководящие должности, пестовал, как мог, — все это двигалось, о чем-то хлопотало, спорило, планировало что-то, чего-то требовало, и все это теперь уж без него, Знобина, оказавшегося вдруг в стороне от всей этой районной канители. Вслед за другими умными, умудренными житейским опытом людьми он

иной раз повторял известную присказку относительно того, что незаменимых людей нет, но все это тогда, когда дело не касалось его самого. А когда коснулось, сердце сжалось, превратилось в нарыв. "Неужели я так-таки никому не нужен более? Неужели все дела могут делаться без меня? Отчего же четверть века я был убежден, что все вокруг делается, крутится, движется только потому, что в центре этого движения, живого этого вращения был я? Разве не я подымал людей на коллективизацию в этом районе? Аль не меня терзали потом за "головокружение"?" Он думал так, чувствуя, что в груди и горле скапливается мокрота, которая вот-вот сотрясет его до мучительного удушья. Ему бы успокоиться, отвлечься от всего, да попробуй отгони от себя все эти терзающие его мысли!

Четверть века пронеслось перед его глазами. Вспомнил, вернее, не вспомнил, а ясно увидел меж других дней и тот мартовский день пятьдесят третьего года, толпу оглушенных людей на площади, себя на трибуне, произносящего одеревенелыми губами траурную речь, а потом выезжавшего в села и деревни, чтобы как-то поддержать людей, не допустить того, чтобы перед самой посевной у них опустились руки. Потом был год пятьдесят шестой. Двадцатый съезд, и он, Знобин, делегат съезда, утопивший голову в плечи под ударами страшных слов, падавших на него с самой высокой трибуны; смысл этих слов был до того невероятен и тяжел, что сердце поначалу отказалось понимать и принимать их, но ему, секретарю райкома, предстояло еще встретиться с распяленными в жутком удивлении глазами людей, которые послали его на этот съезд, — что он им скажет? А он должен, обязан был сказать!..

Глянул краем глаза в зеркало, увидел в нем исполосованное вдоль и поперек морщинами лицо, как бы отыскивая среди них ту, может быть, самую глубокую, которую привез из Москвы в прошлом, 1956 году. Вспомнил при этом, что вчера, передавая дела, перекладывая на полках газеты и журнальные подшивки, наткнулся нечаянно на правительственное сообщение от 6 марта 1953 года, прочел последний абзац: "Образовать Комиссию по организации похорон Председателя Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик и Секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА в составе тт.

Хрущева Н. С. (Председатель), Кагановича Л. М., Василевского А. М., Артемьева П. А., Яснова М. А.". Подумал о ночи, когда столица забылась в коротком сне и когда десяток молчаливых людей выносили из Мавзолея тело человека, тридцать лет стоявшего во главе могущественной партии и величайшего государства мира, чтобы положить в гроб и опустить в глубокую, такую же молчаливую, немеющую в стылой ночи могилу. Чувствуя, что его начинает трясти и кашель и озноб, Федор Федорович отбросил одеяло, покинул кровать и стал быстро собираться.

— Куда ты, Федя? А завтракать?

— Потом, Лена. Я скоро вернусь.

Он почти бегом направился к райкому партии. И лишь перед самым входом вспомнил, что ему нужно идти совсем в другом направлении: конторка охотничьего хозяйства находилась на отдаленной, тихой, глухой улочке. В полчаса собрал актив, составил вместе с другими энтузиастами план работы, по которому надлежало в первую очередь обзавестись необходимой документацией, литературой, чтобы сразу же все дело поставить на научную основу. Перво-наперво, конечно, следует произвести перепись всего лесного населения, организовать подкормку лосей, кабанов, косуль, зайцев. Вокруг последних вспыхнул неожиданно горячий спор, потому что некоторые товарищи уверяли, что длинноухий этот зверек вовсе не нуждается в такого рода опекунстве, он сам-де, без помощи охотничьего предприятия, отыщет себе кров и пищу: крышей для него будут сугробы, разбросанные там и сям овины. В конце концов сошлись на том, что заячье поголовье катастрофически убывает от гербицидов, которыми на ту пору увлеклись повсеместно, можно даже сказать, помешались на них все, сверху донизу: ежели вчера спасение виделось в торфоперегнойных горшочках, то нынче, к концу пятидесятых годов, — в гербицидах; сотни брошюр, хлынувших отовсюду, чтобы разъяснить земледельцу, как пользоваться теми торфоперегнойными горшочками, сменились иным потоком — в глубинку двинулись инструкции, от которых за версту слышались удушливые запахи химических ядов. Следствием второго потока было то, что на какое-то время, по весне, в майскую пору, люди перестали слышать соловьиные и лягушачьи свадьбы; озера, реки и прибрежные кусты талов и черемушника, эти извечные прибежища голосистых существ, два-три года грозно безмол-

вствовали; а характерный заячий след на снегу был столь редок, что, завидя его, люди собирались группами, радовались, как малые дети, дивились, будто тут проследовал не невзрачный зверек, а сам Иисус Христос, вновь сошедший на грешную землю.

Словом, едва приступив к делам, Знобин обнаружил, что дел этих невпроворот и все они чрезвычайно важные, ежели глянуть на них глазами общегосударственными. Окунувшись с головою в них (иначе он просто не мог, это был бы уже не Знобин), Федор Федорович однажды задумался вот над чем. Хорошо, говорил он себе, химия помогает нам, облегчает борьбу с сорными растениями, но зачем же мы должны мириться с тем, что по пути, рядом, она безжалостно уничтожает полезных зверьков, птиц и рыб в водоемах? Разумно, по-хозяйски ли это? А что нам скажут те, какие еще не родились, каким еще только предстоит явиться на свет, что скажут наши правнуки и праправнуки, узнав однажды, что вместо зеленой планеты мы оставили им в наследство огромный бильярдный шар с башенными кранами? "Вы нас, беззащитных, ограбили!" — скажут они и будут правы. Мысль эта кинула Знобина в жар, и прошло немало минут, прежде чем он пришел в себя и мог снова действовать: тогда-то он и понял, как важен новый его пост, новый его окоп (он любил называть так место, на которое его ставила партия). Настоящий же солдат занимает окоп не для того, чтобы отсиживаться в нем до лучших времен. Окоп — огневой рубеж, из него надобно стрелять. В кого? В противника, разумеется. Но где он, этот противник, когда война окончена и все вокруг заняты делами сугубо мирными? Но Знобин отыскал для себя противника. Ничего, что был с ним на протяжении многих лет дружен, — да дружил и теперь, — помогал ему сперва устанавливать предприятие, затем расширять, реконструировать его.

— Вот что, Лелекин, отныне мы с тобой враги! — объявил вдруг Федор Федорович, встретивши директора завода резинотехнических изделий на улице, когда тот направлялся в райком, а Знобин в свое скромное хозяйство.

— Это еще что! Цари небесные, что случилось?! — развел тот руками, будучи уверен, что с ним шутят.

Но Знобин был серьезен:

— Ты зубы не скаль. Скажи лучше, найдется у тебя вечером час, чтобы съездить со мной в одно место?

— С тобой, Федор, хоть на край света!

— Ну так далеко нам не надо.

Они выехали на директорской машине (теперь у Знобина персонального транспорта не было) часу в восьмом вечера и вскоре оказались на лесной поляне, на берегу речки Баланды. Водитель вытащил из багажника брезент, расстелил его у самой кромки так, чтобы старые приятели могли опустить ноги, сидеть как на лавочке. Из того же багажника вслед за брезентом был извлечен и пухлый портфель, в котором для таких вот случаев всегда отыскивались соответствующие припасы. Знобин, однако, решительно запротестовал:

— На этот раз обойдемся без пиров. Посидим так.

— То есть? — не понял Лелекин.

— И вообще — ни слова. Посидим молча. Послушаем.

— Кого послушаем? — все более удивлялся директор.

— Сиди, говорю, и слушай.

Лелекин вынужден был подчиниться. Сидели так с час. Директор не выдержал:

— Послушай, Знобин, да ты что, смеешься надо мной? Зачем ты меня сюда притащил?!

— А-а, голубчик, взвыл! Заскучал! Не нравится? А ведь я привез тебя на соловьиный концерт. Сейчас середина мая, самая соловьиная пора. Помнишь, сам ты когда-то тянул меня сюда, и мы слушали, жен своих привозили. Где же соловушки? Где? Я, кажется, тебя спрашиваю, Лелекин!.. Молчишь? Ну хорошо. Я тебе скажу — где. Это ты их потравил заодно с лягушками — их ведь тоже не слыхать, а они бы сейчас таких чертей задавали! Ты куда сбрасываешь мазут и прочую мерзость? Где твои отстойники?.. Опять молчишь?

— Я думаю.

— Думай. Хорошенько думай, Лелекин. Не забывай, что я еще член бюро райкома и могу поставить вопрос.

— Ставить вопрос все горазды, — осерчал директор, — ты вот лучше подсказал бы, где мне взять оборудование для очистительных сооружений. Я в Москве облазил все министерства, у одного товарища в ногах валялся... Сырье мне привозят аж из Австралии и Новой Зеландии — такое они могут организовать, а простого оборудования.

— Меня это не касается, — отрезал Знобин.

— А кого же? Сам же сказал, что член бюро...

— Я свое дело знаю, — сказал Знобин, — и ты еще, Лелекин, не раз убедишься, как хорошо я его знаю. Можешь быть уверен, что я не оставлю тебя в покое до тех пор, пока ты не перестанешь травить все живое своим заводишком.

— Не заводишко, а завод. Предприятие общесоюзного значения, — ревниво поправил Лелекин.

Знобин расхохотался, вызвал этим приступы кашля. Отдышавшись, сказал:

— Ты, Валентин, прости старика, совсем забыл, что он у тебя общесоюзный. Видел я обивку в пассажирском лайнере. Твоя?

— А чья же еще? — Директор обиженно, по-детски поджал губы. — Да разве только в самолетах? А кресла во Дворцах культуры, в столичных новых кинотеатрах?..

— Твои?

— Мои!

— Молодец! Ничего не скажешь — молодчина! Но войну я тебе, Валентин, все-таки объявил и буду вести ее до полной победы. Ты меня знаешь.

— Знаю, — сказал директор.

— Вот и отлично! — Знобин азартно потер руки. — Ну а теперь можешь раскрыть свой портфель. Где он у тебя там? Уже спрятал. Вот Гобсек! Вынимай, да побыстрее. Что-то зябнуть начинаю. Зимою приглашу тебя на охоту, ежели не будешь сбрасывать в Баланду всякую дрянь. Обещали лицензию на отстрел четырех лосей. Хорошо, что ты еще не добрался до этих лесных великанов. Знаешь, сколько их в наших лесах?.. Впрочем, не скажу. Ты ведь, Валька, по натуре своей браконьер. Тебе только дай волю!

— Пошел ты к черту! — выругался директор, принимая из рук шофера портфель

— Ха-ха-ха! Вот теперь я вижу, что до тебя дошло!.. Ты, друг, должен за мной ухаживать, подхалимничать передо мной, угождать всячески. А ты, болван этакий, не догадался даже прислать ковришко в мою контору. Черт знает что! Ступаю по скрипучим половицам, а стены, ты бы только поглядел, что там за стены, голые и все в трещинах! — Знобин замолчал, но ровно настолько, чтобы принять из рук примолкшего товарища рюмку водки и мгновенно опрокинуть ее в себя. — Вообще

из чувства самосохранения ты должен устлать коврами все стежки-дорожки вокруг моего учреждения и внутри его. Где соловьи? Где лягушки? Где, я тебя спрашиваю, Валька? — Помолчал, улыбка сошла с худющего лица, глаза куда-то провалились, светились из как бы обрезавшихся вдруг глазниц устало и грустно. Сказал, отвечая какой-то своей, терзающей его мысли: — Разбойники, разбойники мы все с большой дороги, вот что я тебе скажу, Валентин. Ну да хватит об этом. Поехали домой. Пора. Мы еще, как говорится, вернемся к этому вопросу.

19

На первую в своей жизни охоту Знобин собирался целый день и был, в общем, в хорошем настроении, но его несколько смущало вчерашнее очередное столкновение с директором завода РТИ, задержавшего более чем на месяц пуск очистительного агрегата. Сшибка их на бюро была столь бурной, что они ушли из райкома, не попрощавшись, не обменявшись по своему обыкновению безобидными, взбадривающими уколами. К концу дня Федор Федорович долго смотрел на телефонный аппарат, прежде чем решился позвонить Лелекину и пригласить его на охоту, — боялся, что откажется. Но тот не отказался, потому что это находилось за пределами его сил. Больше того, Лелекин не только не отказался, но и напросился домой к Знобину, с тем чтобы снаряжаться вместе. Федор Федорович был даже немного удивлен таким поворотом событий, ибо как охотник он был сущий ребенок, к нему как нельзя лучше подходило тогда звание "начинающий" во всех оттенках этого слова. По этой причине он и не мог знать того в высшей степени важного обстоятельства, что истинное и, может быть, наибольшее удовольствие настоящий охотник испытывает еще задолго до того, как выйдет на опушку леса и займет свой номер или выпустит гончую по лосиному, лисьему, заячьему ли следу, — тут он слишком занят делом, хоть, правду сказать, и воспламеняющим, но все-таки делом, которое забирает его всецело. Подлинную же радость и необычайное волнение охотник слышит в себе во время подготовки к охоте, за снаряжением доспехов, то есть тогда, когда пересчитываются патроны, набивается патронташ, протирается шомполом ружье, взвешивается на ладони тяжелая картечь или жакан, когда супруга охвачена веселою лихорадкой подготовки, неожиданно сделав-

шись союзницей мужа в его не шибко серьезном предприятии. Впрочем, что жена. Скорее всего она делает это, лишь великодушно снизойдя к мужниным слабостям. Рядом непременно должен находиться друг — охотник, вот тогда-то вся эта предохотничья канитель сделается для тебя великим праздником. Знобин понял это, как только через его порог шагнул похожий в своем снаряжении на средневекового рыцаря Лелекин и с ходу начал хвастаться своими припасами, которых, конечно же, ни у кого не то что в районе, но и во всей области не имеется. И чтобы у хозяина не оставалось ни малейшего сомнения на этот счет, разложил, точно ухарь купец, весь свой товар на письменном столе Знобина. Уязвленное самолюбие последнего тотчас дало вспышку. И началось!

Знобин, горячась, предчувствуя, однако, скорую викторию, бросил полыхающий благородным гневом взор сперва на гостя, затем на диван и в одну минуту закидал новенькое нарядное покрывало своим боевым снаряжением, не замедлившим оставить по себе память в виде многочисленных масляных пятен от ружья и патронных гильз.

Лелекин снисходительно ухмыльнулся:

— Эка удивил! С такою-то штуковиной еще при Петре Первом на охоту хаживали. Древность!

— То есть как это древность! — вознегодовал еще пуще Знобин, ошарашенный такой наглостью гостя. — Мне его на днях прямо из Тулы привезли товарищи!

— Жулики они. Из музея, из запасника выкрали, прохвосты, — продолжал издеваться Лелекин, напустив на свой лик крайнюю серьезность, хотя уже трясся весь от распиравшего все его нутро смеха.

Сам великий пересмешник, Знобин видел, конечно, что его разыгрывают, и все-таки злился. И опять, похоже, потому, что не знал: такой розыгрыш, такое подначивание и подтрунивание непременно входят составной и, может быть, заглавной частью в самую атмосферу, окружающую охотников в момент подготовки. Не знал — злился и вместе с тем чувствовал, что нервы его не взвинчены, что они отдыхают, что ему покойно и даже весело, что дух его с минуту на минуту крепнет, кровь бежит по жилам по-молодому бойко, что спор их сейчас совершенно иного свойства, он не утомляет, не вызывает мгновенной и противной сухости во рту, не давит на грудь тяжким прессом. Случается, и, к сожалению, нередко, когда человеку устроят такую словесную баню, что он без посторонней помощи не может отыс-

кать двери, чтобы выскочить на вольный воздух. Однажды, глянув в лицо страдальца, которого в течение четырех часов отделывали на бюро за какую-то служебную промашку, Знобин ужаснулся: лицо его было белее госпитальной простыни, а сухие губы, непрерывно облизываемые таким же сухим и колючим, как рашпиль, языком, как бы вовсе забыли, где им полагается быть.

— Идите, товарищ Порфильев! — поспешно отпустил его Знобин и, видя, как тот беспомощно, точно слепой, тычется рядом с дверью в стену, сам схватился за сердце.

Кто-то, довольный, кивнул в сторону двери, проронил тогда:

— Наконец-то прочувствовал...

Знобин короткими, торопливыми глотками допивал стакан воды, рука его между тем негодующе целилась в автора этих жестоких слов. Отдышавшись наконец, сказал запомнившееся всем:

— Радуемся, а чему? Сообща убивали сейчас человека — и довольны. Нет, дорогие мои, принципиальные товарищи, такого я больше не допущу. Слышите? Не допущу!

С того дня и на протяжении многих лет он в самом деле внимательно следил за тем, чтобы при обсуждении так называемых "персональных" дел члены бюро держали себя в строгих рамках, не давали волю гневным эмоциям в адрес того, кто провинился и держал ответ перед ними. Слова "вызывают на бюро" не приводили уже более человека в душевное смятение, и малый конференц-зал, где обычно проходили заседания, перестал быть лобным местом.

Сейчас, готовясь к завтрашней охоте, Знобин и Лелекин вроде бы тоже не щадили самолюбий, бросали друг в друга довольно увесистые булыжнички из туго скрученных язвительных слов, но снаряды эти, попадая в цель, не только не поражали, не ранили, но не оставляли даже самого малого синячка, ибо то была дружеская перепалка, перестрелка, имеющая положительно иное назначение: она лишь веселила, горячила кровь, оживляла ее, а не отравляла. Правда, были минуты, когда спорщики утрачивали меру и распалялись до того, что Елена Борисовна, жена Знобина, быстро входила в кабинет и с минуту исследовала встревоженными глазами состояние спорящих сторон, пристально всматривалась поочередно и в того и в другого, стараясь определить, не сошли ли охотники с ума: чего доброго, постреляют еще друг дружку. Знобин и Лелекин винова-

то умолкали и были в эту минуту удивительно похожи на расшалившихся школяров, коих застал врасплох вошедший в класс учитель.

— Господи, что тут происходит? — спрашивала хозяйка, с материнским укором оглядывая озорников. — Как малые дети! Федя, погляди, во что вы превратили кабинет! Это же разгромленный арсенал какой-то, право! Боже мой, а что ты сделал с моим чехлом? Как я теперь его отстираю? Химчистки вы для нас, домохозяек, не построили. Наказанье с вами, ей-богу!

— Иди, иди, Елена, — говорил ей муж, стоя к жене затылком, на котором взъерошились по-воробьиному несколько седых волосинок. — Сейчас мы все приберем. Ты только бы послушала, что тут Валька мне наговорил! Все, подлец, даже редкостный жакан с хвостовым оперением не оценил по достоинству, а свое старье возносит до небес, как последнее слово охотничьей техники. Как тебе это нравится?

— Мне не нравится, что вы злитесь по пустякам.

— Да мы и не злимся, Елена Борисовна, — успокоил ее Лелекин. — Но согласись, хозяюшка, могу ли я молчать, когда твой муж-изверг называет старьем мое действительно новейшее снаряжение?!

— Ах, да ну вас! Кто вас разберет. Только орите-то потише, соседей всех взбулгачите. Не забывайте, что уже полночь.

И хозяйка вернулась на свою половину, где штопала мужу прохудившиеся в пятках шерстяные носки.

Выехали перед рассветом. За поселком к ним присоединился на новеньком вездеходе Кустовец. Вышли из машины. Постояли. Закурили. Ощупали друг дружку глазами и руками. Заглянули зачем-то в багажники. Еще постояли. Все как будто на месте, можно было бы отправляться, но недоверчивый Лелекин спросил на всякий случай:

— А не наврал твой Колымагин? Сроду не слыхал, чтобы в Завидовском лесу лось водился.

Знобин огрызнулся:

— Во-первых, моего егеря зовут не Колымагин, а Колымага. Архип Архипович Колымага. Это во-первых. А во-вторых, Лелекин, я бы тебе посоветовал не обсуживать людей, которых ты решительно не знаешь. Нехорошо. Понял? Ну а теперь по машинам. Вон уж светает.

Лелекин и Кустовец повернулись к востоку, где уже действительно занималась ранняя зимняя заря, которая по-спринтерски гналась за вечерней зарей, оторвавшей-

ся от своей преследовательницы всего лишь на несколько часов. Алая полоса на далеком горизонте, сперва тонкая, чуть приметная, на глазах охотников расширялась, готовая залить, наполнить собою весь небесный купол. Снег, за ночь увеличивший свой покров, из синебелого, рафинадного, сделался уже слегка розовым; на нем вспыхивали, мерцали алмазной чистоты и ослепительности, похожие на рубины, красные холодные звездочки. От стоявших возле машин людей и от самих машин легли сначала короткие, а потом стремительно удлиняющиеся тени. Глянув на них и испуганно ахнув, охотники нырнули в свои автомобили, а минут через тридцать были уже у Дальнего переезда в Завидовский лес, где их встретил лесник, он же по совместительству и егерь Архип Архипович Колымага.

Как всякий лесник, Колымага был несокрушимо убежден в том, что и сам этот славившийся на всю область Завидовский лес, все деревья и травы в нем, все зверье и все птицы существуют постольку, поскольку есть на земле он, Колымага, недремлющее и вечно настороженное лесное око. И коли это так, то и держался при высоком начальстве Архип Колымага независимо, даже с некоторой покровительственностью относительно людей, которые хоть и занимали большие посты, но в лесном хозяйстве смыслили не шибко много. С первой же минуты он поставил перед охотниками строжайшее условие, чтобы те во всем следовали его советам, не проявляли ни малейшей самодеятельности, которая ни к чему хорошему привести не может. Для острастки, видимо, сейчас же поведал о двух трагических случаях на охоте, причиною которых было нарушение егерской установки.

— Так что, дорогие товарищи...

Но нетерпение охотников было столь велико, что они не в силах уже были выслушать до конца Колымажье нравоучение.

— Да знаем мы про все это! — перебил лесника Знобин.

Архип Архипович обиделся. Сказал сурово:

— Вот и те так говорили, а когда дошло до дела... Ну да ладно. Пошли. И никаких чтобы разговоров. У лося не уши, а радар.

Прямою, как аршин, просекою Колымага вывел их к Осошному болоту, самому большому в Завидовском лесу, — болото к осени высыхает, осока скашивается, остается одна обширная ровная поляна, окольцованная несколькими плотными рядами осинника — главного

лакомотва лосей. По весне и до середины лета звери приходят сюда на водопой, а осенью и зимой — на кормежку. На краю Осошного Колымага остановил своих спутников, необыкновенно молчаливых и послушных, пояснил:

— Ночесь выпал небольшой снежок, припорошил след. Лось лежит и теперича не подымется до тех пор, пока сызнова не пойдет снег. Он хитер — боится выдать себя. Ну это беда небольшая. Мой Султан в один момент отыщет. Султан, к ноге!

Последние слова были явно лишние, поскольку собака давно уж терлась у ног своего повелителя и ждала только, когда он пошлет ее в дело: нетерпение молчаливых охотников передалось и сеттеру, он дрожал мелкой собачьей дрожью, жалобно повизгивал, заглядывая в лицо егеря своими умными грустными глазами. Глаза эти говорили: "Сколько же ты еще будешь голову морочить и мне, и себе, и этим незнакомым для меня, но, безусловно, хорошим людям, поскольку они вышли на охоту и взяли с собою меня?"

Архип Архипович будто и не замечал, что его товарищи находятся на той грани, где терпению приходит конец. Он еще долго оглядывал поляну, всматривался в осинник, принюхивался. Под конец изрек:

— Недалеко должны.

Прикинув что-то в уме, скомандовал:

— Вы,— ткнул рукавицей в Знобина и Кустовца — присядете вон за тем каблом, а мы с Валентином Владимировичем... так, кажись, вас величают, товарищ Лелекин?.. мы с ним уйдем на другой конец Осошного. Там я выпущу Султана. Тогда глядите в оба! — приказав всем помалкивать, для себя же Колымага сделал исключение: отдавал распоряжения, нисколько не приглушая рокочущего, похожего на раскаты грома голоса; для того чтобы услышать его за версту, зверю вовсе не надо обзаводиться радарной установкой.

Убедившись, что Знобин и Кустовец заняли свое место по всем правилам охотничьей науки, егерь удалился куда-то с Лелекиным и с собакой. Белое безмолвие распростерлось над студеной равниной. Ни единым следом не потревожил ее зверь. Только здесь, у кабла, мелкою строчкой прострочила мышь мягкую лесную скатерть, оборвав эту строчку у крохотной, подсиненной в глубине норки. Знобин и Кустовец не решались нарушить царственного покоя вокруг, хотя обоим до смерти хотелось заговорить: куча нерешенных вопросов теснилась и у того и у другого; но они молчали,

лишь краем глаза взглядывая друг на друга, словно бы стараясь угадать, а не приметил ли чего-нибудь впереди себя насторожившийся сосед. Залаяла собака. Плачущий ее голос в один миг разрешил все вопросы, которые до этого копошились в голове охотников, — все полетело прочь; пальцы рук, зябнувшие даже в теплых овчинных голицах, сделались теплыми и замерли на шейке ружейного приклада. Короткий беркутиный нос Кустовца запульсировал крыльями ноздрей, круглые карие глаза еще больше округлились, забегали, зашарили по краям поляны, готовые вцепиться в любой темный предмет, лишь бы он зашевелился, выказал малейший признак живого существа. Знобина же подводили старые глаза: они увлажнились, как только послышался лай Султана. Держась одной рукой за ружье, другою он ожесточенно протирал глаза, стараясь возвратить им необходимую зоркость, и потому, наверное, упустил тот единственный и всегда неожиданный для охотника миг, когда на поляну, чуть правее от них, то есть там, где его никто не ожидал, выбежал лось, опередив звук треснувших сучьев, за которые зацепились его рога. Застигнутый врасплох, Кустовец тоже дал маху — в прямом и переносном смысле: выстрелил не целясь, сразу из двух стволов, но промахнулся. Лось взвился вверх, затем крутнулся и в мгновение, окутанный снежной пылью, скрылся там, откуда только что появился. И тогда наступил момент, когда даже самого серьезного и рассудительного человека покидает разум. Не ведая, что творит, Кустовец снялся со своего места и ударился по следу зверя, делая большие прыжки. Слепая эта сила подхватила и Знобина. Увязая по колено в снегу, он двинулся было за Кустовцом, но не успел сделать и полусотни шагов, как почувствовал, что задыхается, что сердце уже "зашлось" и не умещалось в грудной клетке. Присел, обессиленный и несчастный, на первый же попавшийся ему на глаза пенек, глянул с грустной завистью в широкую спину удаляющегося Кустовца, подумал: "Силен, чертяка!" Затем положил ружье на колени, устало оперся на него локтями, начал не спеша закуривать. Не успел размять сигареты, медленно повалился на бок, удивляясь тому, что и высокие деревья падают вместе с ним...

Прекративший погоню Кустовец нашел Знобина мертвым. В еще теплой его руке лежала сигарета, а глаза, которые он не успел закрыть, так и остановились в странном удивлении, отразив мохнатые заснеженные макушки деревьев. На белом, как этот снег, лбу круп-

ные капли пота в одну минуту превратились в мелкие хрусталики льда; склонившийся над старшим товарищем Кустовец горячей ладонью своей вновь растопил их, а затем вытер лицо Знобина досуха носовым платком. После этого только вспомнил, что надо поскорее скликать других охотников, и закричал так, что с ближних кустов подлеска посыпался иней. К Дальнему переезду, где ожидали машины, они несли его на носилках, сделанных из скрещенных ружей. Сухонькое тело, освобожденное от верхней зимней одежды и охотничьих доспехов, было так мало, что легко поместилось на заднем сиденье райкомовского вездехода. Колымагу подмывало сказать Кустовцу, что он-де не соблюл до конца егерских указаний, сорвался как безумный с места, но в конце концов решил, что сделает свое замечание в другой раз, а сейчас оно было бы, пожалуй, не к месту.

Из завидовцев провожали этот траурный кортеж Архип Колымага да Пишка, неизвестно каким образом очутившийся у Дальнего переезда; должно, накануне услышал от лесника о готовящейся охоте, ну и припожаловал; стоял Пишка, и не понять было по прижмуренному, как бы все время прячущемуся от людей, единственному его глазу, разделяет он скорбь тех, что укладывали бывшего секретаря райкома в машину, или нет. Скорее все-таки нет, поскольку, вернувшись сейчас же в Завидово, Пишка перво-наперво заглянул к Федосье Угрюмовой лишь затем, чтобы сообщить ей с нескрываемым торжеством и злорадством: "Нету больше твоего заступника, Фенька!" Она не скоро поняла, о чем это он, а поняв наконец и немного оправившись от потрясения, вызванного ужасным известием, быстро засобиралась в дорогу; у двери, оттолкнув Пишку в сторону, кинула прямо ему в лицо: "Он для всех нас был заступник. Кабы не Федор Федорович, тебя бы, гада такого, еще в сорок втором в расход пустили. Он хлопотал, чтобы в штрафную роту тебя... А ты еще ощеряешься! П-шел вон отсюда, кривой пес!" Вдогонку он заорал: "Ну ты, полегче на поворотах, не то..." Видя, однако, что слова его летят мимо цели, что Феня уже далеко, вышел не торопясь во двор, оглядел там новый, перекрытый шифером одновременно с избой хлев, изгородь из штакетника, курятник, кровля которого была еще соломенной, небольшой загончик для овец; особенно же долго и внимательно рассматривал избу, возведенную Феней еще весной сорок вось-

мого. Дорого, как увидим потом, досталось ей это жилье, очень дорого. Не оставила бы она в нем сейчас столь нежелательного гостя, не случилось бы того, что случилось: теперь она бежала в сторону Красной Калины (так давным-давно наречен кем-то их районный поселок), забыв про все на свете, даже про то, что через неделю единственный сын ее Филипп должен уйти в армию. Лишь за Салтыковом Феню подобрала полуторка, на которой ехали в район ее отец — колхозный пенсионер, новый председатель Точка, Санька Шпич, его жена Настя и Авдей, — всех их погнала в Красную Калину та же горькая весть. Пишка же вновь вернулся в избу, окликнул Филиппа и, убедившись, что его дома нету, задумался: более подходящего случая, чтобы учинить какую-нибудь неприятность ненавистному для него очагу, у него еще не было. Он задышал часто, соображая, что бы сделать такое... такое, чтоб и этой Феньке было несладко, и ему, Пишке, не горько, чтоб не держать потом ответа. Мысль почему-то обратилась на стоявшую в новом хлеву корову. Но... что, что он сделает такого, чтобы она того... чтобы копыта в сторону?.. "Ах да! — вдруг осенило его. — Только бы успеть, не вернулся бы откель-нибудь этот щенок!" Ровно через пять минут он бежал уже от кузницы с карманами, полными железных опилок. В одну минуту перемешал их с отрубями, найденными в Фенином амбарчике. "Все! Ешь, рыжонка!" — хрипло произнес Пишка, когда пробирался задами с чужого двора. А Фене и остальным завидовцам пришлось заночевать в районе, потому что похороны Знобина были назначены на следующий день.

Сперва гроб с его телом предполагалось установить в Доме культуры, но Кустовец настоял на том, чтобы краснокалиновцы простились со своим старым руководителем в здании райкома, то есть там, где им было привычнее всего видеть его. Знобина перед рассветом внесли в кабинет, осторожно положили на длинный Т-образный стол, на этот тяжкий крест, который он, Знобин, безропотно нес на своих далеко не богатырских плечах более четверти века. Руки, вечно, всегда чего-то искавшие и требовавшие, жесткие и властные, теперь покойно лежали на впалой груди детски крохотные и беспомощные; а лицо, как всегда худющее, с провалившимися щеками, не искаженное, однако, предсмертными мучениями, было еще покойнее — на нем не было только постоянной знобинской улыбки,

иронической и доброй одновременно. Морщины на невысоком, с "пережабинкой", то есть с небольшой ложбинкой, лбу углубились, сделавшись отчетливей, они лежали, как кольца на стволе старого дерева, указывающие на число прожитых этим деревом лет. Но что обозначали знобинские морщины?

На красной подушечке — ордена, медали. Их немало. О наличии некоторых не догадывались даже близкие товарищи покойного и теперь, стоя в почетном карауле, с удивлением взглядывали на них. Ордена. Награды. Благодарности. А где взыскания? Где выговоры? Простые и строгие? С занесением в личную карточку и без занесения? Где они? Их нет. Говорят, остались лишь в бумагах, хранящихся в молчаливых обкомовских сейфах. Но только ли там? А не зажаты ли, не лежат ли они еще вон в тех горьких складках на маленьком, совсем не сократовском лбу? Говорят еще, что Знобин мог бы и не упоминать о своих выговорах в соответствующей графе анкеты, поскольку выговоры эти сняты. Сняты? Как будто их можно снять. А не остались ли они незримыми зарубинками на разорвавшемся вчера сердце? И не по тем ли зарубинкам прошлись роковые трещины? Тот, кто хоть один раз получал партийное взыскание, хорошо знает, где и какой след оставляет оно после себя...

Коллективизация. Солдат партии, Знобин вроде бы строго-настрого придерживался на селе ее политики, "гнал" процент раскулачивания согласно спускавшимся сверху разнарядкам; иногда, впрочем, его смущало немного то, что уж слишком категоричной была установка (сегодня раскулачить по вашему району столько-то дворов, завтра — столько-то, не больше и не меньше), но сомнение было минутным, он решительно отбрасывал его от себя и вел прежнюю линию, то есть ту, на которую его нацеливали. Молодой, горячий, Знобин был сущим воплощением такой же молодой и горячей, нетерпеливо рвущейся вперед страны, и неудивительно, что оказавшись в упряжке, мог поломать оглобли. Стоит ли говорить о том, что, подгоняемый общим, захватывающим дух порывом, он не щадил ни себя, ни других, — себя не щадил, не берег даже больше, чем других: дважды на каких-то проселках кулацкие пули пытались познакомиться с забубенной его головушкой, но пронеслись, слепые, мимо. Кончилось же тем, что его даже временно освободили от работы за

"головокружение", присоединив к этому и без того суровому наказанию весьма увесистого "строгача". И что же? Принял как должное. Два года проработал председателем колхоза в самом отдаленном степном селеньице, а потом вернули на прежнее место. Затем наступил 1933-й. Многие из тех, кто называл себя "зачинателем" и "запевалой" колхозного движения, почуяв неладное, быстрехонько перебрались в города и поглядывали потихоньку оттуда, что оно там, на сельщине, и как. Иные из них, жалея Знобина, предлагали и ему последовать их примеру, но он даже не отвечал на письма непрошеных доброхотов: и в жестокую годину оставался с теми, с кем начинал, кого подымал, подталкивал, агитировал; нелегко было глядеть в голодные глаза, но он глядел, глядел прямо, не отводил в сторону своих глаз, не опускал их долу; было и такое, что в лицо ему бросались слова тяжелее самого тяжелого камня, — встречал, принимал на себя и этот удар, лишь бы он не угодил в главное — в Советскую власть; когда же, помутившись от озлобления разумом, кто-нибудь из земляков целился и в нее, Знобина покидала железная партийная выдержка, он кидался на обидчика, обрушивал на него потоки раскаленных в гневе слов и терзал до тех пор, пока тот не образумится и не взмолится: "Федор Федорович, да что вы... разве я... не с тобою ли вместе мы... Прости, пожалуйста, с голодухи и не такое скажешь!" Медленно остывая, Знобин закуривал, отсыпая из своего кисета табаку и тому, с кем только что вел сражение, казалось, не на живот, а на смерть. Вынесли и тридцать третий. Без взыскания, правда, и на этот раз не обошлось: дали строгий выговор за падеж лошадей — в районе их осталось не более десяти процентов от числа обобществленных. Куда более тяжким было наказание, которое он определил для себя сам и носил в сердце: не смог, не сумел сохранить жизнь многим, очень многим людям, коих унес жестоко пямятный тридцать третий год. Когда самое ужасное оставалось уже где-то позади, когда прекратились бесконечные, круглосуточные шествия голодных людей за вонючей бардой к водочному заводу, когда число умирающих резко пошло на убыль, когда из области и центра прибыли по настоятельной просьбе секретаря райкома авторитетные комиссии, а вслед за ними — эшелон с зерном, когда в кизячные дымки над трубами деревенских изб стал вплетаться полузабытый хлебный дух, когда в глазах настрадавшихся людей засветился огонек жизни, собственный взор Знобина вдруг

померк, полинял, отразив то, что было там, под впалой резко обозначившей себя выпятившимися обручами ребер грудной клеткой. В своих скитаниях по осенним размокшим дорогам он и прежде много раз простужался, кашель частенько донимал его, но Знобин не обращал на него внимания: подумаешь, кашель, а кого он не донимает! Не придал он особого значения и этому странному, короткому, царапающему легкие кашельку, пока однажды, на каком-то очередном заседании, не глянул на ладонь, в которую, застигнутый приступом кашля врасплох, только что отхаркнул мокроту Слушая оратора, про себя подумал: "А дела-то твои, Федор, швах. Поганые дела!" Главный терапевт районной больницы на другой день подтвердил: дела "первого" действительно плохи. Он, врач, не сказал ни слова, а, прослушав больного, поглядел ему в глаза и поднял два пальца. Знобин сам расшифровал вслух: "Тэ-Бэ-Цэ". Честный доктор сделал чуть заметный кивок лобастой своей ученой головой. Так-то вот и завелся у Знобина маленький, "завалящий", как он сам не раз говорил, туберкулезишко. Как известно, этот самый завалящий в дни войны привязал нетерпеливого, рвущегося на фронт Федора Федоровича к глубокому тылу, где он и "проскрипел", "провоевал" с бабами, дедами да подростками все четыре года, кормя, обувая и одевая молодой, здоровый воюющий народ. Не в каком-то другом, а в Краснокалиновском районе объявился знаменитый дед (его отыскал не кто-нибудь, а опять же Знобин), который на склоне лет тряхнул мошной и купил на собственные сбережения боевой самолет, вызвав тем самым небывалой высоты волну народного патриотизма, так что Верховный Главнокомандующий не успевал подписывать благодарственные телеграммы в адрес добровольных жертвователей. В конце войны получил орден Отечественной войны I степени и сам Знобин, но это не помешало ему тремя годами позже получить выговор за то, что на одном из областных совещаний произнес непривычно странную речь, смысл которой сводился к тому, что трудодень земледельца должен наконец быть оплачиваем, что нуль, которому он, трудодень, был почти равен в течение многих лет, до хорошего не доведет, колхозник оставит свое поле и убежит в город, что на войну уже не сошлешься, что ежели мы думаем в кратчайший срок... Знобина не дослушали — попросили после совещания задержаться и зайти в кабинет к "первому". Однако то, что его не дослушали, Федора Федоровича не удивило

Удивился он тому, что отделался очень уж легко: в те крутые времена рука взыскующего редко довольствовалась полумерами. Потом был год 1953-й, потом — 1956-й, были предутренние сумерки, когда от центральной площади по тихим, сонным улочкам и проулкам увозили на гусеничном "сталинце" тяжелый монумент; было затем утро, толпы краснокалиновцев, высыпавших на площадь в удивленном недоумении. Между тем шла полоса преобразований и реформ, укрупнений и разукрупнений, введение штата зональных секретарей: партия искала новые формы практического руководства. Знобин, как ему и полагалось, был в центре этих забот. И ежели в районе делалось что-то не так, ему влетало в первую очередь. В райком чуть ли не каждую неделю поступали знаменитые "Записки", которые тотчас же становились постановлениями; произносились длинные речи, занимавшие почти все газетные полосы, они сейчас же брошюровались и спускались на места уже в качестве директив; синие книжки, похожие на толстые ученические тетрадки, заполнили все полки и запасные столики в служебном и домашнем кабинетах первого секретаря райкома; было в тех брошюрах много толкового, но попробуй-ка отыскать жемчужное зерно в Монблане бумаг! Случалось, что телефонный аппарат, стоявший на особой тумбочке, обособленно от других аппаратов, напоминал Знобину, что тот забыл такое-то место из такой-то директивы или речи, и строго предупреждал о возможном взыскании за такого рода халатность. Время, однако, шло и вместе с людьми делало свое дело. Селения постепенно оживали. С переключившихся на мирный лад заводов двинулась на поля техника. Трудодень наливался подобно тому, как наливается на возделанной ниве пшеничный, ржаной ли колос. Кое-где — и это уже было нечто совершенно новое! — стали переходить на денежную оплату, и, что уж совсем удивительно, делали это по собственной инициативе. Началось все с Виктора Лазаревича Присыпкина, с Точки, значит, который совсем недавно был избран председателем колхоза вместо ушедшего на пенсию Леонтия Сидоровича Угрюмова. Ему, этому отважному парню, надо было бы сначала посоветоваться в райкоме, но он опасался, что там его не поддержат, скажут, что затея его преждевременна, а потому и рискованна, — решил попытать счастья сам. Не ожидая результата, Знобин дал этому герою превеликую взбучку, а потом получил нагоняй от нового секретаря обкома, только что вступившего в должность, за то, что не поддержал ценную ини-

циативу товарища Присыпкина, не увидел за его акцией завтрашний день колхоза. Это было первое взыскание, которое Знобин принял с легким сердцем, потому что видел: получил его вполне заслуженно. Трудно себе представить человека, особенно коммуниста, который гордился бы полученным им взысканием. А вот в личном деле первого секретаря Краснокалиновского райкома можно отыскать выговор, которым он, секретарь, втайне гордился, как гордятся боевым орденом. Когда он, Знобин, увидел, что дела в стране, а значит, и в его районе, идут явно на поправку, когда люди взбодрились, досыта наелись, приоделись и приобулись, решил осуществить давно задуманное им дело: поставить в палисаднике райкома настоящий памятник двадцати шести краснокалиновским комиссарам — так жители поселка нарекли коммунистов, павших от рук антоновских бандитов в 1921 году; случайно их оказалось как раз двадцать шесть, впрочем, был бы и двадцать седьмой, но ему удалось ускользнуть из-под самого носа палачей. Это был, как известно, Федор Знобин, возглавивший на рассвете отряд краснокалиновцев и в один день разгромивший всю банду антоновского атамана Попова. И Знобин, естественно, считал своим долгом увековечить память товарищей, сложивших головы за революцию. Но он знал, что на сооружение памятника необходимо правительственное решение, и, боясь, что дело затянется слишком надолго, а собственное его здоровье с неумолимой жестокостью укорачивало его дни, отдал распоряжение построить памятник на пожертвования калиновцев. И памятник был построен. И он стоит, окруженный новой железной оградой, окрашенной в кумачовый цвет, перед райкомом, и пионеры возлагают у его подножия венки и дают свою пионерскую клятву. Выговор же, полученный Знобиным за самоуправство, погребен в архивах и давно забыт даже теми, кто его выносил. Теперь, спустя всего лишь полтора года, несколько молодых ребят-комсомольцев, молчаливо-строгие и торжественные, орудуют лопатами, готовят рядом с тем памятником могилку для самого Знобина — так распорядился Кустовец, так распорядился бы каждый житель Красной Калины, ежели бы его спросили о том.

В почетный караул стала последняя смена, то есть та, которая была и первой: это новый секретарь обкома, низкорослый, широкоплечий, огненно-рыжий, с плотным прижмуром маленьких голубоватых глаз, с детски припухлыми, румяными губами; секретарь

райкома Кустовец, председатель райисполкома Воропаев, старые большевики, в число которых вошли и Леонтий Сидорович Угрюмов, секретарь райкома комсомола, директор завода РТИ Лелекин; Кустовец сделал молчаливый знак Фене, и та, поняв и растерявшись малость, отыскала местечко рядом с отцом и застыла так со своими потемневшими глазами, с темными, льющимися из-под черной шали волосами, со своим прекрасным в великой печали лицом скорбящей богоматери — таким именно показалось оно Кустовцу, когда он, стоя у изголовья покойного, нечаянно глянул на нее и подивился редкой красоте этой женщины. Не знаю, псчувствовала ли она на себе этот взгляд, но, только чуть вздрогнув, побледнела еще больше и не отрывала своих глаз от лица Знобина до тех пор, пока кто-то легонько не взял ее под локоть и не отвел чуть в сторонку. Начинался траурный митинг Первым говорил Кустовец. Он говорил, но Феня плохо слушала его, потому что не знала, каким он еще будет для всех них, для тех, с которыми прожил свою жизнь их Федор Федорович. Пускай этот молодой, сильный, умный человек не прогневается на нее за то, что плохо слушает, что вся наполнена скорбью и готова расплакаться навзрыд по умершему Она не плакала, а чувствовала, что глохнет, что на глаза наплывает туман, а пол куда-то уходит из-под ее ног И она упала бы, если бы Настя Шпич не поддержала ее под руку и не усадила на стул, рядом с Еленой Борисовной, окаменевшей от горя женой покойного. Потом его вынесли. Она стояла уже в обнимку с незнакомой пожилой женщиной, слышала рев меди, треск салюта и не знала, кто усадил ее потом в машину, не помнила, что до этого еще успела бросить горсть земли в открытую могилу, немного еще постоять над ней. Дома встретившему ее сыну сказала слова, почти в точности повторившие те, что услышала вчера от Пишки:

— Нету, Филипп, больше нашего заступника. Похоронили.

20

Дом свой Феня Угрюмова возвела в невиданно короткий срок: начала в октябре сорок седьмого, а закончила к ранней весне сорок восьмого года. И, наверное, не осилила бы, не будь с нею рядом близких и сочувствующих ей людей. Тимофей Непряхин по собственному почину наскреб по селу с полдюжины мужи-

ков, чтобы поставить под будущий дом краеугольные камни; эта же малая артель отыскала чью-то брошенную еще в тридцатых годах развалюшку, разобрала бережно по бревнышку, перевезла к тем камням и в один день поставила сруб, подновя и упрочив его несколькими дубовыми кругляшами, умыкнув их предварительно из-под бдительного и все и вся чуявшего носа Архипа Архиповича Колымаги; сказать правду, лесник мог бы легко накрыть этих похитителей, да только впервые, кажется, изменил себе — сделал вид, что ни слухом ни духом не ведает, кто это средь бела дня пробрался в лес и спилил десяток дубков у самого его края. Мария Соловьева и Степанида Луговая организовали помощь из одних женщин — обмазали сруб изнутри и снаружи глиной, которую привезли накануне от Глинищи и замесили Павлик Угрюмов и его товарищ Михаил Тверсков. Они же подвезли и солому, подавали ее потом на крышу, а в кровельщики напросился Артем Платонович Григорьев, то есть Апрель, знавший толк в этом тонком деле. Ему помогали сразу два старика: дядя Коля и Максим Паклёников, один — дельными советами, а другой — неумеренной критикой всего, что бы там, на избе, ни делал Артем Платонович. Добрый и необидчивый Апрель долго и терпеливо сносил эти поношения, но в конце концов не выдержал и запустил со своей верхотуры в непрошеного критика с десяток круто приперченных слов, предварявших главный вывод: "Шел бы ты, Максимка, по дворам и собирал налоги, а меня оставил в покое, потому как в советах твоих я вовсе даже не нуждаюсь". Максим, однако, не внял разумному предложению Апреля, продолжал, все более вдохновляясь, подхлестываемый собственным остроумием, пощипывать добровольного кровельщика колючими замечаниями. Паклёников потешался и не знал, что назавтра, когда сам возьмется за кладку печки и голландки в Фениной избе, роли их поменяются: бессменный завидовский почтальон будет прилаживать кирпич к кирпичу, а Апрель сидеть на подоконнике, посасывать цигарку и, попыхивая дымком, в великое свое удовольствие "наводить критику" на все, что бы теперь ни делал Максим. Поскольку долг красен платежом, Паклёников сносил с редким хладнокровием все, что бы там ни болтал Апрель, однако и он взорвался, когда услышал от Артема Платоновича, что сложенная Максимом печь окажется никудышной, дым из нее будет выходить не в трубу, а прямо в избу и выест глаза хозяйке, которая, конечно

же, проклянет неумелого печника и пошлет непременно своего сына за ним, за Апрелем, чтобы тот переложил печь сызнова. "Пошлет? За тобой?! — взревел старик. — Да ты, Апрель, и плетня-то паршивого на своем огороде не поставишь, не то что печь! Это тебе не сети вязать! Тут голова нужна". Апрель спокойно соглашался: "Конечно, нужна. А я об чем толкую? Нужна голова, да только умная, а не твоя, Максим. Ты уж меня прости, но от правды никуды не денешься". Они препирались, переругивались, а печь между тем подымалась и постепенно на глазах же непримиримых спорщиков обретала положенные ей по деревенскому русскому обычаю дородные формы. Пройдет несколько дней, и прикосновения Фениных рук преобразят ее: печь, как невеста, оденется в белое, печурки ее будут подсинены и весело заулыбаются всякому, кто придет в новую избу и глянет на красавицу. А на вынимание первых хлебов, испеченных в новой печи, соберутся все Фенины подруги, молодые и старые, и то будет всем праздникам праздник: в избе запахнет хлебом, а это значит, что в ней можно жить. Не хватало калитки рядом с воротами, но и ее кто-то соорудил и поставил ночью в положенном месте. Хозяйка, конечно, догадывалась, кто бы это мог сделать. И вила-то она свое гнездо с тайною надеждой на то, что рано или поздно, но откроется та калитка и впустит того, чья душа — Феня хорошо знала это — маялась сейчас в глухой немоте. Осень и зиму она видела его лишь на работе и холодно сторонилась, когда Авдей делал робкую попытку заговорить с ней, отходила к Тишке и, зная, что Авдей следит за нею, начинала хохотать, разыгрывать из себя озорную ухажерку. Догадливый Тишка понимал ее ход и, мгновенно подстроившись, подмигивая, нарочно обнимал ее, а она слабо отстранялась, тихо говорила: "Ты больно-то не увлекайся, Тиша, лапищам-то своим волю не давай, а то как тресну!" "Ну и шут с тобой! — ответствовал Непряхин.— Играй свою спектаклю одна, а меня в это дело не заманывай. Видишь, как он набычился. Боданет — костей не соберу. А они мне еще нужны для опоры жизни".

У Авдея к тому времени уже произошла первая серьезная ссора с Наденкой. Причиною было ее упорное нежелание взять на дом трех-четырех колхозных телят, продержать их у себя до весны и спасти для артели. Многие женщины, такие, как Степанида Луговая, Катерина Ступкина, Пелагея Тверскова, Антонина Непряхина, Даша Присыпкина, взяли к себе по десятку телков

и теперь выпаивали и выкармливали их прямо в избах, поскольку помещений для молодняка в колхозе не было. Надёнка же упорно противилась, полагая, что ей, бухгалтерше, не пристало возиться со скотом, да еще в своей нарядной, ухоженной избе.

— Тебя никто не заставляет возиться с телятами, — говорил ей Авдей. — Моя мать будет ухаживать.

— А полы ты будешь мыть?

— И не я, и не ты. Мать вымоет.

— Она что же у тебя, трехжильная?

— Не трехжильная, — подавала свой голос Авдотья Степановна, — а кой-какая силенка в руках еще осталась. Приводи, Авдеюшка, теленочков. Управлюсь как-нибудь.

— Ну и живите со своими "теленочками", а я не хочу.

— К матери уйдешь? — спокойно осведомился Авдей.

— Надо будет — уйду.

— Вот как?

— Вот так! — Надёнка фыркнула по-кошачьи и хлопнула дверью.

Авдей и его мать переглянулись.

— Все ясно, — сказал он по-прежнему спокойно.

Мать вздохнула и поспешила к печке, загремела там заслонкой.

Вечером Надёнка вернулась домой в обычное время. Завидя в задней избе трех пестрых телят, ничего не сказала — прошла в горницу; вернувшись, спросила у свекрови:

— Авдюша не приходил?

— Нет еще. Скоро будет.

Весь вечер была необыкновенно ласкова с мужем. Легли спать, как всегда, в двенадцатом часу ночи. Их головы покоились на высоких подушках. Надёнка заснула быстро. Авдей же осторожно, как бы украдкой, приоткрыл сперва один глаз, покосился им в сторону спящей жены, затем второй и еще более осторожно стал высвобождать свою руку из-под красивой Надёнкиной головы. Какое-то время он глядел на нее, потом опустил ноги на пол, захватил со стула рубаху, брюки, вышел на цыпочках из горницы в заднюю избу и стал одеваться.

— Ты куда это? — послышался в темноте голос матери.

— Тихо, мам! — попросил Авдей. — Я скоро вернусь.

Минут через десять он был уже на Фенином дворе.

Дверь ее дома оказалась на замке — должно быть, хозяйка засиделась у своих, то есть у матери с отцом. Но это не смутило Авдея. Пошарив где-то сверху, над дверью, где почти все завидовцы оставляют ключи, он отпер избу и вошел в нее как хозяин; чувствовал, однако, что сердце отчаянно колотится, дыхание сбилось.

Всего лишь двумя минутами позже вернулась Феня. Обнаружив дверь отпертой, замерла на крыльце, задумалась. Может, Филипп прибежал с полей? Вряд ли — мальчишка увязался за Павликом в ночную смену, теперь никакая сила не оттащит его от трактора до самого утра. Неужто?.. У нее захолонуло под ложечкой, будто падала с большой высоты. Постояла, сжав ладонями гудящие виски, еще немного. Затем решительно шагнула в сенцы, накинула изнутри крючок. От дальнего простенка задней избы навстречу ей побежала красная точка папиросы, затем упала, рассыпавшись крохотным летуном, у ее ног; сильные руки обняли ее, горячее дыхание обдало лицо, сомкнулось с ее таким же сбивчивым и трудным дыханием. Согревая ее собственным телом, целуя, молчаливую, в губы, в глаза, в волосы, в подбородок, задыхаясь, он говорил:

— Радость ты моя единственная... Счастье мое... Любушка ты моя ненаглядная... Как же я мог!.. Как же все это?! Что же это? Ну какой же я был дурак и подлец! Фенюшка, милая моя! Прости за все, за все прости!.. На руках буду... никому не дам, не отдам тебя... Слышишь!...Солнышко мое!.. Что же ты молчишь, скажи хоть одно... Слышишь ли ты, родная моя?..

Она слышала и слушала, но продолжала молчать, потому что на сердце уже вскипали слезы, и она боялась, что они вырвутся наружу, как только заговорит и она. Феня очень долго и терпеливо ждала этой минуты, а потому ей больше хотелось слушать его одного. Она знала, что могла бы сказать ему, да боялась обидеть, отпугнуть его от себя; понимала, что нелегко далась ему минута, в которую он решил пойти к ней. Жалость к себе и к нему укрепляли в ней чувство оскорбленного человеческого достоинства, решительно подавляя теплившееся где-то в глубине души сознание собственной вины перед той, которая, может быть, мечется теперь в своей обезмужниной вдруг постели. Боясь, однако, как бы это слабое, едва шевельнувшееся в ней сознание вины не ожило вновь и не взяло верх, она как-то встрепенулась вся, высвободилась из его объятий, крепко ухватила его за руку и, как слепого, отвела в горницу, к вдовьей своей кровати:

— Посидим тут

Сидели на краешке кровати молча, пока она не сказала тихо, чужим от счастливого страха голосом

— Отойди, Авдей. Я сейчас...

Он отошел к окну и, уткнувшись горячим лбом в стекло, дрожа от охватившей его лихорадки любви, слышал, как она разбирает постель, как быстро и нетерпеливо расстегивает пуговицы кофты, сбрасывает юбки. Потом там, за его спиной, в накаленной ожиданием темноте все стихло. Он слышал лишь, как гулко, отзываясь в висках, колотится его сердце. Сквозь этот гул скорее почувствовал, чем услышал, чуть внятное.

— Чего же ты?.. Иди сюда...

Были у них другие ночи — много ночей. Но эта была совсем непохожей на те, прошедшие. В какую-то минуту, стыдясь своей жадности, чувствуя, что желания ее час от часу становились все ненасытнее, она шептала с виноватой расслабленностью:

— Что я делаю!.. Милый ты мой, разве я отдам тебя кому-нибудь?! Ты мой. Мой, мой мой!.. Слышишь? Мо-о-ой! — последнее слово вырвалось из нее со стоном. Остудил ее в один миг петух, который решил, видимо, опередить всех на селе и заголосил на своем насесте так, что Феня вздрогнула, потом сразу обмякла вся, сказала с крайнею досадой и даже болью в голосе: — Нечистый дух, окаянный его разбудил! Теперь все. Одевайся, Авдюша. Ступай домой, пока твои не всполошились... Ступай, милый, а я, можа, часок сосну — умаялась, сил нету! — и сладко потянулась смеясь. — А ты-то как, дойдешь один аль под руку поддержать?.. Ну, ну, не сопи сердито, знаю, что сильный, сильнее всех. Ступай! — Она отвернулась к стене, поджала по-детски колени к животу и, чувствуя и усталость, и необыкновенную легкость во всем теле, сейчас же заснула — не слышала даже, как он оделся и вышел из дому.

С этой ночи все началось сызнова. Но ни Авдей, ни Феня не знали тогда, что пройдет еще десять лет, прежде чем крыша над Фениной хижиной сделается окончательно их общей крышей. А до тех пор они будут встречаться тайно, если вообще возможно такое на селе, где решительно все знают друг об друге всё, без малейшего исключения. Иногда Авдей приходил к ней домой — это когда там не было Филиппа: в летнюю пору он мог находиться в пионерском лагере либо в поле с трактористами. Да и само это поле, разве оно не могло

укрыть, оборонить от чужого недоброго глаза? А степные посадки, овраги, балки с соловьиным кустарником у подножий, а знаменитый Завидовский лес с его темными урочищами — неужто они не приютят, не приголубят? Ведь все это — Фенины друзья. Она знает их с малых лет; они чувствовали на себе прикосновение ее шустрых ног, она порхала нарядной и легкой бабочкой по-над полянами и по лесным просекам, сбирала ягоды, плела венки, а позднее поверяла им самую великую тайну — тайну любви, и ни разу они еще не выдавали ее.

Филипп между тем подрастал, синие, как у матери, глаза его все еще темнели, когда встречались с ее виноватыми, грешными и счастливыми одновременно глазами: парень догадывался обо всем и год от году становился сумрачнее, отчужденнее — и это было тяжелее всего. Но Филипп молчал. Заговорил лишь за неделю до ухода своего в армию, и как заговорил! Он вернулся с гулянки со вторыми петухами. Мать, склонившись над квашней, месила тесто. Не оборачиваясь, тяжко, как делают все матери в Завидове, выдохнула:

— Эх, паря!..

Филипп, потянувшись, хрустнув суставами, подошел к ней, обнял за плечи:

— Ну, мам, не сердись. Завтра лягу с вечера, вот увидишь! Ну, мам!..

Феня — не оборачиваясь:

— В армию бы тебя поскорее. Измучилась я с тобой. Эх, Филипп, Филипп!

— Ты что, мам?

— Ничего. Антонина Непряхина приходила...

— Зачем?

— Сам, поди, знаешь.

Феня рассказала, что произошло на их подворье вечор.

Подоив корову, она направлялась с молоком в избу. У крыльца ее поджидала Антонина, Тишкина жена.

— Ну что еще там? — глухо, морщась от внутренней боли и неясной еще тревоги, спросила Феня. Руки ее сейчас же ослабли, торопливо опустила ведро, полное молока, на землю. — Что он еще натворил там?

— Все то же, — Антонина глядела на Феню с крайней неприязнью. — Прикажу Нинушке своей в подоле принести вам. Не открутитесь! Нешто так порядочные парни поступают! А еще комсомолец! А ты ведь мать ему. Вместе вон на Почетной-то доске у правления красуетесь. Ударники! Вас бы...

— Замолчи ты! — Феню затрясло всю. — Не трогай ты доску злым своим языком, не то... И уходи с моего двора. Сейчас же!

Подхватив ведро, она тучей пронеслась мимо испуганной женщины, а в избе измученно опустилась на лавку — вспомнила, что с утра видела: во дворе правления какая-то девчонка (теперь поняла, что это была Нина Непряхина) сорвала с доски Почета портрет Филиппа, разорвала его в мелкие клочья и, всхлипывая, убежала. Не могла Феня видеть, что через окно правления за Ниной зорко наблюдала другая девчушка — секретарь председателя колхоза; не могла Феня видеть того, как эта последняя, вернувшись от окна к своему столику с пишущей машинкой и телефоном, шустрыми пальцами расстегнула сумочку, извлекла из нее фотографию и прочла на обороте: "Милой Танечке от влюбленного Филиппа. На добрую память", затем поднесла карточку к губам, подумала о чем-то с минуту, убрала фотографию в сумку, а ночью, воровато озираясь, торопливо приклеила ее на место сорванной там, во дворе правления. Этого уж не видела Феня, а потому и не могла сообщить сыну. На материну новость он отреагировал спокойно и просто:

— Сплетни это, мам! Нужна мне их Нинка!

— Ты, сынок, все-таки поосторожней. Не дай бог...

— Сплетни, говорю! — осерчал Филипп и, помедлив, вдруг спросил: — Дядя Авдей приходил?

— Приходил. Но это уже не твоя печаль.

— Моя. Увижу — убью. Так и передай ему.

— А ты начинай с меня, сынок... — Феня подняла голову с глазами, полными такой человеческой муки, что Филипп не выдержал — бросился к матери:

— Мама, мама! Какая же я сволочь!.. Ма-ма! Прости меня... Ма-ма-а-а!

А неделей позже провожала она своего Филиппа в армию. Полевой осенней дорогой, то пропадая в балках, то вновь появляясь, шли завтрашние солдаты. Прощаясь с ними, поля как бы принахмурились, горбились раскиданными повсюду ометами соломы и овинами сена. Они, ребята, еще не в строю и потому одеты кто во что горазд, по-домашнему. Шагали беспечально; веселые, озорные их лица были открыты всем встречным ветрам. Шли в окружении пестрой толпы девчат. Филипп, высоченный — в отца вымахал — и пламенно-кудрый, идет впереди всех. Лицом к нему, пятясь задом и пританцовывая, бойкая, отчаянная Нинуха Непряхина напевала:

Я девчонка небольшая,
Но могу надеяться
Мой миленочек большой,
Ростиком поделится.

Перехватив ревнивый взгляд Тани, завела другую частушку:

Мы с подружкою вдвоем
Полюбили одного,
А он ходит и боится,
Как бы не было чего.

Видя, что ей не удалось снять Таниной ревности, махнула в ее сторону рукой и запела отчаяннее:

Ох, залетка дорогой,
У нас с тобою два пути·
Мне, девчоночке, учиться,
Тебе в армию идти.

Таня, покраснев от гнева, набралась решительности, выскочила вперед и, тесня Нину Непряхину в сторону, начала петь, а сама только что не плачет:

Белая березонька,
Не пилится, не делится.
На меня, мой дорогой,
Можно понадеяться.

Однако Нина и не думала сдаваться. Отталкивая Таню, загорланила, не спуская светившихся отчаянным огнем глаз со смеющегося Филиппа:

Ой ты, Филя, мой Филек,
Василечек голубой!
Тракторист зажег сердечко
Мне, девчонке молодой.

Кругом поле, кругом поле,
А во поле трактора.
Неужели я не буду
Трактористова жена?

Таня отступилась, отошла в сторону и семенила теперь сбоку дороги, совершенно убитая. Филипп подбежал к ней, подхватил на правую руку, а на левой

руке у него тотчас же оказалась Нина. Нес их, брыкающихся, и хохотал на все поле, прекрасный в этот, может быть, самый беззаботный миг в его жизни.

— Филипп, дай хоть мне одну! — крикнул Андрейка Тверсков.

— Ни за что! — проорал на весь белый свет счастливый Филипп.

В Краснокалиновске (так, по упрямому ходатайству Кустовца, был переименован районный поселок, который совсем недавно заботами того же настырного Кустовца был пожалован статутом города) девчата остались табуниться на центральной площади, против военкомата. Таня и Нина размахивали друг перед дружкой руками, что-то доказывали, продолжая, видимо, начатый еще в дороге бескомпромиссный спор из-за Филиппа. Тем временем в кабинете военкома Феня просила:

— Поскорее бы вы их, товарищ майор...

— Первый раз вижу, чтобы мать торопилась расстаться с сыном, — дивился ее словам тот.

— А вы гляньте в окно, товарищ майор. Видите, что там творится?

— А-а-а! — понимающе воскликнул комиссар. — Не поделили, стало быть. Знакомая для нас картина. Придется поспешить. Не то и вправду подерутся эти горячие молодки... А вы еще о чем-то хотели спросить, Федосья Леонтьевна?

— Далеко ли Филиппа-то моего?

— Вот этого я вам не скажу, Федосья Леонтьевна. Сами понимаете — секрет. Военная тайна.

— Понимаю, — сказала Феня, пригорюнившись. — Не за границу ли?

— Нет, не за границу, а на границу... Фу, черт, вот и проболтался. Одним словом, далеконько, Федосья Леонтьевна. Это единственное, что я могу вам сказать.

В Завидово Феня возвращалась пешком вместе с девчатами. Теперь Таню и Нину было не узнать. Давешние враги шли обнявшись, тихо уговаривали одна другую, не замечая при этом, что больно задевают материнское самолюбие тети Фени.

— Да ну его, чтобы убиваться о нем так! — решительно объявила Нина.

Таня поддержала:

— Других, что ли, ребят нету? Правда, Нина?

— Правда, правда, Таня. Подумаешь, зазнайка!

— А куда его, Нин, не знаешь? — спросила вдруг Таня, опустив грустные большие свои глаза.

— Не знаю, — ответила Нина, пытаясь заглянуть в лицо подруге. — Ты чего это надумала? А ну перестань! Реветь еще из-за таких!..

Феня улыбнулась, подошла к ним, обняла сразу обеих, расцеловала, светясь вся, ту и другую, сказала:

— Доченьки вы мои милые! Славные мои! Сердечко-то у вас золотое!

— Что вы, теть Феня, мы знаешь какие злющие! — возразила Нина.

— Знаю, знаю, Нинуха, ты девка с характером, а Таня — воск. Хотите на трактористок учиться? Ребят-то надо кем-то заменить! Опять тракторную бригаду возродим. Ну как?

— Да мы с радостью, теть Феня! — живо отозвалась Таня.

Феня скосила глаза на ее тонкие пальчики с накрашенными ноготками.

— А не жалко будет с красотой-то расставаться? — Феня взяла Танину руку и перебрала на ней пальчик за пальчиком.

— Нисколько! — заверила та.

— Ну хорошо, погляжу.

Как ни уговаривал Марию вернуться к нему, как ни клялся Федор, что простит ее и ни разу не попрекнет изменой, плакал и божился, почти полный кавалер солдатского ордена Славы, уверял, что будет любить ее до гробовой доски, что руки его отсохнут, ежели он подымет их на нее, — не пришла в свой же дом гордая баба. На его заверения ответила холодно и трезво:

— Ты, Федя, хороший. Знаю, что простишь. Да я-то не смогу простить себе. Не стою я тебя, Федяша. Развяжи себе руки и сердце — ищи подругу. А про меня забудь.

Заплакал солдат, вышел из Степанидиного дома, просидел на завалинке до рассвета, все ждал, что одумается, сжалится над ним Мария, выйдет, приголубит, всплакнет вместе с ним, и, омытые светлой, очищающей этой слезой, они возьмут за руки Миньку и пойдут, счастливые, на виду у всех завидовцев к себе на хутор, к своему жилью. Не дождался. Нахлобучил армейскую ушанку до самых глаз, тяжко поднялся с завалинки и, качаясь, как пьяный, побрел сам не зная куда. А двумя

днями позже случилось событие и смешное и горькое одновременно. Надо же было судьбе свести соперников там, где они не могли разойтись-разъехаться: у Панциревского моста, у того самого, где некогда Мария Соловьева потопила свой трактор. Тишка на паре волов, впряженных в рыдванку, направлялся из Завидова за соломой на панциревское поле. Федор как раз возвращался, и тоже на паре волов, с возом соломы. Завидя по ту сторону своего врага, он подхлестнул быков и въехал на узкий, для одной лишь подводы, мост в то время, когда там уже находился Тишка, не пожелавший уступить дороги Федору. Кончилось все тем, что обе пары волов вместе с рыдванками и упрямыми седоками свалились под мост: у быков оказались перебитыми ноги, и их пришлось прирезать; покалеченных же соперников отправить в районную больницу на излечение; у того и у другого доктора недосчитали от двух до трех ребер. Более месяца Тишка и Федор пролежали в больнице, а выписавшись, угодили прямехонько на скамью подсудимых. Дали им, чтобы ни тому, ни другому не было обидно, по три года исправительно-трудовых лагерей; отбыли свой срок полностью, "как одну копеечку", по словам Тишки, зато вернулись вроде бы окончательно примиренные. Впрочем, вскоре Федор куда-то исчез из Завидова, снялся с жениного подворья ночью и пропал — навсегда для своих односельчан и для Марии. Пришедшие в опустевший дом для освидетельствования три старика — тихо доживавший свой век дядя Коля, еще бодрый и активный Максим Паклёников и по-прежнему негнущийся, прямой, как шест, Апрель — обнаружили на столе записку, адресованную Соловьевой. Федор еще раз просил ее верить, что он простил, сообщил ей, что уезжает очень далеко, к своему фронтовому другу, куда-то аж за Байкал, что покидает он Завидово, во-первых, потому, что ему тяжело было бы, даже невыносимо, встречаться с ней, Марией, и, во-вторых, потому, что он, Федор, все-таки боится, как бы не подвернулся под горячую его руку опять Тимофей Непряхин, что лучше уж подальше от греха. "У него ведь, у того сволочуги Тишки, семеро по лавкам, не его — их жалко", — заключал свое письмо Федор.

С этим письмом старики снарядили к Соловьевой дядю Колю, которому, однако, с величайшим трудом удалось уговорить строптивую вернуться с сыном в ее же, в сущности, дом.

Трудно сказать отчего: переволновался ли, пробил

ли его час (смерть, как известно, причину найдет), но, придя к себе домой, дядя Коля почувствовал недомогание. Не придал ему особого значения, потому как в его летах такое недомогание было обычным и посещало его чуть ли не каждый день. Прилег на кровать, попросил старуху поставить самовар, прикрыл глаза, надеясь вздремнуть немного, но оказалось, что прикрыл их навеки. Теперь на завидовских могилках объявился свежий холмик, над которым возвышалась фанерная красная пирамидка, а рядом с нею стоял высокий черный дубовый крест. На пирамидке была надпись: "Николай Ермилович Крутояров, революционный матрос". Чуть ниже чья-то неумелая рука прибавила: "Дядя Коля". На кресте же значилось: "Здесь покоица тело раба божья Николай Ермилыча Крутоярова". Пирамида была поставлена комсомольцами, руководила ее сооружением Настя Шпич, а сколачивал памятник Павел Угрюмов. Крест по слезной просьбе бабушки Орины воздвиг Максим Пакленников, помогали ему Тишка и Пишка, люди хоть и не очень набожные, но правильно рассудившие, что волю пожилой женщины надобно уважить. Дуб для креста выбрал и спилил сам Архип Архипович Колымага, сам же обтесал его, обделал, как надо, и привез во двор покойного и потому, надо полагать, занял самое почетное место на поминках. Завидово не оделось в траур, но как-то пригорюнилось, притихло, несколько дней его жители разговаривали меж собой как бы шепотом: может быть, еще и потому, что тремя днями позже положили рядом с дядей Колей и его подружку, бабушку Орину: не захотела, старая, "коптить небеса" без Николай Ермилыча, тошнехонько ей стало, а потому и решила поскорее присоединиться к нему. А потом жизнь Завидова пошла своим порядком, время от времени удивляя людей разными историями.

Степанида Луговая, например, была крайне удивлена тем, что, выйдя однажды поутру на крыльцо, вновь увидела сверток. На этот раз не обрадовалась — испугалась: довольно с нее и одного подкидыша. Однако наклонилась, развязала и ахнула: перед ней лежал полный набор детской одежи и обувки размером как раз на ее Гриньку. Догадавшись, откуда могло взяться это добро, она вспомнила, что как-то прибежал ее Гринька домой и, заикаясь, от волнения, рассказал матери про то, как некая женщина ("Не наша, мам, не завидовская!") поймала его за рекой, прижала к груди и насовала полный карман конфет. Гринька сооб-

щил под конец, что "тетенька очень, очень плакала и чуть было не задушила его в своих объятьях, но он вырвался и убежал от нее, а тетенька, — Минька говорил, — скрылась в лесу". До этого Степанида не очень-то верила Штопалихе, уверявшей, что трижды видела на огороде Луговой, за плетнем, незнакомую женщину, которая, присев на корточки, следила за Гринькой и Минькой, игравшими во дворе в козны.

— Гляди, Стеша, как бы не увела твово подкидыша. Не иначе как матерь настоящая объявилась! — предупреждала Матрена Дивеевна.

— Будя болтать-то, Дивеевна! — сердилась Степанида. — Я настоящая-то мать моему Гриньке!

— Оно так, Степанида, — соглашалась Штопалиха, но все-таки советовала: — Поосторожней, однако, будь. Не пускай в лес парнишку. Береженого-то и бог бережет. А то как бы беды не нажить.

Теперь и Штопалихино предупреждение обрело вес. Раздумывая над тем, как поступить ей с подкинутой ребячьей справой, Степанида пошла за советом к Фене, решив про себя: "Как та скажет, так и сделаю". Но Феня затруднялась с советом: дело-то уж очень необычное. Зато Мария Соловьева, с которой тоже поделилась своей новостью Луговая, заявила без всяких колебаний: "Одевай и обувай Гриньку, чего уж там! Ты на него больше истратилась, вон в какие годы взяла на руки!" Перебрав приданое, Степанида обнаружила, что в свертке два комплекта совершенно одинаковых и по размеру, и по расцветке штанишек, рубашонок, трусиков и ботинок, и, не согласуясь с Машей, нарядила не только своего сына в обновку, но и его дружка Миньку: теперь они уж были форменные близнецы, такими и пришли в школу, потому что обоим исполнилось по восьми лет. И у обоих были материны фамилии: в графе, где полагалось указывать имя отца, учительница, поколебавшись, помедлив кончиком пера, погрустнев лицом, вспомнив что-то свое, наверное, тоже неустроенное, сделала прочерк. Затем подняла лицо, глянула на вытянувшихся, как маленькие солдатики, ребятишек, поласкала их глазами, сказала как можно бодрее:

— Завтра приходите в школу Будем учиться. Хорошо?

— Хорошо, Марья Кирилловна! — хором и звонко прокричали Минька и Гринька.

Ребята подрастали. Росла, однако, и тревога Степаниды: всякое лето, почти в одно и то же время, в

Завидовских лесах объявлялась та женщина и скрывалась там до тех пор, пока ей не удавалось проникнуть в село и что-нибудь оставить на крыльце или во дворе Луговой для Гриньки. Дважды видел ее на полянах и просеках Архип Архипович Колымага, дважды пытался остановить и поговорить, выяснить, кто она и зачем прячется от людей, но женщина дикою козой ныряла в чащобу, и до чуткого уха лесника доносился лишь угасающий треск сучьев. В третий раз он все-таки подстерег, изловил "таинственную незнакомку" — иначе какой же он был бы лесник! — и, рыдающую, кусающую его руки, вывел на дорогу, усадил на одну из скамеек, понастроенных им для отдыха пожилых людей, которым вздумалось бы поразмять старые свои члены и подышать лесным воздухом. Не скоро удалось мужику, имеющему столь грозное, даже, пожалуй, свирепое, обличье, успокоить свою пленницу, убедить ее, что он не замышляет ничего худого против нее, что, наоборот, готов помочь ей, коль она нуждается в людской помощи.

— Эко ты, право слово!.. Аль я разбойник какой! — басил Колымага, изо всех сил стараясь придать своему голосу добрые, располагающие интонации. — Перестань реветь, говорю! Не трону я тебя. Не видишь разве, кто я есть? Я есть здешний лесник. Зовут меня Архип. И по отечеству Архипыч. А ты не порубщица, деревьев моих не трогаешь — стало-ть, бояться тебе нечего! Сказывай, откудова ты и для каких надобностей тут объявилась, какая, стало-ть, нужда лукнула тебя сюда...

Первую минуту слова его как бы летели мимо ее ушей, не задевали женщину. Она продолжала плакать, но уже не вырывалась из его рук, не сдвинулась с места и тогда, когда лесник разомкнул свои железные пальцы; плечи ее вздрагивали уже меньше, а потом и вовсе угомонились, опустились и стали вдруг девичьи узкими и беспомощными. Несколько раз еще прерывисто, как успокаивающийся постепенно ребенок, вздохнув, она впервые решилась взглянуть на лесника. Посмотрела долгим, задержавшимся на его лице взглядом. Призналась:

— А я вас знаю, Архип Архипович.

— Вот как! Откуда же тебе меня знать?

— Я ведь, дядя Архип, из Кологривовки, а вы там бывали часто, даже к нам не раз заходили. Помните, мой папанька... — Она назвала имя своего отца, которого не мог не знать старый лесник.

— Еще б не помнить! — всколыхнулся Колымага. —

Мы с твоим папанькой не одну четверть усидели и в вашей Кологривовке, и в других разных местах. Известное дело: свинья грязи найдет. Он, твой батюшка, как и я, грешник, охочий был до этого самого... Помню, помню, как же! Да и тебя, кажись, вот толечко сейчас признал... Ну, ну, не разводи мокреть, не плачь — опять за свое! Ты, кажись, единственная у него дочка была? Да будя реветь-то! — Колымага упрятал ее голову в своей грубой, шершавой лапище и, как шваброй, досуха вытер заплаканное лицо. — Единственная, спрашиваю, аль были еще сестренки-братишки?

— Единственная, — сказала женщина, вновь успокаиваясь. — Папанька погиб под Ростовом еще в сорок первом, а маму — вы, наверное, помните ее, дядя Архип? — в войну же мирской бык забодал на коровнике, мама дояркой была. Я осталась одна. А потом встретила... — Тут женщина остановилась, ибо не собралась еще с духом, чтобы рассказать о том, что в конце концов привело ее сюда, в этот вот лес, к порогу чужого дома, где, ничегошеньки не зная и ни о чем не ведая, рос ее сын. Она увидела его будущего отца-красноармейца в родном своем селе и, как бабочка на огонек, глупая и неосторожная, подлетела доверчиво, запорхала, затрепетала не окрепшими еще крылышками вокруг его сильного тела, хранившего устойчивые запахи окопного жителя, — мудрено ли было обжечь, опалить те крылышки! Он приехал в Кологривовку, в тихое селеньице, вытянувшееся цепочкою изб по-над речкой Баландой, на отдых, для окончательной поправки, из саратовского военного госпиталя, никому не известный в здешних краях солдат с медалью "За отвагу" на линялой гимнастерке. Девчонка прильнула к нему на один какой-то сладкий миг — всего-то одну ночушку были они вместе под ее сиротской крышей. На другой день он уехал, в нем еще нуждалась катившаяся к последним своим рубежам война, которая подбирала всех выздоравливающих по своим глубоким и ближним тылам, подбирала и возвращала на боевые позиции. Она ждала его писем, а их не было. Так ждала, что ни о чем другом не могла ни думать, ни помнить, а потому, наверное, пропустила все сроки, когда можно было еще избавиться от плода этой короткой, как мгновение, и жгучей, как удар тока, любви. А когда вспомнила, уже было поздно, дитя давало о себе знать мощными резкими толчками. Теперь все усилия его несчастной матери были направлены на то, чтобы ни одна из ее подруг, чтобы вообще никто в Кологривов-

ке не мог заметить ее состояния, — перед тем, как выйти из дому, туго перетягивала живот платком, при встречах с людьми на улице подбиралась так, что аж краснела от натуги, дыхание ее сбивалось, на вопросы встречного отвечала невпопад и старалась быстро пройти мимо. Постоянный самоконтроль, напряжение изнуряли ее страшно, и она очень удивилась, когда ребенок родился вполне нормальный, здоровый; втайне она все-таки надеялась, что получится выкидыш. Помогла ей при родах одна знакомая бабка-повитуха, славившаяся на селе не столько своим уменьем принимать ребенка, сколько тем, что была на редкость неболтлива. Она же и посоветовала юной матери подкинуть младенца Степаниде, поскольку была наслышана о беде этой последней и знала наперед, что мальчонка будет ей не в тягость, а в радость. "А ты еще отыщешь свою долю, свое счастье, родимая, — сказала доброхотная бабка, покидая на раннем рассвете совсем растерявшуюся было молодицу. Неделю спустя, ночью, девчонка-мать пробралась лесом в Завидово и сделала то, что ей насоветовали. А наутро ушла на станцию — уехала в город, стала работать на заводе, нашла-таки там свою "долю", которая, однако, не сделалась счастьем, потому что женщина та была не кукушкой, а человеком же очень совестливым. У нее уже были дети от этого, другого, а она все помнила про своего первенца и считала дни, когда получит отпуск и поедет в родные края, чтобы увидать там свою первую, брошенную на чужом крыльце кровинку...

— Чего же ты не откроешься Степаниде? — выслушав горестную эту повесть, спросил Колымага; седой, лохматый, он похож был сейчас на древний, пригнутый тяжестью лет чуть ли не до самой земли дуб, и голос его скрипел точно так же, как скрипит старое дерево под порывами ветров. — Степанида Лукьяновна — хорошая, добрая баба. Она поймет тебя.

— Совестно мне, дяденька Архип.

— Понимаю. А как же быть? Так вот и будешь украдкой?

— Так, знать, и буду. У меня ведь, дядя Архип, семья, дети, муж. Как он посмотрит на это? Я ведь ничего про то не говорила ему..

— И не говори — не надо. Зачем же разорять гнездо, — согласился лесник и надолго умолк: не находилось у него советов для этой женщины. — Положись, дочка, на время. Оно мудрей нас. Глядишь, поможет.

— Спасибо, дядя Архип. Вы только никому не сказывайте, что видали меня тут.

— Не скажу. Сама-то поосторожней будь... Подумай и о Степаниде. Она, чай, изболелась душой за своего Гриньку — он ведь ее главная радость и опора на земле

— Я это знаю, потому и прячусь. Только сердцу-то не прикажешь, горит оно у меня, как вспомню... Да и помочь Степаниде Лукьяновне хочется. Ведь в городе легче раздобыть и одежонку, и обувчонку.

— А ты, когда привезешь, не сама подкидывай, а передавай мне. Я-то уж скумекаю, как все это обделать... Ну иди, дочка. Вон уж кого-то несет дьявол, шаги слышу...

Женщина ушла, а Колымага посидел еще немного, потом, удивляясь невесть откуда взявшейся, неожиданной немощи, с трудом оторвал отяжелевшее тело от скамейки и медленно пошагал по дороге в сторону Завидова. За поворотом встретил Пишку, который успел выбросить топор под кусты и, поравнявшись с лесником, спросил, щуря проникающий во все свой единственный глаз:

— Ты вроде с кем-то калякал, Архип Архипыч? Аль мне привеждилось?

— Привеждилось, — нахмурился Колымага, в свою очередь, полюбопытствовал: — А топоришко-то зачем спрятал?

— Какой топоришко? Да ты что, Архип Архипыч? Откудова он у меня! Это я так, на прогулку. А насчет топора тебе, знать...

— Привеждилось, скажешь? — сердито остановил его Колымага.

— Ну да! — охотно подтвердил Пишка.

— А вот мы сейчас поглядим...

Лесник обошел Пишку, сделал несколько шагов еще, поднял куст пакленика, порылся, пошарил рукою в траве, вернулся к Пишке, будто бы пришпиленному к прежнему месту, с топором в руках. На прощание сказал:

— Полюбуйся, Епифан, на свой топорик в последний раз, потому как больше ты его не увидишь. Бывай! — и пошел, сутуля плечи, своей дорогой.

Пишка метался глазом вокруг своих ног в надежде отыскать что-нибудь увесистое: ему очень хотелось запустить чем-либо в широкую и сердитую спину лесника. Не найдя, сплюнул, по обыкновению сопроводив

плевок сочной матерщиной. Вернулся на поляну, где ожидала его лошадь, впряженная в рыдванку.

Как инвалида второй группы и пенсионера, Пишку правление колхоза определило на легкую должность — объездчиком. Его дело объезжать поля, луга, да посматривать, как бы не случилось там потравы. Не два, а три удобства было в такой должности. Первое состояло в том, что за объездчиком закреплялась лошадь и как бы поступала в его собственность, что было немалым подспорьем для Пишкиных и без того ухватистых рук: кормов и дров на зиму заготовлял он теперь с избытком, с переходом на другую зиму; двор его, прикрытый от стороннего, завидчивого глаза высоким новеньким забором, быстро наполнился разной живностью; объявились, кроме кур, гусей и уток, еще и индюшки во главе со скандальным индюком, то и дело распускавшим свой солнцеобразный хвост и вытягивавшим красную свою соплю чуть ли не до самой земли, оглашавшим подворье грозным клекотом; в довершение картины надобно вспомнить и о такой невидали, как цесарки, раздобытые Пишкою бог знает где. Пишка был вроде бы и колхозник, и единоличник, и палочка трудодня, на которую в первые послевоенные годы не получалось почти ни грамма, нисколько его не тревожила: подведет артельное хозяйство — выручит хозяйство собственное, оно у Пишки понадежнее. Это, как говорится, во-первых. А во-вторых, объездчик как-никак, но тоже власть: зоркого Пишкиного глаза, так же как и глаза Колымажьего, завидовцы побаивались: накроет на колхозном лугу с косой — отвечай, тащи пол-литра, ежели не хочешь иметь дело с районным прокурором. Сознание такой силы многих заставило бы задрать нос, а Пишку тем более. И это еще не все. Обязанности объездчика хороши еще тем, что он, объездчик, в данном случае Пишка, всегда на вольном воздухе — катит на своей тележке полевой, луговой ли дорожкой, вспугивает куропаток, стрепетов, слушает по весне жавороночье песнопенье, врачует душу — и никто ему не укажет, когда вставать, когда ложиться, куда поехать нынче, куда завтра, потому как он сам — кум королю, сам с усам. К вечеру вернется домой пьянпьянехонек и от степных одуряющих запахов, и от глотка водки, припрятанной в передке телеги, и просто от избытка чувств. В телеге, под Пишкиным задом,

упругая мягкость свежей травки, а под травой — коса с прилипшей к мокрому лезвию разной зеленой мелочью; откроются ворота, хозяин торжественно вкатится во двор, косу, чтобы не покалечилась животина, унесет в сарай, а к свежей травке на телеге потянутся пришедшие из стада корова, подтелок, овечки. Хо-ро-шо!

Но отчего же хмур и пасмурен сейчас Пишка? Зачем отыскивал окровенившимся глазом тяжелый предмет, чтобы послать его вдогонку леснику, с которым в довоенные годы был даже в приятельских отношениях?

"И этот супротив меня?" — мысль эта, настигшая его врасплох, тяжко даванула на сердце.

То, что в Завидове его не любили, Пишка знал, но почему-то до нынешней встречи с Архипом Колымагой не тревожился этим. "Подумаешь, не любят, не уважают! Завидуют мому хозяйству — вот и вся придчина. Да и черт ли мне от ихней любви! Мне от того ни тепло, ни холодно. Лишь бы боялись! — так думал он прежде. Не поколебали его убеждений слова дяди Коли, бросившего их к случаю: "Заставить человека бояться тебя нетрудно, куда труднее добиться того, чтобы он, человек, зауважал тебя. Вот в чем фокус, вот в чем корень нашей жизни". Пропустил дяди Колино наставление Пишка мимо ушей, ни единой струны не потревожило оно в Пишке. И вдруг вот только теперь что-то сотворилось в нем, что-то тоскливое ворохнулось в груди и больно присосалось к сердцу. Неожиданная жалость к себе заполнила его до краев и искала выхода. Взял обеими руками узкую, длинную и костистую морду Буланки, прислонился губами к теплым, беспокойно задрожавшим ее ноздрям, начал изливать свою душу плачущим голосом:

— Все, все от меня нос воротят. И Тишка, стервец, тоже... все, все! Буланка, а ты... ты... и ты с ними заодно? Сказывай, мать твою!.. Што морду задираешь? Кто тебя кормит, подлюку, ну?! Почему вы все на одного меня?.. Я ж искупил кровью своей, глаза вон лишился... Посмотри, Буланка, где другой мой глаз, где? Нету его! Нету! А вы... Аль я виноватый, что хочу жить... что умирать не пожелал в том проклятом сорок первом? Скажи, аль виноватый? Не я ж накликал войну! Зачем же... Глупо же умирать, Буланка? Слышишь, глу-по-о-ооо! — вырвалось у него по-волчьи протяжно и одиноко. — Молчишь, тварь поганая?! Ну так вот тебе!

Пишка коротко взмахнул рукой и со страшною силой опустил кулак на лошадиную морду — удар пришелся как раз промеж горячих ноздрей; затем одним рывком Пишка кинул себя в телегу, с диким наслаждением вытянул лошадиный круп кнутом, поддев тонким обжигающим концом его Буланкино подбрюшье, самое, значит, чувствительное место, — вылетел на дорогу и понесся в село, утвердившись окончательно в правильности принятого им когда-то решения.

22

"Пымают — и меня к стенке, черт со мной, туда мне и дорога! — думал он с холодной отрешенностью, нахлестывая, однако, лошадь с все большим ожесточением, не замечая того, что и сам был уже весь исхлестан несущимися навстречу ветвями деревьев. — Пусть! Семь бед — один ответ. Ить и это не жисть! Тесно мне на одной земле с ним. Или я, или он — другого выхода нету!"

Когда лес остался позади, резко осадил Буланку, огласив окрестность трескучим, с подвывом криком: "Тпррру-у-у!" Оглянулся, бурно, как и разгоряченная им лошадь, дышал, — вспомнил вдруг, что именно там, куда сейчас глядел, был изловлен когда-то односельчанами. Вспомнив, дернулся весь, злобная судорога прошлась наискосок по лицу, изуродовала его. Пишка готов был уже вернуться и поджечь лес, не давший ему тогда надежного укрытия, но раздумал: плата, которую он приготовил главному, с его точки зрения, виновнику всех своих несчастий, будет куда убедительней...

Все последующие годы Пишка выискивал, выжидал момент, когда можно было бы сполна расквитаться с Угрюмовым-младшим. Нередко спрашивал себя, чем же прогневил в далекую ту пору этого мальчишку, что он не сдержал своего слова и выдал его завидовским властям, организовавшим лесную облаву. Ответа долго не находилось. И все-таки вспомнил, что когда-то очень обидел мальчугана, хоть в тот день и не считал, что поступил несправедливо. Дело было такое...

Старица реки Баланды, проходившая по окраине Завидова, в полую воду соединялась с самою рекой, а когда половодье оканчивалось, связь эта утрачивалась. Старица становилась замкнутым озером, в кото-

ром оставалось много рыбы: щук, сазанов, жерехов, голавлей, плотвы, окуней и даже небольших сомов. Особенно же много было щук, заходивших сюда по весне для выметывания икры и не успевавших вернуться в Медведицу и впадающую в нее Баланду. Летом завидовцы промышляли в Старице сетями, вентерями, бреднями, а ребятишки — удочками, а зимой ждали, как великого праздника, момента, когда обитателям подледного царства станет невмоготу, когда рыба начнет задыхаться и искать продушин, чтобы глотнуть кислорода. Первыми подавали сигнал бабы, выходившие на Старицу прополоскать в проруби белье. Каждая из них старалась раньше всего известить своих домашних — мужа и детей одним магическим словом: "Пошла!" Но в какие-нибудь полчаса все мужское поголовье, от почтенного старца до недавно научившегося стоять на собственных ногах отрока, высыпало на лед. Спешно рубились проруби, ледяные гатцы — страшенный мороз не мог загнать никого в теплые хижины. У дымящихся холодным паром прорубей дежурили: мужики — с сачками, ребятишки — с острыми самодельными крючками, насаженными, точно вилы, на деревянные черенки. Женщины приходили лишь за тем, чтобы забрать улов и унести домой. Ночную звонкую морозную тишь вспугивали громкие, как выстрел, хлопки кожаных рукавиц — то рыболовы грели озябшие свои руки; впрочем, руки застывали лишь тогда, когда оставались без дела, то есть в ту скучноватую пору, когда рыба, как бы ни с того ни с сего прекращала свой ход и не выплывала неслышной, тихой длинной тенью из-под кромки льда на середину проруби или полыньи, где, затаившись у самого дна озера, поджидал ее сачок либо железный, с острым наконечником крюк. Ход рыбы был слишком коротким, чтобы насытились все завидовцы, два, самое большое — три дня, поэтому дежурство на Старице было круглосуточным. Ночью на озеро выходили отцы и деды, днем — их сыновья и внуки.

Поутру Павлик сменил Леонтия Сидоровича, постоял немного у "своей" проруби, быстро заскучал, потому что рыба не шла, и начал шарить вокруг глазами в надежде отыскать продушину, над которой не маячила бы фигура мальчишки-хозяина. Вскоре он с радостью приметил, что дядя Пишка, у которого не было сыновей, покинул пост у своей проруби и двинулся к дому. Павлику нужно было бы подождать немного, потерпеть, пока дядя Епифан скроется из глаз совсем,

но он боялся, как бы прорубь Пишкину не захватили другие ребятишки-сверстники, которых была тьма-тьмущая на Старице. Случилось так, что Угрюмов-младший подбежал к чужой проруби в тот момент, когда на ее середину, прямо на солнечное пятно, медленно выплывала преогромная щука. Павлик осторожно подвел под ее белесое брюхо крючок, дернул что было силы на себя, и большая рыбина оказалась на притоптанном множеством валенок снегу, у ног юного рыбака, на глазах которого от великой радости появились слезинки, а щеки зарделись, запылали маковым цветом. Со всех сторон к нему бежали мальчишки, но раньше них у "своей" проруби оказался Пишка, оглянувшийся как раз вовремя и увидевший, что угрюмовский отпрыск с успехом промышляет в его, Пишкиной, продушине. Он поднял щуку, понянчил ее на руках, взвешивая, заключил: "Килограммов на восемь потянет. Как это тебя угораздило, шкет? Тебе бы, парень, уши нарвать, чтобы не лазил по чужим прорубям, да ладно, прощу уж. Утри сопли-то, через губы уж протянулись!" — Пишка зажал рыбину под мышкой и собирался двинуться в путь, да, похоже, сжалился над Павликом, который с трудом удерживался от того, чтобы не дать реву. Попросил у стоявших рядом ребятишек топор, разрубил щуку пополам, одну половину (с головой) забрал себе, а другую (с хвостом) оставил Павлику, то есть одним махом лишил мальчонку главной его радости: по хвосту кто же определит, как велика была щука, выхваченная не кем-нибудь, а самим Павликом; да и кто поверит, что этот хвост принадлежит именно твоей рыбине, а не чьей-либо еще? Словом, Павлик был в ту минуту несчастнейшим из несчастных. Если бы Пишке пришло в голову вернуться и посмотреть в Павликовы оченята, то и его сердце дрогнуло бы. И горе, и обида, и страшное недоумение, что взрослые могут так жестоко обойтись с ребенком, — все было в Павликовых зверовatых глазенятах, и как только они не прошили, не прожгли насквозь беспечно удаляющуюся Пишкину спину!

Вспомнив наконец эту давнюю, совершенно было забытую им историю, Пишка решил: "Это ведь он отомстил мне, щенок! Ну что ж, парень, держись и ты! Наступит и мой черед возвернуть тебе должок!" Теперь он выслеживал ночами Павла Угрюмова и в проулке, ожидая, когда тот будет возвращаться либо с полей, либо с гулянки, либо из клуба, но тот, словно бы его кто предупреждал, приходил домой с другого конца

села, другим проулком, а то и просто огородами, задами. Бывало, что шел и своим проулком, но не один, а с заневестившейся сестренкой Катей, которая, однако, не успела еще завести "миленка", чтобы тот провожал ее домой, — льнула, трусиха, к братнему плечу. Залегал Пишка и в поле, где-нибудь в ложбинке или вымоине, неподалеку от борозды, где, по его расчетам, должен проходить трактор, ждал, когда подкрадется сзади, вскочит, неслышный в реве мотора, на машину и вонзит меж лопаток врага по самую рукоять вот этот остро отточенный нож, — рукоять горела в Пишкиной ладони, прожигала ее до косточек. Но и тут была осечка: по неизвестным Пишке причинам Павлик оказывался в это время со своим плугом где-то совсем в другой стороне степи. Словом, что-то обязательно в последнюю минуту мешало Пишке привести в исполнение свой приговор. Но он не отчаивался, подбадривал себя. "Ничего, — обращался он мысленно к Павлу, — погуляй еще чуток, пожируй с девками, от меня все одно никуда не убежишь. Время между тем шло, оставляя после себя год за годом. В житейской кутерьме, в делах, заботах, в бесконечных тревогах, в людских смертях и рождениях, в бесчисленных малых и больших событиях годы эти мелькали, как спицы в колеснице, и не схватишь рукою ту спицу, не придержишь — вырвется да еще и покалечит тебя. Потом Павел ушел в армию, а вернувшись, быстро женился — посыпались один за другим дети, их было у него уже трое. Пишку это малость смущало: дети есть дети, они ничего не знают, зачем же их делать сиротами? Но эти колебания были преходящи. Свинцовая тяжесть обиды вновь давила на сердце, наливая и его этой тяжестью. И Пишка опять ждал, опять выслеживал. Порою терпение его истощалось, и тогда он торопился хоть чем-нибудь, да набедокурить любому, кому угодно, лишь бы этот любой и кто-угодный принадлежал к угрюмовской породе или присланивался к ней хоть каким-то краем. В такой час и порешил он Фенину корову, накормил ее отрубями с опилками, но был крайне удивлен и разочарован тем, что хозяйка спокойно перенесла эту беду, не подымала шума, не заявляла ни в сельсовет Саньке Шпичу, ни участковому милиционеру, жившему в Завидове, не делала даже самой слабой попытки отыскать злоумышленника, о котором, конечно же, догадывалась; не стукнула палец о палец и тогда, когда бригадир тракторной бригады Тимофей Непряхин, под величайшим сек-

ретом, разумеется, сообщил ей, что собственными глазами видел, как его бывший — Тишка так и сказал: "бывший" — друг-приятель Епифан, прячась за глухою стеной подновленной своей избы, выворачивал карманы ватника и тщательно вытряхивал остатки железных опилок, тут же присыпая их землей. Может быть, потому вела себя так странно решительная и небоязливая Федосья Угрюмова, что сразу три важных события вывели, вытряхнули ее хоть из нелегкой, но все же привычной жизненной колеи, события, после которых она долго не находила себе места, иногда забывая даже, что делает, что говорит, куда и зачем идет. Они накатывались одно за другим, те события: смерть Знобина, заставившая Феню почувствовать себя сиротой при живых отце и матери; уход Филиппа в армию, усиливший ощущение этого сиротства; возвращение Авдея, тотчас отогнавшее чувство одинокости и неприкаянности, но как бы лишившее ее разума: на какое-то время Феня сделалась вызывающе беспечной и безоглядно отчаянной, когда и более тяжкая, чем гибель коровы, беда могла бы пройти мимо ее сердца. Теперь она открыто сражалась с Наденкой и с ее матерью Матреной Дивеевной Штопалихой, и с матерью Авдея, и с Пишкою, неизменно бравшим сторону Фениных врагов. Последняя схватка с одним из них была очень свежа в ее памяти.

Был летний полдень. Солнечно. Плетень между двумя огородами. По одну сторону плетня стояла, опершись подбородком на черенок мотыги, Аграфена Ивановна Угрюмова, по другую — Матрена Дивеевна Штопалиха. Последняя — тоже с мотыгой, но не опиралась на нее, а размахивала ею, грозя:

— Скажи своей дочери, что до добра ее шашни с Авдеем не доведут... Ишь присушила, ведьма! От молодой жены, красавицы-раскрасавицы, отбила! У него уж штаны на энтом месте еле держатся. Высосала всю кровь из него, змеюка подколодная!.. Скажи, Аграфена, пристыди. Ить она живет с ним не по закону, а так, прости господи, по-собачьи... А у моей Надёнки на него все права. И бумага ей на то выдана. С гербовой печатью... Скажи, Аграфена, усовести хабалку. Краденая-то любовь хоть и сладка, да под конец горькой полынью оборачивается. Доведет меня до греха — волосы повыдергиваю вот этими своими руками... аль в сельсовет Саньке Шпичу заявлю...

— Коротки они у тебя, руки-то, до моих волос, и Шпича твоего не больно боюсь.

Штопалиха ахнула.

Позади нее стояла Федосья Угрюмова. Она только что вернулась с поля и решила проведать материн дом. Заслышав голос Штопалихи, укрылась за ветлой, все спокойно выслушала, а теперь вот объявилась.

С перепугу Штопалиха принялась осенять себя крестным знамением, бормоча:

— Свят, свят! Откудова ее принес нечистый?! — Оправившись чуток, перешла в контратаку: — А ты б не подслушивала чужих-то речей, бесстыдница!

— А ты, старая сводница, поменьше бы шлялась по чужим дворам да огородам. Проваливай сейчас же отсюда! Слыщишь?! Это не я, а ты со своей Надёнкой обокрала меня... И не моя вина, коль краденое-то у вас поперек горла встало! Забыла разве, как гуляли свадебку, как приплясывали передо мной в степи, измывались и насмехались, частушки поганые напевали? Забыла?! — Пылающие, темнеющие от гнева глаза Фени приближались к оробевшей старухе и как бы втягивали в себя темной этой глубью.

Штопалиха попятилась, продолжая креститься:

— Пресвятая матерь, оборони! Ведьма, она и есть ведьма!

Оторвавшись от наседавшей и вправду разъяренной, точно тигрица, Фени, Штопалиха поспешно убралась с огорода.

Аграфена Ивановна полными печали и невысказанной боли глазами смотрела на старшую дочь. Феня стояла на прежнем месте, тяжело дыша. Ноздри ее все еще дрожали от непотухшей ярости. С улицы до них еще долетал голос Штопалихи, отчетливо различаемы были ее слова:

— Господи, хотя б холеру на нее какую напустил. Навязалась на нашу шею.

"Запела! Не нравится!" — с мстительной радостью думала Феня, поправляя на голове волосы, будто и вправду побывала в горячей схватке.

А тот, из-за которого вела она эту схватку, проводил возле будки "воспитательную работу" с одним юным пахарем, коего перехватил на дороге, ведущей в село. На полевом стане полюбопытствовал:

— Это куда ж ты, Ванюшка, свои лыжи настропалил?

— В правление, — беспечно и как-то даже весело ответил Ванюшка механику.

— Зачем? — по-прежнему спокойно спросил Авдей.

— Машину хотел попросить у председателя — в район смотаться. Трактор у меня, дядя Авдей, поломался. Запаску надо привезть.

— Какой трактор? — теперь уж построже осведомился механик.

Парень ухмыльнулся:

— Аль не знаешь? ДТ-54.

— Какой, какой? Повтори, пожалуйста!

— Да перестань дурака валять, дядя Авдей! Сам же посадил меня на него аль забыл? Дэтэ, говорю, пятьдесят четыре!

— Пятьдесят четыре лошадиных силы, значит? Так?

— Ну да... — Парень, по-видимому, еще не совсем понимал, к чему бы такой допрос.

Авдей между тем продолжал:

— И ты ничего не слышишь, Ванюшка?

— Не-э-э, — протянул тот, растерянно мигая белесыми, подпаленными солнцем ресницами.

"Не-э-э", — передразнил его Авдей. — Пятьдесят четыре семьи в Завидове пустил по миру, стон идет на всю губернию, а ему хоть бы что!

— О чем вы, дядя Авдей? Какой стон, какая губерния? — Ванюшка испуганно разглядывал своего механика, не свихнулся ли тот, не сошел ли с катушек, не сорвалась ли резьба у мозговых его шестеренок. — О чем это вы? — повторил он громко.

— О чем?.. Не дошло, значит? А ты подумай-ка хорошенько! Представляешь, дурья твоя голова, что бы было, если б в прежнее время в нашем Завидове сразу вот так пали пятьдесят четыре лошади, в разгар зяблевой вспашки?.. Соображаешь?

— Сейчас не прежнее время.

— Ишь ты какой грамотей! "Не прежнее"! Без тебя знаю, что не прежнее — тогда бы ты и сам взвыл по-щенячьи... Технику-то надо беречь, как ты думаешь? Колхоз ее теперь на собственные денежки купил, а он у нас еще не миллионер, колхоз. Что же ты на меня уставился, как сыч, и молчишь?.. Ну, ну, поезжай, да только помни, что я тебе сказал. Дуй!

— Спасибо, дядя Авдей!

— Это за что же?

Но Ванюшка уже "дул" в сторону села и не слышал последних слов механика. Авдей, все еще перекипая, ворчал себе под нос:

— Пятьдесят четыре лошади вышли из строя, а в селе даже никто и не узнает про то. И ухом никто не поведет!

Чуть прижмуренными глазами он провожал быстро удалявшуюся фигуру Ванюшки, провожал до тех пор, пока глаза не уткнулись в избы хорошо различимого отсюда Завидова. Крыши изб пестрели, на фоне серых, все еще соломенных, четкими пятнами выделялись белые, шиферные. Пестрота эта могла бы только радовать глаз, ежели б не знать, что соломенных, замшелых кровель пока что было больше, и едва ли они скоро сменят неряшливую, нелепую рядом с прихорошившимися соседками прическу, поскольку под кровлями этими доживали свой век не дождавшиеся с войны своих мужей и сыновей женщины. Скользя по крышам, глаз Авдея нашарил белую, серебристую, поскольку на нее упал солнечный луч, новенькую крышу Фениной избы, и в груди екнуло. Авдей часто заморгал, сторожко посмотрел вокруг, будто боялся, что кто-то подкараулит его с его мыслями. Завидя приближающегося на своей Буланке Пишку-объездчика, заторопился в будку: ему, Авдею, почему-то очень не хотелось встречаться с этим человеком, хотя он и не испытывал ни малейшей боязни перед ним.

— Кривой зачем-то едет, — сказал додремывавшему после ночной смены Павлу Угрюмову.

— Хрен с ним, пускай едет, — ответил тот вяло и протяжно, со сладким стоном, зевнул. Потрещав суставами, спросил: — Который час?

— Пятый. Поспи еще. Рано сменяться.

— Нет, будя. Пойду искупаюсь в Правиковом пруду. Пойдем вместе.

— Пожалуй.

Они вышли из будки и, лениво поздоровавшись с Пишкой, который привязывал лошадь к деревянному столбу, направились к пруду. Вскоре оттуда послышались всплески воды и здоровый, сочный мужичий хохот.

— Ну дак что ж, покупайся, поиграйся, поигогокай, жеребчик, — бормотнул Пишка, орудуя плохо слушающимися его пальцами.

Полевой стан был теперь пустынен. Пишка заглянул в котел — на дне его, в луже мутной водицы, валялось несколько холодных галушек и большой кусок вареного мяса. Пишка подцепил его и принялся жадно поедать. Не чувствовал, однако, ни вкуса мясного, ни запаха. Жевал просто так, механически перемалывая вязкую плоть белыми, без единой потери зубами, — скулы, багровея, бугрились шевелящимися, как у лошади, желваками.

Над степью, клубясь, ворочаясь, грудились грозовые облака. Удары, один сильнее другого, сотрясали землю, по которой двигались вдали выхватываемые ослепительными вспышками тракторы. Близкий громовой раскат сомкнулся с жгуче-острой, режущей глаз вспышкой, зигзагами проскакавшей по полю. И сразу все стихло. Но тут же средь этой тишины раздался истошный крик Марии Соловьевой:

— Тимофея молнией убило!

Невидимая сила кинула Пишку от будки прямо на пашню, и тут он увидел Феню, Марию, Таню, Нину, Степаниду и еще каких-то женщин, растреповолосившихся от дождя и испуга, несущих бригадира к будке. Глаза его веселые чуть прижмурены, светились сумеречно, а на толстой нижней губе, приклеившись, чуть дымилась непогасшая цигарка.

— Землей, сырой землей его надо прикопать! Отойдет! — кричал Пишка, бегая вокруг будки в поисках лопаты. Не нашел — кинулся опять на пашню, встал на четвереньки и принялся по-собачьи выбрасывать чернозем меж своих ног. Прибежали Авдей и Павел — помогли Пишке. Втроем они перенесли Непряхина к яме, зарыли по шейку в землю. Женщины продолжали голосить. Вскоре их хор был усилен голосами примчавшихся из села других баб, среди которых выделялся своей распевностью глаз вездесущей Штопалихи.

— Да перестаньте выть! — прикрикнул на них Авдей. — Живой он. Видите, дышит! Оглушило только.

Женщины примолкли. Не послушалась одна лишь Мария — продолжала вопить, причитать над Тишкою, как над покойником:

— Разумильный ты наш Тишенька! На кого же ты нас спокинул... Бывало, глянем, как ты идешь по полю-то-о-о-о!..

Штопалиха сейчас же перебила ее:

— А ты б, хабалка, с твоей подружкой помене на чужих-то мужиков заглядывались!

Авдей, Пишка, Павел и еще двое парней-трактористов, схватившись за животы от подступившего так некстати смеха, один за другим убежали за будку.

От новых громовых раскатов Штопалиха испуганно закрестилась, а Тимофей Непряхин широко распялил глаза и с удивлением посмотрел сперва на плачущих женщин, а потом на грохочущее громами небо. Его

наконец подхватили и под проливным дождем, хлынувшим из разверзшихся небесных хлябей, унесли в будку. Там Тишка окончательно пришел в себя, присел на краешке дощатого настила, который служил трактористам общей кроватью, пересчитал глазами всех, кто был в будке; сам того не замечая, подмигнул Марии Соловьевой, ни капельки не смутившейся от этого подмигивания, принялся ощупывать себя, шевелить ногами, руками и тут только сделал печальное открытие: правая рука не подчинялась, висла тяжелой плетью. Но и тут не пал духом, подмигнул уже всем женщинам, сказал с притворной печалью:

— Рука-то подымется... — он опустил озорные свои очи долу и скользнул ими по тому месту, о котором вспоминается обычно при иных обстоятельствах и отнюдь не при всем честном народе.

Нина и Таня вспыхнули, прыснули из будки. Мужички расхохотались, а Штопалиха взъярилась:

— Типун те на язык, Тимофей! Девчонок бы постыдился! Греховодник, вот господь бог и наказал тебя, покарал непутевого!

Непряхин не растерялся. Спросил с неподдельной обидой:

— Эт ты за што же меня костеришь, Дивеевна? О чем ты? Ведь я вовсе не про то, об чем ты сейчас подумала. Знать, грешила многонько в молодости, вот и веждится тебе это самое... А я что, я ничего... Я про ногу левую, она тоже что-то того... — Он шевельнул этой ногой, очень натурально ойкнул, заключив: — Вот видишь, а ты, Матрена Дивеевна, черт знает о чем.

Ноги Тишкины были в полной исправности, а рука так и не поднялась. Освидетельствовавший ее районный хирург Чупиц, славившийся своим искусством на всю область, не оставил никаких надежд, — так в Завидове к инвалидам войны прибавился еще один, получивший увечье на трудовом фронте. Примирившись в последнее время с Пишкой, Непряхин говорил ему:

— Теперь нас с тобой и подавно водой не разлить. Уравняла нас жизня по всем своим статьям.

Нет, однако, худа без добра. Несчастье с Тишкой предотвратило другую беду: Епифан не решился в тот день, а точнее, в ночь после того дня, учинить заготовленную было им расправу над Павлом. Неизвестно

только, насовсем ли оставил в покое Угрюмова-младшего или опять отложил исполнение своего жуткого замысла на иное время. Тишка же, разговаривая с приятелем, не во всем был прав. Жизнь хоть и поравняла их, но все-таки не по всем статьям: за утраченный на войне глаз Пишке была назначена пенсия, как инвалиду второй группы, а с определением таковой Тишке, лишившемуся правой руки, что-то не торопились. Фене кто-то сообщил, что виноват Санька Шпич, который был не только председателем сельсовета, но и членом правления колхоза; будто бы он настоял на том, чтобы годок-другой погодить с назначением пенсии Непряхину, что рука его "отойдет", а за год-другой ни с ним, ни с его семьей ничего худого не случится: две дочери работают в колхозе, жена, Антонина, при полном здоровье, — прокормят. Со Шпичом не соглашались. Апрель, тот не стерпел, сплюнул на пол и ожесточенно растер подошвой сапога плевок, будто это был уж не плевок, а сам Санька Шпич. Старый председатель колхоза Леонтий Сидорович Угрюмов, понимая, что дни его председательства сочтены, что не нынче-завтра его сменит на этом посту молодой и энергичный Точка, которого уже дважды вызывали в район на какие-то переговоры (Леонтий-то хорошо знал на какие), не находил в себе сил спорить с настырным и прилипчивым, как репей, Шпичом и согласился отложить решение пенсионных дел, в том числе и Тишкиного дела, до общего собрания. Вот тогда-то Феня и надумала поговорить с председателем сельсовета, с Санькой, стало быть, Шпичом, один на один. Поутру, увидев из окна своего дома, что тот проследовал в свое "присутствие", как однажды выразился Максим Паклёников, она быстро оделась и минут через пять оказалась в Совете.

Санька Шпич уже сидел за столом и даже не поднял на вошедшую своей важной, отягощенной какими-то государственными думами головы. Федосья Леонтьевна, приблизясь к нему, начала, как бы продолжая не законченный между ними разговор:

— У них восемь ртов. Тимофей теперь не работник. Антонина с Нинухой не прокормят шестерых. Как же можно тянуть с пенсией...

Санька недовольно ворохнулся в своем кресле, заворочал шеей, будто за воротник ему кто-то насыпал сенной трухи:

— Не совалась бы ты в чужие дела, Федосья. Бригадирствуешь над женщинами — и бригадирствуй

на здоровье (Феня к тому времени уже возродила женскую тракторную бригаду), а в чужие.

— В чужие? — От удивления темные брови Угрюмовой встали торчком. — Это какие же они чужие?.. Дети сиротами остались, хоть и при живом отце. А ты чужие?! Сейчас же поеду в район. Там найдут на тебя управу.

— Опять жаловаться? Валяй, валяй, это по твоей части. Только меня не застращаешь! У самой рыльце в пушку. Чужую семью, ячейку общества, рушишь! — Шпич хорохорился, но все-таки под конец сбавил тон: — Сказал, подумаем. Чего еще тебе?

Феня посмотрела на него долго и пристально, будто впервые видела, помолчала, потом тихо, каким-то измученным голосом заговорила:

— А ведь ты больной, Санька! Ты, Сань, снаружи только навроде здоровый, а внутрях больной. Ежли к чужому горю глух — больной, значит, ты... — Видя, что Шпич собрался подписывать стопку отпечатанных под копирку каких-то бумажек, обронила с досадой: — "Дорогой товарищ"... Всем, поди, вот так-то? Какой уж там дорогой, коли под копирку? Я б такую бумажку и читать не стала! Поздравил, называется! С праздничком!.. Эх, Саня, Саня, гнать бы тебя отсюда поганой метлой, чтобы не позорил Советскую-то власть! И как только Настя живет с тобой, терпит тебя такого!.. Да ты не тычь в меня твоими пальцами, не боязливая!

Санька поспешно упрятал под стол двупалую руку.

— Ну и ты полегче! Тоже мне хозяйка отыскалась — лезет во все дыры! Чего доброго, антисоветчину еще мне присобачишь. Иди и занимайся своим делом, а мне не мешай!

— "Своим"? А это разве не мое?.. Ты еще и глупый, Саня, ох, какой же ты глупый! — Феня безнадежно махнула рукой и направилась к двери. Немного задержалась там, повернулась опять лицом к Шпичу, вымолвила спокойно, твердо, как давно выношенное, созревшее на сердце: — А ты, Саня, и есть тот самый, как ты сказал, антисоветчик, ежели людская боль не стала твоей болью, — и, трудно переведя дух, шагнула за порог.

Мимо нее, бешено сверкая глазами, бросился в настежь открытую дверь Авдей Белый. Он шагнул к председателеву столу и раздельно, с большими паузами, с предельной выразительности четкостью расставил многообещающие слова:

— Ты... вот что... Шпич... Если еще раз обидишь

Феньку, пеняй на себя. Повыдергиваю ноги и выброшу на съедение псам. Понял? До сви-да-ньица, товариц Шпич!

Авдей выскочил на улицу, чтобы присоединиться к Федосье Леонтьевне, но не увидел ее. В недоумении пожал плечами: "Куда бы это она?"

Решение встретиться с Надёнкой Скворцовой и поговорить с глазу на глаз созрело у Федосьи Леонтьевны давно, только вот исполнить его до сих пор никак не удавалось. Нельзя сказать, чтобы у нее не хватало смелости, — просто что-то мешало этой встрече. Впрочем, сама-то Федосья хорошо знала про это "что-то", да не хотела открываться даже перед собой. Все объяснялось проще простого: она боялась повредить своим отношениям с Авдеем. Вдруг Надёнка взбунтуется, подымет шум не только на все Завидово, но и на весь район, — от нее ведь всякое можно ожидать, эта ни перед чем не остановится, пойдет напролом. Не всегда сильный духом, переменчивый в настроениях, Авдей может оробеть, чего доброго, вернется опять под Штопалихину крышу, и, глядишь, навсегда. Вот что сдерживало Феню. Однако и оставить все, как оно есть, она не могла: Авдей ходил теперь в ее дом не только по ночам, но и днем, никого уж не таясь. Правда, чтобы мать его, Авдотья Степановна, не слишком бунтовала, изредка оставался на ночь под родительскою крышей. Все же остальное свободное время отдавал ей, своей Фене, Фенюшке, как звал ее в томительно сладкие минуты их близости. И это чревато было взрывом: горячее, сухое его дыхание уж явственно чуялось в воздухе. И надо было не ждать, когда беда сама припожалует к тебе, настигнет внезапно, а выйти ей навстречу, упредить, сразиться с ней на ближних подступах к твоему дому.

И в этот день Федосья Леонтьевна не собиралась пойти к Скворцовой и, наверное, не пошла бы, не окажись вдруг рядом с правлением колхоза в тот час, когда там обычно Надёнка пребывала в полном одиночестве: за нарядами колхозники являются с утра, и весь день правление пустует.

Угрюмова вошла не стучась, Надёнка подняла на нее глаза, сперва полные удивления, а потом засветившиеся нехорошим холодным огнем.

— Здравствуй, Надежда, — сказала Феня как можно спокойнее.

Скворцова не ответила — отчаянно принялась вертеть ручку арифмометра. Пулеметная дробь рассыпалась по бухгалтерскому кабинету.

— Останови машину-то. Что ты меня обстреливаешь?! Все одно не уйду, пока не поговорим.

— Не о чем нам с тобой говорить. — Надёнка отпихнула в сторону счетную машину, быстро отошла к окну и демонстративно повернулась к посетительнице сердитой спиной; по тонкой, точеной шее у нее сверху вниз побежали, как сыпь, красные пятна.

— Нет, есть об чем. Ты можешь не глядеть на меня, это твое дело, так, видно, образованные-то барышни поступают. Но... послушай, Надёнка! Я, чай, не зверь...

— Ты хуже, страшней любого зверя! — выпалила Надёнка, не оборачиваясь.

— Хорошо, пускай так. Но послушай же! Ежели ты можешь удержать его возле себя, держи, да так, чтобы он и глазу не показывал моему дому. А не можешь... что ж, значит, не судьба! Не цепляйся за него, не мучай ни себя, ни... Не будет у вас жизни...

Надёнка резко повернулась и, держась обеими руками за подоконник, обливаясь злыми бессильными слезами, не закричала — зашипела как-то:

— Уходи... уходи отсюда!.. Не-на-ви-жу!!

— Ты на меня, девка, не кричи. Я ить не из пугливых. А коли ты так, то знай: не видать тебе Авдея!.. Довольно ты покупалась в моих слезах. Вы думали, что над Ивушкой неплакучей можно измываться сколько вашей душе угодно. Ан нет! Получайте, что заслужили! Прощай, Надёнка, и не приведи тебе бог поднять на меня и на него руку! Я тебя не стращаю, а предупреждаю. Прощай!

Известно, что на крутые решения обычно отваживается человек, который находится при деле, притом надежном деле; сильный характер в данном случае лишь подспорье. Это Федосья Леонтьевна знала. Знала она и про то, что годом раньше едва ли отважилась бы на это свидание со своей соперницей. Тогда у нее не было еще такой опоры, которая была сейчас: она вновь создала в Завидове женскую тракторную бригаду. И случилось это так.

Вышла однажды поутру на крыльцо. Первые, еще робкие снежинки тихо падали на землю, и на глазах освеженной, затрепетавшей душою женщины, по мере того, как снежинок становилось все больше и больше, земля делалась сперва какой-то пестрой и нарядной, но вот темные пятна на ней исчезли под белым покрывалом, и открывшийся ее взору мир стал первобытно

пустынен, как не заполненное красками огромное полотно неведомого художника, который сейчас выйдет со своей кистью и начнет творить. Оказалось, что первой из людей на это белое, не тронутое никем полотно ступила, выйдя из своей избы и спустившись по ступенькам крыльца, Феня Угрюмова. Удивленно-радостными, и пьяно-счастливыми, и поглупевшими от радости глазами она посмотрела на дивное преображение, совершившееся за какие-то несколько минут. Сгребла с завалинки пригоршню невесомых, быстро тающих на теплой ладони пушинок, поднесла к лицу и умылась этой пречистой студеной влагой.

— Чудо-то какое! — шептали ее губы, а глаза влажно сияли, и бездонная глубина светилась в них.

Скрипнула калитка.

Вошел отец. Побранил:

— Ай маленькая? Выскочила! Поди оденься да загляни к нам. Покалякать надо.

— Ой, тять! А я сама к тебе собиралась...

Леонтий Сидорович, уже в своем доме, спросил строго:

— Что за нужда?

С лица Федосьи Леонтьевны убралась куда-то прежняя беззаботность.

— О колхозной скотине хотела поговорить...

— Ты, девка, не хитри.

— Мне нечего хитрить. В других колхозах, у настоящих хозяев, фермы закреплены за механизаторами. А у нас... у тебя то есть, дорогой родитель, кто в лес, кто по дрова.

— Спасибо. Критиковать вы все умеете, а вот помочь.. Ну да не затем я позвал тебя, Фенюха. Вы когда оставите с ним э т о?

— О чем ты?

— Сама знаешь о чем.

— Ну, если знаю, без тебя и решу. Сам же сказал — не маленькая. Что вы все ко мне прицепились?!

— Смотри. Надёнка опять приходила ко мне с жалобами.

— А где были эти жалобщики, когда мы с ним жили как муж и жена? Где, я тебя спрашиваю?! Зачем они влезли промеж нас, порушили все?

— Что было, то прошло.

— Прошло? У кого это прошло?.. Вот что, тять, давай с тобой раз и навсегда договоримся: я в твои, а ты в мои личные дела не будем мешаться.

— Но ты же вот в мои вмешалась.

— То не твои только. И не личные.

— И все-таки подумай, Фенюха. Отец дурное не присоветует.

— Ладно уж. Скажи лучше, отчего ты встал нынче чернее тучи? Что голову-то повесил?

— Повесишь. Почти всех трактористов в армию взяли. А те, что вернулись, норовят в город улепетнуть. Где я найду им замену? С кем выеду весной в поле?

— Об этом хорошие хозяева загодя думают, — беспощадно, с присущей ей жестокой прямотой сказала Феня.

— Спасибо. Называется, посоветовала...

— Не понравилось? А ты, отец родной, советовался со мной, когда на Павлушку, сына своего, заявление писал? Не куда-нибудь, а в милицию?

— Ну ж и злая у тебя память, Фенька! Эт когда же было?! И какой бы я был председатель, если бы промолчал о таком происшествии в колхозе, а? Все одно другие бы сообщили, тот же Пишка...

— Сына не жалко, о дочери бы подумал. Мне и без твоих упреков тошно, иной раз такое накатит на сердце, что впору хоть руки на себя накладывай... Подумал ты обо мне хоть раз, о дочери своей?! — вскричала она, глотая слезы.

— Подумал. Подумал и о сыне, и о дочери, и о внуке, которые носят фамилию Угрюмовых, а Угрюмовы, как тебе известно, не хитрили и не юлили, не прятались за чужой спиной, шли в жизни прямо. Ясно?

— Ясно. Из-за твоей честности парня чуть было в тюрьму не упекли.

— Сам туда просился...

— Просился! — Феня метнула на отца гневный, осуждающий взгляд.

— Будя уж вам, — вступилась робкая Аграфена Ивановна. — Как сойдутся...

— А ты, мать, нишкни. Не твоего ума дело, — остановил ее Леонтий Сидорович.

— Что же собираешься все-таки делать с теми тракторами? — спросила дочь примиряюще.

— Чего теперь сделаешь? Срочно пошлю на курсы Миньку и Гриньку, других пятнадцатилетних и шестнадцатилетних мальчишек. Что ж еще остается? Боюсь только, что и эти паршивцы в город потянутся. И что их туда манит? Будут ютиться по общежитиям или снимать угол в подвале у какого-нибудь городского мужичка-кулачка, платить за него втридорога из материного либо отцовского кармана, а по воскресеньям

ждать, когда им, как голым птенцам, привезут из села что-нибудь пожрать, сунут в голодные клювы... И все-таки бегут!

— Другой их, тять, голод гонит в Саратов. Вот ты сердишься, когда Настя Шпич и Точка новый клуб требуют, а зря...

— Опять вы за свое! Клубами страну не прокормишь, а мне надо пять коровников новых построить. Где взять такие деньжищи? Скоро изберете Точку в председатели, может, его молодая голова окажется умнее моей, старой, придумает что, дворец для вас построит. Пляшите, толчитесь там хоть до третьих кочетов. А меня сейчас оставьте в покое. Не до ваших развлечениев мне! Видала, какой опять план спустили по хлебу, мясу, молоку и яйцам? Не видала, а ты погляди, полюбопытствуй, может, тогда иное запоешь!..

— Ладно, расплакался. Без тебя построят тот клуб. Вот что я тебе скажу, отец. Когда-то там еще изберут Точку, а дело делать надо уже теперь. Ты на те курсы посылай не только мальчишек. Забыл разве, как до войны и в войну нас, тогда сопливых еще девчонок, обучал этому делу? Так что... так что... посылай-ка с теми ребятами и девчат. Женскую бригаду опять тебе организую. Степанида, Мария да я возьмем под свое крыло молоденьких комсомолочек, а те своих подруг. Глядишь, дело-то и пойдет. И заботу о колхозных фермах на себя возьмем. Вот увидишь! И бригада наша будет называться не просто тракторной, а комплексной, как в передовых хозяйствах.

— Эк куда ты хватила!

— Куда надо, туда и хватила! — воскликнула Феня, воспламеняясь от собственной решительности.

— Ну-к, что ж. За это спасибо, — с тихой благодарностью сказал Леонтий Сидорович. Помолчав, все-таки заметил осторожно: — А с Авдеем... поостереглась бы маленько. Ох, наживете вы беды!

— Опять ты за свое! Сказала, сами как-нибудь расхлебаем эту кашу.

— Больно, дочка, круто замешана — не расхлебаешь.

— В крутой-то больше весу. Ничего, отец. Бог не выдаст... Хватит об этом. Иди к себе в правление, а я сейчас к Марии да к Степаниде наведаюсь. Поговорю с ними. — У самой двери вдруг что-то вспомнила, обернулась: — Вот еще что — когда детские ясли построишь? В будущей моей бригаде и детные женщины могут оказаться. Да и девчата... Сегодня они девчата, а завтра молодые матери. Парней в Завидове хоть кот

наплакал, но десяток наберется. Так что ясли поскорее давайте!

Феня ушла.

Аграфена Ивановна долго глядела на дверь — вздохнув, вымолвила:

— Пресвятая богородица, царица небесная! Спаси, наставь ее на путь истинный. Пропадет бабенка!

Услышала ли "пресвятая" эту материну мольбу, но все грозы житейские пока что благополучно миновали Феню, иные из них проходили где-то очень близко над ее головой, заглядывали на ее двор, но она-то этого не замечала: в одну зиму замысленная ею бригада была создана, а весною, когда улетучился сырой холодный пар над землей, когда вспаханные под зябь поля стали покрываться тонкой, подрумяненной солнцем, пахучей, как на только что испеченном хлебе, корочкой, когда над весело, бодро урчащими тракторами, тянущими за собой культиваторы и сеялки, заполыхали, захлопали, затрепетали, забились на упругом ветру разноцветные девичьи косынки, жизнь для Фени вновь наполнилась важным, непреходящей ценности смыслом. А тут еще новость: Филиппа приняли в пограничное училище, скоро будет офицером, — это ли не радость для матери! Да уж и сношеньку подглядела себе Федосья Леонтьевна, юную трактористку Таню, недавно еще секретарствовавшую в правлении, а ныне уверенно водившую по полям свой могучий ДТ. Теперь теплая волна Фениной любви и нежности перекинулась на эту девчонку, окатила и ее. Федосья Леонтьевна старалась держать Таню поближе к себе, хмурилась ревниво, когда та, передав машину своей сменщице Нине Непряхиной, торопилась в село, в клуб значит. Все чаще оставляла девушку на всю ночь в поле, ложилась в будке с ней рядом, обнимала и, не в силах сдержать своих чувств, шумно выдыхала в ночную тишь:

— Не сиделось тебе в конторе, Танюшка! Розовые ноготки-то потемнели, облупились, чай... Может, учетчицей тебя определить?

— Что вы, тетя Феня! Ни за что!

— Ну хорошо. А теперь скажи, Танек, пишет тебе Филипп аль нет?

— Одно толечко за все время и прислал... — В голосе Тани уже чувствовались слезы.

— Ну я ему покажу! Вот только пускай приедет

на побывку! А ты не плачь... не плачь, родненькая! — Последние слова вырвались у Федосьи Леонтьевны с душевной болью и дрожью. Безотчетная тревога сдавила сердце. Уж очень хорошо все было у нее, так хорошо, что она, привыкшая ко всяким напастям, боялась того, что что-нибудь да подкрадется, вырвет у нее это хорошее и радостное. Не может быть, думала она, чтобы все было так хорошо.

— Тань, а ты любишь его?

Девушка встрепенулась, прижалась к Федосье Леонтьевне плотнее, жарко задышала на нее.

— Любишь, значит?

— Очень, очень! — и этих Таниных слов хватило на то, чтобы все сразу и отлегло от Фениного сердца, все утихомирилось, угрелось на душе.

— Спи, Танек, спи, сношенька моя родная! Скоро светать начнет.

— Не хочется спать, теть Феня.

— Спи, спи, — Феня чмокнула девушку в пылающую щеку.

— Меня вчерась комсоргом избрали, теть Фень, — сообщила вдруг Таня.

— Вот как. Поздравляю тебя, Танюша. Это хорошо. Жаль только, что уйдешь теперь из моей бригады.

— Что вы, теть Фень, я ж неосвобожденный комсорг.

— Ах вот оно как! Тогда вербуй своих комсомолят в механизаторы. Это, Танек, самая верная для них дорога. Пройдет немного времени, и на поле, кроме трактористов да комбайнеров, никого не останется. Мы будем и пахать, и сеять, и убирать урожай. Механизатор, Танюшенька, станет заглавным человеком на родимом нашем полюшке. Так-то, Танек. А теперь усни. А то плохой будет завтра из тебя пахарь. Спи.

Но перед тем как заснуть, Таня поведала еще одну новость:

— Миньку и Гриньку скоро в комсомол будем принимать.

24

Минька и Гринька были неразлучными друзьями. Слово "неразлучные" попросилось в строку не потому, что подвернулось к случаю как наиболее доступное и привычное. Минька и Гринька были действительно, в самом буквальном смысле, неразлучны. Если ты где-то увидал долговязого, к четырнадцати годам вы-

лахавшего чуть ли не в сажень ростом Гриньку, то так и знай: где-то рядом должен быть и малюсенький, увертливый, как угорь, чернявенький и кучерявый Минька. Ходили в школу вместе, ночевали вместе: одну ночь в Минькином доме, следующую — в Гринькином, делали так, чтобы не обижать матерей. Шустрый глазами, ногами, Минька был шустер и остер головой, башковит: учился только на пятерки, лишь по поведению была у него неизменная во всех четвертях четверка, да и то потому, что он принужден был делать подсказки то одному, то другому своему товарищу, и прежде всего, конечно, Гриньке, который не был отличником, но с помощью Миньки в ударники все-таки выбивался. Само собой получалось, что Минька верховодил простодушным и добрым, как все великаны, податливым Гринькой, но руководил им так, чтобы тот и не чувствовал этого руководства, подсознательно понимая, что настоящая дружба рождается там, где люди не помыкают друг другом, а помогают один другому.

Минька помогал, а потому и был любим Гринькою. Ночь перед комсомольским собранием ребята провели в Минькином доме, куда по случаю столь великого события в жизни ее приемыша пришла и Степанида Луговая. Минька и Гринька устроились в передней, а их матери в задней избе. Те и другие за всю ночь не сомкнули глаз. Ребята экзаменовали друг друга по специальному вопроснику, разосланному райкомом комсомола, чтобы не завалиться на собрании, а затем и там, где выдаются билеты члена Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи: для начала каждый из них несколько раз кряду произнес вслух эти слова, расшифровывая таким образом пять давно ставших знакомыми и родными, легкопроизносимыми букв — ВЛКСМ. Степанида и Мария, прислушиваясь через приоткрытую дверь к звонким их, все набирающим и набирающим силы, уже плохо контролируемым взволнованным голосам, сами, не замечая того, заражались энтузиазмом детей, начинали вслед за ними повторять те же слова, при этом путались, спотыкались языками, ворчали досадливо: "Разве запомнишь? Тут любой собьется". А перед их сыновьями было двадцать три вопроса, заключавших в себе всю историю комсомола. Минька и Гринька знали, конечно, что не все эти вопросы будут заданы им на собрании и на бюро райкома, но какие-то из них обязательно будут заданы. Но какие именно? Кто же

скажет тебе заранее! Нужно быть готовым к тому, чтобы хорошо, четко, без запинки ответить на любой из них, а это значит — на все двадцать три вопроса. Сначала шли по порядку, так, как эти вопросы расставлены в списке, затем задавали их друг другу вразбивку. Из горницы все время слышалось: "Что является высшим органом ВЛКСМ?" — "Что такое комсомол?" — "С каких пор комсомол носит имя Ленина?" — "Кто был первым пионером?" — "Кто был первым комсомольцем?" — "Когда родился В. И. Ленин?.."

Мария Соловьева и Степанида Луговая, слыша все это, хмурились, глядели со страхом друг на дружку, шептались: "Господи боже мой, да тут голову сломаешь, с ума сойдешь, право слово! Кто же могет запомнить такую пропасть вопросов! Провалятся ребятишки, ей-ей, провалятся!"

А ребята не унывали — подбадривали себя, отвечали громко, с воодушевлением, как на экзамене.

— Расскажи, Луговой, — напирал на своего товарища Минька, — какие комсомол имеет ордена и за что они получены?

Гринька вскакивал с места, ходил по комнате, пригибаясь, боясь поднять головой потолок, орал что есть моченьки:

— Первый орден, орден Красного Знамени...

— Боевого, — поправлял Минька.

— ...орден Боевого Красного Знамени был получен комсомолом в одна тысяча...

— Без "одна", — опять поправлял экзаменующий.

— ...был получен в тысяча девятьсот двадцать восьмом году.

— За что?

— Да ты не перебивай меня! — взмолился наконец Гринька. — Все скажу по порядку. За что, говоришь? Известно за что: за участие в гражданской войне.

— Правильно. А второй?

— Второй орден, орден Трудового Знамени...

— Красного Знамени!

— ...Трудового Красного Знамени, был получен комсомолом в тысяча девятьсот тридцать первом году за восстановление народного хозяйства. Третий орден, — заторопился Гринька, чтобы упредить своего дружка-экзаменатора, — орден Ленина, был получен комсомолом в июне тысяча девятьсот сорок пятого года за участие в Великой Отечественной войне, — закончил он без малейшей запинки, потому как считал

про себя этот орден самой дорогой наградой для ВЛКСМ.

— Ну а четвертый? — спросил Минька, видя, что его друг остановился, как норовистый конь на бегу. — Четвертый — когда и за что? Молчишь? А говоришь — не перебивай. Подсказать, что ли?

— Погодь, может, еще вспомню...

— Не вспомнишь. Не морщи лоб, не тужься — не знаешь. Слушай. Четвертый орден, орден Ленина, был получен комсомолом в сорок восьмом году за активное участие в мирном строительстве...

— Погоди, что ты говоришь? — теперь уж перебил своего товарища Гринька. — В вопроснике слова "мирное" нету! Я теперь вспомнил. Там сказано просто: "за активное участие в строительстве". А ты...

— Что я? Нельзя же, Гринька, быть таким буквоедом! Когда орден получен? В сорок восьмом году, сразу же после войны? Чем занимались наши люди? Строительством. Каким? Конечно же, мирным! Понимать надо. Ну а пятый — какой, когда и за что? Помнишь?

— Еще бы! — выпалил Гринька с оттенком самодовольства. — Это тебе любой скажет...

— Мне любой не нужен. Скажи ты.

— Пожалте, товарищ... — Гринька поперхнулся, он чуть было не назвал Миньку Непряхиным, как называли его за глаза все завидовские мальчишки и девчонки. — Пожалте, товарищ Соловьев! Я готов. Итак, пятый орден, орден Ленина, был получен комсомолом в 1956 году за... — и, не досказав, загорланил, до смерти напугав матерей: — "Здравствуй, земля целинная..."

— Правильно. Молодец. Ну а шестой? — Минька уткнулся в бумагу, чтобы спрятать лукавую ухмылку.

Гринька задумался. Потом сокрушенно развел руками:

— Не знаю.

Минька поднял глаза, сверкнул в широченной улыбке ослепительной белизны зубами:

— И я, Гринь, не знаю, потому как шестого ордена у комсомола покамест еще нету. Но он будет! И нам с тобой, Гринька, зарабатывать его для комсомола. Понял?! — Минька покосился на заголубевшее окно. — Мать честная, светает! Ну и ну! Мамы-то наши спят аль нет? Им-то чего не спится!

— Уснешь с вами! — отозвалась Мария. — Вы орете, как на митинге, шабры, поди, все проснулись. Подго-

товились, что ли, ай нет? — спросила она, пряча за грубоватым тоном материнскую свою тревогу.

— Вроде подготовились, — сказал Минька.

— А вы еще маленько позанимайтесь. Наизусть чтоб... — подала свой голос и Степанида.

Не отпустили они одних сыновей и на комсомольское собрание, которое проходило в недавно отремонтированном, подновленном малость клубе. На удивленный, немного растерянный взгляд Тани Степанида сурово молвила:

— Не гляди на меня так, Танюша. Мы ить не чужие им. Вот вырастила бы ты в такое-то время одна их, узнала бы, что это есть такое... Так что посидим, мы ведь тоже когда-то были комсомолками. Не красней и не пожимай плечиками. Начинай собрание, а мы вот с Марией посидим тихо-мирно да послушаем. Мы вон там, в уголочке, с краешку. Пойдем, Маша.

Бесконечно счастливые благополучным для их сыновей исходом дела, хотели было сейчас же после собрания увести их домой и там вместе пережить еще раз эту радость, но тут уж ребята воспротивились, почувствовав себя с этого часа окончательно взрослыми. Всегда покорный материной воле, Гринька теперь сказал, бася неровным, ломающимся голосом:

— Мам, мы немного погуляем, побудем тут. Ступайте, мам!

— Пойдем, Маша, — вздохнула Степанида, — пускай их погуляют. Глянь — мужики!

— Это твой Гринька — мужик, а мой как был сморчок, так сморчком и останется, — сказала Мария и, усмехнувшись, закончила: — От сморчка сморчки и родятся. Вылил, как каплю воды, в себя этот Непряхин! — говорила так, а глаза светились неизбывной, непреходящей нежностью.

Они пришли в Степанидину хижину вместе, не сговариваясь — не хотелось расстаться в тот вечер. Присели к столу. Степанида вышла на минуту в чуланчик, примыкавший к сеням, вернулась с бутылкой самогона.

— Да ты что это, Стеша, надумала?

— Ничего. День-то какой у нас!

— Фенюху бы позвать, — вспомнила Мария.

— А ты сбегай за ней, пока я спроворю яишенку.

Часом позже проходившие мимо Степанидиной избы люди с удивлением слышали, как из ее окон выплескивалось грустно-задумчивое:

Ивушка, ивушка, зеленая моя,
Что же ты, ивушка, незелена стоишь?
Иль частым дождиком бьет, сечет,
Иль под корешок ключева вода течет?

За окном, скрываясь у простенка, кто-то стоял. Степанида склонилась набок, запрокинув голову, пригляделась. Угадала:

— Антонина Непряхина затаилась.

— А в избу боится войти. Когда-то старшей подругой для нас с Феней была. Песню-то эту она, Антонина, заводила. Любила очень. Вот и пришла на наши голоса, укрылась у завалинки, а нет бы войти и подтянуть...

— Не войдет, не простит она тебе, Маша, вовек. Мы ить, бабы, за свово мужика... Это еще Антонина смирная, а то бы...

— Попробовала бы, — сказала Мария, сверкнув отчаянным своим оком.

Феня решила остановить их:

— Будя уж вам об этом, бабы. Не теребите своих ран — свежи они, не зажили.

Но Соловьевой уж вожжа под хвост попала:

— Удивляюсь я на тебя, Стеша. Скоко годов живешь без мужика — и ничего. Я б с ума сошла.

— Разные мы с тобой, Маша, — сказала Степанида и, обняв, приблизив к себе обеих, вновь затянула — тихо и печально:

Девица, девица, красавица-душа,
Что ты, девица, невесела сидишь.
Али ты, красавица, тужишь о чем.
Али сердце ноет по дружке милом?

Степанида спрашивала своим глухим, придавленным чем-то тяжелым голосом, а Феня и Мария отвечали — так же тихо и грустно:

Как же мне, девице, веселою-то быть?
Как же мне веселой быть и радошной?..
Что ж это у бабушки да выдумано,
У родимой матушки повыгадано?..
Знать, они, родимые, неправдою живут:
Меньшую сестру прежде замуж отдают!

Степанида, потеплев лицом, успокаивала:

Ивушка, ивушка, на воле расти,
Красавица девица, не плачь, не тужи!..
Не срубят ивушку под самый корешок,
Не разлюбит девушку миленький дружок!

Пропев это, примолкла, забеспокоилась:

— А не пойти ли нам, Мария, с тобою в клуб да не пригнать ли наших комсомолят домой? Долгонько что-то их нет.

— Куда они денутся. Придут, — сказала Феня, недовольная тем, что песня кончилась и надо собираться домой.

— Ишь ты как! — заметила Мария. — Бывало, не ждала, когда твой Филипп сам возвернется, бежала на гульбище и гнала его под свою крышу поскорее. Пойдем, Стеша, заодно вот и Фенюху проводим. Небось заждался ее там Белый-то, на стенку кидается...

— Ну и язычок у тебя, Маша! Ай завидки берут? — включившись в озорной тон подруги, спросила Феня.

— А то нет! Гляди, милая моя подруженька, как бы не отбила у тебя его. У меня это быстро...

— От тебя всего можно ожидать, — сказала Феня и, опасмурнев, быстро направилась к двери.

— Ну вот и пошутить уж нельзя! Нужон мне твой Авдей! Пущай Наденка Скворцова с тобой воюет, а я, коль охота будет, отыщу для себя какого-нибудь завалящего в другом месте, — спокойно объявила Мария, взяв Угрюмову под руку и возвращая на прежнее место. — На мой век их хватит...

— Немного что-то их валяется на дороге, — вздохнула Степанида.

— Ничего, я найду, — уверила Мария.

— И когда ты только уймешь себя, Маша! — сказала Феня. — Сын уж вон какой, постыдилась бы...

— Что-то ты не очень совестилась своего Филиппа, когда ухватилась за Авдея! — мгновенно и зло отпарировала Соловьева. — Сразу увела его у этой разини Надёнки. Тоже мне праведница отыскалась!

Феня, покраснев, промолчала.

Умолкла, смутившись немного, и Мария, которая, правду сказать, наговаривала на себя явно лишку: не такая уж она непутевая и агрессивная относительно чужих мужиков, какой себя выставляла на словах. Не помнили и не примечали завидовцы в последние годы, чтобы Мария принимала в своем доме кого-нибудь из мужчин или пыталась соблазнить, заманить в любовные свои силки. Наговаривала же на себя ско-

рее из врожденной дерзости, из желания замутить воду, растревожить, расковелить, взбудоражить счастливых своих односельчанок, вызвать у них волну лютой ревности и хоть таким образом поторжествовать, возвыситься над ними и приглушить немного неутихающую, вечно саднящую боль в своем сердце. Этим только и можно объяснить неслыханную даже для нее выходку, которую позволила себе Мария Соловьева на одном недавнем и, прямо скажем, необычном товарищеском суде, проходившем в Завидове.

Судились две женщины, по виду — ровесницы. Может, одна из них, что была подсудимой, выглядела чуть моложе и привлекательнее обличьем. Она обвинялась в том, что была захвачена истицей на месте преступления, за колхозной фермой, с животноводом — мужем истицы. На все вопросы председательствующего (им был Тимофей Непряхин, по причине своей инвалидности получивший эту общественную нагрузку, каковая, как потом выяснилось, была далеко не легкой), — так вот на все Тишкины вопросы относительно того, признает ли подсудимая себя виновной, последняя, уставясь в пол клуба, упрямо твердила:

— Не было этого. Все это выдумки, наговоры.

"Пострадавшая", окидывая разгневанным взглядом помещение, битком набитое завидовцами (первые ряды занимали женщины, а позади, скрываясь за густым облаком табачного дыма, приютились мужички), ища и призывая сочувствующих, во всю мочь, как умеют только разъяренные деревенские бабы, возглашала:

— Не было? Выдумки? Да я ж тебя... Вон тетенька Катерина Ступкина своими глазами видела! Что бельмы-то от людей прячешь?! Подыми, подыми бесстыжие свои глаза! Покажи их честному народу!..

— Отвечай, подсудимая, — тихо и грустно, явно жалея несчастную, сказал Тишка.

Женщина услышала его, подняла глаза, и из них сейчас же хлынули ручьями слезы. Она не успела вымолвить и слова, как рядом с ней оказалась величавая в крайней и безумной ярости своей Мария Соловьева. Обращаясь к подсудимой, вздымая грудь, заговорила:

— Да что ты оправдываешься перед ними, Ганя?! Хорошо им при мужьях-то живых. А ты разве виноватая, что твово убили?! Оставьте ее в покое! Что вцепились? А уж ежели вам так хочется, судите нас всех,

безмужних... — похабно-грешная усмешка кособоко прошлась по лицу ораторши. — Не упрячете и под семью замками своих мужей, из-под носа уведем. Так и знайте!

Басовитый мужской хохот грянул у задней стены клуба и громовым валом покатился на передние ряды, давя и заглушая бабий визг.

Мария же спокойно взяла подсудимую за руку и на глазах у невольно расступившейся толпы женщин, а также растерявшегося Тимофея Непряхина увела к выходу.

Сейчас, разговаривая с подругой, Федосья Леонтьевна вспомнила про этот случай, улыбнулась про себя, предложила совсем уж миролюбиво:

— Правда, бабы, пошли в клуб. И я с вами. Давно не была.

— Вот и хорошо! — обрадовалась Соловьева. — Поглядим на молодежь и свою молодость вспомним. Мы ить с тобой, Фенюха, вместе в комсомол-то вступали. Помнишь, поди?

— Еще бы! Помню, Машенька, все, как есть, помню! — взволнованно сказала Федосья Леонтьевна, ибо вспомнила не только день вступления в комсомол, но и тот час, ту минуту, когда ее взял под руку и увел из старенького нардома будущий испанский герой Филипп Иванович. Будто прозябнув, передернула плечами, заторопилась: — Ну пошли, пошли! Что же вы сидите!..

Не успели войти в клуб, как туда ласточкой влетела Катя Угрюмова, завертела головкой, запорхала глазами, наткнулась наконец на сидевших у стенки женщин, кинулась к старшей сестре:

— Да где же ты пропадала, нянь? Мы с дядей Авдеем все село обежали! Иди скорее домой!..

— Что, что случилось-то! — Феня схватилась за сердце. — Господи, да говори же ты скорее!

— Филипп приехал! — выпалила наконец Катя и, не дожидаясь сестры, вновь выпорхнула из клуба.

Феня хотела было побежать за нею, но ноги не слушались, — держась за сердце, рвавшееся из груди, медленно побрела домой. Счастье, коль оно велико и нагрянуло неожиданно, как и несчастье, способно сразить человека. Феня вошла в свою избу, ярко светившуюся всеми окнами, не прежде чем отдышалась, прислонившись правым боком к завалинке.

Вошла и не увидела никого, кроме своего сына, хотя за столом, накрытым, наверное, пришедшей сюда Аграфеной Ивановной, уже сидел добрый десяток других людей. Тут были и отец с матерью, и брат Павел с женой, и Авдей, и Тишка с Пишкою (не постеснялся прийти и этот, последний), и Апрель с Максимом Паклёниковым, и, конечно же, Архип Архипович Колымага, и, что должно было бы броситься хозяйке в глаза если не в первую, то, во всяком уж случае, во вторую очередь, Сергей Ветлугин. Но так, знать, устроены глаза матери, чтобы в такую минуту ничего и никого не видеть, окромя своего детища. Высоченный, подпиравший потолок своей головой, он вышел ей навстречу, обнял, приподнял с пола на уровень своего лица, поцеловал в мокрые щеки. Она, по-прежнему никого не замечая, разглядывая влажными, сверкающими глазами только его одного, глотая слезы, вымолвила наконец:

— Что же ты, сынок... что же не предупредил? Кто ж тебя привез-то? — А руки ее непроизвольно ощупывали золотые, с зеленой оторочкой погоны на прямых и широких его плечах.

— А зачем беспокоить? — отвечал он так же сбивчиво. — Приехал я на райкомовской машине. Товариц Кустовец дал. Да и ехал я один только до Саратова, а оттуда вот с ним... Да глянь-ка туда, мам! Неужели не видишь, это же дядя Сережа!

Федосья Леонтьевна замигала ресницами, смаргивая остаток слез, и теперь только прояснившимися и отрезвевшими вдруг глазами увидала всех сидевших и молча наблюдавших встречу матери со своим единственным сыном, не решаясь даже малейшим шорохом, неловким движением нарушить святость этого мгновения.

— Господи, совсем ослепла от радости! — произнесла она виноватым голосом. — Вы уж простите меня! И ты, Сережа, прости! Я бы все равно не узнала тебя. Где же твои погоны, где мундир?

— Распрощался я, Феня, и с мундиром, и с погонами. В запас ушел, — сказал он, обнимая ее за плечи.

— Зачем же? — спросила она, не в силах скрыть разочарования: он очень хорош был военным, к тому же — и это уж подсознательно — она полагала, что, будучи офицером, к тому же офицером старшим (Сергей писал как-то, что стал подполковником), он мог бы

лучше защитить, оборонить ее при всех превратностях часто горькой, круто присоленной ее судьбы. — Зачем ты уволился в запас? — переспросила она, сделав ударение на особенно не понравившемся ей слове "запас".

— Так нужно, Феня.

— Может, за провинность какую тебя?..

— Нет, — улыбнулся он, увидев тревогу в расширившихся и потемневших ее глазах. — Сам попросился. Другая струнка ворохнулась, зашевелилась у меня в груди, Феня. Я начал писать...

— Кому? Об чем? — живо и с еще большим беспокойством спросила она, не обращая внимания на то, что гости ее начали уже мало-помалу тяготиться затянувшимся разговором хозяйки с Ветлугиным. Пишка, так тот от нетерпения уже ерзал на лавке, приковавшись единственным своим глазом к раскрытой, но непочатой бутылке. Архип Колымага в ожидании прятал, грел, как воробышка, в своей лапище ненаполненный граненый стакан.

Сергей рассмеялся:

— Это, Феня, покамест секрет — кому и про что я пишу. Потом узнаете. Может быть, узнаете, — поправился он и заторопил хозяйку: — Принимай команду за своим столом, помогай матери. А то гости, видишь, заждались. Чего доброго, еще разбегутся...

— Ну этого с ними не случится, Сережа, — успокоила Феня, глянув почему-то на сидевших рядышком Тишку и Пишку, согласно и понимающе крякнувших под ее повеселевшим лукавым взглядом.

Ветлугин тоже оглядел Фениных гостей, отыскивая и не находя кого-то. Догадливый Максим Паклёников понял, кого именно, прокашлялся, но, так и не избавившись от хрипотцы, сказал:

— Не ищи, Серега, не найдешь, не узришь ты промеж нас дяди Коли, Николай Ермилыча... Нету его. Там он... — ткнул куда-то рукой, умолк.

— Вот как... — тяжело вырвалось у Сергея.

— Так-то, милый. И бабушка Орина убралась туда ж, вслед за своим Ермилычем, — сказал уж Апрель и предложил: — Может, перво-наперво помянем их, а потом уж и за гостей подымем лампадку. А? Хорошие были старики. Ну как вы?..

Апреля поддержали. Молча, не чокаясь, выпили за долгую память о дяде Коле, о верной его подруге, погрустили еще с минуту. Затем Авдей, взявший на себя обязанности виночерпия, налил каждому по полной. Сам же и провозгласил:

— За гостей наших! За Филиппа и Сергея!

Выпили. Мужики зашумели, а Федосья Леонтьевна отошла к матери, сидевшей в сторонке, державшей наготове уголок темного, в белую горошину платка, чтобы перехватить им сорвавшуюся ненароком слезу, обняла ее, а потом так и стояла рядом, легонько опершись на узкие и острые материны плечи и любуясь красавцем сыном издали. Филипп говорил о чем-то с Авдеем, оба улыбались, и этому, пожалуй, больше всего радовалась Феня.

— Ну, как живете, мужички? — спрашивал между тем Сергей, оглядывая и своих односельчан, и новую Фенину избу с холодильником и стиральной машиной по углам и с портретом Семена Михайловича Буденного рядом с образами святых (портрет этот принес из своего дома Авдей и сам выбрал для него место).

— Живем — хлеб жуем, в чужой рот не заглядываем! — первым отозвался Апрель. — Вот только давненько что-то снижения цен не было...

Максим Паклёников метнул в его сторону осуждающий взгляд:

— А на облигации ты подписываешься? Нету? То-то же. Тогда и помалкивай насчет снижениев. — Укротив таким образом Апреля, поставив его на место, спросил: — Ты, Сережа, через Москву ехал аль как?

— Через Москву. Мимо нее, дядя Максим, не проедешь. Иные такого кругаля дают, чтобы только глянуть на нее, Москву.

— Это я понимаю, — солидно согласился Максим — вкрадчиво: — Был на Красной-то площади, видал его?..

— Ленина?

— Ну, это само собой. Об этом нечего спрашивать, кто же уедет из Москвы, не повидавшись с дорогим, родным нашим Ильичем?! Я — в тридцатых годах это было — пять часов простоял в очереди, чтобы попасть в Мавзолей... Я тебя, Сережа, об другой могилке хотел спросить. Видал ли ты ее?

— Видал, дядя Максим.

За столом воцарилась тишина. Даже Пишка прекратил шпынять словами вновь покорившегося ему Тишку. Слушал напряженно, как и все.

— Ну и что же?.. — продолжал Паклёников. — Ухожена? Что на ней?

— Могилка как могилка. Ну бугорок. Плита мраморная. Все как положено, — ответил Сергей.

— Как положено... — повторил бессменный почтальон и добровольный финагент. — Допустим, — до-

бавил раздумчиво, следуя какой-то очень важной, по-видимому, и давно тяготившей его мысли. Поколебавшись немного, покосившись на покорно внимавшего ему Апреля, как бы призывая его в свидетели, заговорил: — Восейка мы вот с Артем Платонычем газету одну читали. И наткнулись своей тупой мозгой на такие, значит, слова: "великое десятилетие". Это как понимать, Сережа? Как же мы опосля этого окрестим те без малого тридцать шесть лет, какие прожили с Советской властью до этого, значит, великого? Что ж они, были так себе, тусклые, серенькие, те-то годы? Ни Октябрьской революции, какую на всей нашей земле-планиде и друзья и недруги наши называют не иначе как Великой? Ни гражданской войны? Ни первых пятилеток, какие надели на нашу матушку-Расею железную кольчугу? Ни коллективизации, какая перевернула вверх тормашками всю нашу селянскую жизнь и дала нам под зад такого пинка, что мы вперегонки с рабочим, значит, классом, севши на трактор да на автомобиль, двинулись к социализму? Ни Отечественной войны, стершей с земного лика этого сатану Гитлера, ни геройских подвигов миллионов наших сынов, в том числе моих близнецов-танкистов Ваньки и Петьки, заживо сгоревших в своем "Красном завидовце", купленном нами, стариками да женщинами, на последние гроши?.. Ничего, может быть, не было?! — Старик задохнулся, закашлялся, побагровел весь от натуги. Никто его не перебивал, хотя Федосье Леонтьевне и хотелось это сделать: во-первых, потому, что Паклёников, начав говорить, не скоро остановится и утомит гостей до смерти; во-вторых же, и главным образом потому, что боялась: своей речью старик может поставить в затруднительное положение Сергея, на лицо которого уже наплывала тень горечи. Но, видя, как все напряженно слушают, не отважилась остановить распалившегося старика. Однако, откашлявшись, он сам вдруг укоротил свою речь, заключив неожиданно спокойно: — С умом надоть все делать. Это ведь только неразумная мать с водою выплескивает и младенца. Мы так вот с кумом Артемом это дело понимаем, а вы, молодые, — Максим глянул и на Сергея, и на Филиппа, и на Павла, и на притулившуюся возле него Катю, — не знаем уж как, может, по-другому. Не знаем...

— Нет, дядя Максим, не одни вы с дядей Артемом так думаете.

— Хорошо, коли так, — сказал Максим, — а время, сынок, все расставит на свои места, как хорошая хо-

зяйка в своем доме. Приезжал ты к нам в сорок сёмом году, сам видал, что тут было. Поруха полная. Думалось, сто годов потребуется, чтобы стать на ноги. А видишь, что вышло? Тогда тебя привезли к нам на быках, а нынче? На легковушке! А быки сохранились разве что в ихней вот, — Максим кивнул в сторону хозяйки, — памяти. Нету давно уж ни Солдата Бесхвостого, ни Мычалки, ни Рыжего, ни Цветка, ни Веселого. А есть в колхозе восемь грузовых машин, два молоковоза, бензовоз, двадцать тракторов, семь комбайнов и десятки других разных машин: сеялок, культиваторов и прочая. Сам иной раз удивляешься: откель взялось все это?

Чтобы, верно, подзадорить старика, Сергей сказал:

— Ну вот, а ты еще возмущаешься, зачем последнее десятилетие названо в газете великим?

Максим взбунтовался:

— Умный навроде, ученый ты человек, Серега, а понять меня правильно не смог. Я не супротив того, чтобы и эти десять лет назывались великими. Они и в самом деле великие, как каждый прожитый нами год за всю историю Советской власти. Каждый из них по-своему велик, каждый дается нам с бою...

— А ты, дядя Максим, вижу, сделался настоящим политиком, — улыбнулся Сергей и предложил:—Давайте, товарищи, выпьем за здоровье дяди Максима!

Паклёников усмехнулся:

— Моему здоровью твой, Сережа, тост едва ли поможет. Иду — скриплю, как старая, рассохшаяся телега, в коленках, во всех суставах стреляет, как из ливорверта. И глаза, почесть, ни хренинушки не видят...

— Ну, насчет глаз... — Апрель зашевелил усами, — насчет глаз ты зря, кум... Они у тебя ищо зоркие. Увидал днями Марею Соловьеву, — мы с Максимом на бревнышке по стариковской привычке у него дома сидели, толкли словесную воду в ступе, — а Марея мимо проходила... Увидал он ее да и говорит: "Эко добра-то у этой Соловьихи, что сзаду, что спереду..." Вот те и слепой!

За здоровье Паклёникова все-таки выпили, посмеявшись, конечно, над его сомнительной слепотой. Поговорили для облегчения душ еще о том о сем, больше пустяшном и забавном. Кто-то первый спохватился, что пора бы уж оставить хозяйку одну с сыном, и подал соответствующий знак. Покинули избу Угрюмовой дружно, в сенях только замешкались, толклись, отяжелевшие, не находя двери. Пишка, воспользовав-

шись затором, этой пробкой, ухватив Тишку за парализованную руку, как за поводок, вернул его к столу, выпил с ним остаток водки и только потом уж удалился, подталкивая впереди себя малость упиравшегося Непряхина и внушая:

— Иди, иди, Тиша, ни капелюшки там не осталось. Сам проверил. Так что иди и не оглядывайся, не брыкайся, как козел!

26

Авдей увел Сергея к своей матери, зная, что сейчас это не огорчит Феню. А она, оставшись с Филиппом одна и наговорившись с ним всласть, уложила его на своей кровати, а сама присела рядышком на стуле, точь-в-точь как когда-то Аграфена Ивановна возле Гриши, явившегося со своей частью на постой в Завидово после Сталинградской битвы. Хоть Феня и не сомкнула глаз своих во всю ту ночь, но поутру чувствовала себя совершенно свежей и легкой. Неслышно носилась по задней избе — готовила дорогому гостю завтрак, отпорола от мундира подворотничок, выстирала его, отутюжила и вновь подшила; подоила корову (дали Федосье Леонтьевне по решению правления колхоза корову после того, как пала ее собственная), согнала и ее и овец в стадо, поделилась на выгоне своей радостью с односельчанками, принесла из родника воды, подогрела ее, вымыла полы, прибралась, и у ней еще оставался целый час, чтобы тихо посидеть у изголовья сына и полюбоваться его мужественным лицом, на которое уже пали лучи восходящего солнца. Она сидела, замерев, боясь спугнуть сладкий его зоревой сон, ждала, когда сам он разомкнет веки, дрогнет ресницами и улыбнется ей.

После завтрака Филипп попросил:

— Возьми меня, мам, в поле. Хочу на тракторе посидеть.

— Поедем, сейчас же поедем, сынок. Она небось прослышала и теперь ждет. Сердечушко-то, поди, колотится, как овечий хвост. Ты что же, сынок, так редко пишешь ей?

— Да некогда, мам. Знаешь, какая программа в училище!

— Ты любишь Таню?

Филипп смущенно засопел, торопливо прилаживая на себе доармейских времен костюм — старенький, ра-

бочий, хранивший масляные пятна и степные, никакими ветрами не выветриваемые запахи и вернувший его сразу на несколько лет назад, в пору юности.

— Любишь, что ли? — повторила мать.

— Ну, мам, зачем ты?.. Кабы не любил...

— Ну а коли любишь, коли дорога она тебе, — пиши. На чем угодно, сынок, экономь свое время, только не на этом. Любовь, она такая, она, Филюшенька, требует внимания. Раз не ответил на Танюшино письмо, другой раз, — она и призадумается. И всякое может случиться. Девичье сердце ранимо. Может с досады и на другого перекинуться...

Филипп насторожился:

— Что?.. Может, уже...

— Нет, сынок, она лучше тебя. Верит и ждет. Собирайся скорее, да поедем в поле. Вон уж Авдей Петрович с Сережей на председателевом "газике" подкатили. Точка, знать, дал, наш новый хозяин. Для тебя, поди, специально... Только ты, сынок, гражданское-то сыми с себя. Надень военное — пусть поглядят люди, какой ты у меня. И Танюша пускай посмотрит. Она у нас теперь комсомольский вожак — такая хлопотунья, что никому покою не дает: ни себе, ни своим комсомольцам, ни Точке, ни Настасье Шпичихе, которую в партийные секретари выбрали...

— А ты-то, мать, не вступила в партию? — спросил Филипп, переодеваясь в военное.

— Что ты, сынок! Куда мне с моими-то... — хотела сказать "грехами", да вовремя вспомнила, что перед ней сын, на ходу перестроилась: — ...с моими-то тремя классами. Партии грамотные люди нужны.

— Ну это ты зря, мам, — сказал он и, не уточняя, почему "зря", заторопился: — Я готов. Пошли!

Уже в поле она спросила:

— Не разучился? Не забыл, как трактором-то управлять?

— Нет, мам, не разучился. Я ведь и на своей погранзаставе водителем бронетранспортера был. Так что...

— Ну хорошо.

Все-таки переодевшись в будке в Авдеев комбинезон, весь день управлял он машиной Тани и Нины. Последняя, увидав поутру приближающегося к их трактору молодого офицера и признав в нем Филиппа, шмыгнула, поздоровавшись на бегу, мимо него и укрылась на стане. Ее напарница не покинула трактора, сидела все время рядом с Филиппом, прислонившись к нему худеньким плечиком и изредка взглядывая в его

буреющее от пыли и от этого еще более родное для нее лицо. Там, где борозда была прямой, на рычагах оставалась одна его рука, а другая бережно обнимала девушку. Трижды уже старая повариха, Катерина Ступкина, подымала красный флаг и ударяла в висевший у будки рельс, скликая пахарей к обеду, — все собрались, кроме этих двоих. Отчаявшись приманить и их, старуха махнула рукой:

— Их теперь никакая сила не пригонит сюда! — И, вспомнив, должно быть, что-то свое, далекое, просторно развела руки: — Молодость, она и есть молодость. Садитесь, бабы! И вы, мужики! Ты, Серега, тоже пожалуй-ка к столу, не стесняйся. Тут все свои. И ты нам не чужой. Присаживайся, родимый. Отведай моих щец. Скусные, право слово! Таких ты в городе не испробуешь. Наваристее и скуснее наших-то, завидовских, во всем белом свете не сыщешь. Точка не жалеет баранинки для наших пахарей. Он у нас молодец, новый-то председатель. Не такой скупой, как вон Фенюхин батюшка. У того, бывало, в ногах валяешься, чтобы отпустил какой-никакой кусок несвежей говядины...

— Да время-то было другое, тетенька Катерина, — вступилась за Леонтия Сидоровича его дочь, — бедные мы были тогда...

— Молчи, Фенюха...

— Брось уж ты, тетенька! Критиковать мы все мастера!

— А я, Фенюшка, и не критикую. Я правду говорю.

Сергей, Авдей, Павел и увязавшийся за ними в степь Тишка рассмеялись, а Феня покорилась:

— Разве тебя переспоришь, Катерина? Наливай твоих хваленых щей.

— Не я их, они сами себя похвалят. Давай-ка твою миску, бригадирша. Тебе за троих придется есть: и за себя, и за сына, и за будущую сноху. Аль, может, уж запой ночень был? Сосватала, может?

— Нет еще, тетенька Катерина. Говорит, вернется на свою заставу, оглядится малость, тогда уж и приедет за ней.

— Пущай не тянет резину-то, — сурово сказала повариха, — упустит девку, а ей цены нету. И сердечко у ней, Танюшки, золотое и руки. Глянь, как она всех вокруг расшевелила! Санька Шпич и тот побаивается этой девчонки. Вот она у нас какая, Танюшка!

Сергей Ветлугин слушал старую, смотрел то на нее, то на продубленное степными ветрами, строгое, как на иконе, лицо Фени, на молчаливую Степаниду, на

Марию Соловьеву, упрямо смотревшую на него и загадочно ухмыляющуюся, на Нину Непряхину, выглянувшую наконец из будки и прихорашивавшуюся перед врезанным в стенку полевого жилья зеркальцем, — глядел на них и чувствовал, как влажная теплота подкатывает к глазам, а на сердце уже пробудились и звучали давно когда-то запавшие туда строчки:

Мы о вас напишем сочиненья,
Полные любви и удивленья...

"Когда же и кто напишет их, эти сочиненья? Пора бы уж! — думал он. — Ведь мы там, на фронте, одержали лишь военную победу. Остальное делали и делают они, вот эти русские бабы. Где, в какой еще стране отыщете вы таких!.."

Екатерина Ступкина, видя, что он не прикоснулся к еде, сказала ревниво:

— Ай не понравились? Да ты только испробуй — за уши не оттащишь. Поешь, родимый. Говорю, в городе такие никто тебе не сварит. Похлебай — не раз вспомянешь потом тетеньку Катерину.

— Я и так о вас часто вспоминаю! — сказал он странным для них, необычно взволнованным голосом и склонился над алюминиевой миской.

— Хорошо, — заключила повариха и тоже примолкла.

Слышалось лишь, как мягко стукались о дно мисок деревянные ложки, звонко прихлебывали, обжигая губы.

Филипп и Таня подошли к стану, когда другие уж пообедали и прилегли в будке на час отдохнуть. Сами обследовали кухонный котел, подогрели остывшие щи. Филипп налил сперва Тане, потом себе, уселся напротив и принялся хлебать, то и дело взглядывая на подружку, встречаясь всякий раз с ее ожидающим, исподлобья сияющим взглядом. Вечером они не позволили сменить себя — остались с трактором в поле на всю ночь. Лишь к десяти утра вернулся Филипп домой — усталый и счастливый. Мать сливала ему на шею холодную, только что принесенную от родника воду, глядела, как стекала она шустрым ручьем по ложбинке меж широких, шевелившихся от щекотки и холода лопаток.

— Ну хватит, мам! — просил он, отфыркиваясь и встряхивая белыми кудрями.

— Еще ковшичек... Дай-ка я сама намылю... Вот тут

еще пятнышко, — говорила она, не желая отпускать от себя сына. Отошла лишь тогда, когда он, как молодой бугай, боднул головой и выпрямился во весь свой великанский рост.

Позавтракав, собирался уж завалиться на боковую, но вспомнил вдруг, что не распаковал и не показал еще матери свой подарок. Хотел это сделать вчера, да помешали гости. Феня видела в чулане какой-то ящик, но не решилась спросить у сына, что в нем. Теперь Филипп внес его в избу, поставил на стол и начал осторожно распаковывать.

— Батюшки родимые! — ахнула она. — Телевизор! Дорогой-то, поди, какой! Зачем ты, сыночка? Деньги бы приберег для себя... Скоро своей семьей обзаведешься... — говорила так, а глаз не спускала с неслыханного подарка: ведь в Завидове на ту пору было всего только два телевизора — у Точки да Шпича.

— Ничего, мам! Пускай теперь весь белый свет придет в твою избу. Ты, мам, заслужила! Гляди сама, приглашай тетю Машу, Степаниду Лукьяновну. Смотрите, отдыхайте. Помаялись с колхозными телятами да поросятами в своих избах — хватит! Пора и вам пожить по-человечески... Да ты что плачешь-то, мам? Это на тебя не похоже... Вот так Неплакучая!..

— Я так... так, сынок, от радости... я сейчас... — Она отвернулась, досуха вытерла глаза, щеки — оглянулась уже улыбающаяся и вся какая-то светящаяся. — Кто ж мне его установит-то, Филюша? Нету у нас своего мастера, в район надо посылать за ним...

— А я, а Авдей Петрович? Разве мы не мастера? Он — механик, да и я кое-что кумекаю в технике.

— Не в этой же?

— Невелика премудрость. Как-нибудь обмозгуем. Инструкция поможет. Вот она, на месте.

Две недели, пока Филипп и его дядя Сергей находились в Завидове, изба Федосьи Леонтьевны Угрюмовой была нечто вроде клубного филиала: с вечера в нее набивалось полным-полно народа, так что хозяйка с трудом протискивалась из задней избы в переднюю, где был установлен телевизор. Призывая друг дружку сохранять тишину, нетерпеливые, горячие зрители шумели все разом, мешая слушать передачи. Особенно шумливы были старики — Максим Паклёников и Апрель. "Вот бы поднять сейчас Николая Ермилыча!" — восклицал почтальон. "Аль его Орину — то-то бы подивились!" — подхватывал Апрель, ахая и охая, дивуясь на возникшее перед их очами чудо. Архип Архипович

Колымага с трудом удерживался, чтобы не наградить того и другого увесистой оплеухой. Ограничивался в конце концов грозным окриком:

— Да вы когда-нибудь замолчите аль нет?! Сейчас схвачу за воротники, дам под зад коленкой, и вылетите на двор как миленькие!

Угроза действовала: старики умолкали, но ненадолго.

— Кляпом, что ли, позатыкать вам рты? — раздумчиво обронил Пишка, вонзившись острым, ястребиным своим глазом в миловидное личико лопочущей что-то дикторши. — На фронте с немецкими "языками" так поступали... Сунь им, Колымага, в подбородок, может, сами прикусят свои языки...

— Да что вы на них напали! — вступалась хозяйка. — Пускай пошумят, порадуются. Отродясь ничего подобного не видали, шутка ли!

В следующую ночь старики обещали молчать, но не сдерживали своего обещания — то было уж за пределами их власти над собой.

Скоро Филипп и Сергей Ветлугин уехали — первый на свою далекую границу, а второй в Москву, где теперь работал и жил с небольшой своей семьей. Посетителей Фениного "филиала" сильно поубавилось почему-то. Потому, может, что сразу же по отъезду гостей Авдотья Степановна, мать Авдея, и его неразоружившаяся теща Матрена Дивеевна Штопалиха возобновили свои атаки на влюбленных, атаки куда более яростные и настойчивые, нежели прежние.

Фене, начавшей было понемногу привыкать к своему счастью, которого сперва она чуток побаивалась, пришлось опять, собрав все душевные силы, принять бой. Однажды, затравленная бесконечными преследованиями, доведенная до отчаяния, она, улучив момент, когда главные ее гонительницы собрались в Штопалихином доме, сама пришла к ним, встала, мертвенно-бледная, помушневшая, у порога, спросила хриплым, едва слышимым голосом:

— Вы долго еще будете мучить меня? Может, оставите наконец нас в покое?

Штопалиха, ее дочь, пришедшая из правления на обед, Авдотья Степановна какое-то время глядели на нее остолбенело. Первой пришла в себя Авдотья Степановна:

— Не оставим. Не жди. Ишь чего захотела?!

— Чего я захотела? — Федосья Леонтьевна поглядела на Авдотью грустно и почти кротко. — Чего? — переспросила и, переведя дыхание, вымолвила уже твердо: - Никому я его не отдам. Так и знайте! Поймите же, бабы, один он у меня теперь остался! Один! Как же...

— И у меня он один, — сказала Авдотья Степановна. — Один-разъединственный!

— И у Надёнки моей он один, — включилась Штопалиха.

— Ну что же нам делать? — спросила Феня как бы уж примиряюще. — Как же нам поделить его? Не разрубать же на части? Кому голову, кому ноги, кому еще что?.. — Она печально улыбнулась.

— Верни ей законного мужа, — Авдотья Степановна кивнула в сторону Надёнки, которая ушла к судной лавке и делала вид, будто все, о чем тут говорилось сейчас, ее не касается, — приканчивала там какую-то еду.

— Сказала, этого никогда не будет! — чуть ли не вскричала Феня. — Слышите? Не б у д е т этого. Никогда! — И, повернувшись, шаркнула дверью так, что задребезжали стекла в окнах. Придя, однако, домой и увидев там Авдея, неожиданно даже для себя, сказала ему злобно и решительно:

— Собирай свои манатки, разлюбезный ухажер, и уходи из моего дома. И больше чтобы...

— Да ты что, Фень?.. Какая тебя муха укусила? Ты что это?

— Уматывай, говорю, и чтобы духу твоего тут не было! — кричала она, бешено вращая покрасневшими белками глаз.

— Я уйду, — сказал он, подымаясь из-за стола и нехорошо улыбаясь, — но ведь я могу уйти навсегда. Ты подумала об этом?

— Подумала, — сказала она твердо.

А когда он ушел, вбежала в горницу, со всего размаху грянулась об пол, рвала на себе волосы, терзала себя, причитая:

— Что... что я наделала?.. Что?! Авдей, родненький мой, не слушал бы ты меня? Господи, да что же я натворила?!

Трое суток трактористки не видели на поле своей бригадирши, которая обычно приходила туда раньше всех. Притихли, пригорюнились девчата, особенно Таня, маясь в догадках, что же могло случиться с их железной руководительницей. Не отважились спросить об

этом, когда на четвертые сутки она сама объявилась и как ни в чем не бывало принялась за дело. Только темные круги под утонувшими в крутых дугах бровей глазами могли указать на душевные ее терзания. Она спросила:

— Механик приезжал в нашу бригаду?

— Приезжал, теть Феня! — быстро ответила Таня. — А сейчас Авдей Петрович поехал получать новые трактора для нас, теть Фень!

— Ну, ну, — кивнула она.

И жизнь опять потекла по определенному, привычному руслу. И принесенная Пишкою новость (он не поленился и прискакал на стан специально для того, чтобы поведать ее Федосье Леонтьевне), сообщение о том, что Авдей вновь, назло ей, Фене, вернулся к законной жене, то есть к Надёнке Скворцовой, не смогла вышибить Угрюмову из этого спокойного, по крайней мере на вид, русла, из этой хорошо освоенной ее душой колеи. В самую горькую и тяжкую минуту, когда она металась на полу в несвойственной для нее истерике, когда готова уж была принять крайнее решение, Феня вспомнила вдруг, что не один он у нее, Авдей, что не сошелся на нем свет клином, что рано еще небо показалось ей с овчинку, что остался еще Филипп, ее сын, единственный до конца ее дней, — как же она могла забыть про то! Вот тогда-то она перестала истязать себя, быстро поднялась с пола, внутренне подобралась, подошла к зеркалу и не спеша стала причесываться, — темными, переливающимися волнами растекались ее длинные волосы по плечам и спине. На нее в упор смотрели строгие, посиневшие до черни и осуждающие ее же саму глаза. Знакомая, упругая сила, возвращаясь, наполняла ее. Такою, готовой к действию, к сумасшедшей работе, и увидали Федосью вновь в бригаде.

В тот день она почти не отходила от Тани, часами, точно инструктор, просиживала рядом с нею на ее тракторе, а ночью, когда улеглись по обыкновению рядышком в будке, попросила, но так, что это было уже приказом:

— Завтра, Танюша, складывай в узелок свои пожитки и перебирайся ко мне. Нечего тебе в твоей сиротской конуре торчать. Филипп велел, — добавила она для вящей убедительности, полагая, что ей простится эта маленькая неправда.

Таня, не в силах вымолвить словечка, ткнулась

мокрым, зашмыгавшим носом в теть Фенину подмышку.

На следующий день, вечером, вернувшись с работы, они вместе перенесли Танино "приданое", поместившееся в одном узелке и крохотном, чуть побольше дамской сумочки, чемодане, в Федосьину избу. Наутро с благословения председателя колхоза Точки Павел Угрюмов подцепил бульдозером Танину халупу под старые немощные ребра и в один час стер ее с земного лика. На далекую заставу полетело к Филиппу письмо, строго и сурово излагавшее материну волю. Через месяц пришло ответное, которым Таня вызывалась на границу. Огорченная малость тем, что не пришлось сыграть свадьбу у себя дома, Феня проводила невестку до самого аж Саратова; Точка ссудил им для этого свой "газик", заметив лишь нарочито сердито:

— Охраняйте только там нас лучше, надежней. Глядите в оба. У нас тут дел — во! — и он чиркнул ребром ладони по своему выпятившемуся острым клином кадыку.

— Хорошо, дядь Витя! — сказала Таня, покраснев.

— Жаль мне отпускать тебя, Танек. Где найдем мы тебе замену и на тракторе, и в комсомольской организации? Настёнка за голову схватилась, когда узнала...

— Найдете, Виктор Лазаревич! — звонко кричала она, уже сидя в машине, рядом с водителем, которым вызвался быть в этот раз Павел Угрюмов, могущий в любой час с трактора пересесть на комбайн, с комбайна на автомобиль, как, впрочем, и большинство завидовских работяг-механизаторов.

— Что поделаешь! — сказал напоследок председатель. — Придется искать. Точка. А ну высунь мордашку-то свою, дай поцелую, пока моя Запятая не видит. Жуть ревнива, черти ее задери!.. Ну а теперь мчись, Танек, кланяйся там от всех нас Филиппу. Скажи, что мы сейчас покрепче стоим на родной для него завидовской земле. Счастья тебе, Танек, с Филиппом, долгого и прочного. Приезжайте, не забывайте родимых краев.

Стоявшая в сторонке Аграфена Ивановна наказывала сыну и старшей дочери:

— На обратном-то пути к тетеньке Анне загляните. Совсем плоха, слышь, стала. Проведайте — как там и что с ней.

— Проведаем, мама. Непременно! — крикнула Феня уже с покатившейся по улице машины.

— Куда денешься! Время не чарочка-каток. Оно, милый, не покатится к тебе в роток, — изрек как-то склонный к философскому мудрствованию в стремительно летевшие под гору свои лета Максим Паклёников, поучая озорного, так и застрявшего где-то по пути в своем росте Миньку Соловьева, не замечавшего своих лет, нередко забавы ради хаживавшего с ватагою малолетней ребятни в чужие сады и огороды. — Тебе, Михайла, уже вон какой годок пошел, а ты все еще потелячьи хвост морковкой держишь. Слов нет, тракторист из тебя вышел добрый, не хужее, чем из твоего дружка-приятеля Гриньки, а в поведении, как была у тебя в школе двойка, так и...

— Четверка, — обиженно буркнул Минька, свесив перед стариком чернокудрую голову.

— Ты мне не перечь, — шумнул на него старик, — я знаю, что говорю. Ежли учителка ставит четверку по твоему поведению, значит, ты, Минь, и двойки не заслужил. Четверка тут — форменная приписка, чтобы тебя, шалопая, не оставлять из-за этого самого поведения на второй год. Можа, не так?

Минька молчал, пряча плутоватые, шустрые как у хорька, глаза, покорно ожидая, когда старый Паклёников прочтет свою проповедь до конца и, смилостивившись, отпустит его с богом. Минька привык к стариковским поучениям, выслушивал их обычно молча и терпеливо, изобразивши на плутоватом своем лице знаки исключительной почтительности, а потому и был любим дедами. Так же вот недавно стоял он перед бывшим председателем Леонтием Сидоровичем, добровольно возложившим на себя обязанности полевода и строго следившим за тем, чтобы молодые трактористы пахали как положено, не портили земли. Он мог появиться на поле в самое неподходящее время, тогда, когда его никто не ждал, как это и случилось прошлым утром.

По зяблевому полю, отбрасывая впереди себя неяркий свет фар, один за другим ползли тракторы.Это ночная смена, в основном — молодежь, из ветеранов был лишь Павел Угрюмов. Гринька, как всегда, держался за Минькой и чуть было не наехал на его плуг, потому что дружок почему-то вдруг остановился.

— Чего встали? — окликнул их сзади Павел.

— Минька перекур объявил! — весело ответил из темноты Гринька.

— Никаких перекуров! — закричал Павел.

— Тоже мне бригадир отыскался! — откликнулась обиженно темень голосом Миньки. — Что же мне, в штаны?..

— Это уж твое дело, — резонно заметил Павел, — помни только, к утру, до пересменки, мы должны закончить этот клин.

— Без тебя знаю. От сестрицы, поди, научился командовать! — в последний раз огрызнулся без особой, впрочем, злости Минька.

А поутру все они были уравнены общим нагоняем. Свалился как снег на голову Леонтий Сидорович Угрюмов, прошелся по борозде, примерился четвертями, крякнул и взмахом руки, точно граблями, подгреб к себе всю троицу, приготовившуюся было "зашабашить", то есть смениться и задать в будке веселенького храпачка.

— Михаил, ты комсомолец? — осведомился старик совсем вроде по-доброму.

— Комсомолец, дядь Лень! — охотно ответил не подозревавший стариковского коварства Минька.

— А ты, Григорий? — глянул Угрюмов-старший на предлинного юношу.

— И я тоже. Нас, дядь Лень, вместе с Минькой приняли...

— А вот и зря. Завтра же поставлю вопрос, чтобы вас поганой метлой вымели из комсомола, — голос старика окреп, озвученный металлом, загудел прежним, председательским, басом. — За что, спросите?.. Да за воровство! Нет, не за воровство — за грабеж со взломом!..

Ребята хмыкнули. Старик грозно одернул их:

— Что скалитесь? Думаете, шутит старый Левонтий или из ума вышел? Нет, голубчики, покамест еще в полном разуме он. И не до шуток ему. Да, да, воры вы и грабители!..

— Да кого же это они ограбили? — вступился за младших своих товарищей Павел. — Что ты говоришь, тять?

— А ты помалкивай. И не отделяй себя от них, — остановил сына Леонтий Сидорович. — Кого, спрашиваешь, ограбили? Да всех! И страну, и своих односельчанов, да и самих себя — всех как есть! Но это было бы еще полбеды. То, что вы обкрадываете нас, живущих вместе с вами, нехорошо, подло с вашей стороны. Но вы запустили руку в карман и к тем, которых еще нету

на свете, которым еще предстоит когда-то родиться — завтра, через год, через сто лет...

— Что же, так всех мы их и ограбили? Что-то, дядь Лень, я не пойму... — потерянно обронил Минька.

— Глупый, потому и не понимаешь, — сказал старик уже потише, только с нескрываемой тихой горечью в голосе. — Поглядите, мошенники, что вы наделали за эту ночь! Кто же запускает так глыбко лемеха? Вы ведь мертвую глину вывернули наверх и забалили ею, похоронили заживо детородящую почву, то есть испортили вконец нашу кормилицу землю, какая досталась всем нам даром на вечные времена как неделимый фонд для всех поколений людей. Молчите?.. Стыдно?.. Ну простил бы я еще вот их, Миньку и Гриньку, — молоды и дурные по молодости. Но ты-то, Пашка, куда глядел?! Почему не остановил трактора, не отладил плуга?.. А еще в партию собрался вступать!.. Нынче же предупрежу всех, чтобы не давали рекомендаций!.. — Сказав это и оставив пахарей в крайнем замешательстве, старик удалился; долго еще перед их пригорюнившимися очами маячила его сутулая, широкая и сердитая спина.

В комсомоле Гринька и Минька, конечно, остались, хотя и получили там дополнительную баню. А Павел долго еще не решался просить о рекомендациях в партию. Старики, однако, продолжали следить за каждым шагом молодых завидовцев и корректировать его с высот своего житейского опыта. Следующее нападение на Миньку и Гриньку совершила Штопалиха.

Было это в воскресенье. Минька и Гринька, передав тракторы сменщикам, вернулись домой, принарядились и теперь прогуливались по Завидову. Оба в клетчатых рубахах, входивших тогда в моду и завязанных где-то у пупка узлом, с настежь распахнутыми воротниками и расстегнутыми пуговицами, беспечно шествовали по улице. Гринька, длинный и сухой, как колодезный журавель, нес свою маленькую голову где-то высоко над кучерявой и оттого казавшейся большой головой низкорослого Миньки, у которого на перекинутом через шею ремне висел, елозя по животу, новенький транзистор. Включенный на полную мощность, он издавал какие-то ужасные, оскорбляющие человеческую душу, терзающие слух кошачьи звуки. Минька весело приборматывал тоненьким, почти девичьим голоском:

— Там-там, та-ра-рам.

Гринька подставлял под этот тенорок свой не вполне оформившийся бас:

— Пом-пам, пом-пам, пам-пам-пам...

В эту-то веселую для них, без единого облачка на сердце, минуту и выступила на сцену, то есть на улицу, Матрена Дивеевна Штопалиха. Попросила:

— Погодите, ребята.

— Что, теть Матрена? — Гринька, добрый и, как известно, мягкий по характеру, первым подошел к старухе. Дождавшись, когда подойдет и тот, с этой горластой штукой на голом пузе, старуха спокойно и убежденно объявила:

— А ведь вас, милые, надо судить!

— Вот те раз! И эта туда же... Да вы что, сговорились с Леонтием Сидоровичем? За что же, теть Матрена, судить? — спросил на всякий случай Минька, поигрывая черными глазами.

— За что? — точно эхо, повторил Гринька.

— За радиохулиганство — вот за что! — выпалила в сердцах Штопалиха. — Приобрели где-то энту вон штуковину, базаните на чем свет стоит, теперя от вас всему Завидову спокою не будет. Нешто так можно! Понакупили... деньги, знать, у вас бешеные завелись. На сберкнижку бы про черный день положили, а вы транжирите... Ночесь, слушаю, — гыр-гыр-гыр. И днем — опять то же...

— Ночью нас не было, теть Матрена.

— Аль вы одни такие! Полно село теперь этих гыркалок. Только было прилегла с устатку...

— Воскресенье же сегодня, выходной...

— Ну так что ж, что выходной? В выходной-то только бы и отдохнуть, а вы...

— Что — мы? — спросил озорной Минька.

— Что — мы? — повторил за ним Гринька.

— Хорошо, ребятки, когда все в норме. — Штопалиха критически осмотрела их, поморщилась. — Что пупки-то выставили, бесстыжие ваши зенки? И штаны — в обтяжку, как только втиснули вас в них! Все как есть выпирает... глазыньки бы мои не глядели. А небось к девчатам трапитесь?

— К девчатам, тетенька Матрена. Это вы в самую точку.

— Точку нашего теперя днем с огнем не сыщешь. Было две бригады, а сейчас аж шесть подстегнули к нашему колхозу. Тоже, видать, меры не знают с энтими укрупнениями. Мотается, сердешный, цельными днями

по шести-то деревням, ни сна, ни отдыха не знает. Домотается, останется одна Запятая от Точки этого...

— Да я не про председателя говорю! — засмеялся Минька.

— А я про него... К девчатам, значит?

— К ним, — подтвердил Минька и, ухмыльнувшись, добавил: — А насчет нормы... это вы своей Надёнке скажите. Мини-юбка на ней явно не по норме. А она ведь давно замужняя. Могла бы и...

— Могла бы, — согласилась, не дослушав, Штопалиха, — да ума-то у нее нету, так же вот, как у вас. И чего это воинский начальник глядит — давно б в армию, лоботрясов!

— Это мы-то лоботрясы?

— Вы. Кто ж еще?

— Ну ты, тетенька Матрена, тоже не переработала. Вон шея-то у тебя какая толстая...

— О моей шее, ребятишки, лучше помалкивайте. Долго вам еще на материных шеях сидеть...

— Мы ни на чьих шеях не сидим, — осерчал Минька. — И лоботрясами ты зря нас обозвала, тетенька Матрена. Видала, что в районной газете про нас с Гринькой написано?

— Не читаю я вашей газеты, Миня. Очков вон во всей области не сыщешь. Разучились, знать, делать их. В космос, в самые аж небеса, научились летать, корабли разные, поднебесные, строить, а с очками пром... пром... промблема выходит. А глаза у меня старые, без очков ничегошеньки не вижу ими, корову и то дою на ощупь.. Ну, робятки, уходите, Христа ради, подале от моего дома. Дайте старухе покою.

— Очки мы тебе раздобудем, тетенька Матрена!

Минька и Гринька, обнявшись, пошагали дальше Заглушая поросячье повизгивание транзистора, запели старую рекрутскую песню:

Рекруты гуляют гоже,
А я, мальчик, с ними тоже.

Запевал Минька, Гринька — со своим басом — на поддержке:

Рекруты вы, рекруточки,
Ва-а-ам — последние денечки-и-и.

Прекратив пение, кого-то окликнули:

— Эй, Мить! Пошли в Кологривовку — там свадьба.

Маньку Егорову просватали! Пойдем — глянем на нее в последний раз!

"Воинский начальник", то есть райвоенком, помнил про свои обязанности не хуже старой Штопалихи. Осенью Гриньку, его друга Миньку и еще с десяток парней из Завидова призвали в армию — "забрили", как констатировала настоящий факт Матрена Дивеевна, прослышав об этом событии. В последний день проводов, занявших, как это и бывает на селе, около двух недель, беседуя чинно-мирно с представителем военкомата, приехавшим для сопровождения завтрашних воинов, Мария Соловьева не удержалась все-таки, чтобы не напомнить ему:

— Берите наших соколят. Одни мы, бабы, без мужьев, взрастили вам новых солдат. Воюйте, коли опять придет к нашему порогу такая беда. Минька и Гринька, сынки наши, не подведут. Правда, Стеша?

Та закивала головой — сказать ничего не смогла, поднесла опять — в какой уж раз за эти две недели! — угол платка к глазам.

У Дальнего переезда, где остановились грузовики с провожающими, чтобы распрощаться с "рекрутами", объявились Тимофей Непряхин и Архип Колымага. Они находились тут, точно в засаде, с самого утра, ждали. Тишка, озираясь, посматривая, нет ли среди провожающих Антонины или кого-либо из его дочерей, подошел к Миньке, а Колымага — к Гриньке. Лесник развернул пакетик, показал новенькую, последней конструкции, электробритву, заговорил необычайно взволнованно:

— Это тебе, Григорий. Подарок...

— От кого? Зачем? — перебил его Гринька, вопросительно глядя то на лесника, то на свою приемную мать, не зная, как ему поступить...

— Бери, бери! — настойчиво продолжал Колымага, силой всовывая коробок в Гринькины руки. — В солдатской жизни пригодится.

— Возьми, сынок, — сказала мать, — не обижай старика.

— Да ведь дорогой уж очень подарок-то, дядя Архип!

— Бери... дядя Архип не самый бедный человек в Завидове. К тому ж... — тут он осекся, сейчас же убрал куда-то с побагровевшего вдруг лица свои глаза, спрятал их и натужно, неправдоподобно закашлялся. — Бери... кхе-кхе... не разоришь!

— Еще весною был прислан этот подарок не извест-

ной ни Гриньке, ни его приемной матери городской женщиной, но Архип Архипович Колымага, возложивший на себя по доброй своей воле посреднические обязанности, не торопился с его вручением, попридержал, рассудив, что "дорого яичко к Христову дню", что будет куда лучше и торжественнее, ежели он поднесет подарок в день Гринькиных проводов. Особенной торжественности, однако, не получилось, поскольку Колымага малость стушевался, вел себя не совсем натурально, но дело было сделано: волю далекой страдалицы он исполнил, завтра же пошлет письмо "до востребования", оповестит ее об этом и хоть тем немного порадует...

Что же касается до Тишки, то он, теряясь и тушуясь не меньше Колымажьего, преподнес внебрачному своему сыну Миньке самодельный складной нож, изготовленный по его, Тишкиному, заказу Алексеем Ивановичем Климовым, лучшим в районе кузнецом, проживающим в соседнем селе Монастырском. Рукоять ножика была исполнена из разноцветных кусочков плексигласа и переливалась теперь в Минькиных руках, точно пойманная радуга или жар-птица. Поначалу Минька тоже, как и его товарищ, не решался взять, вопросительно глянул на мать; встретив, однако, ее легкий поощрительный кивок, взял и теперь перебрасывал подарок с ладони на ладонь, словно ему кинули в пригоршню непогасший уголек.

28

Торжественными проводы призывников получились на главной площади районного поселка. С годами введенные Кустовцом, они стали традиционными и вылились в большой, хоть и внекалендарный, праздник. Самому же основателю ежегодных празднеств пришлось в эти лета испить полную чашу терпкого напитка, вытекавшего из бесконечных организационных пертурбаций, ставших как бы знамением того времени. Уже помянутые выше "Записки" продолжали поступать во все возрастающем количестве и, нетерпеливые, не дожидаясь, когда их обсудят на местах, сейчас же превращались в директивы. Как уже сказано, в конце пятидесятых годов было в тех "Записках" много здравого, разумного, продиктованного трезвым рассудком быстро текущей и меняющейся жизни, — тогда Кустовец, не щадя ни себя, ни других работников райкома,

приступал к их немедленному и неукоснительному исполнению. Так, например, поддержав решительным образом Виктора Присыпкина-Точку, первым перевед-шего колхозников на денежную оплату, он постановлением бюро районного комитета партии заставил сделать то же самое и других председателей, сломив отчаянное сопротивление некоторых из них, пошедших на поводу "отсталых настроений", как указывалось в заключительном документе того памятного заседания. Первым в области район Кустовца перешел на раздельную уборку хлебов, встретив поначалу и тут немалое число сомневающихся. Особенно упорствовали деды, припугнувшие селян тем, что хлеб непременно сгниет в валках, "потому как тут, у нас, на правобережном Поволжье, дождичек спущается как раз не ко времени. Только зачнем уборку, а он, милушка, тут как тут", — напоминали они. "Косить и молотить напрямую комбайном! Никаких разделений! — кричали до хрипотки на собраниях, длившихся с вечера до самого утра. — Не дозволим гноить пашеничку! Вредители вы там все! — орали в лицо представителя райкома или райисполкома, который комкал в руках платок, выжимая из него пот, непрерывно собираемый с покрывавшегося испариной лба. — Не да-ди-и-им!.." Пришлось самых рьяных крикунов и бузотеров пригласить в район на специальное собрание, которое нарекли — видать, для того, чтобы польстить старикам, — активом колхозных ветеранов. Сославшись на опыт кубанских и целинных сеятелей, Кустовец не один битый час, а целых три таких часа доказывал прогрессивность раздельной уборки, но вряд ли преуспел бы, если бы его не поддержал Апрель, неожиданно для ветеранов переметнувшийся на сторону секретаря райкома.

— Вы что же, старики, аль забыли, — начал он, взгромоздившись на трибуну и ухватившись за ее края, как за поручни сохи, — аль забыли, как в допрежние, в единоличные времена убирали свой хлебец? Новинка вас испужала? Но какая же она, к лешему, новинка, ежели спокон веку мужик убирал так свой урожай?! Спереж повалит ее, пашеничку али там рожь, крюком, в ряды, в валки то есть эти самые, бабы вяжут в снопы, в кресты уложат — и доходи, голубушка, неделю, а то и две, до кондиции! — вставил он под конец для большей, знать, убедительности ученое это словцо.

Некоторое замешательство в ряды стариков было

внесено, но не все из них и далеко не вдруг сдались. Тяжелыми булыжниками полетели в оратора злые выкрики:

— То в крестах!

— А тут на сыру землю норовят уложить!

— Не дозволим!

— Тебя, похоже, подговорили?! Слезай с трибуны!

— Эй ты, Сентябрь, или как тебя там?.. Сматывай-ка удочки! Не желаем тебя слушать! Пущай Кустовец опять речь говорит! Пущай объяснит нам, старикам, какой это там умник придумал такое!..

Апрель, однако, не сдавался, не покидал трибуны — крепче ухватился за нее своими железными пальцами. Переждав, когда схлынула первая и наиболее ярая волна стариковских "реплик", он заговорил опять, совершенно спокойно, тихо и потому убедительно:

— Нагорланились?.. Ну и голоса у вас, я вам скажу... Ну, форменно как у молодых кочетов... Старанья много, а ладу нету — слушать тошно! Без вас знаю, что в кресты укладывались в ту далекую пору снопы. Но ить тогда не было у нас ни комбайнов, ни тракторов, ни подборщиков, ни другой такой техники. У иного бедолаги до самой аж осени сиротствуют на поле те кресты, изгаженные грачами и разной прочей птицей. А нынче? Да мы с нашей техникой в одну неделю подберем валки — и делу конец!..

— Мокрые не подберешь, — буркнул кто-то в первом ряду, но сейчас же спрятался, укрылся в своей бороде.

— А кто ж тебе велит подбирать мокрые? — спокойно ответил Апрель. — Обожди маненько, когда подсохнет, когда ветерок прогуляется над стерней, подсушит...

— Ну что, старики, будем дальше продолжать дискуссию? — спросил Кустовец, сидевший в центре за длинным, покрытым красной материей столом.

— Будя! Накалякались! — крикнул кто-то от самых задних рядов.

— Согласные! — хором поддержали его в разных концах зала.

Вопрос этот, таким образом, был разрешен. Были и другие нововведения, приветствуемые — пускай и не сразу — на местах, потому что отвечали потребностям хозяйственного усовершенствования. Но потом стало твориться что-то непонятное, "сильно шибавшее в нос", как однажды, в горячую минуту, выразился завидовский философ Максим Паклёников. Первое, что смутило Кустовца и его сотрудников, а затем заставило

грустно призадуматься, — это не знающее меры укрупнение колхозов, когда десяток артелей соединялся в одну, которая сразу же становилась неуправляемой. Председатель с утра до ночи носился по селам и деревням, из бригады в бригаду, большую часть времени тратя в пути, мыкаясь по классическому нашему бездорожью; ничего, конечно, не успевал там сделать, ни в чем толком разобраться; поздним часом, злой как черт, возвращался домой, не раздеваясь, падал на глазах обеспокоенной жены в кровать, а вскоре опять вскакивал как ужаленный с постели, на ходу разбивал яйцо, заглатывал его, на минуту забегал в правление, что-то подписывал там не глядя, выскакивал, отмахиваясь от наседавших на него просителей, на улицу, нырял, как суслик в нору, в свой автомобиль и вновь мчался в бригаду. Важные вопросы, выстроившиеся в молчаливую очередь, накапливались, кучились, как грозовые облака; оставаясь нерешенными, они железными тисками давили на виски руководителя, обещаясь вот-вот разрешиться громом...

Председатели зароптали. Сперва глухо, про себя. А потом уж и во всеуслышанье. Первым подал голос Точка. С больной тяжелой головой приехал в район на очередное заседание, которые в последнее время умножились.

— С похмелья, что ли? — спросил, приглядевшись к нему, прокурор, оказавшийся в кресле по соседству.

— С похмелья. Заводи дело, — мрачно пробормотал Точка.

— Никаких дел я на тебя заводить не буду, — свеликодушничал прокурор. Спросил озабоченно: — Ты лучше скажи, как высидишь весь актив с больной-то головой?

— На ней, чай, не сидеть, — буркнул Точка еще мрачнее. Его все-таки услышали; гулкая волна сдерживаемого смеха прокатилась по ближним от него рядам. Покатилась бы, наверное, дальше, но колокольчик, сердито залившийся в руке председательствующего, указал ей предел.

После заседания, дождавшись, когда Кустовец останется в своем кабинете один, Точка ворвался туда мрачнее тучи. С ходу выстрелил коротко и зло:

— Точка! Освобождайте от председательства. С меня хватит!

— Ты что это, ошалел? Или вправду хватил вчерась лишку? Прокурор тут что-то говорил...

— Вот и ставьте вместо меня этого умного намекальщика! А меня в бригадиры...

— Да ты что, Присыпкин, всерьез?.. Не мы тебя выбирали в председатели, и не нам снимать. Скажи своим колхозникам...

— А вы, Владимир Григорьевич, посоветуйте им, порекомендуйте другого. Послушают. Вас послушают, — мрачно ухмыльнулся Точка.

— Что ж, — сказал Кустовец жестковато, — можем и посоветовать, если тебе партийный билет стал в тягость...

— Партийный билет мне в сорок втором, под Сталинградом, выдали, товарищ Кустовец, и он никогда не был и не будет мне в тягость. А вот гончим псом быть не хочу и не буду. Это ведь, как говорит Непряхин, только бешеной собаке семь верст не круг, а я человек, и у меня только две ноги...

— ...и четыре колеса "газика",— подсказал секретарь райкома, не спуская с вошедшего темных невеселых цыганских своих глаз. Короткий беркутиный нос будто бы заострился на кончике.

— Эти колеса больше в грязи торчат, чем крутятся.

— Ну что же ты все-таки предлагаешь? — спросил Кустовец, косясь на "вертушку" и боясь, как бы она не зазвенела и не помешала окончить трудный разговор. — А если и я завтра попрошу освободить меня — мне ведь, Присыпкин, ничуть не легче?! И другой и третий — все побегут со своих постов, — что тогда?! А ведь мы с тобой коммунисты. Ты вот про Сталинград напомнил мне. Но ведь ты там стоял насмерть и не говорил, что тебе тяжело, не покидал своего окопа...

— Сейчас не война, товарищ секретарь.

— Не война, это верно. Но бывает, Присыпкин, и теперь посложнее, чем на войне. Иначе бы ты не взвыл вот сейчас, не запищал, не заорал чуть ли не в панике: "Караул, спасайте, освободите меня, дайте что полегче!.." Да ты не маши рукой, не перебивай меня, а слушай — не я затеял этот разговор. Если пришел посоветоваться, то вот что я тебе скажу, дорогой мой председатель: поезжай-ка в Завидово и забудь намертво про все, что ты мне тут наговорил. А я даю тебе слово сохранить в тайне всю нашу эту премилую беседушку. Давай руку, и марш! — Помолчал, улыбнулся, дрогнул раскрыльями ноздрей, спросил располагающе: — А ты что, Виктор, действительно вчерась разрешил себе?..

— От такой жизни, Владимир Григорьевич, можно и запить. Но я еще не дошел до такой крайности. Хоть верьте, хоть нет, но я забыл уж, когда в рот брал ее.

Все это нашему законнику привиделось, — сказал Точка с нескрываемой неприязнью к районному прокурору. — Поменьше бы он принюхивался ко мне, а побольше своим делом занимался. Преступность-то в районе не убывает...

— Не убывает, — грустно подтвердил Кустовец.

— Ну вот, а он...

— Один прокурор тут ничего не сделает. Тут есть и наша вина, Присыпкин. Кто чаще всего оказывается на скамье подсудимых? Ребятишки восемнадцатилетние. А почему? Не знают, куда выпустить свою энергию. Вот и... А мы даже в районном поселке не можем стадион построить приличный. Денег нет. Ребятам негде мячик погонять, побегать... Если бы ты, Присыпкин, знал, с каким трудом нам удалось выколотить смету на сооружение Дворца культуры!..

— Но выколотили же?

— Выколотили. Но спроси Воропаева, что нам с ним это стоило!

— Ну выколотите и на стадион. Вы же — Кустовец,— польстил непреднамеренно Точка. — А с колхозами, Владимир Григорьевич, что-то надо делать. Поверьте, не я один лью слезу горючую. Другие председатели тоже. Спросите хотя бы ну, скажем, Сергея Евсеича Грамкова, Курякова Анатолия или Лазарева Витьку, дружка моего, — они споют вам ту же арию. Да и другие тоже. Они только помалкивают, побаиваются, как бы на бюро к вам не угодить...

— Что же, вновь разукрупнять? — спросил осторожно Кустовец.

—А что, может и так! Ну, не дробить там на прежние мелкие куски, а так, в меру. Три, от силы четыре бригады — не больше, и чтобы деревни были поближе друг к дружке и поля прилегающие...

— И тогда б ты не пищал?

— Не пищал. И повторяю, не я один.

— Ну хорошо. Поезжай. Скоро наведаюсь к тебе.

Всю следующую ночь Кустовец провел за сочинением письма в Центральный Комитет. Утром позвонил секретарю обкома, кратко изложил суть письма, получил решительное "добро", и документ в сопровождении небольшой записки областного руководителя был отправлен в Москву. Надо полагать, что не один он лег тогда на стол секретариата ЦК, потому что скоро поступила новая "Записка", где осуждалось чрезмерное увлечение укрупнением хозяйств. Словом, и этот вопрос был как-то прояснен и в него внесена

разумная мера. Но на нем реформы не окончились, была совершена еще одна акция, которая показалась партийным работникам (да только ли им!) совсем уже непостижимой: упразднялся райком партии и вместо него создавался партком со строгим указанием, чтобы он сосредоточил свою работу в основном на воспитании масс, а хозяйственно-экономическими вопросами займется отныне производственное управление, учреждаемое специально для этих целей.

— Что, не будет райкома? — заорал в трубку потрясенный Кустовец, обратившийся за разъяснением в область.

— Не будет. В "Записке" ясно сказано.

— А обком?

— Обком покамест остается. Да не один, а сразу два, — ответил Алексей Иванович, а Кустовец, вслушиваясь в его негромкий голос, видел, как в горьком недоумении мигают золотистые реснички над синими полосками прижмуренных его глаз.

— То есть как это два? Вы что, Алексей Иванович, шутите?

— Вовсе нет. Два обкома. Один будет курировать промышленность, другой — сельское хозяйство.

— Курировать? Не руководить, а... Два обкома? Это что же, вроде двух партий? — вырвалось у Кустовца.

— Не болтай ерунды. Завтра к десяти ноль-ноль приезжай в обком. Получишь разъяснение, — одернул его Алексей Иванович.

— Ну а мне куда же... куда же теперь? Куда меня и всех моих райкомовцев?

— А никуда. Останешься на месте в том же кабинете. Секретарем парткома.

— Это что ж, тех же щей?.. — опять не вытерпел Кустовец.

— Вот я тебе волью... щей! До завтра!

И Кустовец стал секретарем парткома, и то, что это были те же щи, но только пожиже, он увидел очень скоро. Забот у него не убыло, в том числе и хозяйственных, вот права резко поубавились. И первым дал ему понять это молодой Иван Барвин, начальник производственного управления района, поставленный на эту должность по рекомендации Кустовца. Получив большую власть, он очень скоро стал возноситься, задирать нос и распоясался так, что напрочь игнорировал решения парткома, касающиеся хозяйственных дел. Пришлось в конце концов вызвать его на бюро для отчета. Небрежно развалясь в кресле, он спросил:

— Зачем вы, Владимир Григорьевич, отрываете меня от производственной деятельности, мешаете мне выполнять планы?..

— Мешаем? — переспросил Кустовец, бешено вращая черными, еще более округлившимися в удивлении глазами. — Это кто ж тебе мешает? Партия?

— Ну, может, я не так выразился... не в том смысле... У меня нынче назначено свое совещание... — сказал, немного стушевавшись, Барвин.

— Свое? — Кустовец вонзил в своего выдвиженца ястребиный взгляд. — А это... это, значит, для тебя чужое? Ну, Иван, ты далеко пойдешь!

— У меня есть и отчество, Владимир Григорьевич, — хмуро заметил Барвин.

— Ах какое несчастье! Забыл! Ей-богу, запамятовал. Подскажите, товарищи, — обратился Кустовец к членам бюро, — подскажите, ради бога, как товарища Барвина величают по отчеству!.. Иваныч?.. Ну так вот, Иван Иванович, сядьте как положено и расскажите нам, как идут у вас дела с выполнением планов... Объясните, будьте так любезны, почему план по мясу выполнен районом только на сорок процентов, по молоку — на шестьдесят, а по яйцу... ну, тут и того меньше. Сами-то вы, уважаемый Иван Иванович, наверное, харчитесь каждый день не на сорок, не на шестьдесят и уж, конечно, не на тридцать процентов, а на все сто... Может, не так? Может, вы у нас вегетарианец, толстовец? По личности вашей этого не скажешь... Фигурка у вас вон как округлилась...

— Вы, товарищ Кустовец, моей личности и фигуры не касайтесь, сами не дистрофик. Прошу не издеваться надо мной!

— Хорошо. Оставим наши фигуры в покое. Но мы ждем ответа по существу заданного вам вопроса! — спокойно, почти весело сказал Кустовец.

— А я вам неподотчетен! — заявил, повергнув членов бюро (кроме одного) в крайнее изумление, Барвин. И, видать, не в силах уж удержать себя в узде, рубанул по инерции: — И вообще... вообще прошу вас поменьше вызывать в партком моих работников, отрывать их от дела.

— Нет, Иван Иванович, ты все-таки отчитаешься. Не передо мной, разумеется, не перед Кустовцом, не перед ними вот, а перед партией. Перед ней мы все подотчетны! Надеюсь, это-то ты понимаешь?!

— Хорошо, я отвечу... отчитаюсь то есть, — сказал оробевший опять немного Барвин, который вышел

потом из парткома с первым своим выговором, полученным по партийной линии, правда, простым, без занесения в учетную карточку.

При голосовании один член бюро воздержался.

После заседания Кустовец спросил его:

— В чем дело? Вы, что же, не согласны с нами? Разве вы не видите, что человек зарвался, что его давно бы уж надо одернуть?

— Согласен, совершенно с вами согласен, Владимир Григорьевич, — ответил товарищ, оказавшийся секретарем по оргвопросам. — Я пытался подсказать вам... ловил ваш взгляд, чтобы вы...

— О чем ты? Пояснее нельзя?

— А вы раскрывали вот ту папку, которую я утром положил на ваш стол? — спросил оргсекретарь.

— Нет, не успел еще.

— И напрасно. Там ведь лежит еще одна "Записка". Может, Барвин как-то уж пронюхал о ней, о ее содержании.

Кустовец вынул бумагу, склонился над ней. По мере чтения лицо его все больше бурело и под конец сделалось пунцовым.

— Н-да... все ясно! — Кустовец откинулся к спинке кресла. — Вот, оказывается, что вооружило его, этого Ивана Ивановича! Вот откуда его наглость! Отсутствие железной партийной дисциплины — питательная среда для нахалов. Дай им волю — сядут на шею, мерзавцы!

В "Записке", которой суждено было оказаться последней (о чем, конечно, не мог знать сраженный чуть ли не наповал Кустовец), теперь уже не просто строго, но наистрожайше предписывалось партийным инстанциям не вмешиваться в дела производственных управлений, не опекать их, предоставить им полную свободу. Утопивши руки в густых зарослях своих кудрей, Кустовец тихо подошел к окну, увидел в палисаднике могилу Знобина, тяжко, до режущего хруста в груди, вздохнул. Сказал чуть слышно:

— Может быть, и хорошо, что ты, старик, не дожил до этих дней... Каково бы тебе было, вечному секретарю райкома, как называли тебя твои товарищи!.. Упразднить институт райкомов, который с честью стял на боевом посту революции с первых лет Советской власти?! Кто бы мог подумать!! И это не сон, дорогой Федор Федорович, а явь... Неужели... — и не договорил, вернулся за свой стол, твердо положил на него руки, прикрыв широкими короткопалыми ладонями красную папку с подкосившей было его бумагой,

прежним уверенным голосом Кустовца заключил, глянув исподлобья на "воздержавшегося": — Ничего, Лысенков, пускай жалуется. Пускай кто-нибудь попробует доказать нам, что мы неправильно поступили. Я хоть и горяч бываю, а личную обиду могу еще стерпеть. Но обижать партию никому не позволю! Ночью, перед самым рассветом его разбудил телефон.

Звонил Лелекин.

— Что случилось? — спросил сонным, а потому и недобрым голосом Кустовец.

— А вы не слышали, Владимир Григорьевич?

— Что там еще?

— ...освободили!

— Ты что, очумел?! Такими вещами не шутят! — Сонливость мгновенно улетучилась. — Откуда это?..

— Лысенков, твой оргсекретарь, позвонил, к вам, видно, не решился... Говорит, по состоянию здоровья...

Оба примолкли, чувствуя, как у уха раскаляется плотно прижатая к нему телефонная трубка. Каждый смятенно думал про свое: Кустовец, хотя еще и не совсем веря в ошеломляющую эту новость, но уже мысленно был там, на вчерашнем бюро парткома; а Лелекин, покрываясь потом, перекидывая трубку от одного уха к другому, как перекидывают из ладони в ладонь горячий уголек, вдруг с ужасом представил себе: а что, если все это — глупая и жестокая мистификация, дикий лысенковский розыгрыш?.. Что-то близкое к шоковому состоянию испытал отнюдь не трусливый Лелекин и легко вздохнул лишь тогда, когда после далеких перезвонов кремлевских курантов знакомым голосом радиодиктора заговорила Москва...

29

Раннее июльское утро. Лесная поляна, на которую сейчас вышли Феня и Мария, была окружена высоченными деревьями; дубы, осины, липы, вязы, пронизанные наотмашь, наискосок, солнечными лучами и ими же согретые, дымились. Птицы, разные по нарядам и величине, были озабочены одной заботой: где-то в густых зарослях кустарника и на вершинах дерев, не закрывая жадно разверзших, ненасытных своих клювов, пищали на все лады птенцы — ожившие и озвученные плоды горячей и шалой весенней любви. Птицы что-то склевывают с травинок, с лопушков, с поспевающих земляничинок, оказавшихся жертвою му-

равьиных нашествий, куда-то улетают, сейчас же вновь возвращаются, и так — Феня и Мария знали это — будет до самой темноты, а с рассветом все начнется сызнова и будет продолжаться до тех пор, пока оперившиеся их питомцы не встанут на собственное крыло. Будто соревнуясь с пернатыми, женщины часто наклонялись, впервые по-настоящему чувствуя тяжесть полнеющего тела, собирали в пригоршни, а затем в подвернутые подолы юбок спелые ягоды, непроизвольно, как бы не замечая того, бросая каждую третью в рот. Нижняя часть исподних давно вымокла от росы, липла к икрам. Но подругам, помолодевшим и повеселевшим от лесной этой свежести и благодати, было хорошо и славно — росная прохлада остужала, грудь вздымалась просторно, кофта становилась тесноватой, как в далекую пору безвозвратно ушедшей молодости. В поисках ягод обеим приходилось наклоняться, шарить под кустом, с которого брызгали, норовя непременно угодить за пазуху, студеные капли. Феня и Мария ежились и радостно хохотали. Соловьева и тут не удержалась, чтобы не быть Соловьевой. Бесстыдно оголяясь и обтирая по-девичьи упругие и полные груди, обнажая в улыбке белые подковы зубов, говорила:

— Словно мужики пристают, лезут за пазуху!..

— Да будя уж тебе! — вяло отозвалась Феня, поскольку только что нечаянно порушила на самом солнцепеке муравейник. Сокрушаясь над растревоженными его жителями, видя, как несут они куда-то по одному желтому продолговатому яичку, как отчаянно борются за жизнь, она позвала подругу: —Маш, подойди, глянь, что я тут... Никогда не прощу себе этого!..

Соловьева подошла, хмыкнула:

— Хм... Я думала, и правду что...

Феня обиделась:

— Ну ты и жестокая, Мария!.. Аль не видишь, царство-то какое я сгубила?..

— Подумаешь, муравьи! — сказала Соловьева холодно. — Нынче людей губят целыми тьщами — не жалеют. Вон во Вьетнаме что творят! А ты... — Мария присмотрелась к подруге, что-то узрила в ее лице неладное, спросила обеспокоенно: — А что это ты... вроде бы какая-то другая... Что с тобой, Фень?

Феня заговорила, стоя по-прежнему у растревоженного муравейника:

— Никто ведь, ну, никто его не знает, как я. Штопалиха, хоть, может, и невзначай, но правду как-то о нем сказала: хочет сделать как лучше, а у него выходит все

наоборот. Добрый больно, мягкий, как воск. Сам расставил для себя силки и теперь барахтается в них, как глупый голубь.

— Бабник он порядочный, твой голубь.

— Вот это уж неправда! Больше наговору, чем...

— А ребятишки рыжие по селу бегают?

— Ребятишки, они, почесть, завсегда рыжие. Повыгорают на солнышке, — сказала Феня, а глаза потемнели, наполнились острой болью.

Увидев это, Мария решила пожалеть:

— Сколько ты, Фенька, натерпелась из-за него, нескладного?!

— На роду, знать, мне написано такое.

— "На роду"! Эх ты!..

— Довольно, Мария! О другом, что ли, нельзя поговорить?! Пойдем прямиком, к реке, переплывем ее — так ближе к нашему стану. Я завсегда так делаю. Мужиков там нету, разденусь, свяжу одежду в узел и поплыла. Айда!

— Ты, видно, и вправду с ума сошла. Да я сроду не переплыву с одежей-то. Сейчас же пойду ко дну, как тот топор. Тебе же отвечать придется за утопленницу рабу божью Марею. Нет уж, я в обход. Иди к тому омуту одна... — Мария повернулась и пошла с поляны, напевая:

Почему, отчего
Падают слезинки?
Это просто ничего —
По любви поминки.

У реки Феня, как делала это не раз, скинула платье, скомкала его в узел, подняла высоко над головой и, ойкая от подымавшейся по теплому телу все выше и выше воды, отошла от берега, затем опрокинулась на спину и поплыла, отфыркиваясь и пуская сквозь плотно сжатые губы невысокие фонтанчики. Добравшись до противоположного берега и выйдя на него, она на всякий случай посмотрела на куст, под которым любил когда-то сиживать со своими удочками Апрель, и только уж потом стала промокать носовым платком покрытое капельками воды и "гусиными" пупырышками тело, радующееся утренней купели. Делала она это не спеша, стараясь продлить теперь уже солнечные ванны, не опасаясь чужого глаза. И потому Тишкин голос, раздавшийся неожиданно за ее спиной, прозвучал для нее как выстрел. С перепугу она скакнула опять в

воду, окунулась с головой и, простоволосая, закричала с середины реки:

— Откель тебя черт принес?

— Твой Авдей послал рыбешки на щербу поудить. Апрель отказался снабжать нас.

— Он такой же мой, этот Авдей, как и твой... Уходи же отсюда, что глазюки-то пялишь, ай никогда не видал?

— Видал, но все ж таки интересно, — отвечал Тишка, поворачиваясь к купальщице спиной. — Вылазь, не съем...

Она вновь вышла на берег, забежала за куст, оделась там, подошла к бывшему бригадиру, глядела на него прямо, с едва просвечивающейся улыбкой, поправляя на запрокинутой голове мокрые темные волосы. Державшаяся в ее зубах заколка придавала ей несколько надменный, вызывающий вид. От нее пахнуло на Тишку здоровой бабьей свежестью; млея, он невольно прищелкнул языком, сказал:

— Ишь ты какая!..

— Какая уж есть! — с напускной строгостью ответила она, заключив: — Только, Тишенька, не про твою честь.

— Знаю, что не про мою, — понуро вымолвил Непряхин, вздохнув. — Неизвестно только, Фенюха, для кого ты берегешь это добро...

— Видала я таких жалельщиков. Пришел рыбку ловить, ну и лови, промышляй на здоровье.

— Что-то расхотелось. Да и опоздал я. Какой же теперь клев — солнце-то вон как уж высоко!.. Ты, вижу, земляничку собирала. Может, теперя пойдем в лесок вместе?..

— Земляничка-то на полянах водится, — спокойно сказала Феня, делая вид, что не понимает, к чему клонит Тишка, — да и куда тебе по ягоду с одной-то рукой?

— Ну до той ягоды я, Фенюха, и одной рукой дотянусь...

— А по шее не хочешь? — спросила все так же просто и спокойно Феня, покончившая с уборкой своей головы. — Что это у тебя из кармана-то торчит? Никак четвертинка?

— Она, — не стал скрытничать и выкручиваться Непряхин, — она, голубынька...

— "Голубынька"! Эх ты, пьянь несчастная!..

— Не ту песню ты, Фенька, заиграла. Я ее досыта наслушался от моей Антонины, а у нее голосок покрепче твоего будет — как зачнет чесать!.. Иди лучше к

тракторам, сейчас девчата заявятся, пропашными займемся, меня в твои помощники определил Точка... Кстати, он уже на стане, ждет там Кустовца, тот обещался нынче приехать, заглянуть к нам... А я все-таки немного посижу тут, можа, какая дура клюнет...

— Немного их осталось дур, какие на твою, Тиша, удочку клевали.

— Найдутся, — сказал Непряхин и самодовольно ухмыльнулся, прилаживая на толстой губе своей самокрутку: фабричных сигарет и папирос он по-прежнему не признавал, потому как не испытывал от них удовольствия, припасал для себя самодельный табачище, от которого у непривыкшего к нему человека глаза на лоб лезли. Помедлив, трезво закончил: — Ты права. Удильщик из меня, Фенюха, ныне, прямо скажу, ненадежный. Могу оконфузиться в самый решительный момент...

— Ну вот видишь! А еще в лес заманивал.

— Да это я так, к слову пришлось. Мне теперь, Фенюха, хотя бы толечко с законной женой управиться...

— Выдает она тебе за четвертинки-то! — вернулась Феня к прежней мысли. — Дает чертей?

— Дает, но не так чтобы уж очень, — ответил Тишка. — Не меня — пенсии моей Антонине жалко, боится — пропью. А так ничего. Брось ей эту пенсию через забор, а сам хоть до утра домой не являйся. Спасибо тебе, Федосья Левонтьевна, помогла мне с пенсией. Ежели бы не ты...

— Не я, Тиша, а закон такой вышел...

— Закон-то закон, Фенюха, да не все его блюдут. Для Саньки Шпича, например, закон что дышло, куда повернул, туда, стало быть, и вышло...

— Ну на Шпича всегда найдется управа.

— Оно-то так, но все ж таки... Спасибо тебе, Фенюха, от всего моего семейства за ту пенсию. Все ж таки поддержка.

— Хорошо, но только ты не пропивай, поменьше заглядывай в стакан-то. Это тебе не зеркало!

— Ну, что касаемо зеркала, в него я, Феня, вовсе уж давно не гляжу. И без зеркала очень даже хорошо знаю свою личность... Ты вот лучше скажи мне, чего эта "Сельхозтехника" к нам зачастила?

— Кто, кто?

— Ну, этот ваш Федченков?

— А я почем знаю? Интересуется, знать, как ведут себя на поле новые трактора. "Кировец"-то днями

прислали — как ты думаешь, для чего? Для испытания. А кто должен наблюдать в первую очередь от нашего района? Председатель районного объединения "Сельхозтехника". Федченков, значит, Андрей Федорович.

— Знаю, что он. И зовут его как, не забыл. Он у меня в печенках сидит еще с сороковых и пятидесятых годов, этот жмот. Сколько разов на брюхе перед ним ползал, чтобы выклянчить у него какую-никакую запаску. Только объясни мне, Федосья Левонтьевна, почему же этот самый Андрей Федорович к твоему братцу, Павлушке, в бригаду не заглядывает? Туда ведь тоже "Кировец" пригнали... Молчишь? Заодно, знать, действуете...

— Об чем ты, Тимофей?

— Сама знаешь об чем.

— Ну хотя б и знала, но твое-то какое дело? Кто она тебе, Мария, жена, полюбовница? Не век же ей куковать одной! А Федченкова супруга оставила, ускакала с каким-то заезжим инженером в большой город, наш Краснокалиновск ее, знать, не устраивал. И детей на мужнины руки кинула. Видал таких матерей? Сразу троих, мал мала меньше, одних с мужиком бросила... Вон как на молоденьких-то жениться!

— Такого, Фенюха, скажу тебе, отродясь не видывал! — признался удивленный новостью Тишка. — Видал и слыхал, как мужья оставляют своих жен вместе с детьми, но чтобы жена оставила мужа!.. Эт черт-те что!

— Ну вот! А ты зачем зачастил?

— Неужели Марея пойдет на такой-то содом? — спросил Тишка, полиняв малость с лица.

— Может, и пойдет. Она ведь не старуха. Да и надоело, чай, выслушивать об себе разные бабьи сплетни, наговоры разные. Задержался, скажем, ты ли, другой ли какой мужик где-то, не пришел вовремя домой, а его жена уж Марею костерит, у нее, мол, под бочком пригрелся суженый. Не будешь же ходить в каждую избу с опровержением. Так и перекатывается из дома в дом дурная молва о бабенке. Поневоле выйдешь замуж за любого. А Федченков, он, что же, мужик он, по-моему, дельный и трезвый, не такая пьянь, как иные некоторые...

— Прошу без намеков! — рассердился Тишка, и без того выслушавший ее с упавшим сердцем.

— Да тут и без намеков все ясно. Иди, выхлебывай свое вонючее пойло, закидывай удочки. И так заболталась с тобой лишку! — И, взмахнув озорно платком

перед самым его носом, опахнув душистым ветерком, встряхнув непросохшими, свившимися на спине в длинные жгуты волосами, она быстро пошагала к полевой дороге, ведущей к бригаде.

Тишка долго провожал ее необычно пригорюнившимися, покрытыми сумеречной дымкой глазами. Почему-то сказал тихо, про себя:

— Вот ить как оно получается...

30

Со ступенек тракторной будки навстречу Фене поднялись сразу три человека — Кустовец, Точка и Федченков. Четвертый, Авдей, тоже поднялся, но не стронулся с места, молча наблюдал за теми тремя и за Угрюмовой.

— Здравствуйте, Федосья Леонтьевна! А мы вас ищем, — сказал, пожимая Фенину руку, Кустовец.

— Как тут поживают наши "Кировцы"? — сразу спросил Федченков, но секретарь райкома прикрикнул на него:

— Погоди ты со своими тракторами! Дай с человеком как следует поздравствоваться. Присыпкин вон с ног сбился, разыскивая вас, Федосья Леонтьевна.

— Раненько вы, Владимир Григорьевич, к нам.

— Так уж случилось.

Они возвратились к будке, присели на скамейке возле длинного обеденного стола. Кустовец держал в руках свернутую в трубку газету. Указал на нее глазами:

— Читали?

— Это вы про Пленум? А как же, читала. И по радио, и по телевизору слышала. Не только я. Все мои девчата.

— Ну и что вы скажете?

— А что тут сказывать? Спасибо умным людям — услышали нас, которые с темного и до темного на земле трудятся. Вы вот, Андрей Федорович, — глянула она на Федченкова, — третьего дня звонили и справлялись, как поживает женская тракторная бригада. Неважно она поживает, дорогой председатель "Сельхозтехники"!

— Почему? — спросил Кустовец, переводя взгляд свой с Угрюмовой на Федченкова и в обратном направлении.

— Да все потому же... — Феня перевела дыхание. — Девчонки давно вернулись с курсов, а тракторов не

хватает. Их бы, может, и хватило, да запасных частей нету. Вот и мотается он вон, — она качнула головой в сторону прислонившегося к будке Авдея, — мотается то в областной центр, то в район, к вам, дорогой наш Андрей Федорович. Ищет все запасные части. А у вас, товарищ Федченков, завсегда один ответ: не поступили! Разве ж это дело? Разбегутся мои трактористки, вот увидите, тогда уж их не соберешь...

— Завтра продадим вам еще четыре новых трактора. Мы уж с Точкой договорились. Слышите, товарищ старший механик? — окликнул Федченков Авдея.

Тот буркнул:

— Слышу.

Авдей не спускал ревнивых своих глаз с молодого еще, налитого упругой силой темнокудрого Кустовца, искуривая одну сигарету за другой: множество белых окурков овечьей отарой рассыпалось у его ног. А секретарь райкома, словно дразня его, свободно положил свою загорелую, оголенную по локоть, по-мужски сильную волосатую руку на Фенины как бы сжавшиеся вдруг плечи. Да еще и сказал:

— А вы что это торчите там, Авдей Петрович? Подсаживайтесь к нам. Разговор наш и вас ведь касается. Полагаю, не в последнюю очередь.

— Мне и отсюда все... слышно, — Авдей хотел сказать "видно", но на ходу перестроился. С места он не стронулся.

— Хорошо, тогда слушай, — заговорил Кустовец суховато. — Федосья Леонтьевна тревожится не зря. Девчата действительно улепетнут, если их не посадить на новые или хотя бы хорошо, надежно отремонтированные машины. Лучше, конечно, на новые. Опытные трактористы и на старых управятся. А для этих трактор пока что вроде игрушки, им хочется поиграться с ним. А игрушки полагается покупать детям новенькие, так, что ли, товарищ Федченков?.. Э, да и ты чегой-то приуныл? Почему не слушаешь секретаря, а все зыркаешь по сторонам?.. Где упрятал выводок-то свой? А ну-ка вытряхивай их из машины и веди сюда!..

— Правда, Андрей Федорович, — заторопилась и Феня, только сейчас сообразив, что председатель "Сельхозтехники" приехал в ее бригаду не один, а прихватил с собой и детей, свой "выводок", как выразился Кустовец. — Бабушка Катерина покормит их... Бабаня, ребятишкам щец-то, голодные небось, как волчата!

— Сейчас, — отозвалась старая повариха и, видя, что поднимается со скамейки и Федченков, крикнула

ему: — Да вы сидите, Андрей Федорыч, занимайтеся своим делом, а я уж одна как-нибудь управлюсь с этим содомом. Не привыкать... У меня самой было их семеро... — Последние слова с трудом пробились из ее груди, вырвались на волю скомканными, помятыми.

Все поняли, притихли. Кустовец, чувствуя вроде бы какую-то вину и перед Федченковым и перед Екатериной Ступкиной, поспешил вернуться к тому, с чего начиналась их беседа:

— Трактора и запасные части, Федосья Леонтьевна, будут.

— Хорошо, коли так.

— Только так! — решительно подтвердил он и снова, не ведая того, как казнит этим молчаливого человека, припекающего спиной дощатую стенку будки, положил тяжелую, покрытую золотистыми ворсинками руку на Фенины плечи, которые сразу же приклонились под ней. Заглядывая в ее лицо карими, по-цыгански выпуклыми очами, спросил: — Девчат-то много в Завидове?

— Покамест еще есть.

— Почему же — покамест?

— Сами, поди, знаете... Девчат одних в селе не удержишь. Они все, как есть, за парнями в город подадутся. А ребята продолжают уходить.

— Почему?

— Вы у меня спрашиваете, Владимир Григорьевич?

— Ну да.

— Вам, чай, виднее. Вы главный в нашем районе человек.

— А все-таки?

— Много причин... — начал было Точка, но секретарь райкома остановил его:

— Обожди, не тебя же спрашиваю. Точку полагается ставить в конце. Так что потерпи немного. Что же это за причины, Федосья Леонтьевна? — Кустовец убрал руку с ее плеча, как бы желая снять с нее лишний груз перед трудным ответом. — Мне хочется знать, что думаете вы.

— Виктор Лазаревич правильно сказал — причин много, Владимир Григорьевич, — начала Феня, покрывая плечи платком и как бы давая этим знать, что лучше будет, ежели до них никто не станет касаться. — Много причин... Одного великая стройка поманила, другой не захотел от товарища отставать, третьего старики родители чуть ли не силком спровадили, хотят, чтобы их сын городским был. А сынок ихний так рас-

суждает: отработал там свои восемь часов, иди куда хочешь — в кино, в театр, на стадион...

— Вот, вот! — встрепенулся Кустовец, встряхнув джунглями своей шевелюры.

Феня, перемолчав, продолжала:

— Правда, теперь и в селе нашем есть клуб, что твой дворец. Спасибо вот ему, — она кивнула на смутившегося и беспокойно завозившегося на своем месте Точку, — не пожалел денег, такое чудо отгрохал для нашей молодежи... Но до города нам, Владимир Григорьевич, сами знаете, еще ох как далеко! А ребята нетерпеливы: им подавай все сейчас же. Чтобы дом был как дом — с паровым отоплением, с газовой плитой, ванной, холодильником. Вот тогда они, может, и останутся в деревне, ну а с ними, понятное дело, и девушки.

— Подождите, все это будет, — сказал Кустовец.

— Я-то подожду. А вот будут ли ждать, скажем, Минька и Гринька, которые из армии вернутся? Они там такой техники нагляделись, что трактор покажется им допотопным механизмом...

— Ну, это уж ты зря, Леонтьевна, — обиделся за свою технику Федченков, будто сам изобрел ее. — Трактора наши лучшие в мире.

— Этого я не знаю, по заграницам не езжу, — ответила она, — но знаю: ребятам нашим подавай машину самую что ни на есть современную. И скорость чтобы у нее была не черепашья, и чтобы в кабине не задыхаться от жары и пыли, как сейчас в ваших самых лучших в мире тракторах!

— Вот как раз решению этих всех проблем и был посвящен Пленум. Вы говорите, что читали о нем, Федосья Леонтьевна?

— Читала. Вчерашние газеты с постановлением прямо-таки нарасхват. На что Мария Соловьева... — Феня замялась, покосилась на Федченкова, смягчила чуток то, что хотела сказать: — На что, говорю, моя подруга Маша не любитель читать, а тут выдернула у меня из рук "Сельскую жизнь", спряталась за будкой, читает — аж пот с нее, сердешной, раскраснелась, как от письма любовного... Машины, машины, машины — все от старого до малого помешались на машинах. И не поймешь, Владимир Григорьевич, кто мы теперь: колхозники аль рабочие. Все к технике потянулись... — На минуту замолчала, вспомнив что-то, улыбнулась: — На днях встречаю на улице вон его тещу, — она опять указала затылком на Авдея, — встречаю Матрену Дивеевну

Штопалиху, та и говорит: "Слава богу, и мне, старухе, отыскалось дело. В школу на работу устроилась!" "Уборщицей, что ли?" — спрашиваю ее. Обиделась на меня страсть как. "Какая, — говорит, — я тебе уборщица! Хватит вам надсмехаться над старухой. Я — техничка!"

Кустовец расхохотался. Смеялась одними глазами и Феня, продолжала, однако, с внутренней болью и обидой:

— Иной уходит из села потому, что звание "колхозник" его, видите ли, оскорбляет. Есть даже песня такая. Вон Мария идет. Я попрошу. Мы, может, споем ее для вас, пока осталось немного времени до смены.

К будке решительно, независимой походкой подошла Соловьева. На один миг только ее глаза скользнули по расцветшему вдруг Федченкову и орудующим ложками под руководством Катерины его детям, а затем как ни в чем не бывало раздвинула сидящих на скамейке, прочно утвердилась между секретарем райкома и председателем колхоза, развязала узелок:

— Угощайтесь, начальнички! Вы бы почаще к нам. Ягод у нас пропасть! — Одну земляничинку она сунула в рот Кустовцу, другую — в изготовившийся загодя рот Точки, а две сразу, перегнувшись, как бы невзначай размазала на щеках Федченкова.

Тот засопел смущенно:

— Тю... одурела?

— Такой румяненький ты мне больше нравишься! — сказала Мария, продолжая раздаривать ягоды. Когда один узелок опорожнился, вынула из-за кофты второй, поднялась с ним, угостила по пути Авдея, направилась к столу. Уселась там против троих ребятишек, из которых самому старшему было не больше девяти лет, и принялась скармливать им землянику, суя по очереди каждому в рот по ягодке, точно птица перед желторотыми своими птенцами; накормив, погладила каждого по головке, взяла самых малых на руки, отнесла в будку. Через некоторое время вернулась, сказав удовлетворенно:

— Спать уложила. Пускай подышат нашим духом. Может, тоже механизаторами станут, когда подрастут. Хлеб-то надо же кому-нибудь сеять.

— Маш, может, споем? — сказала Феня. — Вот властя песню требуют...

— Да ить для этого особое настроение требуется, — ответила Соловьева, усаживаясь на прежнем месте. — Горло-то промочить бы...

— Не время вроде, — нерешительно сказала Феня.

— Ну и для песни не время, — сказала Мария.

Федченков вопросительно глянул на Кустовца. Тот понял этот взгляд:

— Аль прихватил с собой?

— Ну а как же! Разрешите?

— Давай, если привез, — благословил Кустовец.

По знаку отца старший сын Федченкова, Ленька, сгибаясь на один бок, притащил от машины тяжелый, толстобрюхий портфель-чемодан. Дальше уже орудовал сам хозяин этого диковинного портфеля. Глухо стукнувшись донышками о плохо выструганные доски, на столе в один момент оказались три бутылки шампанского, которые сейчас же утонули чуть ли не по самую шейку в конфетах. Длинное и толстое полено ветчинно-рубленой колбасы легло поперек стола, а в довершение объявились четыре оранжевых, величиной с ребеночью голову марокканских апельсина.

— Авдей, на помощь! — позвала Маша, оглянувшись, но механика не оказалось на прежнем месте. След его, однако, еще не пропал: пыль, поднятая мотоциклом, клубилась вдали.

Троекратный залп, как при салюте, раздался над степью. Толстые пробки высоко взлетели над столом.

Выпили, закусили, одними понимающими глазами поздравили будущих жениха и невесту, и только потом уж охмелевшая лишь слегка, разрумянившаяся и необыкновенно похорошевшая Мария сказала:

— Ну а теперь вот можно и спеть. Как ты, Фень?

— Давай начинай. Нашу с тобой...

— Хорошо, — Мария прокашлялась, глянула на одного, другого, подмигнула зачем-то Федченкову, окончательно сомлевшему от этого ее подмигивания, взяла сразу, с ходу, сильно, уверенно, глубоким, грудным своим голосом:

На горе колхоз, под горой совхоз.
А мой миленький задавал вопрос,
Ай-ай-ай-я-я-я! Ай-ай-ай-я-я-а-а!

— Ну подтягивай же, Фенька! — прикрикнула на подругу Мария, и дальше запели уже вместе:

Ты колхозница, тебя любить нельзя.
Ай-ай-ай-я-я-а-а, ай-ай-ай-я-я-а-а!

Это грустно-озорное и одновременно ироническое

"ай-ай-ай-я-я-я" повторялось ими как припев. Феня и Маша распределили меж собой роли, женскую и мужскую, и теперь, состязаясь глазами, пели все громче, то грустя голосом, то балуясь:

Я колхозница, не отрицаюся,
И любить тебя не собираюся.
Я пойду туда, где густая рожь,
Я найду того, кто на меня похож.

Примолкли на минуту, переглянулись, и далее допевала уж одна Феня:

Я ушла туда, где густая рожь,
И нашла того, кто на меня похож.

Мария вела лишь припевку:

Ай-ай-ай-я-я-я-а-а-а, ай-ай-ай-я-я-а-а.

А Феня — все задорнее и лукавее:

Полюбила я — он молоденький,
Он молоденький, зовут Володенькой.

Кустовец покраснел, замотал кудрявой головой. Угрюмова заканчивала:

Мы влюбилися. Кудри вилися.
Расставалися — слезы лилися.

Мария не вытерпела, обняла подругу — теперь опять пели вместе:

Мы влюбилися — было двое нас,
Расставалися — стало трое нас...

Женщины прижимались друг к другу все плотнее, а песня их далеко неслась по степи:

Я колхозница, не отрицаюся,
И любить тебя не собираюся.
Ай-ай-ай-ай, ай-ай-ай-я-я-а-а.
И любить тебя не собираюся.

Кустовец встал. Сказал растроганно:
— Спасибо вам. За песню. За работу вашу. За все.

За все спасибо. Ну а теперь, Федосья Леонтьевна, послушайте. Мы вот с Виктором Лазаревичем толковали о вас. Хотим во главе комплексной бригады поставить. Хватит нам дробить хозяйство. Один бригадир должен отвечать и за землю и за технику, и за животноводство. Вы, я слышал, сами предлагали нечто подобное еще своему отцу. Было такое?

— Было, но... разве я, баба, справлюсь? Тут мужику хоть бы выдюжить...

— Ничего. Справитесь! Как вы считаете, товарищ Соловьева, справится?

— Фенька-то? Неужто нет! — решительно ответила та. — А будет трудно, подмогнем.

— Вот это разговор! — торжествовал Кустовец. — Теперь я могу и уехать. Вот ежели бы к песням вашим тетенька Екатерина еще и щец нам подкинула, тогда совсем было бы отлично!

Хлебая щи и мыча от удовольствия, похваливая этим взмыкиванием стряпуху, он что-то вспомнил, заработал ложкою еще проворней, остаток хлебова опрокинул в рот прямо из тарелки, тыльной стороной ладони вытер рот, крякнул, еще раз поблагодарил от души сияющую Екатерину Ступкину, вновь подошел к Фене.

— Вот что. Завтра у нас актив. Как раз о комплексных бригадах будет разговор. Доклад сделает Алексей Иванович. Обязательно приезжайте. Может быть, машину за вами прислать?

— Это уж ни к чему, — обиделся Точка. — Что у нас, своей не найдется?!

— Хорошо, приезжайте вместе на своей. Завтра в десять ноль-ноль. — Сказав это, Кустовец посмотрел на Федченкова: — Ну, ты со мной или еще побудешь?

— Немного погожу. Мне в другую бы бригаду наведаться...

— Добро. Но не забудь об активе. Тебе выступать.

Кустовец уехал. Проводив его взглядом, Мария Соловьева взяла Федченкова под руку и увела за будку. Он со страхом ждал, что она скажет. Мария глянула ему в лицо, в увлажнившиеся, покрасневшие глаза, помолчала еще немного, а потом тихо спросила:

— Где жить будем?

Он не вдруг понял ее, стоял, растерянно мигая реденькими, светлыми, почти невидимыми на припухлых веках ресницами.

— Что же ты?.. Я спрашиваю тебя, Андрюша, где жить будем?

Он понял наконец, зарделся, сказал:

— То есть... как где? В Краснокалиновске, конечно!.. У меня там трехкомнатная...

— Нет, уж, Андрюшенька! — отрубила Мария. — В избе будешь жить, у меня, в Завидове, коль нужна я тебе. В город не пойду. И Миньку своего, как приедет из армии, никуда не пущу. И этих троих... Привяжу на прикол, как телят, и не пущу от земли. Пущай другие пасутся по городам, а мои будут на родимом поле. Хлебушко выращивать. И мы с тобой...

Направившийся было за будку с совершенно иной целью Точка оказался случайным свидетелем этого разговора, немедленно встрял в него:

— Верно, Андрей Федорович, переезжайте к нам в Завидово, вот уже больше года ищу инженера для своего колхоза. Вам отдам эту должность!

— Да я что... я ничего... я согласен, — заторопился Федченков. — Отпустит ли Кустовец?..

— Отпустит! — твердо уверил Точка, потирая руки, как барышник после удачной сделки.

— А теперя, Виктор Лазаревич, ступай. Мне с Андрюшей еще кой о чем покалякать нужно... — Проследив за тем, как далеко удалился председатель колхоза, Мария повернулась к Федченкову, прямо и холодновато глянула на него. Бледнея, сказала почти жестоко: — А ты, милок, подумал, кто я есть такая, прежде чем свататься? Знаешь, какая молва про меня идет по всему Завидову?.. Дошли до тебя ай нет эти слухи?

— Дошли, — сказал он спокойно.

— Ну что, поверил?

— Нет.

— Зря... Лучше бы уж поверил. — Мария смотрела на него так, что не всякий выдержал бы этот ее холодный, пронизывающий взгляд. Но Федченков выдержал. Сказал еще спокойнее и тверже:

— Если б и поверил. Это ничего бы не изменило, Мария. Ты мне нужна. Очень. Я люблю тебя.

— Когда переедешь? — спросила она, отвернувшись, чтобы он не видел ее слез, уже бурно подымавшихся в груди.

— Хоть сейчас.

31

По какому-то жестокому закону равновесия, что ли, но счастье, как и несчастье людей, всегда идут рука об руку. Всего один месяц прошел с того дня, как

трое переселившихся в Завидово малышей расстались со своим полусиротством и нашли кров, пищу и ласку в пяти стенах Марьиной избы, в небывало короткий срок решительно преобразившейся от прикосновения сильной мужской руки. Однако в тот же срок, в одну роковую минуту осиротело сразу трое завидовских ребятишек. Случилось это где-то посередине августа, в первый день открытия охотничьего сезона на водоплавающую птицу, когда Завидовский лес с его бесчисленными болотами и старицами подвергается опустошительному нашествию городских, отлично оснащенных и новейшим оружием истребления, и быстроногим моторным транспортом "любителей", когда с темного до темного поднимается такая пальба, что непосвященное ухо могло бы принять за настоящее военное сражение; в тот день, когда сытые, здоровые, образованные человеки, натянув до самого жирненького пупка голенища резиновых сапог, принюхиваются вонючими ноздрями двустволок к каждому кубическому сантиметру лесного пространства с натренированной готовностью спустить оба курка в мгновение, когда в этом кубическом сантиметре мелькнет крыло обезумевшей от ужаса несчастной птицы, провинившейся одним лишь тем, что человекам надобно от времени до времени потешить в себе пробудившегося зверя; ежели в доисторические времена охота составляла для них источник жизни, биологического существования, то теперь — источник сомнительного наслаждения, потому как на обеденном столе нашлись бы припасы и без убиенного чирка...

Павел Угрюмов, передав свой "Кировец" напарнику, спустился от Правикова пруда в село, выпросил у бессменного с времен коллективизации конюха Василия Николаевича свободную кобылу, запряг ее в рыдванку и, не заезжая домой, отправился в лес, вспомнив накануне, что дрова у них кончались, а жена собиралась "спроворить баньку" и для мужа, и для детишек. Узкой, заросшей высоченной травой дорогой выбрался поближе к Лебяжьему озеру, по берегам которого простирали свои высохшие, кривые руки-сучья вязы и карагачи, оказавшиеся единственною жертвой невесть откуда нагрянувшей, неизвестной местным жителям лесной хвори. Пилить этот сухостой никому не возбранялось, тут уж Архип Архипович сам готов поставить поллитровку, чтобы односельчане поскорее освободили его зеленое хозяйство от этих зачумленных мертвецов, которые вполне могут быть носителями

и рассадниками новых болезней. Павел знал про то, а потому, отправляясь в лес, не испрашивал у Колымаги специального разрешения. Гремевшие где-то рядом ружейные выстрелы не очень смущали его, потому как привык к ним; всякий год это повторялось, и завидовцам ничего не оставалось, кроме того, как покорно и безропотно ожидать конца этого узаконенного разгула не самых светлых человеческих страстей. Великолепно отточенным тем же конюхом топором Угрюмов-младший валил не шибко толстые дерева, не спеша освобождал стволы от сучьев, укорачивал их, сообразуясь с размером рыдванки; потихоньку насвистывая, укладывал в возок, согнутою рукой смахивая со лба пот. И, наверное, не успел ощутить боли, когда целый заряд дроби вошел ему сзади под левую лопатку. Стоял он в момент выстрела на возу, поправлял там дрова, на которые и упал навзничь. Так и принесла его в Завидово испугавшаяся лошадь...

Судебно-медицинская экспертиза искромсала тело молодого мужика, отыскала в нем несколько дробинок, сравнила их с дробинками, какие были и вообще бывают у охотников в этот сезон, — нашла, что Угрюмов повстречался с чьим-то случайным, шальным выстрелом, что преднамеренного убийства тут нету, что повинна в этой смерти собственная неосторожность Павла, что ему не следовало бы выезжать в лес, да еще к болотам, в такой день. На том дело и окончилось.

В Завидове на трех сирот стало больше.

Павла похоронили рядом с матерью, Аграфеной Ивановной, совсем недавно переселившейся за село, где находят вечный свой покой коренные завидовцы. Незадолго до смерти, воспользовавшись очередным приездом Сергея Ветлугина, она заманила его в свою избу, укрылась в горнице, предварительно удалив оттуда младшую дочь Катю, и, строгая, совершенно спокойно спросила:

— Ты был на Гришиных-то похоронах аль слышал, можа? Мне знать надо...

— Сам хоронил, тетя Груня. В землю опускал...

— Ну, ну, Сереженька. А теперь ступай. Иди, милый...

Разговор этот был накануне Серегиного отъезда. А тремя днями позже Аграфена Ивановна преставилась. Умерла тихо, не хворая, — просто прилегла на старой широкой лавке, на которой любила подремать, повернулась лицом к стенке и заснула навсегда.

Теперь женщины, глядя, как мужики оправляют

лопатами свежую могилу ее "младшенького", говорили с печальным удовлетворением:

— Хорошо, что не дожила до этого часа. Каково бы ей...

— Совсем бы с ума сошла. С ней и без того что-то творилось такое... Цельными днями просиживала на завалинке, и слова, бывало, из нее не выжмешь... Отмаялась, сердешная, прибрал бог вовремя, а то бы... Как теперя Левонтий-то?.. Как без нее?.. И без сына?

— Дочь при нем младшая, Катя, да невестка с внуками. Для них подержится, можа, пяток лет...

Разошлись и, как уж водится, погрузились в житейские свои заботы. О Павле какое-то время вспоминали, особенно трактористы, когда проезжали недалеко от того места, где когда-то была воронка от бомбы, та самая воронка, которую сровнял с землей, ликвидировал бульдозером Угрюмов-младший. Четырехлетний, средний его сынишка, копошившийся на задах, за плетнем, и случайно наткнувшийся на ржавый, некогда захороненный его батькой осколок, мог бы тоже вспомнить в эту минуту об отце, но для этого он не видел и не мог видеть никакой связи. Подержал ржавую и колючую железку в ладони, а потом запустил ею в сороку, нацелившуюся было на куриное гнездо.

А спустя полгода случилось вот что.

К участковому милиционеру постучался ранним утром, а затем вошел в избу небритый одноглазый человек.

— Епифан Матвеевич?.. Дядя Пишка!.. Что так рано? — спросил лейтенант, вовсе даже не похожий на лейтенанта в застегнутых на одну пуговицу кальсонах и короткой, не прикрывавшей пуза, исподней рубашке. Повернувшись к раннему гостю спиной, он поспешно натягивал синие диагоналевые брюки. — Случилось что?..

— Случилось... — хрипло, с клекотом выдавил из себя Пишка. — Заводи свой мотоцикл и вези меня в Краснокалиновск, в милицию...

— Зачем это? — спросил хозяин, одергивая на ладной своей фигуре китель.

— Это ведь... это, Алеша, товарищ лейтенант... — давился трудными словами Епифан Курдюков, — это я... я убил Павлушку Угрюмова...

В рассветных сумерках по одной из пустынных улиц Завидова протарахтел мотоцикл. Никто на него не обратил ни малейшего внимания. Одна, пожалуй,

лишь Штопалиха, страдающая бессонницей, проводила его сердитым старческим вздохом:

— Носит их нечистый, расплодили этих погремушек... Ох, господи, господи, и за что такая напасть!..

Тишка дозоревал в своей постели, по-ребячьи причмокивая толстыми губами; с угла его рта на подушку тянулась прозрачная слюна; голова его покойно лежала на парализованной, не чувствующей боли руке. Ни ухом, ни рылом, как сказал бы Максим Пакле́ников, Тишка не ведал, что вчерашний его разговор с Пишкою подвигнет последнего на страшное признание. Неизвестно почему, но речь у них зашла о давней облаве на волков, во время которой охотники случайно наткнулись на дезертира, коим, по несчастью, оказался Пишка. И вот теперь он спросил:

— Случайно, говоришь?

— Знамо дело, случайно, — спокойно подтвердил Тишка. — Сдонжили нас тогда бирюки, спасу от них никакого не было. Средь бела дня прямо у дворов резали телят и ярчонок... Вот мы и уговорились устроить облаву на волчишек...

— А можа, покойник Павлушка Угрюмов навел вас на мой след? — осторожно выпытывал Пишка.

— Да что ты, ни в коем разе! — решительно возразил Тишка. — Говорю тебе, сами мы сговорились, потому как житья от бирюков не стало... — Тишка оборвал свою речь, поскольку был напуган мгновенно изменившимся лицом Епифана: щеки на этом лице дергались, губы припадочно посинели, глаз метался туда-сюда, будто искал и не находил укрытия.

Наскоро распрощались. Тишка лишь первые минуты скреб у себя в затылке, усиливаясь понять, что же могло произойти с Пишкою, отчего это он вдруг помушнел, сменился с лица, но стоило Непряхину повстречаться со словоохотливым старым почтальоном, как он сейчас же забыл и про Пишку, и про его внезапную угрюмость.

Епифана Курдюкова судили выездным судом на открытых заседаниях в новом клубе села Завидова. Обвинительную речь произнес знакомый уже нам прокурор, который был в тот день не в духе, потому что утром его пригласил в райком Владимир Кустовец и в не слишком осторожной форме намекнул служителю Фемиды об уходе на пенсию. Прокурор же считал, что ему рано подавать в отставку, что только к шестидесяти годам он и обрел настоящую форму, познав все тонкости, извивы и нюансы юриспруденции. Он гово-

рил свою исполненную гневного благородного пафоса речь, но пылающий его взор почему-то не пронзал, как должно было бы быть, подсудимого, а воткнулся в сидящую в первом ряду Федосью Угрюмову, будто она была повинна в том, что погиб ее брат Павел, а заодно и в том, что прокурор в скором времени должен уйти на пенсию. Сама же Феня не слыщала прокуроровой речи: тщательно выверенная, с искусно вмонтированными в нее эмоциональными взрывами, она не задевала ее души, летела и мимо ушей, и мимо сердца. Феня глядела только на Пишку, и скорее скорбными, недоумевающими, чем ненавидящими глазами.

Епифану определили высшую меру наказания, "вышку", как констатировал уравновешенный всегда и оттого казавшийся бесстрастным Апрель. Однако Президиум Верховного Совета Российской республики счел возможным заменить расстрел пятнадцатью годами лишения свободы.

Так-то вот и разрешилась одна из бесчисленного ряда человеческих драм, начало которым положил сорок первый год. Но до конца ли разрешилась? Этого уж никто не мог знать.

Жизнь между тем шла своим чередом, своим порядком.

Накопивши деньжишек, сельский житель раздумывал, куда бы их с наибольшей пользой употребить. Одни положили на сберкнижки, другие поспешили обратить в материальные ценности, "в движимое и недвижимое". Газовые плиты, холодильники, стиральные машины, телевизоры заняли свои места в большинстве домов, которые постепенно вслед за соломенными стали менять и шиферные свои кровли на более надежные крыши из белого, оцинкованного или покрашенного зеленою краской железа. На некоторых подворьях объявились автомобили, которые сразу же лишили покоя завидущую и нетерпеливую бухгалтершу Наденку Скворцову. Вернувшись однажды из правления раньше положенного часа, она все поглядывала в окно, не идет ли домой муж, и, едва он ступил через порог задней избы, горячо заговорила:

— Ты что же, Авдей, думаешь?! Долго ли так будет продолжаться?.. Каждый божий день то меня, то тебя Точка в район и область по разным делам командирует,

а машину у него не допросишься. Вот я и говорю: пора своей обзаводиться. У людей уж "Москвичи" и "Запорожцы" во дворе стоят, только у нас у одних...

— Постой, постой, Надежда, — перебил ее Авдей, — а ты подумала, где мы возьмем такую пропасть денег?

— Подумала, — сказала Надёнка, значительно подмигнув матери. — Я ведь, Авдеюшка, не ты!.. У меня есть план... Мама, принеси-ка вчерашнюю газету! — И, пока мать отыскивала в передней "Сельскую жизнь", продолжала с большим энтузиазмом: — Считай, что автомобиль, пускай не "Волга", но "Москвич" или "Запорожец", уже в нашем с тобой гараже, я уж и кирпич для гаража выписала...

— Что же за план такой? — вяло спросил Авдей.

— Можно сказать, замечательный, гениальный план. И простой, как все гениальное.

— Ну, ну, — немного оживившись, заинтересовался Авдей, — выкладывай, что у тебя там.

Надёнка взяла из материных рук газету.

— Читал?

— Нет. Когда бы мне...

— И напрасно. Во, глянь! — Надёнка подозвала мужа к столу, развернула газету, ткнула пальцем в подчеркнутые красным карандашом строчки. — Прочитай вот это.

— Ну и что же? — пожал плечами Авдей, рассеянно пробежавший глазами по заметке.

— Как — что?! — возмутилась Надёнка. — Когда ты только у меня научишься думать, Авдюша! Соображать надо, милок!.. Гражданин Савоськин купил всего-навсего один лотерейный билет и выиграл "Москвича", а если купить их, тех билетов, штук, скажем, восемьсот, по нескольку пачек, так, чтобы шли номер за номером... По теории вероятности... Понимаешь? Ну?! Умница у тебя жена?..

— Не сказал бы, — Авдей улыбнулся. Спросил, однако, хмуро: — Это ты, Надежда, всерьез?

— Все рассчитано, до тонкости... На автомобиль наших с тобой сбережений не хватит, а на лотерейные билеты как-нибудь наскребем, не бог весть какая сумма!..

— Гляжу я на тебя, Надежда, баба ты вроде толковая, грамотная, а рассуждаешь, как дите малое, неразумное...

— Не дурее твоей...

— Не смей! — заорал он, мгновенно осатанев. — Не смей касаться ее своим языком!.. Слышишь, На-

дежда!.. Не смей, ты не стоишь и мизинца этой женщины!..

— Ну и уходи опять к... — фыркнула Надёнка, бурно дыша. Но все-таки осеклась, замолчала, сказала примирительно: — Злой ты какой стал, Авдюша, пошутить уж нельзя... Замотался, поди, со своей техникой. Плюнул бы на нее да пошел вон в кладовщики...

— Без тебя знаю, где мне быть, — сказал он и, постепенно остывая, посоветовал: — И вот что я тебе скажу, Надежда, выброс-ка ты свой "гениальный план" из головы и никому больше про него не сказывай, не смеши людей, не позорь ни себя, ни меня, ни вон ее, — кивнул он на притихшую за печной перегородкой тещу.

Надёнка промолчала, но от затеи своей не отказалась. Двумя месяцами позже в доме Матрены Дивеевны Штопалихи уже проверялась таблица выигрышей.

Электрическая лампа, размеров неправдоподобно великих, в человечью, пожалуй, голову, свисала на длинном и толстом, как канат, шнурке чуть ли не до самого стола, за которым сидели друг против друга Штопалиха и ее дочь. За ними молча и сумрачно наблюдал, нервно покусывая сигарету, Авдей, прислонившийся к дверям передней комнаты.

— Ну что, сейчас отправляться за "Москвичом" аль на завтра отложим? — спросил он, злорадствуя.

Надёнка огрызнулась:

— Отвяжись, не до тебя...

— Не мешай нам, Авдюша, — взмолилась и теща, вытирая платком свое вспотевшее, крайне озабоченное, раскрасневшееся лицо, — не то собьемся, запутаемся вконец...

— Лучше бы ты ушел куда-нибудь, — сказала Надёнка.

— Это можно, — сейчас же согласился Авдей, направляясь к входной двери, — желаю удачи. — И шагнул за порог.

Надёнка, хмыкнув, обиженно поджав губы и вскинув круглый подбородок, лукнула ему вслед:

— Поду-у-у-маешь!

Оставшись одни, продолжали свое занятие. Перед развернутой таблицей проверялась пачка за пачкой.

— Опять мимо? — время от времени осведомлялась страшно озабоченная Надёнка.

— Рядышком прошмыгнул... — сообщала, хмурясь от напряженного внимания, Штопалиха. — На одну лишь циферку не сошлось...

— Погоди, еще сойдется, — говорила, подавая матери очередную пачку, Надёнка. В голосе ее, однако, уже не было прежней уверенности.

— Должна сойтись... — поддерживала в ней боевой дух мать.

Остановила их работу прозвучавшая за окном песня:

На побывку едет
Молодой моряк...

Вслед за песней ввалились в избу и ее исполнители — двое бравых военных в матросской, тщательно отутюженной форменке. Это были Минька и Гринька.

Надёнка в один миг убрала со стола таблицу и лотерейные билеты, убежала в переднюю, а Штопалиха всплеснула руками:

— Минька, никак, ты? А это не Гринька ли будет?

— Так точно, Матрена Дивеевна! Явились в краткосрочный отпуск, как отличники боевой и политической...

— Батюшки мои, что же я, старая, стою так... Надёнка, что ты там укрылась?.. Иди самовар разогрей, а я сейчас яишенку поджарю с сальцем... Перво-наперво, конешное дело, чаек...

— Не трудитесь, Матрена Дивеевна, моряки такой напиток не употребляют.

— Ну, другого я для вас не припасла...

— Нам и не надо ничего другого. Вот обещанное тебе привезли, — Минька подал растроганной Штопалихе очки.

Матрена Дивеевна водрузила их на свой толстый, расплывшийся на пол-лица нос, повертелась перед зеркалом:

— Точно учителька, право... Где ж вы плаваете там, по каким морям-окиянам, а, Минька?

— Это секрет, тетенька Матрена. Военная тайна.

— Ну, ну. Секретное-то, ребята, при мне, как и при Апреле, не рассказывайте. Я, как и он, грешник, не вытерплю, сею минуту понесу по селу, как сорока на хвосте.

— Спасибо за предупреждение, Матрена Дивеевна! Разрешите отбыть, товарищ командир... товарищ завидовский капитан первого ранга!

— Да ступайте уж, — завидовский "капитан" широко улыбнулся. — А Филипп-то Фенюхин, знать, не с

вами служит? Нет? Ну идите. Матеря-то ваши, чай, стряпней занялись. Дождались соколов. Ступайте, ступайте. За очки еще раз спасибо. Выручили старую.

33

На полевом стане, у будки, приготовившись полудневать, лениво перебрехивались мужички — небольшой кружок, образовавшийся вокруг Тишки. Тут были Санька Шпич, не избранный в очередной раз в депутаты местного Совета и по этой причине уступивший свою председательскую должность другому человеку и заделавшийся учетчиком комплексной бригады; древний Максим Паклёников, недавно овдовевший и ушедший на пенсию и теперь день-деньской околачивавшийся на поле возле молодых односельчан и таким образом дожидавшийся своего последнего часа на горькой и сладкой завидовской земле; бывший комбайнер, а теперь тоже колхозный пенсионер, находящийся здесь в качестве наставника молодых механизаторов, Степан Тимофеев; несколько в стороне маячила длинная, склонившаяся над котлом фигура Апреля, только что доставившего пахарям ведро карасей и сейчас дававшего консультацию стряпухе относительно затевавшейся ими ухи.

По зяблевому полю, где некогда разыгралась свадебная история, навстречу тракторам бежали Минька и Гринька, сигналили руками, чтобы трактористки, их одногодки, остановили свои машины. Но девчата не остановились. Из одной лишь кабины спрыгнула на землю Феня — должно быть, она натаскивала, инструктировала одну из своих воспитанниц.

Гринька попросил:

— Теть Фень... Федосья Леонтьевна! Разрешите хоть один круг проехать. Ей-богу, и во сне эту нашу землю видел. А когда по морю идем, так и кажется, что под нами поле. И мы не на корабле боевом, а на тракторе.

— Вы что же, на побывку? — спросила Феня, стряхивая с комбинезона пыль.

— На побывку. Отличники мы! — не вытерпел, чтобы не похвалиться, Гринька.

— Молодцы, — сказала Феня, а в глазах, в темнеющей их сини, был немой вопрос: "Что же с Филиппом моим? Как он там? Скоро ли приедут с Танюшкой и внучонка мне покажут?.." Вслух, однако, спросила: — Отслужитесь — вернетесь в Завидово аль как?

— Там видно будет, — неопределенно сказал Минька.

— Нет, ты не юли. Скажи прямо: вернешься ай нет?

— А мне чего тут делать, Федосья Леонтьевна?.. Скажите, сколько вашему инженеру Федченкову лет?

— А дьявол его знает. Сорок, наверное, с гаком. Тебе-то зачем это знать?

— Так, — подытоживал Минька, не отвечая на ее вопрос, — сорок с гаком, ну а механику, дяде Авдею?

— Этот чуток постарше.

— Так, — опять подытожил Минька. — А скажите, Федосья Леонтьевна, хорошие они специалисты?

— Не жалуемся, дело свое знают.

— Так! — торжествовал Минька (Гринька при этом глядел на него и на всякий случай улыбался). — Значит, минимум десяток лет Михаил Соловьев, то есть я, должен будет в родном Завидове рядовым трактористом вкалывать? Нет уж, дудки, Федосья Леонтьевна! Минька не дурак. Он поедет в город, устроится на завод слесаришкой самой пусть низкой, начальной категории. Но потом, поскольку не дурак, поступит в вечерний техникум при том же заводе. Окончит его, разряд между тем повысится. Отработал восемь часов — и вольный казак, куда хочешь иди. Хочешь — в театр, хочешь — в кино, хочешь, во Дворец спорта мячик, шайбу там погонять или в плавательном бассейне побултыхаться — благодать!.. Затем, глядишь, вечерний институт, опосля его и мастером в цеху можно стать... Инженер Минька, начальник цеха Минька — и пошло-поехало!.. Что вы на это скажете, Федосья Леонтьевна?

— Скажу... — глаза Угрюмовой налились холодом, — скажу не тебе. Матери твоей скажу. Жалко, скажу, тебя, Мария, дурной у тебя сын вырос, зря ты столько горя с ним вынесла!.. Карьерист твой Минька!.. — Она замолчала, перевела дух. — "Начальник цеха Минька! Инженер Минька!" — передразнила зло и беспощадно. — А на земле, голубок, не грех быть и рядовым всю жизнь!..

Мимо проходил трактор. Феня взмахом руки остановила его.

— Ну дай же прокатиться, теть Фень! — сказал Минька почти умоляюще. — Хоть один разик!

— На тракторах землю пашут, а не катаются. Плавай уж там на морских волнах, а потом катись в город, коль ты такой расчетливый!

Из кабины трактора чуть заметно в запыленном оконце проглядывало девчоночье лицо.

Феня быстро, совсем по-молодому, взобралась на машину.

Минька и Гринька, понурившись, глядели вслед удаляющемуся трактору.

— Я ж ей честно... Чего ж она... так? — бормотал в замешательстве Минька.

— "Честно"! — Теперь уже передразнил его до этого покорный ему во всем Гринька. — Ты, может, самую большую обиду ей нанес. Эх ты, моряк! Пойдем лучше поскорее отсюда. Нечего честным труженицам глаза мозолить...

— Я, может, на флоте хочу остаться. В военно-морскую академию... У ней ведь тоже сын в армии остался... — искал себе оправдания Минька.

— Так бы и сказал Федосье Леонтьевне, а то развел тут свою гнилую теорию...

Феня действительно была сильно огорчена этой Минькиной теорией и, возвратившись с полей, шла на ферму не в лучшем расположении духа.. А тут ее ждала новая неприятность.

Возле фермы, у большого загона, где табунились молодые коровы, стоял невероятный бабий гвалт.

— В чем дело? Чего не поделили? — спросила бригадирша.

Девушка-зоотехник, чуть не плача, указывая на Штопалиху, возмущенно сообщила:

— Она, эта вреднющая старуха, кампанию по искусственному осеменению срывает. Телки-то уж все стельные!

— Как... как стельные?.. Я ж сказала, чтоб до весны... — Феня в растерянности умолкла.

— Я, Федосья Леонтьевна, ничего не знала! — продолжала свою печальную повесть девушка. — В начале августа пробралась эта... эта старая на ферму и впустила к телкам трех аж быков... Теперь вот только сама призналась. Вот при них, — девушка указала на толпившихся у изгороди и улыбающихся доярок.

Штопалиха, молча, с достоинством выслушав, с не меньшим гневом сказала, обращаясь к зоотехничке:

— Ну, ну, ишь разошлась, разбулькалась, как кипяток! А еще ученая! Тут тебе не базар. Вот ежели б к тебе подлезть под твою мимо-юбку с той железякой холодной, пондравилось-бы?.. Не-эт! Тебя-то вот, голубушка, сперва обними, да поцелуй, да приласкай разными там словами, тоды, можа, кого и подпустишь... А тел-

ка, разве она не живое существо?.. Да и то сказать, Фенюха, — теперь Штопалиха повернулась к Угрюмовой, — то сказать... не верю я, грешница, в казенное-то осеменение. Как бы ошибки не получилось. С быками оно верней...

Доярки, поджимая животы и охая, смеялись. Смеялась вместе с ними и Феня. Затем, с трудом удержав в себе рвущийся наружу смех, посоветовала старухе:

— Ты вот что, Матрена Дивеевна, оставь это... Налетишь на штраф. Из зарплаты зятя удержим. Слышишь?

— Не глухая, слышу. У меня к тебе еще одно дело есть, Фенюха, затем и пришла на ферму, тебя искала.

— Какое же дело? Говори.

— Оно у меня, дочка, такое, что при всех-то и не скажешь. Ты, может, разрешишь старухе домой к тебе заглянуть ужо?..

— Приходи, ради бога.

— Спасибо, милая. Ужо наведаюсь. А нащет этого... — она оглянулась на телок, — вы зря на меня, зря обижаете... Для твоей же, Фенюха, бригады компл... компле... фу, нечистая сила... Как ты там ее назвала, не выговорю?

— Комплексная.

— Ну, ну. Для твоей же бригады, говорю, старалась... боялась, что телки останутся яловыми... — И, кинув последний раз на девушку-зоотехника гневный взгляд, покинула ферму. Даже со спины было видно, что старуха покидает поле боя в гордом убеждении своей несокрушимой правоты.

"Скорее бы уж занятия в школе начались, — думала она по дороге домой, — укрылась бы там и глазыньки бы не показывала этим вот самым..."

Вечером, как и обещалась, Штопалиха пришла к Угрюмовой.

Феня была не одна в доме, а с Марией Соловьевой. Они только что помылись в бане и теперь пили чай. Мария, сообразив, что предстоит какой-то серьезный разговор, сочла за благо оставить подругу одну, с глазу на глаз с вошедшей. Бочком, бочком она выскользнула из избы мимо чаявшей как раз этого Штопалихи.

— Ну, что скажешь, Матрена Дивеевна? — спросила Феня сухо, подрагивая, по обыкновению, ноздрями.

— Горе у нас, Федосья. Можно даже сказать, беда, и немалая, — начала Штопалиха, перемежая слова глубокими и тяжкими вздохами. На лице ее — всам-

делишная скорбь и одновременно покорность судьбе.

— Да ты присаживайся, — сказала Феня, пододвигая гостье стул. — Что же случилось?

— Достукалась моя-то...

— О ком ты?

— Надёнка-то моя, говорю, доигралась...

— Что с ней? — спросила Феня вяло, почти безразлично.

— Да что, Фенюшка, накупила несколько пачек лотерейных билетов, хотела автомобиль выиграть, а они все, как есть, нули. Матрас толечко какой-то надувной выпал на один номер...

— Ну и что?

— Как — что? Деньги колхозные, из кассы взятые. А когда теперя она их вернет, коли у нас ни копейки?! Нагрянет ревизия, а потом следствия разные, упрячут мою дуреху за колючу проволоку, как воровку. Где нам взять такие деньги? Нешто корову сгоним со двора, продадим?.. Ты, Фенюшка, наш бригадир, поговори с Виктором Лазаревичем, он тебя послушает, пущай придумает што, вызволит бабенку из беды...

Феня задумалась. Потом спросила:

— Сколько денег-то?

— Ой, дочка, страшно аж сказать. Четыреста рубликов!

— Дешево захотела твоя Надёнка приобрести "Москвича"!

Сказав это, Феня вышла в горницу. Вернулась с пачкой денег.

— Возьми, тетенька Матрена.

Потрясенная, Штопалиха схватила Феню за руку, собиралась поцеловать. Феня резко отдернула руку, сказала быстро, в смятении:

— Что вы, тетенька Матрена!.. Зачем это?.. Не смейте никогда этого делать!

— Ну спасибо, родная наша!.. Вечно за тебя бога буду молить. Спасла дурную ее голову!.. Когда ж вернуть-то тебе их? — она указала глазами на пачку.

— Когда будут, тогда и вернете.

34

Не только летом, но и по осени Феня любила ходить на дальние поля и возвращаться с них лесом. Тут хорошо и покойно дышится и думается, тут можно без по-

мех прислушиваться и приглядываться к иной жизни, непохожей на человеческую, не всегда понятной, а потому и тревожащей. Феня, например, очень любила животных, особенно диких. Домашние окружают сельского жителя от первого до последнего дня его пребывания на этом свете. Качаясь в зыбке, малыш уже мог видеть, как внизу, на полу, играет с колеблющейся тенью колыбельки котенок, а за окном, встряхнувшись шумно, оглашает округу своим пронзительным криком петух, а рядом с ним одна из его многочисленных подруг деловито склевывает с того же окна замазку. Выведенный или еще раньше вынесенный во двор ребенок мог сделать много открытий: навстречу ему непременно откуда-нибудь выкатится некое хрюкающее существо и, снедаемое любопытством, сунет в ребячьи ножонки свой холодный и твердый, как резиновая шайба, пятачок; увидит ребенок и корову, и теленка, и овец — увидит, подивится раз-другой, а потом так привыкнет ко всему этому, что перестанет и дивиться, и удивляться, ибо поймет: так было до него, так будет при нем, так должно быть всегда. Тот же петух или там курица будет рядом с человеком и весной, и летом, и осенью, останется с ним и зимою. Иное дело, перелетные птицы. Какое-то странное, чуть щемящее и неизменно новое чувство испытывала к ним Феня. Воробей, сорока, галка, ворона, синица — те, что зимовали с людьми, были не то чтобы безразличны ей, но они, вроде кур, были как бы домашними, прирученными, своими, привычными и потому не возбуждали так, не тревожили ни души, ни воображения. А вот скворец, соловей, чибис, цапля, дикая утка, журавль где-то пропадают с осени до весны, надолго покидают места, где вылупились из теплого яйца сами, вывели своих детенышей, — каково им расставаться с родным болотом, с вершиной дерева, где чернело сиротски, насквозь продутое, остуженное недобрыми осенними ветрами гнездо! Куда и зачем они улетают? Разве боятся лютого холода в родимых краях? Но неужели крохотуля воробей выносливее коршуна или дудака?.. Зато своими прилетами и отлетами тот же коршун, скворец, жаворонок, дрофа ли как бы повторяли и усиливали новизну вечно сменяющихся времен года, сообщая им особую прелесть, неизъяснимую для человеческого сердца окраску: тревожно-сладостную в одном случае; смутно-горьковатую, сеющую легкую, как паутинка бабьего лета, грусть, — в другом.

Часто думает об этом Феня, когда осенним, поскуч-



невшим и ропчущим под холодными ветрами лесом идет по узкой тропе и когда откуда-то с немыслимых высот падают и сладкой занозой вонзаются в ее душу клики улетающих в неведомые края гусей и журавлей. Вот и нынче она остановилась, запрокинула голову в надежде отыскать прижмуренными глазами живые, стремительно убегающие куда-то клинья, ожерелья и длинные цепочки птичьих станиц. Бледнея, она страстно шептала:

— Милые вы мои, куда же?.. Зачем?

В таком-то томительно-щемящем настроении, выйдя из лесу, и оказалась она напротив Тишкиного дома, и лишь теперь по крикам, песням, вырывавшимся из

всех открытых настежь окон и дверей избы, вспомнила, что у Непряхиных свадьба, что Тишка и Антонина выдавали замуж четвертую свою дочь, ту, что все в Завидове называли не иначе, как Верка-Недоносок. Кто-то выскочил на улицу — Феня не успела разглядеть, кто именно, — подхватил ее на руки и, хохоча, влетел с нею прямо к свадебному столу, являющему собою вид полного, но не законченного еще погрома: большая часть тарелок с закусками была опрокинута и сброшена под ноги. Выскочивший навстречу Фене хозяин, раскачиваясь, повел ее в передний угол, под образа, где полагалось сидеть почетным гостям. Не церемонясь, турнул оттуда Саньку Шпича, по привычке занявшего было красное место, будто смахнул его одной своей рукой, ею же налил Фене полный стакан, попросил, влажно сияя пьяно-радостными глазами:

— Выпей, Фенюха, бригадирша наша дорогая!.. Поздравь молодых!

— Выпью, Тиша, как же можно, — сказала она и, поклонившись смутившимся малость молодым, выпила стакан до дна.

— Вот эт по-нашему! — взревел Тишка.

— Молодец, Фенюха! Не побрезговала нами! Пришла! Молодец! — прокричала и Антонина и сейчас же выпрыгнула на середину избы, двинула плечом замешкавшегося тут Апреля, подмигнула ему, схватила за руку и, охально осклабясь, визгливо затараторила:

Как дед бабку
Завернул в тряпку
И залил святой водой,
Чтобы стала молодой!

Апрель, потихоньку матюгаясь, вырывался из рук хозяйки, но на смену этой паре уже выходила Мария Соловьева, таща за собой по-медвежьи упиравшегося Колымагу. Мария, похоже, давно ожидала этой минуты и теперь, притопывая перед лесником, горланила во всю свою бабью мочь:

У нашего дяденьки
Две курочки рябеньки.
Одну держит на зарез,
На другую...

— Ого-го-го! — ревут мужики.

— И-и-и-их! — визжит Антонина, вновь выбегая на

круг. — Дай ему жару, Машка!.. Крути, окаянного... лесного лешего! И-и-и-их! — И пошла, пошла по избе, пол ходуном заходил под ее ногами.

Антонина, пытаясь вовлечь и полухмельную Феню в набиравшее силу свадебное веселье, таща ее за руку и приплясывая, приговаривала:

Ходи изба, ходи печь —
Хозяину негде лечь!

Феня, краснея, пыталась направить его, это веселье, в более пристойное русло, а потому и запела:

Под лодкой вода,
И в лодке вода.
Девки юбки намочили —
Перевозчику беда!

Кое-как отделавшись от наседавших на нее и не в меру разохальничавшихся баб, она быстро вернулась на свое место и лишь теперь спокойно огляделась, узнала хорошенько, кто же был на этой свадьбе. Наскочив глазами на ожидавшего этого ее взгляда Авдея, она быстро вильнула ими в сторону, увидала незнакомого плечистого человека в темно-синем свитере, видать, тоже давно наблюдавшего за нею и теперь улыбнувшегося ей. Обрадовалась, хотя и не призналась бы самой себе, что обрадовалась, не обнаружив за свадебным столом Надёнки Скворцовой и ее матери, а более всего тому, что Авдей смотрел — она это чувствовала — только на нее одну и, то и дело склоняясь к сидевшему рядом с ним уж немолодому, но красивому мужчине, рассказывал ему о ней: боковым зрением видела, как мужчина в ответ утвердительно качал головой и тоже смотрел на нее. Когда Феня поднялась, собираясь уходить, она уже знала, что вслед за нею подымутся и они, Авдей и тот другой, в синем шерстяном свитере, плечистый и загорелый. Во дворе Авдей, робея, путаясь в словах, познакомил их:

— Это мой фронтовой товарищ... Чигирь... Чигирев Лешка... Алексей Романович. Помнишь, Феня, я тебе писал про старшего сержанта, с которым мы из немецких лагерей пытались бежать?.. Так вот он!.. Жив, здоров!.. Познакомьтесь, пожалуйста!..

— Какими судьбами к нам? — спросила Феня, не торопясь отнять у Чигирева свою руку, которую тот все еще держал в своей руке и словно бы не знал, что с нею делать, куда деть.

— По мелиорации я... Из области к вам, в Краснокалиновский район, командирован. Я ведь ваш земляк... Узнал в Краснокалиновске про него вот, про дружка своего боевого, ну и подался к вам...

— Надолго? — спросила Феня.

— Дня на два. Вот переночую, погляжу...

— Где ж ночевать-то собрались?

— Да вот... — Чигирев взглянул на Авдея.

— У меня, где ж еще! — быстро сказал Авдей, обидевшись на то, что был задан этот праздный вопрос.

Но Феня не смирилась, спросила резко:

— Где это у тебя? У Штопалихи?

— Зачем же... У меня, чай, свой дом есть...

— Нету у тебя никакого дома! — Угрюмовская, хорошо знакомая Авдею непреклонность и жестокость послышались в ее голосе. А Феня продолжала: — Нечего ему у вас делать. У меня вон полдома пустые. Сын давно в армии. Отдам твоему товарищу Филиппову кровать. Покойнее будет. А то твоя теща заговорит до смерти!..

— Да я ж к матери своей его!..

— А та тоже не лучше! Тоже язычок... Пойдемте ко мне, Алексей Романыч. Самовар сейчас поставлю, чайком угощу, хватит самогонище-то лакать на этой свадьбе. Пускай без нас повеселятся!

Уже за Фениным столом, отхлебывая горячий чай, явно подражая хозяйке, из блюдца, Чигирев еще раз отрекомендовался:

— Я инженер по мелиорации, хозяюшка... простите, никогда не могу запомнить имени при первом знакомстве... как вас величать?

— Феня. Федосья Леонтьевна Угрюмова... По поливному делу, значит, вы? — сказала Феня. — Это хорошо. Измучились мы с засухой. А с другой стороны, и болот у нас хватает. Неплохо бы осушить какие...

Авдей поднял глаза на Феню, с удивлением слушая: откуда, мол, ей ведомы незнакомые эти слова — "мелиорация", "ирригация"?

Чигирев между тем пояснял:

— Пощупаю вот глазами вашу речку — погляжу, где плотину возводить.

— Она не баба, наша речка, чтоб ее щупали, — неожиданно грубо и поспешно сказал Авдей, нацелившись перевести разговор на иной лад. — Ты там, Феня, погляди, может, что горяченькое отыщется в твоей печке?

После Тишкиной свадьбы в животе что-то урчит, от пустоты, должно... Так что погляди там...

— Обождешь, — тихо, но властно осадила его Феня.— Дома у себя командуй. — Переменив мгновенно суровость на приветливость на своем и при улыбке строговатом лице, она вновь обратилась к инженеру: — Плотинешка и раньше была, три мельницы крутила, да забросили в войну. А вот не знаю, хватит ли для наших полей и лугов воды в речке Баланде?.. У нас ведь шесть тысяч гектаров одной пахотной, а потом огороды, колхозные и индивидуальные...

"Индивидуальные"! — думал про себя Авдей. — И откуда она только нахваталась таких мудреных словечек! Скажи на милость! Это с ее-то тремя классами!" А сам глядел на Феню вроде уж другими глазами, не в силах сдержать невольного восхищения ею. Видел, что и его фронтовой товарищ смотрел на нее так же, и, обожженный остреньким и стыдным огоньком вспыхнувшей внезапно ревности, хмурился.

Чигирев тем временем уже рассматривал фотографию Филиппа, принесенную хозяйкой из горницы.

— Неужели у вас такой сын?

— Такой. А вы что... думали, что я молоденькая? У меня уже внучонок есть. Я уж бабушка! — Феня глянула на набычившегося Авдея, улыбнулась кривой, мстительной улыбкой.

— Сколько же вам лет? — спросил гость, с удивленным восхищением оглядывая ладную, подобранную фигуру хозяйки.

— Кто же спрашивает об этом женщину?..

— Ах, ну да... Прошу прощения, Федосья Леонтьевна.

Когда совсем стемнело, Авдей вновь предложил:

— Может быть, все-таки к нам... ко мне пойдешь, Леша?.. — И умолк, прихлопнутый горячим, презлющим Фениным взглядом.

— Ему тут будет лучше, — сказала она вызывающе.

Авдей ушел, а несколькими часами позже вновь оказался у Фениной избы, подходил на цыпочках то к одному окну, то к другому, прижимался потным лбом к стеклам, пытаясь разглядеть, что там, внутри.

— Занавесились... — сдавленно прошептал он.

За этим занятием его и увидела ступившая из-за калитки хозяйка. Тихо подошла сзади, спросила так же тихо и вроде бы спокойно:

— И тебе не стыдно?

Авдей вздрогнул, но быстро оправился. Сказал:

— А ты, знать, сладкий сон моего дружка охраняешь?

— Охраняю и спасибо тебе говорю. Это ведь ты его для меня отыскал. Да еще с доставкой на дом! Так что...

— Он где? — в ярости закричал Авдей.

— Не ори. Человек устал с дороги, спит. Разбудишь еще.

Страшно выругавшись, Авдей скаканул куда-то в сторону и скрылся, сгинул в темноте.

Феня глядела туда, где он пропал, а плечи ее сами собой уже начинали вздрагивать. И в темноте не понять — от чего: от смеха ли или от рыдания.

А в сельсовете, на раскладушке, закинув руки за голову, буравил потолок широко раскрытыми, не поддающимися сну глазами Чигирев.

"Вот бабы! — думал он, растерянно и чуток пристыженно улыбаясь в темноте. — Пойми ты их! Сперва оставляла, а как только Авдей ушел, спровадила и меня. Характерец, похоже, у этой Федосьи — ой-ой-ой!"

Он так и не знал, удалось ли ему уснуть хотя бы на час, когда в сельский Совет ворвался Авдей, в бешеной радости подхватил раскладушку, вытряхнул из нее товарища прямо на пол, упал на него, мял, хохоча, тискал, поглупевший от счастья:

— Чертушка! Вот, оказывается, ты где?.. Санька Шпич, спасибо, указал. А я, болван, подумал было о тебе такое!.. Дай мне в морду, Алешка! Слышь, дай! Ей-богу, не осерчаю! Заслужил... Ну, вставай, пошли... Феня завтракать приглашает!

— Да рано ведь еще!.. И что же ты к себе не зовешь?

— А я к себе и зову. Ну что ты уставился на меня? Сразу все хочешь узнать? Не пытайся, друг. Жизнь такого накрутила, что не скоро выпутаешься... Ну, пошли!

— А ты, Авдей, пытался выпутаться? — спросил Чигирев, начавший что-то понимать; он уже поднялся и поправлял на себе костюм.

— Пытался. Да война, видать, очень хитро запутала все.

Опять война? Во всем ее виним. Пора бы, кажется, оставить ее в покое и в себе поискать причины.

Авдей заговорил быстро, необычайно серьезно:

— Мы-то, Леша, и оставили бы ее в покое, да она нас что-то не оставляет...

— Философ.

— Поневоле будешь философом, — сказал Авдей, ведя товарища к входной двери.

Все как будто установилось, утряслось и в доме и на душе Фени Угрюмовой: Авдей снова вернулся, и теперь — она была уверена в этом — навсегда; даже Надёнка не питала никаких уже иллюзий на его счет — покрыв долги в колхозной кассе, укатила в город, не оставив, впрочем, своего согласия на развод, но это уж для того только, чтобы чем-нибудь да досадить своей сопернице; Фене, однако ж, и не нужен был формальный брак, ей и без казенной гербовой бумажки хорошо было с Авдеем, ко всему она еще и стыдилась в свои-то лета идти под венец, то есть в загс, в районный Дворец бракосочетания, составлявший предмет особой гордости предисполкома Михаила Николаевича Воропаева и секретаря райкома Владимира Григорьевича Кустовца, потому что их совместными усилиями была выхлопотана смета на возведение дворца (должно, пожалуй, заметить, что выделенных им средств хватило бы разве что на фундамент; выручил, однако, шеф, "богатый дядюшка", коим оказался Лелекин со своим процветающим и развивающимся заводом резинотехнических изделий, недавно ставшим предприятием коммунистического труда). Феню, повторяем, вполне устраивало то, что Авдей был с нею, рядом, что по ночам она чувствовала на своей руке его тяжелую голову, могла прислониться своей щекой к его щеке или запустить пальцы в его редеющие, мягкие, как у младенца, светящиеся в ночи белые кудри. Она любила просыпаться на час раньше его, поглядеть на него сонного, затем, приготовив наскоро завтрак, накормить его и себя и вместе отправиться на работу. Радовало еще и то, что Авдей сам часто писал письма Филиппу и получал ответные, что он схватывал в охапку сразу всех троих Павлушиных сирот, приносил в избу, забавлялся с ними, угощал припасенной на такой случай шоколадкой. Феня радовалась всему этому и не знала, что судьба готовила ей новое испытание, может быть, последнее в ее жизни, но зато и самое страшное...

Всего три дня прошло с тех пор, как Авдей уехал на кустовые краткосрочные курсы усовершенствования колхозных механиков, а Феня уже считала дни, когда он вернется. Прежде она могла годами жить одна в своем доме, а теперь и день кажется ей годом. И все-таки она была покойна, ибо знала, что Авдей через месяц возвратится, и возвратится только к ней и ни к кому другому. На четвертую ночь, однако, на

сердце легла неясная, смутная, пиявкою посасывающая тревога. Не дождавшись рассвета, Феня поднялась, беспокойно заходила по комнатам, принимаясь то за одно, то за другое дело, и ни за какое, чтобы довести его до конца. То ухват упадет из ее рук на пол с оглушительным в полной тишине грохотом, то горшок выскользнет и разобьется на мелкие осколки. Садилась в смятении на лавку, сжималась вся, точно в ожидании удара. Вскрикнула от громогласного крика петуха, звонко хлопавшего жесткими крыльями где-то на завалинке, а еще больше — от раздавшегося почти одновременно с кочетиным напряженного голоса диктора в радиоприемнике:

— "Сообщение ТАСС.

Сегодня, в три часа двадцать минут..."

— Фи-ли-ипп!!! — закричала Феня, заглушая радио и не дослушав до конца правительственного сообщения.

Наутро, ровно через день, пришла телеграмма.

Все село собралось на улице, на которой стояла изба Федосьи Леонтьевны Угрюмовой. Завидовцы, не решаясь зайти в дом, ждали у двора. Феня вышла в черной фуфайке, в черной юбке, голова ее была покрыта черной тяжелой шерстяной шалью. Не взглянув ни на кого, она поднялась в поданный для нее "газик". За рулем сидел сам Точка, председатель. Он же выправил в областном городе для нее билет на самолет, помог подняться по трапу, а на следующий день она уже была за тыщи верст от Завидова, в безвестном поселке, где на небольшой площади, окруженной чахлыми, кривоногими деревцами, у свежевырытой братской могилы, в строгом солдатском равнении были выстроены гробы. Негустая толпа — военные, но больше гражданские — обступала их. Матери и отцы погибших пограничников стояли с обнаженными головами. Из-под расстегнутого полушубка одного мужчины выглядывал орден Отечественной войны. Он еще не успел постареть, этот отец павшего солдата, лежавшего сейчас в гробу мальчишки с лицом, не успевшим познать бритвы. Плач женщин был непрерывен, то стихая порою, то вновь подымаясь до жуткого вопля. А Феня — как каменная. Стояла, склонившись над Филиппом, прижимая к себе невестку, с горячечными, сухими глазами. С губ ее срывалось:

— Ну, Филипп... Хватит... Вставай, сынок. Слышишь, вставай... Домой... домой поедем. Пора нам, вставай, родимый...

Пробыла у снохи и внука две недели, хотела увезти

их с собой в Завидово, но с назначением пенсии для осиротевшей семьи вышла задержка: начальник заставы, майор, посоветовал Федосье Леонтьевне возвратиться домой пока одной, а Таню и ее сына он вскорости проводит сам.

Она приехала в Краснокалиновск в самую непогодь, не предупредив никого загодя о своем приезде. Прямо от станции направилась к тетеньке Анне, но окна ее хижины были заколочены досками. Появившаяся с соседнего двора старуха, та, которая некогда обещалась доглядеть за Тетенькиными козой и собакой, узнав Феню, сказала:

— Ты, поди, к Аннушке?.. Нету ее, милая...

Феня поняла, качнула головой, собралась уходить.

Старуха задержала ее:

— Куда ты пойдешь? Оставайся у меня до утра. Ай не видишь, как она разбушевалась!.. Свету вольного не видать.

Феня согласилась, молча прошла за старухой в ее избу. А на другой день, едва помутнело в замерзшем окне, собралась в путь, так и не переждав непогоду. Старуха хозяйка уговаривала остаться, но, видя, что нечаянную гостью ей не удержать, трижды перекрестила ее:

— Ну, ступай ... с богом!.. И кто тебя гонит!.. Глянько, что там творится!

Феня не проронила ни слова. Вышла и решительно направилась на большак. Вот уже ее одинокая фигура малым пятнышком рывками подвигалась средь белых, поднятых метелицей снегов. Из-под тяжелой шали, ставшей уже тоже белой, выбивались пряди белых не то от инея, не то поседевших волос. Злая поземка змеею обвивалась вокруг ее ног, колючие снежинки впивались в разгоряченное, сосредоточенное лицо. Казалось, все смешалось в мире, в белом этом царстве: земля и небо, дорога и бездорожье, и ничего не различить в нем; только снежная замять, только колючие обжигающие снежинки невидимо неслись встречь и иголками впивались в щеки, в лоб, в обороняющиеся длинными ресницами глаза. Феня непрестанно протирала их, изо рта валил пар, ноги глубоко увязали в снегу, часто спотыкались о невидимые жесткие хребтинки нанесенных поземкою сухих и плотных, как песок, лежавших поперек дороги снежных бурунов. Вскоре она почувствовала, что дорога куда-то ушла из-под ее ног; в надежде нащупать ее, метнулась в одну, в другую сторону; не нашла, двинулась прямо, низко нагнув

голову и рассекая ею яростные встречные удары ветра. Выбилась все-таки из сил. Остановилась. Тяжело осела на снег. Губы шевелились, произносили непрошено:

— Неужто конец?.. Неужто тут она ждала меня... смертушка?.. Ой, что это?.. Звон какой-то?.. Может, в висках?.. Аль показалось? Нет, звенит, звенит...

Звон колокольца приближался, делался все слышней. Такие бывают только под дугой.

Феня сделала страшное усилие, оторвала себя от сугроба, шарахнулась в сторону, туда, откуда накатывался звон, и чуть не натолкнулась лицом в храпящую морду вмиг остановившейся лошади.

— Чалый! — устало крикнула Феня.

Из белого бушующего омута вынырнул Авдей. Подхватил ее на руки, понес в сани, закутал с головой в тулуп. Сделал все это пока молча. Молчала и она, покорно и бессильно подчинившись ему. Закутав ее, Авдей развернул жеребца на обратный путь. Намотал конец вожжей на санную раму. Упал в сани и закричал умоляюще:

— Чалый, милый!.. Теперь на тебя вся надежда! Неси, друг! — И нырнул под тулуп сам.

Оба тяжело дышали, долго не могли заговорить. Потом, согревшись, чувствуя надежную его близость, она спросила:

— Кто же тебе сообщил?

— Отец твой, Леонтий Сидорович, телеграммой...

— Ты давно приехал?

— Третьего дня.

— А как же ты узнал, что я нынче объявлюсь?

— А я каждый день выезжал на Чалом. Дороги-то замело, даже трактор не проходит, не то что...

Жеребец меж тем отбрасывал назад белые версты. Сам белый, бешено мчался по невидимой глазу, но отлично чувствуемой им дороге. Ветер свистел в его гриве, в распушившемся хвосте, в расщелинах саней, меж копылов полозьев; заливался где-то высоко колокольчик. Прямо с этим ветром, с его свистом и звоном под дугою и вынес Чалый их в Завидово, содрогаясь всем своим могучим, распаленным телом и сигналя, оповещая селение ослепительным ржанием.

36

Весна была спорой. В одну неделю вскрылись Медведица и впадающая в нее Баланда, поднявшиеся в них и вышедшие из берегов воды соединились с хлы-

нувшими с гор, с полей потоками, как и в прежние годы, затопили лес, прилегающие к нему луга, устремились через Поливановку, мимо Апрелева подворья, на другие улицы, разбили селение на острова, заполнив собою все низинные места, подобравшись в ночи и ко многим избам. Завидовцы, которым, казалось бы, не привыкать к половодью, все-таки всполошились. На все село звучал уже хрипловатый, с посвистом, почти мужской голос Штопалихи, успевшей забраться в своем затопленном дворе на самую вершину навозной кучи, воздвигнутой в течение зимы при очистке хлевов. Куча эта дымилась, как Ключевская сопка, а Матрена Дивеевна возглашала:

— Люди добрые, спасайте! Никак, всемирный потоп начался!.. В святом писании сказано... Эй, Артем Платоныч! Заверни-ка с лодкою-то сюда! Не видишь — тону!

— Я, чай, не Ноев ковчег! — ответствовал тот. — Выбирайся, Матрена, сама аль зятя покличь, чтобы выручал!

— Где он у меня, зять-то?! Был, да весь сплыл. Нету теперя у меня никаких зятьев!..

— Ну как хошь. А мне, Матрена, не до тебя...

Штопалихина изба стояла по самые окна в воде. Обрадовавшись ей, вокруг важно плавают гуси, заглядывают в окна, тыкаются в стекло сплюснутыми желтыми своими клювами.

Штопалиха, перестав на минуту взывать к проплывавшим мимо односельчанам, отчаянно кричала — теперь уж на гусей:

— Кши, кыш, нечистая сила! Всю замазку как есть с окон склюют...

С крыльца правленческого дома за ней, посмеиваясь, наблюдали мужики. Тишка говорил Авдею:

— Иди спасай предбывшую свою тещу. Не ровен час захлебнется, утопнет...

— Выплывет...

— А черт ее знает, — усомнился Тишка, — вдруг возьмет да и утонет... Пойду прихвачу лодку и сыму ее с кучи. Глядишь, поднесет лампадку. У нее завсегда найдется...

Сев, как и весна, тоже был ранним. Десятка два мощных гусеничных тракторов уже бороздили ровно, хорошо возделанное поле, таща за собой огромные, новейшей конструкции сеялки. В кабине одной машины, оставшейся без трактористки прямо перед посевной, — трактористкой этой была Верка-Недоносок, вышедшая недавно замуж и перекочевавшая в соседнее

село Чадаевку, — сидела Феня. На темном, исхудавшем лице ее напряженным блеском светились большие, вроде бы остановившиеся в своей суровости, не менявшие выражения глаза. В сторонке, пересыпая в горсти поспевшую для посева землю, стояли Тимофей Непряхин и Точка. Тишка говорил с удивлением:

— Третьи сутки без смены. Она что, очумела? Бригадир, могла бы и передать кому трактор-то... Или хотя бы напарницу себе взяла. Она и девчонок-то измучила. Те тянутся за ней, не хотят отставать. Нинуха моя вон тонее былинки сделалась, хорошо, что Верушка вовремя убралась из Завидова, а то бы... Эдак-то надорваться можно...

— Насчет девчат я с ней поговорю, — сказал Точка. — А Федосью лучше не трогать. Может, только в работе она и забудется на время, пригасит душевную свою боль. Да и то сказать: кто же жалеет, щадит себя в разгар посевной?!

И все-таки на селе были такие, кто мог в этот час предаваться праздности. Но праздности ли?.. У Штопалихиного двора старухи раскинули по бревнам свои темные, широченные и длинные, в неровную сборку, не подверженные решительно никаким модным поветриям юбки. Ораторствовала Штопалиха:

— Что же это с нею творится, бабы? Скажет одно словечко, а потом молчит, молчит. Как бы того... не тронулась разумом! Как, скажи, кончилося для нее все! Рехнется, ей-богу, бабыньки, рехнется!.. В Кологривовке прошлым летом... слышали чай?

— Как не слыхать!

— В город, сказывают, увезли Лизавету, в дом для умалишенных...

— А какая красавица была да умница — вроде вот нашей Фенюхи...

Штопалиха, оживившись, посветлев широким лицом, шмыгнула толстым, красноватым носом и вдруг выложила как готовое, со всех сторон обдуманное ею решение:

— В заморскую страну Фенюху надо отправить, там лекарство такое есть... Была у меня племянница, Феколка... Вы-то ее не помните, ребенком ее увезли в город... Влюбилась, глупенькая, в одного... а он неверным оказался. Феколка маялась-маялась душой да и того... помешалась умишком. Увезли ее, слышь, в какую-то дальнюю-предальнюю заморскую страну. И что бы вы думали, бабыньки? Через месяц явилась здоровехонька, хворь ее как рукой сняло. А про того супо-

стата и думать не думает. Вышла, милые, замуж и живет теперя припеваючи... Вот я и говорю, Фенюху бы туда отправить...

— Можа, оно и так, — тихо согласилась одна из старух.

— Как бы не так! — возразила Екатерина Ступкина, передавшая нынешней весной обязанности стряпухи Антонине Непряхиной. — Там со своими болячками не могут совладать, в заморской-то стране... Видала я восейка по телевизору — все как с ума посходили... орут, дубинками машут, волокут косматых мальчишек в крытые машины, лупят их полицейские по чем попадя... Они те вылечат! Нет уж, бабы, нам самим надо за Феньку браться, не чужая она нам... вместе с нами всю войну... да и теперь вон... Как же можно оставить ее без нашего присмотра?..

— На курорт ее, в санаторию. Настёнка Шпич сказывала: есть одна путевка в Сочи...

— Сама она туда пущай едет, — стояла на своем Штопалиха, — только в заморскую страну. Я уж знаю. Племянница моя, Феколка...

— Да отвяжись ты, ради Христа, с твоей Феколкой и заморской страной! — набросилась на нее Екатерина Ступкина. — Сами что ни то придумаем, не оставим ее одну...

Между тем в районе обсуждался вопрос, не имевший, казалось бы, поначалу ничего общего с тем, о чем печалились завидовские старухи. Предстояло выдвижение кандидатов в Верховный Совет республики, и в кабинете Владимира Кустовца собрались члены бюро, чтобы загодя подумать о людях, которые могли бы по всему удостоиться столь высокой чести. Называли одного, другого, третьего, а Кустовец все твердил:

— Что ж... хорошо, человек стоящий... Ну а еще? Думайте, думайте, товарищи!

Перебрали еще с десяток имен, но секретарь райкома упорно требовал, чтобы товарищи "думали, думали"; кто-то уже пожаловался, пороптал, что, мол, кажется, всех уже самых лучших назвали, а Кустовец все чего-то ждет. На какое-то время в кабинете воцарилось общее молчание, пока не подал своего голоса Точка.

— А что, ежели... — начал он не совсем уверенно.

— Ну, ну, Виктор Лазаревич, — оживился Кустовец, будто только и ждал этой минуты, — говори, говори смелее!

— ...что, если Федосью Леонтьевну Угрюмову, а? — закончил, и теперь уже более уверенно, Точка.

— А что... по-моему, превосходная мысль, как вы думаете, товарищи? — сказал Кустовец, пробегая своими быстрыми цепкими глазами по лицам сидевших в кабинете.

— Отлично! — первым отозвался прокурор, так почему-то до сих пор и не ушедший на пенсию и теперь только и думавший о том, как бы поскорее, прямо на лету, подхватить мысль Кустовца и помочь ему утвердиться в ней. — Надо посоветовать завидовцам, чтобы выдвинули ее, Угрюмову. Молодец, Присыпкин. Великолепная идея.

Кустовец посмотрел на прокурора, улыбнулся, но ничего не сказал. Еще раз обратился ко всем сразу:

— Как вы думаете, товарищи?

— Прокурор прав. Отличная мысль, — сказал Лелекин.

— Я тоже за. Угрюмова — лучший механизатор района, — поддержал Лелекина Воропаев.

— Ну что ж. Если никто не возражает, будем рекомендовать Федосью Угрюмову, — заключил Кустовец, которому эта мысль пришла еще задолго до начала заседания, и он теперь был очень доволен, что первым вслух ее высказал не он, а Виктор Лазаревич Присыпкин, а еще более того тем, что все решительно поддержали эту кандидатуру. Окончил Кустовец заседание с видимым удовольствием: — А теперь, дорогие товарищи, поскорее возвращайтесь к своим местам. Сев, сев и еще раз сев! Все! До свидания, желаю успехов. Можете идти. А ты, Виктор Лазаревич, останься. Мне еще с тобой поговорить нужно.

Вернувшийся в Завидово Точка рассказал о решении райкома самому узкому кругу лиц, в который, конечно же, не входила Матрена Дивеевна Штопалиха. Но именно она, упредив всех, примчалась к Фене и, едва шагнув через порог, обрушила на хозяйку ошеломляющую новость:

— Левонтьевна, слышь-ко, тебя в депутаты Верховного Совету выдвигают!.. Левонтьевна!..

— Да ты с ума-то не сходи, Дивеевна! Разве такими делами шутят!.. О господи, придумают же чего! — И Феня, побледнев, схватилась за сердце, тяжело опустилась на скамейку.

— Да не шучу я, стара уж для этого... Виктор Лазырич примчался сейчас из району, пригласил к себе Настёнку Шпичиху да председателя Совету, сказал им

про тебя, а моя племянница, Ольга, — она ведь теперь секретарь у председателя, — как есть все и...

Потрясенная и оглушенная, Феня уже не слышала, что еще тараторила старуха: сколь ни невероятной показалась Угрюмовой принесенная Штопалихой новость, как ни противился ей, этой новости, разум, но сердце-то не обманывалось, сжималось в радостном испуге.

37

Было это воскресенье. Клуб убрали свежей июльской зеленью, красными транспарантами, лозунгами, разноцветными электрическими лампочками. У входа, на белой стене, портрет кандидата в депутаты Верховного Совета Российской Федерации Федосьи Леонтьевны Угрюмовой. Один угол сорвало с кнопки и завернуло ветром. К портрету приблизились самые первые избирательницы — Матрена Штопалиха и Антонина Непряхина. Матрена Дивеевна сказала своей спутнице:

— Давай-кось поправим, Антонина.

— Красавица... заботница наша! — Антонина, укрепив портрет, отошла немного назад и теперь любовалась землячкой.

Штопалиха стояла рядом и тоже просторно и светло улыбалась. Затем она важно поднялась по ступенькам крыльца в клуб, подошла к столу, взяла бюллетени. Вошла на минуту в кабину для тайного голосования, а выйдя оттуда, перед тем как опустить в урну аккуратно сложенные ею красную и синюю бумажки, посмотрела строго на дежуривших возле красного ящика пионерок, сказала:

— Глядите, глядите, мои золотые, чтобы порядок был.

К клубу со всех улиц и проулков стекался нарядный народ. В клуб люди подымались не торопясь, степенно, а выходили побыстрей. Мужички первым делом атаковали продовольственную автолавку, женщины — промтоварную. Девчата тут же, за автоларьком, прикрывая друг дружку простынкой или платком, примеряли на себе платья, юбки, повязывали разноцветные, тенетной тонкости и прозрачности косынки. Меж мужиков выделялся Тишка. Рассовывая по карманам бутылки с пивом и еще что-то в соблазнительно яркой упаковке, принюхиваясь к какому-то пакету, он говорил девушке-продавщице:

— Вот бы, милая, каждый день так-то... Что-то редковато к нам наезжаете. Где только прячете это богатство!

— Каждый день праздники не бывают! — бойко ответила та.

— А жаль, — вздохнул Тишка.

На площадке, перед самым клубом, посреди круга носился, выделывая черт знает что короткими ногами под веселое "Эх, яблочко!", вчерашний матрос Минька, щелкал ладонями себя по губам, по бокам, по щекам, по ягодицам, по каблукам ботинок и при всем при этом что-то там приговаривал. Отовсюду орали, подбадривали:

— Жарь, Минька, бога нет!

Минька, видать, уже приморился — выскочил из круга, позвал:

— Пошли, Гринька, гражданский долг исполним!

В клуб вбежали шалые от переизбытка неперебродившей молодой энергии. Хохоча, подтрунивая друг над другом, взяли у дежурной бюллетени и, не взглянув на них, собрались опустить в урну. Штопалиха преградила им путь:

— А ну-ка марш в кабину! Ишь вы какие бойкие! Вот ты, Минька, аль забыл, кого выбираешь?..

— Теть Феню Угрюмову, разве мы ее не знаем!

— Эх ты, а еще моряк!.. Не тетю Феню, а правительство выбираем — не что-нибудь еще!.. Вот и напиши — ты ить грамотный! — вот и напиши на бюллетенях-то, дай наказ, чтобы про нас всех там заботу имели и про тебя, пустозвона, не забывали. А ты что зенки вылупил, хлопаешь ими да лыбишься? — обрушилась она на Гриньку. — Марш, говорю, в кабину! Эх вы, безотцовщина! Хозяевы называются. Пороть бы вас плетьми, непутевых!..

Спровадив ребят в кабину, вернулась к урне и встала, как почетный караул, рядом с пионеркой. Проговорила как бы для себя одной, а строгими своими глазами смотрела на входивших в клуб девчат и парней:

— Постою послежу... А то ить она какая ныне, молодежь!..

Максиму Паклёникову, только что опустившему бюллетень и бросившему ревниво-завистливый взгляд на застывшую в торжественной позе старуху, тоже хотелось постоять так-то вот, рядом с пионеркой, и он постоял бы, если б вместо Штопалихи тут находился кто-нибудь из мужиков — Апрель, скажем, или Тихан Зотыч, бессменный завидовский пастух. Находиться же

на одном посту с Матреной Паклёников считал ниже своего достоинства. Ворохнув в ее сторону бровями и усами, как бы постращав таким образом, он направился к дверям. Обошел кругом недавно выстроенный, принаряженный клуб, осмотрел его, прилегающие к нему тоже новые школу, детские ясли, вернулся на клубную площадь, через которую приходили и уходили его хорошо одетые земляки, провожал их пытливым, изучающим взглядом, шевелил губами, а потом заговорил и вслух, отвечая себе и на свои же собственные мысли, как делал не раз на предельном уж склоне своих лет:

— Выдюжили!.. Скажи на милость, выдюжили!.. Да, да!.. Вот когда Сережа, — вдруг вспомнил он про давний разговор с Ветлугиным, — вот когда, милок, можно говорить о победе!.. Нет, нет, — обратился он к кому-то строго и гневно, — что бы вы там ни калякали насчет нас, как бы ни каркали, а она у нас двужильна, Советская-то власть! Хрен возьмешь ее голыми руками!..

Проходившая мимо с какими-то покупками Мария Соловьева бросила ему:

— Что ты тут разворчался, развоевался с кем, старый самовар?

— Не твоего ума дело! — отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, старик. Завидев приближающуюся к клубу Феню, поспешно добавил: — Вон ей бы я сказал, об чем тут речь. А ты, Марея, без понятиев, у тебя ветер разгуливает, прости меня, старого грешника, не только под юбкой, но и в голове... Здравия желаю, товарищ депутат Верховного Совету! — приветствовал он Феню.

Та смутилась:

— Рано ты, дедунь... Выборы только начались.

— Я знаю, что сказываю, — обиделся старик.

Феня говорила уже с Марией:

— Заходи ужо, Маш.

— Ой, Фенька, я чтой-то боюсь, оторопь берет. Ить тебя вон как высоко занесло! — сказала Соловьева, меряя глазами подругу, узнавая и как бы уж и не узнавая ее.

Феня сказала хмуро:

— Никуда меня не занесло. Как была на земле, так и останусь.

— Правильно, дочка! — встрепенулся старик. — Умница! От земли, от нас то есть, не отрывайся. Тоды мы тебя еще выше подымем!.. Постойте, бабы, никак, к

нам районное начальство катит! — Максим Паклёников первым направился за клубную ограду навстречу черной, лупоглазой, блистающей полированными боками "Волге": старик не мог отказать себе в удовольствии перекинуться словцом-другим с начальниками.

Владимир Кустовец накануне сговорился с Лелекиным, Воропаевым, что они подымутся как можно раньше, проголосуют и вместе отправятся на его новенькой, только что полученной "Волге" по району. Собрались в рабочем кабинете секретаря задолго до начала выборов, что-то в четвертом часу утра. Взглянув на часы, Лелекин вдруг предложил:

— А не махнуть ли нам к речке, пока есть время? А? Как вы?

Кустовец и Воропаев согласились.

Выехали лесной дорогой на поляну, выходившую прямо к Баланде, на ту памятную для Лелекина поляну, где он некогда получил порядочную выволочку от прежнего секретаря райкома, от Федора Федоровича Знобина. Вышли из машины, присели, свесив по-мальчишечьи ноги с крутого берега. Молчали. Прислушивались к пробуждающейся лесной и речной жизни, смотрели, как то в одном, то в другом месте на тихой водной глади выпрыгивала мелкая рыбешка, шлепала хвостом и исчезала, оставив после себя легкую, трепетную зыбь, ровными кругами убегающую в разные стороны.

— Поют, поют! — радостно зашептал Лелекин.

— Кто поет? Не слышу, — сказал Кустовец и вдруг все понял: — Ах, вон ты зачем притащил нас сюда!.. Ну уж и хлюст ты, Лелекин!.. Поют-то поют, но что-то не густо. И лягушек не слыхать, а им бы сейчас в самую пору... Ну что ты на это скажешь?..

— Я ж вам докладывал вчера. На днях вводим последний очистительный агрегат. И тогда хоть форелей разводите!

— До форелей нам, брат, с тобой ещé далеко. Ты хоть окунишек-то, ершей, уклеек сохрани, чтобы детишкам нашим было куда удочку закинуть, да и нам с вами, — сказал Кустовец незлобиво, но все-таки с трещинкой-горчинкой в голосе. Он задумался о чем-то, видать, не самом веселом, но в эту минуту прямо в его ухо запустил звонкую, рассыпчатую очередь соловей.

Кустовец радостно вздрогнул и улыбнулся. Поднявшись на толстые, уверенные в себе ноги, приказал:

— Айда в машину! Проголосуем — и в Завидово!

Для этого июньского утра нужно было собраться с духом.

Феня в первый раз решила пойти в школу, где, как она знала, была открыта пионерскими следопытами комната Героев.

Авдей не захотел отпускать ее одну — пошел вместе с нею.

"Техничка", то есть Матрена Дивеевна Штопалиха, открыла двери только для них и, впустив в вестибюль, заставленный по-над окнами огромными кадками с фикусами, сама, превозмогши в себе великий зуд любопытства, осталась в коридоре.

Авдей и Феня не сразу отворили дверь, ведущую в комнату Славы, как еще ее называли завидовцы. Постояли. Феня, шумно и судорожно вздохнув, с белым как полотно лицом, тихонько попросила:

— Ну, открывай, что ли.

Прямо перед входом на стене, в огромной раме, под толстым, небьющимся, прозрачным стеклом, увидали портреты не вернувшихся с войны земляков, многие из которых начали было уж стираться в памяти, выветриваться из нее. Некоторые узнавались бы не без усилий даже в том случае, если бы на них сейчас нацелились глаза вошедших. Но глаза эти смотрели лишь в одну точку. Под тем же стеклом, в той же раме, в ряду павших односельчан, был и он, Филипп. Он широко улыбался с фотографии, равный среди неведомых ему земляков, которые были его ровесниками, одногодками четверть века назад. Он глядел на Феню и Авдея веселыми, не замутненными никакими земными печалями глазами с навсегда пригретой улыбкой по углам нечетко еще очерченных, не сформированных до конца короткой жизнью припухлых губ. А те стояли перед ним не шелохнувшись, будто под венцом терновым. И в широко распахнутых глазах Фени было и удивление, и горькое недоумение, и, как это часто у нее бывает, напряженное, мучительное желание понять этот сложный мир, и растерянность перед грозными его тайнами.

1970–1974

САД НА ОГНЕННОМ ВЕТРУ

Когда книги, созданные хорошим писателем за многие годы, собираются его руками в общий продуманный ряд, особенно наглядно выступает их кровное родство. Живой мир, вызванный силой воображения, жаром сердца, богатством трудно обретенного опыта, раскрывается во всей широте, в многоцветье, в единстве, а токи, незримо питающие его, становятся явными для внимательного глаза. И во всем этом отчетливо прорисовывается в самых выразительных и главных своих чертах духовный и творческий облик самого художника. Он предстает одновременно и в нынешней зрелой завершенности, и в процессе становления — от одной книги к другой, и в каждой из них все ясней проступает его связь с почвой, его породившей, и временем, которое его сформировало.

Михаил Николаевич Алексеев родился и вырос в селе. Называлось оно Монастырским и лежало юго-западнее Саратова — в сторону Баланды и Аткарска. В отличие от степных, по преимуществу саратовских волостей, родное село будущего писателя окружали леса, овраги, болота. В полуверсте от Монастырского находился омут, прозванный Вишневым. Вокруг разбросались помещичьи вотчины — чаадаевская, салтыковская, шереметевская.

Но предки алексеевских земляков не знали тягот "крепости" даже в самые лихие времена. Жили они, как видно по названию села, на монастырской земле, в глухом и дальнем лесном углу и власть монашескую над собой не больно признавали. О божьих слугах вспоминали раз в году, по осени, когда приходила пора отправлять в монастырь очередной обоз с годовым оброком. В остальное время жили своим порядком, помаленьку крепили хозяйства и многие успели выкупиться на волю еще до реформы.

Прадед писателя — николаевский солдат, тянувший лямку все положенные по тем временам четверть века и прихвативший под конец службы Крымскую кампанию, — вернулся в Монастырское с молоденькой женой. Буквально выкрал он семнадцатилетнюю дворовую девчонку (разумеется, с ее согласия) у какой-то не то полтавской, не то харьковской помещицы. В приданое мужу-москалю принесла Настя на его родину звонкие украинские песни, умение стряпать невиданные в этих местах галушки и еще любовь к садам, к буйному весеннему вишенному кипению, к тяжелой румяной сласти наливных яблок. С легкой ее руки всех монастырцев захватило повальное увле-

чение садами. За то "по-уличному" прозвали Алексеевых Хохловыми, или попросту "Хохлами" И, наверное, не случайно в повествовательной манере автора "Вишневого омута", "Карюхи", "Ивушки неплакучей" то и дело слышатся песенные, романтические интонации, характерные для традиционной украинской прозы. И отсюда же скорее всего — истоки алексеевского юмора.

Душу мальчика питали две волны.

Одна поднималась от самой земли, от привычного крестьянского быта, труда, обихода. Михаил Алексеев застал последние дни старой единоличной деревни, пережил злобные срывы отца, приходившего в отчаяние от вечной нужды, успел впитать в душу горечь безысходности, тяготевшей над мужиком. Отсюда, к слову, драматизм "Карюхи" да и других алексеевских сочинений, обращенных к сельской жизни предреволюционной и предколхозной поры.

Но из тех же родников пробивались иные, светлые струи. Они несли дыхание жизни, приобщали к радости и красоте крестьянского труда. Будущего писателя еще малышом ввел в этот мир дед-садовник. Его добрые руки умели пестовать яблони и ласкать ребятишек, он знал поименно каждую птаху и травинку.

От дедовых уроков, от птичьей щебетни, звеневшей в его саду, вошло во все книги Михаила Алексеева, и прежде всего в "деревенские" его сюжеты, проникновенное чувство приобщенности к природе. Органичность этого чувства уловил еще Николай Асеев — один из самых первых читателей и ценителей "Вишневого омута", откликнувшийся на выход этой книги. И все это, вместе взятое, — суровая проза крестьянской жизни и ее поэзия, неотделимая от всего огромного, вечно живого мира, — и есть та первая, вспоившая будущего писателя волна.

А вторая волна нахлынула извне. Алексеев родился в тысяча девятьсот восемнадцатом году, первое осознанное воспоминание связано у него с трехлетним возрастом, то есть с 1921 годом. И не удивительно, что это воспоминание — о голоде. В "Вишневом омуте", на тех его страницах, где изображаются первые шаги маленького Мишатки в большой мир, мы найдем множество обстоятельных "кулинарных" рецептов на предмет употребления в пищу слезок, косматок, щавеля, дягиля, столбунцов, чернобыла и прочего "подножного корма", спасавшего едва дождавшихся весны ребятишек от голодной смерти в том лютом для Поволжья году. И смерть Ленина запомнил шестилетний Михаил, и вступление семьи в колхоз — было это в тридцатом. Старую Карюху отец отводил на общественный двор ночью, чтобы не слышала мать; она все-таки услышала и всполошила ребят истошным воплем. А через несколько дней двенадцатилетний мальчишка шел по крестьянским дворам: школьная комсомольская ячейка разослала учащихся агитаторами за колхоз.

Подробней об этом первом своем общественном поручении Алексеев поведает уже в наши дни, в романе "Драчуны". И здесь же с присущим ему юмором расскажет, как почти сразу же оно сорвалось, поскольку "агитатор", как и другие его приятели, не вышел ни ростом, ни годами, и растревоженные сомнениями

мужики не могли принять всерьез убеждения и доводы неоперившихся мальцов.

Однако надобно тут же сказать, что сами-то мальцы были настроены по-боевому. Что сознавали они себя юной сменой коммунаров-большевиков, творцами новой небывалой жизни не только в Монастырском, но и на всей планете. В тех же "Драчунах" повествуется о том, как вдохновенно звенели над селом разученные ими песни о реющем над миром и зовущем на борьбу рдяно-горящем знамени, о красных кавалеристах — тех, кто в ночи ясные и в дни ненастные готов гордо и смело мчаться в бой за "братишкой Буденным" сквозь громы и пожары...

Будущий писатель и его друзья тоже готовились с беззаветной стойкостью встретить любые испытания, и эта готовность пригодилась им очень скоро, когда новой страшной голодовкой обрушился на село тысяча девятьсот тридцать третий год... А на следующий год разом умерли отец и мать. Братья разлетелись кто куда, и шестнадцатилетний Михаил остался единственным хозяином пятистенной избы. Перемучившись вдосталь, наловчился за лето доить корову и печь хлеб на зависть иным соседкам. Но зимой бы пришлось совсем туго, когда б не предприимчивый дружок-сверстник Васька Ступкин, потерявший в тридцать третьем перемершую от голода семью. Вдвоем кое-как одолели нужду, зимние тяготы и даже учение, хотя было у приятелей на двоих пара старых подшитых валенок, да латаный пиджачишко, да корова Лысенка, на которой возили в район на базар пиленные на дрова кладбищенские кресты... Впрочем, лучше всего прочитать "Драчунов" и новеллу "Астрономы" в повести "Хлеб — имя существительное": почти все произведения Михаила Алексеева построены на прочных автобиографических устоях, а всего, что пришлось ему пережить, с лихвой хватит на добрый десяток его героев и, наверное, останется в запасе еще на столько же, если не более.

Но самым важным актом приобщения Алексеева к народной судьбе стала Великая Отечественная война. Он встретил ее, находясь на действительной службе в должности политрука парковой батареи Харьковского артучилища. Несколько месяцев сражался на Юго-Западном фронте. А в июле сорок второго его часть с ходу вступила в бой на донских берегах близ хутора Нижне-Яблонского. То было начало битвы за Сталинград — Алексеев участвовал в ней с первых до последних дней. И здесь же, под станцией Абганерово, был принят в партию...

"Солдаты" — первый роман Михаила Алексеева, который был написан сразу после войны — в 1946—1947 годах. С этого рубежа началась его деятельность в большой советской литературе.

"Солдаты" — совсем неплохой роман для писателя-дебютанта, для того времени, когда военная тема только начала осваиваться в эпическом масштабе советской литературой. Его герои — это прежде всего работники, оторванные вражеским нашествием от главного жизненного дела. И во имя этого дела, ради его защиты и торжества они и на фронте вершат праведный, тяжелый, смертный труд, загоняя, как зверя, войну.

Однако самому Алексееву из всех его военных книг не зря особенно дорога "Дивизионка" (1957—1960). Вспышка лирической прозы, которая произошла в эти годы в нашей литературе, историческое и психологическое углубление военной темы, успешно начатое только что пополнившей писательские ряды плеядой литераторов-фронтовиков, сама атмосфера времени, не говоря уже о накопленном профессиональном опыте, — все это сообщило новаторскую направленность алексеевскому поиску. Писатель впервые вступает на равных в круг своих героев, лично свидетельствуя достоверность изображаемого, демонстративно отказываясь от вымысла и фабульной канвы, беря на вооружение приемы очерка, репортажа, фельетона.

Это не снизило художественных достоинств произведения Всякий эпизод фронтового быта, любая черточка в облике друзей-побратимов согреты и освещены в "Дивизионке" любовной и лукавой усмешкой. Она сообщает авторскому повествованию особую доверительность и свободу. Задушевность и юмор становятся для Алексеева своего рода универсальным стилистическим ключом. С одной стороны, это дает ему возможность "обыгрывать" по ходу повествования всевозможные житейские мелочи и передряги, самые неожиданные "чудинки" в привычках людей, добиваясь живой убедительности изображения С другой стороны, веселая эта простота с особенной силой помогает понять, что каждый из проходящих перед нами в "Дивизионке" рядовых участников войны ежечасно творит подвиг самоотверженной верности Родине.

Пожалуй, именно здесь, словно поверив наконец самому себе, полностью освободившись от гипнотического воздействия неписаных "правил", порождающих безликую гладкопись, Алексеев обрел индивидуальную, безошибочно угадываемую среди многих манеру письма. И еще, как надо понимать, ощутил многообразие возможностей для применения осознанной силы. Не потому ли так неожиданно для читателей и в какой-то мере для самого себя шагнул он от документально-лирической, насквозь военной "Дивизионки" к "Вишневому омуту" — роману, сочетающему строгую простоту бытовой основы со сказовой образностью, символикой, населенному фигурами эпическими и комедийными, построенному на драматичнейших столкновениях добрых и злых сил, на проникновенных раздумьях о жизни, правде и красоте, а главное, уводящему читателя далеко от фронтовых дорог — в многоструйное течение крестьянского бытия. То был выход на главную, ключевую для писателя тему, закономерно завершивший этап "самоопределения", наметившийся в "Дивизионке".

Но уже отсюда, из очевидной внутренней преемственности, сблизившей "военную" повесть и "деревенский" роман, можно лишний раз убедиться, что между основными направлениями алексеевского творческого поиска существует постоянная и органичнейшая связь. Сам писатель определяет ее единством образной некрасовской характеристики, напоминая, что великий поэт назвал в свою пору русского мужика "сеятелем и хранителем" родной земли. И действительно, коль скоро заходит речь

о воплощении духовной силы и красоты народного характера, исторической его основы, нельзя забывать об этом единстве. Без этого невозможно понять и показать высоту солдатского повседневного подвига, без этого не раскроешь силу крестьянской души, для которой и мирный труд на земле то и дело оборачивается борьбой.

Народ для Алексеева — всегда победитель, какие бы страшные беды и грозы ни обрушивало на него время. Он побеждает по праву хозяина и творца жизни. В том правда и смысл его существования на земле, правда его труда и характера, закрепленных в народном сознании в песенном и сказочном поэтическом творчестве, исполненном огромной жизнеутверждающей силы.

На этой основе, собственно, и построены идея и сюжет "Вишневого омута"(1958—1961), где развернута хроника крестьянской семьи, охватывающая десятилетия конца прошлого — начала нынешнего века. Жизнь и судьбы изображенных здесь героев чем дальше, тем ощутимей испытывают воздействие потрясающих страну событий: русско-японская война, революция 1905 года, столыпинщина... Автобиографическая канва проступает с развитием действия все более осязаемо. Писатель, по его признанию, даже реальные имена не решается заменить выдуманными, настолько слит с именем в его внутреннем видении облик и характер "списанного с натуры" человека.

Однако эта на первый взгляд натуралистическая тенденция в данном конкретном случае оказалась целиком подчиненной силе художественного обобщения и внесла свою долю участия в раскрытие центральной идеи романа.

Есть у "Вишневого омута" одна примечательная особенность, которая выявилась лишь теперь, когда родились и увидели свет другие произведения Алексеева, посвященные деревне — вплоть до недавно вышедших "Драчунов". Дело в том, что книги эти словно бы вырастают из "Вишневого омута", как молодые могучие побеги из плодоносного яблоневого ствола. Корни ствола уходят в земную глубину — в прошлое родного писателю села, к истокам зарождения семейства Харламовых-Алексеевых. Но вершина романа — это события Великой Отечественной войны: тяжкие испытания, выпавшие на долю женщин-солдаток, ребятишек, стариков, встают перед нашими глазами. Эпилог приходится на весну Победы. Другими словами, время, охваченное действием "Вишневого омута", вбирает в себя целиком события, вошедшие и в ткань "Карюхи", "Драчунов", "Ивушки неплакучей" и — в значительной степени — повести "Хлеб — имя существительное" (часть составляющих ее новелл приходится на 50-е годы). Но важнее всего то, что события эти, как и взятые в целом сюжеты названных книг, представляют собой при ближайшем рассмотрении очередные эпизоды знакомой нам по "Вишневому омуту" семейной либо сельской хроники.

"Хлеб — имя существительное" (1961—1963) — это все тот же поиск активного духовного начала, определившего облик советского села, его стойкость в самых суровых испытаниях. Эта стойкость увиделась писателю как некое слагаемое, составленное из множества неприметных на первый взгляд душевных

усилий и подвигов. "Маленькие люди", выступившие носителями этих качеств, предстали перед нами как личности незаурядные, неповторимые.

Чудаковатый неунывающий Никифор Удальцов, по прозвищу Капля... Непутевый Самонька — хвастун, лодырь и гореловелас... "Почтмейстер" Зуля, простодушно полагающий, что предварительное ознакомление с корреспонденцией односельчан входит в число прямых служебных его обязанностей... Так словно бы шутливо открывает здесь Алексеев свою очередную "сельскую галерею". Открывает, опять-таки как и в "Дивизионке", самолично вступая в книгу с первой страницы щедрым хозяином, предлагающим спутнику-читателю увлекательные и веселые деревенские знакомства и встречи.

В ряду многих героев повести особенно выделяются и противостоят друг другу Василий Куприянович Маркелов и Марфуша Журавушка.

Маркелов — порождение издержек, связанных с колхозным строительством 30-х годов, с трудностями послевоенного десятилетия. Это фигура волюнтариста и "лжеактивиста", нарисованная точно, скупо и зло. Алексеев сумел убедительно показать социально-психологические корни этого типа. Перед нами носитель собственнической мелкобуржуазной психологии, "хозяйственный мужичок", расчетливый, цепкий, эгоистичный, умеющий использовать любую конъюнктуру и, приспособляясь ко всему, служить, по собственному его выражению, и "богу и черту". Жажда накопления материальных благ соединилась в душе Маркелова с такой же неуемной жаждой власти и почета.

В прежние времена это был бы кулак, у которого на десятерых бы хватило остервенелой энергии накопительства. Да, собственно, и на председательском месте Маркелов действует в том же духе, прикрываясь демагогическими рассуждениями и спекулируя на лозунгах дня. Он злоупотребляет властью, выслуживается перед районным начальством такого же волюнтаристского склада, пока наконец не оказывается выброшенным на "Председателевку" — улицу, приютившую на краю села, на самом отшибе, уже не одного незадачливого участника пресловутой председательской "чехарды".

Безнравственность и, в конечном счете, бессилие Маркелова и ему подобных лишь сильнее подчеркивают душевную красоту Зули, Маркедона, Стышного, "вечного депутата" Акимушки Акимова и других героев повести. Но Журавушка стоит среди них на первом месте. Обаятельный и драматический этот характер становится идейным и эмоциональным стержнем "Хлеба". Не случайно она в том или ином качестве появляется почти в каждой из составляющих эту повесть глав-новелл и служит писателю верным моральным критерием при оценке изображаемых персонажей.

Мы часто встречаем в "Хлебе" ее имя, слышим пересуды о ней, смеемся вместе с дедом Каплей над Самонькой, заработавшим от ее руки заслуженный синяк, переживаем за нее, читая о грубых домогательствах Маркелова, возымевшего начальственные виды на броскую и манящую ее красоту. Наконец, в но-

велле "Астрономы" — одной из поэтичнейших в повести — мы узнаем о ней главное: как стала она Журавушкой, как расцвела первая и последняя ее любовь, как обрушила на нее война раннее вдовство.

Но в полную силу разгорается поэтический этот свет в заключительной, недаром венчающей повесть, новелле. Женственный, страстный, гордый, целомудренный, самоотверженный, очень русский и крестьянский характер алексеевской героини раскрывается у нас на глазах от эпизода к эпизоду. И каждый из них любовно и точно отобран писателем и до поры, до "черного воскресенья", открывающего военную страду, исполнен всепоглощающей радости, жаркого порыва к счастью. Недаром же она — Журавушка, она воистину создана для счастья, как птица для полета. Любовь властвует здесь с самой первой запевной строки, с проникновенно-лирического гимна ночи, в таинственном лунном свечении которой раскрываются лепестки цветов и рвущиеся навстречу друг другу человеческие сердца. Журавушка, ее помыслы, чувства, стремления, воссозданные на этих страницах, словно сама жизнь человеческая во всей ее торжествующей полноте. Но мы знаем уже — этот огромный и светлый праздник бытия вот-вот должен оборваться, уже отмечен ему срок в книге Журавушкиной судьбы...

И вот что очень важно — нигде Журавушка не выступает у Алексеева как жертва, сломленная бедой. Любовь и верность, страстная жажда жизни, воплощением которой она является, помогают ей выстоять в самые жестокие дни, одолеть и горечь невосполнимой потери, и голод, и выматывающую тяжесть крестьянского труда военной поры.

Журавушка — самая большая поэтическая удача Михаила Алексеева.

А одна из лучших книг, из числа вышедших за эти годы из-под его пера, на мой взгляд, "Карюха" (1967).

Ни одна из работ Алексеева не отличается такой завершенностью и цельностью композиции, таким органическим единством формы и содержания. То, что наметилось уже в "Вишневом омуте" и получило развитие в лучших новеллах, повести "Хлеб — имя существительное" (если брать в целом, то они все-таки далеко не равноценны, эти новеллы), выступило в "Карюхе" победоносно.

Можно даже сказать об этой повести как о произведении этапном, обозначившем новое качество алексеевской прозы. Ее появление совпало по времени с выходом целого созвездия отличных книг о нашей деревне. В эту пору, во второй половине шестидесятых годов, читатель-современник получает повесть Сергея Залыгина "На Иртыше" и его же роман "Соленая Падь". Тогда же начинают свое уверенное восхождение Василий Белов и Валентин Распутин — первый публикует "Привычное дело", "Плотницкие рассказы", "Под извоз", второй — "Деньги для Марии" и "Последний срок". Тогда же Федор Абрамов выступает с повестью "Пелагея" и с ключевым романом своей тетралогии о Пряслиных "Две зимы и три лета", Борис Можаев — с повестью "Живой", Виктор Астафьев — с наиболее впечатляющими

главами-повестями "Последнего поклона" — собственно, это и стало актом рождения названной книги. И в те же годы стремительно восходит звезда Василия Шукшина. То был несомненный и очевидный акт творческого подъема для целой плеяды писателей, в том числе и для Алексеева, о чем и свидетельствовала его "Карюха".

Можно говорить о внутренней музыкальности этой повести: в ней, словно в симфонии, звучат, перекликаясь, переплетаясь между собой, несколько ведущих тем. Буквально каждый эпизод, самый что ни на есть рядовой, прозаичный, вдруг получает глубину, обретает символическое звучание, включаясь в раскрытие ведущей идеи. Случайных, проходных сцен, характеров, даже деталей, здесь вообще нет, в полную нагрузку работает каждая строка.

Повесть Алексеева, действие которой происходит во второй половине 20-х годов, в канун коллективизации, являет собой значительный вклад в нынешние писательские размышления о прошлом нашей деревни, о путях, которые она выбирала в ту пору. Это убедительный ответ на попытки своеобразно идеализировать задним числом "хозяйское" начало в "крепком" крестьянине тех лет, выдвигая на первый план поэзию мужицкой рачительности, труда на земле, духовной связи с природой без всякого учета необратимой и необоримой силы социально-психологических закономерностей, диктующих собственнику-индивидуалисту, намеренному жить и выбиваться "в люди" среди себе подобных, линию неизбежного подчинения волчьим требованиям, определяющим условия существования такого "свободного" сообщества...

Сюжеты "деревенских" книг Алексеева, накладываясь друг на друга, образуют своего рода летописное лиро-эпическое сказание, где каждая страница отражает очередной этап народной судьбы.

Война здесь — один из таких этапов. Но это этап особый, грозный, ключевой — незабываемое и трагическое испытание, в котором раскрылась непобедимость жизненных сил, заключенных в народных глубинах, восторжествовали мировоззренческие, социальные и нравственные идеалы нашего строя, рожденного Октябрем. Добавив к этому пережитое за фронтовые годы самим художником, нетрудно понять, почему именно войной и всем, что связано с нею, образовано в его мироощущении некое силовое поле, воздействие которого Алексеев, о чем бы он ни писал, испытывает постоянно.

Роман "Ивушка неплакучая" (1966—1974), как уже говорилось, — это очередной мощный побег, взявшийся от тех же корней, что вспоили и подняли "Вишневый омут" — главное родовое древо взращенного писателем сада. Не случайно именно здесь, в первом "деревенском" своем романе, наметил он сюжетные узлы и драматические ситуации, которые породила, выражаясь его словами, "удивительная эра", пришедшая на село вместе с войной, — "эра стариков, женщин и подростков, где женщины были основной силой — новейший и своеобразный матриархат"... В повести "Хлеб — имя существительное", в главах,

посвященных Журавушке и ее подругам, тема эта получила новое развитие. Здесь уже отчетливо определились две качественно разные фазы "матриархата" — собственно военная, осиротившая и обезмужичившая село и сплотившая солдаток в едином общем горе и труде, и послевоенная, когда воротились домой немногие уцелевшие фронтовики и счастливые их жены поспешили воздвигнуть вокруг семейных очагов крепостные стены ревности и недоверчивого страха. "...Как-то никому не приходило в голову, что не все узлы обязательно развяжутся, что иные из них затянутся еще туже, рядом со старыми образуются новые... что в тяжкой и горькой работе по разматыванию тех клубков придется участвовать не одному поколению: хватит этой работы и детям и внукам, останется, может быть, еще и для правнуков", — характеризовал эту пору сам писатель, открывая вторую книгу "Ивушки", где и развернул во всей широте тему, не оставляющую его в покое...

В его глазах то был еще один очень важный этап битвы за победу, которая, как говорит в романе пожилой секретарь райкома Федор Знобин, должна стать "победой для каждого советского человека". Вот почему такое большое, можно сказать, ведущее место отведено в романе изображению трудового и нравственного народного подвига, которым обернулась жизнь колхозного села как в годы войны, так и в трудную пору послевоенного становления. Складываясь из множества каждодневных забот и усилий, этот подвиг совершается в нарастающем драматизме событий самыми обыкновенными, а подчас и просто слабыми людьми, даже не подозревающими всей меры того, что делается их руками. Такими, к примеру, проходят через роман Маня Соловьева, пользующийся ее женской слабостью Тишка, не упускающий своего лесник Архип Колымага. Но и в каждом из них Алексеев успевает увидеть дорогой ему проблеск того душевного огня, которым в полную силу светится образ центральной героини.

В ней, Фене Угрюмовой, по мере нашего знакомства с нею, между прочим, то и дело начинают проступать черты, знакомые нам по Журавушке. Сам Алексеев предвидел возможность подобных ассоциаций. Выступая перед читателями, он не однажды подчеркивал, что "Ивушка" — не повторение открытий, сделанных в "Вишневом омуте" и "Хлебе". Просто сходные ситуации, житейские и психологические, приводят порою к сходным художественным решениям.

Соглашаясь с писателем, скажем больше — образ Фени не только несет печаль самобытности, уже тем самым достойно пополняя созданную писателем галерею женских крестьянских натур. Он продолжает эту галерею, которая, как бы вырастая из глубин десятилетий и открываясь трагической и жалкой фигурой Ульяны в "Вишневом омуте", отражает перемены, вносимые ходом истории в сознание и духовный облик русской крестьянки. Этот путь восхождения долог и мучительно труден. Алексеев ни разу не поступился правдой, показывая раскрепощение женской души от жестоких, унизительных пут патриархальщины, а также новые испытания, выпавшие во времена Ве-

ликой Отечественной на долю тех же крестьянок, что пережили солдатками и первую мировую, и гражданскую войны и вдосталь натерпелись тревог и сомнений в коллективизацию. В том же "Вишневом омуте" особенно обстоятельно прослежена в этом смысле жизненная тропа Фроси Вишенки. Именно в ней можно видеть прямую предшественницу и Журавушки, и в особенности Фени Угрюмовой в "Ивушке". Словно родные дочери наследуют у нее они неизбывное трудолюбие, упорство, душевную стойкость и чистоту, сознание своего достоинства и права на счастье, безоглядность любовного порыва, животворную силу материнского чувства. Но все эти свойства выступают в Фене крупнее, резче, последовательнее.

Читая "Ивушку", отдаешь должное и той обстоятельности, с которой течет повествование, и выразительности движущих его характеров. С другой стороны, примечательно, что иные из ведущих эпизодов романа обнаруживают очевидную тенденцию к сюжетной автономии, читаются как своего рода "новеллы" — прием, знакомый нам по "Хлебу". Так стягиваются в самостоятельный рассказ эпизоды, изображающие учебу Фени и ее подружек, приобщающихся к нелегкой механизаторской работе. В этой сюжетной цепи и стычки с Тишкой, и сцена отчаянной переправы через поднятую половодьем реку, и ночная ловля рыбы на лесном озере... Самостоятельными новеллами выглядят история материнской трагедии Степаниды Луговой и показанная с доброй усмешкой попытка побега на фронт, предпринятая Павликом — младшим братишкой Фени.

Сказанное наводит на мысль, что Алексеев гораздо уверенней чувствует себя, работая над рассказом или повестью. Однако центробежные силы, то и дело дающие себя знать в этом романе, неизменно нейтрализуются темой и главной идеей, захватившей писателя, а также жизнью его героев. Их судьбы сплетены временем в многоликий образ народной судьбы. И он, этот образ, неотступно влечет писателя, требуя все больших масштабов художественного обобщения, все большего ухода в глубины, где совершается великое таинство неостановимого взаимодействия социальных и нравственных процессов, определяя, в конечном счете, движение самой истории. Познание Времени и притом конкретного, "своего", переживаемого лично художником и его поколением и вообще всеми людьми, которые одновременно с ним проходят по земле срок, отпущенный им судьбой, познание этого времени в движении, в закономерности зарождения и смены тех или иных его качеств — таково стремление, обуревающее Алексеева. И потому ему малы, тесны уже границы малых эпических жанров, как бы ни лежала к ним душа, но вновь и вновь нужен роман, который, в свою очередь, воспринимается им как очередной фрагмент развернутого на годы повествования. Сам писатель скромно назвал это повествование "автобиографическим циклом". Но это все-таки нечто гораздо большее, о чем, между прочим, свидетельствует недавно вышедший роман "Драчуны" (1977—1981).

Он словно вобрал, вплавил в себя многие сюжетные линии, судьбы, события, знакомые нам по прежним "деревенским"

произведениям Алексеева. Не случайно автор не однажды ссылается на них, как на нечто хорошо знакомое своему давнему другу-читателю, который вновь оказался в селе Монастырском, повстречал и узнал немало прежних знакомцев, прошелся по улицам, заглянул в избы, где уже не раз доводилось ему бывать, и конечно же навестил старого деда Михайлу в его полном чудес саду, взращенном добрыми, не знающими устали дедовыми руками.

Но, наверное, важнее всего, что первым из всех монастырцев, с кем довелось увидеться нам опять, оказался главный герой и рассказчик, десятилетний Мишанька — отчаянный, неугомонный, с широко распахнутыми глазами и сердцем. Приобщение к огромному миру с его радостями и бедами, красотой и уродством началось для него давно — с того же "Вишневого омута". Именно тогда впервые открыл для себя Алексеев прием, испытанный многими мастерами-предшественниками, — обращение к памяти детства, к самым сильным и ярким впечатлениям от столкновений с жизнью, которые не только потрясают, но и формируют человеческую душу, ибо как никогда податлива и чиста она в такую пору и доверчиво-жадно готова принять в себя все, что открывают и дарят природа, люди, время, чем обжигают и обижают они, что навязывают порой...

Другое дело, что чувство в этом нежном возрасте еще опережает и подчас даже подавляет мысль, что понимание всего, что происходит вокруг и обрушивается на маленького человека, а также умение разобраться в своих собственных переживаниях и поступках тоже еще только формируется и не набрало зрелой глубины, не обогатилось опытом. Но на этот случай рядом с малолетним героем-повествователем неотступно и незримо следует сам автор, у которого более чем в достатке этого самого, так дорого оплаченного "богатства".

Известно, что организм наш на протяжении жизни обновляется полностью и неоднократно и, ставши взрослыми, мы уже по-другому воспринимаем и солнечное тепло, и бег времени. И когда погружаемся в глубины памяти и встречаем самих себя в давно минувшем детском обличье, то воспринимаем его словно со стороны и едва ли не по-отцовски. И улыбаемся то печально, то иронически, то с откровенной завистью. Порою хочется сдержать некий порыв или не допустить поступка, последствия коего так горьки для нас теперь. Порою вспыхивает в сердце, казалось бы, совсем забытая радость или, наоборот, с воскресшей силой обжигает стыд за нечто давным-давно свершенное... Словом, такой "диалог" может продолжаться бесконечно. Не потому ли представляется ныне поистине неисчерпаемым источник, к которому вновь и вновь обращается Алексеев? И при этом очень интересно и важно, он всякий раз забирает все глубже и шире. И его воспоминания о деревенском детстве становятся солнечней и драматичней, и малолетний его герой все уверенней выступает как свидетель и участник событий, историческая суть и социально-нравственная значимость которых видны автору все отчетливей. И потому обобщающая мысль, зало-

женная в подтекст, в ощутимые глубины романа, обретает масштаб и характер воистину философский.

Примечательна в этом смысле завязка "Драчунов". Она даже не возникает, а вспыхивает как всякая нелепая житейская случайность, как мимолетный эпизод повседневной жизни маленькой сельской школы — с любовной усмешкой изображает писатель этот беспокойный, шумный мирок, где кипят и сталкиваются ребячьи страсти, привязанности, антипатии. Закадычная дружба главного героя и его однолетки Ваньки Жукова, такая, казалось бы, по-мальчишески беззаветная и верная, переходящая во взаимную влюбленность, при которой приятели и часу не мыслят прожить врозь, внезапно обрывается жестокой дракой и переходит во взаимную вражду. Роковая стычка между друзьями подстроена глупым и злопамятным великовозрастным балбесом, по сути, это недоразумение чистой воды — ни Мишка, ни Ванька неповинны в том, в чем каждый убежденно винит другого. Но слишком чудовищной несправедливостью, доподлинным и нежданным вероломством и коварством выглядит в глазах каждого эта несуществующая вина. И вот в который уже раз оправдывается поговорка насчет одного-единственного шага, отделяющего любовь от ненависти. И вчерашняя дружба оборачивается враждой, столь же самозабвенной и страстной.

И сразу тускнеет, утрачивает великое множество былых радостей Мишаткина и Ванькина жизнь. Тем паче, что от злого костерка их нелепой драки сразу же занялось пламя небывалого по ожесточению всешкольного побоища. И хотя оно с великим трудом было пригашено, от него рассыпались по всему селу жгучие искры неприязни, обиды, подозрений. Очаги возникают и разгораются то здесь, то там, каждодневно подогреваясь действиями вчерашних приятелей. А тут еще втягиваются в "кампанию" старшие братья и родители, ополчаются друг против друга целые семьи и кланы. И вот уже угрюмая атмосфера взаимного недоброжелательства и недоверия охватывает все село...

Разумеется, ни о каких прямых аналогиях речи быть не может. Но, право же, многое из прочитанного обращает наши мысли к нынешним неладам между людьми и даже между народами. И почти убежден, что повод для подобных подсознательных ассоциаций писатель дал совершенно намеренно и даже самый сюжет романа обдумывал, живя тревогами наших дней. И вот, строжайше соблюдая верность жизненной правде, прибегнув к испытанному лирико-философскому "ключу" и не менее испытанному автобиографическому сельскому материалу, он построил собственную модель "холодной войны" — не политическую и даже, пожалуй, не социальную, а скорее нравственно-психологическую, обстоятельно исследовав соответствующий ее "механизм".

Исследование это тем более убедительно, что Алексеев развертывает его как цепь мучительных переживаний своего маленького героя в связи с постигшими его утратами. Горечь их всякий раз подчеркивается поэтичнейшими воспоминаниями об увлекательных, нередко рискованных похождениях и приклю-

чениях двух приятелей в те дни, когда они и помыслить не могли о возможности разрыва. Взятые сами по себе, эти воспоминания образуют живописную движущуюся панораму. И, пожалуй, со времен "Бежина луга" и некрасовских "Крестьянских детей" не появлялось еще в нашей литературе столь впечатляющего и, я бы даже сказал, "энциклопедического" повествования о житье-бытье, развлечениях, играх и трудах деревенских ребятишек. Тем паче, что все это показано не со стороны, а от лица непосредственного участника и не в мимолетных эпизодах, а в образе неостановимого повседневного бытия на протяжении всех четырех времен года, каждое из которых, огромное как целая жизнь, приносило Мишанькам, Ванькам и Гринькам множество совершенно удивительных радостей и открытий, а вместе с ними очередное обновление, всегда присущее, по словам писателя, открытой детской душе.

Важно сказать и о том, что Алексеев на всем протяжении романа неизменно акцентирует точные исторические ориентиры изображаемых событий. Они ему необходимы потому, что он рассказывает не просто о своем крестьянском детстве, но вглядывается в начало пути целого поколения, судьба которого на многие годы определила судьбу всей страны и, в свою очередь, сама определилась ею. Ребята, представшие перед нами в "Драчунах", ровесники Октября и живут-подрастают, учатся и познают жизнь в советской деревне. Это деревня первого послереволюционного десятилетия, где еще свежа память о гражданской войне и упованиях, связанных с "батюшкой-нэпом", где вовсю идут толки о начавшейся коллективизации и сама она вскоре докатывается до Монастырского в грохоте первых на селе тракторов, вызывая бурю мужицких переживаний, споров, междоусобных стычек, втягивая в этот водоворот и малолетних героев.

Очень интересно, что тогда же появляется в Монастырском и только что вышедший томик "Поднятой целины" — ребята увлеченно слушают учительницу, которая читает им эту необыкновенную книгу, где изображены люди и события, до того похожие на происходящее вокруг, что Мише с Ванькой, уже помирившимся к той поре, подумалось невольно, что автор "списал" своих героев прямо с их земляков-односельчан.

Однако Алексеев ведет далее борозду, проложенную Шолоховым, вздымая, вслед за современниками-собратьями по перу, пласты, едва лишь тронутые в свою пору писателями-первопроходцами тридцатых годов. И картина раскулачивания, изображенная в "Драчунах", носит иной, нежели у Шолохова, характер. Потому что этот процесс возглавляют в Монастырском отнюдь не Давыдов и даже не Нагульнов, но лица, равнодушные ко всему, кроме собственного благополучия и карьеры, чуждые деревне и судящие о ее жителях и тружениках, что называется, с кондачка, то и дело попадая впросак. Но каждая из подобных ошибок оборачивается драмой для очередной крестьянской семьи, неизбежным ее разорением, изгнанием, а то и просто тайным бегством-уходом в иные отдаленные края. И все больше пустеет село... А на пороге уже стоит горько-памятный 1933 год, что обрушился на земляков героя, на окрестные деревни и села,

на многие губернии лютым голодом, от которого вымирали целые семьи...

Об этих страшных неделях и месяцах Алексеев вспоминал еще в повести "Хлеб — имя существительное". В "Драчунах" он снова вернулся к ним, воссоздавая на сей раз происходившее во всех холодящих душу подробностях, выявляя силу душевной стойкости и благородства в людях, встречающих беду. Чувство долга перед погибшими земляками, в том числе и перед памятью малолетних сверстников своих, движет сердцем и пером художника, а также стремление понять меру нравственного и гражданского мужества людей, которые, говоря словами писателя, совершили подвиг "уже одним тем, что в самую трудную годину, до самого своего смертного часа не разуверились в Советской власти, не предали ее анафеме, не прокляли, завещая эту святую веру всем, кому суждено было жить, бороться, побеждать и исполнять свои обязанности на крутых поворотах истории..."

Собственно говоря, Мишанька, Ванька, Колька Поляков и все прочие "драчуны", с коими знакомит нас писатель, и представляют собой, как уже было сказано, то самое поколение, которое принимает эту эстафету и заветы, проходя через трагические испытания в свои детские годы и не представляя еще, что предстоит ему в самом недалеком будущем, спустя каких-нибудь 8 лет, если считать от того же 33 года. В этом смысле характеры ребятишек, их судьбы и дела, изображенные в романе, должны восприниматься по-особому. Перед нами завтрашние герои Брестской крепости, защитники Севастополя и Сталинграда, солдаты-победители. Особенно важно помнить об этом, имея в виду, что Алексеев уже в полную силу работает над романом о Сталинграде, где ему довелось сражаться от первого до последнего дня великой и памятной битвы. И "Драчуны" в этом плане — своего рода "экспозиция" к будущей книге.

Немало наших писателей успело рассказать о своей военной молодости, крещенной огнем на рубежах великих сражений. И всякий находил для этого собственный ключ и поворот. Что сделает, что откроет нам Алексеев, замыкая очередной круг творческого поиска, заранее предполагать, разумеется, нельзя, да и не нужно. Но во втором томе собрания его сочинений, в одной из новелл, составляющих повесть "Биография моего блокнота", рассказывается о дикой яблоньке, растущей в некоей безымянной приволжской балке. Когда-то давным-давно, в самый разгар Сталинградского сражения, у самых ее корней вырыли блиндаж три старших лейтенанта. Яблонька, как могла, укрывала их от пуль и осколков, подбрасывала ветки для костра, утоляла своими терпкими плодами жажду и голод. Отсюда молодые офицеры поднялись в наступление. А много лет спустя один из них, уже известный писатель, вернулся, чтобы отыскать безвестную балочку и дорогое сердцу деревце. Яблоня была крепка, и плоды ее — обильны и сладки...

Думается, что эта яблонька, выстоявшая на огненном ветру войны и времени, — самый верный и постоянный образ-пароль ко всем алексеевским книгам...

Всеволод СУРГАНОВ

СОДЕРЖАНИЕ

ИВУШКА НЕПЛАКУЧАЯ. Роман

Книга первая 5
Книга вторая 216

САД НА ОГНЕННОМ ВЕТРУ. *Послесловие* **Вс. Сурганова** 546

Михаил Николаевич АЛЕКСЕЕВ

ИВУШКА НЕПЛАКУЧАЯ

Приложение к журналу "Дружба народов"

М., "Известия", 1983, 560 стр. с илл.

Оформление "Библиотеки" **Ю. Алексеевой**

Редактор **Е. Бережная**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **В. Волк**

●

А 06239. Сдано в набор 7.07.82. Подписано в печать 26.10.82.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура "Сенчури".
Набрано на машинах ИБМ "Композер". Отпечатано с фотополимерных
форм. Печать высокая. Печ. л. 17,5. Усл. печ. л. 29,40.
Уч.-изд. л. 33,05. Зак. 3913. Тираж 265.000 экз.

Цена 2 руб. 30 коп.

●

**Издательство "Известия Советов народных депутатов СССР"
Москва, Пушкинская пл., 5**

**Ордена Трудового Красного Знамени типография "Известий
Советов народных депутатов СССР" имени
И. И. Скворцова-Степанова.
Москва, Пушкинская пл., 5.**

Scan Kreyder - 07.03.2016
STERLITAMAK